УДК 821.161.1-06(075.32)
ББК 83.3 (2 Ros=Rus)

Циндидис И.А.

Ц-63 Литература (Устное народное творчество. Древнерусская литература. Русская литература XVIII–первой половины XIX в.) [Текст]: учебник-хрестоматия для академических лицеев и колледжей / И.А. Циндидис, Е.В. Маслова. – Ташкент: Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои, 2016. – 824 с.

Рецензент:
доктор филологических наук **А.Г. Шереметьева**

В данное учебное пособие включены произведения, статьи, авторские работы, отражающие аспекты развития русского литературного процесса от устного народного творчества до первой половины XIX века и представляющие интерес для учащихся, абитуриентов и преподавателей образовательных учреждений.

Предназначено для первого курса академических лицеев и колледжей.

ББК 83.3 (2 Ros=Rus)
УДК 821.161.1-06(075.32)

ISBN 978-9943-06-584-0

© И.А. Циндидис, Е.В. Маслова.
© Издательство Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои, 2016 г.

ВВЕДЕНИЕ

«Изучить поэта значит не только ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их... Пережить творения поэта значит переносить, перечувствовать в душе своей все богатство, всю глубину их содержания, переболеть их болезнями, перестрадать их скорбями, переблаженствовать их радостью, их торжеством, их надеждами. Нельзя понять поэта, не будучи некоторое время под его исключительным влиянием, не полюбив смотреть его глазами, слышать его слухом, говорить его языком»(В.Г. Белинский).

Русская классическая литература имеет многовековую историю. Обращаясь к различным этапам ее развития, вы обнаружите удивительную вещь – отсутствие периода духовного младенчества, наивного ученичества.

Проникновение в художественный мир литературных гениев поможет различить подлинные тексты культуры и литературные подделки. «Видеть прекрасно изданную пустую книгу так же неприятно, как видеть пустого человека, пользующегося всеми материальными благами жизни», – писал В.Г. Белинский.

Вместе с тем следует заметить, что никакой учебник не может заменить удовольствия от чтения самого литературного произведения: он лишь необходимое подспорье в тот момент, когда возникает потребность «обменять эмоции на мысли», оценить и обсудить прочитанное на новом уровне его постижения. Как сказал великий русский классик Ф.М. Достоевский: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. Жизнь сделает остальное».

Пантеон славянских богов, видимо, не был сформирован окончательно. Исторические источники говорят о сыне неба Дажьбоге, о боге неба Свароге, о Сварожиче – боге огня, Перуне – боге-громовике, о боге Солнца Хорсе, о некоем существе женского пола, чьё имя не установлено. Культ этой богини-прародительницы выливается в фольклорное почитание Матери-Сырой Земли. Она «представлялась воображению обожествляющего природу славянина-язычника живым человекоподобным существом. Травы, цветы, кустарники и деревья, поднимавшиеся на её могучем теле, казались ему пышными волосами; каменные скалы принимал он за кости; цепкие корни деревьев заменяли жилы, кровью земли была сочившаяся из её недр вода… Рождавшая все плоды земные, богиня плодородия испытывала, по народному слову, не одно счастливое чувство материнства. Мучимая жаждой, она пила струившуюся с разверзавшихся над её лоном небес дождевую воду, содрогалась от испуга при землетрясениях, чутким сном засыпала при наступлении зимней стужи, прикрываясь от неё лебяжьим покровом снегов; вместе с приходом весны, с первым пригревом зачуявшего весну солнышка, пробуждалась она – могучая – к новой плодотворящей жизни, на радость всему живому миру, воскресающему от своих зимних страхов при первом весеннем вздохе земли… Против благоговейного почитания Матери-Сырой Земли восстали в XV–XVI столетиях строгие поборники буквы заветов Православия, громя в церковных стенах народное суеверие… Но грозные обличения не искоренили этого предания… Кто не захватит с собою в чужедальний путь горсть родной земли, тому никогда больше не увидеть родины… «Чем ушибся, тем и лечить!» – говорит народная Русь.

«Деление года у древних славян определялось теми естественными, для всех наглядными знамениями, какие даются самой природою. Год распадался на две половины: летнюю и зимнюю – и начинался с первого весеннего месяца – марта, так как именно с этой поры природа пробуждается от мертвенного сна к жизни и светлые боги приступают к созиданию своего благодатного царства». Повторяемость времён года – умирание и оживание природы – диктует ежегодно повторяющиеся действия земледельца. Отсюда и повторяемость обрядов. Жизнь идёт как бы по кругу, и самые главные для земледельца дни отмечаются особыми культовыми действиями, обрядами.

Календарь древних славян имеет прямое отношение к циклам сельскохозяйственных работ.

В основу всего календаря лёг миф о Солнце как о живом существе, гибнущем и воскресающем, борющемся со сном. Главные праздники – дни зимнего и летнего солнцестояния: 22 декабря – Коляда и 24 июня – праздник Ивана Купалы.

Народный календарь – мифопоэтическое представление о времени. Календарь упорядочивает, выстраивает в определённую последовательность функционирование космоса, поэтому календарь священен. Люди пытались упорядочить хаос, чтобы понять и подчинить его себе. Для народа существовало два времени года – зима и лето («Зимой и летом одним цветом»). «Лето» – синоним года («Сколько тебе лет?»). Сутки связывали с солнечным циклом, месяц – с лунным. Показательно, что этимологи возводят происхождение слова «месяц» к словам «мерить», «измерять». «Неделя» – от слова «неделимое» (позже «неделей» стали называть воскресенье – неделимое на занятия, день для себя, праздничный день). В бытийном плане календарь – это совокупность ритуалов и праздников. Вообще, полезно разграничить в значении слова «ритуал», «праздник», «обряд», «обычай». Найти значение этих слов в словаре и подобрать к ним однокоренные слова – вполне посильная работа для ваших учеников.

Ритуал – церемония, преследующая магическую цель.

Обряд – «совокупность действий, установленных обычаем, в которых воплощаются какие-нибудь религиозные представления или бытовые традиции» (Словарь Ожегова). Обряд – «введённый законом или обычаем порядок в чём-либо; внешняя обстановка какого-нибудь действия условными околичностями; церемония, законный порядок...» (Словарь Даля). Очевидна связь со словами «порядок», «наряд» (нарядиться). Обряд, если можно так выразиться, некая схема общения с обожествлённым явлением природы. Определённые слова, связанные с определёнными действиями, помогают человеку установить отношения с окружающим его миром. Потому слово и действие наделяются при этом магической, «заклинательной» силой. Всякий обряд совершается в переломный момент жизни человека и общества.

Обычай – всякий установленный, традиционный порядок действий, обряд – ритуал.

«Праздник – в архаичной мифопоэтической традиции временной отрезок, особо связанный с сакральным, предполагающий максимальную связь всех участников в нём и причастность к этому сакральному».

Культ природы и культ предков, лежащие в основе мифологического сознания, ярко отражаются в обрядах. Предков поминали и на Святки, и на Масленицу (не случайны блины), и на русальную неделю, предшествующую Троице, и в праздник Радуницы. «Столь частые поминовения предков, по всей вероятности, связаны с тем, что культ мёртвых стоит в связи с земледельческими интересами и стремлениями. Умершие по античным представлениям имели большую власть над землёй, они воссылали урожай и неурожай... Земля и покойники (не души, а сами покойники) сливаются в единое целое. Поэтому забота о посевах сочетается с заботой о покойниках» (В.Я. Пропп).

Главный зимний языческий праздник – Коляда, совместившийся позже со Святками. Слово «коляда» родственно слову «calare» *(лат.)* – выкликать. Жрец в древнем Риме выкликал начало каждого месяца. Отсюда же и слово «календарь». Святки, продолжающиеся двенадцать дней – от Рождества Христова до Богоявления, совмещают в себе христианские и языческие черты. Коляда связана с представлением об «умирании» солнца: оно описало свой годовой путь вокруг мирового древа. Ночь перед возрождением солнца – ночь хаоса, противопоставляющего себя космосу – мировому порядку. Это как бы ситуация «начала мира». Это опасное время, когда потусторонний мир как бы приближается к человеку, границы между своим и чужим миром стираются. Именно поэтому так распространено в Святки «ряженье» – скрывание лица под личиной.

Древняя вера человека в существование сверхъестественных сил порождала необходимость их изображения в песнях. «Заклинательные», магические песни, исполняемые на Коляду, назывались колядками (овсенями, виноградьями).

Пришла Коляда
Накануне Рождества.
Дайте коровку,
Масляну головку!
А дай Бог тому,
Кто в этом дому!
Ему рожь густа,
Рожь ужниста;
Ему с колоса осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна – пирог.

Наделил бы вас Господь
И житьём, и бытьём,
И богатством,
И создай вам, Господи,
Ещё лучше того!

Смысл любой колядки в своеобразном «закликании» счастья и богатства щедрому хозяину. Чем больше отдаст он колядующим, тем больше обретёт в грядущем году. Угощение – признак полноты дома. Колядка – песня-заклинание, песня-заговор, условная магическая игра хозяина и колядовщиков.

Полезно прокомментировать колядку построчно – это позволит обобщить уже известное и показать «концентрацию» бытового и магического смысла в казалось бы не очень замысловатой песне. *«Пришла Коляда...»* – уже в первой строчке отразилось «наслоение культурных пластов», связанное со сферой и формой бытования фольклора. *«Дайте коровку, масляну головку»* – речь идёт о печенье. Но случайно ли оно печётся в виде «коровки»? С одной стороны, намечается связь с культом животных, а с другой – небесполезно обратить внимание на возможное родство слова «корова» со словами «каравай», «хорс», «колесо». «На Святках делали из теста изображения животных («козули»), ставили их на окно, дарили, хранили до будущего года, давали скоту. Обряд сохранения и приумножения скота...» (В.Я. Пропп). *«А дай Бог тому, кто в этом дому»* – заклинание, произнесённое на праздник, непременно должно исполниться. Собиратели фольклора рассказывают, что люди, к которым приходили в гости колядующие, буквально заваливали их подарками. Почему? А потому что верили: воздастся за это сторицей. Современные пожелания на Новый год – далёкие потомки древних обрядовых песен-пожеланий. *«Ему с колосу осьмина, из зерна ему коврига, из полузерна – пирог»* – колядка отражает народный быт, многократно преувеличивая успехи земледельческих работ.

Композиция колядок проста: формула прихода праздника, потом – формула поиска дома, его описания (с преувеличением), формула восхваления хозяев, просьба и в финале – пожелание или угроза:

Не дашь пирога – мы корову за рога.
Не дашь кишку –
Мы свинью за виску.
Не дашь блинка –
Мы хозяина в пинка.

Коляда – зимний праздник. Однако речь в колядках нередко заходит о посеве и урожае. Хороший урожай – самая большая радость, которую можно пожелать крестьянину.

В одной из колядок поётся:

А Иванов двор –
На семи столбах;
Вокруг этого двора
Тын серебряный стоит;
Вокруг этого тына
Всё шелковая трава;
На всякой тынинке
По жемчужинке.
Во этом во тыну
Стоят три терема
Златоверхие.

Могли ли колядующие исполнять эту песню не только перед богатым домом, а и перед обычной крестьянской избой? Конечно, ведь один из способов приобретения желаемого – изображение того, что желаешь – это магия слова, в которую верили наши предки. И преувеличение в данном случае тоже играет своеобразную магическую роль. Часто это преувеличение неправдоподобно, чрезмерно. Этот художественный приём называют ***гиперболой.***

Гипербола часто применяется в фольклорных жанрах: в первом примере (из былины) она необходима для описания существа, с которым предстоит справиться богатырю и тем самым прославить его (богатыря) силу. Второй пример – своеобразная сказочная «формула» дальности и трудности пути в чужой мир для героя или героини сказки; третий пример – гипербола применяется для усиления комизма в дразнилке. В колядках гипербола по сути дела не является художественным средством, она возникает как магическая формула богатства, необходимая во время колядования.

Полезным и весёлым может стать такое задание: продолжить характеристики с помощью гипербол.

Мой сосед по парте так умён, что…
Я такой сильный, что…
Я могу так закричать, что…

С праздником Коляды связан и обычай гадания. Действительно, когда ещё удобнее обратиться к «иному» миру, как не в ночь его влады-

чества на земле? Гадания бывают нестрашные (на вещах, на курицах, у ворот, башмаком, подслушивание и так далее) и страшные, когда человек пытался узнать будущее, выходя на «прямой контакт» с «иным» миром – таковы, например, гадания на перекрёстке дорог или гадание с зеркалом. Весьма распространённый вид нестрашного святочного гадания – гадание на вещах, сопровождаемое подблюдными песнями. Гадавшие (а это, как правило, были девушки) собирали в одну чашу (блюдо) украшения, накрывали чашу платком и под пение подблюдных песен вынимали наугад украшение из чаши. Чьё было украшение – той в песне и была предсказана судьба. При первом исполнении (а желательно всё-таки, чтобы подблюдные песни именно пелись учителем) содержание этих песен может показаться странным: в них поётся о курочке, о воробье, о золоте. То, о чём поётся, не называется прямо.

Рылась курочка
На завалинке,
Вырыла курочка
Золот перстень.
Мне тем перстнем
Обручатися.
Кому вынется –
Тому сбудется,
Не минуется.
Слава!
(Означает венчание.)
Сидит воробей
Под застрехою.
Слава!
Глядит воробей
На чужую сторону.
Слава!
Кому мы спели,
Тому добро.
Слава!
Кому вынется,
Тому сбудется.
Слава!
(Означает дорогу.)

Иносказательность подблюдных песен можно объяснить условиями ритуала: люди стремились *разгадать* судьбу. Композиция под-

блюдных песен содержит две основные части – рассказ о том, какая судьба ждёт кого-то из гадающих, а во второй части эта судьба заклинается. Слова, скрытые иносказанием, обозначают абстрактные, отвлечённые понятия: смерть, разлуку, богатство, свадьбу, венчание и тому подобное. Эти понятия заменяются в тексте подблюдных песен совершенно определёнными существами или предметами: по крайней мере, никому из гадающих не надо было объяснять, что обозначает та или иная подблюдная песня. Такой художественный приём условились называть *аллегорией*, что тоже обозначает «иносказание», только по-гречески. Аллегория – конкретное изображение предмета или явления, заменяющее абстрактное понятие или мысль. Наверное, ребята сами смогут определить, какое аллегорическое значение имеют золотое кольцо, голубь с веткой в клюве, чаша, обвитая змеёй, старуха с косой в руках. Вернувшись к приведённому выше примеру из поэмы В.В. Маяковского, можно поговорить об аллегоричности образа России в нём. Развёрнутой аллегорией может стать всё произведение: в этой связи можно обсудить с детьми, например, стихотворение Пушкина «Три ключа» или Лермонтова «Чаша жизни». Важно отметить, что художественный приём вновь рождается из той магической, особой роли, которую имело слово в представлении наших предков.

Говоря о календарных обрядах, нельзя не упомянуть ещё несколько важнейших праздников.

Масленица – праздник хозяйственного изобилия и прощания с зимой. Обряды масленичной недели имели целью помочь солнцу продвинуться по кругу, ускорить конец зимы. Поэтому на Масленицу катались на лошадях вокруг села, носили на шестах горящие колеса (символ солнца), главную роль на праздничном столе отводили блинам (изображению солнечного диска). На масленичном костре сжигали Масленицу – соломенное чучело. Проводы-похороны сопровождались пением, ритуальным смехом, шутовским действием. Смех должен был утвердить жизнь, весну, тепло.

«В праздничную неделю старались как можно больше съесть и выпить. По пословице, надо «есть до икоты, пить до перхоты», петь до надсады, плясать до упаду». Комичен в народном представлении и образ Масленицы: «широкорожая», «курносая», «кривошеея», «голошеея», «кургузая» баба, грязнуля, обжора («блиноеда», «поли-

зуха»), забияка («колотуха»), воровка («обируха»), врунья («обмануха»), «которую ждут» (И. Земцовский).

День Ивана Купалы – кульминация земельного годичного круга – ночь на 25 июля.

Иван да Марья
В реке купались.
Где Иван купался,
Берег колыхался,
Где Марья купалась,
Трава расстилалась.
Девицы цветы щипали
Да у Ивана пытали:
«Что это за цветы?»
«Это цветы Купалы.
Девицам — умыванье,
А парням — воздыханье!»

Цветы обладают таинственной силой и связаны с не менее таинственной (или таинственным) Купалой, да и сама первая строчка песни, повествуя о парне и девушке, напоминает название цветка. Кроме того, в ней описано, конечно, не просто купание, а некий обряд, магическое действие, совершаемое в праздник Ивана Купалы. Это древний славянский праздник, посвящённый солнцу – Яриле, не случайно он отмечается в день летнего солнцестояния и в ночь накануне этого дня. Это самый длинный день в году – солнце обладает наивысшей властью, свои необыкновенные свойства проявляет природа: травы, собранные накануне Ивана Купалы, обладают лечебной силой, целебна купальская роса. В эту ночь – единственный раз в году – расцветает, по преданию, дивный цветок папоротника, «цвет-огонь», дарованный богом Ярилой человеку, сорвав который станешь понимать язык зверей, птиц, растений. В честь Ярилы жгут костры, и молодёжь прыгает через них, как будто проходя через очистительную силу огня. Подобной силой обладает и вода. Праздник Ивана Купалы совмещает в себе языческое поклонение Яриле и христианский праздник в честь дня Рождества святого Иоанна Предтечи.

Этот праздник открывал цикл летних праздников – до августа, когда начинался праздник жатвы.

Давайте подумаем, с какими действиями были связаны следующие слова, какой обряд мог сопровождаться ими.

1.

Уж ты пташечка,
Ты залётная!
Ты слетай
На сине море,
Ты возьми
Ключи весенние,
Замкни зиму,
Отомкни лето!

2.

Пойдём, девочки,
Завивать веночки!
Завьём веночки,
Завьём зелёные,
Стой, мой веночек,
Всю недельку зелен,
А я, молодёшенька,
Весь год веселёшенька!

3.

Уж мы вьём-вьём бороду
У Василья на поле,
Завиваем бороду
У Ивановича нашего
На ниве великоей,
На полосе широкоей.

(Первый текст – так называемая «веснянка» – связан с обрядом «закликания» весны. Веснянки пелись в марте, это были хоровые переклички девушек – своеобразные песни-заговоры, «замыкающие» зиму, ускоряющие приход весны. Пекли специальные сдобы – в виде фигурок птиц (жаворонков), выпускали птиц из клеток на волю, как бы призывая их скорее принести весну.

Второй текст – семицко-троицкая песня – связан с празднованием Троицы, с завиванием и развиванием берёзки. Берёзку, венки бросали в воду, чтобы они могли передать земле свою растительную силу и чтобы узнать будущее: утонет венок – человек умрёт (архаичное поверье) или женится (более позднее).

Третья песня – жнивная. Представление о жатве как о завивании бороды, по предположению Забылина, восходит, возможно, к

тем временам, когда «почитали Волоса и поклонялись ему, как богу, имеющему попечение над скотом».

Все три песни наполнены символическими образами, имеющими опору в мифологическом взгляде на мир: ключи от весны, борода мифического существа, веночки – круг «энергетики» берёзки, в который замыкает себя человек.)

Семейные обряды и их поэзия

Изучение обряда – вещь чрезвычайно интересная и благодарная, если к теории прибавить «немного практики» – например, в конце декабря провести с детьми фольклорный праздник, приуроченный к Коляде. Конечно, этому должна предшествовать работа по изучению колядок и гаданий, обычаев и обряда в целом, необходимо выучить тексты колядок и уметь их исполнять. Завершением этого цикла уроков и может стать фольклорный праздник. Календарные и семейные обряды возникли на общей основе, они генетически связаны. Однако между ними существовало большое отличие. Героями календарной поэзии были обожествленные силы природы, герой семейных обрядов – реальный человек. Обряды сопутствовали многим событиям его жизни, среди которых важнейшими были рождение, вступление в брак и смерть. Наиболее развитым в художественном отношении был народный свадебный обряд, поэтому ниже он будет рассмотрен подробно.

Родильные обряды и обряды первого года жизни (периода младенчества) были наполнены ритуальными действиями магического характера: первое купание новорожденного, первое укладывание в колыбель, обряд угощения родственников и соседей («бабина каша»), обычай одаривания матери новорожденного и бабки-повитухи, обряд первого подпоясывания, первого пострижения и др. Действия имели две направленности: оберегание новорожденного и его матери и обеспечение ему благополучной и долгой жизни. Следы ритуальных песен-пожеланий сохранились в колыбельных песнях; в бытовой практике остались следы заговоров, например: *«Как с гуся вода, так с тебя хворь и боль»* (при купании). Христианское таинство крещения значительно потеснило древние родильные обряды.

Религиозное мировосприятие было также основой обряда похоронного. Вместе с тем православный похоронный ритуал воспринял и впитал в себя многие обряды и поверья, восходящие к язычеству. Смерть – это переход в инобытие, в древности осмыслявшийся как

инициация. Похоронный обряд пронизывает одна идея – убеждение в продолжении существования умершего. С одной стороны, покойного необходимо было умилостивить, облегчить ему путь в мир иной; с другой – требовалось обезопасить живых от возможных вредных действий покойного. На эти две цели была направлена самая разнообразная магия: обмывание умершего, одевание в новую одежду и обувь, вынос ногами вперед, осыпание зерном лавки, на которой лежал покойник, мытье избы после выноса тела, бросание в могилу денег (*«Чтобы душа имела чем заплатить за перевоз ее на тот свет»),* раздавание на похоронах милостыни, поминки (в день похорон – хоронили на третий день после смерти; на девятый, сороковой день, в годовщину). Поминки постепенно переходили в календарные поминальные обряды.

Похороны – это утрата близкого человека. Чувство горя выражали специальные поэтические произведения – причитания. Их начинали исполнять с наступления смерти, исполняли в течение всего похоронного обряда, а затем – на поминках. Кроме похоронных, известны причитания свадебные и рекрутские, вызванные предстоящей долгой, а возможно и вечной, разлукой. Провожая дочь в чужую дальнюю сторонушку или сына на службу государеву, мать оплакивала свое детище. Причитали и другие родственницы, причитала невеста. Несмотря на неоднократные церковные запреты оплакивать покойников, причитания дожили до наших дней.

Другой немаловажный тип древних обрядов связан с семейной жизнью. Особенно показательны в этом смысле свадебные обряды. Свадьба – не только личный, но и общественный праздник, именно публичностью регистрируется брак как социальный акт. До принятия христианства свадебные обряды – единственное подтверждение брака. Свадьба, известная нам, сложилась в XIII–XIV веках, в начале XVI века свадьба игралась уже по строго установленному чину. Словосочетание «сыграть свадьбу» донесло до наших времён отношение к обряду как к серьёзной игре. Главное действующее лицо в ней – невеста. Свадебная игра длилась несколько дней и начиналась со сватовства. Уже в первые моменты свадебной игры начинали звучать свадебные песни.

Свадьба – особое драматическое действо, состоящее из нескольких этапов: сватовство, смотрины, сговор, богомолье, девичник – мальчишник, расплетение косы, утро свадебного дня, сборы свадебного поезда во дворе жениха, приезд жениха, стол в доме невесты, молодые в доме жениха, большой стол, послесвадебные обряды.

Для каждого из этапов характерно исполнение определённых песен, соблюдение определённых правил, определённое поведение жениха, невесты, гостей. Для девушки свадьба – всегда расставание с родным домом, уход в чужую семью – в семью мужа. Это начало новой жизни, как бы переход в другое состояние, уход в чужой мир, и потому свадебные обряды были в чём-то близки похоронным.

Иносказательность, символичность присуща свадебным песням так же, как и другим фольклорным жанрам. Иносказания использовались с целью оберега от нечистых враждебных сил. Момент перехода героини в «чужой» мир – весьма опасное время, в которое герои свадебного действа наиболее уязвимы. И потому они не назывались прямо (*утица* – невеста, *сокол* – сват). На основе поэзии иносказания возникают песни с традиционными образами, которые потом нередко становятся предметом поэзии (невеста – *лебедушка*).

Свадебные песни следят за ходом обряда, усиливают его эмоциональную сторону. Наиболее распространены причитания, величания, песни. У них – особая свадебная обрядовая функция, они не исполнялись вне обряда и были связаны с конкретной целью обрядового действия. Причитание было своеобразным фоном свадьбы. Главный мотив – нежелание идти замуж, скорбь об окончании жизни у родителей. Уход из семьи представляется как невольный. Обряд обязывал к причитаниям: реальный страх перед будущим соединялся с нарочитым изображением горя. Важная особенность величальных песен в том, что объектом их становится не обрядовое действие, а человек. Сюжетные ситуации, если и есть, очень условны и символичны.

Необрядовая поэзия

Загадки

Загадка — это иносказательное описание какого-либо предмета или явления, данное обычно в форме вопроса. Загадки разнообразны по своему содержанию. Часто они носят описательный характер, включающий главные качества предметов или действий:

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу.
Больше греться не хочу.
Крышка громко зазвенела:
«Пейте чай, вода вскипела!»
(Чайник)

Пословицы и поговорки

Пословицы и поговорки возникли в глубокой древности и с той поры сопутствуют народу во всем, на протяжении всей истории. Пословицы и поговорки являются самым любопытным жанром фольклора. Их изучали многие ученые разных уголков нашего Земного шара, но они до сих пор остаются до конца не разгаданными. Под пословицами, в широком смысле, мы понимаем краткие народные изречения, имеющие поучительный смысл и передаваемые народом из поколения в поколение. Поговорка же в свою очередь — это широко распространенное образное выражение, которое не имеет обобщающего смысла и поучительной тенденции. Также их называют языковыми афоризмами. Пословицы и поговорки легко запоминаются, так как они имеют рифму. С уверенностью можно сказать, что их не вспоминают без повода и причины. Они всегда приходят нам на память при разговоре, к случаю. Также можно отметить, что пословицы и поговорки содержат прямой совет и подсказывают, как поступить в данной ситуации.

В том числе, пословицы и поговорки играют важную роль в обучении ребенка. Их начинают изучать уже с первых дней ребенка в школе, они используются на каждом уроке. Но на этом их слава не заканчивается, так как их также часто употребляют в беседах с детьми и в сценариях школьных праздников.

Пословицы и поговорки шагают с нами на протяжении всей нашей жизни. Из вышесказанного можно сделать вывод, что они помогают жить людям.

Алмаз и в грязи виден.
Алмаз алмазом режется.
Глаз как алмаз.
Тверд как алмаз

Мало аттестат взять, надо его оправдать.
Хороший аттестат не родня плохой работе.
Где аккуратность, там и опрятность.
Кто аккуратен, тот и людям приятен

В чужих руках ломоть велик, а как нам достанется – мал покажется.
В чужих руках ноготок с локоток.

Жадность – что река: чем дальше, тем шире.
Железо ржа съедает, а завистливый от зависти погибает.

Не кричи о себе – пусть другие о тебе хоть тихо скажут.
Овсяная каша сама себя хвалит, а гречневую люди хвалят.
Слышен звон, да что толку в нем.

Горе да беда – с кем не была.
Горе да нужду обухом не перешибешь.
Горе заставит – бык соловьем запоет.

Маленькое дело лучше большого безделья.
От безделья собака на ветер лает.
Пошел за делом, а воротился с бездельем.

Береженая вещь два века служит.
Бережливого коня и зверь в поле не берет.
Бережливость дороже богатства.

И языком болтает, и пальцем тычет, а все толку нет.
От бестолкового человека – бестолковые речи.
Сидит да глазами хлопает.

Семь ворот, и все на огород: двое не запираются, а остальные в огороде валяются.
Червь дерево точит, а плохая хозяйка дом изводит.

Честь ум рождает, а бесчестье последний отнимает.

Богатому ни правды, ни дружбы не знавать.
Богатство добыть – и братство забыть.
Богатство на час, а бедность до веку.
Болезнь – не беда, коли есть хлеб да вода: хлеб выкормит, вода выпоит.
Болезнь не по лесу ходит, а по людям.

СКАЗКИ

Сказка фольклорная – эпический жанр письменного и устного народного творчества: прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в фольклоре разных народов. Вид повествовательного, в основном, прозаического фольклора (*сказочная проза*), включающий в себя разножанровые произведения, тексты которых опираются на вымысел. Сказочный фольклор противостоит «достоверному» фольклорному повествованию (*несказочная проза*) (см. миф, былина, историческая песня,духовные стихи, легенда, демонологические рассказы, сказ, предание,быличка).

Классификация фольклорной сказки

Фольклорная сказка включает несколько жанров (по другой классификации – жанровых разновидностей одного жанра сказки). В науке о сказке существует проблема классификации сказочных жанров. В «Сравнительном Указателе Сюжетов: Восточнославянская сказка», созданном на основе указателя Аарне, в котором систематизирована европейская, а потом, в последующих редакциях, Стита Томпсона (Thompson Stith) (см.Указатель сюжетов фольклорной сказки), сказка народов мира, представлены следующие жанры сказочного фольклора:

1. Сказки о животных, растениях, неживой природе и предметах.
2. Волшебные сказки.
3. Легендарные сказки.
4. Новеллистические (бытовые) сказки.
5. Сказки об одураченном чёрте.
6. Анекдоты.
7. Небылицы.
8. Кумулятивные сказки.
9. Докучные сказки.

Многие фольклористы (В.Я. Пропп, Э.В. Померанцева, Ю.И. Юдин, Т.В. Зуева) различают в составе жанра «Бытовые сказки» две жанровые разновидности: новеллистические и анекдотические сказки. Анекдотические сказки вбирают в себя сюжеты из группы «Сказки об одураченном чёрте», многие сюжеты, отнесённые к анекдотам, некоторые сюжеты, включённые в раздел новеллистические сказки, и некоторые сюжеты, причисленные к волшебным сказкам.

В повествовательном фольклоре не всегда можно провести чёткую границу между жанрами. Так, легендарная сказка может совмещать признаки сказки и легенды, а прозаические переделки былин могут быть отнесены в особую жанровую группу «Богатырская сказка». Изменение отношения к действительности носителей фольклора изменяет принадлежность повествования к тому или иному фольклорному жанру.

Сказка о животных

Сказка о животных (животный эпос) – это совокупность (конгломерат) разножанровых произведений сказочного фольклора (сказка), в которых в качестве главных героев выступают животные, птицы, рыбы, а также предметы, растения и явления природы. В сказках о животных человек либо 1) играет второстепенную роль (старик из сказки «Лиса крадёт рыбу из воза (саней)»), либо 2) занимает положение, равноценное животному (мужик из сказки «Старая хлеб-соль забывается»).

Возможная классификация сказки о животных.

Прежде всего, сказка о животных классифицируется по главному герою (тематическая классификация). Такая классификация приведена в указателе сказочных сюжетов мирового фольклора, составленного Аарне-Томпсоном и в «Сравнительном указателе сюжетов. Восточнославянская сказка»:

1. Дикие животные.
• Лиса.
• Другие дикие животные.
2. Дикие и домашние животные.
3. Человек и дикие животные.
4. Домашние животные.
5. Птицы и рыбы.
6. Другие животные, предметы, растения и явления природы.

Следующая возможная классификация сказки о животных – это структурно-семантическая классификация, которая классифицирует сказку по жанровому признаку. В сказке о животных выделяют несколько жанров. В.Я. Пропп выделял такие жанры как:

1. Кумулятивная сказка о животных.
2. Волшебная сказка о животных.
3. Басня (аполог).
4. Сатирическая сказка.

Е.А. Костюхин выделял жанры о животных как:

1. Комическая (бытовая) сказка о животных.
2. Волшебная сказка о животных.
3. Кумулятивная сказка о животных.
4. Новеллистическая сказка о животных.
5. Аполог (басня).
6. Анекдот.
7. Сатирическая сказка о животных.
8. Легенды, предания, бытовые рассказы о животных.
9. Небылицы.

В.Я. Пропп, в основу своей классификации сказки о животных по жанрам, пытался положить формальный признак. Е.А. Костюхин же, в основу своей классификации, отчасти положил формальный признак, но в основном исследователь разделяет жанры сказки о животных по содержанию. Это позволяет глубже понять разнообразный материал сказки о животных, который демонстрирует разнообразие структурных построений, пестроту стилей, богатство содержания.

Третья возможная классификация сказки о животных является классификации по признаку целевой аудитории. Выделяют сказки о животных:

1. Детские сказки.

• Сказки, рассказанные для детей.
• Сказки, рассказанные детьми.

2. Взрослые сказки.

Тот или иной жанр сказки о животных имеет свою целевую аудиторию. Современная русская сказка о животных в основном принадлежит детской аудитории. Таким образом, сказки, рассказанные для детей, имеют упрощённую структуру. Но есть жанр сказки о животных, который никогда не будет адресован детям – это т. н. «Озорная» сказка.

Около двадцати сюжетов сказок о животных – это кумулятивные сказки. Принцип такой композиции заключается в многократном повторении единицы сюжета. С. Томпсон (англ.) русск., Болте, Й. и Поливка, В.Я. Пропп выделяли сказки с кумулятивной композицией в особую группу сказок. Кумулятивную (цепевидную) композицию различают:

1. С бесконечным повторением:

• Докучные сказки типа «Про белого бычка».

• Единица текста включается в другой текст («У попа была собака»).

2. С конечным повторением:

• «Репка» – нарастают единицы сюжета в цепь, пока цепь не оборвётся.

• «Петушок подавился» – происходит расплетание цепи, пока цепь не оборвётся.

• «За скалочку уточку» – предыдущая единица текста отрицается в следующем эпизоде.

Сказки о животных – «Волк, лиса и медведь»

(Ключевые слова: Лиса, волк и медведь, Русская народная сказка «Лиса, волк и медведь»)

Однажды говорит волк с лисой (стоят на поляне они), к ним подходит медведь.

– Откуда ты, мишенька? – говорит лиса.

– Да слышу ваш голос – и подошел. Что-то вы так горюете, что вам – плохо жить?

– Да, плохо. Когда народ живет богато, то нам, зверям, плоховато. Ведь, бывало, овцы ночуют прямо на поле. И вот, подойдешь, возьмешь овцу и потянешь, – говорит волк. – Вот и мясо. Это летом. А зимою подойдешь к деревне и слышишь, где нет собаки, туда сразу идешь и чуешь запах овчарни. Овчарники были из хвороста сплетенные. Дернешь два раза зубами – и дыра. Возьмешь ягненка да – ходу. А теперь овец загоняют в загородку: стальная проволока, из нее сделана сетка и железные ворота. А зимой у всех добротные овчарники. Вот и возьми – попробуй!

– Да, я верю, – говорит лиса. – Мне тоже очень голодно, потому что люди живут хорошо. У всех сараи добротные, и негде курочкой поживиться.

А медведь говорит:

– А мне неплохо. Я не голодаю.

– А где же ты, мишенька, берешь себе продукты?

– Да я вся зиму сплю. А летом кушаю все подряд – всякие фрукты и могу пойти на пасеку и улей с медом принести.

Тут сразу лисе захотелось меду. Вот лиса и говорит:

– Давайте, друзья, жить коллективом.

– Это как? – спрашивает медведь.

– Да так! Все трое договоримся - кто чего достанет, то вот сюда принесет, на поляну, и будем все вместе кушать. И мы не будем голодать.

– Ну, ну, я согласен, – сказал волк.

И все пошли домой. А ночью пошли кто куда. Лиса пошла к пруду. А там была утка – запуталась в осоке ногами и никак не вылезет. Тут ее лиса схватила да ходу. Принесла в лее, половину съела, а то прибрала. А сама легла отдыхать. А как стало светать, так пошла на поляну. И ничего не принесла. И миша ничего не принес. А волк принес маленького поросенка. Тут лиса говорит:

– Давайте на троих делить... Это очень мало. Давайте отдадим тому, кто старше всех.

Тут медведь и спрашивает:

– Сколько тебе, лиса, лет?

– Да я, миша, давнишняя. На земле не была Ева, а я уже была, дева.

– А сколько тебе лет? – спросили волка.

– Я очень давнишний. Еще не был белый свет, а я уже был сед.

Тут сказал медведь:

– Значит, один стар, другой седой. А поросенок весь мой! – Взял поросенка и потащил в кусты.

Тогда лиса говорит волку:

– Ну, куманек, мы больше не будем жить коллективом, раз так миша поступил нечестно.

Ведь где в коллективе нет правды, там коллектив всегда распадается.

Волшебная сказка имеет в своей основе сложную композицию, которая имеет экспозицию, завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку (см. также Конфликт (литературоведение). По Проппу происходит от обряда инициации.

В основе сюжета волшебной сказки находится повествование о преодолении потери или недостачи, при помощи чудесных средств, или волшебных помощников. В экспозиции сказки присутствуют стабильно два поколения – старшее (царь с царицей и т. д.) и младшее – Иван с братьями или сёстрами. Также в экспозиции присутствует отлучка старшего поколения. Усиленная форма отлучки – смерть родителей. Завязка сказки состоит в том, что главный герой или героиня обнаруживают потерю или недостачу или же здесь

присутствуют мотивы запрета, нарушения запрета и последующая беда. Здесь начало противодействия, то есть отправка героя из дома.

Развитие сюжета – это поиск потерянного или недостающего.

Кульминация волшебной сказки состоит в том, что главный герой, или героиня сражаются с противоборствующей силой и всегда побеждают её (эквивалент сражения – разгадывание трудных задач, которые всегда разгадываются).

Развязка – это преодоление потери, или недостачи. Обычно герой (героиня) в конце «воцаряется» – то есть приобретает более высокий социальный статус, чем у него был в начале.

Новеллистическая сказка (или, *социально-бытовая*) имеет одинаковую с волшебной сказкой композицию, но качественно отличающаяся от неё. Сказка данного жанра прочно связана с реальностью, здесь существует лишь один, земной мир, и реалистично передаются особенности быта, а главный персонаж – *трикстер*, обычный человек из народной среды, борющийся за справедливость со власть предержащими и добивающийся своего с помощью смекалки, ловкости и хитрости.

«Лиса, Заяц и Петух»

Жили-были Лиса и Заяц. Жили они в одном лесу, неподалёку друг от друга. И вот, закончилось лето тёплое, наступила осень. Холодно стало в лесу. И решили они избушки на зиму построить. Лиса построила себе избушку ледяную, а Зайка – лубяную. Перезимовали они в новых избушках. Пришла весна-красна, пригрело солнце. У Лисы избушка растаяла, а зайкина стоит, как стояла. Так Лиса выгнала Зайку из его избушки и сама в ней жить осталась.

Вот, идёт Зайка вдоль дорожки и плачет. Ему навстречу Собака:

– Гав-гав! Что, Зайка, плачешь?

– Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы – ледяная. Пришла весна, у Лисы избушка растаяла. Так она меня из моей же избушки и выгнала.

– Гав! Не плачь, Зайка! Я твоему горю помогу! Пойдем, я её выгоню! Подошли они к избушке, собака залаяла:

– Гав-гав-гав! Пошла, Лиса, вон!

А Лиса им с печи:

– Щас как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!

Собака испугалась и убежала.

Зайчик опять идёт дорогой, плачет. Навстречу ему Медведь:

– О чём, Зайчик, плачешь?

– Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы – ледяная. Пришла весна, у Лисы избушка растаяла. Так она меня из моей же избушки и выгнала.

– Не плачь! Я твоему горю помогу, выгоню Лису!

– Нет, не поможешь! Собака гнала, не выгнала. И ты не выгонишь.

– Ну, то – Собака, а я – Медведь!

Подошли они к избёнке, Медведь как зарычит:

– Уходи, Лиса, вон!

А Лиса им с печи:

– Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам!

Медведь испугался и убежал.

Идёт опять Зайчик, ему навстречу Бык:

– Му-у-у-у! О чем, Зайчик, плачешь?

– Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы – ледяная. Пришла весна, у Лисы избушка растаяла и она меня из моей же избушки и выгнала.

– Му-у-у! Пойдём, я ее выгоню!

– Нет, Бык, не выгонишь! Собака гнала – не выгнала, Медведь гнал – не выгнал и тебе не выгнать!

– Да выгоню!

Подошли они к избёнке, Бык как заревел:

– Уходи, Лиса, вон!

А Лиса им с печи:

– Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!

Бык испугался и убежал.

Идёт опять Зайчик дорогой, плачет пуще прежнего. Ему навстречу Петух с косой:

– Куд-ку-да! О чём, Зайка, плачешь?

– Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы – ледяная. Пришла весна, у Лисы избушка растаяла. Так она меня из моей же избушки и выгнала.

– Пойдём, я твоему горю помогу, выгоню Лису!

– Нет, Петух, не поможешь! Собака гнала – не выгнала, Медведь гнал – не прогнал, Бык гнал – не выгнал!

– А я выгоню!

Подошли они к избёнке, Петух лапами затопал, крыльями забил:

– Кукареку-у! Иду на пятах, несу косу на плечах,
Хочу Лису посечи, слезай, Лиса, с печи!
Поди, Лиса, вон!
Лиса услыхала, испугалась и говорит:
– Обуваюсь!
Петух во второй раз:
– Кука-ре-ку! Иду на пятах, несу косу на плечах,
Хочу Лису посечи, слезай, Лиса, с печи!
Поди, Лиса, вон!
Лиса:
– Одеваюсь!
Вошёл Петух в избушку, да как закричит:
Я – петух-чебетух,
Я – певун-лопотун,
На коротких ногах,
На высоких пятах.
На плече косу несу,
Лисе голову снесу.
Испуганная Лиса тотчас выбежала из избушки – и только её и видели
Спасибо тебе, Петушок! – говорит Зайчик, – оставайся у меня жить!
И стали они жить в избушке вместе.
Вот и сказки конец!
А кто слушал – молодец!

БЫЛИНА

Былина – фольклорная эпическая песня, жанр, характерный для русской традиции. Основой сюжета былины является какое-либо героическое событие, либо примечательный эпизод русской истории (отсюда народное название былины – «старина», «старинушка», подразумевающее, что действие, о котором идет речь, имело место в прошлом). Термин «былина» в научный обиход был введен в 40-х годах XIX в. фольклористом И.П.Сахаровым (1807–1863).

Средства художественной выразительности. В течение многих столетий выработались своеобразные приемы, характерные для поэтики былины, а также способ их исполнения. В древности, как полагают, сказители подыгрывали себе на гуслях, позже былины

исполнялись речитативом. Для былин характерен особый чисто-тонический былинный стих (в основе которого лежит соизмеримость строк по количеству ударений, чем и достигается ритмическое единообразие). Хотя сказители использовали при исполнении былин всего несколько мелодий, они обогащали пение разнообразием интонаций, а также меняли тембр голоса.

Сюжеты былин. Количество былинных сюжетов, несмотря на множество записанных вариантов одной и той же былины, весьма ограничено: их около 100. Выделяют былины, в основе которых сватовство или борьба героя за жену (*Садко*, *Михайло Потык*, *Иван Годинович*, *Дунай*, *Козарин*, *Соловей Будимирович* и более поздние – *Алеша Попович и Елена Петровична*, *Хотен Блудович*); борьба с чудовищами (*Добрыня и змей*, *Алеша и Тугарин*, *Илья и Идолище*, *Илья и Соловей-разбойник*); борьба с иноземными захватчиками, в том числе: отражение татарских набегов (*Ссора Ильи с Владимиром*, *Илья и Калин*, *Добрыня и Василий Казимирович*), войны с литовцами (*Былина о наезде литовцев*).

Особняком стоят сатирические былины или былины-пародии (*Дюк Степанович*, *Состязание с Чурилой*).

Циклизация былин. Хотя в силу особых исторических условий на Руси так и не оформился цельный эпос, разрозненные эпические песни складываются в циклы либо вокруг какого-либо героя, либо по общности местности, где они бытовали. Классификации былин, которая была бы единодушно принята всеми исследователями, не существует, тем не менее, принято выделять былины киевского, или «владимирова», новгородского и московского циклов. Помимо них существуют былины, не вписывающиеся ни в какие циклы.

Киевский или «владимиров» цикл. В этих былинах богатыри собираются вокруг двора князя Владимира. Сам князь не совершает подвигов, однако, Киев – центр, который влечет героев, призванных защитить от врагов родину и веру. В.Я. Пропп полагает, что песни киевского цикла – явление не местное, характерное только для киевской области, напротив – былины этого цикла создавались по всей киевской Руси. С течением времени образ Владимира менялся, князь приобретал черты, изначально несвойственные для легендарного правителя, во многих былинах он труслив, подл, зачастую намеренно унижает героев (*Алеша Попович и Тугарин*, *Илья и Идолище*, *Ссора Ильи с Владимиром*).

Новгородский цикл. Былины резко отличаются от былин «владимирова» цикла, что неудивительно, поскольку Новгород никогда не знал татарского нашествия, а был крупнейшим торговым центром древней Руси. Герои новгородских былин (Садко, Василий Буслаев) также сильно отличаются от других.

Московский цикл. В этих былинах отразился быт высших слоев московского общества. В былинах о Хотене Блудовиче, Дюке и Чуриле содержится множество деталей, характерных для эпохи подъема Московского государства: описаны одежда, нравы и поведение горожан.

АЛЕША ПОПОВИЧ И ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Во славном было во городе во Ростове,
У того попа Ростовского
Едино было чадо милое,
Удал добрый молодец на возрасте,
По имени Алешенька млад.
И стал Алешенька конем владеть,
И стал Алешенька мечом владеть.
Приходит Алешенька ко своему родителю,
К тому попу Ростовскому,
И падает ему во резвы ноги
И просит у него благословеньица
Ехать да во чисто поле во раздольице,
К тому ли ко синю морю,
На те же тихи заводи –
Стрелять гусей, белых лебедей,
Перистых пушистых серых утицей,
И стрелять во мерочки во польские,
Во то ли вострие ножовое.
И просил он себе у родного батюшки,
У того ли попа Ростовского,
Себе дружинушку хорошую,
Хорошую да хоробрую.
И дал ему Ростовский поп,
Своему чаду милому,
Благословенье с буйной головы до резвых ног.

И пошел же Алешенька на конюшен двор
Со своей дружиною хороброю,
И брали они коней добрыих,
Надевали они на коней седелышка черкальские,
И затягивали подпруги шелковые,
И застегивали костылечки булатные
Во ту ли кость лошадиную,
И сами коню приговаривают:
«Уж ты, конь, ты, конь, лошадь добрая!
Не оставь ты, конь, во чистом поле
Серым волкам на растерзанье,
Черным воронам на возграенье,
А сильным поленицам на восхваленье».
Надевали на коней узду тесмяную,
И сами коню приговаривают:
«То не для-ради басы – ради крепости,
А не для-ради поездки богатырския,
Для-ради выслуги молодецкия».
Надевал Алешенька латы кольчужные,
Застегивал пуговки жемчужные
И нагрудничек булатный
И брал свою сбрую богатырскую:
Во-первых, копье долгомерное,
Во-вторых, саблю острую,
Во-третьих, палицу боевую,
В налушничек тугой лук
Да двенадцать стрелочек каленыих;
Не забыл чинжалище, свой острый нож.
Только видели удала, как в стремена вступил,
А не видели поездки богатырския;
Только видели: в чистом поле курева стоит,
Курева стоит да дым столбом валит.
У рек молодцы не стаивали,
Перевоза молодцы не крикивали.
Они ехали из утра день до вечера
И доехали до расстаньюшка великого
На три дорожечки широкие:
Первая дорожечка во Киев-град,

Друга дорожечка во Чернигов-град,
Третья дорожечка ко синю морю,
Ко тому ко камешку ко серому,
Ко тому ко бережку ко крутому,
На те же тихи вешни заводи.
И говорил тут Алеша Попович млад:
«Уж ты гой еси, дружина добрая!
В котору дорожку наш путь лежит –
В Киев ли ехать, аль в Чернигов,
Аль к тому морю синему?»
И говорит дружина хоробрая:
«Уж ты гой еси, Алеша Попович млад!
Если ехать нам да во Чернигов-град,
Есть во Чернигове вина заморские,
Вина заморские да заборчивые:
По стаканчику выпьем – по другому хочется,
А по третьему выпьешь – душа горит;
Есть там калашницы хорошие:
По калачику съедим – по другому хочется,
По другому съедим – по третьему душа горит.
Есть там девушки хорошие:
Если на девушку взглянешь, так загуляешься,
И пройдет про нас славушка немалая,
Ото востока слава до запада,
До того города до Ростовского,
До того ли попа до Ростовского,
До твоего батюшки-родителя.
Поедем-ка мы, Алешенька, в Киев-град
Божьим церквам помолитися,
Честным монастырям поклонитися».
И поехали они ко городу ко Киеву.
Под тем под городом под Киевом
Сослучилося несчастьице великое:
Обостала его сила неверная
Из той орды да великия,
По имени Василий Прекрасный,
И страшно, грозно подымается,
Нехорошими словами похваляется:

Хочет красен Киев в полон взять,
Святые церкви в огонь спустить,
А силу киевску с собою взять,
А князя Владимира повесить,
Евпраксию Никитичну взамуж взять.
И говорил-то тут Алеша Попович млад:
«Уж ты гой еси, дружинушка хоробрая!
Не поедем-ка мы теперича во Киев-град,
А напустимся на рать-силу великую,
На того ли Василия Прекрасного,
И слободим от беды красен Киев-град;
Выслуга наша не забудется,
А пройдет про нас слава великая
Про выслугу нашу богатырскую,
И узнат про нас старый казак Илья Муромец,
Илья Муромец сын Иванович,
Не дошедши старик нам поклонится».
И попускал он с дружинушкой хороброю
На ту силу-рать великую,
На того Василия Прекрасного,
И прибили тую силу-рать великую –
Кое сами, кое кони топчут,
И разбежалась рать-сила великая
По тому полю широкому,
По тем кустам ракитовым,
Очистила дорожку прямоезжую.
Заезжали они тогда во красен Киев-град,
Ко тем же ко честным монастырям.
И спросил-то их Владимир-князь:
«И откуль таки вы, добры молодцы,
И коими дорогами, каким путем?» –
«Заехали мы дорожкой прямоезжею».
И не просил их князь на почестен стол,
И садились тут добры молодцы на добрых коней,
И поехали они во чисто поле,
Ко тому ли городу Ростовскому,
Ко тому ли попу Ростовскому.
Прошла славушка немалая

От того ли города Ростовского
До того ли до города до Киева,
До тое ли горы до Черниговки,
До того ли шеломя окатистого,
До тое ли березоньки кудрявыя,
До того ли шатра белополотняного,
До того ли удала добра молодца,
А по имени Ильи Муромца,
Что очистилась дорожка прямоезжая
От того ли Алешеньки Поповича.
И сам же старый да удивляется:
Уж как ездили добры молодцы да по чисту полю,
А не заехали удалы добры молодцы ко старому
Хлеба-соли есть да пива с медом пить.
Садится стар да на добра коня,
Приезжает стар да в красен Киев-град,
Ко тому ли ко столбу точеному,
Ко тому ли колечку ко витому,
Ко тому ли дворцу княжевскому,
Ко тому ли крылечику прекрасному.
Не ясен сокол да опускается, –
А то стар казак с коня соскакивает,
Оставляет коня не приказана, не привязана;
Забегает стар на красно крыльцо,
И проходит новы сени,
И заходит во светлу гридню,
И приходит старый, богу молится,
На все стороны поклоняется,
Челом бьет ниже пояса:
«Уж ты здравствуешь, князь стольнокиевский!
Уж ты здравствуешь, Апраксия Королевична!
Поздравляем вас с победою немалою.
Залетали ль сюда добры молодцы,
По имени Алешенька Попович млад
Со своей дружинушкой хороброю?»
Отвечает ему князь стольнокиевский:
«Заезжали добры молодцы ко тем честным монастырям,

Уж я их к себе в дом да не принял,
И уехали они во далече чисто поле».
И сказал тут стар казак:
«Собери-тко-ся, князь Владимир, почестен пир,
Позови-тко-ся Алешу Поповича на почестен пир,
Посади-тко-ся Алешу во большо место
И употчуй-ко-ся Алешу зеленым вином,
Зеленым вином да медом сладкиим,
И подари-тко-ся Алешу подарочком великиим.
И прошла уж славушка немалая
Про того Алешеньку Поповича
До той орды до великия,
До той Литвы до поганыя,
До того Батея Батеевича». –
«Да кого же нам послать за Алешенькой,
Да попросить его на почестен пир?
И послать нам Добрынюшку Никитича».
И поехал Добрынюшка Никитич млад.
Не дошедши, Добрынюшка низко кланялся:
«Уж ты гой еси, Алеша Попович млад!
Поедем-ко-ся во красен Киев-град,
Ко ласкову князю ко Владимиру,
Хлеба-соли есть да пива с медом пить,
И хочет тебя князь пожаловать».
Ответ держит Алеша Попович млад:
«На приезде гостя не употчевал,
На отъезде гостя не употчевать».
Говорит тут Добрынюшка во второй након:
«Поедем, Алешенька, во красен Киев-град
Хлеба-соли есть, пива с медом пить,
И подарит тебя князь подарочком хорошиим.
Да еще звал тебя старый казак
Илья Муромец сын Иванович,
Да звал тебя Дунаюшко Иванович,
Да звал тебя Василий Касимеров,
Да звал тебя Потанюшко Хроменький,
Да звал тебя Михайлушко Игнатьевич».
Тогда садился Алеша на добра коня

С той дружинушкой хороброю,
Поехали они во далече чисто поле,
Ко тому ко граду ко Киеву.
И заезжают они не дорожкой, не воротами,
А скакали через стены городовые,
Мимо тое башенки наугольные,
Ко тому же ко двору княженецкому.
Не ясен сокол с воздуху спускается, –
А удалы добры молодцы
Со своих коней соскакивают –
У того же столба у точеного,
У того же колечка золоченого.
А оставили коней неприказанных, непривязанных.
Выходил тут на крыльцо старый казак
Со князем со Владимиром, со княгинюшкой Апраксиею;
По колено-то у Апраксии наряжены ноги в золоте,
А по локоть-то руки в скатном жемчуге,
На груди у Апраксии камень и цены ему нет.
Не дошедши, Апраксия низко поклонилася
И тому же Алешеньке Поповичу:
«Уж многолетно здравствуй, ясен сокол,
А по имени Алешенька Попович млад!
Победил ты немало силы нонь,
И слободил ты наш красен Киев-град
От того ли Василия Прекрасного;
Чем тебя мы станем теперь, Алешу, жаловать?
Пожаловать нам села с приселками,
А города с пригородками!
И тебе будет казна не затворена,
И пожалуй-ко-ся ты к нам на почестен стол».
И брала Алешеньку за белу руку,
И вела его в гридни столовые,
Садила за столы дубовые,
За скатерти перчатные,
За кушанья сахарные,
За напитки разналивчатые,
За тую же за матушку белу лебедь.

Да сказал же тут Владимир стольнокиевский:
«Слуги верные, наливайте-ткось зелена вина,
А не малую чарочку – в полтора ведра;
Наливайте-ткось еще меду сладкого,
Наливайте-ткось еще пива пьяного,
А всего четыре ведра с половиною».
И принимает Алешенька одною рукой,
И отдает чело на все четыре стороны,
И выпивал Алешенька чары досуха;
А особенно поклонился старику Илье Муромцу.
И тут-то добры молодцы поназванились:
Назвался старый братом старшиим,
А середниим – Добрынюшка Никитич млад,
А в-третьих – Алешенька Попович млад,
И стали Алешеньку тут жаловать:
Села с приселками, города с пригородками,
А казна-то была ему не закрыта.
И ставал тут Алеша на резвы ноги,
И говорил Алеша таково слово:
«Не надоть мне-ка села с приселками,
Не надоть мне городов с пригородками,
Не надоть мне золотой казны,
А дай-ка мне волю по городу Киеву,
И чтобы мне-ка кабаки были не заперты,
А в трактирах чтобы гулять дозволялося».
И брал он тут свою дружинушку хорошую да хоробрую
И своих братьицей названых.
И гуляли они времени немало тут, –
Гуляли неделю, гуляли две,
А на третью неделю просыпалися,
И садилися удалы на добрых коней,
Поехали во далече чисто поле,
Во то раздольице широкое.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Чадо, собери разум сердца своего и внимай словам породившего тебя, ибо не во вред душе твоей, но во укрепление разума...» – эти строки отцовского наставления из Изборника 1076 года звучат как обращение к потомкам. Вне этой духовной преемственности, этой животворной связи времен невозможно «самостоянье человека» (Пушкин).

Литература Древней Руси одна из старейших в Европе, часть самобытнейшей культуры русского народа, и по сей день остается хранительницей духовных основ.

Средневековье – эпоха формирования наций и языков, оставившая нам многочисленные памятники архитектуры, живописи, литературы, тесно связанные с религиозной традицией. Пришедшее на Русь христианство (X в.) сформировало определенные эстетические каноны и создало ценности, без которых невозможно понять особенности сознания человека того времени. Таким образом, русский человек осознавал себя частью единого славянского мира, общей веры. «...Славяне, приняв христианскую веру, заимствовали с нею новые мысли, изобрели новые слова, выражения, и язык их в средних веках, без сомнения, так же отличался от древнего, как уже отличается от нашего», – писал Н.М. Карамзин в своей «Истории государства Российского».

Перенесение достижений византийской культуры на славянскую почву способствовало интенсивному распространению христианской книжности на Руси, начиная с самого плодотворного «киевского» периода ее истории. Зримым, «буквенным» носителем живого слова русских книжников явилась славянская азбука – «кириллица», созданная в 863 году просветителями Кириллом и Мефодием, тогда как духовные истоки летописного творчества кроются в народных преданиях и поэтическом фольклоре.

Сами книги являлись своего рода произведениями искусства, украшающими монастырские и княжеские библиотеки. Но главная их ценность, заключалась в их духовном содержании, имеющем нравственно-воспитательное значение. «Подобно тому как разум растет от истоков своих, так праведник – от читаных книг: воина красота – в оружии, а корабля – в парусах, но праведника – в чтении книг» – эти слова принадлежат безымянному старцу, чья мудрость запечатлена в одном из книжных поучении XI века. В «Повести вре-

менных лет» книги сравниваются с реками, которые «напоят вселенную» и являются «уздой воздержания».

Приступая к изучению произведений древнерусской литературы, необходимо учитывать их специфику, и прежде всего рукописный характер их изначального бытования. Текст произведения мог иметь несколько списков, причем переписчики нередко вносили в первоисточник изменения, продиктованные потребностями своего времени, новыми художественными и идейными установками. Вместе с тем пишущие исходно следовали строгим книжным канонам, обязательному литературному этикету, ориентированному на библейские тексты и византийские образы с их красочным и замысловато-поэтичным языком, опирающимся на определенные трафаретные конструкции и формы.

Традиционность древнерусской литературы следует понимать не как упрощенность и творческое безличие, а как мировоззренческую целостность, определяющую для нашего древнего соотечественника *русскую картину мира*. Следование традиции направляло творчество художника, влияя и на выбор им образной символики, и на нравственную оценку изображаемого.

Речь идет о целой *жанровой системе*, включающей жанры церковные (жития, поучения, проповеди, легенды о святых и монахах) и летописи, разного рода исторические хроники. Особо следует выделить жанр хождения, традиционно повествующего о путешествиях паломников по святым местам, но в ряде случаев выходящего за пределы церковной тематики (например, «Хождение за три моря» Афанасия Никитина). В целом можно говорить о литературе **церковной** и литературе *мирской, светской,* которые существовали не изолированно, а постоянно взаимодействуя друг с другом. Например, уникальный памятник русского Средневековья «Слово о полку Игореве» (XII в.), вобравший многие особенности современной ему литературной эпохи и одновременно обнаруживший черты литературного новаторства. Изучая любое древнерусское произведение, необходимо привлечь знания истории, обратиться к историко-культурному и историко-бытовому комментарию. Чтобы понять художественную специфику изучаемого текста, постарайтесь по возможности прочитать некоторые его фрагменты в оригинале, а затем – в переводе или поэтическом переложении.

Обратившись хотя бы к одному произведению из огромного пласта великой литературы, мы можем, как в капле воды, разглядеть в нем отражение целого – культуры страны, явившей миру образцы художественного воссоздания действительности и человека с высоких гуманистических позиций.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

У подлинных творений искусства нет срока давности...

В начале 90-х годов XVIII века собиратель русских древностей граф А.И. Мусин-Пушкин приобрел в Спасском монастыре в Ярославле интереснейшую рукопись – сборник XVI века, включающий поэму о походе князя Игоря Новгород-Северского против половцев. Копия списка была изготовлена для Екатерины Великой, ранее отдавшей распоряжение Святейшему Синоду о необходимости изучения древних рукописей, представляющих историческую ценность. О найденном сборнике как о пока еще «частном» факте в 1797 году упомянул поэт и драматург М.М. Херасков в примечании к тексту своей поэмы «Владимир»: «Недавно отыскана рукопись под названием: «Песнь о полку Игореве», неизвестным писателем сочиненная. Кажется, за многие до нас веки, в ней упоминается Баян – российский песнопевец». В том же году писатель и историк Н.М. Карамзин высоко отозвался о художественных достоинствах обнаруженного памятника, сравнив его с легендарными поэмами кельтского барда Оссиана. В 1812 году древний список с входящим в него «Словом о полку Игореве» погиб в огне московского пожара, сгорело и большинство экземпляров первого издания поэмы, подготовленного А.И. Мусиным-Пушкиным...

Каковы же источники сохранившегося текста поэмы? Это уже упомянутая екатерининская копия и издание 1800 года с имеющимися в них неточностями и «темными» местами. Именно с них начинается вторая жизнь этого удивительного творения безымянного русского гения, побудившего к сотворчеству многих отечественных поэтов – от В.А. Жуковского и А.Н. Майкова до К.Д. Бальмонта и Н.А. Заболоцкого (эти и многие другие авторы явились своеобразными «переводчиками» «Слова...», воплотив его в современном поэтическом слове). Так читатель обрел еще один шедевр поэзии – поэму о русских князьях и Русской земле, о далеком XII веке с его битвами, распрями, поражениями и победами. Ее

«Стоишь ты на обороне, прыщешь на воинов стрелами, гремишь о шлемы мечами булатными!»

Употребление множественного числа в этом описании укрупняет, гиперболизирует богатырскую фигуру князя, заставляя вспомнить о былинных приемах изображения воинских подвигов русских витязей («Куда, тур, поскачешь, своим златым шлемом посвечивая, там лежат поганые головы половецкие»).

Поражение Игорева войска болью откликается во всей Русской земле. «Что мне шумит, что мне звенит – издалека рано до зари?» – вопрошает автор поэмы, передавая свое ощущение разыгравшейся трагедии. «Никнет трава от жалости, а дерево с горем к земле приклонилось» – так откликается природа на случившееся у реки Каялы.

«Тут Игорь-князь пересел из седла золотого в седло рабское» – эта выразительная авторская метафора заключает в себе всю горечь плена, этого унизительнейшего для воина исхода битвы (вспомним слова Игоря в начале поэмы: «Лучше ведь убитым быть, чем плененным быть»). Не меньшую горечь испытывают те, для кого поражение русских на Каяле является личным несчастьем. Среди них – легендарный Святослав Киевский, когда-то нанесший половцам сокрушительное поражение и пленивший половецкого хана Кобяка. Рассказ Святослава о смутном сне, виденном им в Киеве на горах, – один из поэтичнейших эпизодов «Слова...». Сон Святослава полон тревожных предзнаменований, описанных в духе народных поверий: здесь и черное покрывало, и синее вино, «с горем смешанное», и жемчуг, символизирующий слезы.

Бояре подтверждают пророчество: «два солнца», Игорь и Всеволод, уже померкли, призвав беду на Русскую землю. Но истолкование вещего сна Святослава шире конкретного события, связанного с походом Игоря. Речь идет об общей для всех беде, незаживающей ране Руси – усобице, которая разъединила русских князей и ослабила славянское единство. Сон Святослава – еще одно напоминание о великой ответственности князей, грозное предупреждение о последствиях княжеского «неспособия», неготовности к мудрым решениям. Только один Святослав Киевский обратился к соплеменникам с «золотым словом, со слезами смешанным».

Гибель дружины Игоря, его ранение и плен представляют для автора-повествователя «обиду сего времени», требуют отмщения, которое возможно лишь при объединении усилий князей, составляю-

щих гордость Русской земли. Само поражение Игоря должно стать, по мнению автора поэмы, объединяющим фактором, стимулом к возрождению прежнего, сильного Киева, не ослабленного княжескими «крамолами». Вместе с тем судьба самого Игоря Святославича не забыта, не заслонена политическими воззваниями: центром изображения был и остается человек.

Именно к конкретному человеку обращены нежные слова Ярославны, для которой раны мужа вполне осязаемы, «приняты на себя». Плач Ярославны в Путивле – еще одна кульминация поэмы, вновь возвращающая нас к фольклорным истокам «Слова...». Ярославна заклинает природные силы помочь горячо любимому мужу вернуться домой, она и сама готова лететь «кукушкою по Дунаю», чтобы быть рядом с ним. Ее мольбы, обращенные к «ветру-ветриле», Днепру Славутичу и «трижды светлому солнцу», наполнены внутренней поэзией, вносящей в «трудные повести» об Игоревом походе глубокий лиризм. Между тем, как отмечает О.В. Творогов, даже в «интимном» лирическом плаче героини обнаруживаются общественные мотивы, столь важные для автора поэмы (Ярославна вспоминает о воинах Игоря, о походах легендарного Святослава Киевского на хана Кобяка).

«Плач Ярославны», выделяясь в поэме своим неповторимым звучанием, одновременно сливается с общим хором русских женщин, оплакивающих своих мужей:

Жены русские восплакались, приговаривая:
«Уже нам своих милых лад
ни мыслию не смыслить,
ни думою не сдумать,
ни глазами не повидать...»

Плач Ярославны, горе Русской земли словно пробуждают Игоря от тяжкого оцепенения, укрепляя его решение бежать из половецкого плена: «Игорь спит, / Игорь бдит, / Игорь мыслью поля мерит...» С удивительной психологической точностью автор передает состояние князя, мысленно измеряющего пространство, которое отделяет его от родной земли. И как стремительно набирает темп повествование, когда Игорь начинает свой путь к Донцу («Кликнула, стукнула земля...»).

Ясный, человечески понятный мотив бегства Игоря из неволи противопоставлен в поэме хитрости и коварству половцев: желая удержать «сокола» (Игоря) в своих руках, Гзак с Кончаком решают

судьбу «соколенка» (сына Игоря Владимира), которого надо либо «расстрелять золочеными стрелами», либо «опутать красною девицей». И все же ничто не может помешать возвращению князя-сокола в родимое гнездо, ибо «тяжко голове без плеч... так и Русской земле без Игоря».

Один из наиболее часто повторяющихся образов в «Слове...» – образ Русской земли. Родная земля чутко реагирует на происходящие в поэме события: она «стонет», «гудит», грустит и радуется, ей присуще родительское охранительное начало. Автор поэмы кровно связан с этой землей, ее бескрайними просторами и великими реками («Девицы поют на Дунае, – вьются голоса их через море до Киева»).

Авторская позиция в «Слове...» выходит за пределы, диктуемые узкосословными интересами или приверженностью какому-либо князю, – это позиция, патриотическая. Говоря об особенностях авторского «я» в «Слове о полку Игореве», не следует сводить их к сфере идеологической, забывая о том, что автор поэмы прежде всего художник, поэт, стремящийся в песенном слове воспроизвести события русской истории. Масштабность их исторического видения не исключает внимания автора к деталям, мельчайшим проявлениям природного и человеческого бытия, например, эпизод побега Игоря из плена, насыщенный зрительными и звуковыми образами:

Тогда вороны не граяли,
галки примолкли,
сороки не стрекотали,
только полозы ползали.

Кто же он, автор талантливейшей древнерусской поэмы? Книжник-златоуст, превзошедший в песенной славе легендарного скальда Бояна? Воин-защитник, словом и мечом служивший родной земле? Ясно одно: это человек, видящий смысл жизни в служении Святой Руси, в приумножении ее славы и могущества:

Здравы будьте, князья и дружина,
борясь за мирян
против нашествий поганых!
Князьям слава и дружине!
Аминь.

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Дословный перевод Д.С. Лихачева

Пристало ли нам, братья,
начать старыми словами
печальные повести о походе Игоревом,
Игоря Святославича?
Пусть начнётся же песнь эта
по былям нашего времени,
а не по замышлению Бояна.
Ибо Боян вещий,
если хотел кому песнь воспеть,
то растекался мыслию по древу,
серым волком по земле,
сизым орлом под облаками.
Вспоминал он, как говорил,
первых времён усобицы.
Тогда напускал десять соколов
на стаю лебедей,
и какую лебедь настигали –
та первой и пела песнь
старому Ярославу,
храброму Мстиславу,
что зарезал Редедю
пред полками касожскими,
прекрасному Роману Святославичу.
Боян же, братия, не десять соколов
на стаю лебедей напускал,
но свои вещие персты
на живые струны воскладал,
а они уже сами князьям славу рокотали.
Начнём же, братья, повесть эту
от старого Владимира до нынешнего Игоря,
который скрепил ум силою своею
и поострил сердце своё мужеством,
исполнившись ратного духа,
навёл свои храбрые полки
на землю Половецкую
за землю Русскую.

Тогда Игорь взглянул
на светлое солнце
и увидел, что оно тьмою
воинов его прикрыло.
И сказал Игорь дружине своей:
«Братья и дружина!
Лучше убитым быть,
чем плененным быть;
так сядем, братья,
на борзых коней
да посмотрим на синий Дон».
Страсть князю ум охватила,
и желание отведать Дон Великий
заслонило ему предзнаменование.
«Хочу, сказал, копье преломить
на границе поля Половецкого,
с вами, русичи, хочу либо голову сложить,
либо шлемом испить из Дона».

О Боян, соловей старого времени!
Вот бы ты походы эти воспел,
скача, соловей, по мысленному древу,
летая умом под облаками,
свивая славу обоих половин этого времени,
рыща по тропе Трояна
через поля на горы.
Так бы пришлось внуку Велеса
воспеть тогда песнь Игорю:
«Не буря соколов занесла
через поля широкие –
стаи галок несутся
к Дону Великому».
Или так запел бы ты,
вещий Боян, Велесов внук:
«Кони ржут за Сулой –
звенит слава в Киеве.
Трубы трубят в Новгороде,
стоят стяги в Путивле!»

Игорь ждет милого брата Всеволода.
И сказал ему буй тур Всеволод:
«Один брат,
один свет светлый –
ты, Игорь!
Оба мы Святославичи!
Седлай же, брат,
своих борзых коней,
а мои-то готовы,
уже оседланы у Курска.
А мои-то куряне опытные воины:
под трубами повиты,
под шлемами взлелеяны,
с конца копья вскормлены,
пути им ведомы,
овраги им знаемы,
луки у них натянуты,
колчаны отворены;
сами скачут, как серые волки в поле,
ища себе чести, а князю славы».

Тогда вступил Игорь-князь в золотое стремя
и поехал по чистому полю.
Солнце ему тьмою путь заграждало,
ночь стонами грозы птиц пробудила,
свист звериный поднялся,
встрепенулся Див, кличет на вершине дерева,
велит послушать земле неведомой,
Волге,
и Поморью,
и Посулью,
и Сурожу,
и Корсуню,
и тебе, Тмутороканский идол.

А половцы непроторенными дорогам
помчались к Дону Великому.
Кричат телеги в полуночи,
словно лебеди вспугнутые.

А Игорь к Дону войско ведёт!

Уже беду его подстерегают птицы
по дубравам,
волки грозу накликают
по оврагам,
орлы клёкотом зверей на кости зовут,
лисицы брешут на червлёные щиты.

О Русская земля! Уже ты за холмом!

Долго ночь меркнет.
Заря свет зажгла,
мгла поля покрыла,
щекот соловьиный уснул,
говор галочий пробудился.
Русичи великие поля
чевленими щитами перегородили,
ища себе чести, а князю славы.

Спозаранок в пятницу
потоптали они поганые полки половецкие
и, рассыпавшись стрелами по полю,
помчали красных девушек половецких,
а с ними золото, и паволоки,
и дорогие оксамиты.
Покрывалами, и плащами, и
кожухами
стали мосты мостить по болотам
и топям,
и дорогими нарядами половецкими.
Червлёный стяг,
белая хоругвь,
червлёный бунчук,
серебряное древко –
храброму Святославичу!

Дремлет в поле Олегово храброе гнездо.
Далеко залетело!

Не было оно в обиду порождено
ни соколу,
ни кречету,
ни тебе, чёрный ворон,
поганый половец!
Гзак бежит серым волком,
Кончак ему след указывает к Дону Великому.
Игорь ждет милого брата Всеволода.
И сказал ему буй тур Всеволод:
«Один брат,
один свет светлый –
ты, Игорь!
Оба мы Святославичи!
Седлай же, брат,
своих борзых коней,
а мои-то готовы,
уже оседланы у Курска.
А мои-то куряне опытные воины:
под трубами повиты,
под шлемами взлелеяны,
с конца копья вскормлены,
пути им ведомы,
овраги им знаемы,
луки у них натянуты,
колчаны отворены;
сами скачут, как серые волки в поле,
ища себе чести, а князю славы».
Тогда вступил Игорь-князь в золотое стремя
и поехал по чистому полю.
Солнце ему тьмою путь заграждало,
ночь стонами грозы птиц пробудила,
свист звериный поднялся,
встрепенулся Див, кличет на вершине дерева,
велит послушать земле неведомой,
Волге,
и Поморью,
и Посулью,
и Сурожу,

и Корсуню,
и тебе, Тмутороканский идол.

А половцы непроторенными дорогам
помчались к Дону Великому.
Кричат телеги в полуночи,
словно лебеди вспугнутые.

А Игорь к Дону войско ведёт!

Уже беду его подстерегают птицы
по дубравам,
волки грозу накликают
по оврагам,
орлы клёкотом зверей на кости зовут,
лисицы брешут на червлёные щиты.

О Русская земля! Уже ты за холмом!

Долго ночь меркнет.
Заря свет зажгла,
мгла поля покрыла,
щекот соловьиный уснул,
говор галочий пробудился.
Русичи великие поля
чевленими щитами перегородили,
ища себе чести, а князю славы.
Спозаранок в пятницу
потоптали они поганые полки половецкие
и, рассыпавшись стрелами по полю,
помчали красных девушек половецких,
а с ними золото, и паволоки,
и дорогие оксамиты.
Покрывалами, и плащами, и
кожухами
стали мосты мостить по болотам
и топям,
и дорогими нарядами половецкими.

Червлёный стяг,
белая хоругвь,
червлёный бунчук,
серебряное древко –
храброму Святославичу!

Дремлет в поле Олегово храброе гнездо.
Далеко залетело!
Не было оно в обиду порождено
ни соколу,
ни кречету,
ни тебе, чёрный ворон,
поганый половец!
Гзак бежит серым волком,
Кончак ему след указывает к Дону Великому.
На другой день спозаранку
кровавые зори свет возвещают,
чёрные тучи с моря идут,
хотят прикрыть четыре солнца,
а в них трепещут синие молнии.
Быть грому великому,
идти дождю стрелами с Дону Великого!
Тут копьям преломиться,
тут саблям побиться
о шеломы половецкие,
на реке Каяле,
у Дона Великого.
О Русская земля! Уже ты за холмом!

Вот ветры, внуки Стрибога, веют с моря стрелами
на храбрые полки Игоря.
Земля гудит,
реки мутно текут,
пыль поля прикрывает,
стяги говорят:
половцы идут от Дона
и от моря
и со всех сторон русские полки обступили.

Дети бесовы кликом поля перегородили,
а храбрые русичи перегородили червлёными
щитами.
Ярый тур Всеволод!
Бьёшься ты впереди,
прыщешь на воинов стрелами,
гремишь о шлемы мечами булатными.
Куда, тур, поскачешь,
своим золотым шлемом посвечивая, –
там лежат поганые головы половецкие.
Расщеплены шлемы аварские твоими саблями калёными,
ярый тур Всеволод!
Что тому раны, братья, кто забыл честь и богатство,
и города Чернигова отчий золотой престол,
и своей милой жены, желанной прекрасной Глебовны,
свычаи и обычаи!

Были века Трояновы,
Минули годы Ярославовы,
были и войны Олеговы,
Олега Святославича.
Тот ведь Олег мечом крамолу ковал
и стрелы по земле сеял.
Вступил в золотое стремя в городе Тмуторокани,
а звон тот же слышал давний великий Ярослав,
а сын Всеволода Владимир каждое утро уши закладывал в Чернигове.
А Бориса Вячеславича похвальба на смерть привела,
и на Канине зелёный саван постлала
за обиду Олега,
храброго и молодого князя.
С такой же Каялы и Святополк полелеял отца своего
между венгерскими иноходцами
ко святой Софии к Киеву.
Тогда, при Олеге Гориславиче,

засевалось и прорастало усобицами,
погибало достояние Дажьбожьего внука,
в княжеских крамолах сокращались жизни людские.
Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали,
но часто вороны граяли,
трупы меж собою деля,
а галки по-своему переговаривались,
собираясь полететь на поживу!

То было в те рати и в те походы,
а такой рати не слыхано!
С раннего утра до вечера,
с вечера до света
летят стрелы калёные,
гремят сабли о шлемы,
трещат копья булатные
в поле незнаемом
среди земли Половецкой.
Черна земля под копытами костьми была посеяна,
и кровью полита;
горем взошли они на Русской земле!
Что мне шумит,
что мне звенит
издалёка рано перед зорями?
Игорь полки заворачивает:
жаль ему милого брата Всеволода.
Бились день,
бились другой,
на третий день к полудню пали стяги Игоревы!
Тут разлучились братья на берегу быстрой Каялы;
тут кровавого вина недостало;
тут пир закончили храбрые русичи:
сватов напоили,
а сами полегли за землю Русскую.
Никнет трава от жалости,
а древо с тоской к земле приклонилось.

Уже ведь, братья, невесёлое время настало,
уже пустыня войско прикрыла.
Встала обида в войсках Дажьбожьего внука,
вступила девой на землю Троянову,
восплескала лебедиными крылами
на синем море у Дона, плескаясь,
прогнала времена обилия.
Борьба князей с погаными прервалась,
ибо сказал брат брату:
«Это моё, и то моё же».
И стали князья про малое
«это великое» молвить
и сами на себя крамолу ковать,
а поганые со всех сторон
приходили с победами на землю Русскую.

О, далеко залетел сокол, птиц избивая, – к морю!
А Игорева храброго войска не воскресить!
По нём кликнула Карна, и Желя
поскакала по Русской земле,
горе людям мыкая в пламенном роге.
Жёны русские восплакались, приговаривая:
«Уже нам своих милых лад
ни в мыслях помыслить,
ни думою сдумать,
ни глазами не повидать,
а золота и серебра и пуще того в руках не подержать!»

И застонал, братья, Киев от горя,
а Чернигов от напастей.
Тоска разлилась по Русской земле,
печаль обильная потекла среди земли Русской.
А князья сами на себя крамолу ковали,
а поганые,
победами нарыскивая на Русскую землю,
сами брали дань по белке со двора.

Ибо те два храбрых Святославича,

Игорь и Всеволод,
уже коварство пробудили раздором,
которое перед тем усыпил было отец их,
Святослав грозный великий киевский,
грозою своею,
прибил своими сильными полками
и булатными мечами;
пришёл на землю Половецкую,
притоптал холмы и овраги,
возмутил реки и озёра,
иссушил потоки и болота.
А поганого Кобяка из лукоморья,
из железных великих полков половецких,
словно вихрем исторг,
и пал Кобяк в городе Киеве,
в гриднице Святославовой.
Тут немцы и венецианцы,
тут греки и моравы
поют славу Святославу,
корят князя Игоря,
потопившего богатство на дне Каялы, реки половецкой,
русское золото просыпав.
Тут Игорь князь пересел из золотого седла
в седло рабское.
Приуныли у городов забралы,
и веселие поникло.

А Святослав смутный сон видел
в Киеве на горах.
«Этой ночью с вечера одевали меня, –
говорил, –
чёрным саваном
на кровати тисовой,
черпали мне синее вино,
с горем смешанное,
сыпали мне из пустых колчанов поганых иноземцев
крупный жемчуг на грудь
и нежили меня.

Уже доски без князька
в моём тереме златоверхом.
Всю ночь с вечера
серые вороны грáяли у Плесньска на лугу,
были в дебри Кисаней
и понеслись к синему морю».

И сказали бояре князю:
«Уже, князь, горе ум полонило.
Вот слетели два сокола
с отчего золотого престола
добыть города Тмутороканя
либо испить шлемом Дона.
Уже соколам крылья подсекли
саблями поганых,
а самих опутали в путы железные».

Темно было в третий день:
два солнца померкли,
оба багряные столпа погасли
и в море погрузились,
и с ними оба молодых месяца,
Олег и Святослав,
тьмою заволоклись.
На реке на Каяле тьма свет прикрыла:
по Русской земле рассыпались половцы,
точно выводок гепардов,
и великое ликование
пробудили в хиновах.
Уже пал позор на славу;
уже ударило насилие по свободе;
уже бросился Див на землю.
Вот уже готские красные девы
запели на берегу синего моря,
звеня русским золотом:
воспевают время Бусово,
лелеют месть за Шарукана.

А мы уже, дружина, невеселы».

Тогда великий Святослав
изронил золотое слово,
со слезами смешанное,
и сказал:
«О дети мои, Игорь и Всеволод!
Рано начали вы Половецкой земле
мечами обиду творить,
а себе славы искать.
Но без чести для себя вы одолели,
без чести для себя кровь поганую пролили.
Ваши храбрые сердца
из крепкого булата скованы
и в отваге закалены.
Что же сотворили вы моей серебряной седине?
А уж не вижу власти
сильного, и богатого,
и обильного воинами
брата моего Ярослава,
с черниговскими боярами,
с воеводами, и с татранами,
и с шельбирами, и с топчаками,
и с ревугами, и с ольберами.
Они ведь без щитов, с засапожными ножами,
кликом полки побеждают,
звоня в прадедовскую славу.
Но сказали вы: «Помужествуем сами:
прошлую славу себе похитим,
а будущую сами поделим».
А разве дивно, братья, старому помолодеть?
Если сокол в линьке бывает,
то высоко птиц взбивает,
не даст гнезда своего в обиду.
Но вот зло – князья мне не подмога:
худо времена обернулись.
Вот у Римова кричат под саблями половецкими,
а Владимир под ранами.

Горе и тоска сыну Глебову!»
Великий князь Всеволод!
Не думаешь ли ты прилететь издалека
отчий золотой престол поблюсти?
Ты ведь можешь Волгу вёслами расплескать,
а Дон шлемами вычерпать!
Если бы ты был здесь,
то была бы раба по ногате,
а раб по резане.
Ты ведь можешь посуху
живыми шереширами стрелять –
удалыми сынами Глебовыми.

Ты, буйный Рюрик, и Давыд!
Не ваши ли воины
злачёными шлемами в крови плавали?
Не ваша ли храбрая дружина
рыкает, как туры,
ранены саблями калёными,
на поле незнаемом?
Вступите же, господа, в золотое стремя
за обиду нашего времени,
за землю Русскую,
за раны Игоря,
буйного Святославича!

Галицкий Осмомысл Ярослав!
Высоко сидишь
на своём златокованом престоле,
подпёр горы Венгерские
своими железными полками,
заступив королю путь,
затворив Дунаю ворота,
меча бремена через облака,
суды рядя до Дуная.
Грозы твои по землям текут,
отворяешь Киеву ворота,
стреляешь с отцовского золотого престола
салтанов за землями.

Стреляй же, господин, Кончака,
поганого раба,
за землю Русскую,
за раны Игоревы,
буйного Святославича!

А ты, буйный Роман, и Мстислав!
Храбрая мысль влечёт ваш ум на подвиг.
Высоко взмываешь на подвиг в отваге,
точно сокол на ветрах паря,
стремясь птицу в смелости одолеть.
Ведь у ваших воинов железные подвязи
под шлемами латинскими.
От них дрогнула земля,
и могие страны –
Хинова,
Литва,
Ятвяги,
Деремела,
и половцы копья свои повергли
и головы свои склонили
под те мечи булатные.
Но уже, о князь Игорь, померк солнца свет,
а дерево не к добру листву сронило:
по Роси и по Суле города поделили.
А Игорева храброго войска не воскресить!
Дон тебя, князь, кличет
и зовёт князей на победу,
Ольговичи, храбрые князья, уже поспели на брань...

Ингвар и Всеволод,
и все три Мстиславича –
не худого гнезда соколы!
Не по праву побед
добыли себе владения!
Где же ваши золотые шлемы
и копья польские
и щиты?

Загородите полю ворота
своими острыми стрелами
за землю Русскую,
за раны Игоревы,
буйного Святославича!

Уже Сула не течёт серебряными струями
к городу Переяславлю,
и Двина болотом течёт
для тех грозных полочан
под кликом поганых.
Один только Изяслав, сын Васильков,
позвенел своими острыми мечами
о шлемы литовские,
прибил славу деда своего Всеслава,
а сам под червлёными щитами
на кровавой траве
литовскими мечами прибит
со своим любимцем,
а тот сказал:
«Дружину твою, князь,
крылья птиц приодели,
а звери кровь полизали».
Не было тут брата Брячислава,
ни другого — Всеволода.
Так в одиночестве изронил жемчужную душу
из храброго тела
через золотое ожерелье.
Приуныли голоса,
поникло веселие,
трубы трубят городенские!

Ярослава все внуки и Всеслава!
Уже склоните стяги свои,
вложите в ножны мечи свои повреждённые,
ибо лишились мы славы дедов.
Своими крамолами
начали вы наводить поганых

на землю Русскую,
на достояние Всеслава.
Из-за усобиц ведь пошло насилие
от земли Половецкой!

На седьмом веке Трояна
кинул Всеслав жребий
о девице ему милой.
Хитростью оперся на коней
и скакнул к городу Киеву,
и коснулся древком
золотого престола киевского.
Отскочил от них лютым зверем
в полночь из Белгорода,
объятый синей мглой, добыл удачу:
в три попытки отворил ворота Новгорода,
расшиб славу Ярославу,
скакнул волком
до Немиги с Дудуток.

А Немиге снопы стелют из голов,
молотят цепами булатными,
на току жизнь кладут,
веют душу от тела.
Немиги кровавые берега
не добром были засеяны,
засеяны костьми русских сынов.

Всеслав-князь людям суд правил,
князьям города рядил,
а сам ночью волком рыскал:
из Киева до петухов дорыскивал до Тмуторокани,
великому Хорсу волком путь перерыскивал.
Ему в Полоцке позвонили к заутрене рано
у святой Софии в колокола,
а он в Киеве звон тот слышал.
Хоть и вещая душа была у него в храбром теле,
но часто от бед страдал.

Ему вещий Боян
ещё давно припевку, разумный, сказал:
«Ни хитрому,
ни умелому,
ни птице умелой
суда божьего не миновать!»
О, стонать Русской земле,
вспоминая
первые времена и первых князей!
Того старого Владимира
нельзя было пригвоздить горам киевским;
а ныне встали стяги Рюриковы,
а другие – Давыдовы,
но врозь их знамёна развеваются.
Копья поют!

На Дунае Ярославнин голос слышится,
кукушкою безвестною рано кукует:
«Полечу, говорит, – кукушкою по Дунаю,
омочу шелковый рукав в Каяле-реке,
утру князю кровавые его раны
на могучем его теле».

Ярославна рано плачет
в Путивле на забрале, приговаривая:
«О ветер, ветрило!
Зачем, господин, веешь ты навстречу?
Зачем мчишь хиновские стрелочки
на своих легких крыльицах
на воинов моего милого?
Разве мало тебе бы под облаками веять,
лелея корабли на синем море?
Зачем, господин, мое веселье по ковылю развеял?»

Ярославна рано плачет
в Путивле-городе на забрале, приговаривая:
«О Днепр Словутич!
Ты пробил каменные горы сквозь землю Половецкую.

Ты лелеял на себе Святославовы насады
до стана Кобякова.
Прилелей же, господин, моего милого ко мне,
чтобы не слала я к нему слез
на море рано!»

Ярославна рано плачет
в Путивле на забрале, приговаривая:
«Светлое и трижды светлое солнце!
Всем ты тепло и прекрасно:
зачем, владыко, простерло ты горячие свои лучи
на воинов моего лады?
В поле безводном жаждою им луки скрутило,
горем им колчаны заткнуло?»

Вопросы и задания:

1. Каковы сюжетно-композиционные особенности «Слова о полку Игореве»? В чем смысл авторского противопоставления собственной художественной задачи «замышлению Бояню» во вступлении, «запеве» к поэме?

2. Какими чертами характера наделен в поэме ее главный герой – князь Игорь Новгород-Северский? Сравните авторские характеристики с летописными источниками об Игоревом походе: в чем совпадают и чем отличаются задачи летописца и поэта?

3. Раскройте роль пейзажа и функцию образов живой и неживой природы в «Слове о полку Игореве». Как автор использует прием контраста, описывая природные явления по отношению к выступившим в поход русичам? Приведите аналогичные примеры из известных вам произведений русского фольклора.

4. Какими средствами создается в поэме собирательный образ Русской земли?

Темы сочинений:

1. Героическая тема и приемы ее воплощения в «Слове о полку Игореве».

2. Образ князя Игоря и тема Русской земли в поэме «Слово о полку Игореве».

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

Литература XVIII столетия наследовала лучшие традиции древнерусской литературы – ее патриотическую направленность, глубинную связь с народным художественным сознанием, гуманизм и ярко выраженное социальное звучание.

И все же речь идет о «новой» русской литературе, характеризующейся рядом важнейших черт. Прежде всего это литература светская, опирающаяся на совсем иную, нежели литература церковная, жанровую систему.

Важнейшие исторические процессы, инициированные волей Петра, создали принципиально новую *литературную ситуацию*: русская литература, отошедшая от церковных канонов, обратилась к исследованию социальных сторон жизни, рассматривая человека с точки зрения его взаимоотношений с обществом. Литература Нового времени одновременно включалась в общеевропейский литературный процесс, следуя эстетическим принципам зарубежной, и прежде всего французской, культуры.

Писатели XVIII века стремились к изображению человека как отдельной, самоценной личности, наделенной равными правами по отношению к другим независимо от сословной принадлежности (эта просветительская тенденция нашла свое юридическое отражение в петровской «Табели о рангах всех чинов воинских, статских и придворных» 1722 года).

Заметно обогащалась тематика и расширялся образный строй литературы нового столетия. Повести Петровского времени изобиловали женскими персонажами, различными любовными монологами – «ариями», исполняемыми влюбленными героями. Наряду с прозой начала интенсивно развиваться лирика, осваивающая любовную тему с привлечением традиционных мифологических образов. Помимо произведений любовного содержания сочиняются стихи «на случай», многочисленные ***панегирики***.

Кроме стихов «на случай» в поэзии начала XVIII века встречаются стихотворения на «отвлеченные» темы (размышления о жизни и смерти, о суетном и вечном, о свободе и неволе и т.п.).

Столь же светский, «открытый» характер носила драматургия Петровского времени, обратившаяся к злободневной проблематике и отразившая широкий круг вопросов, от политических до житейских.

Стремясь придать театру массовый, а не узкосословный характер, Петр пригласил в Россию Иоганна Кунста – антрепренера немецкой странствующей труппы в качестве наставника для русских талантов.

КЛАССИЦИЗМ

В целом развитие русской литературы в начале XVIII века свидетельствовало о «культурном прорыве», позволившем России быстро освоить уже сформировавшиеся в Европе принципы художественного творчества. Прежде всего речь идет о *классицизме* как литературном направлении, получившем широкое распространение в европейском искусстве.

Подлинной родиной классицизма как законченной художественной системы стала Франция XVII века. Родоначальники классицизма ратовали за рационалистическое начало в искусстве, видя в художественном произведении плод сознательной, разумно организованной воли художника, четко разграничивающего личное и общественное, сознательное и стихийное, природное и созданное цивилизацией.

Прежде всего писатель должен был придерживаться строгой иерархии жанров. Это жанры *высокие* (трагедия, ода, эпопея) и *низкие* (комедия, басня, сатира). Первые были обращены к масштабным историческим событиям и лицам, вторые представляли картины повседневной действительности. Смешение высокого и низкого, всякого рода жанровые «наслоения» были недопустимы и рассматривались как «порча» материала, творческая неудача. Самым возвышенным, «чистым» жанром у классицистов считалась *трагедия*, герои которой оказываются перед сознательным выбором между личными устремлениями и высшим долгом, зовущим на подвиг.

В драматургии особенно наглядно просматривается весь комплекс классицистических требований к писателю и его творениям.

Обязательно соблюдался *принцип «трех единств»* – места, времени и действия. Необходимость «укладывания» событий в жесткие временные рамки (не более одних суток) и невозможность перене-

сения действия в другое место сосредоточивали внимание зрителя на основной коллизии и одновременно создавали «эффект присутствия». Само действие должно было носить однородный и целенаправленный характер, не «расщепляясь» на побочные сюжеты.

На этой же почве возник феномен *русского классицизма*, который сформировался в литературное явление с особой национальной спецификой культуры.

Предвестником классицизма в русской литературе XVIII века выступил Феофан Прокопович, чьи теоретические труды послужили основой для формирования эталона писателя-гражданина, воспевающего великие деяния эпохи. Русский классицизм развивался в 30–40-е годы XVIII столетия, когда набрали силу просветительские идеи в общественной и литературной жизни. Конец Петровской эпохи, характеризующийся наступлением реакции, требовал от художника-просветителя не самозабвенного следования античным образцам, а обращения к «больным» вопросам современности. Не случайно «вхождение» русской литературы в эру классицизма ознаменовалось расцветом сатирического жанра, признанным мастером которого явился **Антиох Дмитриевич Кантемир** (1708–1744).

«Порок! Не подходи: сей взор тебя ужалит» – так отозвался о качестве кантемировской сатиры поэт Г.Р. Державин. В своей первой сатире «К уму своему», сразу же прославившей имя автора, Кантемир гневно обрушивается на «презирателей наук» – государственных и «частных» мужей, видящих в просвещении ненужное и даже вредное явление. Сатиры Кантемира составляют своеобразный очерк нравов послепетровской эпохи.

Вместе с тем русская поэзия нуждалась в дальнейшем облегчении, раскрепощении стиха. Несомненным завоеванием отечественной литературной теории стало учение **Василия Кирилловича Тредиаковского** (1703–1769). В 1735 году, когда вышел его трактат «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», он заявил о себе как сложившийся филолог, готовый к реформированию существующей системы стихосложения. В этой работе были изложены основы *тонического стихосложения*, отличающегося от силлабического (виршевого) наличием системы слоговых ударений, повторяющейся в каждой строке и задающей определенный ритм стихотворному тексту наряду с принципом равносложности строк. И хотя во многих отношениях Тредиаковский не довел свое учение

до конца, представив лишь образцы хореического размера, значение его теории огромно: это был решительный поворот к формированию «стихотворной культуры». Достаточно сравнить строки Тредиаковского с «силлабическим» фрагментом из первой сатиры Кантемира, чтобы понять, как далеко шагнула русская поэзия с введением новой теории стиха:

Наука ободрана, в лоскутах обшита,
Изо всех почти домов с ругательством сбита...
(Кантемир. «Кумуу своему»)

Своими теоретическими и литературными трудами Тредиаковский подготовил почву для дальнейшего развития русской поэзии, ее языка и того ритмического строя, который стал нормой для поэтов XIX–XX веков. Он ввел в русскую поэзию многие жанры – оду, элегию, басню, эпиграмму, выступив подлинным новатором в искусстве слова.

Век литературных открытий и смелых творческих экспериментов нуждался в личностях грандиозного масштаба. Таким воплощением национального гения в русской культуре и науке стал **Михаил Васильевич Ломоносов** (1711–1765), чья деятельность способствовала формированию новой литературной стратегии, объединившей достижения западноевропейской и русской литературы. По замечанию Пушкина, Ломоносов «создал первый университет; он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

До 19 лет Ломоносов жил в деревне Денисовке на Северной Двине около Холмогор.

В декабре 1730 года Ломоносов покинул дом отца, тайно получив паспорт, отправился с рыбным обозом в Москву поступать в Славяно-греко-латинскую академию. Скрыв свое происхождение (для крестьян путь в учебные заведения был закрыт), Ломоносов оказался в стенах академии и за полтора года обучения освоил программу четырех начальных классов. Он овладел латынью и греческим, изучил древнюю и средневековую поэзию, познакомился с трудами Лейбница, Бэкона, Декарта. Обман обнаружился, однако успевшему прославиться своими талантами юноше разрешили не только закончить образование, но и даже дополнить его учебой в Киеве и Петербурге. В 1736 году в числе лучших студентов Ломоносов отправляется в Германию для изучения химии и горного дела.

В 1739 году произошло внешне неприметное и не в полной мере оцененное современниками событие: молодой поэт прислал из Германии в качестве своеобразного творческого отчета оду **«На взятие Хотина»** и **«Письмо о правилах российского стихотворства»**, являющиеся прямым полемическим вызовом В.К. Тредиаковскому и его теории стиха. Недооцененные Тредиаковским (ямбы) Ломоносов представляет как «благородный» размер, дающий русскому стиху широкие возможности:

Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верьх горы высокой,
Где ветр в лесах шуметь забыл;
В долине тишина глубокой.

Уже первые строки ломоносовской «похвальной оды» свидетельствуют о несомненном таланте 28-летнего стихотворца.

Одический жанр, широко представленный в творчестве Ломоносова (им было написано 20 од), давал автору возможность в особой, патетической форме декларировать идеи общегражданского, социального звучания. В известной **«Оде на день восшествия на Всероссийский престол Ея величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»** автор успевает коснуться столь многого, что в содержательном отношении это стихотворение может быть приравнено к поэме. Отдав должное миролюбивой политике императрицы, ее заботе о просвещении, поэт вспоминает о том, что она – дочь своего великого отца – Петра Первого, заложившего основы новой российской государственности («Сквозь все препятства он вознес / Главу, победами венчанну»).

Отводя значительную часть оды воспеванию пользы «божественных наук», Ломоносов проявляет себя как поэт-государственник. В этом отношении безусловно важными являются и «комплиментарные» строфы, обращенные к монархине: поэт-одописец воспевает те качества императрицы, которые способствуют претворению в жизнь чаяний самого автора («Здесь в мире расширять науки / Изволила Елисавет»).

Помимо своего политического звучания, оды Ломоносова играли важную роль в развитии поэзии, демонстрируя возможности различных форм поэтической выразительности.

Обращаясь к разнообразной, многоплановой тематике, поэт находит яркие слова и образы для ее воплощения: «о, ваши дни

благословенны», «да движутся светила стройно», «взлети превыше молний, муза» и т.п. Сам выбор поэтической лексики у Ломоносова подчинен определенной системе, названной им теорией **«трех штилей»**. В известной статье **«О пользе книг церковных в российском языке»** (1757) поэт-ученый предложил собственную классификацию языковых «речений»: «нейтральные» славянские слова, малоупотребительная «торжественная» старославянская лексика и слова живого русского языка. На основе этих трех лексических групп Ломоносов выделил *высокий «штиль»* (слова 1 и 2 группы), *средний* (1 и 3 группы) и *низкий* (только 3 группа). **Высоким** слогом надлежало писать оды, героические поэмы и трагедии, **средним** – драмы, послания, сатиры и элегии, тогда как **«низкая»** лексика соответствовала жанрам комедии, эпиграммы, песни, дружеского письма. Неизменно выдерживая «высокий штиль» в торжественных одах, Ломоносов прибегает к более простым языковым формам в одах «духовных» – переложениях псалмов, произведениях общефилософского содержания.

Всегда оставаясь верным своим убеждениям, Ломоносов был нетерпим к гонителям науки и просвещения независимо от их происхождения и социальных привилегий. Особую неприязнь он испытывал к тем, кто, пользуясь благами России, не любил и презирал ее (известны острые столкновения Ломоносова с немецкими профессорами в Академии наук). На этом фоне с особой убедительностью голос писателя-патриота прозвучал в **«Разговоре с Анакреоном»** (1761) – публицистическом диалоге-споре двух позиций – античного поэта-философа Анакреона (Анакреонта) и поэта-гражданина, образ которого неотделим от личности автора.

Общественно-литературная деятельность Ломоносова дала мощный импульс к развитию не только одического и лирико-философского жанров поэзии, но и литературы в целом, включая стихотворный эпос (незаконченная поэма «Петр Великий») и драматургию, которая нуждалась в оригинальном сценическом материале (в середине XVIII века на русской сцене играли в основном иностранные труппы, а репертуар составляли французские и итальянские пьесы). Императрица Елизавета, стремясь исправить положение, прямым указом обязала Ломоносова и Тредиаковского взяться за создание трагедий для русского театра. Так появились трагедии Ломоносова «Тамира и Селим» (1750) и «Демофонт»

(1751), Тредиаковский же выступил с пьесой «Деидамия», так и не получившей сценического воплощения.

М.В. ЛОМОНОСОВ

Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года

Сия тебе единой слава,
Монархиня, принадлежит,
Пространная твоя держава
О как тебе благодарит!
Воззри на горы превысоки,
Воззри в поля свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет;
Богатство в оных потаенно
Наукой будет откровенно,
Что щедростью твоей цветет.

Толикое земель пространство
Когда Всевышний поручил
Тебе в счастливое подданство,
Тогда сокровища открыл,
Какими хвалится Индия;
Но требует к тому Россия
Искусством утвержденных рук.
Сие злату очистит жилу,
Почувствуют и камни силу
Тобой восставленных наук.

Хотя всегдашними снегами
Покрыта северна страна,
Где мерзлыми Борей крилами
Твои взвевает знамена;
Бог меж льдистыми горами
Велик своими чудесами:
Лена чистой быстриной,

Как Нил, народы напояет
И бреги наконец теряет,
Сравнившись морю шириной.

Коль многи смертным неизвестны
Творит натура чудеса,
Где густостью животным тесны
Стоят глубокие леса,
Где в роскоши прохладных теней
На пастве скачущих еленей
Ловящих крик не разгонял,
Охотник где не метил луком,
Секирным земледелец стуком
Поющих птиц не устрашал,

Широкое открыто поле,
Где музам путь свой простирать!
Твоей великодушной воле
Что можем за сие воздать?
Мы дар твой до небес прославим
И знак щедрот твоих поставим,
Где солнца всход и где Амур
В зеленых берегах крутится,
Желая паки возвратиться
В твою державу от Манжур.

Се мрачной вечности запону
Надежда отверзает нам!
Где нет ни правил, ни закону,
Премудрость тамо зиждет храм;
Невежество пред ней бледнеет.
Там влажный флота путь белеет,
И море тщится уступить:
Колумб российский через воды
Спешит в неведомы народы
Твои щедроты возвестить.
Там, тьмою островов посеян,
Реке подобен Океан;

Небесной синевой одеян,
Павлина посрамляет вран;
Там тучи разных птиц летают,
Что пестротою превышают
Одежду нежныя весны,
Питаясь в рощах ароматных
И плавая в струях приятных,
Не знают строгия зимы.

И се Минерва ударяет
В верьхи Рифейски копием,
Сребро и злато истекает
Во всем наследии твоем.
Плутон в расселинах мятется,
Что россам в руки предается
Драгой его металл из гор,
Который там натура скрыла;
От блеску дневного светила
Он мрачный отвращает взор.

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде:

Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.

Тебе, о милости источник,
О ангел мирных наших лет!
Всевышний на того помощник,
Кто гордостью своей дерзнет,
Завидя нашему покою,
Против тебя восстать войною;
Тебя зиждитель сохранит
Во всех путях беспреткновенну
И жизнь твою благословенну
С числом щедрот твоих сравнит.

Разговор с Анакреоном

Анакреон

Ода I
Мне петь было о Трое,
О Кадме мне бы петь,
Да гусли мне в покое
Любовь велят звенеть.
Я гусли со струнами
Вчера переменил
И славными делами
Алкида возносил;
Да гусли поневоле
Любовь мне петь велят,
О вас, герои, боле,
Прощайте, не хотят.

Ломоносов.
Ответ
Мне петь было о нежной,
Анакреон, любви;
Я чувствовал жар прежний
В согревшейся крови,

Я бегать стал перстами
По тоненьким струнам
И сладкими словами
Последовать стопам.
Мне струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум;
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.

Анакреон
Мастер в живописте первой,
Первой в Родской стороне,
Мастер, научен Минервой,
Напиши любезну мне.
Напиши ей кудри черны,
Без искусных рук уборны,
С благовонием духов,
Буде способ есть таков.

Дай из роз в лице ей крови
И как снег представь белу,
Проведи дугами брови
По высокому челу,
Не сведи одну с другою,
Не расставь их меж собою,
Сделай хитростью своей,
Как у девушки моей;
Цвет в очах ея небесный,
Как Минервин, покажи
И Венерин взор прелестный
С тихим пламенем вложи,
Чтоб уста без слов вещали
И приятством привлекали
И чтоб их безгласна речь
Показалась медом течь;

Всех приятностей затеи
В подбородок умести
И кругом прекрасной шеи
Дай лилеям расцвести,
В коих нежности дыхают,
В коих прелести играют
И по множеству отрад
Водят усумненный взгляд;

Надевай же платье ало
И не тщись всю грудь закрыть.
Чтоб, ее увидев мало,
И о прочем рассудить.
Коль изображенье мочно,
Вижу здесь тебя заочно,
Вижу здесь тебя, мой свет;
Молви ж, дорогой портрет.

Ломоносов
Ответ
Ты счастлив сею красотою
И мастером, Анакреон,
Но счастливей ты собою
Чрез приятной лиры звон;
Тебе я ныне подражаю
И живописца избираю,
Дабы потщился написать
Мою возлюбленную Мать.

О мастер в живописте первой,
Ты первой в нашей стороне,
Достоин быть рожден Минервой,
Изобрази Россию мне,
Изобрази ей возраст зрелой
И вид в довольствии веселой,
Отрады ясность по челу
И вознесенную главу;

Потщись представить члены здравы,
Как должны у богини быть,
По плечам волосы кудрявы
Признаком бодрости завить,
Огонь вложи в небесны очи
Горящих звезд в средине ночи
И брови выведи дугой,
Что кажет после туч покой;

Возвысь сосцы, млеком обильны,
И чтоб созревша красота
Являла мышцы, руки сильны,
И полны живости уста
В беседе важность обещали
И так бы слух наш ободряли,
Как чистый голос лебедей,
Коль можно хитростью твоей;
Одень, одень ее в порфиру,
Дай скипетр, возложи венец,
Как должно ей законы миру
И распрям предписать конец;
О коль изображенье сходно,
Красно, любезно, благородно,
Великая промолви Мать,
И повели войнам престать.

Но основоположником новой русской драматургии стал **Александр Петрович Сумароков** (1717–1777), написавший 9 трагедий и 12 комедий, которые явились яркими образцами отечественной классицистической драматургии.

В 1756 году Сумароков был назначен директором Российского театра, учрежденного указом императрицы. Еще в начале своей служебной карьеры будущий поэт и драматург страстно увлекся литературным творчеством, принципы которого он изложит в своей «Эпистоле о стихотворстве» (1748);

Слог песен должен быть приятен, прост и ясен;
Витийств не надобно; он сам собой прекрасен...

В своих лирических произведениях, баснях, сатирах Сумароков следовал этому важнейшему правилу. Главным условием успешного осуществления творческого замысла поэт считал способность пишущего «мысль прочистить наперед», то есть ясно представлять себе художественную сверхзадачу. Для Сумарокова-драматурга эти установки означали последовательное воплощение сценического замысла в жизнь, от составления афиши до режиссерского «надзора» за постановкой. В драматургии Сумароков дебютировал в жанре трагедии. Историческая пьеса **«Хорев» (1747)** продемонстрировала несомненный новаторский талант писателя: в легендарный сюжет об основании Киева умело вписана любовная перипетия, в основе которой лежит типичный классицистический конфликт между чувством и долгом. За первой трагедией последовало вольное переложение шекспировского «Гамлета» **(1747)** и «новгородская» трагедия **«Синав и Трувор» (1750).** Вершинным произведением трагедийного жанра стал **«Дмитрий Самозванец» (1771),** открывший путь созданию будущих шедевров исторической трагедии – таких, как пушкинский «Борис Годунов».

«Театр Сумарокова» представлен также пьесами комедийного жанра – «Третейский суд», «Пустая ссора», «Опекун», «Лихоимец» и других, в которых он стремился к достоверности в изображении действующих лиц, к созданию персонажей, олицетворяющих зло и невежество – характерных черт дворянского быта. В поздней сумароковской комедии **«Рогоносец по воображению»** (1772) многое предвосхищает известный драматургический шедевр Д.И. Фонвизина: перед нами предстает жизнь захолустной помещичьей усадьбы, обитатели которой оказываются вовлеченными в любовную интригу.

Комедии Сумарокова, и в особенности поздние его пьесы, создавались не без влияния произведений другого выдающегося драматурга XVIII столетия – **Дениса Ивановича Фонвизина** (1745–1792), имя которого стало легендарным еще при жизни писателя. В первой главе пушкинского «Евгения Онегина» есть запоминающиеся строки:

Волшебный край!/Там в стары годы,/Сатиры смелый властелин,/Блистал Фонвизин, друг свободы,/И переимчивый Княжнин...

Русский дворянин и потомок немецких рыцарей, Фонвизин поступил в гимназию при Московском университете, затем стал его

студентом. Юный Фонвизин рано начал литературные занятия, печатал свои переводы. Однако никто в XVIII столетии не писал драмы и прозу таким живым, органичным народным языком, как этот обрусевший немец (фамилия его долго писалась как фон Визин), которого Пушкин точно назвал «из перерусских русским».

С Фонвизина начинается та генеральная линия русской сатиры, что ведет через его младшего современника и достойного наследника Крылова к Гоголю, Щедрину и Булгакову.

Фонвизин пошел по обозначенному Ломоносовым пути просвещения, но выбрал из его системы «трех штилей» один – вобравший в себя стихию живой русской речи, впервые зазвучавшей в комедиях Сумарокова. При этом он вовсе не представлял этот язык как эталонный, а его носителей зачастую подвергал сатирическому осмеянию. Его сатира затрагивает и характеры людей, и их язык (это видно уже в ранней комедии **«Бригадир»** (1768–1769), где одинаково смешны невежественные и грубые бригадир и бригадирша с их архаичными речениями, и их глупый офранцузившийся сын Иванушка, и жеманная советница).

Начальник и покровитель Фонвизина граф Н.И. Панин после чтения «Бригадира» при дворе цесаревича Павла Петровича верно заметил автору: «Вы очень хорошо наши нравы знаете, ибо «Бригадирша» ваша всем родня... Это в наших нравах первая комедия».

Увлекательный, стремительно развивающийся сюжет, острые реплики, смелые комические положения, индивидуализированная речь персонажей, высмеивание мнимых плодов французского просвещения – все это было ново и привлекательно и в то же время знакомо, узнаваемо для читателей и зрителей «Бригадира». Молодой Фонвизин нападал на дворянское общество и его пороки, на развратившую людские умы и душу крепостное рабство. Он показал это темное царство как оплот тяжелого самодурства, повседневной бытовой жестокости, безнравственности и бескультурья. Театр как средство социальной публичной сатиры требовал понятных для зрителей персонажей и языка, отражение острых актуальных проблем. Все это есть в знаменитой комедии Фонвизина **«Недоросль»,** которая идет на сцене с успехом более 200 лет.

Комедия написана в 1779–1781 годах, а поставлена в 1782 году. К этому времени Фонвизин завершил свою служебную и придворную карьеру.

Современники, видя «Недоросля» в театре, сначала от души смеялись, но потом это настроение сменялось ужасом, глубокой печалью, и многие даже называли веселую фонвизинскую пьесу современной русской трагедией. Пушкин оставил для нас ценнейшее свидетельство о реакции тогдашних зрителей: «Бабушка моя сказывала мне, что в представлении «Недоросля» в театре бывала давка – сыновья Простаковых и Скотининых, приехавшие на службу из степных деревень, присутствовали тут – и следственно видели перед собою близких и знакомых, свою семью».

Н.В. Гоголь метко назвал «Недоросль» подлинно общественной комедией: «Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого бесчувственного, непотрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России... Нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы и проверено знаньем души».

В помещичьей усадьбе дворян Простаковых зритель увидел худшие проявления крепостнического быта – самодурство, неуважение к закону и правам других людей, самодовольное невежество, корыстолюбие, какую-то простодушную жестокость и житейскую эгоистическую хитрость. Система «обучения» недоросля Митрофана и образы его псевдоучителей, кучера-немца Вральмана, отставного сержанта Цыфиркина и семинариста Кутейкина, отразили упадок русского просвещения, приведший к нравственному падению дворянства, забвению дворянами своей главной, почетной должности – службы отечеству. Отец недоросля не может прочитать письмо Стародума, так как не знает грамоты. А сама фамилия (а они все в комедии «значащие») дядюшки Тараса Скотинина и его безграничная любовь к свиньям явственно указывают крайние пределы этого нравственного огрубения и падения.

«Недоросль» начинается с остроумно обыгрывающего народную поговорку о Тришкином кафтане разговора об учении. Госпожа Простакова всерьез, со свойственным ей простодушным упрямством уверяет нерадивого крепостного портного Тришку, что учиться шить кафтаны совсем не обязательно.

В комедии Фонвизина есть явные следы упрямого сопротивления просвещению – отец Простаковой и Тараса Скотинина говаривал: «Прокляну робенка, который что-нибудь переймет у басурманов». Дочь его хитрее, понимает, что ее избалованный и ленивый сын должен хоть как-то соответствовать формальным требованиям

к дворянину, но обучает она его именно формально, не утруждая великовозрастное «дитя» грузом серьезных знаний и дав ему полуграмотных «учителей», крепостных дядек и нянюшек: «Без наук люди живут и жили». По твердому убеждению Простаковой, науки бывают дурацкие, дворянину не нужные и бесполезные, вроде географии, «науки извозчиков». Поэтому-то ленивого и наглого, но житейски весьма смышленого Митрофанушку учат не наукам и нравственным правилам, а именно безнравственности, обману, неуважению к долгу дворянина и к собственному отцу, умению ради своего удобства и выгоды обходить все законы и правила общества и государства.

Ленивый и никчемный Митрофан, его безграмотный, забитый властной женой отец, преступная (ибо она легко идет и на уголовные преступления) мать и ее злобный и жадный братец Тарас Скотинин составляют живописную группу отрицательных персонажей комедии.

Центральной фигурой этой группы и главным персонажем пьесы Фонвизина является поистине бессмертная госпожа Простакова. Она сразу становится основной пружиной, движущей сценическое действие, ибо в этой провинциальной дворянке есть какая-то мощная жизненная сила, которой не хватает не только положительным персонажам, но и ее ленивому эгоисту сыну и свиноподобному братцу. Да, это персонаж в полном смысле отрицательный. Но весь смысл комедии Фонвизина в том, что его госпожа Простакова — лицо живое, чисто русский тип и что все зрители этот тип знали и понимали, что, выйдя из театра, они рискуют встретиться с госпожами простаковыми в реальной жизни.

В основе этого живого характера – чудовищное самодурство, бестрепетная наглость, жадность к материальным жизненным благам. Но прежде всего она мать, беззаветно любящая своего Митрофанушку «Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, так что чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее дитя», – писал о характере Простаковой Н.В. Гоголь.

В комедии Фонвизина появляется ключевое для понимания всей эпохи слово *«Вольность»*, ставшее названием знаменитых од Радищева и Пушкина. В русском понимании оно неразрывно соединено

со столь же значимым словом *«Закон»,* которое тоже обычно писалось с прописной буквы. Наконец, эти важные слова соединялись в названии, которое также есть в «Недоросле» – знаменитый указ императора Петра III – «Закон о вольности дворянства» 1762 года.

В финале пьесы Простакова, являющая собой воплощение повседневного бытового беззакония и насилия, вдруг ссылается на закон: «Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен; да на что ж дан нам указ-от о вольности дворянства?» Изумленный Стародум и вместе с ним автор восклицают только: «Мастерица толковать указы!»

«Недоросль» написан в век Просвещения, но именно в этой комедии сатира на ложное просвещение и невежество перерастает в тревожные сомнения в правильности самой общей идеи этого веке.

Стародум говорит о французских просветителях, лично знакомых Фонвизину, чьи имена и сочинения неведомы Митрофанушке и госпоже Простаковой. Фонвизин в «Недоросле» ясно высказывает свои сомнения в самой главной идее века Просвещения, считает, что это лжепросвещение, полупросвещение, ибо оно в своем эгоизме и высокомерии забыло о нравственности, о бескорыстной добродетели, о служении, верности и чести. Век Просвещения сам себя именовал веком разума и не уважал веру. «С пребеглыми умами видим мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек – чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума», – говорит Стародум о главном нравственном изъяне европейского просвещения.

Фонвизин устами Стародума не только отвечает на слова Простаковой об указе о вольности дворянства, но и прямо говорит об основной причине «повреждения нравов» и самого существования простаковых, скотининых и Митрофанушек: «Угнетать рабством себе подобных беззаконно».

Как государственный деятель, политик и гениальный писатель, Фонвизин вложил в веселую комедию-сатиру «Недоросль» много своих заветных и глубоких мыслей, серьезных предсказаний, скрытых в глубине художественных образов пьесы.

Суждения Фонвизина о русском государстве, крепостном праве, дворянстве и просвещении были подлинно новаторски.

Последние годы жизни писателя были трудными: тяжелое нездоровье, цензурные затруднения (публицистика писателя мо-

гла распространяться лишь в списках), запрет на издание собраний сочинений, материальные тяготы... На этом фоне создается удивительная фонвизинская «Придворная грамматика» – своеобразный «учебник» придворных нравов, а также книга-исповедь «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях».

Звание «русского Мольера» далеко не исчерпывает значение великого художника для истории отечественной культуры: Фонвизин заложил основы русского реалистического театра, открыв дорогу новому искусству, по сей день не утратившему своих позиций в литературе.

Наряду с произведениями Фонвизина русская драматургия последней четверти XVIII века представлена творчеством таких признанных художников, как В.В. Капнист и Я.Б. Княжнин. **Василий Васильевич Капнист** (1758–1823) прославился своей комедией **«Ябеда»** (1796), обличающей нравы чиновников-бюрократов. Пьеса имела необыкновенный успех, а песенка прокурора Хватайко стала своеобразным гимном взяточников всех времен:

Бери, большой тут нет науки;
Бери, что только можно взять;
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать?

Не менее известными в те годы были пьесы **Якова Борисовича Княжнина** (1740–1791), сумевшего соединить достижения европейской драматургии с русской литературной традицией (именно потому в строках из «Евгения Онегина» Княжнин назван «переимчивым»). Образцом «легкого» жанра в творчестве Княжнина явилась комедия **«Хвастун»** (1786), в центре которой – фигура праздного враля Верхолета, выдающего себя за знатного вельможу (нетрудно распознать в этом характере будущего гоголевского Хлестакова). Автор «Хвастуна» изобличает не только тип личности, стремящийся не «быть», а «казаться», но и ту писательскую среду, которая содействует успеху новоявленных «фаворитов», – царящий в дворянском обществе культ чинов, наград и привилегий. При всей гротескности сюжетных поворотов действие пьесы отражало вполне реальные ситуации: головокружительные аферы Верхолета «подогреваются» доверчивостью окружающих, исповедующих те же ценности и стремящихся заручиться поддержкой «значительного лица».

Д.И. Фонвизин
НЕДОРОСЛЬ (в сокращении)
Комедия в пяти действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Простаков.
Г-жа Простакова, жена его.
Митрофан, сын их, недоросль.
Еремеевна, мамка Митрофанова.
Правдин.
Стародум.
Софья, племянница Стародума.
Милон.
Г-н Скотинин, брат г-жи Простаковой.
Кутейкин, семинарист.
Цыфиркин, отставной сержант.
Вральман, учитель.
Гришка, портной.
Слуга Простакова.
Камердинер Стародума.

Действие происходит во второй половине XVIII века, в усадьбе помещиков Простаковых.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В своей гостиной помещица, госпожа Простакова, придирчиво разглядывает на сыне Митрофанушке новый кафтан. Здесь же суетится няня Митрофана – Еремеевна.

Хозяйка недовольна: по ее мнению, домашний портняжка Тришка обузил кафтан. Она приказывает няньке немедленно позвать сюда виновника, а сына отправляет за отцом.

Возвращается Еремеевна с Тришкой.

– Не говорила ль я тебе, воровская харя, – набрасывается на него хозяйка, – чтоб ты кафтан пустил шире. Дитя растет; дитя и без узкого кафтана деликатного сложения.

– Я же вам докладывал, – оправдывается Тришка, – извольте отдавать портному.

– Так разве необходимо быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько!

– Да ведь портной-то учился, сударыня, а я нет.

– Еще же он и спорит, – возмущается Простакова. – Портной учился у другого, другой у третьего, да первый-то портной у кого же учился?

– Да первый портной, может быть, шил хуже моего, – находчиво отвечает Тришка.

Их спор прерван появлением Митрофана, следом за ним идет отец – Терентий Простаков.

Супруга требует от мужа ответа: каков получился кафтан?

Робко поглядывая на жену, Простаков лепечет:

– Ме... мешковат немного.

– Сам ты мешковат!

– Да я думал, матушка, что тебе так кажется.

– А ты сам разве ослеп?

– При твоих глазах мои ничего не видят.

– Вот каким муженьком наградил меня Господь, – вздыхает Простакова, – не смыслит сам разобрать, что широко, что узко.

В комнату вваливается брат хозяйки – Тарас Скотинин.

– За что ж ты так прогневалась? – спрашивает он сестру.

– Да вот, братец: мешковат ли этот кафтан?

Скотинин осматривает племянника:

– Нет.

В разговор вступает Простаков, ему хочется загладить свою оплошность:

– Да я и сам уж вижу, матушка, что он узок.

– Я и этого не вижу, – пожимает плечами Скотинин. – Кафтан, брат, сшит изряднехонько.

Раздосадованная Простакова отсылает Тришку прочь и приказывает Еремеевне подать завтрак Митрофанушке.

– Он уж и так пять булочек скушать изволил, – сомневается сян-янька.

– Так тебе жаль шестой, бестия?

Еремеевна оправдывается: молодой барин ночью маялся животом.

– Ах, Мати Божья! – пугается Простакова. – Что с тобою сделалось, Митрофанушка?

Сынок рассказывает, что схватило у него живот после ужина, хоть он и не ел почти ничего: разве что солонины ломтя три да подовых пирогов не то пять, не то шесть. Да ночью выпил квасу кувшин. И такая всю ночь дрянь снилась... То матушка, то батюшка.

Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку. Так мне и жаль стало.

– Кого? – с досадой спрашивает мать.

– Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку, – отвечает сообразительный сынок.

– Обойми меня, друг мой сердечный! – умиляется Простакова. – Вот сынок, одно утешение!

Митрофану надоели ее нежности. Ему охота во двор, гонять голубей. Мать отпускает его. За Митрофаном следует няня Еремеевна.

Скотинин приступает к своему делу: сегодня вечером назначена его помолвка, сговор, с дальней родственницей Простаковых, живущей у них в доме, молодой девушкой Софьей. Правда, она об этом ничего не знает.

– Так не пора ли ей сказать, что ее выдают замуж?

– Успеем, братец, – успокаивает его сестра. – Она еще может подумать, будто мы ей докладываемся. А я люблю, чтоб и чужие меня слушали.

Софья – круглая сирота. Ее отец умер очень давно, а мать – полгода назад. Единственный близкий родственник Софьи, ее дядя Стародум, несколько лет тому назад уехал в Сибирь по службе. С тех пор о нем ни слуху ни духу. Вот Простаковы и надзирают над имуществом сиротки, как над своим.

– Неужели тебе эта девчонка так понравилась? – допытывается у брата Простакова.

– Нет, к Софье Скотинин относится безразлично. Его привлекает даже не так ее имение, как то, что в деревеньках водится: свиньи. Дело в том, что Тарас – большой любитель этих животных. А в тамошних краях свиньи таковы, что ежели которая встанет на задние ноги, так будет выше любого человека на целую голову!

В комнату вбегает радостная Софья. В руках она держит какое-то письмо.

– Я получила сейчас радостное известие. Дядюшка, о котором столь долго мы ничего не знали, на днях в Москву приехал.

– Как! Стародум жив! – восклицает Простакова. – И ты изволить затевать, что он воскрес!

– Да он никогда и не умирал.

– Не умирал! А разве ему и умереть нельзя! Не очень веселись; дядюшка твой не воскресал.

– Сестра, ну, да коли он не умирал? – пытается урезонить ее брат.

– Как не умирал! – стоит на своем Простакова. – Уж несколько лет от меня его за упокой поминали. Неужто грешные мои молитвы не доходили!

Простакова решительно вырывает из рук Софьи письмо: знает она, в чем дело! Это, наверняка, любовное послание от офицера, который сватался к Софье! Уж она доберется до него! До чего дожили – к девушкам письма пишут! Девушки грамоте умеют!

Софья с достоинством предлагает Простаковой самой прочитать письмо и убедиться в ее правдивости.

– Нет, сударыня, я не так воспитана. Я могу письма получать, а читать их всегда велю другому.

Она сует письмо мужу:

– Читай.

Простаков вертит бумагу в руках:

– Мудрено.

– Братец, прочти, потрудись.

– Я и отроду ничего не читывал, сестрица! – отмахивается тот.

Предложение Софьи прочитать письмо вслух Простакова отвергает: она не доверяет девушке. Вот скоро придут учителя к Митрофанушке, так и прочтут.

Скотинин интересуется: давно ли начали учить племянника? Оказывается, уже четыре года Митрофана обучают разным премудростям. Грамоте – дьячок Кутейкин. Арифметике – отставной солдат Цыфиркин. А по-французски и всем наукам – немец Адам Адамыч Вральман.

Их беседа прервана появлением гостя Простаковых – господина Правдина.

Хозяйка просит прочитать злополучное письмо.

– Извините, сударыня, – уклоняется Правдин, – я никогда не читаю писем без позволения тех, кому они писаны.

– Я вас о том прошу, – вступает в разговор Софья.

Правдин вслух читает. Действительно, дядя Софьи жив и находится сейчас в Москве. За годы службы в Сибири он нажил значительное состояние. И теперь намерен сделать единственную племянницу своей наследницей.

Всеобщее замешательство: Софья – богатая наследница! Первой приходит в себя Простакова.

– Поздравляю, душа моя! – она бросается обнимать девушку. – Теперь тебе надобен жених. Я лучшей невесты и Митрофанушке не желаю.

Правдин спрашивает – читать ли далее? Но Скотинин его обрывает: незачем, самое главное им уже известно. Под предлогом необходимости задушевного разговора хозяйка уводит Софью к себе в спальню. До Скотинина наконец доходит – вряд ли сегодня быть сговору.

Вбегает запыхавшийся слуга: в деревню вошли солдаты и с ними офицер. Простаков и Правдин уходят вместе со слугой.

– Все меня одного оставили, – вздыхает Скотинин. – Пойти было прогуляться на скотный двор.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

В гостиной беседуют Правдин и офицер Милон. Оба очень рады нечаянной встрече: они давние друзья. Правдин рассказывает о цели своего пребывания у Простаковых. По поручению наместника он объезжает здешний округ, чтобы выявить дурных помещиков, употребляющих во зло свою власть над крепостными. В этом доме он живет уже три дня и вдоволь насмотрелся на дурака бессчетного – хозяина и презлую фурию – его жену. Но есть надежда положить конец их злобности и глупости. Правдин уже уведомил обо всем наместника и уверен, что найдутся меры прекратить их бесчинства.

Милон в деревне Простаковых остановился всего на несколько часов. Он должен вести своих солдат в Москву. Да и самому ему не терпится прибыть в город. Ему необходимо разыскать свою возлюбленную. Больше полугода Милон не имеет о ней никаких сведений. Говорят, какая-то дальняя родня увезла девушку к себе. Где она? Что с ней? Может быть, попала в руки корыстолюбивых людей, которые тиранствуют над ней...

Внезапно в комнату входит Софья. В ней Милон с восторгом узнает свою любимую. Молодые люди бросаются друг к другу.

Софья сообщает, что госпожа Простакова, узнав о наследстве, которое намерен оставить девушке дядя, прочит ее в жены своему сыну.

Молодой офицер ревниво расспрашивает о своем сопернике. Возможно, он разумен, просвещен... Но даже если он обладает всеми мыслимыми достоинствами, его любовь не может сравниться с чувством Милона.

Софья шаловливо улыбается:

Если б ты его увидел, ревность твоя довела б тебя до крайности! Он хотя и шестнадцати лет, а достиг уже до последней степени своего совершенства и далее не пойдет.

– Как далее не пойдет, сударыня? – подхватывает Правдин. – Он доучивает часослов, а том, думать надобно, примется и за псалтырь.

Милон понимает, что над ним подшучивают. Но как ответила Софья на притязания Простаковой?

– Я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюшкиной, что он сам сюда приехать обещал. Это было в письме, которое не позволил дочитать до конца господин Скотинин.

Раздается громкий голос:

– Я!

В комнате неожиданно появился Тарас Скотинин. Проходил мимо, слышит – его называют. Ну и откликнулся.

– Мы вас не кликали, – замечает Правдин, – и вы можете идти, куда шли.

Я никуда не шел, а брожу задумавшись. Привезла меня сестра жениться. Теперь сама же подъехала с отводом. Дескать, зачем тебе жена: была бы у тебя хорошая свинья. Нет, сестра! Я и своих поросят завести хочу. Не бойся, душенька, – обращается он к Софье. – Тебя у меня никто не перебьет.

Софья изумлена: она впервые слышит о том, что Тарас – ее жених.

Скотинин рисует перед девушкой картину их будущего семейного счастья. Он человек заботливый. У него каждая свинка имеет свой отдельный хлев. Уж жене-то он выделит светелку. А на ее наследство можно накупить свиней, да так все обустроить, что слава пойдет: в здешнем околотке житье одним свиньям.

– Ничему не бывать, – возвращает его на землю Правдин. – Сестрица ваша играет вами, как мячиком. Она изволит прочить Софью за сынка своего.

– Как! Племяннику перебивать у дяди? – озлобляется Скотинин. – Да я его изломаю! Будь я свиной сын, если я не буду ее мужем или Митрофан уродом.

В этот момент входит сам Митрофан, за ним семенит няня Еремеевна, уговаривая питомца хоть немного поучить уроки. Но барчук грубо обрывает ее и обещает нажаловаться матушке: уж она-то задаст старой хрычовке!

– Подойди-ка сюда, – грозно окликает его Скотинин.

– Здорово, дядюшка! Что ты так ощетиниться изволил?

– Митрофан! – гремит дядя. – Гляди на меня прямее!

– Погляди, батюшка, – встревает Еремеевна. – Не гневи дядюшку. Вон, изволь посмотреть, как он глазки-то вытаращил, и ты свои изволь так же вытаращить.

Митрофан послушно выкатывает гляделки. Выпучив глаза, дядя и племянник стоят друг перед другом.

– Митрофан! Ты теперь от смерти на волоску. Отвечай: хочешь ли ты жениться?

– Уж давно, дядюшка, берет охота.

– Ах ты, чушка проклятая!

Скотинин набрасывается на него.

Верная Еремеевна кидается на защиту Митрофанушки, а тот прячется за старушку. Ошеломленный отпором, Скотинин, ругаясь, уходит восвояси.

– Убирайся, дядюшка! – кричит ему вслед из-за нянькиной спины отважный Митрофан. Появляются хозяева дома. Госпожа Простакова, по обыкновению, пилит мужа: зачем он упустил из виду офицера. Тут она замечает Милона и рассыпается перед ним в любезностях. Муж-то ее, рохля этакая, прозевал господина офицера... В доме он никакой строгости навести не может. Приходится со всем управляться одной. С утра до вечера рук не покладает: то бранится, то дерется...

– Убирала покои для твоего любезного дядюшки, – с приторной учтивостью обращается Простакова к Софье. – Умираю, хочу видеть этого почтенного старичка. Про него говорят, что он немножечко угрюм, а так, преразумный, да коли кого полюбит, так прямо полюбит.

– А кого невзлюбит, – вступает в разговор Правдин, – тот дурной человек.

Правдин хорошо знаком с дядей Софьи и с большим почтением относится к этому честному и прямому человеку.

– Ничего так не желаю, – сладко говорит Простакова, – как отеческой его милости к Митрофанушке. Одна моя забота, одна отрада – Митрофанушка. Его готовлю в люди.

Простакова предлагает Софье взглянуть на комнату, предназначенную для дяди, и посылает мужа проводить ее.

В раскрытые двери заглядывают какие-то люди. Это учителя Митрофана – семинарист Сидорыч Кутейкин и отставной солдат

Пафнутьич Цыфиркин. Знаками они спрашивают Еремеевну: можно ли войти. Еремеевна приглашает их в комнату.

Милон сразу признает в Цыфиркине старого солдата. После выхода в отставку Пафнутьич пробавляется, чем Бог пошлет: кому счет проверить или итоги подвести, а на досуге обучает ребят. Вот и с молодым барином три года дроби проходят, да что-то все не клеится.

Правдин расспрашивает Кутейкина о его занятиях. Сидорыч учился в семинарии, но за неспособностью к наукам решил уйти.

Не желая мешать занятиям Митрофана, Правдин и Милон спешат откланяться.

Простакова упрашивает сына заняться уроками.

– Пойдет на ум ученье, – бурчит Митрофан. – Ты б еще навезла сюда дядюшек. Того и смотри, что от дядюшки таска; с его кулаков да за часослов.

Митрофан с упоением живописует картину своих страданий. Вот он пойдет и утопится. Благо река близко.

Мать вконец перепугана:

– Опомнись, душенька!

Еремеевна пересказывает хозяйке столкновение с Тарасом Скотининым. Простакова в ярости обрушивается на няньку: как это она не защитила ребенка, бестия! Еремеевна плачет от обиды, но хозяйка, грубо оборвав ее, приказывает накормить учителей. Занятия начнутся после обеда. А она пока глаз не спустит с сына.

– Пойдем со мной, Митрофанушка. Не век тебе учиться. Ты столько уже смыслишь, что и сам взведешь деточек.

Пообещав по-своему расправиться с братцем, Простакова уводит сына.

– Житье твое, Еремеевна, яко тьма кромешная, – сочувственно замечает Кутейкин.

Еремеевна в слезах:

– Сорок лет служу, а милость все та же... По пяти рублей на год да по пяти пощечин на день.

Поддерживая с двух сторон старую няньку, учителя медленно уходят.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

В гостиную Простаковых входят Стародум и Правдин. Дядюшка Софьи только что приехал, и Правдин, увидев его карету из окна,

поспешил встретить старого друга. Стародум искренне рад его видеть: помимо личной симпатии их связывают общие взгляды на жизнь.

Отец Стародума служил еще Петру Великому и воспитал сына в духе петровского времени.

– Отец мой непрестанно твердил мне, имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. На все прочее мода: на умы, на знания, как на пряжки и пуговицы. Без души просвещеннейшая умница – жалкая тварь. Невежда без души – зверь.

Стародум разгневан: о недостойном поведении Простаковых ему многое известно. Но одно из его правил уметь владеть собой и не принимать сгоряча решений. В молодые годы его горячность стала причиной преждевременной отставки от военной службы. Тогда как долг дворянина – служить отечеству, не требуя чинов и званий и не боясь, что другие несправедливо обойдут его. Отставка дворянину позволительна только в одном случае: если он уверен, что служба его отечеству прямой пользы не приносит. После отставки Стародум приехал в Петербург и неожиданно для самого себя оказался представлен к царскому двору.

– Как вам эта сторона показалась? – интересуется Правдин.

– В этой стороне по прямой дороге никто почти не ездит, а все объезжают крюком, надеясь доехать поскорее. Тут себя любят отменно; о себе одном пекутся.

– Но те достойные люди, – пытается возразить Правдин, – которые у двора служат государству.

– О! те не оставляют двора для того, что они двору полезны, а прочие для того, что двор им полезен. Я не был в числе первых и не хотел быть в числе последних. Рассудил, что лучше вести жизнь у себя дома, нежели в чужой передней.

– С вашими правилами людей надо не отпускать от двора, а ко двору призывать.

– Призывать? А зачем?

– За тем, за чем к больным врача призывают.

– Мой друг, – грустно улыбается Стародум. – Тщетно звать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам заразится.

Вбегает расстроенная Софья: она уже не в состоянии находиться в обществе хозяев. Завидев дядю, девушка бросается в его объятия. С детских лет Софья привыкла видеть в нем наставника и друга.

Стародум рассказывает, что вынужден был покинуть любимую сестру и племянницу для того, чтобы иметь возможность приобрести состояние. Теперь у него достаточно средств. Софья может выйти замуж за достойного человека, независимо от того, беден он или богат.

– Но выдав ее, – подает голос Правдин, – не лишнее было бы оставить и детям...

– Умны будут, без богатства обойдутся, а глупому сыну не в помощь богатство. Наличные деньги – не наличные достоинства.

Их разговор прерывает громкий шум: в комнату вваливаются дерущиеся Простакова и Скотинин. Милон пытается их разнять.

– Пусти! – рвется к брату Простакова. – Дай мне до рожи, дорожи...

– Не пущу, сударыня, – твердо останавливает ее Милон. – Или вы забыли, что он вам брат?

– Сердце взыграло, дай додраться!

Стародум и Правдин не могут удержаться от смеха при виде раскрасневшейся хозяйки и ее брата, поправляющего съехавший набок парик.

Заметив незнакомого человека, Простакова переключается на него:

– Это, сударь, ничего и не смешно. За сына вступлюсь. Изволил пожаловать неведомо к кому неведомо кто.

Стародум указывает на Софью:

– Приехал к ней, ее дядя.

Известие ошеломило Простакову, но она быстро приходит в себя и круто меняет тон:

– Гость наш бесценный! Да так ли надобно было встретить отца родного, на которого вся надежда. Батюшка! Прости меня. Образумиться не могу. Где муж! Где сын! Наказание Божие! Девка! Палашка!

На крик прибегает Еремеевна: что угодно хозяйке?

– А ты разве девка, собачья ты дочь? – шипит Простакова. – Разве у меня в доме, кроме твоей скверной хари, и служанок нет! Палашка где?

– Захворала, матушка, лежит с утра. Такой жар рознял, без умолку бредит...

– Ах она, бестия! Лежит! Бредит! Как будто благородная!

Простакова посылает старуху за мужем и сыном и снова бросается к Стародуму:

– Дай хотя обнять себя хорошенько, благодетель наш!

Вбегают Простаков и Митрофан. Все семейство, включая Тараса Скотинина, плотным кольцом окружает Стародума. Едва вырвавшись от хозяйки, он попадает в объятия Скотинина.

– Это я, сестрин брат, – ревет Тарас.

Простаков тоже лезет с объятиями:

– Я женин муж.

– А я матушкин сынок, – вылезает Митрофан, пытаясь поцеловать руку Стародума.

Стародум брезгливо отдергивает руку: такое раболепство ему не по нраву.

– Говори, Митрофанушка, – учит сына Простакова, – как-де, сударь, мне не целовать твоей ручки? Ты мой второй отец.

– Как не целовать, дядюшка, твоей ручки, – послушно повторяет сын. – Ты мой отец... Который бишь?

– Второй, – подсказывает мать.

– Второй? Второй отец, дядюшка.

– Я, сударь, тебе ни отец, ни дядюшка, – сухо отвечает Стародум.

– Батюшка, – сладко произносит Простакова, – ведь ребенок, может быть, свое счастье прорекает: авось-либо сподобит Бог быть ему и впрямь твоим племянничком.

– А я чем не племянник! – выпиливает Скотинин

– Я, братец, с тобой лаяться не стану, от роду ни о кем не бранивалась. У меня такой нрав, – обращается она к Стародуму. – Пусть Бог тому заплатит, кто меня, бедную, обижает.

Стародум усмехается: это он уже заметил.

А Правдин три дня свидетель хозяйкиного добронравия.

Стародум объявляет, что завтра утром они с Софьей уезжают в Москву. Простаковы хором умоляют его повременить, уверяют, что не в силах пережить разлуку с Софьюшкой. Но дядя неумолим: Софья должна ехать.

– Мне представлен в женихи ее молодой человек больших достоинств. За него и выдам.

Новость производит на присутствующих огромное впечатление. Всеобщее замешательство не ускользнуло от глаз Стародума. Он спешит успокоить племянницу: она совершенно свободна в своем выборе.

– Будь спокойна, друг мой! Твой муж, тебя достойный, кто б он ни был, будет иметь во мне истинного друга. Поди за кого хочешь.

Софья радостно уверяет дядю в своем неизменном послушании. Довольна и госпожа Простакова:

Так, мой батюшка, так. Тут лишь только женихов пропускать не надобно. Коль есть в глазах дворянин, малый молодой.

Из ребят давно уж вышел... – перебивает ее Скотинин.

У кого достаточек, хоть и небольшой, – не слушая его, продолжает Простакова.

Да свиной завод не плох, – талдычит свое Тарас.

Стародум усмехается:

– Советы ваши беспристрастны. Это я вижу.

– То ль еще увидишь, как опознаешь меня покороче, – не отстает Скотинин. – Через час приду к тебе один. Тут дело и сладим.

Он ретируется. А Простакова, стремясь завладеть вниманием Стародума знакомит его со своей родословной. Родители ее, из славного рода Скотининых, старинные были люди. Ничему детей не учи-ли. Бывало, покойник батюшка изволит закричать: прокляну ребенка, который что-нибудь переймет у басурманов, и не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет. Нынче-то век другой. Последних крох они с мужем не жалеют, чтобы сынка всему выучить. Жених хоть кому, а все-таки учителя ходят, и теперь вот двое в сенях дожидаются. Простакова делает знак Еремеевне позвать учителей. Кутейкин и Цыфиркин робко входят.

– Желала б я душевно, – обращается хозяйка к Стародуму, – чтобы ты, батюшка, полюбовался на Митрофанушку и посмотрел бы, что он выучил.

На помощь другу приходит Правдин:

– Не забудьте, однако ж, сударыня, что гость ваш только приехал и что ему покой гораздо нужнее.

Простакова провожает Стародума в его комнату. Расходятся и другие. В гостиной остаются только Кутейкин и Цыфиркин. Они в полном расстройстве: мало того, что от ученичка толку не добьешься, так еще и время попусту теряешь с самого утра.

Возвращаются Простакова и Митрофан.

– Друг мой, – упрашивает она, – ты хоть для виду поучись. А там и женишься.

– Слушай, матушка, я тебя потешу. Поучусь, только чтоб это был последний раз и чтоб сегодня же быть сговору.

– Придет час воли Божьей! – крестится Простакова.

– Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться. Ты ж меня взманила, пеняй на себя.

Митрофан с решительным видом усаживается за стол.

– Ну! – грубо обращается он к Цыфиркину, – гарнизонная крыса! Задавай, что писать, поворачивайся.

Цыфиркин вздыхает:

– Задача. Изволил ты идти по дороге со мною. Ну, хоть возьмем с собою Сидорыча. Нашли мы трое на дороге триста рублев. Дошло дело до дележа. Смекни, по чему на брата?

Митрофан глубоко задумывается, морщит лоб, шепчет, вычисляя:

– Единожды три – три. Единожды ноль – ноль...

– Нашел деньги, ни с кем не делись, – поучает сына Простакова. – Все себе возьми. Не учись этой дурацкой науке. Денег нет – что считать? Деньги есть – сочтем и без Пафнутьича.

Настала очередь Кутейкина. Он открывает часослов. Митрофан берет указку. Унылым голосом он бессмысленно повторяет за учителем все тот же урок, что и вчера, и третьего дня...

Стремительной походкой входит немец Вральман – еще один учитель. В притворном ужасе он прижимает руки к груди:

– Ай! ай! ай! Уморить хотят репенка! Тай волю этим злотеям. Из такой голоф толголь болфан?

Вральман едва говорит по-русски, но весьма самоуверен. Его слова встречают полную поддержку у Простаковой: если ученье так опасно для головушки ее ненаглядного сына, не лучше ли прекратить? А не выучась, как ехать в тот же Петербург? Скажут, дурак. Умниц-то нынче завелось много, боязно.

– Расумный шеловек, – успокаивает ее Вральман, – никохта з ним не заспорит; а он з умными лютьми не сфязывайся!

Митрофан с ним согласен: он и сам не охотник до умных людей. То ли дело своя компания.

– Да из кого ж ты ее выберешь? – сомневается мать.

– Не крушинься, матушка, – уверяет ее Вральман, какоф твой сын, таких на сфете миллионы! Кабы не заморили ефо на ушенье. Ему потреппо знать, как шить в сфете.

Вральман повествует о жизни большого света. Уж он-то нагляделся на него в Петербурге. Бывало, смотришь на Екатерингофский праздник с козел...

– С каких таких козел? – настораживается Простакова.

Адам Адамыч спохватывается: кажется, он проговорился. Но быстро находится:

– На снакому карету засел, та и смотру польшой сфет с косел.

Простакова понимающе кивает:

– Умный человек знает, куда влезть. Вральман уверяет, что Митрофан, безусловно, займет видное место в свете. А пока пусть резвится!

Митрофан радостно убегает. За ним следует умиленная Простакова.

Кутейкин и Цыфиркин подступают к Вральману.

– Сам праздно хлеб ешь и другим ничего делать не даешь, – гневно бросает ему Цыфиркин.

Вральман хорохорится: как они смеют!

– Я накараул закришу!

– А мы те честь отдадим. Я доскою.

– А я часословом, – подхватывает Кутейкин.

Отставной солдат и бывший семинарист наступают на немца, размахивая грифельной доской и увесистой книгой.

Вральман испуганно шарахается и стремительно несется к двери. Учителя бросаются за ним.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Софья просит у дяди совета – как вести себя в свете? Какими правилами руководствоваться в жизни? Стародум охотно отзывается на ее просьбу. Ведь часто первый шаг решает судьбу целой жизни. Очень важно найти по-настоящему достойных людей.

– Все мое старание употреблю заслужить доброе мнение! – восклицает Софья. – Да как избежать, чтоб те, которые увидят, как я от них удаляюсь, не стали на меня злобиться?

– Дурное расположение людей, не достойных почтения, не должно быть огорчительно. Люди не одному богатству, не одной знатности завидуют: добродетель своих завистников имеет.

– Всякий ли человек может быть добродетелен? – спрашивает Софья.

– Надобно захотеть решительно, а там всего будет легче не делать того, за что совесть угрызла. Совесть, как друг, всегда остерегает прежде, нежели, как судья, наказывает.

Счастье человека, по мнению Стародума, заключается не в знатности и не в богатстве. Знатным может считаться тот, кто много сделал для отечества, для людей. А богат толы тот, кто отсчитывает у себя лишнее, чтобы помочь тому, у кого нет нужного.

– Без знатных дел знатное состояние ничто. А разве тот счастлив, кто счастлив один?

– Да мне это непонятно, дядюшка, как можно человеку помнить одного себя? Где ж ум, которым так величаются?

– Ум, коль он только что ум, самая безделица. Прямую цену ему дает благонравие. Умов много и много разных. Умного человека легко извинить можно, если он какого-нибудь качества ума не имеет. Честному человеку никак простить нельзя, коли недостает в нем какого-нибудь качества сердца.

– Я теперь живо чувствую, – говорит Софья, – и достоинство честного человека, и его должность.

– Должность – долг – это тот священный обет, которым обязаны мы все тем, с кем живем и от кого зависим. Если б так долж-ность исполняли, как о ней твердят... Дворянин, например, считал бы за первое бесчестие не делать ничего, когда есть столько дела: люди, которым надо помогать, отечество, которому надо служить. А если взять жен и мужей? Несчастный дом, где жена не имеет никакой сердечной дружбы к мужу, ни он к жене доверенности, где каждый с своей стороны своротили с пути добродетели. Оба стали друг другу в несносную тягость. Какого воспитания ожидать детям? Отец, не имеющий почтения к жене своей... Мать, видящая в них или причины беспокойств своих, или упрек своего развращения...

Стародум уверен, что многие несчастья семейной жизни происходят от того, что редко советуются с сердцем, интересуясь только, знатен ли жених, богата ли невеста.

– Никому и в голову не входит, что в глазах мыслящих людей честный человек без большого чина – презнатная особа. Добродетель все заменяет, а добродетели ничто заменить не может.

Софья преисполнена благодарности к дяде. Но их беседу прерывает камердинер Стародума. Он принес хозяину только что доставленное письмо из Москвы от старого друга графа Честана.

В письме сообщается о том, что племянник графа направляется в Москву. Вероятно, Стародум встретит его по пути и получит полную возможность узнать образ мыслей молодого человека.

Стародум объясняет племяннице, что речь идет о предполагаемом женихе для нее и просит Софью откровенно высказаться по этому поводу.

Девушка готова открыть дяде свои чувства, но в комнату входят Правдин и Милон. Правдин представляет молодого офицера. Расспрашивая молодого человека, Стародум узнает, что тот приходится родным племянником графу Честану. Возлюбленный Софьи оказался тем самым женихом, которого прочит ей дядя! Стародум от всей души дает согласие на брак любимой племянницы и ее избранника.

Как всегда некстати является Тарас Скотинин. Не обращая внимания на присутствующих, он требует от Стародума выдать племянницу за него. Неожиданное сватовство нарушено появлением семейства Простаковых с няней Еремеевной впридачу.

Госпожа Простакова намерена поразить своих гостей ученостью сына и просит Стародума сделать ему экзамен. Вот хоть по грамматике.

– Что ж вы о ней знаете? – обращается к Митрофану Правдин.

– Много. Существительна да прилагательна.

– Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?

– Котора дверь? Вот эта? Прилагательна, – уверенно отвечает Митрофан. – Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так та, покамест, существительна.

– Так потому у тебя слово «дурак» прилагательное, – смеется Стародум, – потому что оно прилагается к глупому человеку.

– В грамматике он силен, – иронизирует Правдин.

Оказывается, Митрофан силен и в истории: иной раз далеко заходит – за тридевять земель, в тридесятое царство. А как обстоит дело с географией?

Простакова обращается к сыну:

– Слышишь, друг мой сердечный? Это что за наука?

– А я почем знаю? – растерянно отвечает Митрофан.

Мать уговаривает его не упрямиться: теперь-то и надо себя показать.

– Да не возьму я в толк, о чем спрашивают! – взрывается Митрофан. – Пристали с ножом к горлу!

Правдин разъясняет, что география – это описание земли.

– А к чему бы это служило? – допытывается Простакова.

– На первый случай сгодилось бы к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.

– Ах, мой батюшка, – пожимает плечами Простакова. – Да извозчики на что? Это их дело. Мне поверь, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка.

Стародум насмешливо подхватывает:

– В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь.

Скотинин приводит неотразимый, на его взгляд, пример того, что ученье – вздор. Взять покойного дядю Вавилу Фалеича: о грамоте никогда и не слыхивал, а раз, по пьяному делу, со всего размаху врезался в каменные ворота головой – и ничего!

Протрезвясь, спросил только, целы ли ворота. А есть ли на свете ученый лоб, который от такого удара не развалился бы?

Простакова сообщает Правдину, что в его комнату только что понесли какой-то пакет. Правдин поспешно покидает общество. За ним отправляется Милон: ему необходимо отдать распоряжения солдатам.

Простакова подступает к Стародуму:

– Ну, мой батюшка! Ты видел, каков Митрофанушка? Жених ли он Софье?

С другой стороны наступает Скотинин:

– Быть ли за мной Софьюшке? Стародум решительно отказывает обоим:

Софья сговорена с другим. Он подзывает племянницу, и они оба уходят.

Простакова в ярости мечется по комнате. Ее брат удаляется, бормоча себе под нос:

– Завтра и я проснусь с светом. Будь он умен, а с Скотининым развяжется не скоро.

Проводив его взглядом, Простакова подзывает к себе мужа и сына:

– Завтра в шесть часов чтобы карета подведена была к заднему крыльцу. А ты, Еремеевна, всю ночь не смей вздремнуть у Софьиных дверей. Лишь она проснется, беги ко мне. Ты, Митрофанушка, сам в шесть часов будь совсем готов. Подите все с Богом. Где гнев, тут и милость. Старик погневается, да и простит. А мы свое возьмем.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Правдин рассказывает Стародуму о содержании полученного им письма. В нем наместник поручает Правдину взять под опеку дом и деревни Простаковых.

Это наводит Стародума на размышления о законе, о долге государя перед своим народом:

– Каждый должен искать своего счастья и выгод в том одном, что законно... Угнетать рабством себе подобных беззаконно. Дело государя – показать людям прямое их благо. Достойный престола государь стремится возвысить души своих подданных.

Удовольствие, которым государи наслаждаются, владея свободными душами, – соглашается Правдин, – должно быть столь велико, что я не понимаю, какие побуждения могли бы отвлекать...

Стародум перебивает его:

– Сколь великой душе надобно быть в государе, чтоб стать на стезю истины и никогда с нее не совращаться!

По мнению Стародума, все в руках разумного правителя. Когда люди видят, что подлостью, интригами или за деньги нельзя получить ни мест, ни чинов, а только лишь личными заслугами, тогда всякий находит свою выгоду в том, чтобы быть благонравным, и всякий хорош становится. Правильное воспитание должно быть залогом благосостояния государства. Что для отечества может сделать такой, как Митрофан? Крепостной раб, которому поручено воспитание молодого барина, может воспитать только такого же раба.

Раздаются шум, крики. В комнату вбегает Милон с обнаженной шпагой в руке. Он отталкивает от Софьи вцепившуюся в нее Еремеевну. Софью едва не похитили люди Простаковой, но храбрый офицер сумел ее защитить.

Правдин требует от Еремеевны ответа: куда хотели увезти девушку?

– Венчаться, мой батюшка, венчаться!

С криком: «Воры! Мошенники! Всех прибить велю до смерти!» – врывается Простакова. За ней бегут муж и сын.

Правдин сурово отчитывает ее и заявляет, что насильственное похищение девушки должно быть наказано по закону и он имеет все полномочия представить семейство Простаковых перед судом.

Простаковы бросаются на колени и униженно молят о прощении. Хотя, по мнению Милона, и преступление, и раскаяние их достойно только презрения, Софья и Стародум прощают Простаковых.

– Ну, теперь-то я задам своим людям! – восклицает Простакова. – Теперь-то допытаюсь, кто из рук ее выпустил!

Правдин хочет знать: за что она собирается наказывать своих людей?

– Разве я не властна в своих людях? – искренне удивляется Простакова. – Разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет?

– Тиранствовать никто не волен, – возражает Правдин.

Простакова порывается уйти – все это глупости! На что ж тогда дан указ о вольности дворянства? Нет, теперь-то она всем поснимает головы...

– Поостановитесь, сударыня, – официальным тоном обращается к ней Правдин. – За бесчеловечие ваше повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревни.

Простакова в отчаянье ломает руки. Скотинин решает поскорее убраться с глаз долой: этак и до него доберутся...

Правдин советует и ему поостеречься, поговаривают, что со свиньями Тарас обращается куда лучше, чем с людьми.

– Да как к людям лежать у меня сердцу? – недоумевает Скотинин, бочком пробираясь к выходу. – Люди передо мною умничают, а между свиньями я сам всех умнее.

Простакова пытается упросить Правдина, если не отменить какнибудь указ – все ли указы исполняются? – то хоть отсрочить на три дня.

Правдин неумолим:

– Ни на три часа.

– Да, друг мой! – соглашается с ним Стародум. – Она и в три часа напроказит столько, что веком не пособишь.

Напрасно Простакова ссылается на незавершенные дела, на долги учителям... Правдин намерен все проблемы решить собственноручно. Он посылает Еремеевну за учителями.

Через минуту она вводит в комнату Вральмана, Кутейкина и Цыфиркина. Взглянув на Вральмана, Стародум с удивлением признает в нем своего бывшего кучера. Вральман оправдывается: три месяца он был без работы – нигде не нужны кучера. Пришлось идти в учителя либо с голоду помирать.

Правдин сообщает, что, получив по распоряжению правительства опеку над имением Простаковых, он отпускает учителей. Кутейкин требует заплатить ему за ученье, за напрасно потраченное время, компенсировать расходы на обувь и многое другое. Цыфиркин считает, что за ученье ему ничего не причитается: молодой барин ничему не выучился. Сам Пафнутьич, старый солдат, двадцать лет служил государю, за службу деньги брал, а по-пустому брать не намерен.

– Вот прямой добрый человек! – восклицает Стародум.

Стародум, Милон и Правдин щедро награждают Цыфиркина. А Кутейкину предлагают прийти завтра и получить деньги с хозяйки. С криком: «Ото всего отступаюсь!» – Кутейкин в ужасе убегает. Вральман умоляет своего старого хозяина снова принять его на должность кучера.

– Да ты, я чаю, отстал от лошадей? – сомневается Стародум.

– Эй, нет! Шивучи с стешними хоспотами, касалось мне, что я фсе с лошатками.

Стародум согласен взять его на работу.

Камердинер докладывает, что карета подана. Стародум, Софья и Милон прощаются с Правдиным.

– Один ты остался у меня, – обнимает сына Простакова, – мой сердечный друг, Митрофанушка.

Но Митрофан грубо отталкивает мать: вот еще навязалась!

– И ты меня бросаешь! А! неблагодарный! Потрясенная мать теряет сознание. Софья и Еремеевна бросаются к ней.

– Тебе ли грубить матери? – гневно выговаривает Митрофану Правдин. – К тебе ее безумная любовь и довела ее всего больше до несчастья. С тобой, дружок, знаю что делать. Пошел-ко служить...

Митрофану все равно:

– По мне, куда велят...

Очнувшаяся от обморока Простакова слышит его слова.

– Погибла я совсем! – в отчаянье восклицает она. – Отнята у меня власть! Нет у меня сына!

– Вот злонравия достойные плоды! – заключает Стародум

Конец

Вершинным явлением в поэзии этого времени стало творчество **Гаврилы Романовича Державина** (1743–1816), сказавшего о себе на излете жизни: «Един есть Бог, един Державин». Стихотворец, «в сердечной простоте» поставивший себя рядом с Творцом, тем самым выделил и возвысил не себя, а просто человека, который неповторим в своем краткосрочном бытии и который обретает вторую жизнь в поэтическом слове. Державин задолго до Жуковского сделал себя главным действующим лицом своей лиро-эпической, во многом автобиографичной поэзии.

Век его был по преимуществу материален, жаден до удовольствий и радостей быстротекущей жизни, грубоват, расточителен и разгулен, соединял простодушие, смелость и житейскую сметку. Последнее державинское стихотворение вполне выразило и его поэтическое «я» и дух времени:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Навсегда осталась в русской поэзии знаменитая державинская строка о непрерывном духовном «восхождении» человека:

Я царь – я раб – я червь – я Бог!

В 1776 году Державин издал свою первую книгу оригинальных од и переводов с немецкого, серьезно занялся литературой и самообразованием. Державин подружился с литераторами Н.А. Львовым, В.В. Капнистом, И.И. Хемницером, которые помогали ему советами, редактировали его стихотворные опыты. Вместе с тем самолюбивый поэт часто восставал против своих учителей, отказываясь править свои строки.

В печати появляются лучшие его стихотворения, в том числе знаменитая ода «Фелица» (1782), посвященная императрице (стихотворение понравилось ей, что значительно ускорило продвижение поэта по службе).

Будучи назначен императрицей олонецким и тамбовским губернатором, Державин нигде не ужился и даже попал под суд.

В 1791 году императрица сделала его своим кабинет-секретарем, но порывистый и прямой поэт не удержался и на этом ключевом в тогдашней России посту и был удален в Сенат. При Павле I Державина назначают государственным казначеем, но вскоре он поссорился со столь же своенравным императором. При Александре I Державин стал министром юстиции, но через год вежливо, но твердо отправлен молодым царем в отставку. Поэт окончательно поселился в своем новгородском поместье, которое воспел в стихах. Здесь он и окончил свои дни в зените поэтической славы.

В литературной борьбе своего времени Державин-художник стоял на стороне славянофила А. С. Шишкова, возглавлял собиравшееся в его петербургском доме литературное общество «Беседа любителей русского слова». При этом он понимал и глубоко уважал реформатора Карамзина, оценил романтика Жуковского и в 1815 году приветствовал на лицейском экзамене юного Пушкина, своего поэтического наследника и ученика. Но престарелый поэт чувствовал, что время его ушло: «Еще Державин ударял в струны своей лиры, как уже все вокруг него изменилось: век Екатерины, полководцы-орлы вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись как сновидение» (Гоголь).

Доброжелательность и поэтическое чувство никогда не изменяли поэту, он прожил долгую, достойную, насыщенную событиями и творчеством жизнь. Для жестокого и бурного века этого было более чем достаточно. Но Державин сделал больше: свою незаурядную жизнь и колоритную цельную личность он воплотил в поэтическом слове, выступив подлинным новатором в литературе.

Автор «Фелицы» повернул молодую поэзию, увлекшуюся одами, трагедиями и эпопеями, от мундирной «государственности» к главному ее делу и образу творческой мысли – лирике, сумел вместить жизнь своего беспокойного простодушного сердца в отработанные, официозные формы классицизма, а иногда эти формы вовсе отбрасывал. Державин, «строя лиру, языком сердца говорил». Не случайно он написал в конце жизни замечательное программное «Рассуждение о лирической поэзии или об оде».

Гоголь назвал Державина «певцом величия».

Знаменитая ода **«Фелица»** (1782) написана не на торжественный день или случай из жизни императрицы: это шутливая и остроумная сценка с сюжетом и действующими лицами. Державин ис-

пользовал модный тогда восточный стиль и прием аллегории. Екатерина представлена в его оде как мудрая и трудолюбивая «царевна киргиз-кайсацкой орды», а рядом с ней является в столь же красочном облике ленивого и роскошного татарского мурзы сам поэт и в подробностях повествует о своей привольной домашней, частной жизни.

Завидуя щедро вознагражденному за оду поэту, недоброжелатели упрекали его в придворной лести. Но в державинской оде скрыты сатира (в описании своих забав поэт представил хорошо известные императрице пороки ее вельмож), содержатся серьезные уроки, адресованные самой царице. Государственный деятель и поэт, Державин говорит императрице, какой она должна быть, но говорит эту истину с доброй улыбкой и забавной лестной выдумкой.

В грозном обличении сильных, неправедных вельмож, поправших все права и законы, – стихотворении **«Властителям и судиям»** (1780) никакого комизма и сатиры уже нет, в этом весьма вольно переведенном библейском псалме, ставшем одой, поэт через головы вельмож бесстрашно говорит их покровителям – самодержавным монархам о неизбежном праведном суде, высшем возмездии:

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Не менее мрачным и грандиозным по своему звучанию является загадочное стихотворение **«На смерть князя Мещерского»** (1779). Это тоже торжественная ода, но она имеет другое назначение: Державин написал оду погребальную, ритуальную и сделал это по заказу. Так было принято в XVIII веке.

Державин – поэт-философ, и очень важно проследить движение его творческой мысли к столь важным, вечным темам. Он размышляет и о судьбе своей поэзии, о том, что останется после него в литературе, в духовной культуре России. В поэзии, как и в реальной жизни, существуют вечное и преходящее, она – зеркало нашего бытия:

Не так ли с неба время льется,
Кипит стремление страстей...

И вослед римскому поэту Горацию и великому Ломоносову Державин пишет оду **«Памятник»** (1795). В ней художник задумывается

о том, что в его поэзии вечно, тверже меди и гранита, способно выдержать все бури и удары времени. Он самолюбив, не чужд желания славы, но для него важнее понять, что есть подлинная слава. Это – бессмертие, долгая жизнь поэзии и образа ее творца в народной памяти:

Но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить.

Бессмертным поэта делает вдохновенное творчество, сохраняющее лучшие его мысли и чувства в живом слове. Время превратно, слава скоропреходяща, но носитель праведного слова останется в веках:

Богов певец
Не будет никогда подлец.

Державин с удовлетворением перечисляет собственные заслуги перед поэзией и историей – «забавный русский слог» оды о Фелице, размышление о Боге, смелость и умение «истину царям с улыбкой говорить», служение правде, которая «любезна всем векам». Сравнивая поэта с официальными одописцами, В.А. Жуковский писал: «Державин сохранял независимость от героев своих стихотворений. Он во все вкладывает свою собственную поэзию, он – философ у подножия трона, он рисует самого себя в том, что он говорит о других; он пробуждает великие и патриотические идеи, и в то же время он рисует природу неподражаемыми чертами. Его произведения... полны жара, который электризует и пробуждает поэтическое чувство».

Позже А.С. Пушкин, ученик и наследник автора «Памятника», сказал о его наследии: главное в державинском творчестве *«мысли, картины и движения истинно поэтические»*.

Г.Р. Державин

На смерть князя Мещерского

Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет – и к гробу приближает.
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет

И дни мои, как злак, сечет.

Ничто от роковых когтей,
Никая тварь не убегает:
Монарх и узник – снедь червей,
Гробницы злость стихий снедает;
Зияет время славу стерть:
Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы;
Глотает царства алчна смерть.
Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою,
На то, чтоб умереть, родимся.
Без жалости всё смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит.

Как сон, как сладкая мечта,
Исчезла и моя уж младость;
Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен;
Желанием честей размучен,
Зовет, я слышу, славы шум.

Но так и мужество пройдет
И вместе к славе с ним стремленье;
Богатств стяжание минет,
И в сердце всех страстей волненье
Прейдет, прейдет в чреду свою.

Подите счастьи прочь возможны,
Вы все пременны здесь и ложны:
Я в дверях вечности стою.

Сей день иль завтра умереть,
Перфильев! должно нам конечно:
Почто ж терзаться и скорбеть,
Что смертный друг твой жил не вечно?
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар.

Властителям и судиям

Восстал Всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! – видят и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодейства землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,

Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!

Памятник

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

Так! – весь я не умру; но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой неторопливой
Чело твое зарей бессмертия венчай.

ОТ КЛАССИЦИЗМА К НОВЫМ ФОРМАМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

Общая тенденция движения от классицизма к новым способам художественного отображения жизни, постигаемой в ее реальных противоречиях, нашла свое воплощение и в русской прозе XVIII века, яркими представителями которой явились А.Н. Радищев и Н.М. Карамзин.

Александр Николаевич Радищев (1749–1802). Служба в Сенате, армии и на таможне дала большой жизненный опыт, помогла Радищеву найти просвещенных и влиятельных друзей и единомышленников (он сблизился с проповедовавшими идею равенства масонами, стал другом своего начальника графа А.Р. Воронцова, президента Коммерц-коллегии, то есть министра торговли).

Радищев начал пробовать свои силы в литературе сначала как переводчик книг философов-просветителей, а затем как прозаик и поэт. В 1783 году он написал оду **«Вольность»**, где восславил победу американской революции и рассуждал о праве восстания народа против монарха-тирана. С середины 1780-х годов писатель приступил к работе над главной своей книгой **«Путешествие из Петербурга в Москву»**.

К тому времени дворянам было разрешено заводить собственные типографии, и в 1789 году (год начала революции во Франции) Радищев напечатал у себя дома 650 экземпляров своей книги. Покладистый цензор подписал ее, не читая (ведь автор был директором петербургской таможни, лицом в столице известным и влиятельным), и вскоре она уже продавалась в Петербурге.

Он приравнивал свою книгу к большой публицистической статье, бесцензурному политическому памфлету, верил в силу негодующего слова и убеждения.

Сочинение быстро дошло до императрицы и вызвало ее гневное возмущение: потрясенная неблагодарностью с юных лет облагодетельствованного ею Радищева, Екатерина назвала автора «бунтовщиком хуже Пугачева». Книга была уничтожена, а автор в июле 1790 года посажен в Петропавловскую крепость и приговорен к смертной казни.

Смертная казнь была заменена каторгой в Сибирь, где под нестрогим надзором он жил с семьей, получал от петербургских друзей деньги и книги, писал новые сочинения. Из ссылки он

был возвращен императором Павлом, а при сыне его вернулся на государственную службу.

Вокруг Радищева стали собираться молодые последователи и ученики, но его сильный, прямой, неуживчивый характер и новые свободолюбивые сочинения привели к очередным гонениям и угрозам ссылки и тюрьмы. Отчаявшийся Радищев покончил жизнь самоубийством 12 (24) сентября 1802 года.

Само название его главной, знаменитой книги – «Путешествие из Петербурга в Москву» – свидетельствует, что сочинение Радищева принадлежит к популярному в XVIII веке жанру *литературы путешествий*. Эта литература стала одним из способов распространения просвещения и высказывания тех или иных политических и философских взглядов. Центральная фигура, мера всех вещей в литературе путешествий – человек. Он странствует, попадает в неведомые государства и местности, постигает их историю, географию и этнографию, видит изнутри чужую живую культуру, жизнь народа, изучает языки, то есть духовно развивается и обогащается, становится «гражданином вселенной». В то же время человек в пути постигает самого себя, осознает, понимает свой внутренний мир, интересы, духовные корни и традиции, свою страну и свой народ, воспринимая все в сравнении. Понятны привлекательность этого жанра для писателей и его популярность среди читателей.

Одно из ключевых слов в книге Радищева – *чувство*, причем это не отдельное неясное чувство, а сложные, очень важные для частного человека чувствования, целый мир душевных движений. Для Радищева чувствительность – выше разума, одно из главных качеств свободной личности: «Я человеку нашел утешителя в нем самом».

Сентиментализм

Это уже признаки зарождающейся в России литературы ***сентиментализма***. Радищев – один из ее зачинателей, последователь основоположника французского сентиментализма Жан Жака Руссо, предшественник Карамзина, новатор в прозе и поэзии.

Главный герой книги – прозревший русский дворянин, человек передовой, общественный, сочувствующий страданиям других

людей и готовый вступиться за их права. Автор прямо говорит о неизбежном восстании несчастного, угнетенного народа о том, что душа художника уязвлена, мучается, возмущается многочисленными преступлениями против человечества, личности, ее несомненных, естественных прав. Главным преступлением, первопричиной всех зол, автор «Путешествия...» считает крепостное право, из которого проистекают отсутствие вольности и «повреждение нравов» во всех сословиях: «Порабощение есть принуждение».

Пушкин сказал: «Радищев, рабства враг...». Протест против рабства, духовного порабощения составляет главный пафос «Путешествия из Петербурга в Москву», все остальные идеи и образы уже связаны с этой центральной мыслью. Главный же герой – русский народ, крестьянин, умеющий верно и достойно мыслить и чувствовать, простой человек, являющийся для автора исторической загадкой.

Далее от главы к главе автор знакомит читателя с теми или иными пороками, злоупотреблениями и преступлениями дворян – помещиков и государственных чиновников, не забыв при этом и официальную церковь, служащую правительству и помещикам.

В главе «София» изображен ленивый и лживый почтовый служитель, не дающий лошадей и нарушающий свой чиновничий долг. В главе «Любани» путешественник встречается с крестьянином, весело и усердно пашущим свою, не барскую ниву в воскресенье, то есть в праздник, что считалось у православных грехом, но сами крестьяне труд грехом не считали. Здесь впервые заходит речь об угнетении крестьян барином, помещиком, шесть дней в неделю гоняющим крестьян на барщину, то есть на подневольную, безрадостную работу на своих землях, а деревенских женщин и девушек посылающим собирать грибы и ягоды. Появляется тема узаконенного неравенства, невозможности для крестьян воззвать к правосудию.

Рассказ о кораблекрушении в главе «Чудово» также «социален», ибо морской начальник не оказал терпящим бедствие должной помощи (это сделали простые солдаты, давшие им свои лодки). Сцена эта важна подробным описанием страданий гибнущих людей и гневным обращением рассказчика к очерствевшим, забывшим свой долг чиновникам: «Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие – грызть друг друга; отрада их – томить слабого до издыхания и раболепствовать власти».

От простой и забавной истории недобросовестного чиновника, любящего есть дорогие привозные устрицы и спокойно злоупотребляющего ради своей невинной страсти служебным положением (глава «Спасская Полесть»). Продажа крепостных крестьян, описанная в главе «Медное», изобличала античеловеческую и противоправную суть нарушения естественного равенства людей.

Эта ключевая для всей книги речь о природном равенстве всех людей, об их естественном праве преступать законы во имя своего блага и свободы, об их праве на месть, восстание и даже убийство своих угнетателей и является главной угрозой неправедной власти, исходящей от автора книги-путешествия.

Тираноборческая ода «Вольность», написанная «сильными стихами» (Пушкин) и помещенная в главе «Тверь», зовет к мести царям, их казни по приговору народного суда.

Книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» стала первым памфлетом.

Однако вспомним, что Пушкин резонно ответил автору «Путешествия из Петербурга в Москву» в своей статье о нем: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...»

СПАССКАЯ ПОЛЕСТЬ

Я вслед за моим приятелем скакал так скоро, что настиг его еще на почтовом стану. Старался его уговорить, чтоб возвратился в Петербург, старался ему доказать, что малые и частные неустройства в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в пространство моря, не может возмутить поверхности воды. Но он мне сказал наотрез:

– Когда бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, конечно, на Финском заливе бури не сделалось, а я бы пошел жить с тюленями. – И, с видом негодования простясь со мною, лег в свою кибитку и поехал поспешно.

Лошади были уже впряжены; я уже ногу занес, чтобы влезть в кибитку; как вдруг дождь пошел. – Беда невелика, – размышлял я: – закроюсь ценовкою и буду сух. – Но едва мысль сия в мозге моем пролетела, то как будто меня окунули в пролубь. Небо, не спросясь

со мною, разверзло облако, и дождь лил ведром. С погодою не сладишь; по пословице: тише едешь, дале будешь – вылез я из кибитки и убежал в первую избу. Хозяин уже ложился спать, и в избе было темно. Но я и в потемках выпросил позволение обсушиться. Снял с себя мокрое платье и, что было посуше положив под голову, на лавке скоро заснул. Но постеля моя была непуховая, долго нежиться не позволила. Проснувшись, услышал я шопот. Два голоса различить я мог, которые между собою разговаривали:

– Ну, муж, расскажи-тка, – говорил женский голос.

– Слушай, жена. Жил-был...

– И подлинно на сказку похоже; да как же сказке верить? – сказала жена вполголоса, зевая ото сна; – поверю ли я, что были Полкан, Бова или Соловей разбойник.

– Да кто тебя толкает в шею, верь, коли хочешь. Но то правда, что в старину силы телесные были в уважении и что силачи оные употребляли во зло. Вот тебе Полкан. А о Соловье разбойнике читай, мать моя, истолкователей русских древностей. Они тебе скажут, что он Соловьем назван красноречия своего ради. Не перебивай же моей речи. Итак, жил-был где-то государев наместник. В молодости своей таскался по чужим землям, выучился есть устерсы и был до них великий охотник. Пока деньжонок своих мало было, то он от охоты своей воздерживался, едал по десятку, и то когда бывал в Петербурге. Как скоро полез в чины, то и число устерсов на столе его начало прибавляться. А как попал в наместники и когда много стало у него денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он к устерсам как брюхатая баба. Спит и видит, чтобы устерсы кушать. Как пора их приходит, то нет никому покою. Все подчиненные становятся мучениками. Но во что бы то ни стало, а устерсы есть будет.

– В правление посылает приказ, чтобы наряжен был немедленно курьер, которого он имеет в Петербург отправить с важными донесениями. Все знают, что курьер поскачет за устерсами, но куда ни вертись, а прогоны выдавай. На казенные денежки дыр много. Гонец, снабженный подорожною, прогонами, совсем готов, в куртке и чикчерах явился пред его высокопревосходительство.

«– Поспешай, мой друг, – вещает ему унизанный орденами, – поспешай, возьми сей пакет, отдай его в Большой Морской.

«– Кому прикажете?

«– Прочти адрес.

«– Его... его...

«– Не так читаешь.

«– Государю моему гос...

«– Врешь... господину Корзинкину, почтенному лавошнику, в С.-Петербурге в Большой Морской.

«– Знаю, ваше высокопревосходительство.

«– Ступай же, мой друг, и как скоро получишь, то возвращайся поспешно и нимало не медли; я тебе скажу спасибо не одно».

– И ну-ну-ну, ну-ну-ну; по всем по трем, вплоть до Питера, к Корзинкину прямо на двор.

«– Добро пожаловать. Куды какой его высокопревосходительство затейник, из-за тысячи верст шлет за какою дрянью. Только барин добрый. Рад ему служить. Вот устерсы, теперь лишь с биржи. Скажи, не меньше ста пятидесяти бочка, уступить нельзя, самим пришли дороги. Да мы с его милостию сочтемся». – Бочку взвалили в кибитку; поворотя оглобли, курьер уже опять скачет; успел лишь зайти в кабак и выпить два крючка сивухи.

– Тинь-тинь... Едва у городских ворот услышали звон почтового колокольчика, караульный офицер бежит уже к наместнику (то ли дело, как где все в порядке) и рапортует ему, что вдали видна кибитка и слышен звон колокольчика. Не успел выговорить, как шасть курьер в двери.

«– Привез, ваше высокопревосходительство.

«– Очень кстати; (оборотясь к предстоящим:) право, человек достойный, исправен и не пьяница. Сколько уже лет по два раза в год ездит в Петербург; а в Москву сколько раз, упомнить не могу. Секретарь, пиши представление. За многочисленные его в посылках труды и за точнейшее оных исправление удостоиваю его к повышению чином.

– В расходной книге у казначея записано: по предложению его высокопревосходительства дано курьеру Н. Н., отправленному в С.-П. с наинужнейшими донесениями, прогонных денег в оба пути на три лошади из екстраординарной суммы... Книга казначейская пошла на ревизию, но устерсами не пахнет. – По представлению господина генерала и проч. приказали: быть сержанту Н. Н. прапорщиком.

– Вот, жена, – говорил мужской голос, – как добиваются в чины, а что мне прибыли, что я служу беспорочно, не подамся вперед ни на палец. По указам велено за добропорядочную службу награждать.

Но царь жалует, а псарь не жалует. Так-то наш г. казначей; уже другой раз по его представлению меня отсылают в уголовную палату. Когда бы я с ним был заодно, то бы было не житье, а масленица.

– И... полно, Клементьич, пустяки-то молоть. Знаешь ли, за что он тебя не любит? за то, что ты промен берешь со всех, а с ним не делишься.

– Потише, Кузминична, потише; неравно кто подслушает. – Оба голоса умолкли, и я опять заснул.

Поутру узнал я, что в одной избе со мною ночевал присяжный с женою, которые до света отправились в Новгород.

Между тем как в моей повозке запрягали лошадей, приехала еще кибитка, тройкою запряженная. Из нее вышел человек, закутанный в большую япанчу, и шляпа с распущенными полями, глубоко надетая, препятствовала мне видеть его лице. Он требовал лошадей без подорожной; и как многие повозчики, окружив его, с ним торговались, то он, не дожидаясь конца их торга, сказал одному из них с нетерпением:

– Запрягай поскорей, я дам по четыре копейки на версту.

Ямщик побежал за лошадьми. Другие, видя, что договариваться уже было не о чем, все от него отошли.

Я находился от него не далее как в пяти саженях. Он, подошед ко мне и не снимая шляпы, сказал:

– Милостивый государь, снабдите чем ни есть человека несчастного. – Меня сие удивило чрезмерно, и я не мог вытерпеть, чтоб ему не сказать, что я удивляюсь просьбе его о вспоможении, когда он не хотел торговаться о прогонах и давал против других вдвое.

– Я вижу, – сказал он мне, – что в жизнь вашу поперечного вам ничего не встречалося. – Столь твердый ответ мне очень понравился, и я, не медля ни мало, вынув из кошелька...

– Не осудите, – сказал, – более теперь вам служить не могу, но если доедем до места, то, может быть, сделаю что-нибудь больше. – Намерение мое при сем было то, чтобы сделать его чистосердечным; я и не ошибся.

– Я вижу, – сказал он мне, – что вы имеете еще чувствительность, что обращение света и снискание собственной пользы не затворили вход ее в ваше сердце. Позвольте мне сесть на вашей повозке, а служителю вашему прикажите сесть на моей.

Между тем лошади наши были впряжены, я исполнил его желание – и мы едем.

– Ах, государь мой, не могу себе представить, что я несчастлив. Не более недели тому назад я был весел, в удовольствии, недостатка не чувствовал, был любим, или так казалося; ибо дом мой всякий день был полон людьми, заслужившими уже знаки почестей; стол мой был всегда как великолепное некое торжество. Но если тщеславие толикое имело удовлетворение, равно и душа наслаждалася истинным блаженством. По многих сперва бесплодных стараниях, предприятиях и неудачах наконец получил я в жену ту, которую желал. Взаимная наша горячность, услаждая и чувства и душу, все представляла нам в ясном виде. Не зрели мы облачного дня. Блаженства нашего достигали мы вершины. Супруга моя была беременна, и приближался час ее разрешения. Все сие блаженство, определила судьба, да рушится одним мгновением.

– У меня был обед, и множество так называемых друзей, собравшись, насыщали праздный свой голод на мой счет. Один из бывших тут, который внутренно меня не любил, начал говорить с сидевшим подле него, хотя вполголоса, но довольно громко, чтобы говоренное жене моей и многим другим слышно было.

«– Неужели вы не знаете, что дело нашего хозяина в уголовной палате уже решено».

– Вам покажется мудрено, – говорил сопутник мой, обращая ко мне свое слово, – чтобы человек неслужащий и в положении, мною описанном, мог подвергнуть себя суду уголовному. И я так думал долго, да и тогда, когда мое дело, прошед нижние суды, достигло до высшего. Вот в чем оно состояло: я был в купечестве записан; пуская капитал мой в обращение, стал участником в частном откупу. Неосновательность моя причиною была, что я доверил лживому человеку, который, лично попавшись в преступлении, был от откупу отрешен, и, по свидетельству будто его книг, сделался, повидимому, на нем большой начет. Он скрылся, я остался в лицах, и начет положено взыскать с меня. Я, сделав выправки, сколько мог, нашел, что начету на мне или совсем бы не было или бы был очень малый, и для того просил, чтобы сделали расчет со мною, ибо я по нем был порукою. Но вместо того, чтобы сделать должное по моему прошению удовлетворение, велено недоимку взыскать с меня. Первое неправосудие. Но к сему присовокупили и другое. В то время как я сделался в откупу порукою, имения за мною никакого не было, но по обыкновению послано было запрещение на имение мое в гра-

жданскую палату. Странная вещь – запрещать продавать то, чего не существует в имении! После того купил я дом и другие сделал приобретения. В то же самое время случай допустил меня перейти из купеческого звания в звание дворянское, получа чин. Наблюдая свою пользу, я нашел случай продать дом на выгодных кондициях, совершив купчую в самой той же палате, где существовало запрещение. Сие поставлено мне в преступление; ибо были люди, которых удовольствие помрачалось блаженством моего жития. Стряпчий казенных дел сделал на меня донос, что я, избегая платежа казенной недоимки, дом продал, обманул гражданскую палату, назвавшись тем званием, в коем я был, а не тем, в котором находился при покупке дома. Тщетно я говорил, что запрещение не может существовать на то, чего нет в имении, тщетно я говорил, что по крайней мере надлежало бы сперва продать оставшееся имение и выручить недоимку сей продажею, а потом предпринимать другие средства; что я звания своего не утаивал, ибо в дворянском уже купил дом. Все сие было отринуто, продажа дому уничтожена, меня осудили за ложный мой поступок лишить чинов и требуют теперь, – говорил повествователь, – хозяина здешнего в суд, дабы посадить под стражу до окончания дела. – Сие последнее повествуя, рассказывающий возвысил свой голос. – Жена моя, едва сие услышала, обняв меня, вскричала: «Нет, мой друг, и я с тобою». Более выговорить не могла. Члены ее все ослабели, и она упала бесчувственна в мои объятия. Я, подняв ее со стула, вынес в спальную комнату и не ведаю, как обед окончался.

– Пришед чрез несколько времени в себя, она почувствовала муки, близкое рождение плода горячности нашей возвещающие. Но сколь ни жестоки они были, воображение, что я буду под стражею, столь ее тревожило, что она только и твердила: и я пойду с тобою. Сие несчастное приключение ускорило рождение младенца целым месяцем, и все способы бабки и доктора, для пособия призванных, были тщетны и не могли воспретить, чтобы жена моя не родила чрез сутки. Движения ее души не токмо с рождением младенца не успокоились, но, усилившись гораздо, сделали ей горячку.

– Почто распространяться мне в повествовании? Жена моя на третий день после родов своих умерла. Видя ее страдание, можете поверить, что я ее не оставлял ни на минуту. Дело мое и осуждение в горести позабыл совершенно. За день до кончины моей любез-

ной недозрелый плод нашея горячности также умер. Болезнь матери его занимала меня совсем, и потеря сия была для меня тогда невелика.

– Вообрази, вообрази, – говорил повествователь мой, взяв обеими руками себя за волосы, – вообрази мое положение, когда я видел, что возлюбленная моя со мною расставалася навсегда.

– Навсегда! – вскричал он диким голосом. – Но зачем я бегу? Пускай меня посадят в темницу; я уже нечувствителен; пускай меня мучат, пускай лишают жизни. О варвары, тигры, змеи лютые, грызите сие сердце, пускайте в него томный ваш яд.

– Извините мое исступление, я думаю, что я лишусь скоро ума. Сколь скоро воображу ту минуту, когда любезная моя со мною расставалася, то я все позабываю, и свет в глазах меркнет. Но окончу мою повесть. В толико жестоком отчаянии, лежащу мне над бездыханным телом моей возлюбленной, один из искренних моих друзей, прибежав ко мне:

«– Тебя пришли взять под стражу, команда на дворе. Беги отсель, кибитка у задних ворот готова, ступай в Москву или куда хочешь и живи там, доколе можно будет облегчить твою судьбу».

– Я не внимал его речам, но он, усилясь надо мною и взяв меня с помощию своих людей, вынес и положил в кибитку; но вспомня, что надобны мне деньги, дал мне кошелек, в котором было только пятьдесят рублей. Сам пошел в мой кабинет, чтобы найти там денег и мне вынести; но, нашед уже офицера в моей спальне, успел только прислать ко мне сказать, чтобы я ехал. Не помню, как меня везли первую станцию. Слуга приятеля моего, рассказав все происшедшее, простился со мною, а я теперь еду, по пословице – куда глаза глядят.

Повесть сопутника моего тронула меня несказанно. Возможно ли, говорил я сам себе, чтобы в толь мягкосердое правление, каково ныне у нас, толикие производилися жестокости? Возможно ли, чтобы были столь безумные судии, что для насыщения казны (можно действительно так назвать всякое неправильное отнятие имения для удовлетворения казенного требования) отнимали у людей имение, честь, жизнь? Я размышлял, каким бы образом могло сие происшествие достигнуть до слуха верховныя власти. Ибо справедливо думал, что в самодержавном правлении она одна в отношении других может быть беспристрастна. – Но не могу ли я принять на себя его защиту? Я напишу жалобницу в высшее правительство. Уподроблю

все происшествие и представлю неправосудие судивших и невинность страждущего. – Но жалобницы от меня не примут. Спросят, какое я на то имею право; потребуют от меня верющего письма. – Какое имею право? – Страждущее человечество. Человек, лишенный имения, чести, лишенный половины своея жизни, в самовольном изгнании, дабы избегнуть поносительного заточения. И на сие надобно верющее письмо? От кого? Ужели сего мало, что страждет мой согражданин? – Да и в том нет нужды. Он человек: вот мое право, вот верющее письмо. – О богочеловек! Почто писал ты закон твой для варваров? Они, крестяся во имя твое, кровавые приносят жертвы злобе. Почто ты для них мягкосерд был? Вместо обещания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую и, совесть возжигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денно-ночно, доколь страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. Таковые размышления толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и не просыпался долго.

Возмущенные соки мыслию стремилися, мне спящу, к голове и, тревожа нежный состав моего мозга, возбудили в нем воображение. Несчетные картины представлялись мне во сне, но исчезали, как легкие в воздухе пары. Наконец, как то бывает, некоторое мозговое волокно, тронутое сильно восходящими из внутренних сосудов тела парами, задрожало долее других на несколько времени, и вот что я грезил.

Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, султан или какое-то сих названий нечто, седящее во власти на престоле.

Место моего восседания было из чистого злата и хитро искладенными драгими разного цвета каменьями блистало лучезарно. Ничто сравниться не могло со блеском моих одежд. Глава моя украшалася венцом лавровым. Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие. Здесь меч лежал на столпе, из сребра изваянном, на коем изображалися морские и сухопутные сражения, взятие городов и прочее сего рода; везде видно было вверху имя мое, носимое Гением славы, над всеми сими подвигами парящим. Тут виден был скипетр мой, возлежащий на снопах, обильными класами отягченных, изваянных из чистого злата и природе совершенно подражающих. На твердом коромысле возвещенные зрелися весы. В единой из чаш лежала книга с надписью Закон милосердия; в другой книга

же с надписью Закон совести. Держава, из единого камня иссеченная, поддерживаема была грудою младенцев, из белого мрамора иссеченных. Венец мой возвышен был паче всего и возлежал на раменах сильного исполина, воскраие же его поддерживаемо было истиною. Огромной величины змия, из светлыя стали искованная, облежала вокруг всего седалища при его подножии и, конец хвоста в зеве держаща, изображала вечность.

Но не единые бездыханные изображения возвещали власть мою и величество. С робким подобострастием и взоры мои ловящи, стояли вокруг престола моего чины государственные. В некотором отдалении от престола моего толпилося бесчисленное множество народа, коего разные одежды, черты лица, осанка, вид и стан различие их племени возвещали. Трепетное их молчание уверяло меня, что они все воле моей подвластны. По сторонам, на несколько возвышенном месте, стояли женщины в великом множестве в прелестнейших и великолепнейших одеждах. Взоры их изъявляли удовольствие на меня смотреть, и желания их стремились на предупреждение моих, если бы они возродились.

Глубочайшее в собрании сем присутствовало молчание; казалося, что все в ожидании были важного какого происшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели. Обращенный сам в себя и чувствуя глубоко вкоренившуюся скуку в душе моей, от насыщающего скоро единообразия происходящую, я долг отдал естеству и, рот разинув до ушей, зевнул во всю мочь. Все вняли чувствованию души моей. Внезапу смятение распростерло мрачный покров свой по чертам веселия, улыбка улетала со уст нежности и блеск радования с ланит удовольствия. Искаженные взгляды и озирание являли нечаянное нашествие ужаса и предстоящие беды. Слышны были вздохи, колющие предтечи скорби; и уже начинало раздаваться задерживаемое присутствием страха стенание. Уже скорыми в сердца всех стопами шествовало отчаяние и смертные содрогания, самыя кончины мучительнее. Тронутый до внутренности сердца толико печальным зрелищем, ланитные мышцы нечувствительно стянулися ко ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление, улыбке подобное, за коим я чхнул весьма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную, проникает полуденный солнца луч, летит от жизненной его жаркости сгущенная парами влага и, разделенная в составе своем, частию, улегчася, стремительно возно-

сится в неизмеримое пространство эфира и частию, удержав в себе одну только тяжесть земных частиц, падает низу стремительно, мрак, присутствовавший повсюду в небытии светозарного шара, исчезает весь вдруг и, сложив поспешно непроницательный свой покров, улетает на крылех мгновенности, не оставляя по себе ниже знака своего присутствования, – тако при улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания поселившийся; радость проникла сердца всех быстротечно, и не осталося косого вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать:

– Да здравствует наш великий государь, да здравствует навеки. – Подобно тихому полуденному ветру, помавающему листвия дерев и любострастное производящему в дубраве шумление, тако во всем собрании радостное шептание раздавалось. Иной вполголоса говорил:

– Он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества, покорил тысячи разных народов своей державе.

Другой восклицал:

– Он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю, он любит науки и художества, поощряет земледелие и рукоделие.

Женщины с нежностию вещали:

– Он не дал погибнуть тысячам полезных сограждан, избавя их до сосца еще гибельныя кончины.

Иной с важным видом возглашал:

– Он умножил государственные доходы, народ облегчил от податей, доставил ему надежное пропитание.

Юношество, с восторгом руки на небо простирая, рекло:

– Он милосерд, правдив, закон его для всех равен, он почитает себя первым его служителем. Он законодатель мудрый, судия правдивый, исполнитель ревностный, он паче всех царей велик, он вольность дарует всем.

Речи таковые, ударяя в тимпан моего уха, громко раздавалися в душе моей. Похвалы сии истинными в разуме моем изображалися, ибо сопутствуемы были искренности наружными чертами. Таковыми их приемля, душа моя возвышалася над обыкновенным зрения кругом; в существе своем расширялась и, вся объемля, касалася степеней божественной премудрости. Но ничто не сравнилося с удовольствием самоодобрения при раздавании моих приказаний. Пер-

ному военачальнику повелевал я итти с многочисленным войском на завоевание земли, целым небесным поясом от меня отделенной.

– Государь, – ответствовал он мне, – слава единая имени твоего победит народы, оную землю населяющие. Страх предшествовать будет оружию твоему, и возвращуся, приносяй дань царей сильных.

Учредителю плавания я рек:

– Да корабли мои рассеются по всем морям, да узрят их неведомые народы; флаг мой да известен будет на Севере, Востоке, Юге и Западе.

– Исполню, государь. – И полетел на исполнение, яко ветр, определенный надувать ветрила корабельные.

– Возвести до дальнейших пределов моея области, – рек я хранителю законов, – се день рождения моего, да ознаменится он в летописях навеки отпущением повсеместным. Да отверзутся темницы, да изъидут преступники и да возвратятся в домы свои, яко заблудшие от истинного пути.

– Милосердие твое, государь! есть образ всещедрого существа. Бегу возвестити радость скорбящим отцам по чадех их, супругам по супругах их.

– Да воздвигнутся, – рек я первому зодчию, – великолепнейшие здания для убежища мусс, да украсятся подражаниями природы разновидными; и да будут они ненарушимы, яко небесные жительницы, для них же они уготовляются.

– О премудрый, – отвечал он мне, – егда велениям твоего гласа стихии повиновалися и, совокупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности; колико маловажен будет сей труд для ревностных исполнителей твоих велений. Ты рек, и грубые строения припасы уже гласу твоему внемлют.

– Да отверзется ныне, – рек я, – рука щедроты, да излиются остатки избытка на немощствующих, сокровища ненужные да возвратятся к их источнику.

– О всещедрый владыко, всевышним нам дарованный, отец своих чад, обогатитель нищего, да будет твоя воля.

При всяком моем изречении все предстоящие восклицали радостно, и плескание рук не токмо сопровождало мое слово, но даже предупреждало мысль. Единая из всего собрания жена, облегшаяся твердо о столп, испускала вздохи скорби и являла вид презрения и не-

годования. Черты лица ее были суровы и платье простое. Глава ее покрыта была шляпою, когда все другие обнаженными стояли главами.

– Кто сия? – вопрошал я близ стоящего меня.

– Сия есть странница, нам неизвестная, именует себя Прямовзорой и глазным врачом. Но есть волхв опаснейший, носяй яд и отраву, радуется скорби и сокрушению; всегда нахмуренна, всех презирает и поносит; даже не щадит в ругании своем священныя твоея главы.

– Почто ж злодейка сия терпима в моей области? Но о ней завтра. Сей день есть день милости и веселия. Прийдите, сотрудники мои в ношении тяжкого бремени правления, приимите достойное за труды и подвиги ваши воздаяние.

Тогда, восстав от места моего, возлагал я различные знаки почестей на предстоящих; отсутствующие забыты не были, но те, кои приятным видом словам моим шли во сретение, имели большую во благодеяниях моих долю.

По сем продолжал я мое слово:

– Пойдем, столпы моея державы, опоры моея власти, пойдем усладиться по труде. Достойно бо, да вкусит трудившийся плода трудов своих. Достойно царю вкусити веселия, он же изливает многочисленные всем. Покажи нам путь к уготованному тобою праздничеству, – рек я к учредителю веселий. – Мы тебе последуем.

– Постой, – вещала мне странница от своего места, – постой и подойди ко мне. Я – врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очищу зрение твое. Какие бельма! – сказала она с восклицанием.

Некая невидимая сила нудила меня итти пред нее, хотя все меня окружавшие мне в том препятствовали, делая даже мне насилие.

– На обоих глазах бельма, – сказала странница, – а ты столь решительно судил о всем. – Потом коснулася обоих моих глаз и сняла с них толстую плену, подобну роговому раствору. – Ты видишь, – сказала она мне, – что ты был слеп и слеп всесовершенно. Я есмь Истина. Всевышний, подвигнутый на жалость стенанием тебе подвластного народа, ниспослал меня с небесных кругов, да отжену темноту, проницанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представятся днесь в естественном их виде взорам твоим. Ты проникнешь во внутренность сердец. Не утаится более от тебя змия, крыющаяся в излучинах душевных. Ты познаешь верных своих подданных, которые вдали от тебя не

тебя любят, но любят отечество; которые готовы всегда на твое поражение, если оно отмстит порабощение человека. Но не возмутят они гражданского покоя безвременно и без пользы. Их призови себе в друзей. Изжени сию гордую чернь, тебе предстоящую и прикрывшую срамоту души своей позлащенными одеждами. Они-то истинные твои злодеи, затмевающие очи твои и вход мне в твои чертоги воспрещающие. Един раз являюся я царям во все время их царствования, да познают меня в истинном моем виде; но я никогда не оставляю жилища смертных. Пребывание мое не есть в чертогах царских. Стража, обсевшая их вокруг и бдящая денно-ночно стоглазно, воспрещает мне вход в оные. Если когда проникну сию сплоченную толпу, то, подняв бич гонения, все тебя окружающие тщатся меня изгнать из обиталища твоего; бди убо, да паки не удалюся от тебя. Тогда словеса ласкательства, ядовитые пары издыхающие, бельма твои паки возродят, и кора, светом непроницаемая, покрыет твои очи. Тогда ослепление твое будет сугубо; едва на шаг один взоры твои досязать будут. Все в веселом являться тебе будет виде. Уши твои не возмутятся стенанием, но усладится слух сладкопением ежечасно. Жертвенные курения обыдут на лесть отверстую душу. Осязанию твоему подлежать будет всегда гладкость. Никогда не раздерет благотворная шероховатость в тебе нервов осязательности. Вострепещи теперь за таковое состояние. Туча вознесется над главой твоей, и стрелы карающего грома готовы будут на твое поражение. Но я, вещаю тебе, поживу в пределах твоего обладания. Егда восхощешь меня видети, егда, осажденная кознями ласкательства, душа твоя взалкает моего взора, воззови меня из твоея отдаленности; где слышен будет твердый мой глас, там меня и обрящешь. Не убойся гласа моего николи. Если из среды народныя возникнет муж, порицающий дела твоя, ведай, что той есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твердым гласом возвестит меня тебе. Блюдись и не дерзай его казнити, яко общего возмутителя. Призови его, угости его, яко странника. Ибо всяк, порицающий царя в самовластии его, есть странник земли, где все пред ним трепещет. Угости его, вещаю, почти его, да возвратившися возможет он паче и паче глаголати нельстиво. Но таковые твердые сердца бывают редки; едва един в целом столетии явится на светском ристалище. А дабы бдительность твоя не усыплялася негою

власти, се кольцо дарую тебе, да возвестит оно тебе твою неправду, когда на нее дерзать будешь. Ибо ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общия тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если мать восплачет о сыне своем, убиенном на ратном поле, и жена о муже своем; ибо опасность плена едва оправдать может убийство, войною называемое. Ты виною будешь, если запустеет нива, если птенцы земледелателя лишатся жизни у тощего без здравыя пищи сосца матерня. Но обрати теперь взоры свои на себя и на предстоящих тебе, воззри на исполнение твоих велений, и если душа твоя не содрогнется от ужаса при взоре таковом, то отыду от тебя, и чертог твой загладится навсегда в памяти моей.

Изрекшия странницы лице казалося веселым и вещественным сияющее блеском. Возрение на нее вливало в душу мою радость. Уже не чувствовал я в ней зыбей тщеславия и надутлости высокомерия. Я ощущал в ней тишину; волнение любочестия и обуревание властолюбия ее не касалися. Одежды мои, столь блестящие, казалися замараны кровию и омочены слезами. На перстах моих виделися мне остатки мозга человеческого; ноги мои стояли в тине. Вокруг меня стоящие являлися того скареднее. Вся внутренность их казалась черною и сгораемою тусклым огнем ненасытности. Они метали на меня и друг на друга искаженные взоры, в коих господствовали хищность, зависть, коварство и ненависть. Военачальник мой, посланный на завоевание, утопал в роскоши и веселии. В войсках подчиненности не было; воины мои почиталися хуже скота. Не радели ни о их здравии, ни прокормлении; жизнь их ни во что вменялася; лишались они установленной платы, которая употреблялась на ненужное им украшение. Большая половина новых воинов умирали от небрежения начальников или ненужныя и безвременныя строгости. Казна, определенная на содержание всеополчения, была в руках учредителя веселостей. Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого раболепия. Я зрел пред собою единого знаменитого по словесам военачальника, коего я отличными почтил знаками моего благоволения; я зрел ныне ясно, что все его отличное достоинство состояло в том только, что он пособием был в насыщении сладострастия своего начальника; и на оказание мужества не было ему даже случая, ибо он издали не видал неприятеля.

От таких-то воинов я ждал себе новых венцов. Отвратил я взор мой от тысячи бедств, представившихся очам моим.

Корабли мои, назначенные да прейдут дальнейшие моря, видел я плавающими при устье пристанища. Начальник, полетевший для исполнения моих велений на крылех ветра, простерши на мягкой постеле свои члены, упоялся негою и любовию в объятиях наемной возбудительницы его сладострастия. На изготованном велением его чертеже совершенного в мечтании плавания уже видны были во всех частях мира новые острова, климату их свойственными плодами изобилующие. Обширные земли и многочисленные народы изображалися из кисти новых сих путешествователей. Уже при блеске нощных светильников начерталося величественное описание сего путешествия и сделанных приобретений слогом цветущим и великолепным. Уже златые доски уготовлялися на одежду столь важного сочинения. О Кук! почто ты жизнь свою провел в трудах и лишениях? Почто скончал ее плачевным образом? Если бы воссел на сии корабли, то, в веселиях начав путешествие и в веселиях его скончая, столь же бы много сделал открытий, сидя на одном месте (и в моем государстве), толико же бы прославился; ибо ты бы почтен был твоим государем.

Подвиг мой, коим в ослеплении моем душа моя наиболее гордилася, отпущение казни и прощение преступников едва видны были в обширности гражданских деяний. Веление мое или было совсем нарушено, обращаяся не в ту сторону, или не имело желаемого действия превратным оного толкованием и медлительным исполнением. Милосердие мое сделалося торговлею, и тому, кто давал больше, стучал молот жалости и великодушия. Вместо того, чтобы в народе моем чрез отпущение вины прослыть милосердым, я прослыл обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом.

– Удержи свое милосердие, – вещали тысячи гласов, – не возвещай нам его великолепным словом, если не хощешь его исполнити. Не соплощай с обидою насмешку, с тяжестию ее ощущение. Мы спали и были покойны, ты возмутил наш сон, мы бдеть не желали, ибо не над чем.

В созидании городов видел я одно расточение государственныя казны, нередко омытой кровию и слезами моих подданных. В воздвижении великолепных зданий к расточению нередко присовокуплялося и непонятие о истинном искусстве. Я зрел расположение их внутренное и внешное без малейшего вкуса. Виды оных принадлежали

веку готфов и вандалов. В жилище, для мусс уготованном, не зрел я лиющихся благотворно струев Касталии и Ипокрены; едва пресмыкающееся искусство дерзало возводить свои взоры выше очерченной обычаем округи. Зодчие, согбенные над чертежом здания, не о красоте оного помышляли, но как приобретут ею себе стяжание. Возгнушался я моего пышного тщеславия и отвратил очи мои.

Но паче всего уязвило душу мою излияние моих щедрот. Я мнил в ослеплении моем, что ненужная казна общественная на государственные надобности не может лучше употребиться, как на вспоможение нищего, на одеяние нагого, на прокормление алчущего, или на поддержание погибающего противным случаем, или на мзду не радящему о стяжании достоинству и заслуге. Но сколь прискорбно было видеть, что щедроты мои изливалися на богатого, на льстеца, на вероломного друга, на убийцу иногда тайного, на предателя и нарушителя общественной доверенности, на уловившего мое пристрастие, на снисходящего моим слабостям, на жену, кичащуюся своим бесстыдством. Едва, едва досязали слабые источники моея щедроты застенчивого достоинства и стыдливыя заслуги. Слезы пролились из очей моих и сокрыли от меня толь бедственные представления безрассудной моей щедроты.

Теперь ясно я видел, что знаки почестей, мною раздаваемые, всегда доставалися в удел недостойным. Достоинство неопытное, пораженное первым блеском сих мнимых блаженств, вступало в единый путь с ласкательством и подлостию духа, на снискание почестей, вожделенной смертных мечты; но, влача косвенно стопы свои, всегда на первых степенях изнемогало и довольствоваться было осуждаемо собственным своим одобрением, во уверении, что почести мирские суть пепл и дым. Видя во всем толикую превратность, от слабости моей и коварства министров моих проистекшую, видя, что нежность моя обращалася на жену, ищущую в любви моей удовлетворения своего только тщеславия и внешность только свою на услаждение мое устрояющую, когда сердце ее ощущало ко мне отвращение, – возревел я яростию гнева.

– Недостойные преступники, злодеи! вещайте, почто во зло употребили доверенность господа вашего? предстаньте ныне пред судию вашего. Вострепещите в окаменелости злодеяния вашего. Чем можете оправдать дела ваши? Что скажете во извинение ваше? Се он, его же призову из хижины уничижения. Прииди, – вещал я стар-

цу, коего созерцал в крас обширныя моея области, кроющегося под заросшею мхом хижиною. – прииди облегчить мое бремя; прииди и возврати покой томящемуся сердцу и востревоженному уму.

Изрекши сие, обратил я взор мой на мой сан, познал обширность моея обязанности, познал, откуду проистекает мое право и власть. Вострепетал во внутренности моей, убоялся служения моего. Кровь моя пришла в жестокое волнение, и я пробудился. Еще не опомнившись, схватил я себя за палец, но тернового кольца на нем не было. О, если бы оно пребывало хотя на мизинце царей!

Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается.

***

Проза рубежа XVIII–XIX столетий представлена еще одним писательским именем. «Карамзин ввел русскую литературу в сферу новых идей», – писал В.Г. Белинский.

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826). Будущий литератор служил в лейб-гвардии Преображенского полка в Петербурге, но в 1784 году вышел по семейным обстоятельствам в отставку, переехал в Москву и занялся литературной и журнальной деятельностью в обществе известного писателя и литературного критика Н.И. Новикова. Стал известен как тонкий и печальный лирик, называвший свою лиру «тихой».

После своего путешествия по Западной Европе в 1789–1790 годах Карамзин стал издавать «Московский журнал», где были напечатаны его «Письма русского путешественника» и сентиментальные повести, принесшие автору огромную популярность.

Влияние молодого Карамзина на литературную ситуацию тех лет было велико. «Карамзинисты» боролись с устарелыми церковнославянскими словами и оборотами, тормозившими развитие литературы.

«Русский язык вдруг получил свободу и легкость перелетать от предмета к предмету, незнакомую Державину», – писал об этой реформе Н.В. Гоголь. Карамзин ввел в поэзию и прозу живой разговорный язык, понятный широким слоям тогдашних читателей. Он свободно заговорил на этом гибком языке о скрытых, замалчиваемых парадной литературой чувствах частного человека, признал их

важность и самоценность, сумел покорить сердца читателей и особенно читательниц, с увлечением ждавших его новых повестей о любви.

С этого времени литература русского сентиментализма стала основным направлением новой отечественной словесности, и с полным основанием принято называть Карамзина учителем не только В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова, но и молодого Пушкина. Но писатель на этом не остановился.

С 1803 года он стал официальным историографом и в 1824 году опубликовал полностью главную свою книгу – «Историю государства Российского» в двенадцати томах.

В 1815 году Карамзин с помощью Жуковского и братьев Тургеневых создал вольное литературное общество «Арзамас», ставшее своего рода неофициальной академией.

Наивная, трогательная повесть **«Бедная Лиза» (1792)** сделала молодого прозаика Карамзина знаменитым, восторженные читатели, в основном молодежь, устроили массовое паломничество в московский Симонов монастырь, к тому поэтическому пруду, где утопилась несчастная героиня повести.

Местом действия повести он избрал современную ему Москву, поэтичнейший ее уголок близ древнего Симонова монастыря, а героиней сделал милую и добродетельную юную крестьянку Лизу, девушку бедную и трудолюбивую, помогающую больной старушке матери. Встреча ее с красивым, любезным и обходительным дворянином Эрастом затронула нежное, уже готовое любить сердце простодушной девушки, породило надежды и сомнения, внутреннюю борьбу и полное доверие к скромному юноше. Крестьянка умеет любить глубоко и верно и имеет полное право на такую любовь, а вот дворянин Эраст этого чувства недостоин. Это было новостью, открытием для многих. История бедной Лизы трогала и увлекала.

Писатель показывает зарождение глубокого и искреннего чувства в душе юной крестьянки, первые радости и переживания любви, поэтичную природу, создает единое лирическое настроение, сопереживание сначала радостям любви, а затем разочарованиям и трагедии измены, постигшей бедную Лизу по вине доброго, приятного, но легкомысленного и непостоянного Эраста. Несчастье обманутой девушки, ее сильное чувство, горе и трагическая гибель заставляли читателей сопереживать, скорбеть и плакать, но и себя невольно чувствовать способными к таким же сильным любовным пережива-

ниям. Многие удивлялись своим слезам и понимали, что в их душе скрыты сострадание и нравственное чувство справедливости. Настолько глубок и трогателен был лиризм «Бедной Лизы».

В своей повести Карамзин утверждает, что все люди равны в этом мире, имеют право на жизнь сердца, на счастье и любовь, одинаково чувствуют и их чувства нельзя обманывать и оскорблять. Все это было ново, стало открытием автора и откровением для читателей. Поэт, историк, создатель новой литературы и ее языка, Карамзин на исходе грубого и жестокого века создал произведение светлое и трогательное, ставшее шедевром русской лирической прозы. Сентиментальная повесть «Бедная Лиза» открывала путь литературе чувства и сердечного воображения, школе русского романтизма, который возглавил великий лирик В.А. Жуковский.

БЕДНАЯ ЛИЗА (краткое содержание)

В окрестностях Москвы, недалеко от Симонова монастыря жила некогда юная девушка Лиза со своей старушкой матерью. После смерти Лизиного отца, довольно зажиточного поселянина, жена и дочь обеднели. Вдова день ото дня становилась слабее и не могла работать. Одна Лиза, не щадя своей нежной молодости и редкой красоты, трудилась день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весной собирала цветы, а летом ягоды и продавала их в Москве.

Однажды весной, спустя два года после смерти отца, Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек встретился ей на улице. Узнав, что она продаёт цветы, он предложил ей рубль вместо пяти копеек, сказав, что «прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля». Но Лиза отказалась от предложенной суммы. Он не стал настаивать, однако сказал, что впредь всегда будет покупать у неё цветы и хотел бы, чтобы она рвала их только для него.

Придя домой, Лиза все рассказала матушке, а на другой день нарвала самых лучших ландышей и снова пришла в город, но молодого человека на этот раз не встретила. Бросив цветы в реку, она с грустью в душе вернулась домой. На следующий день вечером незнакомец сам пришёл к ее дому. Едва завидев его, Лиза кинулась к матушке и с волнением сообщила, кто к ним идёт. Старушка встретила гостя, и он показался ей очень любезным и приятным человеком. Эраст – так звали молодого человека – подтвердил, что

собирается и в будущем покупать цветы у Лизы, и ей не обязательно ходить в город: он сам может заезжать к ним.

Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым от природы сердцем, но слабый и ветреный. Он вёл рассеянную жизнь, думал только о своём удовольствии, искал его в светских забавах, а не находя, скучал и жаловался на судьбу. Непорочная красота Лизы при первой встрече потрясла его: ему казалось, что в ней он нашёл именно то, что давно искал.

Так было положено начало их долгим свиданиям. Каждый вечер они виделись или на берегу реки, или в берёзовой роще, или под тенью столетних дубов. Они обнимались, но объятия их были чисты и невинны.

Так прошло несколько недель. Казалось, ничто не могло помешать их счастью. Но однажды вечером Лиза пришла на свидание печальная. Оказалось, что за неё сватается жених, сын богатого крестьянина, и матушка хочет, чтобы она за него вышла. Эраст, утешая Лизу, говорил, что по смерти матери он возьмёт её к себе и будет жить с ней неразлучно. Но Лиза напомнила юноше, что он никогда не сможет быть ее мужем: она крестьянка, а он дворянского рода. Ты обижаешь меня, говорил Эраст, для твоего друга важнее всего твоя душа, чувствительная, невинная душа, ты будешь всегда ближайшая к моему сердцу. Лиза бросилась в его объятия – и в сей час надлежало погибнуть непорочности.

Заблуждение прошло в одну минуту, уступив место удивлению и страху. Лиза плакала, прощаясь с Эрастом.

Свидания их продолжались, но как все переменилось! Лиза не была уже для Эраста ангелом непорочности; платоническая любовь уступила место чувствам, которыми он не мог «гордиться» и которые были для него не новы. Лиза заметила в нем перемену, и это ее печалило.

Однажды во время свидания Эраст сообщил Лизе, что его призывают на службу в армию; им придётся ненадолго расстаться, однако он обещает ее любить и надеется по возвращении никогда с нею не расставаться. Нетрудно вообразить себе, как тяжело переживала Лиза разлуку с любимым. Однако надежда не покидала ее, и каждое утро она просыпалась с мыслью об Эрасте и об их счастье по его возвращении.

Так прошло около двух месяцев. Однажды Лиза пошла в Мо-

скву и на одной из больших улиц увидела Эраста, проезжающего мимо в великолепной карете, которая остановилась около огромного дома. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо, как вдруг почувствовал себя в Лизиных объятиях. Он побледнел, потом, не говоря ни слова, провёл ее в кабинет и запер дверь. Обстоятельства переменились, объявил он девушке, он помолвлен.

Прежде чем Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге, чтобы тот проводил ее со двора.

Очутившись на улице, Лиза пошла куда глаза глядят, не в силах поверить услышанному. Она вышла из города и долго брела, пока вдруг не очутилась на берегу глубокого пруда, под сенью древних дубов, которые за несколько недель перед этим были безмолвными свидетелями ее восторгов. Это воспоминание потрясло Лизу, но через несколько минут она погрузилась в глубокую задумчивость. Увидев соседскую девочку, идущую по дороге, она кликнула ее, вынула из кармана все деньги и отдала той, попросив передать матушке, поцеловать ее и попросить простить бедную дочь. Тут она бросилась в воду, и спасти ее уже не смогли.

Лизина мать, узнав о страшной смерти дочери, не выдержала удара и скончалась на месте. Эраст был до конца жизни несчастлив. Он не обманул Лизу, когда сказал ей, что едет в армию, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл все состояние. Жениться ему пришлось на пожилой богатой вдове, которая была в него давно влюблена. Узнав о Лизиной судьбе, он не мог утешиться и почитал себя убийцей. Теперь, может быть, они уже примирились.

Вопросы:

1. Каково значение литературной деятельности М.В. Ломоносова для развития русской словесности? Что определило «своевременность» ломоносовской теории «трех штилей» для новой литературной эпохи?

2. Охарактеризуйте особенности жанра оды в творчестве Ломоносова.

3. В чем состояло своеобразие русского театра в век просвещенного абсолютизма? Каковы социально-нравственные уроки фонвизинского «Недоросля»?

4. Какие мотивы и образы, подхваченные русской поэзией XIX

века, находят свое воплощение в лирике Г.Р. Державина? Что скрыто за «забавным русским слогом», который ставит себе в заслугу автор «Памятника»?

5. В чем необычность композиции книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»?

6. В чем заключалось своеобразие «эпохи Карамзина» в русской литературе конца XVII–начала XIX века?

РОМАНТИЗМ

На формирование **русского романтизма** повлияли и общеевропейские процессы, и собственно национальные факторы. В итоге русский романтизм, впитав мотивы и образы западных романтиков, обрел свое, самобытное звучание. В этом отношении своеобразной почвой для нового, романтического направления в поэзии и прозе явились поздние стихотворения Г.Р. Державина, а карамзинская школа «сердцеведения» во многом предвосхитила основные художественные установки писателей-романтиков, среди которых особо следует выделить родоначальников нового направления – К.Н. Батюшкова и В.А. Жуковского.

Константин Николаевич Батюшков (1787–1855) – тонкий лирик и ценитель красоты живого русского языка по праву считается основателем «школы гармонической точности» в поэзии. В 1815 году он был принят в литературное общество «Арзамас», прославившееся борьбой с литературными «староверами», ратующими за сохранение архаических форм языка в противовес языковой реформе Карамзина.

Уже в первом своем поэтическом опыте – стихотворении **«Мечта» (1804)** Батюшков следует принципу *романтического двоемирия,* разводя мир идеальных устремлений души и обыденную жизнь, лишенную восторгов вдохновенья.

Элегический стих Батюшкова одновременно печален и светел, он обращен к другу или возлюбленной, проникнут особой интонацией доверительности, душевной открытости, подтверждающей известный девиз поэта: «Живи, как пишешь, и пиши, как живешь». В стихотворении **«Мой гений» (1815)**, известном всем ценителям поэзии, есть бессмертные строки: «О память сердца! ты сильней / Рассудка памяти печальной...» Это признание превосходства эмоционального опыта над «головным» началом в человеке – не просто плод индивидуального

постижения тайны творчества, но и своеобразная «формула поэзии», открывающая путь психологическому направлению в лирике.

Творческая палитра Батюшкова чрезвычайно разнообразна: его перу принадлежит множество переводных стихов, блестящая сатира «Видение на берегах Леты» (1809), программное стихотворное послание «Мои пенаты» (1812), цикл «Подражание древним» (1821) и др.

Поэзия предпушкинской поры, ярким представителем которой являлся Батюшков, подготовила почву для рождения пушкинского гения, непосредственным покровителем и одновременно почитателем которого явился другой «старший» романтик – **Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)**.

Своеобразие романтической лирики Жуковского заключается не только в ее автобиографизме, но и в некоторой намеренной размытости, обобщенности лирического «я», постоянной соотнесенности его с общезначимым опытом чувствований тогдашних читателей. «Я» поэта все время переходит в безличное «мы».

Гоголь отметил в поэзии Жуковского удивительную тщательность и последовательность лирических описаний: «Взявши картину, его пленившую, он не оставляет ее до тех пор, покуда не исчерпает всю, разъяв как бы анатомическим ножом ее неуловимейшую подробность».

Поэт-романтик ввел в лирику чудесное, таинственное, ужасное, показал борьбу добра и зла в человеческом сердце. Своими вольными переводами он обогатил поэзию, ее язык и поэтические средства, сумел и в переводе выразить собственную душу, ее тончайшие движения, богатство чувствования жизни.

Обращаясь к «дорогому великому человеку» И.В. Гёте, Жуковский восклицает:

Творец великих вдохновений!
Я сохраню в душе моей
Очарование мгновений,
Столь счастливых в близи твоей!
(«К Гёте», 1827)

Сам Жуковский так определил главную цель и смысл своего многолетнего поэтического труда: «Поэт романтический, менее заботясь о верности своих очерков, менее заботясь о красоте пластической (в изображении которой, впрочем, и не сравнялся бы он с древними, успевшими прежде его схватить все главные черты), углубляется в выражение таинственного, внутреннего, преследует душу во всех ее движениях и высказывает подробно все ее тайны».

В 1801 году возникло «Дружеское общество» – литературный кружок, где читались речи и стихи. Создавшие кружок Жуковский и его молодые друзья учились поэзии у Карамзина и Дмитриева, переводили Шиллера, Гёте, сентиментальных английских поэтов. В 1802 году Жуковский опубликовал в журнале Карамзина «Вестник Европы» элегию «Сельское кладбище», перевод из английского поэта Т. Грея, воспринятый всеми как оригинальное стихотворение и принесший молодому автору известность. Молодой поэт редактирует «Вестник Европы», преподает своим юным племянницам Протасовым и влюбляется в одну из них, скромную и милую Машу.

В 1812 году Жуковский записался в московское ополчение и принял участие в Бородинской битве. В армии он написал уже упомянутую поэму «Певец во стане русских воинов», принесшую поэту огромную популярность.

В 1815 году поэт становится одним из основателей веселого литературного общества карамзинистов «Арзамас», с 1826 года получает должность воспитателя цесаревича Александра Николаевича. Общественный и литературный авторитет Жуковского был столь велик, что многие признали в нем «нового Карамзина».

Жуковский продолжает писать элегии, баллады, поэмы, сказки в народном духе, много переводит. До самой смерти Жуковского за ним сохранялось в литературе место нравственного авторитета, отца русского романтизма, учителя писателей, «гения перевода», одного из лучших лириков эпохи. Жил он в основном за границей, в Германии. Творческий путь Жуковского завершился классическим переводом «Одиссеи» Гомера.

Главными жанрами романтической лирики Жуковского были баллады, элегии, песни и дружеские послания.

Сам поэт признавался: «Я жил как писал: оставался чист и мыслями, и делами». Лирику Жуковского именовали элегической, потому что чувства и мысли поэта, жизнь его сердца выражались прежде всего в *элегиях* – одном из главных жанров новой лирической поэзии. В элегиях Жуковского зачастую отсутствует внешний сюжет, это «чистая» лирика, где поэтические чувство и мысль даны в развитии, развиваются от образа к образу.

Такова элегия **«Невыразимое» (1819)**, в которой звучит мысль о невозможности выразить все богатство и красоту вечной природы с помощью бедного, несовершенного человеческого языка.

Романтик Жуковский пишет о море. Поэт вновь выбирает свой излюбленный лирический жанр, его стихотворение так и называется – **«Море. Элегия» (1822)**. Морская стихия в элегии Жуковского безмолвна, спокойна, полна любовью и тихой думой, тайной, тянется к далекому светлому небу, отражает его вечную лазурь:

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.

Поэта привлекает в море не буря, а покой. Стихия волн у него отражает смятение, скрытую в глубинах тоску по небу. Бурями и ветрами море стремится разогнать тучи, застилающие от него спокойное, тихое небо. В этом волнообразном движении поэтических образов морского пейзажа дана картина человеческого чувства, ощущающего красоту и величие небес и природы. Здесь нет утлого, захлестываемого волнами челна и одинокого паруса. Море и вместе с ним человек тянутся ввысь, к небу, его блаженству и покою, их роднит врожденная память о высшей гармонии («Иль тянет тебя из земныя неволи / Далекое светлое небо к себе»). Такова высота романтического идеала, выраженного в элегии Жуковского.

Жуковский-художник был гениальным переводчиком *баллад*.

Жуковский в основном переводил (весьма вольно) баллады (их всего тридцать девять) с немецкого и английского, но его стихотворения полны легкости, изящества, движения самобытной мысли и оставляют впечатление оригинального творчества.

Самая известная баллада Жуковского – **«Светлана» (1808–1812)**. Это вольное переложение баллады немецкого поэта XVIII века Г. Бюргера «Ленора» явилось подлинным шедевром, пленившим читателя и повлиявшим на всю тогдашнюю литературу.

«Светлана» Жуковского стала символом национального романтизма.

Баллада **«Лесной царь» (1818)**, в отличие от «Светланы», подчеркнуто немецкая по жанру и национальному колориту, к тому же это перевод известного стихотворения Гете. Жуковский посвятил автору «Фауста» несколько стихотворений, его классический перевод «Лесного царя» – дань уважения Гёте и вместе с тем творческое *соревнование*, стремление перевести знаменитую балладу не просто на русский язык, но на язык новой русской культуры.

Баллады и элегии романтика Жуковского, его вольные переводы и подражания, ставшие оригинальными стихотворениями, открыли

дорогу русской лирической поэзии эпохи романтизма. Мечтательный лиризм, поклонение высокой и чистой красоте, новое понимание и выражение мира души, жизни сердца уединенной личности, автобиографичность, гармонический язык, умение пользоваться тончайшими оттенками слов и игрой смыслов сделали поэзию Жуковского классикой, школой, из которой вышли юный Пушкин и многие выдающиеся поэты. Именно Пушкин найдет единственные слова, прославляющие память великого поэта:

В.А. Жуковский

Невыразимое

(Отрывок)
Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?
Едва-едва одну ее черту
С усилием поймать удастся вдохновенью...
Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог со здание в словах пересоздать?
Невыразимое подвластно ль выраженью?..
Святые таинства, лишь сердце знает вас.
Не часто ли в величественный час
Вечернего земли преображенья –
Когда душа смятенная полна
Пророчеством великого виденья
И в беспредельное унесена –
Спирается в груди болезненное чувство,
Хотим прекрасное в полете удержать,
Ненареченному хотим названье дать –
И обессиленно безмолвствует искусство?
Что видимо очам – сей пламень облаков,
По небу тихому летящих,
Сие дрожанье вод блестящих,
Сии картины берегов
В пожаре пышного заката –

Сии столь яркие черты –
Легко их ловит мысль крылата,
И есть слова для их блестящей красоты.
Но то, что слито с сей блестящей красотою,
Сие столь смутное, волнующее нас,
Сей внемлемый одной душою
Обворожающего глас,
Сие к далекому стремленье,
Сей миновавшего привет
(Как прилетевшее незапно дуновенье
От луга родины, где был когда-то цвет,
Святая молодость, где жило упованье),
Сие шепнувшее душе воспоминанье
О милом радостном и скорбном старины,
Сия сходящая святыня с вышины,
Сие присутствие Создателя в созданье –
Какой для них язык?.. Горе душа летит,
Всё необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчание понятно говорит.

Вторая половина августа 1819

Море
Элегия

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,

Открой мне глубокую тайну твою:
Что движет твое необъятное лоно?
Чем дышит твоя напряженная грудь?
Иль тянет тебя из земныя неволи
Далекое, светлое небо к себе?..
Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто в присутствии чистом его:
Ты льешься его светозарной лазурью,
Вечерним и утренним светом горишь,

Ласкаешь его облака золотые
И радостно блещешь звездами его.
Когда же сбираются темные тучи,
Чтоб ясное небо отнять у тебя –
Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,
Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...
И мгла исчезает, и тучи уходят,
Но, полное прошлой тревоги своей,
Ты долго вздымаешь испуганны волны,
И сладостный блеск возвращенных небес
Не вовсе тебе тишину возвращает;
Обманчив твоей неподвижности вид:
Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,
Ты, небом любуясь, дрожишь за него.

1822

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль...

Традиции Жуковского и Батюшкова развивали и по-своему обогащали русские поэты-элегики 1820-х годов – **П.А. Вяземский (1792–1878)**, **А.А. Дельвиг (1798–1831)**, **Е.А. Баратынский (1800–1844)**, **Н.М. Языков (1803–1846)**. Читающей публике были хорошо известны такие произведения, как историческая элегия Н.М. Языкова **«Пловец»**

Совсем иначе подходили к этой дилемме поэты декабристского направления в литературе – **П.А. Катенин (1792–1853)**, **В.К. Кюхельбекер (1797–1846)**, **А.И. Одоевский (1802–1839)**. Среди них выделяется личность **К.Ф. Рылеева (1795–1826)** – автора знаменитой сатиры **«К временщику»** (1820) и исторической думы **«Иван Сусанин»** (1822). В противовес поэтам-элегикам творчество поэтов-декабристов объединяется понятием *гражданского романтизма*: главную свою задачу они видели в воспитании в человеке любви к отечеству, подлинного гражданского самосознания и нетерпимости ко всяким проявлениям тирании и деспотизма.

К.Н. Батюшков

Мой гений

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенный
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой – с любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль? приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

Июль или август 1815

Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары:
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары,
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных,
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаянье рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил;
Трикраты прах ее священный

Слезами скорби омочил.
И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы
И новой славы наших дней;
И там, где с миром почивали
Останки иноков святых
И мимо веки протекали,
Святыни не касаясь их;
И там, где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады, –
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..
А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость!
Среди военных непогод,
При страшном зареве столицы,
На голос мирныя цевницы
Сзывать пастушек в хоровод!
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!.

Нет, нет! талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь;

Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем, –
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты,
Венки, рукой любови свиты,
И радость шумная в вине!

Март 1813

***

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает стройных слов,
И как молчать об них – не знаю.

Июль или август 1819

П.Я. Вяземский
Первый снег
(В 1817-м году)

Пусть нежный баловень полуденной природы,
Где тень душистее, красноречивей воды,
Улыбку первую приветствует весны!
Сын пасмурных небес полуночной страны,
Обыкший к свисту вьюг и реву непогоды,
Приветствую душой и песнью первый снег.
С какою радостью нетерпеливым взглядом
Волнующихся туч ловлю мятежный бег,

Когда с небес они на землю веют хладом!
Вчера еще стенал над онемевшим садом
Ветр скучной осени, и влажные пары
Стояли над челом угрюмыя горы
Иль мглой волнистою клубилися над бором.
Унынье томное бродило тусклым взором
По рощам и лугам, пустеющим вокруг.
.....
Здесь снег, как легкий пух, повис на ели гибкой;
Там, темный изумруд посыпав серебром,
На мрачной сосне он разрисовал узоры.
Рассеялись пары и засверкали горы,
И солнца шар вспылал на своде голубом.
Волшебницей зимой весь мир преобразован;
Цепями льдистыми покорный пруд окован
И синим зеркалом сравнялся в берегах.
.....
О, пламенный восторг! В душе блеснула радость,
И искры яркие на снежном хрустале.
Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладость!

Н.М. Языков
Пловец

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.

Смело, братья! Ветром полный
Парус мой направил я:
Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья!

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней,
Будет буря: мы поспорим
И помужествуем с ней.

Смело, братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет!

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Но туда выносят волны
Только сильного душой!
Смело, братья, бурей полный
Прям и крепок парус мой.

1829

А.А. Дельвиг

Ах ты, ночь ли,
Ноченька!
Ах ты, ночь ли,
Бурная!
Отчего ты
С вечера
До глубокой
Полночи
Не блистаешь
Звездами,
Не сияешь
Месяцем?
Всё темнеешь
Тучами?
И с тобой, знать,
Ноченька,
Как со мною,
Молодцем,
Грусть-злодейка
Сведалась!

Как заляжет,
Лютая,
Там, глубоко
На сердце –
Позабудешь
Девицам
Усмехаться,
Кланяться;
Позабудешь
С вечера
До глубокой
Полночи,
Припевая,
Тешиться
Хороводной
Пляскою!
Нет, взрыдаешь,
Всплачешься,
И, безродный
Молодец, –
На постелю
Жесткую,
Как в могилу,
Кинешься!

1820 или 1821

Е.А. Баратынский

Разуверение

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,

Не заводи о прежнем слова
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

1821

***

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.

1828

***

Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешенье
Меня опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий
На ум мой сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?
Освобожусь воображеньем,
И крылья духа подыму,
И пробужденным вдохновеньем
Природу снова обниму?
Вотще ль мольбы? напрасны ль пени?
Увижу ль снова ваши сени,

Сады поэзии святой?
Увижу ль вас, ее светила?
Вотще! я чувствую: могила
Меня живого приняла,
И, легкий дар мой удушая,
На грудь мне дума роковая
Гробовой насыпью легла.

1834

К.Ф. Рылеев

А.А. Бестужеву

Как странник грустный, одинокой,
В степях Аравии пустой,
Из края в край с тоской глубокой
Бродил я в мире сиротой.
Уж к людям холод ненавистный
Приметно в душу проникал,
И я в безумии дерзал
Не верить дружбе бескорыстной.
Незапно ты явился мне:
Повязка с глаз моих упала;
Я разуверился вполне,
И вновь в небесной вышине
Звезда надежды засияла.

Прими ж плоды трудов моих,
Плоды беспечного досуга;
Я знаю, друг, ты примешь их
Со всей заботливостью друга.
Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства:
Зато найдешь живые чувства, –
Я не Поэт, а Гражданин.

1824

Вопросы:

1. Каковы основные черты эстетики романтизма?
2. Что роднило писателей-сентименталистов и поэтов нового поколения, исповедующих новые, романтические принципы художественного освоения мира?
3. В чем своеобразие ранней лирики К.Н. Батюшкова?
4. Какие автобиографические мотивы нашли свое отражение в лирике В.А. Жуковского? В чем своеобразие лирического «я» поэта-романтика?
5. Как проявился талант Жуковского-переводчика и Жуковского-художника в его знаменитых балладах?

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

XIX столетие – «золотой век» русской литературы. Это век Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Тургенева, Достоевского и Толстого. Развивая лучшие традиции древнерусской литературы и литературы XVIII в., русская литература в XIX столетии достигает необычайных высот. Она выходит за национальные рамки и заставляет говорить о себе всю Европу, весь мир. Русских поэтов и писателей не только знают и читают на Западе, но и учатся у них.

Из уроков истории известно, каким бурным, насыщенным важными событиями было для России начало XIX в. Первый период царствования Александра I по словам Пушкина, «дней Александровых прекрасное начало» – это время либеральных реформ и надежд на государственные преобразования самых разных сторон русской жизни.

В начале XIX в. в России открывается целый ряд высших учебных заведении. По проекту Сперанского открывается новое привилегированное учебное заведение – Царскосельский лицей, дающий за более короткий срок образование, приравненное к университетскому. Эти высшие учебные заведения становятся значительными центрами культуры и просвещения. При них возникают литературные общества. издаются журналы, частные газеты.

Журналы: «Вестник Европы», «Русский вестник». «Сын Отечества», «Библиотека для чтения» и др. Литературные общества: «Беседы любителей русского слова», «Арзамас», «Зеленая лампа».

После войны 1812 г. начался поход против науки. Усилился гнет цензуры. Произведения прогрессивной тематики и тем более с политической направленностью не разрешалось печатать, и они распространялись в рукописном виде: переписывались вольнолюбивые стихотворения Пушкина, «Горе от ума» Грибоедова, стихи и поэмы поэтов-декабристов.

Видным литературным направлением в первое десятилетие XIX века становится сентиментализм. Именно в это время появляется

целая группа писателей последователей Карамзина. Среди них выдвигаются такие поэты, как молодой В. Жуковский, И. Дмитриев. Однако сентиментализм, вследствие узости своей тематики и отхода от реальной действительности, не смог сложиться и вырасти в ведущее, большое направление в литературе.

Во втором десятилетии XIX в. появляются новые литературные направления – романтизм и реализм.

В основе этого литературного направления лежит отрицание современной действительности и противопоставление ей мира фантазии, мира человеческой мечты, – критическое отношение к тем крепостническим формам жизни, которые давно существовали в России и которые стали осознаваться как особо неприемлемые после народного торжества 1812 г.

Писатели, поэты, подобно всем передовым мыслящим людям своего времени, не могли примириться с жизнью, основанной на несправедливости. В результате они создавали искусство, которое так или иначе было противопоставлено современным формам общественной жизни. Тем самым они бросали им вызов, посвоему выражали свое несогласие с ними. Это и было романтическое искусство.

Романтическое направление в русской литературе не было однородным. Отрицая жизнь в тех ее формах, в которых она реально существовала, одни романтики уходили в мир мечты, в мир своих чувств и переживаний. Так было, например, с Жуковским.

Романтиков интересуют исключительные герои в исключительных (экзотических) обстоятельствах, они исследуют тайны души человеческой, а писатели-реалисты, стремясь к правде изображения, описывают обычных героев в обычных, типических (повседневных, обыденных) обстоятельствах.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ

(1795–1829)



«Горе от ума» продолжила просветительские традиции Д.И. Фонвизина и предварила в отечественной драматургии гоголевского «Ревизора». «Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами» – так откликнулся А.С. Пушкин на дебют грибоедовской пьесы в Москве.

Александр Сергеевич Грибоедов происходил из дворянской семьи, получил хорошее домашнее образование. С 1803 года юноша обучался в Московском университетском благородном пансионе, а потом в университете по программам трех факультетов (словесный, юридический и физико математический), стал кандидатом словесности и к 1812 году готовился получить звание доктора права (к моменту поступления в университет Грибоедову, вероятно, было всего 11 лет!). Отечественная воина 1812 года изменила судьбу Александра, он поступил добровольцем в гусарский полк, а в 1817 году Грибоедов окончательно вышел в отставку и поступил на службу в государственную коллегию иностранных дел.

В Петербурге он попадает в среду молодых просвещенных либералов, знакомится с А.С. Пушкиным, П.Я. Чаадаевым, В.К. Кюхельбекером, драматургами П. Катениным и А. Шаховским, актерами, музыкантами, будущими декабристами, начинает писать для театра (к ранним драматургическим опытам Грибоедова относится одноактная переводная пьеса «Молодые супруги» (1815), а также написанные в соавторстве комедия «Своя семья» (1817) и опера-водевиль «Кто брат, кто сестра» (1823). Отставной гусар Грибоедов вел обычную для «золотой» петербургской молодежи рассеянную жизнь, втягивался в опасные дуэли, виртуозно играл на фортепьяно и сочинял музыку, считался волевым «человеком расчета», желчным, самолюбивым и неуживчивым, но умным и

едким собеседником. Он был остроумен, необыкновенно образован, знал европейские и восточные языки.

Мы молоды и верим в рай–
И гонимся и вслед и вдаль
За слабо брезжущим виденьем –

эти строки обращены к той поре, когда начинающий писатель и будущий блестящий дипломат уверенно завоевывал шумное пространство большого света.

В начале 1818 года Грибоедов покидает столицу. Переломным событием в судьбе поэта стала так называемая «дуэль четверых», в которой основными соперниками выступили граф А.П. Завадовский и И. В. Шереметев, а вторую пару составили секунданты – А.С. Грибоедов и А.И. Якубович. Поединок, замешанный на любовной интриге, закончился трагически: Шереметев получил смертельное ранение. События роковой дуэли потрясли Грибоедова и стали поводом для решительного пересмотра прежних жизненных ценностей. Внутренним переменам сопутствуют внешние обстоятельства жизни писателя.

В марте 1818 года он назначается секретарем персидской дипломатической миссии и едет на Кавказ из Москвы через всю Россию в ставку главнокомандующего генерала А.П. Ермолова. Получив важное дипломатическое поручение в январе 1819 года, Грибоедов отправляется в Персию.

В Тифлисе, затем в Тегеране, в 1821 году в Тавризе он работает над комедией «Горе от ума» (первые наметки к ее плану и черновые сцены появились раньше) и в 1823 году привозит первые два акта пьесы в Москву, завершив работу над ней в тульском имении С.Н. Бегичева.

Отсутствие черновиков и первых редакций пьесы указывает на то, что Грибоедов свои произведения изначально держал в своей емкой и уникальной памяти, мысленно их повторял, совершенствуя при этом строки и целые сцены. «Он принимался за перо лишь тогда, когда уже решался больше не переменять. Он мне читал почти все «Горе от ума», когда еще ни одного стиха не было записано на бумаге, – ибо некоторыми сценами он был еще недоволен» (В.Ф. Одоевский). Впоследствии требовательный автор неоднократно перерабатывал свою пьесу, добиваясь таким образом легко-

сти и стремительности стиха и диалога. Комедия быстро распространилась в списках.

Грибоедов же вернулся на Кавказ, где в 1826 году и был арестован по обвинению в участии в декабристском заговоре и заключен в Петропавловскую крепость. Суть произошедшего Грибоедов высказал и насмешливом экспромте:

По духу времени и вкусу
Он ненавидел слово «раб»...
За то попался в Главный штаб
И был притянут к Иисусу.

С помощью влиятельных друзей Грибоедов сумел оправдаться, вернулся на Кавказ и подготовил заключение выгодного для России Туркманчайского мирного договора с Персией (Ираном) (1828), за что был щедро награжден Николаем I. Но начиналась война с Турцией, и талантливого дипломата вновь отправляют в Персию.

В Тифлисе Грибоедов встречает юную красавицу грузинку Нину Чавчавадзе, дочь известного поэта и владетельного князя, и в августе 1828 года женится. «Теперь я истинно чувствую, что значит любить», напишет Грибоедов в одном из посланий жене.

Высокое назначение министром-резидентом при дворе персидского шаха окончательно упрочило дипломатическую карьеру Грибоедова, но в 1829 году злобный бунт мусульманской фанатической черни в Тегеране привел к жестокому истреблению всей русской миссии и гибели писателя. Русский посол героически сражался до конца вместе со всеми.

Грибоедов похоронен в Тифлисе. На постаменте надгробного памятника Ниной Чавчавадзе начертана по-русски эпитафия: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»

А.С. Пушкин, высоко ценивший талант автора «Горя от ума», вспоминал: «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, – всё в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже

его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении... Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил. Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть , постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна».

По своим литературным воззрениям и связям Грибоедов принадлежал к консервативной школе, однако главным его принципом была творческая свобода: «Я как живу, так и пишу – свободно и свободно. Однако комедия «Горе от ума» (1822–1824) написана с точным соблюдением правил трех единств – времени, места и действия.

Все в пьесе свершается на протяжении суток в доме Фамусова, и действие это едино: оно не прерывается другими сюжетными линиями и событиями. Сам язык «Горя от ума» в согласии с правилами классицизма подчеркнуто условен, ибо персонажи Грибоедова, в отличие от реальных людей, говорят стихами, произносят развернутые монологи, разъясняющие позиции героев. Здесь представлены классические комедийные характеры: постепенно прозревающий герой-резонер (Чацкий), влюбленная героиня (Софья), веселая служанка-наперсница (горничная Лиза), обманутый отец (Фамусов). Словом, это именно высокая комедия в духе классицизма, у которой имеется во французской драматургии известный источник и достойный образец – «Мизантроп» Ж.Б. Мольера. К «Горю от ума» вполне приложимы известные слова Пушкина: «Высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров, и... нередко близко подходит к трагедии».

Поставив себя в такие жесткие, казалось бы, сковывающие автора условия, Грибоедов в этих строго очерченных рамках добился полной творческой свободы, создав подлинно новаторскую пьесу, социальную сатиру, полно и реалистично представившую быт и нравы русского светского общества в сложнейший, переходный период борьбы двух поколений. «Цель его характеры и резкая картина нравов», – заметил А.С. Пушкин. С ним позже согласится Ф.М. Достоевский: «Горе от ума»... только и сильна своими яркими художественными типами и характерами, и лишь один художественный труд дает все внутреннее содержание этому произведению».

Но в этих живых, реальных типах, их продуманном соединении и столкновении высказана собственно авторская идея, и эту

нестареющую идею надо понять, а многосмысленное содержание – раскрыть, чем и занят почти два столетия русский театр.

Критик В.Г. Белинский также увидел образец высокой комедии в «Горе от ума», «этом бурном дифирамбическом излиянии желчного, громового негодования при виде гнилого общества ничтожных людей, в души которых не проникал луч Божьего света, которые живут по обветшалым преданиям старины, по системе пошлых и безнравственных правил, которых мелкие цели и низкие стремления направлены только к призракам жизни – чинам, деньгам, сплетням, унижению человеческого достоинства и которых апатическая, сонная жизнь есть смерть всякого живого чувства, всякой разумной мысли, всякого благородного порыва...». Столь масштабный замысел требовал нового подхода к группировке персонажей пьесы.

Кроме действующих лиц на сцене Грибоедов продуманно вводит упоминаемые («внесценические») персонажи вроде ловкого вельможи Максима Петровича, «многописателя» Фомы Фомича, важной барыни Татьяны Юрьевны и могущественной княгини Марьи Алексевны. Все они «мастерски обрисованы», обогащают действие, объясняют и оттеняют действующих персонажей, способствуя созданию коллективного образа определенной общественной среды, движущейся картины лиц, поколений и идей, сталкивающихся на сцене. «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека», – отмечал сам автор, отвергая обвинения в излишней портретности, обилии карикатур и шаржей. Персонажи Грибоедова являются не толпой, а живым «народом действующих лиц» (П.А. Вяземский), сложно взаимодействующим в рамках комедийного сюжета. Это расширило границы пьесы и саму сцену, дало автору новые возможности для развития характеров, подчеркнуло общественный характер грибоедовской сатиры и ее главного конфликта.

Стихотворный язык своей комедии (он именовал ее «сценической поэмой») Грибоедов сумел превратить в живой разговор людей той эпохи, сохранив меткое и богатое оттенками русское слово.

Вместе с тем И.А. Гончаров в критическом этюде «Мильон терзаний» назвал язык грибоедовской комедии «разговорным стихом», ибо в нем вполне выразились словесное действие и самобытные характеры пьесы: «Нельзя представить себе, чтоб могла явиться когда-нибудь другая, более естественная, простая, более взятая из

жизни речь». Проза тех лет запечатлела лишь отдельные образцы живой разговорной речи, тогда как в высказываниях персонажей «Горя от ума» живет сам дух народного языка, со всеми его «неправильностями» и сокращениями, «проглатыванием» глаголов и союзов, намеками и поговорками («вы, нынешние, – ну-тка!», «купил, он говорит, чай, в карты сплутовал», «попробуй о властях, и невесть что наскажет!», «готов я душу прозакласть» и т.д.). Поражает и удивительная афористичность языка комедии, ставшие крылатыми фразы. «О стихах я не говорю: половина – должны войти в пословицу», – писал А.С. Пушкин, прочитав впервые «Горе от ума».

Первые авторские чтения пьесы вызывают бурную реакцию слушателей. С самого появления грибоедовской пьесы возникли споры о том, кто ее главный герой и что он собой представляет. Пушкин утверждал даже: «В комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому под.». И.А. Гончаров же говорил о некоторой загадочности Чацкого. В связи с этим необходимо подробно остановиться на этом ключевом персонаже, появление которого служит завязкой основного действия и является его главной движущей силой.

Природа драматического конфликта требует стремительного, живого и непрерывного сценического движения. В «Горе от ума» вступают к битву сменяющие друг друга поколения, идеи, нравы и обычаи, разные уклады жизни, нравственность и безнравственность, самодовольное полупросвещение и юная жажда новых мыслей и познаний, духовное рабство и вольность, привычная ложь и реальная правда. Их неожиданные встречи, диалоги и столкновения занимательны и динамичны, ибо в каждой такой сцене умело соединены различные самобытные характеры. Так рождается *действие пьесы.*

Московское общество обрисовано Грибоедовым в замечательном ансамбле сатирических фигур, «портретных» типов с живыми

характерами и образной речью. Комедия действительно стала «картиной и зеркалом общественной нашей жизни» (Н.В. Гоголь), верно отразила эту движущуюся жизнь в типических подробностях и лицах. Но часто утверждают, что желчный, умный, протестующий Чацкий одиноко и безнадежно противостоит этому многочисленному и сплоченному обществу («Можно ль против всех!»), традиционному жизненному укладу дворянства древней столицы, устоявшемуся миру старых идей, обычаев и предрассудков. «Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей», – писал И.А. Гончаров в своем критическом этюде «Мильон терзаний».

Стоит напомнить, что «пылкий и отважный борец» Чацкий в комедии все же не одинок в своих взглядах: старая княгиня упоминает своего молодого племянника Федора, «химика и ботаника», и его учителей, вольнодумных профессоров Петербургского педагогического института; Скалозуб горестно повествует о своем двоюродном брате – офицере, вдруг набравшемся «каких-то новых правил». Когда-то другом и однополчанином Чацкого был неглупый, добрый увалень Платон Горич, теперь полностью подчинившийся капризной и деспотичной жене, московской барыне. Влюбленному герою сочувствует жизнерадостная и неглупая горничная Лиза («Кто так чувствителен, и весел, и остер, / Как Александр Андреич Чацкий!»).

Но, как это ни парадоксально, главным доказательством общественной значимости Чацкого и его связей, влиятельности и распространенности его передовых идей является любитель «пошуметь» Репетилов, легко разменивающий эти серьезные идеи на либеральные пошлости и фантастическую болтовню и ложь. Ф.М. Достоевский считал тип Репетилова трагическим. Это своего рода кривое зеркало, искажающее и снижающее заемные мысли, комичный мастер пустого слова, пародийный двойник человека дела – Чацкого («Поздравь меня, теперь с людьми я знаюсь / С умнейшими! – всю ночь не рыщу напролет»).

Но надо помнить, что чуткий к веяниям времени Репетилов всегда там, где появляются модная новинка, «влиятельное мнение», энергичные мыслящие люди, новое движение. Значит, за молодым петербуржцем Чацким уже стоит новая сила, дошедшая и до Москвы и сделавшая его конфликт с московским консервативным обществом не просто личным столкновением (тогда не было бы обще-

ственной комедии и социальной сатиры), а принципиальной борьбой «века нынешнего и века минувшего».

Итак, Чацкий приезжает в Москву из Петербурга. С появлением ключевого действующего лица комедии Петербург с его новыми либеральными веяниями словно вырастает из своей столичной северной дали, грозя фамусовской Москве близкими переменами, неизбежным беспокойством. Из разговоров персонажей пьесы мы знаем, что после военной службы «о себе задумал он высоко», был «счастлив в друзьях» (то есть в единомышленниках), писал и переводил (возможно, писал проекты и новые законы, переводил нужные для этого сочинения), желал служить «делу, а не лицам», имел какие-то серьезные, даже москвичам известные дела с министрами, а значит, хотел всерьез что-то важное сделать, что-то изменить. И хотел этого не один, ибо необходимость политических реформ понимали и люди власти, и новое поколение передовых дворян, которому был слышен народный ропот.

Хотя комедия писалась Грибоедовым в основном в Персии и Тифлисе, первые ее замыслы и наброски появились к 1816 или 1819 годам, и них отразились его свежие петербургские впечатления, жизнь в кругу либеральной служащей молодежи (Пушкин не случайно решил вначале, что Чацкий – это грибоедовская карикатура на их общего друга П.Я. Чаадаева), чьи вольнолюбивые, но несколько общие и риторические идеи высказаны в оде юного Пушкина «Вольность» (1817).

Пушкин обвинил пылкого Чацкого в излишнем и бесполезном сотрясении воздуха своими гневными речами перед непонимающими и недостойными их старыми консерваторами фамусовской Москвы и указывал на главную (вполне сознательно дарованную ему автором) черту характера – молодую горячую *наивность*. Ведь даже наблюдательная горничная Лиза характеризует его прежде всего как «чувствительную» натуру: чувство героя идет впереди ума, он только начинает свою борьбу, полон больших ожиданий. Но его ждут великие разочарования.

Чацкий деятелен, полон надежд, искренно верит в свои силы, в людей и потому так удивлен и возмущен упорным и недоброжелательным сопротивлением косной московской среды. Ведь идеи его и его петербургских друзей так хороши, новы и прогрессивны, им только надо следовать, и вся русская жизнь быстро изменит-

ся к лучшему! Гончаров верно говорил: «Чацкий начинает новый век – и в этом все его значение и весь "ум"». Все его неизбежные разочарования, борьба и поражения еще впереди, а в начале комедии обаятельная «глупость» Чацкого говорит лишь о его добром и открытом характере, честности и доверчивости, которую потом ловко используют опытные в интригах безнравственные московские обыватели.

Грибоедов строит свою **комедию** на *двух конфликтах:* столкновении Чацкого с московским обществом и его слепой вере в душу и любовь Софьи, давно уже переменившейся внутренне и пошедшей вслед за своей увлекающейся (вспомним отзыв Фамусова о жене), сентиментальной, начитавшейся модных романов матерью (этот персонаж был намечен в первых набросках комедии, но потом исчез). Переплетение их конфликтов заметно уже в первом акте, где давно охладевшая к Чацкому Софья оказывается задетой его едким отзывом о ее новом возлюбленном Молчалине: «С этой минуты между нею и Чацким завязался горячий поединок, самое живое действие, комедия в тесном смысле, в которой принимают близкое участие два лица, Молчалин и Лиза» (И.А. Гончаров). Распустив в светском обществе сплетню о безумии Чацкого, Софья соединяет оба сценических конфликта в единый сюжетный узел, получающий развязку в финале комедии.

Софью тоже называли загадочным и «неясно начертанным» (Пушкин) характером. Ключ к ее пониманию: любовь к ней Чацкого и то, что она при ее уме – достойная дочь Фамусова и своей чувствительной и влюбчивой матери, московская барышня с неизгладимым влиянием эпохи и среды, «французского» модного воспитания и чтения сентиментальных романов. Она не просто умна, но и обладает сильным, властным характером («Хочу – люблю, хочу – скажу»), умеет искренно чувствовать, о чем свидетельствует ее непритворный обморок при падении Молчалина с лошади и укоризненные слова «Готова я была в окошко к вам прыгнуть».

В ранней юности Софья была влюблена в Чацкого, но его независимый характер и насмешливый ум и тогда ей не нравились, ей нужен мягкий и покорный муж-слуга. Гордая, своенравная девушка с явным неудовольствием называет своего прежнего возлюбленного «взыскательным», о себе задумавшим высоко: «Да эдакий ли ум семейство осчастливит?» У Софьи свое представление о семейном сча-

стье, она и здесь деспот. И героиня после недолгих колебаний жестоко мстит язвительному умнику, умело распуская в обществе клевету о его мнимом безумии и тем самым вступая в союз с близкой ей по духу московской светской публикой. А все это, в свою очередь, свидетельствует о весьма высоком мнении Софьи о самой себе.

Итак, любовный выбор Софьи вполне определился: ей нужен описанный в модных сентиментальных романах робкий и чувствительный возлюбленный, уступающий ей по своему социальному положению.

Неискренний и услужливый Молчалин, в действительности далекий и от эталона Софьи (Лиза видит его насквозь и потому хохочет, когда ее барышня называет Молчалина робким), согласен играть эту навязанную ему книжную роль застенчивого воздыхателя, дабы угодить дочери своего начальника и благодетеля, к вожделенной карьере и выгодному браку по расчету. Он готов на любое унижение. Чацкий невольно угадал это: «Ведь нынче любят *бессловесных*». Отсюда и злые слова оскорбленной Софьи: «Не человек, змея!» Этот человек мешает ей, ломает избранную ею схему жизни.

Суть конфликта Софьи и Чацкого в том, что некстати вернувшийся после трехлетнего отсутствия «петербургский философ» невольно, пусть и не сразу, открывает ей глаза на нового возлюбленного и ее ошибочный выбор. Софья этого ему никогда не простит («Унизить рад, кольнуть...»), но ее невольно заставляют задуматься взволнованные вопросы Чацкого о Молчалине: «Но есть ли в нем та страсть, то чувство, пылкость та?.. Но вас он стоит ли?» Сама наивность и слепота Чацкого оскорбительны для гордой Софьи, ибо он упорно не верит, что его бывшая возлюбленная так могла себя унизить. Он не слышит даже ее прямого признания: «Бог нас свел». Это сразу заметил Пушкин: «Между мастерскими чертами этой прелестной комедии – недоверчивость Чацкого в любви Софьи к Молчалину прелестна! – и как натурально! Вот на чем должна была вертеться вся комедия, но Грибоедов, видно, не захотел – его воля».

И когда Софья в финале комедии с помощью Чацкого видит наконец всю низость, неискренность, «кривизну души» Молчалина, она испытывает тот же «мильон терзаний»: крушение всех иллюзий, страшный удар по самолюбию и репутации. Становится ясно, что злилась и обижалась она на Чацкого не за Молчалина, а за себя, его упорное неверие невольно осуждало ее ошибочный и

недостойный выбор. Ведь и для этой гордой московской девушки тоже важно, «что станет говорить княгиня Марья Алексевна!». Она сама любит судить других, читать им мораль, как и ее вечно рассерженный отец. Возможно, судьба готовит Софье участь второй Хлестовой, самозваной суровой блюстительницы старых нравов, всех одергивающей, всем делающей публичные выговоры и не замечающей скрытого в ее громких и важных окриках и сердитых распеканиях простодушного хамства. Вместе с тем нельзя не увидеть в Софье «смесь хороших инстинктов с ложью, живого ума с отсутствием всякого намека на идеи и убеждения» (Гончаров). Эта внутренняя противоречивость делает Софью неоднозначным, не вписывающимся в рамки классицистической эстетики персонажем.

Три персонажа начинают комедию «Горе от ума» рано утром, ведут ее от действия к действию и завершают в финальной вечерней сцене всеобщих открытий, прозрений и сетований, – это ее главные герои Чацкий, Фамусов и Софья. О молодой паре и ее столкновении на почве ревности и борьбы самолюбий уже говорилось, это умело закрученная «интрига любви» (Гончаров), работающая на главную идею комедии. А вот роль Фамусова, его характер, связь и конфликт с Чацким не так просты, как иногда кажется.

Юноша по-родственному жил и воспитывался в доме Фамусова вместе с его единственной дочерью; ворчливый и вспыльчивый старик (кстати, ему едва ли более пятидесяти лет) по-своему его любит, при встрече радушно обнимает, хвалит («Он малый с головой, И славно пишет, переводит... с эдаким умом»), живо интересуется его карьерой, состоянием и имением. Что же касается новых идей Чацкого, то они хозяина дома интересуют мало, он предпочитает жить обеспеченно, удобно и спокойно, как все московские «тузы», то есть по устоявшимся традициям и привычкам консервативной среды. Но в какой-то момент идеи эти становятся материальной силой, начинают тревожить Фамусова и его окружение, им приходится отвечать приезжему «умнику». Этот спор начался давно и теперь продолжился в иное время и в новых условиях и формах.

Герои комедии спорят о главном – об уме и просвещении, их значении для судеб новой России, ее молодой культуры. Мысли гневного «резонера» Чацкого мы знаем наизусть, они изложены в его знаменитых *монологах*, то есть развернутых и вдохновенных высказываниях, более похожих на публичные обличительные речи

и, в сущности, не требующих ответа. Монолог являлся важной составляющей драмы эпохи классицизма и обычно был обращен героем к публике и самому себе, содержал обличения и поучения. Он нужен автору для высказывания в зал своих мыслей, но не очень сценичен, ибо на время прерывает действие, прекращает диалоги: все замолкают и ждут, пока герой выскажет все до конца. Между тем все действие «Горя от ума» держится на монологах, стремительно развивается от одной обличительной речи другой, следовательно, Грибоедов иначе смотрел на роль монолога и отвел ему особое место в художественной структуре своей комедии.

Уже в начале пьесы звучат обличительные речи. Но принадлежат они не Чацкому, а его главному оппоненту Фамусову. Сначала его появление подготавливается боящейся прихода хозяина горничной Лизой, затем сам барин является у спальни дочери, запершейся там с Молчалиным, и рассерженно говорит о ненужном просвещении, о бесполезности и вредности чтения французских и особенно русских книг. И обращается не к горничной, а в зал, как потом это будет делать Чацкий. В четвертом явлении Фамусов с достойной Чацкого запальчивостью, гневом и сарказмом продолжает обличать пагубные следствия чтения безнравственных французских книг, разорительные хождения дам и девушек на Кузнецкий мост в модные французские лавки. Обвинения его энергичны, образны и красноречивы, их торжественная риторика и меткость говорят о его начитанности (исследователи нашли в речах Фамусова отголоски знания русских исторических трагедий XVIII века) и несомненном даре оратора, отточенном бесконечными поучениями в Английском клубе, гостиных и салонах:

Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас Творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!

И далее следует важная фраза, достойная обиженного Чацкого: «Но ждал ли новых я хлопот? чтоб был обманут...» А ведь он действительно обманут своими домашними и особенно дочерью. Разошедшийся Фамусов взволнованно (и вполне верно) говорит о плохом воспитании, скверных учителях-французах, лестно отзывается о себе как образце нравственности, набрасывается на

подвернувшегося под руку и действительно виноватого Молчалина, критикует поспешно и неловко взятый из модных романтических баллад сон оправдывающейся дочери («Где чудеса, там мало складу») и завершает рассредоточенный, занимающий все четвертое явление обличительный монолог утверждением своего профессионального кредо: «Подписано, так с плеч долой».

Старовер Фамусов кипит негодованием, это сатира, гнев и сарказм, сердечное убеждение, прорвавшееся под воздействием обоснованных подозрений. К кому же деспотичный и сварливый московский барин обращает обличительные речи? К своей крепостной девушке Лизе, ничтожному Молчалину, любящей французские книги и модные лавки сентиментальной дочери? Нет, их ответы и тем более *иные*, самостоятельные суждения, ему не нужны и глубоко безразличны, это его выношенная позиция, которую разделяют московские «тузы» и барыни его поколения, люди «века минувшего». Носитель такой философии простодушно считает себя непогрешимым и в этом качестве не ждет возражений. Вот почему Фамусова и его окружение так раздражают ответные монологи и реплики Чацкого.

Речи Фамусова – громкий голос грибоедовской «после пожарной» Москвы, защищающей свой старинный уклад жизни, традиции, предрассудки, власть и влияние. Это сигнал тревоги, на который откликаются в последующих действиях и дружно объединяются в борьбе с опасным «умником» и чужаком Чацким властная старуха Хлестова, Тугоуховские, Скалозуб, графини Хрюмины, Антон Антонович Загорецкий, Наталья Дмитриевна Горич, разносящие сплетни и клевету господа Н. и Д., то есть вся патриархальная дворянская Москва. Эта среда уже обеспокоена, раздражена дурными слухами и неприятными новостями из Петербурга, полна неясных предчувствий и ожиданий.

Как показывает дальнейшее развитие событий, тревога Фамусова и его окружения вполне обоснованы: появился опасный молодой противник из собственного стана. За расколом в обществе следует столкновение. Это и есть ***завязка*** комедии. «Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два, – коснуться того, что волнует, более или менее, всех действующих», – писал в «Театральном разъезде» Н.В. Гоголь. Грибоедову знаком этот закон высокой комедии. Достаточно заглянуть в список действующих лиц пьесы,

чтобы понять, что достойно ответить красноречивому и гневному московскому барину может только былой москвич Чацкий, потомок фонвизинского Стародума, вестник грядущих всеобщих перемен. Его явление, речи и поступки задевают всех, они подрывают устои общества, в котором царят «слабодушие, рассудка нищета». В конце I действия Чацкий иронически говорит о консервативной Москве и ее застойном, неподвижном быте:

Что нового покажет мне Москва?
Вчера был бал, а завтра будет два.

Во II действии комедии свою оценку этому быту дает Фамусов, вспоминая об отцах, их старинном житье и произнося прочувственные панегирики их былому умению жить и прислуживаться. Чацкий отвечает ему гневным монологом, где услужливым «тузам» и прежнему веку покорности, страха и низкопоклонства противопоставлено новое, вольное время, новые люди и их передовые идеи. Старый барин настолько возмущен этими нападками, что с криками «карбонари», «бунт» и «вольность хочет проповедать» затыкает уши, не желая слушать эти мятежные речи. Явление завидного жениха Скалозуба, нестарого богача и будущего генерала, явно ищущего хорошую московскую невесту, заставляет заботливого отца Софьи вернуться к «спокойной» теме – родной Москве, ее людям и быту, посвятив им новый хвалебный монолог:

А наши старички?? – Как их возьмет задор,
Засудят об делах, что слово – приговор...

«Тут уже завязывается другая борьба, важная и серьезная, целая битва... Оба, Фамусов и Чацкий, бросили друг другу перчатку... Отвечает Чацкий», – писал Гончаров, говоря о знаменитом монологе «А судьи кто?». Идеалист и романтик, Чацкий именно *отвечает* на развернутую риторическую хвалу хозяина дома старой Москве, ее привычному укладу жизни, старикам и молодежи, следующим простым жизненным правилам, примитивной «формуле успеха», и допускающим обычную бытовую беспринципность во имя реальных благ и карьеры.

Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?

Это совпадение в словах и тоне показывает, что на самом деле монологи Фамусова и Чацкого являются развернутым, длящимся на протяжении всего действия комедии *диалогом*, где определяются позиции и цели обоих враждующих лагерей и открывается главный философский и сатирический смысл **общественной комедии** Грибоедова.

Остальные персонажи фамусовского лагеря по-своему дополняют этот принципиальный спор двух главных героев комедии новыми аргументами, деталями и особенностями типических характеров и судеб. Все они потомки фонвизинской госпожи Простаковой.

Герой теряет прежнюю свою естественную жизнерадостность, жажду деятельности, веру в людей и любовь, раздражается, совершает ошибку за ошибкой. Пылкого критика старых предрассудков предает любимая девушка. Вот теперь он действительно один, поражение нового человека неизбежно, хотя оно временное: новый век и передовые идеи уже входят в патриархальную московскую жизнь. Тем сильнее ее эмоциональное, неумное, но умелое и хитрое сопротивление, говорящее о богатом житейском опыте и готовности к клевете и примитивному обману.

Клевета растет, развивается, сжимая душу гонимого душевной болью и заставляя его уже через силу произнести в пустоту (все оставили его и танцуют) сердитый монолог о французике из Бордо и преклонении московского общества перед всем иностранным, явственно перекликающийся со словами Фамусова о «вечных французах». Слова об «умном, бодром нашем народе» обращены гневным Чацким в будущее, ибо пока этот народ не присутствует на сцене и безмолвствует.

Либеральный болтун Репетилов с его простодушной верой в любую модную новинку, шумным, всей Москве известным тайным обществом и любовью к танцовщицам и водевилям лишь ненадолго развлек приезжего «возмутителя спокойствия».

Главные герои комедии сходятся в опустевшей после разъезда гостей прихожей Фамусова, и наступает ***развязка***, все разъясняется. Монологом отчаявшегося Чацкого об «оскорбленном чувстве», разочаровании в Москве и любви к Софье завершается эта сатирическая комедия, в которой есть и отчетливые печальные, даже трагические ноты и которую князь П.А. Вяземский метко назвал «современной трагедией».

Вопросы:

1. Опираясь на сюжетно-образную структуру комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», докажите принадлежность пьесы к классицистической драматургии и одновременно приведите примеры нарушения автором норм и правил классицизма.

2. Как в образе Чацкого соотносятся черты драматического персонажа и роль главного участника комедийной интриги? В чем, по замыслу автора, заключается «здравомыслие» главного героя? С помощью каких средств Грибоедов передает свое отношение к Чацкому?

3. В чем отличие ума Чацкого от «ума» Фамусова, Скалозуба и других представителей старой Москвы? Почему Грибоедов изменил первый вариант названия комедии – «Горе уму»?

4. В чем суть любовного поединка между Чацким и Софьей? Согласны ли вы с мнением И.А. Гончарова о том, что «к Софье Павловне трудно отнестись несимпатично»?

5. Грибоедовскую пьесу венчает финал-катастрофа, являющийся одновременно открытым финалом. Каковы же итоги противостояния Чацкого и светской толпы? Согласны ли вы с мнением И.А. Гончарова, считавшего Чацкого одновременно победителем и побежденным?

Темы сочинений:

1. Традиционное и новаторское в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

2. Почему Чацкий обречен на одиночество? (По комедии «Горе от ума».)

3. Чацкий и Молчалин как два нравственных полюса комедии Грибоедова.

4. «Что нового покажет мне Москва?» (Фамусовское общество в комедии «Горе от ума».)

5. «На Софью у нас слишком строго смотрит» (Ф.М. Достоевский.)

6. Чацкий и Репетилов: герой-резонер и герой-пародия.

Александр Грибоедов

ГОРЕ ОТ УМА

Комедия в четырёх действиях в стихах

(В сокращении)

Действующие лица

Павел Афанасьевич Фамусов,
управляющий в казённом месте.
Софья Павловна, дочь его.
Лизанька, служанка.
Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова, живущий у него в доме.
Александр Андреевич Чацкий.
Полковник Скалозуб, Сергей Сергеевич.
Наталья Дмитриевна, молодая дама,
Платон Михайлович, муж её – *Горичи.*
Князь Тугоуховский и *княгиня*, жена его, с шестью дочерями.
Графиня-бабушка, Графиня-внучка – Хрюмины.
Антон Антонович Загорецкий.
Старуха Хлёстова, свояченица Фамусова.
Г. N.
Г. D .
Репетилов.
Петрушка и несколько говорящих слуг.
Множество гостей всякого разбора и их лакеев при разъезде.
Официанты Фамусова.

Действие в Москве в доме Фамусова.

ДЕЙСТВИЕ I

Явление 1

Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софьи, откудова слышно фортопияно с флейтою, которые потом умолкают. *Лизанька* среди комнаты спит, свесившись с кресел.

(Утро, чуть день брезжится.)

Лизанька

(вдруг просыпается, встаёт с кресел, оглядывается)
Светает!.. Ах! как скоро ночь минула!
Вчера просилась спать – отказ.
«Ждём друга». – Нужен глаз да глаз,
Не спи, покудова не скатишься со стула.
Теперь вот только что вздремнула,
Уж день!.. сказать им…

(Стучится к Софии.)

Господа,
Эй! Софья Павловна, беда.
Зашла беседа ваша за; ночь.
Вы глухи? – Алексей Степаныч!
Сударыня!.. – И страх их не берёт!

(Отходит от дверей.)

Ну, гость неприглашённый,
Быть может, батюшка войдёт!
Прошу служить у барышни влюблённой!
(Опять к дверям.)
Да расходитесь. Утро. – Что-с?

Голос Софии

Который час?

Лизанька

Всё в доме поднялось.

София

(из своей комнаты)

Который час?

Лизанька

Седьмой, осьмой, девятый.

София

(оттуда же)

Неправда.

Лизанька

(прочь от дверей)

Ах! амур проклятый!
И слышат, не хотят понять,
Ну что бы ставни им отнять?
Переведу часы, хоть знаю: будет гонка,
Заставлю их играть.

(Лезет на стул, передвигает стрелку, часы бьют и играют.)

Явление 2

Лиза и *Фамусов.*

Лиза

Ах! барин!

Фамусов

Барин, да.

(Останавливает часовую музыку)

Ведь экая шалунья ты, девчонка.
Не мог придумать я, что это за беда!
То флейта слышится, то будто фортепьяно;
Для Софьи слишком было б рано?..

Лиза

Нет, сударь, я… лишь невзначай…

Фамусов

Вот то-то невзначай, за вами примечай;
Так, верно, с умыслом.

(Жмётся к ней и заигрывает.)

Ой! зелье, баловница.

Лиза

Вы баловник, к лицу ль вам эти лица!

Фамусов

Скромна, а ничего кроме
Проказ и ветру на уме.

Лиза

Пустите, ветреники сами,
Опомнитесь, вы старики…

Фамусов

Почти.

Лиза

Ну, кто придёт, куда мы с вами?

Фамусов

Кому сюда прийти?
Ведь Софья спит?

Лиза

Сейчас започивала.

Фамусов

Сейчас! А ночь?

Лиза

Ночь целую читала.

Фамусов

Вишь, прихоти какие завелись!

Лиза

Всё по-французски, вслух, читает запершись.

Фамусов

Скажи-ка, что глаза ей портить не годится,
И в чтеньи прок-от не велик:
Ей сна нет от французских книг,
А мне от русских больно спится.

Лиза

Что встанет, доложусь,
Извольте же идти, разбудите, боюсь.

Фамусов

Чего будить? Сама часы заводишь,
На весь квартал симфонию гремишь.

Лиза

(как можно громче)

Да полноте-с!

Фамусов

(зажимает ей рот)

Помилуй, как кричишь.
С ума ты сходишь?

Лиза

Боюсь, чтобы не вышло из того…

Фамусов

Чего?

Лиза

Пора, сударь, вам знать, вы не ребёнок;
У девушек сон утренний так тонок;
Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнёшь:
Всё слышат…

Фамусов

Всё ты лжёшь.

Голос Софии

Эй, Лиза!

Фамусов

(торопливо)
Тс!
(Крадётся вон из комнаты на цыпочках.)

Лиза

(одна)
Ушёл… Ах! от господ подалей;
У них беды себе на всякий час готовь,
Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь.

Явление 3

Лиза, София со свечкою, за ней *Молчалин.*

София
Что, Лиза, на тебя напало?
Шумишь…

Лиза
Конечно, вам расстаться тяжело?
До света запершись, и кажется всё мало?

София
Ах, в самом деле рассвело!
(Тушит свечу.)
И свет и грусть. Как быстры ночи!

Лиза
Тужите, знай, со стороны нет мочи,
Сюда ваш батюшка зашёл, я обмерла;
Вертелась перед ним, не помню что врала;
Ну что же стали вы? поклон, сударь, отвесьте.
Подите, сердце не на месте;
Смотрите на часы, взгляните-ка в окно:
Валит народ по улицам давно;
А в доме стук, ходьба, метут и убирают.

София
Счастливые часов не наблюдают.

Лиза
Не наблюдайте, ваша власть;
А что в ответ за вас, конечно, мне попасть.

София
(Молчалину)
Идите; целый день ещё потерпим скуку.

Лиза

Бог с вами-с; прочь возьмите руку.

(Разводит их, *Молчалин* в дверях сталкивается с *Фамусовым* .)

Явление 4

София, Лиза, Молчалин, Фамусов.

Фамусов

Что за оказия! Молчалин, ты, брат?

Молчалин

Я-с.

Фамусов

Зачем же здесь? и в этот час?
И Софья!.. Здравствуй, Софья, что ты
Так рано поднялась! а? для какой заботы?
И как вас бог не в пору вместе свёл?

София

Он только что теперь вошёл.

Молчалин

Сейчас с прогулки.

Фамусов

Друг, нельзя ли для прогулок
Подальше выбрать закоулок?
А ты, сударыня, чуть из постели прыг,
С мужчиной! с молодым! – Занятье для девицы!
Всю ночь читает небылицы,
И вот плоды от этих книг!

А всё Кузнецкий мост, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!..

София

Позвольте, батюшка, кружится голова;
Я от испуги дух перевожу едва;
Изволили вбежать вы так проворно,
Смешалась я…

Фамусов

Благодарю покорно,
Я скоро к ним вбежал!
Я помешал! я испужал!
Я, Софья Павловна, расстроен сам, день целый
Нет отдыха, мечусь как словно угорелый.
По должности, по службе хлопотня,
Тот пристаёт, другой, всем дело до меня!
Но ждал ли новых я хлопот? чтоб был обманут…

София

(сквозь слёзы)
Кем, батюшка?

Фамусов

Вот попрекать мне станут,
Что без толку всегда журю.
Не плачь, я дело говорю:
Уж об твоём ли не радели
Об воспитаньи! с колыбели!
Мать умерла: умел я принанять
В мадам Розье вторую мать.

Старушку-золото в надзор к тебе приставил:
Умна была, нрав тихий, редких правил.
Одно не к чести служит ей:
За лишних в год пятьсот рублей
Сманить себя другими допустила.
Да не в мадаме сила.
Не надобно иного образца,
Когда в глазах пример отца.
Смотри ты на меня: не хвастаю сложеньем,
Однако бодр и свеж, и дожил до седин;
Свободен, вдов, себе я господин…
Монашеским известен поведеньем!..

Лиза

Осмелюсь я, сударь…

Фамусов

Молчать!
Ужасный век! Не знаешь, что начать!
Все умудрились не по летам.
А пуще дочери, да сами добряки,
Дались нам эти языки!
Берём же побродяг, и в дом, и по билетам,
Чтоб наших дочерей всему учить, всему —
И танцам! и пенью! и нежностям! и вздохам!
Как будто в жёны их готовим скоморохам.
Ты, посетитель, что? ты здесь, сударь, к чему?
Безродного пригрел и ввёл в моё семейство,
Дал чин асессора и взял в секретари;
В Москву переведен через моё содейство;
И будь не я, коптел бы ты в Твери.

София

Я гнева вашего никак не растолкую.
Он в доме здесь живёт, великая напасть!
Шёл в комнату, попал в другую.

Фамусов

Попал или хотел попасть?
Да вместе вы зачем? Нельзя, чтобы случайно.

София

Вот в чём однако случай весь:
Как давиче вы с Лизой были здесь,
Перепугал меня ваш голос чрезвычайно,
И бросилась сюда я со всех ног…

Фамусов

Пожалуй, на меня всю суматоху сложит.
Не в пору голос мой наделал им тревог!

София

По смутном сне безделица тревожит.
Сказать вам сон: поймёте вы тогда.

Фамусов

Что за история?

София

Вам рассказать?

Фамусов

Ну да.
(Садится.)

София

Позвольте… видите ль… сначала
Цветистый луг; и я искала
Траву
Какую-то, не вспомню наяву.
Вдруг милый человек, один из тех, кого мы
Увидим – будто век знакомы,
Явился тут со мной; и вкрадчив, и умён,
Но робок… Знаете, кто в бедности рождён…

Фамусов

Ах! матушка, не довершай удара!
Кто беден, тот тебе не пара.

София

Потом пропало всё: луга и небеса. –
Мы в тёмной комнате. Для довершенья чуда
Раскрылся пол – и вы оттуда
Бледны, как смерть, и дыбом волоса!
Тут с громом распахнули двери
Какие-то не люди и не звери
Нас врознь – и мучили сидевшего со мной.
Он будто мне дороже всех сокровищ,
Хочу к нему – вы тащите с собой:
Нас провожают стон, рёв, хохот, свист
чудовищ!
Он вслед кричит!..
Проснулась. – Кто-то говорит, –
Ваш голос был, что, думаю, так рано?
Бегу сюда – и вас обоих нахожу.

Фамусов

Да, дурен сон; как погляжу.
Тут всё есть, коли нет обмана:
И черти, и любовь, и страхи, и цветы.
Ну, сударь мой, а ты?

Молчалин

Я слышал голос ваш.

Фамусов

Забавно.
Дался им голос мой, и как себе исправно
Всем слышится, и всех сзывает до зари!
На голос мой спешил, зачем же? – говори.

Молчалин

С бумагами-с.

Фамусов

Да! их недоставало.
Помилуйте, что это вдруг припало
Усердье к письменным делам!
(Встаёт.)
Ну, Сонюшка, тебе покой я дам:
Бывают странны сны, а наяву страннее;
Искала ты себе травы,
На друга набрела скорее;
Повыкинь вздор из головы;
Где чудеса, там мало складу. –
Поди-ка, ляг, усни опять.
(Молчалину.)
Идём бумаги разбирать.

Молчалин

Я только нёс их для докладу,
Что в ход нельзя пустить без справок, без иных,
Противуречья есть, и многое не дельно.

Фамусов

Боюсь, сударь, я одного смертельно,
Чтоб множество не накоплялось их;
Дай волю вам, оно бы и засело;
А у меня, что дело, что не дело,
Обычай мой такой:
Подписано, так с плеч долой.

(Уходит с Молчалиным, в дверях пропускает его вперёд.)

Явление 5

София, Лиза.

Лиза

Ну вот у праздника! ну вот вам и потеха!

Однако нет, теперь уж не до смеха;
В глазах темно, и замерла душа;
Грех не беда, молва не хороша.

София

Что мне молва? Кто хочет, так и судит,
Да батюшка задуматься принудит:
Брюзглив, неугомонен, скор,
Таков всегда, а с этих пор…
Ты можешь посудить…

Лиза

Сужу-с не по рассказам;
Запрёт он вас; – добро ещё со мной;
А то, помилуй бог, как разом
Меня, Молчалина и всех с двора долой.

София

Подумаешь, как счастье своенравно!
Бывает хуже, с рук сойдёт;
Когда ж печальное ничто на ум нейдёт,
Забылись музыкой, и время шло так плавно;
Судьба нас будто берегла;
Ни беспокойства, ни сомненья…
А горе ждёт из-за угла.

Лиза

Вот то-то-с, моего вы глупого сужденья
Не жалуете никогда:
Ан вот беда.
На что вам лучшего пророка?
Твердила я: в любви не будет в этой прока
Ни во веки веков.
Как все московские, ваш батюшка таков:
Желал бы зятя он с звёздами да с чинами,
А при звездах не все богаты, между нами;
Ну, разумеется, к тому б

И деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он балы;
Вот, например, полковник Скалозуб:
И золотой мешок, и метит в генералы.

София

Куда как мил! и весело мне страх
Выслушивать о фрунте и рядах;
Он слова умного не выговорил сроду, –
Мне всё равно, что за него, что в воду.

Лиза

Да-с, так сказать, речист, а больно не хитёр;
Но будь военный, будь он статский,
Кто так чувствителен, и весел, и остёр,
Как Александр Андреич Чацкий!
Не для того, чтоб вас смутить;
Давно прошло, не воротить,
А помнится…

София

Что помнится? Он славно
Пересмеять умеет всех;
Болтает, шутит, мне забавно;
Делить со всяким можно смех.

Лиза

И только? будто бы? – Слезами обливался,
Я помню, бедный он, как с вами расставался.
«Что, сударь, плачете? живите-ка смеясь…»
А он в ответ: «Недаром, Лиза, плачу:
Кому известно, что найду я воротясь?
И сколько, может быть, утрачу!»
Бедняжка будто знал, что года через три…

София

Послушай, вольности ты лишней не бери.
Я очень ветрено, быть может, поступила,
И знаю, и винюсь; но где же изменила?
Кому? чтоб укорять неверностью могли.
Да, с Чацким, правда, мы воспитаны, росли;
Привычка вместе быть день каждый
неразлучно
Связала детскою нас дружбой; но потом
Он съехал, уж у нас ему казалось скучно,
И редко посещал наш дом;
Потом опять прикинулся влюблённым,
Взыскательным и огорчённым!!.
Остёр, умён, красноречив,
В друзьях особенно счастлив,
Вот об себе задумал он высоко…
Охота странствовать напала на него,
Ах! если любит кто кого,
Зачем ума искать и ездить так далёко?

Лиза

Где носится? в каких краях?
Лечился, говорят, на кислых он водах,
Не от болезни, чай, от скуки, – повольнее.

София

И, верно, счастлив там, где люди посмешнее.
Кого люблю я, не таков:
Молчалин за других себя забыть готов,
Враг дерзости, – всегда застенчиво, несмело,
Ночь целую с кем можно так провесть!
Сидим, а на дворе давно уж побелело,
Как думаешь? чем заняты?

Лиза

Бог весть,
Сударыня, моё ли это дело?

София

Возьмёт он руку, к сердцу жмёт,
Из глубины души вздохнёт,
Ни слова вольного, и так вся ночь проходит,
Рука с рукой, и глаз с меня не сводит. —
Смеёшься! можно ли! чем повод подала
Тебе я к хохоту такому?

Лиза

Мне-с?.. ваша тётушка на ум теперь пришла,
Как молодой француз сбежал у ней из дому,
Голубушка! хотела схоронить
Свою досаду, не сумела:
Забыла волосы чернить,
И через три дни поседела.
(Продолжает хохотать.)

София

(с огорчением)
Вот так же обо мне потом заговорят.

Лиза

Простите, право, как бог свят,
Хотела я, чтоб этот смех дурацкий
Вас несколько развеселить помог.

(Уходят.)

Явление 6

София, Лиза, Слуга, за ним *Чацкий.*

Слуга

К вам Александр Андреич Чацкий.
(Уходит.)

Явление 7

София, Лиза, Чацкий.

Чацкий

Чуть свет уж на ногах! и я у ваших ног.
(С жаром целует руку.)
Ну поцелуйте же, не ждали? говорите!
Что ж, ради? Нет? В лицо мне посмотрите.
Удивлены? и только? вот приём!
Как будто не прошло недели;
Как будто бы вчера вдвоём
Мы мочи нет друг другу надоели;
Ни на волос любви! куда как хороши!
И между тем, не вспомнюсь, без души,
Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Вёрст больше седьмисот пронёсся, – ветер, буря;
И растерялся весь, и падал сколько раз –
И вот за подвиги награда!

София

Ах! Чацкий, я вам очень рада.

Чацкий

Вы рады? в добрый час.
Однако искренно кто ж радуется этак?
Мне кажется, так напоследок
Людей и лошадей знобя,
Я только тешил сам себя.

Лиза

Вот, сударь, если бы вы были за дверями,
Ей-богу, нет пяти минут,
Как поминали вас мы тут.
Сударыня, скажите сами. –

София

Всегда, не только что теперь. –
Не можете мне сделать вы упрёка.
Кто промелькнёт, отворит дверь,
Проездом, случаем, из чужа, из далёка –
С вопросом я, хоть будь моряк:
Не повстречал ли где в почтовой вас карете?

Чацкий

Положимте, что так.
Блажен, кто верует, тепло ему на свете! –
Ах! боже мой! уж ли я здесь опять,
В Москве! у вас! да как же вас узнать!
Где время то? где возраст тот
невинный, Когда, бывало, в вечер длинный
Мы с вами явимся, исчезнем тут и там,
Играем и шумим по стульям и столам.
А тут ваш батюшка с мадамой, за пикетом;
Мы в тёмном уголке, и кажется, что в этом!
Вы помните? вздрогнем, что скрипнет столик,
дверь…

София

Ребячество!

Чацкий

Да-с, а теперь,
В семнадцать лет вы расцвели прелестно,
Неподражаемо, и это вам известно,
И потому скромны, не смотрите на свет.
Не влюблены ли вы? прошу мне дать ответ,
Без думы, полноте смущаться.

София

Да хоть кого смутят
Вопросы быстрые и любопытный взгляд…

Чацкий

Помилуйте, не вам, чему же удивляться?
Что нового покажет мне Москва?
Вчера был бал, а завтра будет два.
Тот сватался – успел, а тот дал промах.
Всё тот же толк, и те ж стихи в альбомах.

София

Гоненье на Москву. Что значит видеть свет!
Где ж лучше?

Чацкий

Где нас нет.
Ну что ваш батюшка? всё Английского клоба
Старинный, верный член до гроба?
Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век?
А этот, как его, он турок или грек?
Тот черномазенький, на ножках журавлиных,
Не знаю как его зовут,
Куда ни сунься: тут, как тут,
В столовых и в гостиных.
А трое из бульварных лиц,
Которые с полвека молодятся?
Родных мильон у них, и с помощью сестриц
Со всей Европой породнятся.
А наше солнышко? наш клад?
На лбу написано: Театр и Маскерад;
Дом зеленью раскрашен в виде рощи,
Сам толст, его артисты тощи.
На бале, помните, открыли мы вдвоём
За ширмами, в одной из комнат посекретней,
Был спрятан человек и щёлкал соловьём,
Певец зимой погоды летней.
А тот чахоточный, родня вам, книгам враг,
В учёный комитет который поселился
И с криком требовал присяг,
Чтоб грамоте никто не знал и не учился?

Опять увидеть их мне суждено судьбой!
Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен?
Когда ж пространствуешь, воротишься домой,
И дым Отечества нам сладок и приятен!

София

Вот вас бы с тётушкою свесть,
Чтоб всех знакомых перечесть.

Чацкий

А тётушка? всё девушкой, Минервой?
Всё фрейлиной Екатерины Первой?
Воспитанниц и мосек полон дом?
Ах! к воспитанью перейдём.
Что нынче, так же, как издревле,
Хлопочут набирать учителей полки,
Числом поболее, ценою подешевле?
Не то чтобы в науке далеки;
В России, под великим штрафом,
Нам каждого признать велят
Историком и географом!
Наш ментор, помните колпак его, халат,
Перст указательный, все признаки ученья
Как наши робкие тревожили умы,
Как с ранних пор привыкли верить мы,
Что нам без немцев нет спасенья! –
А Гильоме, француз, подбитый ветерком?
Он не женат ещё?

София

На ком?

Чацкий

Хоть на какой-нибудь княгине,
Пульхерии Андревне, например?

София

Танцмейстер! можно ли!

Чацкий

Что ж? он и кавалер.
От нас потребуют с именьем быть и в чине,
А Гильоме!.. — Здесь нынче тон каков
На съездах, на больших, по праздникам
приходским?
Господствует ещё смешенье языков:
Французского с нижегородским?

София

Смесь языков?

Чацкий

Да, двух, без этого нельзя ж.

Лиза

Но мудрёно из них один скроить, как ваш.

Чацкий

По крайней мере, не надутый.
Вот новости! — я пользуюсь минутой,
Свиданьем с вами оживлён,
И говорлив; а разве нет времён,
Что я Молчалина глупее? Где он, кстати?
Ещё ли не сломил безмолвия печати?
Бывало, песенок где новеньких тетрадь
Увидит, пристаёт: пожалуйте списать.
А впрочем, он дойдёт до степеней известных,
Ведь нынче любят *бессловесных*.

София

(в сторону)
Не человек, змея!
(Громко и принуждённо.)

Хочу у вас спросить:
Случалось ли, чтоб вы, смеясь? или в печали?
Ошибкою? добро о ком-нибудь сказали?
Хоть не теперь, а в детстве, может быть.

Чацкий

Когда всё мягко так? и нежно, и незрело?
На что же так давно? вот доброе вам дело:
Звонками только что гремя
И день и ночь по снеговой пустыне,
Спешу к вам голову сломя.
И как вас нахожу? в каком-то строгом чине!
Вот полчаса холодности терплю!
Лицо святейшей богомолки!..
И всё-таки я вас без памяти люблю. —

(Минутное молчание.)

Послушайте, уж ли слова мои все колки?
И клонятся к чьему-нибудь вреду?
Но если так: ум с сердцем не в ладу.
Я в чудаках иному чуду
Раз посмеюсь, потом забуду:
Велите ж мне в огонь: пойду как на обед.

София

Да, хорошо – сгорите, если ж нет?
<...>

ДЕЙСТВИЕ II

Явление 1

Фамусов, Слуга.

Фамусов

Петрушка, вечно ты с обновкой,
С разодранным локтем. Достань-ка
календарь;

Читай не так, как пономарь,
А с чувством, с толком, с расстановкой.
Постой же. – На листе черкни на записном,
Противу будущей недели:
К Прасковье Фёдоровне в дом
Во вторник зван я на форели.
Куда как чуден создан свет!
Пофилософствуй, ум вскружится;
То бережёшься, то обед:
Ешь три часа, а в три дни не сварится!
Отметь-ка, в тот же день… Нет, нет.
В четверг я зван на погребенье.
Ох, род людской! пришло в забвенье,
Что всякий сам туда же должен лезть,
В тот ларчик, где ни стать, ни сесть.
Но память по себе намерен кто оставить
Житьём похвальным, вот пример:
Покойник был почтенный камергер,
С ключом, и сыну ключ умел доставить;
Богат, и на богатой был женат;
Переженил детей, внучат;
Скончался; все о нём прискорбно поминают.
Кузьма Петрович! Мир ему! –
Что за тузы в Москве живут и – умирают! –
Пиши: в четверг, одно уж к одному,
А может, в пятницу, а может, и в субботу,
Я должен у вдовы, у докторши, крестить.
Она не родила, но по расчёту
По моему: должна родить…

Явление 2

Фамусов, Слуга, Чацкий.

Фамусов

А! Александр Андреич, просим,
Садитесь-ка.

Чацкий

Вы заняты?

Фамусов

(слуге)
Поди.
(Слуга уходит.)
Да, разные дела на память в книгу вносим,
Забудется, того гляди. –

Чацкий

Вы что-то не веселы стали;
Скажите, отчего? Приезд не в пору мой?
Уж Софье Павловне какой
Не приключилось ли печали?
У вас в лице, в движеньях суета.

Фамусов

Ах! батюшка, нашёл загадку,
Не весел я!.. В мои лета
Не можно же пускаться мне вприсядку!

Чацкий

Никто не приглашает вас;
Я только, что спросил два слова
Об Софье Павловне: быть может, нездорова?

Фамусов

Тьфу, господи прости! Пять тысяч раз
Твердит одно и то же!
То Софьи Павловны на свете нет пригоже,
То Софья Павловна больна.
Скажи, тебе понравилась она?
Обрыскал свет; не хочешь ли жениться?

Чацкий

А вам на что?

Фамусов

Меня не худо бы спроситься,
Ведь я ей несколько сродни;
По крайней мере, искони
Отцом недаром называли.

Чацкий

Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали?

Фамусов

Сказал бы я, во-первых: не блажи,
Именьем, брат, не управляй оплошно,
А, главное, поди-тка послужи.

Чацкий

Служить бы рад, прислуживаться тошно.

Фамусов

Вот то-то, все вы гордецы!
Спросили бы, как делали отцы?
Учились бы, на старших глядя:
Мы, например, или покойник дядя,
Максим Петрович: он не то на серебре,
На золоте едал; сто человек к услугам;
Весь в орденах; езжал-то вечно цугом:
Век при дворе, да при каком дворе!
Тогда не то, что ныне,
При государыне служил Екатерине.
А в те поры все важны! в сорок пуд...
Раскланяйся – тупеем не кивнут.
Вельможа в случае — тем паче;
Не как другой, и пил и ел иначе.
А дядя! что твой князь? что граф?
Сурьезный взгляд, надменный нрав.
Когда же надо подслужиться,
И он сгибался вперегиб:

На куртаге[1] ему случилось обступиться;
Упал, да так, что чуть затылка не пришиб;
Старик заохал, голос хрипкой;
Был высочайшею пожалован улыбкой;
Изволили смеяться; как же он?
Привстал, оправился, хотел отдать поклон,
Упал вдругорядь – уж нарочно,
А хохот пуще, он и в третий так же точно.
А? как по-вашему? по-нашему – смышлён.
Упал он больно, встал здорово.
Зато, бывало, в вист кто чаще приглашён?
Кто слышит при дворе приветливое слово?
Максим Петрович! Кто пред всеми знал почёт?
Максим Петрович! Шутка!
В чины выводит кто и пенсии даёт?
Максим Петрович. Да! Вы, нынешние, – нутка!

Чацкий

И точно, начал свет глупеть,
Сказать вы можете вздохнувши;
Как посравнить, да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом;
Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;
Как не в войне, а в мире брали лбом;
Стучали об пол, не жалея!
Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли,
А тем, кто выше, лесть, как кружево плели.
Прямой был век покорности и страха,
Всё под личиною усердия к царю.
Я не об дядюшке об вашем говорю;
Его не возмутим мы праха:
Но между тем кого охота заберёт,
Хоть в раболепстве самом пылком,

[1] *Куртаг* — приёмный день во дворце.

Теперь, чтобы смешить народ,
Отважно жертвовать затылком?
А сверстничек, а старичок
Иной, глядя на тот скачок,
И разрушаясь в ветхой коже,
Чай, приговаривал: – Ах! если бы мне тоже!
Хоть есть охотники поподличать везде,
Да нынче смех страшит и держит стыд в узде;
Недаром жалуют их скупо государи. —

Фамусов

Ах! боже мой! он карбонари!

Чацкий

Нет, нынче свет уж не таков.

Фамусов

Опасный человек!

Чацкий

Вольнее всякий дышит
И не торопится вписаться в полк шутов.

Фамусов

Что говорит! и говорит, как пишет!

Чацкий

У покровителей зевать на потолок,
Явиться помолчать, пошаркать, пообедать,
Подставить стул, поднять платок.

Фамусов

Он вольность хочет проповедать!

Чацкий

Кто путешествует, в деревне кто живёт…

Фамусов
Да он властей не признаёт!

Чацкий
Кто служит делу, а не лицам…

Фамусов
Строжайше б запретил я этим господам
На выстрел подъезжать к столицам.

Чацкий
Я наконец вам отдых дам…

Фамусов
Терпенья, мочи нет, досадно.

Чацкий
Ваш век бранил я беспощадно,
Предоставляю вам во власть:
Откиньте часть,
Хоть нашим временам впридачу;
Уж так и быть, я не поплачу.

Фамусов
И знать вас не хочу, разврата не терплю.

Чацкий
Я досказал.

Фамусов
Добро, заткнул я уши.

Чацкий
На что ж? я их не оскорблю.

Фамусов
(скороговоркой)
Вот рыскают по свету, бьют баклуши,
Воротятся, от них порядка жди.

Чацкий

Я перестал…

Фамусов

Пожалуй, пощади.

Чацкий

Длить споры не моё желанье.

Фамусов

Хоть душу отпусти на покаянье!

Явление 3

Слуга

(входит)
Полковник Скалозуб.

Фамусов

(ничего не видит и не слышит)
Тебя уж упекут.
Под суд, как пить дадут.

Чацкий

Пожаловал к вам кто-то на дом.

Фамусов

Не слушаю, под суд!

Чацкий

К вам человек с докладом.

Фамусов

Не слушаю, под суд! под суд!

Чацкий

Да обернитесь, вас зовут.

Фамусов

(оборачивается)

А? бунт? ну так и жду содома.

Слуга

Полковник Скалозуб. Прикажете принять?

Фамусов

(встаёт)

Ослы! сто раз вам повторять?
Принять его, позвать, просить, сказать, что дома,
Что очень рад. Пошёл же, торопись.
(Слуга уходит.)
Пожало-ста, сударь, при нём остерегись:
Известный человек, солидный,
И знаков тьму отличья нахватал;
Не по летам и чин завидный,
Не нынче завтра генерал.
Пожало-ста, при нём веди себя скромненько.
Эх! Александр Андреич, дурно, брат!
Ко мне он жалует частенько;
Я всякому, ты знаешь, рад;
В Москве прибавят вечно втрое:
Вот будто женится на Сонюшке. Пустое!
Он, может быть, и рад бы был душой,
Да надобности сам не вижу я большой
Дочь выдавать ни завтра, ни сегодня;
Ведь Софья молода. А впрочем, власть господня.
Пожалоста, при нём не спорь ты вкривь и вкось,
И завиральные идеи эти брось.

Однако нет его! какую бы причину…
А! знать, ко мне пошёл в другую половину.

(Поспешно уходит.)
<...>

Явление 5

Чацкий, Фамусов, Скалозуб.

Фамусов

Сергей Сергеич, к нам сюда-с.
Прошу покорно, здесь теплее;
Прозябли вы, согреем вас;
Отдушничек отвернем поскорее.

Скалозуб

(густым басом)
Зачем же лазить, например,
Самим!.. Мне совестно, как честный офицер.

Фамусов

Неужто для друзей не делать мне ни шагу,
Сергей Сергеич дорогой!
Кладите шляпу, сденьте шпагу;
Вот вам софа, раскиньтесь на покой.

Скалозуб

Куда прикажете, лишь только бы усесться.

(Садятся все трое. Чацкий поодаль.)

Фамусов

Ах! батюшка, сказать, чтоб не забыть:
Позвольте нам своими счесться,
Хоть дальними, наследства не делить;
Не знали вы, а я подавно, –
Спасибо, научил двоюродный ваш брат,–
Как вам доводится Настасья Николавна?

Скалозуб

Не знаю-с, виноват;
Мы с нею вместе не служили.

Фамусов

Сергей Сергеич, это вы ли!
Нет! я перед роднёй, где встретится, ползком;
Сыщу её на дне морском.
При мне служащие чужие очень редки;
Всё больше сестрины, свояченицы детки;
Один Молчалин мне не свой,
И то затем, что деловой.
Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,
Ну как не порадеть родному человечку!..
Однако братец ваш мне друг и говорил,
Что вами выгод тьму по службе получил.

Скалозуб

В тринадцатом году мы отличались с братом
В тридцатом егерском, а после в сорок пятом.

Фамусов

Да, счастье, у кого есть эдакий сынок!
Имеет, кажется, в петличке орденок?

Скалозуб

За третье августа; засели мы в траншею:
Ему дан с бантом, мне на шею.

Фамусов

Любезный человек, и посмотреть – так хват,
Прекрасный человек двоюродный ваш брат.

Скалозуб

Но крепко набрался каких-то новых правил.
Чин следовал ему: он службу вдруг оставил,

В деревне книги стал читать.

Фамусов

Вот молодость!.. – читать!.. а после хвать!..
Вы повели себя исправно:
Давно полковники, а служите недавно.

Скалозуб

Довольно счастлив я в товарищах моих,
Вакансии как раз открыты:
То старших выключат иных,
Другие, смотришь, перебиты.

Фамусов

Да, чем кого господь поищет, вознесёт!

Скалозуб

Бывает, моего счастливее везёт.
У нас в пятнадцатой дивизии, не дале.
Об нашем хоть сказать бригадном генерале.

Фамусов

Помилуйте, а вам чего недостаёт?

Скалозуб

Не жалуюсь, не обходили,
Однако за полком два года поводили.

Фамусов

В погонь ли за полком?
Зато, конечно, в чём другом
За вами далеко тянуться.

Скалозуб

Нет-с, старее меня по корпусу найдутся,
Я с восемьсот девятого служу;
Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы;

Об них как истинный философ я сужу:
Мне только бы досталось в генералы.

Фамусов

И славно судите, дай бог здоровье вам
И генеральский чин; а там
Зачем откладывать бы дальше,
Речь завести об генеральше?

Скалозуб

Жениться? я ничуть не прочь.

Фамусов

Что ж? у кого сестра, племянница есть, дочь;
В Москве ведь нет невестам перевода;
Чего? плодятся год от года;
А, батюшка, признайтесь, что едва
Где сыщется столица, как Москва.

Скалозуб

Дистанции огромного размера.

Фамусов

Вкус, батюшка, отменная манера;
На всё свои законы есть:
Вот, например, у нас уж исстари ведётся,
Что по отцу и сыну честь;
Будь плохенький, да если наберётся
Душ тысячки две родовых, –
Тот и жених.
Другой хоть прытче будь, надутый всяким чванством,
Пускай себе разумником слыви,
А в семью не включат. На нас не подиви.
Ведь только здесь ещё и дорожат дворянством.
Да это ли одно? возьмите вы хлеб-соль:

Кто хочет к нам пожаловать – изволь;
Дверь отперта для званых и незваных,
Особенно из иностранных;
Хоть честный человек, хоть нет,
Для нас равнехонько, про всех готов обед.
Возьмите вы от головы до пяток,
На всех московских есть особый отпечаток.
Извольте посмотреть на нашу молодёжь;
На юношей – сынков и внучат;
Журим мы их, а если разберёшь,
В пятнадцать лет учителей научат!
А наши старички? – Как их возьмёт задор,
Засудят об делах, что слово – приговор, –
Ведь столбовые всё, в ус никого не дуют;
И об правительстве иной раз так толкуют,
Что, если б кто подслушал их… беда!
Не то, чтоб новизны вводили, – никогда,
Спаси нас боже! Нет. А придерутся
К тому, к сему, а чаще ни к чему,
Поспорят, пошумят, и… разойдутся.
Прямые канцлеры в отставке – по уму!
Я вам скажу, знать время не приспело,
Но что без них не обойдётся дело. –
А дамы? – сунься кто, попробуй овладей;
Судьи всему, везде, над ними нет судей;
За картами когда восстанут общим бунтом,
Дай бог терпение, – ведь сам я был женат.
Скомандовать велите перед фрунтом!
Присутствовать пошлите их в Сенат!
Ирина Власьевна! Лукерья Алексевна!
Татьяна Юрьевна! Пульхерия Андревна!
А дочек кто видал, – всяк голову повесь…
Его величество король был прусский здесь;
Дивился не путём московским он девицам,
Их благонравью, а не лицам;
И точно, можно ли воспитаннее быть!
Умеют же себя принарядить

Тафтицей, бархатцем и дымкой,
Словечка в простоте не скажут, всё с ужимкой;
Французские романсы вам поют
И верхние выводят нотки,
К военным людям так и льнут,
А потому, что патриотки.
Решительно скажу: едва
Другая сыщется столица, как Москва.
<...>

Чацкий

А судьи кто? – За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют все песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где? укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве,
И где не воскресят клиенты-иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты.
Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы?
Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен,
Для замыслов каких-то непонятных,
Дитей возили на поклон?
Тот Нестор негодяев знатных,
Толпою окружённый слуг;
Усердствуя, они в часы вина и драки
И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг

На них он выменял борзые три собаки!!!
Или вон тот ещё, который для затей
На крепостной балет согнал на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей?!
Сам погружён умом в Зефирах и в Амурах,
Заставил всю Москву дивиться их красе!
Но должников не согласил к отсрочке:
Амуры и Зефиры все
Распроданы поодиночке!!!
Вот те, которые дожили до седин!
Вот уважать кого должны мы на безлюдьи!
Вот наши строгие ценители и судьи!
Теперь пускай из нас один,
Из молодых людей, найдётся – враг исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,
В науки он вперит ум, алчущий познаний;
Или в душе его сам бог возбудит жар
К искусствам творческим, высоким и
прекрасным, –
Они тотчас: разбой! пожар!
И прослывёт у них мечтателем! опасным!! –
Мундир! один мундир! он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету;
И нам за ними в путь счастливый!
И в жёнах, дочерях – к мундиру та же
страсть!
Я сам к нему давно ль от нежности отрёкся?!
Теперь уж в это мне ребячество не впасть;
Но кто б тогда за всеми не повлекся?
Когда из гвардии, иные от двора
Сюда на время приезжали, –
Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали!
<...>

Явление 11

София, Лиза, Молчалин.

София

Молчалин! как во мне рассудок цел остался!
Ведь знаете, как жизнь мне ваша дорога!
Зачем же ей играть, и так неосторожно?
Скажите, что у вас с рукой?
Не дать ли капель вам? не нужен ли покой?
Пошлемте к доктору, пренебрегать не должно.

Молчалин

Платком перевязал, не больно мне с тех пор.

Лиза

Ударюсь об заклад, что вздор;
И если б не к лицу, не нужно перевязки;
А то не вздор, что вам не избежать огласки:
На смех, того гляди, подымет Чацкий вас;
И Скалозуб, как свой хохол закрутит,
Расскажет обморок, прибавит сто прикрас;
Шутить и он горазд, ведь нынче кто не шутит!

София

А кем из них я дорожу?
Хочу – люблю, хочу – скажу.
Молчалин! будто я себя не принуждала?
Вошли вы, слова не сказала,
При них не смела я дохнуть,
У вас спросить, на вас взглянуть. –

Молчалин

Нет, Софья Павловна, вы слишком
откровенны.

София

Откуда скрытность почерпнуть!
Готова я была в окошко к вам прыгнуть.
Да что мне до кого? до них? до всей
вселенны?
Смешно? – пусть шутят их; досадно? – пусть
бранят.

Молчалин

Не повредила бы нам откровенность эта.

София

Неужто на дуэль вас вызвать захотят?

Молчалин

Ах! злые языки страшнее пистолета.

Лиза

Сидят они у батюшки теперь,
Вот кабы вы порхнули в дверь
С лицом весёлым, беззаботно:
Когда нам скажут, что хотим –
Куда как верится охотно!
И Александр Андреич, – с ним
О прежних днях, о тех проказах
Поразвернитесь-ка в рассказах,
Улыбочка и пара слов,
И кто влюблён – на всё готов.

Молчалин

Я вам советовать не смею.
(Целует ей руку.)

София

Хотите вы?.. Пойду любезничать сквозь слёз;
Боюсь, что выдержать притворства не сумею.
Зачем сюда бог Чацкого принёс!
(Уходит.)

Явление 12

Молчалин, Лиза.

Молчалин

Весёлое созданье ты! живое!

Лиза

Прошу пустить, и без меня вас двое.

Молчалин

Какое личико твоё!
Как я тебя люблю!

Лиза

А барышню?

Молчалин

Её
По должности, тебя…
(Хочет её обнять.)

Лиза

От скуки.
Прошу подальше руки!

Молчалин

Есть у меня вещицы три:
Есть туалет, прехитрая работа –
Снаружи зеркальцо, и зеркальцо внутри,
Кругом всё прорезь, позолота;
Подушечка, из бисера узор;
И перламутровый прибор –
Игольничик и ножинки, как милы!
Жемчужинки, растёртые в белилы!
Помада есть для губ, и для других причин,
С духами скляночки: резеда и жасмин. —

Лиза

Вы знаете, что я не льщусь на интересы;
Скажите лучше, почему
Вы с барышней скромны, а с горнишной повесы?

Молчалин

Сегодня болен я, обвязки не сниму;
Приди в обед, побудь со мною;
Я правду всю тебе открою.

(Уходит в боковую дверь.)

<...>

ДЕЙСТВИЕ III

Явление 1

Чацкий, потом *София.*

Чацкий

Дождусь её и вынужу признанье:
Кто наконец ей мил? Молчалин! Скалозуб!
Молчалин прежде был так глуп!..
Жалчайшее созданье!
Уж разве поумнел?.. А тот –
Хрипун, удавленник, фагот,[2]
Созвездие манёвров и мазурки!
Судьба любви – играть ей в жмурки,
А мне…

(Входит София.)

Вы здесь? я очень рад,
Я этого желал.

---

[2] *Хрипун, удавленник, фагот...* — Хрипунами во времена Грибоедова называли армейских офицеров, из щегольства говоривших хриплым басом, отсюда сравнение с фаготом.

София

(про себя)
И очень невпопад.

Чацкий

Конечно, не меня искали?

София

Я не искала вас.

Чацкий

Дознаться мне нельзя ли,
Хоть и некстати, нужды нет:
Кого вы любите?

София

Ах! боже мой! весь свет.

Чацкий

Кто более вам мил?

София

Есть многие, родные.

Чацкий

Всё более меня?

София

Иные.

Чацкий

И я чего хочу, когда всё решено?
Мне в петлю лезть, а ей смешно.

София

Хотите ли знать истины два слова?
Малейшая в ком странность чуть видна,

Весёлость ваша не скромна,
У вас тотчас уж острота готова,
А сами вы…

Чацкий

Я сам? не правда ли, смешон?

София

Да! грозный взгляд, и резкий тон,
И этих в вас особенностей бездна;
А над собой гроза куда не бесполезна.

Чацкий

Я странен, а не странен кто ж?
Тот, кто на всех глупцов похож;
Молчалин, например…

София

Примеры мне не новы;
Заметно, что вы жёлчь на всех излить готовы;
А я, чтоб не мешать, отсюда уклонюсь.

Чацкий

(держит её)
Постойте же.

(В сторону.)
Раз в жизни притворюсь.
(Громко.)
Оставимте мы эти пренья,
Перед Молчалиным не прав я, виноват;
Быть может, он не то, что три года назад:
Есть на земле такие превращенья
Правлений, климатов, и нравов, и умов;
Есть люди важные, слыли за дураков:
Иной по армии, иной плохим поэтом,
Иной… Боюсь назвать, но признаны всем светом,

Особенно в последние года,
Что стали умны хоть куда.
Пускай в Молчалине ум бойкий, гений
смелый,
Но есть ли в нём та страсть? то чувство?
пылкость та?
Чтоб, кроме вас, ему мир целый
Казался прах и суета?
Чтоб сердца каждое биенье
Любовью ускорялось к вам?
Чтоб мыслям были всем, и всем его делам
Душою – вы, вам угожденье?..
Сам это чувствую, сказать я не могу,
Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит,
Не пожелал бы я и личному врагу,
А он?.. смолчит и голову повесит.
Конечно, смирён, все такие не резвы;
Бог знает, в нём какая тайна скрыта;
Бог знает, за него что выдумали вы,
Чем голова его ввек не была набита.
Быть может, качеств ваших тьму,
Любуясь им, вы придали ему;
Не грешен он ни в чём, вы во сто раз грешнее.
Нет! нет! пускай умён, час от часу умнее,
Но вас он стоит ли? вот вам один вопрос.
Чтоб равнодушнее мне понести утрату,
Как человеку вы, который с вами взрос,
Как другу вашему, как брату,
Мне дайте убедиться в том;
Потом
От сумасшествия могу я остеречься;
Пущусь подалее – простыть, охолодеть,
Не думать о любви, но буду я уметь
Теряться по свету, забыться и развлечься.

София

(про себя)
Вот нехотя с ума свела!

(Вслух.)
Что притворяться?
Молчалин давиче мог без руки остаться,
Я живо в нём участье приняла;
А вы, случась на эту пору,
Не позаботились расчесть,
Что можно доброй быть ко всем и без
разбору;
Но, может, истина в догадках ваших есть,
И горячо его беру я под защиту;
Зачем же быть, скажу вам напрямик,
Так невоздержну на язык?
В презреньи к людям так нескрыту?
Что и смирнейшему пощады нет!.. чего?
Случись кому назвать его:
Град колкостей и шуток ваших грянет.
Шутить! и век шутить! как вас на это станет!

Чацкий

Ах! боже мой! неужли я из тех,
Которым цель всей жизни – смех?
Мне весело, когда смешных встречаю,
А чаще с ними я скучаю.

София

Напрасно: это всё относится к другим,
Молчалин вам наскучил бы едва ли,
Когда б сошлись короче с ним.

Чацкий

(с жаром)

Зачем же вы его так коротко узнали?

София
Я не старалась, бог нас свёл.
Смотрите, дружбу всех он в доме приобрёл:
При батюшке три года служит,
Тот часто без толку сердит,
А он безмолвием его обезоружит,
От доброты души простит.
И, между прочим,
Весёлостей искать бы мог;
Ничуть: от старичков не ступит за порог;
Мы резвимся, хохочем,
Он с ними целый день засядет, рад не рад,
Играет…

Чацкий Целый день играет!
Молчит, когда его бранят!

(В сторону.)
Она его не уважает.

София
Конечно, нет в нём этого ума,
Что гений для иных, а для иных чума,
Который скор, блестящ и скоро опротивит,
Который свет ругает наповал,
Чтоб свет об нём хоть что-нибудь сказал;
Да эдакий ли ум семейство осчастливит?

Чацкий
Сатира и мораль – смысл этого всего?

(В сторону.)
Она не ставит в грош его.

София
Чудеснейшего свойства
Он наконец: уступчив, скромен, тих,

В лице ни тени беспокойства
И на душе проступков никаких,
Чужих и вкривь и вкось не рубит, –
Вот я за что его люблю.

Чацкий

(в сторону)
Шалит, она его не любит.

(Вслух.)
Докончить я вам пособлю
Молчалина изображенье.
Но Скалозуб? вот загляденье:
За армию стоит горой,
И прямизною стана,
Лицом и голосом герой…

София

Не моего романа.

Чацкий

Не вашего? Кто разгадает вас?

Явление 3

Чацкий, потом *Молчалин.*

Чацкий

Ах! Софья! Неужли Молчалин избран ей!
А чем не муж? Ума в нём только мало;
Но чтоб иметь детей,
Кому ума недоставало?
Услужлив, скромненький, в лице румянец
есть.

(Входит Молчалин.)
Вон он на цыпочках, и не богат словами;

Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть!

(Обращается к нему.)
Нам, Алексей Степаныч, с вами
Не удалось сказать двух слов.
Ну, образ жизни ваш каков?
Без горя нынче? без печали?

Молчалин

По-прежнему-с.

Чацкий

А прежде как живали?

Молчалин

День за день, нынче, как вчера.

Чацкий

К перу от карт? и к картам от пера?
И положённый час приливам и отливам?

Молчалин

По мере я трудов и сил,
С тех пор, как числюсь по Архивам,
Три награжденья получил.

Чацкий

Взманили почести и знатность?

Молчалин

Нет-с, свой талант у всех…

Чацкий

У вас?

Молчалин

Два-с:
Умеренность и аккуратность.

Чацкий

Чудеснейшие два! и стоят наших всех.

Молчалин

Вам не дались чины, по службе неуспех?

Чацкий

Чины людьми даются,
А люди могут обмануться.

Молчалин

Как удивлялись мы!

Чацкий

Какое ж диво тут?

Молчалин

Жалели вас.

Чацкий

Напрасный труд.

Молчалин

Татьяна Юрьевна рассказывала что-то,
Из Петербурга воротясь,
С министрами про вашу связь,
Потом разрыв…

Чацкий

Ей почему забота?

Молчалин

Татьяне Юрьевне!

Чацкий

Я с нею не знаком.

Молчалин
С Татьяной Юрьевной!!

Чацкий
С ней век мы не встречались;
Слыхал, что вздорная.

Молчалин
Да это, полно, та ли-с?
Татьяна Юрьевна!!! Известная, – притом
Чиновные и должностные –
Все ей друзья и все родные;
К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам.

Чацкий
На что же?

Молчалин
Так: частенько там
Мы покровительство находим, где не метим.

Чацкий
Я езжу к женщинам, да только не за этим.

Молчалин
Как обходительна! добра! мила! проста!
Балы даёт нельзя богаче.
От рождества и до поста,
И летом праздники на даче.
Ну, право, что бы вам в Москве у нас
служить?
И награжденья брать и весело пожить?

Чацкий
Когда в делах — я от веселий прячусь,
Когда дурачиться — дурачусь;

А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.

Молчалин

Простите, впрочем тут не вижу преступленья;
Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?

Чацкий

Ну что ж?

Молчалин

При трёх министрах был начальник
отделенья,
Переведён сюда.

Чацкий

Хорош!
Пустейший человек, из самых бестолковых.

Молчалин

Как можно! слог его здесь ставят в образец,
Читали вы?

Чацкий

Я глупостей не чтец,
А пуще образцовых.

Молчалин

Нет, мне так довелось с приятностью
прочесть,
Не сочинитель я…

Чацкий

И по всему заметно.

Молчалин

Не смею моего сужденья произнесть.

Чацкий

Зачем же так секретно?

Молчалин

В мои лета не должно сметь
Своё суждение иметь.

Чацкий

Помилуйте, мы с вами не ребяты,
Зачем же мнения чужие только святы?

Молчалин

Ведь надобно ж зависеть от других.

Чацкий

Зачем же надобно?

Молчалин

В чинах мы небольших.

Чацкий

(почти громко)
С такими чувствами! с такой душою
Любим!.. Обманщица смеялась надо мною!
<...>

Явление 14

София, потом *Г. N.*

София

(про себя)
Ах! этот человек всегда
Причиной мне ужасного расстройства!
Унизить рад, кольнуть; завистлив, горд и зол!

Г. N.

(подходит)

Вы в размышленьи.

София

Об Чацком.

Г. N.

Как его нашли, по возвращеньи?

София

Он не в своём уме.

Г. N.

Ужли с ума сошёл?

София

(помолчавши)
Не то чтобы совсем…

Г. N.

Однако есть приметы?

София

(смотрит на него пристально)
Мне кажется.

Г. N.

Как можно, в эти леты!

София

Как быть!

(В сторону.)
Готов он верить!
А, Чацкий, любите вы всех в шуты рядить,
Угодно ль на себе примерить?
(Уходит.)

Явление 15

Г. N., потом *Г. D.*

Г. N.

С ума сошёл!.. Ей кажется, вот на!
Недаром? Стало быть… с чего б взяла она!
Ты слышал?

Г. D.

Что?

Г. N.

Об Чацком?

Г. D.

Что такое?

Г. N.

С ума сошёл!

Г. D.

Пустое.

Г. N.

Не я сказал, другие говорят.

Г. D.

А ты расславить это рад?

Г. N.

Пойду, осведомлюсь; чай, кто-нибудь да знает.

(Уходит.)

Явление 16

Г. D., потом *Загорецкий.*

Г. D.

Верь болтуну!
Услышит вздор, и тотчас повторяет!
Ты знаешь ли об Чацком?

Загорецкий

Ну?

Г. D.

С ума сошёл!

Загорецкий

А, знаю, помню, слышал.
Как мне не знать? Примерный случай вышел;
Его в безумные упрятал дядя плут…
Схватили в жёлтый дом, и на цепь посадили.

Г. D.

Помилуй, он сейчас здесь в комнате был, тут.

Загорецкий

Так с цепи, стало быть, спустили.

Г. D.

Ну, милый друг, с тобой не надобно газет,
Пойду-ка я, расправлю крылья,
У всех повыспрошу; однако чур! секрет.

Явление 17

Загорецкий, потом *Графиня-внучка.*

Загорецкий

Который Чацкий тут? – Известная фамилья.
С каким-то Чацким я когда-то был знаком.
Вы слышали об нём?

Графиня-внучка

Об ком?

Загорецкий

Об Чацком, он сейчас здесь в комнате был.

Графиня-внучка

Знаю.
Я говорила с ним.

Загорецкий

Так я вас поздравляю:
Он сумасшедший…

Графиня-внучка

Что?

Загорецкий

Да, он сошёл с ума!

Графиня-внучка

Представьте, я заметила сама;
И хоть пари держать, со мной в одно вы слово.

Явление 18

Те же и *Графиня-бабушка.*

Графиня-внучка

Ah! grand'maman, вот чудеса! вот ново!
Вы не слыхали здешних бед?
Послушайте. Вот прелести! вот мило!..

Графиня-бабушка

Мой *т* руг, мне уши залош ило;
Скаш и пок ромче…

Графиня-внучка

Время нет!
Il vous dira toute l'histoire…[3]
Пойду спрошу…

(Уходит.)

[3] Он вам расскажет всю историю подробно (франц.).

Явление 19

Загорецкий, Графиня-бабушка.

Графиня-бабушка

Что? что? уж нет ли здесь по*ш* ара?

Загорецкий

Нет, Чацкий произвёл всю эту кутерьму.

Графиня-бабушка

Как, Чацкого? Кто свёл в тюрьму?

Загорецкий

В горах изранен в лоб, сошёл с ума от раны.

Графиня-бабушка

Что? к фармазонам в клоб? Пошёл он в *п*усурманы!

Загорецкий

Её не вразумишь.

(Уходит.)

Графиня-бабушка

Антон Антоныч! Ах!
И он пе*ш* ит, всё в страхе, впопыхах.

Явление 20

Графиня-бабушка и *Князь Тугоуховский.*

Графиня-бабушка

Князь, князь! ох, этот князь, по *п* алам, сам
чуть *т* ышит!
Князь, слышали? –

Князь

Э-хм?

Графиня-бабушка

Он ничего не слышит!
Хоть мо*ш* ет, видели, здесь полицмейстер *п*
ыл?

Князь

Э-хм?

Графиня-бабушка

В тюрьму-та, князь, кто Чацкого схватил?

Князь

И-хм?

Графиня-бабушка

Тесак ему да ранец,
В сол*т* аты! Шутка ли! переменил закон!

Князь

У-хм?

Графиня-бабушка

Да!.. в *п* усурманах он!
Ах! окаянный волтерьянец!
Что? а? глух, мой отец; достаньте свой рожок.
Ох! глухота большой порок.
<...>

Явление 22

Те же все и *Чацкий.*
<...>

Чацкий

В той комнате незначащая встреча:
Французик из Бордо, надсаживая грудь,
Собрал вокруг себя род веча
И сказывал, как снаряжался в путь
В Россию, к варварам, со страхом и слезами;
Приехал – и нашёл, что ласкам нет конца;
Ни звука русского, ни русского лица
Не встретил: будто бы в отечестве, с
друзьями;
Своя провинция. Посмотришь, вечерком
Он чувствует себя здесь маленьким царьком;
Такой же толк у дам, такие же наряды…
Он рад, но мы не рады.
Умолк, и тут со всех сторон
Тоска, и оханье, и стон.
Ах! Франция! Нет в мире лучше края! –
Решили две княжны, сестрицы, повторяя
Урок, который им из детства натвержен.
Куда деваться от княжен!
Я одаль воссылал желанья
Смиренные, однако вслух,
Чтоб истребил господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья;
Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой,
Кто мог бы словом и примером
Нас удержать, как крепкою возжой,
От жалкой тошноты по стороне чужой.
Пускай меня отъявят старовером,
Но хуже для меня наш Север во сто крат
С тех пор, как отдал всё в обмен на новый лад
И нравы, и язык, и старину святую,
И величавую одежду на другую
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям;
Движенья связаны, и не краса лицу;

Смешные, бритые, седые подбородки!
Как платья, волосы, так и умы коротки!..
Ах! если рождены мы всё перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев.
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.
«Как европейское поставить в параллель
С национальным – странно что-то!
Ну как перевести *мадам и мадмуазель*?
Ужли *сударыня*!!» – забормотал мне кто-то…
Вообразите, тут у всех
На мой же счёт поднялся смех.
«*Сударыня!* ха! ха! ха! ха! прекрасно!
Сударыня! ха! ха! ха! ха! ужасно!!» –
Я, рассердясь и жизнь кляня,
Готовил им ответ громовый;
Но все оставили меня. –
Вот случай вам со мною, он не новый;
Москва и Петербург — во всей России то,
Что человек из города Бордо,
Лишь рот открыл, имеет счастье
Во всех княжен вселять участье;
И в Петербурге и в Москве,
Кто недруг выписных лиц, вычур, слов
кудрявых,
В чьей, по несчастью, голове
Пять, шесть найдётся мыслей здравых
И он осмелится их гласно объявлять, –
Глядь…
(Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам.)

ДЕЙСТВИЕ IV

Явление 1

У Фамусова в доме парадные сени; большая лестница из второго жилья, к которой примыкают многие побочные из антресолей; внизу справа (от действующих лиц) выход на крыльцо и швейцарская ложа; слева, на одном же плане, комната Молчалина. Ночь. Слабое освещение. Лакеи иные суетятся, иные спят в ожидании господ своих.

<...>

Явление 3

Чацкий и *Лакей* его впереди.

Чацкий

Кричи, чтобы скорее подавали.
(Лакей уходит.)

Ну вот и день прошёл, и с ним
Все призраки, весь чад и дым
Надежд, которые мне душу наполняли.
Чего я ждал? что думал здесь найти?
Где прелесть эта встреч? участье в ком живое?
Крик! радость! обнялись! – Пустое.
В повозке так-то на пути
Необозримою равниной, сидя праздно,
Всё что-то видно впереди
Светло, сине, разнообразно;
И едешь час, и два, день целый, вот резво
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,
Всё та же гладь, и степь, и пусто, и мёртво…
Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь.
(Лакей возвращается.)
Готово?

Лакей

Кучера-с нигде, вишь, не найдут.

Чацкий

Пошёл, ищи, не ночевать же тут.

(Лакей опять уходит.)

Явление 4

Чацкий, Репетилов (вбегает с крыльца, при самом входе падает со всех ног и поспешно оправляется).

Репетилов

Тьфу! оплошал. – Ах, мой создатель!
Дай протереть глаза; откудова? приятель!..
Сердечный друг! Любезный друг! Mon cher![4]
Вот фарсы мне как часто были петы,
Что пустомеля я, что глуп, что суевер,
Что у меня на всё предчувствия, приметы;
Сейчас… растолковать прошу,
Как будто знал, сюда спешу,
Хвать, об порог задел ногою,
И растянулся во весь рост.
Пожалуй смейся надо мною,
Что Репетилов врёт, что Репетилов прост,
А у меня к тебе влеченье, род недуга,
Любовь какая-то и страсть,
Готов я душу прозакласть,
Что в мире не найдёшь себе такого друга,
Такого верного, ей-ей;
Пускай лишусь жены, детей,
Оставлен буду целым светом,
Пускай умру на месте этом,
И разразит меня господь…

[4] Мой милый (франц.).

Чацкий

Да полно вздор молоть.

Репетилов

Не любишь ты меня, естественное дело:
С другими я и так и сяк,
С тобою говорю несмело;
Я жалок, я смешон, я неуч, я дурак.

Чацкий

Вот странное уничиженье!

Репетилов

Ругай меня, я сам кляну своё рожденье,
Когда подумаю, как время убивал!
Скажи, который час?

Чацкий

Час ехать спать ложиться;
Коли явился ты на бал,
Так можешь воротиться.

Репетилов

Что бал? братец, где мы всю ночь до бела дня,
В приличьях скованы, не вырвемся из ига,
Читал ли ты? есть книга…

Чацкий

А ты читал? задача для меня,
Ты Репетилов ли?

Репетилов

Зови меня вандалом:
Я это имя заслужил.
Людьми пустыми дорожил!
Сам бредил целый век обедом или балом!
Об детях забывал! обманывал жену!
Играл! проигрывал! в опеку взят указом!
Танцовщицу держал! и не одну:

Трёх разом!
Пил мёртвую! не спал ночей по девяти!
Всё отвергал: законы! совесть! веру!

Чацкий

Послушай! ври, да знай же меру;
Есть от чего в отчаянье прийти.

Репетилов

Поздравь меня, теперь с людьми я знаюсь
С умнейшими!! – всю ночь не рыщу напролёт.

Чацкий

Вот нынче например?

Репетилов

Что ночь одна, не в счёт,
Зато спроси, где был?

Чацкий

И сам я догадаюсь.
Чай, в клубе?

Репетилов

В Английском. Чтоб исповедь начать:
Из шумного я заседанья.
Пожало-ста молчи, я слово дал молчать;
У нас есть общество, и тайные собранья,
По четвергам. Секретнейший союз…

Чацкий

Ах! я, братец, боюсь.
Как? в клубе?

Репетилов

Именно.

Чацкий

Вот меры чрезвычайны,
Чтоб взашеи прогнать и вас и ваши тайны.

Репетилов

Напрасно страх тебя берёт:
Вслух, громко говорим, никто не разберёт.
Я сам, как схватятся о камерах, присяжных,
О Бейроне, ну о матерьях важных.
Частенько слушаю, не разжимая губ;
Мне не под силу, брат, и чувствую, что глуп.
Ах! Alexandre! у нас тебя недоставало;
Послушай, миленький, потешь меня хоть
мало;
Поедем-ка сейчас; мы, благо на ходу;
С какими я тебя сведу
Людьми!! Уж на меня нисколько не похожи.
Что за люди, mon cher! Сок умной молодёжи!

Чацкий

Бог с ними, и с тобой. Куда я поскачу?
Зачем? в глухую ночь? Домой, я спать хочу.

Репетилов

Э! брось! кто нынче спит? Ну полно, без
прелюдий,
Решись, а мы!.. у нас… решительные люди,
Горячих дюжина голов!
Кричим – подумаешь, что сотни голосов!..

Чацкий

Да из чего беснуетесь вы столько?

Репетилов

Шумим, братец, шумим.

Чацкий

Шумите вы? и только?

Репетилов

Не место объяснять теперь и недосуг;
Но государственное дело:

Оно, вот видишь, не созрело,
Нельзя же вдруг.
Что за люди! mon cher! Без дальних я историй
Скажу тебе: во-первый, князь Григорий!!
Чудак единственный! нас со смеху морит!
Век с англичанами, вся английская складка,
И так же он сквозь зубы говорит,
И так же коротко обстрижен для порядка.
Ты не знаком? о! познакомься с ним.
Другой — Воркулов Евдоким;
Ты не слыхал, как он поёт? о! диво!
Послушай, милый, особливо
Есть у него любимое одно:
«*А! нон лашьяр ми, но, но, но*»[5].
Ещё у нас два брата:
Левон и Боринька, чудесные ребята!
Об них не знаешь что сказать;
Но если гения прикажете назвать:
Удушьев Ипполит Маркелыч!!!!
Ты сочинения его
Читал ли что-нибудь? хоть мелочь?
Прочти, братец, да он не пишет ничего;
Вот эдаких людей бы сечь-то,
И приговаривать: писать, писать, писать;
В журналах можешь ты, однако, отыскать
Его *отрывок, взгляд* и *нечто* .
Об чём бишь *нечто*? – обо всём;
Всё знает, мы его на чёрный день пасём.
Но голова у нас, какой в России нету,
Не надо называть, узнаешь по портрету:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист;
Да умный человек не может быть не плутом.
Когда ж об честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем:

[5] Ах! не оставь меня, нет, нет, нет (с ит.)

Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.
Вот люди, есть ли им подобные? Навряд…
Ну, между ими я, конечно, зауряд,
Немножко поотстал, ленив, подумать ужас!
Однако ж я, когда, умишком понатужась,
Засяду, часу не сижу,
И как-то невзначай, вдруг каламбур рожу,
Другие у меня мысль эту же подцепят,
И вшестером, глядь, водевильчик слепят,
Другие шестеро на музыку кладут,
Другие хлопают, когда его дают.
Брат, смейся, а что любо – любо:
Способностями бог меня не наградил,
Дал сердце доброе, вот чем я людям мил,
Совру – простят…

Лакей

(у подъезда)
Карета Скалозуба.

Репетилов

Чья?
<...>

Явление 10

Последняя лампа гаснет.

Чацкий

(выходит из швейцарской)
Что это? слышал ли моими я ушами!
Не смех, а явно злость. Какими чудесами?
Через какое колдовство
Нелепость обо мне все в голос повторяют!
И для иных как словно торжество,
Другие будто сострадают…
О! если б кто в людей проник:

Что хуже в них? душа или язык?
Чьё это сочиненье!
Поверили глупцы, другим передают,
Старухи вмиг тревогу бьют –
И вот общественное мненье!
И вот та родина… Нет, в нынешний приезд,
Я вижу, что она мне скоро надоест.
А Софья знает ли? – Конечно, рассказали,
Она не то, чтобы мне именно во вред
Потешилась, и правда или нет
Ей всё равно, другой ли, я ли,
Никем по совести она не дорожит.
Но этот обморок? беспамятство откуда??
Нерв избалованность, причуда, –
Возбудит малость их, и малость утишит, –
Я признаком почёл живых страстей. – Ни крошки:
Она конечно бы лишилась так же сил,
Когда бы кто-нибудь ступил
На хвост собачки или кошки.

София

(над лестницей во втором этаже, со свечкою)
Молчалин, вы?

(Поспешно опять дверь припирает.)

Чацкий

Она! она сама!
Ах! голова горит, вся кровь моя в волненьи!
Явилась! нет её! неужели в виденьи?
Не впрямь ли я сошёл с ума?
К необычайности я, точно, приготовлен;
Но не виденье тут, свиданья час условлен.
К чему обманывать себя мне самого?
Звала Молчалина, вот комната его.

Лакей его

(с крыльца)
Каре…

Чацкий

Сс!..
(Выталкивает его вон.)
Буду здесь, и не смыкаю глазу,
Хоть до утра. Уж коли горе пить,
Так лучше сразу,
Чем медлить, а беды медленьем не избыть.
Дверь отворяется.

(Прячется за колонну.)

Явление 11

Чацкий спрятан, *Лиза* со свечкой.

Лиза

Ах! мочи нет! робею:
В пустые сени! в ночь! боишься домовых,
Боишься и людей живых.
Мучительница-барышня, бог с нею.
И Чацкий, как бельмо в глазу;
Вишь, показался ей он где-то здесь, внизу.

(Осматривается.)
Да! как же! по сеням бродить ему охота!
Он, чай, давно уж за ворота,
Любовь на завтра поберёг,
Домой – и спать залёг.
Однако велено к сердечному толкнуться.

(Стучится к Молчалину.)
Послушайте-с. Извольте-ка проснуться.
Вас кличет барышня, вас барышня зовёт.
Да поскорей, чтоб не застали.

Явление 12

Чацкий за колонною, *Лиза, Молчалин* (потягивается и зевает). *София* (крадётся сверху).

Лиза

Вы, сударь, камень, сударь, лёд.

Молчалин

Ах! Лизанька, ты от себя ли?

Лиза

От барышни-с.

Молчалин

Кто б отгадал,
Что в этих щёчках, в этих жилках
Любви ещё румянец не играл!
Охота быть тебе лишь только на посылках?

Лиза

А вам, искателям невест,
Не нежиться и не зевать бы;
Пригож и мил, кто не доест
И не доспит до свадьбы.

Молчалин

Какая свадьба? с кем?

Лиза

А с барышней?

Молчалин

Поди,
Надежды много впереди,
Без свадьбы время проволочим.

Лиза

Что вы, сударь! да мы кого ж
Себе в мужья другого прочим?

Молчалин

Не знаю. А меня так разбирает дрожь,
И при одной я мысли трушу,
Что Павел Афанасьич раз
Когда-нибудь поймает нас,
Разгонит, проклянёт!.. Да что? открыть ли
душу?
Я в Софье Павловне не вижу ничего
Завидного. Дай бог ей век прожить богато,
Любила Чацкого когда-то,
Меня разлюбит, как его.
Мой ангельчик, желал бы вполовину
К ней то же чувствовать, что чувствую к тебе;
Да нет, как ни твержу себе,
Готовлюсь нежным быть, а свижусь – и
простыну.

София

(в сторону)
Какие низости!

Чацкий

(за колонною)
Подлец!

Лиза

И вам не совестно?

Молчалин

Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья
Хозяину, где доведётся жить,
Начальнику, с кем буду я служить,

Слуге его, который чистит платья,
Швейцару, дворнику, для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была.

Лиза

Сказать, сударь, у вас огромная опека!

Молчалин

И вот любовника я принимаю вид
В угодность дочери такого человека…

Лиза

Который кормит и поит,
А иногда и чином подарит?
Пойдёмте же, довольно толковали.

Молчалин

Пойдём любовь делить плачевной нашей
крали.
Дай обниму тебя от сердца полноты.

(Лиза не даётся.)
Зачем она не ты!

(Хочет идти, София не пускает.)

София

(почти шёпотом, вся сцена вполголоса)
Нейдите далее, наслушалась я много,
Ужасный человек! себя я, стен стыжусь.

Молчалин

Как! Софья Павловна…

София

Ни слова, ради бога,
Молчите, я на всё решусь.

Молчалин

(бросается на колена, София отталкивает его)

Ах, вспомните, не гневайтеся, взгляньте!..

София

Не помню ничего, не докучайте мне.
Воспоминания! как острый нож оне.

Молчалин

(ползает у ног её)

Помилуйте…

София

Не подличайте, встаньте,
Ответа не хочу, я знаю ваш ответ,
Солжёте…

Молчалин

Сделайте мне милость…

София

Нет. Нет. Нет.

Молчалин

Шутил, и не сказал я ничего, окроме…

София

Отстаньте, говорю, сейчас,
Я криком разбужу всех в доме,
И погублю себя и вас.

(Молчалин встаёт.)

Я с этих пор вас будто не знавала.
Упрёков, жалоб, слёз моих
Не смейте ожидать, не стоите вы их;
Но чтобы в доме здесь заря вас не застала,
Чтоб никогда об вас я больше не слыхала.

Молчалин

Как вы прикажете.

София

Иначе расскажу
Всю правду батюшке с досады.
Вы знаете, что я собой не дорожу.
Подите. – Стойте, будьте рады,
Что при свиданиях со мной в ночной тиши
Держались более вы робости во нраве,
Чем даже днём, и при людях, и в яве,
В вас меньше дерзости, чем кривизны души.
Сама довольна тем, что ночью всё узнала,
Нет укоряющих свидетелей в глазах,
Как давиче, когда я в обморок упала,
Здесь Чацкий был…

Чацкий

(бросается между ими)
Он здесь, притворщица!

Лиза и София

Ах! Ах!..

(Лиза свечку роняет с испугу; Молчалин скрывается к себе в комнату.)

Явление 13

Те же, кроме *Молчалина.*

Чацкий

Скорее в обморок, теперь оно в порядке,
Важнее давишной причина есть тому,
Вот наконец решение загадке!
Вот я пожертвован кому!

Не знаю, как в себе я бешенство умерил!
Глядел, и видел, и не верил!
А милый, для кого забыт
И прежний друг, и женский страх и стыд, –
За двери прячется, боится быть в ответе.
Ах! как игру судьбы постичь?
Людей с душой гонительница, бич! –
Молчалины блаженствуют на свете!

София

(вся в слезах)
Не продолжайте, я виню себя кругом.
Но кто бы думать мог, чтоб был он так
коварен!

Лиза

Стук! шум! ах! боже мой! сюда бежит весь
дом.
Ваш батюшка, вот будет благодарен.

Явление 14

Чацкий, София, Лиза, Фамусов, толпа слуг со
свечами.

Фамусов

Сюда! за мной! скорей!
Свечей побольше, фонарей!
Где домовые? Ба! знакомые всё лица!
Дочь, Софья Павловна! страмница!
Бесстыдница! где! с кем! Ни дать ни взять,
она,
Как мать её, покойница жена.
Бывало, я с дражайшей половиной
Чуть врознь – уж где-нибудь с мужчиной!
Побойся бога, как? чем он тебя прельстил?
Сама его безумным называла!
Нет! глупость на меня и слепота напала!

Всё это заговор, и в заговоре был
Он сам и гости все. За что я так наказан!..

Чацкий

(Софии)
Так этим вымыслом я вам ещё обязан?

Фамусов

Брат, не финти, не дамся я в обман,
Хоть подерётесь – не поверю.
Ты, Филька, ты прямой чурбан,
В швейцары произвёл ленивую тетерю,
Не знает ни про что, не чует ничего.
Где был? куда ты вышел?
Сеней не запер для чего?
И как не досмотрел? и как ты не дослышал?
В работу вас, на поселенье вас:
За грош продать меня готовы.
Ты, быстроглазая, всё от твоих проказ;
Вот он, Кузнецкий мост, наряды и обновы;
Там выучилась ты любовников сводить,
Постой же, я тебя исправлю:
Изволь-ка в избу, марш за птицами ходить.
Да и тебя, мой друг, я, дочка, не оставлю,
Ещё дни два терпение возьми:
Не быть тебе в Москве, не жить тебе с
людьми.
Подалее от этих хватов,
В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов,
Там будешь горе горевать,
За пяльцами сидеть, за святцами зевать.
А вас, сударь, прошу я толком
Туда не жаловать ни прямо, ни просёлком;
И ваша такова последняя черта,
Что, чай, ко всякому дверь будет заперта:
Я постараюсь, я, в набат я приударю,
По городу всему наделаю хлопот,

И оглашу во весь народ:
В Сенат подам, министрам, государю.

Чацкий

(после некоторого молчания)

Не образумлюсь… виноват,
И слушаю, не понимаю,
Как будто всё ещё мне объяснить хотят,
Растерян мыслями… чего-то ожидаю.

(С жаром.)
Слепец! я в ком искал награду всех трудов!
Спешил!.. летел! дрожал! вот счастье, думал, близко.
Пред кем я давиче так страстно и так низко
Был расточитель нежных слов!
А вы! о боже мой! кого себе избрали?
Когда подумаю, кого вы предпочли!
Зачем меня надеждой завлекли?
Зачем мне прямо не сказали,
Что всё прошедшее вы обратили в смех?!
Что память даже вам постыла
Тех чувств, в обоих нас движений сердца тех,
Которые во мне ни даль не охладила,
Ни развлечения, ни перемена мест.
Дышал, и ими жил, был занят беспрерывно!
Сказали бы, что вам внезапный мой приезд,
Мой вид, мои слова, поступки – всё противно,
Я с вами тотчас бы сношения пресёк,
И перед тем, как навсегда расстаться
Не стал бы очень добираться,
Кто этот вам любезный человек?..

(Насмешливо.)
Вы помиритесь с ним по размышленьи зрелом.

Себя крушить, и для чего!
Подумайте, всегда вы можете его
Беречь, и пеленать, и спосылать за делом.
Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей
Высокий идеал московских всех мужей. —
Довольно!.. с вами я горжусь моим разрывом.
А вы, сударь отец, вы, страстные к чинам:
Желаю вам дремать в неведеньи счастливом,
Я сватаньем моим не угрожаю вам.
Другой найдётся благонравный,
Низкопоклонник и делец,
Достоинствами, наконец,
Он будущему тестю равный.
Так! отрезвился я сполна,
Мечтанья с глаз долой – и спала пелена;
Теперь не худо б было сряду
На дочь и на отца,
И на любовника-глупца,
И на весь мир излить всю жёлчь и всю досаду.
С кем был! Куда меня закинула судьба!
Все гонят! все клянут! Мучителей толпа,
В любви предателей, в вражде неутомимых,
Рассказчиков неукротимых,
Нескладных умников, лукавых простаков,
Старух зловещих, стариков,
Дряхлеющих над выдумками, вздором, –
Безумным вы меня прославили всем хором.
Вы правы: из огня тот выйдет невредим,
Кто с вами день пробыть успеет,
Подышит воздухом одним,
И в нём рассудок уцелеет.
Вон из Москвы! сюда я больше не ездок.
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорблённому есть чувству уголок!..
Карету мне, карету!

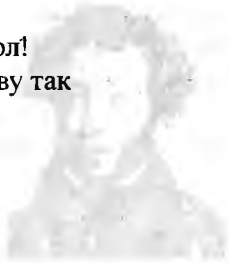
(Уезжает.)

Явление 15

Кроме *Чацкого.*

Фамусов

Ну что? не видишь ты, что он с ума сошёл?
Скажи сурьезно:
Безумный! что он тут за чепуху молол!
Низкопоклонник! тесть! и про Москву так
грозно!
А ты меня решилась уморить?
Моя судьба ещё ли не плачевна?
Ах! боже мой! что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна!



Конец

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

(1799–1837)



Еще при жизни поэта Н.В. Гоголь произнес вещие слова: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Мысль эту позже развил в своей знаменитой пушкинской речи Ф.М. Достоевский, заметивший, что сама личность великого поэта «есть пророчество и указание».

Поразительны достижения Пушкина в области литературного мастерства: освоив и доведя до совершенства признанные литературные жанры, от архаической оды и сатиры до романтической элегии, он выступил и как создатель «свободного» романа в стихах, «маленьких трагедий» собственно «пушкинских» жанров. Легко смешивая и видоизменяя устоявшиеся жанровые формы, Пушкин придавал им «второе дыхание», поражая современников новизной художественных решений. «Общество с невольным удивлением, полным ожидания и надежды чего-то великого, обратило взоры на нового поэта, смело и гордо открывавшего ему новые стороны жизни и искусства», – отмечал критик В.Г. Белинский.

Опираясь на богатые традиции мировой литературы, Пушкин создал произведения, в свою очередь явившие высокий эталон поэзии и прозы для писателей последующих эпох. «Пушкин! Тайную свободу / Пели мы вослед тебе!» – с такими словами обращался к памяти великого учителя поэт XX столетия Александр Блок. «Издревле сладостный союз / Поэтов меж собой связует» – эти пушкинские строки из послания «К Языкову» звучат как гимн служителям искусства и одновременно напоминание о долге художника перед вечностью, о великой силе «божественного глагола».

Еще одной отличительной особенностью пушкинского гения является его всеохватность, способность воссоздать бытие в его

многогранности, передать разнообразные оттенки звучания человека в мире и мира в человеке. «Поэт! в твоей предметы воле!» – все творчество Пушкина является ярким подтверждением этих слов. Пройдя краткий земной путь, Пушкин-художник словно бы прожил несколько творческих жизней столь многое он успел сказать современникам и потомкам. Сам путь художника заключает в себе удивительную внутреннюю стройность и логику: это стремительное движение от краткого опыта ученичества ко всевозрастающей мощи поэтических открытий и духовных прозрений. Прослеживая путь гения, можно увидеть скрытые механизмы движения самой культуры, а главное – полюбить то «обыкновенное чудо» поэзии, без которого жизнь наша бедна и бесцветна:

Мечты поэзии прелестной,
Благословенные мечты!
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы.

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 26 мая (6 июня) 1799 года. Род Пушкиных уходил корнями в глубь русской истории («Мой предок Рача мышцей бранной / Святому Невскому служил», – напишет поэт в стихотворении «Моя родословная» (1830). Отец будущего поэта, Сергей Львович, увлекался литературой, имел многотомную домашнюю библиотеку, дружил с В.А. Жуковским, Н.М. Карамзиным, И.И. Дмитриевым и К.Н. Батюшковым. Мать, Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, была по отцу родной внучкой знаменитого «арапа Петра Великого» – Абрама (Ибрагима) Ганнибала. В семье Пушкиных ценилось образование, и по сложившейся в то время традиции дети находились на попечении гувернеров-иностранцев (среди прочих наук маленький Александр особенно преуспел в изучении французского языка, на котором и были написаны его первые стихи). «Иноземное» влияние уравновешивалось общением с бабушкой Марией Алексеевной Ганнибал и няней Ариной Родионовной, прививавшими детям любовь к родному языку и народной культуре.

Проводником в «большую» светскую литературу в семье Пушкиных явился дядя поэта, Василий Львович Пушкин, писавший элегии, романсы, басни и известный в литературных кругах своей «иронической» поэмой «Опасный сосед». В аналогичном

жанре выступил и малолетний племянник, написавший «детскую» поэму «Толиада» на французском языке.

Важнейшей датой в жизни Пушкина стал 1811 год: дядя отвез Александра в Петербург для поступления в Царскосельский лицей – привилегированное закрытое учебное заведение для будущих государственных деятелей (торжественное открытие лицея состоялось 19 октября в присутствии императорской семьи). Здесь мальчика встретили замечательные учителя, множество разнообразных наук, поэзия и, главное, друзья, вольное содружество одаренных юношей, ставшее духовным, поэтическим братством:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Поощряемый профессорами и друзьями, юный лицеист Пушкин пишет стихотворения и поэмы, печатается в журналах.

Знаменитый публичный экзамен 1815 года и вдохновенное чтение юным поэтом торжественной оды «Воспоминания в Царском Селе» в присутствии «поэтического старца» Державина принесли ему еще большую известность.

Поэт подражал своим литературным учителям, и в первую очередь Батюшкову и Жуковскому, многому учился у других русских и зарубежных поэтов. В 1816 году он вступил в литературное общество молодых последователей Карамзина «Арзамас», возглавляемое Жуковским и братьями Тургеневыми (по традиции общества Пушкин получил-литературную кличку Сверчок, вполне оправдывая ее особенностями своего темперамента).

Закончив учение в лицее в июне 1817 года и попрощавшись с друзьями, Пушкин поступил на государственную службу, став чиновником Коллегии иностранных дел. Должность его не обременяла, к тому же юноша сразу уехал в псковское имение Михайловское, ставшее впоследствии местом его знаменитой ссылки и высочайших творческих достижений. Там поэт обрел новые впечатления и возможность спокойно творить.

Столичный Петербург вернул его в вольную атмосферу вечного праздника жизни, дал новые занятия и увлечения, и прежде всего театр, обширные литературные знакомства, новое дружеское окружение. Пушкин остается неизменным посетителем веселых собраний Арзамаса» и общества «Зеленая лампа». Среди новых друзей много будущих декабристов. Пушкин близко сходится со своим сослуживцем А.С. Грибоедовым, знакомится с поэтами Гнедичем, Баратынским, Катениным, Денисом Давыдовым. П.Я. Чаадаев, братья Тургеневы – основной круг общения молодого поэта, где жаркие политические споры и обсуждение «Истории...» Карамзина соседствовали с чтением только что написанных стихов, бурными веселыми пирушками и посещениями театра.

Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко

В сердца мятежная наука, – скажет позже Пушкин в романе «Евгений Онегин».

В известном послании «К Чаадаеву» (1818) Пушкин точно назвал эти молодые мысли «души прекрасными порывами». Пушкин писал об этих шумных и вольных собраниях:

...Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство…

Однако именно юному Пушкину суждено было удивительно полно и эмоционально выразить либеральные идеи времени в своей вольнолюбивой лирике. Такова его ранняя политическая сатира «Лицинию» (1815), ода «Вольность» (1817) и «гражданская элегия» «Деревня» (1819), дружеское послание «К Чаадаеву» (1818), сатира на «кочующего деспота» Александра I «Сказки. Noel» (1818), зовущее к мятежу и мести тиранам стихотворение «Кинжал» (1821). Эти смелые бесцензурные стихотворения знали все, они существовали во множестве списков и позже были найдены в бумагах арестованных декабристов. Пушкин стал первым поэтом русской дворянской

оппозиции, и это определило его дальнейшую судьбу. Впрочем, тогда же были написаны пародийная поэма-сказка «Руслан и Людмила» (1818–1820) и множество дружеских и любовных посланий и эпиграмм.

К 1820 году правительство уже увидело всю опасность распространения «возмутительных» стихов Пушкина: власти раздражало смелое поведение поэта, неосторожные острые слова и резкая критика в свой адрес. За ним устанавливается полицейская слежка. Поэту грозили арест и ссылка в Соловецкий монастырь или Сибирь. Друзья во главе с Карамзиным и Жуковским успешно хлопотали за него при дворе, в результате Пушкин был послан в длительную служебную командировку на юг России, где как чиновник Коллегии иностранных дел он должен был переводить с французского законы и выполнять иные поручения. Этот внешне незначительный перевод по службе принято именовать ***южной ссылкой*** поэта.

Пушкин отправился в Екатеринослав 6 мая 1820 года, где тяжело заболел, но благодаря участию и заботам семьи Раевских добрался до Кавказа и Крыма. Поэт увидел тихий провинциальный Кишинев. Смешение языков, преданий, литератур, обычаев и нравов, богатство впечатлений и новых открытий нашло свое отражение в пушкинской поэзии:

Все живо там, все там очей отрада,
Сады татар, селенья, города;
Отражена волнами скал громада,
В морской дали теряются суда...

Пушкин продолжает писать вольнолюбивые произведения; одновременно достигает расцвета его любовная лирика, появился и принес поэту новую славу цикл «южных» романтических поэм – «Кавказский пленник» (1820–1821), «Бахчисарайский фонтан» (1822–1823), «Цыганы» (1824). Его кумиром и учителем становится на время великий английский поэт Дж.Г. Байрон, вдохновенный романтик, революционер и путешественник, гордый певец могучей личности, свободы, любви, бурных страстей, мятежа против несправедливого общества. Этот смелый, сильный, красивый молодой поэт соперничал с другой легендарной фигурой европейской истории – Наполеоном. Сама смерть его в восставшей и сражающейся

Греции потрясла всю Европу. Байрон стал главным героем собственной поэзии, он дал поэтам своего времени новые темы и новые формы творческого самовыражения, открыл для них Италию, Грецию, мусульманский Восток, героику борьбы за свободу, силу любовных страстей, вечно вольную и мятежную стихию моря. «Он был, о море, твой певец», – скажет Пушкин в своем послании «К морю» (1824).

«Южные» поэмы Пушкина часто называют байроническими. В «Бахчисарайском фонтане» русских читателей привлекли сильные, полные страсти характеры гордого влюбленного хана, ревнивой и мятежной Заремы, мечтательной и страдающей Марии, драматическая судьба героев, живописная поэзия и природа экзотического Востока. Романтический герой-скиталец Алеко из «Цыган» стал воплощением крайнего индивидуализма, неуважения к чужой воле и жизни. Стали крылатыми слова старого цыгана, обращенные к главному герою поэмы:

Оставь нас, гордый человек!..
Ты для себя лишь хочешь воли...

На юге жизнь молодого поэта мало изменилась в сравнении с петербургским периодом, он много работает, читает, особенно древних авторов, изучает местные исторические достопримечательности и обычаи, записывает песни и сказки. Главным же для Пушкина остается поэтическое творчество, освоение новых тем и жанров.

Эта веселая и вместе с тем творчески насыщенная жизнь продолжалась и в Одессе, о чем рассказывается в «Отрывках из путешествия Онегина». Во время пребывания в этом богатом и культурном европейском городе («Там все Европой дышит, веет...») поэт пишет «Цыган», работает над первыми главами «Евгения Онегина». Здесь же попадает под надзор тайной полиции. Император принял прошение Пушкина об отставке и распорядился сослать его под надзор местных властей в псковское имение Михайловское.

С августа 1824 года начинается новая эпоха в жизни и творчестве опального поэта. В михайловском уединении он критически обдумывает прошедшее, «грустные заблужденья», плоды «южного» байронизма и одновременно с надеждой смотрит в будущее. Здесь поэт завершает «Цыган» и приступает к созданию фантастической

народной драмы «Русалка», пишет стихотворение «К морю» и роман «Евгений Онегин». Пушкин так говорил о своем михайловском изгнании:

Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

Душа и гений поэта созревали в деревенской тиши. Пушкин заметно охладевает к миру романтических героев и все больше обращается к изображению жизни обычных людей, прозы повседневной русской действительности, о чем свидетельствует его шутливая поэма «Граф Нулин». В этой веселой истории сказались интерес поэта к превратностям истории, чтение Шекспира, русских летописей и «Истории...» Карамзина. В Михайловском создано одно из лучших творений Пушкина – трагедия «Борис Годунов».

Расцветает и углубляется лирический дар поэта: он пишет замечательные стихотворения «Андрей Шенье», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану», «Желание славы», «К ***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Вакхическая песня», «19 октября», драматическую «Сцену из Фауста».

В Михайловском Пушкина настигла страшная весть о поражении декабристов и тяжкой участи заговорщиков. Известие это стало для поэта великим потрясением. В это время смертельно больной Карамзин обращается к Николаю I с просьбой простить и вернуть Пушкина, и эта его воля была выполнена.

Осенью 1826 года поэт был на коронации, имел с царем важный и откровенный разговор и был прощен, царь обещал сам быть его цензором. Поэт ответил на это программным стихотворением «Стансы».

Москва с восторгом приняла Пушкина. Как первый национальный поэт принял участие в деятельности нового журнала «Московский вестник».

Творчество художника обрело новые силы, и это прежде всего выразилось в знаменитом цикле стихотворений о назначении поэта («Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту») и в замечательном стихотворении «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»). Пушкинская лирика все более тяготеет к фило-

софскому началу («Дар напрасный, дар случайный...», «Анчар», «Элегия», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Пора, мой друг, пора...», «...Вновь я посетил...»).

Наряду с лирическими шедеврами Пушкин создает произведения, обращенные к страницам русской истории, пишет художественную прозу, критические статьи. Вернувшись в 1827 году в Михайловское, он начинает роман «Арап Петра Великого», продолжает работу над «Евгением Онегиным», создает героическую поэму «Полтава».

В 1829 году поэт самовольно едет в действующую армию на Кавказ, и как результат – резкий выговор царя, замечательное «Путешествие в Арзрум», яркие путевые записки, развивающие темы «Кавказского пленника». В этот период многое меняется в личной жизни поэта: он полюбил юную московскую красавицу Наталью Гончарову и сделал ей предложение. («...Извините нетерпение сердца больного, которому недоступно счастье. Я сейчас уезжаю и в глубине своей души увожу образ небесного существа, обязанного вам жизнью» – эти проникновенные слова поэта обращены к Гончаровой-старшей.) Пушкин упорно добивался ответного чувства девушки и согласия ее матери, но венчание состоялось лишь в 1831 году. Пушкин наконец обрел любовь, семью и дом, хотя в «большом» мире по-прежнему не было уверенности и покоя.

Несмотря на перипетии бурной жизни, пушкинский дар достигает небывалого расцвета в осенней уединенной тиши болдинского имения в 1830 году, когда были написаны «Маленькие трагедии» «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Каменный гость». Там же создан прозаический цикл «Повести Белкина» и «История села Горюхина», цикл сказок в народном духе. За ними последовал «Дубровский» (1832). Задумана и частично написана «История Петра», созданы стихотворения на историческую тему – «К вельможе» (1830), «Полководец»). Вторая Болдинская осень 1833 года принесла новые шедевры: поэмы «Анджело» и «Медный всадник», «Историю Пугачева». Тогда же начаты повесть «Пиковая дама» и исторический роман «Капитанская дочка».

В этом же году Пушкину был пожалован придворный чин камер-юнкера, что было воспринято «облагодетельствованным» поэтом как унижение. Меняется отношение к царю.

В 1836 году в петербургском высшем обществе против Пушкина была начата интрига: сплетники попытались скомпрометиро-

вать молодую и неосторожную жену поэта, за которой настойчиво ухаживал гвардейский офицер, красавец француз Жорж Дантес Геккерен. Получив по почте оскорбительное анонимное письмо, содержащее намеки на связь его жены с Дантесом, Пушкин вызвал француза на дуэль, которая не состоялась благодаря усилиям друзей поэта и хлопотам приемного отца Дантеса, голландского посланника Геккерена.

Началось долгое, необыкновенно тяжелое для оскорбленного, защищавшего свою честь и независимость поэта противостояние, закончившееся 27 января 1837 года роковым поединком на Черной речке. Получив смертельное ранение, Пушкин мужественно переносил жесточайшие мучения и через два дня скончался, оплакиваемый близкими и друзьями. Десятки тысяч людей побывали за это время на набережной возле его квартиры – так выразились всенародное признание и любовь к великому поэту. «У кого из русских с его смертию не оторвалось что- то от сердца?» – скорбно вопрошал В.А. Жуковский. А молодой гусарский офицер М.Ю. Лермонтов написал в своем знаменитом гневном стихотворении «Смерть Поэта»:

Погиб поэт! – невольник чести, –
Пал, оклеветанный молвой...

ЛИРИКА

Среди различных стихотворных жанров с поразительной быстротой освоенных «начинающим» поэтом, жанр послания занимает едва ли не главенствующее место («Жуковскому», «К Батюшкову», «К Пущину», «Дельвигу»). Лицейская лирика Пушкина необыкновенно жизнерадостна, это голос крылатой юности, пробующий себя в большой поэзии. В **«Пирующих студентах»** (1814) Пушкин, пародируя форму «Певца во стане русских воинов» Жуковского, представляет участников пира – юных лицеистов, среди которых «ленивец сонный» Дельвиг, «сиятельный повеса» Горчаков, «товарищ милый» Пущин и др. Стихотворение насыщено эпикурейской символикой, в которой особо выделяется «вино златое» – символ высокого дружества. На фоне этих восторженных прославлений праздника юности отчетливо звучит тема поэзии. В уже упомянутом послании **«Дельвигу»** (1817) поэт признается:

Я лирных звуков наслажденья
Младенцем чувствовать умел,
И лира стала мой удел.

Ранняя лирика Пушкина отнюдь не сводима к «легким» жанрам;. В 1814 году по предложению профессора Галича Пушкин написал оду **«Воспоминания в Царском Селе»,** предназначенную для чтения на переходных экзаменах в лицее 8 января 1815 года. Внешне стихотворение выдержано в жестких рамках классицистических требований.

Уверенно осваивая достижения современной ему поэзии, Пушкин уже на раннем этапе своего творчества проявляет свойственную ему всеохватность, стремление отобразить различные стороны человеческого бытия.

По окончании Лицея Пушкин окунулся в бурную, полную развлечений и пропитанную духом либерального вольномыслия атмосферу столичной жизни.

Мысли и чаяния столичной либеральной молодежи юный Пушкин поэтически обобщил и вдохновенно высказал в знаменитом дружеском послании **«К Чаадаеву»** (1818). Ключевое, главное слово в этом стихотворении – ГОРИМ. Горят сердца, горят желанья, кипят обличительные речи и политические страсти.

По форме это пушкинское стихотворение является произнесенной в узком дружеском кругу единомышленников *политической* речью, оно построено по всем правилам преподававшихся в лицее риторики и красноречия. Хотя непосредственно эта речь обращена к старшему другу, *мыслителю* и декабристу Чаадаеву, речь идет о целом поколении, призванном решать насущные проблемы общества.

В центре вольнолюбивой лирики молодого Пушкина – ода «Вольность» и стихотворение «Деревня». Как показывает первое название, эти торжественные, велеречивые произведения написаны «вослед» дворянскому революционеру А.Н. Радищеву. И сам жанр оды, и язык этих политических произведений подчеркнуто архаичны, стилизованы в духе древнеримской сатиры, высокой гражданской поэзии в духе Державина.

«Деревня» (1819) написана в Михайловском «в уединенье величавом». Это большое стихотворение распадается на две части. Первая из них представляет собой сентиментально-нравоучительную элегию в духе «Сельского кладбища» Жуковского. Здесь заметно

сильное влияние античной идиллии, картин мирной пастушеской жизни, популярных в тогдашней русской лирике, от Державина до Батюшкова. Традиционно противопоставлены шумные забавы, пороки, суетные заблуждения столицы и сельская тишина и праздность. Пушкин с любовью рисует знакомые пейзажи, но в соответствии с законами оды образ сельской идиллической жизни получается у него обобщенным, идеализированным и условным:

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.

За первой частью в этом тексте следовала вторая, где по принципу романтического контраста сельской идиллии противопоставлена мрачная картина всеобщего упадка, народных страданий, угнетения, подневольного труда, самодурства и деспотизма:

Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея...

Тихий рай мирных поселян и мудрого просвещенного барина-поэта безжалостно разрушен «Барством диким и Рабством тощим». Здесь нет чувства и Закона, царят Невежество и Позор.

Виной всему безнравственное и беззаконное крепостное право. За «вольнолюбивые стихи» царь принял решение сослать Пушкина, и лишь вмешательство влиятельных друзей уберегло Пушкина от ссылки в Сибирь.

«Южный» период творчества Пушкина был не менее плодотворен, нежели годы раннего становления его лирического дара. Побывав на Кавказе, в Крыму и Молдавии, посетив Одессу и Украину, поэт обрел массу новых знакомств, а его лира вобрала в себя яркое многоцветье незабываемых впечатлений, красок, колоритных образов и деталей.

Жанрово-тематический диапазон «южных» произведений Пушкина необычайно широк: любовные элегии «Погасло дневное светило...», «Редеет облаков летучая гряда...», стихотворения «Наполеон», «К Овидию», «Песнь о вещем Олеге», «В.Л. Давыдову», «Чаадаеву», «Кто, волны, вас остановил...» и др., а также цикл романтических поэм.

В период пребывания на Юге Пушкин стремительно менялся, мужал, к поэту приходили мудрость и новые наблюдения, знание реальной жизни и людей. Море, молодость, мечтания, любовь, новые «думы сердца» породили целый лирический цикл, то есть ряд стихотворений, объединенных образом мятежного, страстного певца и открывающихся поэтическим воспоминанием **«Погасло дневное светило...»** (1820), где автор прощается с бурной мятежной молодостью и с надеждой смотрит вперед, в будущее, называя себя «искателем новых впечатлений»: «Прошел веселой жизни праздник».

Именно в этот период им написано стихотворение «Кинжал» (1821). Здесь воспето оружие заговорщика, ставшее символом праведной мести и последнего суда еще во времена Великой французской революции. Оно грозно сверкает там, где царят произвол и беззаконие власти, где жестокий тиран нарушил все свои обязательства перед народом и во имя своих прихотей и властолюбия растоптал права самоценной личности.

Главное стихотворение «южного» цикла **«К морю»** (1824), написанное уже в новой, псковской ссылке, в северном селе Михайловском, стало элегическим воспоминанием о Юге, «свободной стихии» – море, молодой игре смелого разума и сильных страстей, надеждах, желании сражаться за свободу греков и бежать для этого за границу. Оно также стало надгробным словом двум героям того романтического времени – великому Наполеону и мужественному Байрону:

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен.
Как ты, ничем неукротим.

Пребывание поэта на берегах вечного могучего моря обернулось для него и горьким разочарованием в надеждах и иллюзиях вольнолюбивой юности:

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

Тема пушкинского «прощального» стихотворения – очарование и разочарование, их неизбежная смена, а образ бурного, изменчивого моря, соединившись с образом печальной поэтической души, превращает это лирическое признание в грустную и мудрую элегию – воспоминание о годах юности, ее радостях, порывах и ошибках.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

Взлет пушкинского романтического творчества и одновременно преодоление романтизма и байронизма во имя поисков новых форм художественного изображения со всей наглядностью проявляются и в пушкинских «южных» поэмах – «Кавказский пленник» (1821), «Бахчисарайский фонтан» (1821), «Цыганы» (1824). Среди них особо выделяется **«Кавказский пленник»** – первая «серьезная» поэма молодого автора, сразу принесшая ему славу и титул «русского Байрона».

Проблематика «южных» поэм свидетельствует о том, что Пушкин видит и умеет преодолеть художественную односторонность, историческую ограниченность романтизма, усваивая его бесспорные творческие достижения. Прекрасно сказал об этом Аполлон Григорьев: «Гениальная натура носит в себе как бы клад всего непременного, что есть в стремлениях ее эпохи. Но, отражая эти стремления, она не служит им рабски, а владычествует над ними, глядя яснее многих вперед». Суд и трагедия через отрицание и критику ведут к пониманию и утверждению героя.

«Михайловское заточение» явилось для Пушкина не просто сменой места ссылки, но и важнейшим этапом его творческой судьбы.

Быть может, уж недолго мне
В изгнанье мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться.

На смену мятежным романтическим иллюзиям приходят размышлении о реальном положении художника в обществе, о его способности отвечать на вызовы «века-торгаша» (об этом говорится

в стихотворении **«Разговор книгопродавца с поэтом»** (1824), обозначившем рубеж между «южным» и «михайловским» периодами жизни и творчества на Пушкина). Однако, утверждая себя в качестве независимого художника, вступающего в «договорные» отношения с обществом, поэт не должен забывать о своей «задумчивой музе», обращенной к тайнам бытия и живым движениям человеческой души.

Эти «вечные» философские вопросы нашли свое новое преломление в пушкинском «восточном» цикле **«Подражания Корану»** (1824), где Бог говорит с пророком о человеке, его назначении, жизни и смерти, о грядущем неизбежном Страшном суде, когда будет определена вина каждого, а мудрая и печальная притча о ропщущем на Бога и заснувшем в пустыне путнике повествует об относительности человеческого времени как великой тайне бытия. Богоизбранному человеку открыты тайны жизни, сила и слабость смертного, дано осознание высших целей творения. Бог одарил своего пророка поэтическим даром, дал ему власть над умами, чтобы тот спокойно, без принуждения учил людей высшей правде. Таков и истинный поэт:

Святые восторги наполнили грудь:
И с Богом он дале пускается в путь.

Пушкин развивает темы и образы Корана, священной книги мусульман, которую автор читал в переводе М. Веревкина. В целом это вольная стилизация, в прямом смысле подражание, цель которого – высказать собственные мысли о вечном и преходящем, великом и малом в жизни человека.

Пушкин увидел богатые возможности соединения в своей философской поэзии высоких образов Корана и Библии: ведь в обеих священных книгах высшую волю Бога несли людям пророки, посвященные люди, бывшие и великими поэтами. Еще в 1822 году Пушкин как ученик и последователь Карамзина неожиданно приблизился к этой теме, заговорив в «Песни о вещем Олеге» о волхвах – древнерусских прорицателях, мудрецах и поэтах времен язычества:

«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен...»

Пророк для Пушкина – уединенный мыслитель, обладающий даром поэтического проницания и прозрения, зовущий заблудившихся, грешных людей к спасению и покаянию, публично проповедующий законы Истины и Веры. Таков, по его мысли, и подлинный, *вещий* поэт, которому открыты тайны неба. Он не только «владетель умственных даров», но и проповедник, предсказатель, проникающий в глубины человеческой души.

В период духовного кризиса поэта рождается самое знаменитое его стихотворение **«Пророк»** (1826). Это удивительное по мощи внутреннего звучания произведение соединяет в себе величие ветхозаветных образов и страстную проповедь художника.

Тема «духовной жажды», столь важная для поэта, заявлена в «Пророке» как некое исходное условие существования мыслящей личности:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился...

Основой сюжета стихотворения послужила VI глава библейской книги пророка Исайи: «Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен».

Финал стихотворения – не только дань величию содержания священной Книги, но и обозначение той высочайшей меры ответственности, которую несет обладатель «божественного глагола» перед Богом и людьми:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Для Пушкина образ ветхозаветного пророка становится своеобразной эмблемой подлинного творчества, немыслимого без проникновения в истинную, пророческую его сущность. Об этом говорится и в позднейших пушкинских стихотворениях «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830) в основе содержания которых – проблема соотношения двух разных сфер бытия художника – его жизни в миру и бытия, даруемого минутами вдохновения:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.

Эти стихотворения Пушкина составляют своеобразный цикл, раскрывающий вечные тайны творчества.

Знаменитое стихотворение **«Анчар»** (1828) с его мрачным и величественным восточным колоритом напоминает о «Подражаниях Корану», а сама глубокая и точная постановка темы, великой, вечной проблемы мирового зла, темы власти человека над человеком, преступления и наказания ставит это загадочное стихотворение Пушкина рядом с его «Пророком».

Поэт знал, что природа не всегда равнодушна к человеку. В ней рассеяны, перемешаны добро и зло, жизнь и смерть. Пушкин создает свой миф об анчаре – древе яда, которое вобрало в себя мировое зло, стало угрозой человеку в «день гнева» природы:

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит – один во всей вселенной.

Зло материализовалось, оно проступает сквозь древесную кору в виде смертоносного яда, угрожающего всему живому.

Во второй части стихотворения тема зла получает новое развитие, ибо появляется второй план – жизнь людей. Возникает чеканная и трагическая в своей сущности формула:

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом...

Жестокий князь не щадит послушного «бедного раба» (поэт в нескольких выразительных словах описывает его жалкий шалаш и ложе из лыка), посылая его силою своей власти на верную смерть для упрочения и распространения своего тлетворного могущества. Так смерть становится расплатой за рабское сознание, вечный страх и послушание; маленький запуганный человек против воли способствует гибели других людей, превращается в такое же орудие зла и бесчеловечной власти, как и «послушливые стрелы» непобедимого владыки.

Проблематика «Анчара» охватывает всю мировую историю, обнажает зло общественного неравенства, ведущего к искажению сущности человека. Применительно к теме поэта духовное содержание «Анчара» явилось одновременно вечным и злободневным. Власть человека над человеком – это и проблема художника и власти в деспотическом государстве, проблема самого Пушкина, его трагической гибели.

Тему поиска целей и смысла творчества завершает стихотворение **«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»** (1836). Со времен римского стихотворца Горация (из его оды Пушкин взял латинский эпиграф) каждый из значительных русских поэтов создавал свой «памятник», размышляя о том, что же он оставит в памяти культуры и народа после своей смерти. Такие оды написали великие предшественники Пушкина – Ломоносов и Державин. Герой стихотворения – поэт *народной*, и потому уже в первой строфе образ нерукотворного памятника и ведущей к нему народной тропы сливаются воедино:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Он поэт *свободный:* его творческое наследие выше и грандиознее Александрийского столпа . Пушкин говорит о духовной и творческой независимости художника, о той внутренней свободе, без которой невозможно ни творить, ни устоять перед «хвалой и клеветой».

У пушкинской музы один закон – *правда,* она служит добру и свободе, пробуждает в людях «чувства добрые». И потому подлинным памятником великому национальному поэту стала его поэзия, в которой живет его неповторимая личность, гений и вещее сердце:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

В этом замечательном четверостишии есть важное слово «слава». Оно здесь имеет особый смысл. Жил и писал он не для славы,

хотя любил и желал ее, как всякий творческий человек. Слово «славен» означало «известен», и памятник ставится для того, чтобы не забывали и помнили. Пушкина и его поэзию будут помнить. Слова пушкинской оды высечены на гранитном постаменте знаменитого бронзового памятника поэту на площади его имени в Москве.

Выше говорилось о том, что поэтическое наследие Пушкина проникнуто мыслью о бессмертии. «Весь я не умру», «душа в заветной лире» – великая идея «памятника нерукотворного», достойно завершающая путь художника. Поэт много думал и писал о том, что же в творчестве, а следовательно, и в жизни вечно, останется навсегда, будет «прочнее меди и пирамид». Мысль эта зарождается в первых поэтических опытах Пушкина – ведь еще в лицее сказано им:

Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.

Если «Евгений Онегин» – «энциклопедия русской жизни» (Белинский), то пушкинская лирика – это энциклопедия любви. Поэт показал себя глубоким и чутким «знатоком в неведомой науке счастья».

...Что может быть важней
На свете женщины прекрасной?

Для Пушкина муза – женщина, слава – женщина, как и изменчивая фортуна, которой распоряжаются три богини-парки. Даже толпа у него «крылатой новизны *любовница* слепая». Его знание и понимание женской души удивляли современников и неизменно увлекали современниц.

Поэт воздвиг в своей лирике нерукотворный храм бессмертной любви к земным женщинам, и здесь немалая доля его собственного бессмертия.

В поэтическом мире любовной лирики Пушкина все уравновешено, гармонично, творчески завершено и тем самым оправдано. Здесь вольно живет свободная душа поэта – это лирика в полном смысле слова, где чувства даны в развитии, ибо это история бесконечно богатой, сложной, мятущейся души, жизнь великого сердца, история любви в тончайших ее движениях, во всем богатстве мы-

слей и переживаний. Лишь великая лирическая поэзия может полно высказать «свободную, кипящую любовь», сделать ее бессмертной. Лучше всего об этом сказано в «Евгении Онегине»:

Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум.

Казалось бы, схожая тема звучит и в знаменитом послании к А.П. Керн (**«Я помню чудное мгновенье...»**, 1825), спокойно переходящая к простодушным в своей откровенности словам:

И я *забыл* твой голос нежный, Твои небесные черты.

Но с забвением милого облика приходит общее угасание души, оставшейся «без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви». Картина жизни обесцвечивается, мрачнеет: это движение к духовному небытию, утрате вкуса к живым порывам. Новая встреча по прошествии бурных лет становится своего рода знамением свидетельством возвращения героя к жизни: «И сердце бьется в упоенье...» Возлюбленная названа *гением чистой красоты* (образ, заимствованный у В.А. Жуковского), то есть представлена как явление неземное, несущее в себе идеальные черты.

В элегии **«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»** (1829) поэт вспоминает о возлюбленной в дальнем и опасном кавказском путешествии, среди поэтических гор, на берегу бурной реки. Он вновь и вновь мысленно обращается к любимой с грустью, но уныние это не тяжело, не затемняет его духовного взгляда, памяти сердца:

...Печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой...

Эти движения влюбленной души выражаются в гениальном пушкинском восьмистишии **«Я вас любил: любовь еще, быть может...»** (1829). В признании лирического героя развернута целая любовная история: страсть, ревность, невозможность принятия «окончательных» решений и, наконец, разрыв: «Я не хочу печалить вас ничем».

Позднее творчество Пушкина отмечено высочайшими литературными достижениями: гениальный дар художника искал и нахо-

дил новые формы выражения. Наряду со стихотворениями и поэмами Пушкин создает ряд драматических произведений, обращается к прозаическому и стихотворному эпосу. «Корни его поэзии постепенно, медленно и глубоко проникали в глубь жизни и души человеческой», – отмечал критик П.В. Анненков. Своего рода «рубежным» произведением, создание которого свидетельствовало преодолении Пушкиным рамок господствующей тогда романтической традиции, стала трагедия **«Борис Годунов»** (1824–1825).

Создание «Бориса Годунова» стало очередным этапом неуклонного восхождения пушкинского гения к новым художественным достижениям. На этом пути можно обозначить ключевые периоды, важные этапы, когда поэт находился на вершине своих творческих возможностей, создавал целые созвездия шедевров, испытывал чувство полноты бытия. Понятно, что к таким взлетам он шел, готовился многие годы. Эти особые вехи пушкинского творчества названы *Болдинской осенью,* хотя первая такая осень уже была в ссылке в Михайловском.

Осенью 1830 года в своем нижегородском имении Болдино Пушкин завершил в основном «Евгения Онегина», написал поэму «Домик в Коломне» и сатиру «История села Горюхино», создал прозаический цикл «Повести Белкина» и четыре «драматических очерка», которые обычно именуются **«Маленькими трагедиями»,** – «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».

Трагедия «Борис Годунов» была народной, масштабной, то есть «большой». Называя свои «Маленькие трагедии» «сценами» и «опытом драматических изучений», Пушкин стремился определить их жанр и назначение. Он вовсе не считал эти пьесы камерными или незначительными по своей тематике и характерам. Их сюжеты взяты из западноевропейской жизни, являются обработками легенд и литературных сюжетов, продуманно отобранных автором и иногда выдаваемых за перевод. Это «вечные» сюжеты и образы: Пушкин намеренно отстраняется от русской истории, сюжетов и персонажей, уходя от неизбежных параллелей и аллюзии, от борьбы пристрастий и мнений, и поныне кипящей вокруг «Бориса Годунова».

Народ в «Маленьких трагедиях» отсутствует. Здесь нет войн и смут, переворотов, казней. Текст трагедий стихотворный, но сами диалоги и монологи разговорные, легкие, стремительные, им при-

суща особая выразительность, превратившая многие крылатые пушкинские фразы в часто цитируемые поговорки и афоризмы. Все скупо, сжато, замкнуто в пространствах комнат, подвалов, башен, трактирных залов, монастырских покоев и кладбищенских склепов.

Итогом болдинских «осенних досугов» явился еще один новаторский цикл, но уже в прозе **«Повести покойного Ивана Петровича Белкина»** (1830). В целом движение поэта-лирика и автора романа в стихах к драме и «смиренной прозе» позволило Пушкину расширить круг тем, дать место новым героям и реальной «прозе жизни», увереннее использовать пародию и сатиру, обновить язык прозаического повествования и драмы. Русская жизнь в 1830-е годы изменилась, иными стали люди, их характеры и исторический опыт. Действительность представлялась суровой и реальной, романтические герои и иллюзии отходили на второй план. Болдинской осенью Пушкин подводил некие предварительные итоги и потому творил так стремительно и плодотворно. Именно это имел в виду Лев Толстой, говоря, что Пушкин «двинул вперед форму».

Автором повестей назван смиренный Белкин, но за этим вымышленным лицом стоит мощный талант художника. Прочитав «Повести Белкина», Толстой был восхищен: «У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства». Сам же автор говорил: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат». Работая над «Повестями Белкина», Пушкин так обозначил одну из своих главных задач: «Языку нашему надобно воли дать более (разумеется, сообразно с духом его)».

Пушкин намеренно «отказывается» от авторства этих повестей и передает его Ивану Петровичу Белкину, человеку вымышленному, да еще и покойному. Повествователь – кроткий, честный, добрый человек, отставной офицер и помещик, получивший свое первоначальное образование от деревенского дьячка и заинтересовавшийся изящной словесностью. Эпиграф фонвизинского «Недоросля», предпосланный всему циклу, подчеркивает эту народность и простоту Ивана Петровича. Он и «собрал» эти повести, записав их от разных рассказчиков (они названы в предисловии) и обработав их по своему умению и усмотрению. Таким образом, Пушкин как подлинный автор «белкинских» повестей скрывается за повество-

ванием от лица простодушных рассказчиков, что дает ему большую свободу выражения и в то же время позволяет выразить свое отношение к этим историям.

«Повести Белкина» – простые занимательные истории об обычных людях простого звания (например, «Гробовщик» рассказан приказчиком Б.В.), а автор-собиратель их – маленький человек из этой же среды. Жизнь эта неярка и трудна, полна неурядиц, тревог, ссор с соседями и властями, различных притеснений и чиновничьих злоупотреблений, обмана и самодурства и требует повседневного изнурительного преодоления этих обычных житейских проблем. Вместе с тем эти простые люди хотят быть счастливыми, желают лучшей жизни для своих близких, борются за свое будущее. Именно эти неистребимые начала жизни привлекли Пушкина к «демократической» прозе.

Тема его повестей – *счастье* человека в народном его понимании. В «Повестях Белкина» звучит мысль о том, что нет безвыходных положений, а есть неустанная борьба с жизненными препятствиями, успех которой зависит от воли и характера человека.

Сильвио, герой повести **«Выстрел»,** явился из уходящей эпохи романтизма. Это красивый и сильный человек, цельная, страстная натура. Он назван экзотическим нерусским именем, напоминающим загадочных и роковых героев романтических поэм Байрона и молодого Пушкина («его необыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы»). Он служит в гусарском полку, по-русски буянит, пьет, играет в карты, стреляется на дуэлях до тех пор, пока не вступает в неравную борьбу с красивым, богатым и знатным сослуживцем, удачливым во всем – службе, чинах, деньгах, картах, любви, даже в смертельном поединке. Незнатный, но гордый храбрец Сильвио обладает незаурядным, но мало приспособленным для обычной жизни искусством меткой стрельбы. И великий стрелок всю жизнь свою потратил на то, чтобы повернуть фортуну к себе лицом, изменить свою судьбу и отомстить графу, отстояв свое внутреннее превосходство. Он – одинокий романтик, и все его средства и методы самоутверждения эффектные, романтические: месть, отложенная дуэль, внезапное явление с пистолетами к счастливцу-графу, новый смертельный поединок и отметина в картине, красиво ставящая точку в этой роковой истории. Сильвио отстоял свою честь под дулом пистолета, переступил через свой трагический романтизм и великодушно простил врага. Но ме-

ста в обыденной русской жизни этой экзотической личности уже нет, и Сильвио совершает последний свой героический поступок – участвует в освободительном восстании греков и погибает в бою с турками. Пушкин пародирует здесь распространенный в то время жанр романтической повести, но сама история схватки гордого человека с судьбой звучит скорее драматично, нежели пародийно.

В сюжете повести **«Метель»** угадываются черты романтической баллады Жуковского: неравная любовь, родительский запрет, ночь, зима, метель, тайная свадьба в удаленной церкви, сани, несущие богатую невесту по снежной дороге к нищему жениху... Борьба Марьи Гавриловны за свое счастье разворачивается в духе французских романов и немецких баллад. Но жизненная реальность постоянно просвечивает сквозь романтическую книжную: невеста убегает из дома в теплом капоте, прихватив шкатулку с драгоценностями и два узла с вещами; жестокие родители соглашаются на неравный брак, бедный жених погибает от ран, полученных при Бородине. Жизнь реальная богаче и интереснее романтической баллады, впрочем, она же гораздо суровее и прозаичнее. Жизнь – царство случая. Старая комическая путаница с женихами приводит героиню повести к новому, выстраданному счастью.

В **«Гробовщике»** Пушкин еще раз возвращается к сюжету оперы Моцарта «Дон Жуан». Адриан Прохоров тоже приглашает к себе в гости покойников, но этот неожиданный званый пир у гробовщика связан не с любовными приключениями, а с его мрачным ремеслом, приводящим к повседневному общению со смертью. Пушкин с неожиданно бытовой и даже комической стороны подходит к очень серьезной теме, заявленной им в «Пире во время чумы». Живой человек посвятил себя смерти, похоронам, покойникам, ему обидно слышать попреки живых и незатруднительно пригласить к себе на новоселье своих клиентов-мертвецов. Автором повести пародируются опера Моцарта и романтические «страшные истории». Но все эти ужасы приземлены, растворены в обычном петербургском быте, являются частью профессии и частной коммерции. Огрубевшая душа гробовщика даже не ощущает страха при явлении потусторонних гостей. Адриан вспоминает только, по какому разряду и в каких гробах он их хоронил, какова была его прибыль. И явление мертвецов нисколько не меняет образ мыслей и жизнь гробовщика: он радуется, узнав, что его приключение – лишь пьяный тяжелый

сон, и продолжает жить дальше, кормясь своим мрачным, но прибыльным делом. Такова история гробовщика, позволившая нам не только заглянуть в его заскорузлую душу, но и увидеть маленькую картинку реальной питерской жизни в ее разнообразных, противоречивых проявлениях (Адриан Прохоров – отнюдь не «мертвая душа»: в финале обрадованный герой спешит увидеть дочерей, и это теплое человеческое проявление вполне вписывается в рамки «срединной» русской жизни).

Повесть **«Барышня-крестьянка»** остроумно пародирует знаменитую трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта». Помещики, Муромский и Берестов, один надутый англоман, другой медвежеватый поклонник всего русского, издавна враждуют из-за какой-то мелочи. Между тем юные Алексей Берестов и Лиза Муромская, ровесники и богатые наследники, оказываются заложниками родительской вражды. И все же молодым предстоит встретиться и полюбить друг друга, пройдя перипетии затейливой комедии с перевоплощением барышни Лизы в крестьянку Акулину. Однако реальное счастье их зависит не от этого увлекательного деревенского романа, а от пугливости куцей кобылки, сбросившей на охоте старого Муромского на мерзлую землю. Помирившись и подружившись, старики решили все за молодых. Не нужно было всех этих водевильных переодеваний, переписки, тайных любовных встреч – все эти сложные романтические взаимоотношения новых Ромео и Джульетты отменены простым счастливым стечением обстоятельств.

Центр и вершина пушкинского цикла – повесть **«Станционный смотритель».** По выразительности и емкости сюжета, стройности композиции, ярким характерам это маленький, сжатый роман, оказавший влияние на всю последующую русскую прозу. Здесь также изображены простые люди, и сама их история была бы простой, если бы не вмешательство различных житейских обстоятельств. Немецкие гравюры с историей блудного сына показывают, по какому направлению мог бы разминаться сюжет повести. Однако у действия повести имеется своя реальная логика, противоречащая спрямленной житейской мудрости и библейскому нравоучению.

Пушкин выстраивает повесть на развитии двух судеб и характере» и отца и дочери. Станционный смотритель Самсон Вырин – старый и заслуженный (три медали на полинялых ленточках) отставной солдат, человек добрый и честный, но грубоватый и простодушный.

Он находится в самом низу Табели о рангах, на низшей ступени социальной лестницы.

Каждый проезжий дворянин мог оскорбить, накричать, ударить «маленького человека», хотя его чин 14 класса все же давал право на личное дворянство. Всех гостей встречала, утихомиривала и поила чаем красивая и бойкая Дуня четырнадцати лет.

Эта семейная идиллия не могла продолжаться вечно, и кончилась она на первый взгляд плохо: проезжий молодой красавец гусар Минский влюбился в Дуню, ловко разыграл болезнь, добился взаимного чувства и увез, как и полагается гусару, плачущую, но не сопротивлявшуюся девушку на тройке в Петербург.

Не примирившись с обидой, отец отправляется в Петербург спасать дочь, которую, как Вырин не без оснований считал, соблазнитель скоро бросит, выгонит на улицу («Авось, – думал смотритель, – приведу я домой заблудшую овечку мою»). Само укоряющее явление страдающего отца в доме Минского было важно для дальнейшего развития этой истории и для судьбы его Дуни. Все оказывается сложнее, нежели представлял себе старый смотритель: ротмистр любит его дочь и к тому же оказывается человеком совестливым, честным. И красавица Дуня отвечает похитителю сильным, искренним чувством. Страдания бедного отца, вынужденного вернуться на станцию, сильны и искренни («Долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне...»). Вопреки нравоучительным картинкам о блудном сыне дочь так и не приехала навестить спивающегося от горя отца, не была и на его похоронах.

Казалось, все опасения смотрителя и уроки житейской мудрости сбылись. Однако история Дуни развивается по своей логике. Приезд на бывшую почтовую станцию прекрасной барыни с тремя маленькими барчатами на роскошной карете шестерней показал, что все это время Дуня решительно боролась за свое счастье и в конце концов победила. Мы не знаем всех тех препятствий, которые ей пришлось преодолеть. Возможно, знатная и богатая семья Минского была против неравного союза, светское общество тоже; может быть, и сам он не очень стремился к браку (разрешение на брак гвардейского офицера давал сам государь, который навряд ли одобрил бы женитьбу на дочери простого солдата).

Тем не менее в финале мы видим Дуню блистательной барыней. Придя на печальное сельское кладбище, она молча легла на могилу

отца и «лежала долго». Так проявляется простое величие искреннего горя и раскаяния.

«Повести Белкина», ярко и многогранно отразившие различные проявления русской «срединной» жизни, написаны удивительно ясным, лаконичным, безыскусственным языком (этим особенным, «пушкинским» стилем отмечены и такие прозаические шедевры писателя, как незаконченный роман «Дубровский» и историческая повесть «Капитанская дочка»). За внешней простотой «Повестей...» скрываются глубокие авторские обобщения, позволяющие понять и почувствовать трагические сплетения реалий «обыкновенной жизни». Наряду с драматургическими опытами проникновения в вечные законы человеческого бытия эпос Пушкина вбирает и себя злободневное и непреходящее, «высокое» и «низкое», великое и малое.

Яркие достижения Пушкина-художника в области реалистической прозы не заслонили его лирического дара: рубеж 1820–1830-х годов стал для поэта периодом небывалого творческого подъема. Испытав тяжелейший кризис, связанный с разгромом декабристского движения, Пушкин остался верен идеалам, которые сблизили его с людьми разных взглядов («Я гимны прежние пою» – такое признание прозвучит в известном стихотворении «Арион»,1827). В январе 1827 года поэт передаст А.Г. Муравьевой, отъезжающей в Сибирь к ссыльному мужу, стихотворное послание **«Во глубине сибирских руд...»**, адресованное друзьям-декабристам:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Тема свободы по-прежнему остается важнейшей для Пушкина в 1830-е годы, но постепенно отходит на второй план, уступая место философскому осмыслению внутренней свободы как важнейшего слагаемого человеческого «я». Этой теме посвящено стихотворение **«Бесы»** (1830), написанное в Болдине:

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.

Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

Сам ритмический строй стихотворения передает внутреннее напряжение лирического героя, его душевный надрыв. Это не просто мираж, дорожное наваждение – это мрачное соединение внутренней и внешней дисгармонии мира («Сбились мы. Что делать нам!»). Кружение «бесов разных» возникает как некое подтверждение общего кризиса и упадка («Пушкина <...> убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха», – напишет позже поэт Александр Блок).

И все же главной чертой пушкинского гения является светлое, жизнелюбивое начало. Отсутствие гармонии в мире порождает новую веру, поиск устойчивых основ бытия.

Речь идет о творческом покое и о свободе вдохновенья, без которых невозможно существование художника. Именно о них говорится и знаменитом лирическом отрывке «**Осень**» (1833).

В пушкинских пейзажных картинах поражают точность, любовно выписанные предметы и характерные детали: промерзшая дорога, застывший от первых заморозков пруд, «бешеная забава» охоты, зимний бег саней и катание на коньках, широкая масленица с ее гуляньями и блинами и встреча весны, тяжелый летний зной, пыль, докучливые комары и мухи.

Поэт тонко чувствует милую, тихую красу поздней осени, с удовольствием рисует ее «пышное увяданье». Все бранят эту скучную, холодную, дождливую пору, тогда как герой стихотворения видит в ней новый расцвет природы и своего творческого дара, духовных и физических сил: «И с каждой осенью я расцветаю вновь...» Это пора внутренней зрелости.

Уснувшая природа уступает «поле битвы» человеку, и это передается через образ бешеной веселой скачки по осенним раздольям полей и лесов; причем радость и полноту жизни ощущает не только посвежевший всадник, но и его могучий конь, бьющий звонкими копытами. Накопленная жизненная энергия выливается в творчество, пробуждается поэзия:

Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем...

Поздняя лирика Пушкина – в определенном смысле «поэзия итогов»: заметно движение поэта к своим истокам, к тем вехам памяти, без которых невозможно «самостоянье человека». Одна из таких важнейших жизненных «опор» – лицейская дружба, не меркнущая под тяжестью прожитых лет.

Есть и память рода, связующая прошлое, настоящее и будущее. В элегии **«...Вновь я посетил...»** (1833) явлен образ быстротекущего времени, уносящего вместе с собой надежды и иллюзии прошлых лет: «Уж десять лет ушло с тех пор – и много / Переменилось в жизни для меня». Описание родового гнезда поэта наполнено приметами уходящего времени: ветхий домик покойной няни, скривившаяся мельница, «устарелые корни» сосен... Но на этом безотрадном фоне, напоминающем о конечности человеческого бытия, возникает мысль о бессмертии, перекликающаяся с содержанием стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Образы грех сосен, отмечающих границу «владений дедовских», и молодой рощи, разросшейся у их корней, символизируют вечные законы движения жизни и одновременно свидетельствуют о существовании родовых знаков памяти, подобных мифологическому «древу жизни»:

<...> Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.

Вся пушкинская лирика устремлена к жизни, проникнута неистребимой верой в творческие возможности человека, перевоссоздающего этот мир на духовных началах. «Но не хочу, о други, умирать; / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» – так выразит поэт вечно воспеваемое им «бытие – к – жизни». В основе же этого бытия – великие незабываемые чувства, возвеличивающие человека:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Эти строки – не только свидетельство гениальности написавшего их поэта, но и вечная формула духовного самосохранения нации, способной являть миру величайших художников и мыслителей.

Роман «Евгений Онегин»

Пушкинский роман в стихах **«Евгений Онегин»** (1823–1831– полн. 1833) – не только самое известное произведение писателя, но и некий ключ к пониманию его творческой личности, самой эволюции его литературного пути.

Пушкин начал писать роман весной 1823 года в Кишиневе и в целом завершил его в «болдинский» период – осенью 1830 года. Работа над «Онегиным» продолжалась и после Болдина: в знаменательный «лицейский» день 19 октября того же года Пушкин сжег рукопись «опасной» десятой главы, пронизанной декабристскими настроениями, а в октябре 1831 года написал «Письмо Онегина к Татьяне», включенное затем в последнюю главу романа. Из общего «плана» произведения была изъята глава о путешествии Онегина, что коренным образом изменило первоначальный пушкинский замысел. Исходно композиция романа предполагала наличие трех частей по три главы в каждой.

Однако внешний структурный «порядок» занимал автора значительно меньше, нежели «внутренний» эмоционально-художественный строй произведения. «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии <...> Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы», – писал критик В.Г. Белинский.

В первой главе автор-повествователь делится своими воспоминаниями с читателями:

Я думал уж о форме плана
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу...

Начиная «большое стихотворение», Пушкин не сразу пришел к идее «лирического эпоса», но уже в 1823 году он поделился с П.А. Вяземским своим открытием: «Я теперь пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская разница». Эту разницу читатели-современники не вполне смогли уловить: от Пушкина ждали привычных романтических коллизий с участием героя, являющегося alter ego (вторым «я») автора, как это было принято в произведениях поэтов-романтиков. В пушкинский «план» эти привычные литературные клише не входили: в романе герой носит «нейтральную», ни на кого не указывающую фамилию, наблюдается удивительное смешение тематически разнородных глав – «полу смешных, полу печальных, простонародных, идеальных».

Герои романа Пушкина навсегда остались для русских читателей живыми, близкими людьми, чьи образы и судьбы волновали, заставляли мыслить. Это этапная книга, вобравшая в себя предшествующие творческие открытия поэта.

Вдохновенный, подчас ироничный, но всегда искренний разговор автора с читателем удивительно свободен, ничто не сковывает поэта. Автор становится главным действующим лицом своего романа в стихах, неравнодушным «режиссером» романного действа. Он с легкостью переходит от судьбы героев к собственным рассуждениям и воспоминаниям, иногда спокойно обрывает свой рассказ, по цензурным и иным соображениям изымает целые главы и важные эпизоды и даже саму сюжетную канву романа намеренно оставляет незавершенной. И лишь потом читатель осознает внутреннюю законченность пушкинской книги. Эта органическая цельность, единство разнородных тем, образов и мыслей – итог вдохновенного труда художника:

Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум...

Мы видим поэта в непрестанном движении, «живом и постоянном» творческом действе; вослед автору стремительно движется, продуманно развивается и его повествование в стихах.

Чувство реального времени важно для поэта, отметившего в примечаниях: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю».

В пушкинском повествовании ощутима определенная историческая дистанция: напомним, что Онегин и Ленский встретились в 1820 году, а роман о них завершен через десять лет в Болдине. Такая временная динамика не укладывалась в «пестрые строфы романтической поэмы», которая могла стать лишь «собраньем пестрых глав» и «рассказом несвязным» и принять только форму романа:

И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.

Свободное течение повествования, удаленность сюжетной перспективы не означали невнимания автора к самой форме художественного высказывания: она изначально была продумана и строго организована. Речь идет о знаменитой «Онегинской строфе», емкой, состоящей из четырнадцати рифмованных строк, связанных единой тематикой.

Каждая глава «Евгения Онегина» движима продуманным сцеплением завершенных строф. В отличие от романтической поэмы, роман в стихах позволяет соединять высокую поэзию с прозой жизни, вводить в состав действующих лиц сатирические портреты-шаржи, изображать характеры людей самых обычных, с их повседневными заботами и жизненными стремлениями («самый ничтожный предмет может быть изображен стихотворцем» (Пушкин).

Эти срезы, картины русской жизни обретают свою динамику благодаря близости «Евгения Онегина» к «литературе путешествий»: вместе с автором, главным героем и другими персонажами читатели странствуют по всей России, от Петербурга и Москвы до Одессы и Кавказа. Образом «путешествующего» героя, с его меняющимся мировосприятием, а также авторской точкой зрения объединяются развитые типы жизненного уклада и культуры. Это логика движения и изменений простирается за рамки открытого финала: ведь согласно первоначальному пушкинскому замыслу Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или примкнуть к декабристам, о чем Пушкин намеревался сказать в десятой главе. Судьба главного героя – это путь странствий и духовных исканий, встреч и прощаний, открытий и разочарований, путь не только Онегина, но и самого Пушкина. Так рождается художественная «энциклопедия русской жизни» (Белинский).

Пространство пушкинского романа в стихах представлено множеством персонажей. Но в центре внимания – три самобытных, соотносящихся друг с другом характера: Татьяна Ларина, Евгений Онегин и Владимир Ленский.

Длительность создания романа повлияла на характер бытования героев в тексте: с годами менялся сам поэт, менялось и его отношение к своим героям

Главным героем пушкинской эпохи являлся молодой романтик, и именно он должен был занять в пушкинском произведении главное место. Сам романтизм, в свою очередь, делился на два направления, две школы – мятежную и мрачноватую поэзию Байрона и его подражателей и светлую и мечтательную «немецкую» лирику, главным последователем которой в России был поэт и переводчик Жуковский. И если рассудочный скептик и эгоист Онегин может быть отнесен к «байроническому» направлению «образованного меньшинства», то мечтательный и наивно-доверчивый поэт Владимир Ленский, «немецкий студент» и элегический лирик, являлся символом сентиментального романтизма (в нем проглядывали черты В. Кюхельбекера и Н. Языкова, молодых поэтов и друзей Пушкина).

Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный...

Владимир Ленский – не только лирик, писавший романтические элегии, отразившие жизнь сто сердца, движения молодой души, идеальную любовь к Ольге. Пушкин называет его «поклонником славы и свободы», упоминает о его «вольнолюбивых мечтах», а в черновиках Ленский назван «крикуном, мятежником и поэтом». В то же время он богат, владеет большим имением и крепостными. Ленский с Онегиным увлеченно беседуют не только о литературе, но и о текущей политике, судьбах царей и народов, обсуждают философские проблемы. Это обычные темы дружеских разговоров либеральной дворянской молодежи.

Поэту Ленскому присущи все характерные черты романтика элегического склада: пылкость, мечтательность, наивность, юношеская доверчивость («он сердцем милый был невежда»). В согласии с заветами Жуковского восторженная душа восемнадцатилетнего

юноши выявилась в его лирических стихах и поэмах. Пушкин подробно описал его поэтическое творчество: это в основном любовные элегии и послания, «отрывки северных поэм» и песни, в которых звучат «сердца исповедь» и «доверчивая совесть». Любовь восторженного поэта к Ольге романтична, он робко и нежно любит во многом придуманную им идеальную деву, а не реальную уездную барышню из патриархального помещичьего семейства Лариных. Эта наивность, ревнивая пылкость и обидчивость и привели Ленского к роковой дуэли, накануне которой он читает Шиллера, этого представителя литературы «бури и натиска».

Таким образом, «отдав честь» романтизму, автор не делает главным героем пылкого поэта-романтика. Этим главным лицом становится приятель автора-повествователя и носитель «русской хандры» Евгений Онегин.

С самого начала романа мы видим постоянное внимание автора к своему герою: продуманная в своей последовательности характеристика, рассказ о детстве, отрочестве и юности, описание характера, быта, увлечений и развлечений... Пушкин следит и за датами, «хронологией» судьбы Онегина: герой его родился в 1795 году, во время встречи в деревне с Ленским и Татьяной ему двадцать пять лет. Очевидна близость Евгения к героям романтических поэм Байрона (портрет великого английского романтика внимательная Татьяна видит в деревенском кабинете Онегина) и самого Пушкина (Евгений напоминает разочарованного Пленника («Кавказский пленник»), самолюбивого и своевольного Алеко («Цыганы»),

Однако пушкинский Онегин – не романтический злодей или мрачный мятежник и мститель, он прежде всего обычный русский человек, отнюдь не гений, но умный образованный молодой дворянин, современник и приятель автора, то есть «типический характер в типических обстоятельствах», представитель своего поколения («Знаком он вам? – И да и нет»).

Характер героя показан в развитии. Автор уверяет читателей, что после разочарования во всех модных масках и напускном байронизме Онегин просто явится перед нами «добрым малым», «как вы да я, как целый свет». Потому так важны для Пушкина даты и приметы времени.

Тем не менее Евгений Онегин не просто «тип», «характерный представитель», а самобытный, живой характер, проявляющий себя

в конкретных жизненных ситуациях. Пушкин называет Евгения «модным тираном», «чудаком печальным и опасным», «преданным безделью» и изысканной роскоши, говорит о его «диком нраве», эгоизме и скепсисе, душевной пустоте и холодности, неспособности к «труду упорному», о желчном, насмешливом характере, «резком, охлажденном уме». Его кумиры, образцы для подражания – «гордости поэт» Байрон и великий Наполеон с их высокомерным презрением к людям «обыкновенным». Поэтому Евгений нелюдим: «Людей он просто не любил». Он безоглядно тратит в столице восемь лет на светские забавы, на «науку страсти нежной», но отвергает искреннюю любовь уездной барышни. Следуя дворянским предрассудкам и страшась им же презираемого «общественного мнения», Онегин убивает своего юного друга, причем накануне его счастливой женитьбы.

Пушкин беспощаден в *художественной* критике своего главного героя. Однако Онегин – молодой человек, с умом трезвым и ищущим, характер живой, сложный, развивающийся, внимающий суровым урокам реальной русской жизни. Он наделен незаурядными свойствами натуры и яркими личностными качествами.

За красивой позой, за модными привычками столичного денди, рассудочным эгоизмом и разочарованностью скрываются живой независимый ум и доброе сердце, сильный характер, хорошее знание людей, «души прямое благородство». Скептический мизантроп, Онегин в глубине души жаждет любви и дружбы. Иначе не полюбила бы его чуткая сердцем Татьяна:

Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.

Безусловно, Онегин не антигерой, принимающий на себя все язвы «больного века». Он «жить торопится и чувствовать спешит» (вспомним эпиграф к 1 главе романа), но в какой-то момент «быстрой» петербургской жизни перестает чувствовать вкус к этой жизни, впускает в душу «хладный яд» скептического бесчувствия. Авторское отношение к онегинской «хандре» двойственно. С одной стороны, это неизбежная «болезнь роста», известная повествователю («Кто жил и мыслил, тот не может / В душе не презирать людей»). Но это состояние мыслится как временное, переходное для зреющей души. Для Онегина же оно становится тяжким *душевным недугом:*

Он застрелиться, слава Богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.

Жизнь, идеалом которой становится эгоистическое стремление к «вольности и покою» в отъединенности от других людей и их чувств, становится дорогой в никуда. Поэтому внешние перемещения героя ничего не меняют в его внутренне бесплодном существовании:

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубравы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле...

Усадебная жизнь, «привычки милой старины» не вызывают в душе Онегина должного отклика, а в семье Лариных и среди соседей он выглядит каким-то «русским иностранцем» («Какие глупые места!» – такова реакция Онегина на визит в ларинские пенаты). Даже «реформы», произведенные героем в собственном имении, выглядят как дань либеральной моде, лишенной сочувствия к облагодетельствованным крестьянам. Единственным островком «светской жизни» в провинции является для Онегина общество Ленского, героя «другого романа». В этой дружбе изначально заложен некий порок, ибо Онегин дружит «для себя» и его отношение к Ленскому – снисходительное покровительство «старшего». И здесь охлажденный ум Евгения проявляет себя с наиболее страшной стороны.

Неизбывное чувство вины, «тоска сердечных угрызений», муки совести после убийства друга гонят Онегина в странствия:

Оставил он свое селенье,
Лесов и нив уединенье,
Где окровавленная тень
Ему являлась каждый день.

Герой сам вершит над собой суровый суд и этим отличается от гордого преступника Алеко из поэмы «Цыганы», осужденного и изгнанного вольным народом. Как уже отмечалось, Онегин, решив, что счастье ему недоступно, пытается найти ему замену и забвение в отстраненном спокойствии. Но и здесь он трагически ошибся,

причем замечательный нравственный урок преподала ему умудренная жизнью и любящая его Татьяна, назвавшая все модные светские увлечения и красивые маски Онегина «ветошью маскарада». Онегинское письмо к ней становится важной вехой в жизни героя, а отказ сильной духом Татьяны избавляет Онегина от очередной трагической ошибки.

Я знаю: век мой уж измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

В «открытом» финале Пушкин оставляет своего героя, потерявшего друга и любимую женщину, на пороге новой жизни, которая простирается за рамки романного действия. Автор верит в него, и эта вера передается читателю.

О пушкинской Татьяне Лариной Достоевский, споря в своей речи с Белинским, говорил: «Это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда... Э то тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины». Автор назвал ее «милым идеалом» и признавался, что «модный тиран» Онегин во многом недостоин его любимой героини.

Само неспешное течение жизни провинциальной девушки (о ее предшественнице Людмиле из известной поэмы-сказки Пушкин сказал: «Мне нрав ее всего дороже») узнаваемо и характерно: чтение чувствительных романов, гаданье о суженом, вера в приметы, крещенские страхи, вещие сны и их толкование по старинной книге Мартына Задеки, разговоры с няней, девичье любопытство и упрямство, доверчивость, мечтательность, страстность, сильный характер, нежное сердце, сложившиеся жизненные принципы и идеалы. С удивительной откровенностью и смелостью пишет эта скромная уездная барышня чужому, едва знакомому молодому мужчине, легко и быстро переходя на «ты»:

Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает...

Выращенная крепостной няней в патриархальной русской семье, Татьяна избежала влияния иностранных «мамзелей» гувернанток

и стала, по знаменитому выражению Пушкина, «русская душою». Отсюда ее любовь к природе (замечательно по своей поэтичности прощание Тани с родными местами) и чудный вещий сон в 5 главе романа. Она ближе всех из персонажей пушкинского романа к народной среде, ее вере и нравственности, хотя ее знаменитое письмо и написано по-французски.

Интересно, что и другие герои романа отмечают характерные черты Татьяны. Например, Ленский сравнил молчаливую и задумчивую Татьяну с русской девушкой Светланой, героиней сказочной баллады Жуковского.

А Пушкин назвал свою героиню «девчонкой нежной» и «простой девой». Онегин отметил, что письмо героини написано «с такою простотой, с таким умом».

В милой героине романа нет ничего наносного, неискреннего, нет кокетливой позы и набора банальных фраз светской девицы на выданье. Пушкин постоянно подчеркивает, что Татьяна «любит без искусства», «любит не шутя» и что лишь ее сильная жертвенная любовь смогла бы примирить Онегина и Ленского. Не случайно в ее скромном девичьем облике он представляет в романе и свою музу.

Этот цельный, сильный и глубокий характер русской женщины выразился в замечательных разговорах ее с няней, в момент написания письма Онегину, во время посещения кабинета Евгения, явлении на балу в 8 главе («так смела», «покойна и вольна») и, наконец, в знаменитой сцене решительного объяснения с Онегиным. Мы видим, как много перечувствовала, передумала, перестрадала эта доверчивая девочка «из глуши степных селений», в итоге став мудрой разумом и сердцем женщиной, неприступной богиней высшего света. Однако Пушкин сразу отделяет ее от знаменитых светских красавиц, как ранее подчеркивал ее несходство с прелестной, но внутренне бесцветной Ольгой:

Никто б не мог ее прекрасной
Назвать...

Другое присуще Татьяне – красота духовная, доброта, нравственная сила и вера. Она сохранила в себе лучшее от несмелой и простой Тани, помнит о прошлом, о своем сельском доме, старушке няне, встрече с Онегиным, своих «любви безумных страданиях», о столь возможном и близком счастье. Но находит в себе силы спокойно и

достойно сказать любимому и любящему ее человеку знаменитые слова признания и прощания:

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Пушкинский роман в стихах продолжает лучшие традиции русской классики: в нем мы встречаем «следы» Фонвизина (на именинах Тани появляется «Скотининых чета седая») и Грибоедова (его комедию Пушкин прочитал в Михайловском и взял из нее один из эпиграфов). Изображая сельское и столичное дворянское общество (и даже самого императора Александра I в 10 главе) в духе общественной сатиры и политического памфлета, Пушкин тем самым предвосхищает «Мертвые души» Гоголя и «Историю одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Вместе с тем автор романа помнит, что из этого же социально несовершенного, но хранящего нравственные идеалы, высокую культуру и «предания русской старины» общества появились Татьяна, Онегин, Ленский, он сам, его лицейские друзья, его приятель Грибоедов, герои 1812 года. Недаром в «московской» 7 главе звучит хвала поэта древней столице и ее гордым жителям, не склонившимся перед «нетерпеливым героем» Наполеоном:

Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Замечательна и патриархальная семья помещиков Лариных, в описании которой добрый юмор соединился с поэтической сельской идиллией. Хорошо сказал об этом Белинский: «Он любил сословие, в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества и к которому принадлежал сам, – и в «Онегине» он решился представить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с ним и общество в том виде, в каком оно находилось в избранную им эпоху, т.е. в двадцатых годах...»

Пушкинский роман по праву является «энциклопедией русской жизни» не столько в силу широкого охвата изображаемого (автор по преимуществу показал жизнь дворянского сословия), сколько благодаря содержательному, тематическому богатству самого диалога автора с читателем (не случайно исследователи пушкинского

творчества называют «Евгения Онегина» «романом-разговором»).

Последние слова романа также обращены к читателю: автор дает понять, что дальнейший путь Онегина связан с выбором самого героя, тогда как коллизия данного повествования исчерпана сценой финального объяснения Онегина и Татьяны. Оставляя героя «в минуту злую для него», автор как бы дает ему шанс переосмыслить прежнюю жизнь и принять важные решения, которые могут кардинально изменить его судьбу.

Последняя встреча героев духовно уравнивает их, связывает общей драмой любви и пониманием подлинных, вечных ценностей этой жизни. К этому и шел автор, проживающий судьбы своих героев и приведший их к «идеальному» диалогу о главном. Это главное, сущностное и делает пушкинский роман произведением вневременным, творением «эпической музы» великого художника. Оно по-прежнему живет, читается, ставится на сцене, звучит в музыке, волнует, помогает понять русскую культуру и русскую душу. Не случайно Пушкин в конце 2 главы романа высказал надежду, что «Евгений Онегин» останется в памяти потомков, тронет их сердца, напомнит о его создателе:

И этот юный стих небрежный
Переживет мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть, о друзья:
Воздвигнул памятник и я.

Вопросы:

1. На какие этапы делится творчество Пушкина? Кратко охарактеризуйте каждый из них.

2. Что определило специфику «петербургского» периода пушкинского творчества? Какие идеи нашли свое выражение в вольнолюбивых произведениях поэта (стихотворения «Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву» и др.)?

3. В чем своеобразие «южных» стихотворений и поэм Пушкина? Как проявилось в них влияние поэзии Дж.Г. Байрона? Что определяет звучание сюжетов и образов в произведениях данного периода?

4. В чем заключается художественно-эстетическое и духовное богатство пушкинской любовной лирики? Проанализируйте с этой точки зрения один из шедевров поэта.

5. Почему стихотворение «Пророк» (1826) считается «поворотным» явлением в пушкинской творческой биографии? Какова роль библейских мотивов и образов в «Пророке»?

6. В каких произведениях поэта затрагивается тема художника и власти? Каким образом она раскрывается в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»?

7. Каковы особенности формы повествования и тематики «Повестей Белкина»? Как соотносятся в них пародийные мотивы и реалистическая «проза жизни»?

8. Что составляет философскую проблематику поздней лирики Пушкина? Проанализируйте одно из произведений данного периода.

9. В чем «дьявольская разница» (выражение Пушкина) между традиционным романом и пушкинским романом в стихах «Евгений Онегин»? Какова сюжетно-композиционная структура романа?

10. Что представляет собой «Онегинская строфа»? Проиллюстрируйте ее особенности на примере конкретной строфы из «Евгения Онегина».

11. Как представлен в романе «онегинский тип»? (С привлечением материала статей 8–9 В.Г. Белинского о творчестве Пушкина.) Неизменна ли авторская оценка главного героя на протяжении повествования? Что сближает и что отдаляет друг от друга Онегина и автора?

12. Как развиваются в пушкинском романе параллели «Онегин – Ленский» и «Онегин – Татьяна»? Что явилось причиной «поражения» главного героя в дружбе и любви?

13. Каким предстает в романе «Татьяны милый идеал»? В чем главное обаяние героини?

14. В чем смысл «открытого» финала «Евгения Онегина»? Каково ваше понимание «энциклопедизма» пушкинского «свободного романа»?

Темы сочинений:

1. Тема дружбы и любви в пушкинской лирике.
2. «Хочу воспеть Свободу миру...» (Вольнолюбивые мотивы в лирике А.С. Пушкина.)
3. Образ «взыскательного художника» в лирике А.С. Пушкина.
4. «Повести Белкина»: герои, проблематика, стиль.
5. Автор и его герой в романе «Евгений Онегин».

5. Образ идеальной героини в романе «Евгений Онегин».
7. Испытание дружбой и любовью (по роману «Евгений Онегин»),
8. В чем идейный смысл финала «Евгения Онегина»?

К Чаадаеву

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Поэт

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал –
Наследье бранного востока.

Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
И не одну порвал кольчугу.

Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и обидным.

Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина.

Теперь родных ножон, избитых на войне,
Лишен героя спутник бедный,
Игрушкой золотой он блещет на стене –
Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь с зарей,
Никто с усердьем не читает...

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, котрой свет
Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык,
Нас тешат блестки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

1818

Деревня

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.
Я твой: я променял порочный двор цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.
Я твой: люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крилаты;
Везде следы довольства и труда...
Я здесь, от суетных оков освобожденный,
Учуся в истине блаженство находить,
Свободною душой закон боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвещенной,

Участьем отвечать застенчивой мольбе
И не завидывать судьбе
Злодея иль глупца – в величии неправом.
.....
Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор

Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея.
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар
И не дан мне судьбой витийства грозный дар?
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

1819

К морю

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас,
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

1824

ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ

IX

И путник усталый на бога роптал:
Он жаждой томился и тени алкал.
В пустыне блуждая три дня и три ночи,
И зноем и пылью тягчимые очи
С тоской безнадежной водил он вокруг,
И кладез под пальмою видит он вдруг.

И к пальме пустынной он бег устремил,
И жадно холодной струей освежил
Горевшие тяжко язык и зеницы,
И лег, и заснул он близ верной ослицы –
И многие годы над ним протекли
По воле владыки небес и земли.
Настал пробужденья для путника час;
Встает он и слышит неведомый глас:
«Давно ли в пустыне заснул ты глубоко?»
И он отвечает: уж солнце высоко
На утреннем небе сияло вчера;
С утра я глубоко проспал до утра.
Но голос: «О путник, ты долее спал;
Взгляни: лег ты молод, а старцем восстал;
Уж пальма истлела, а кладез холодный
Иссяк и засохнул в пустыне безводной,
Давно занесенный песками степей;
И кости белеют ослицы твоей».
И горем объятый мгновенный старик,
Рыдая, дрожащей главою поник...
И чудо в пустыне тогда совершилось:
Минувшее в новой красе оживилось;
Вновь зыблется пальма тенистой главой;

Вновь кладез наполнен прохладой и мглой.
И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рев издают;
И чувствует путник и силу, и радость;
В крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь:
И с богом он дале пускается в путь.

К***

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь

1825

19 октября

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,

Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружных гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.

Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку
И пожелать веселых много лет.
Я пью один; вотще воображенье
Вокруг меня товарищей зовет;
Знакомое не слышно приближенье,
И милого душа моя не ждет.
.....
Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.
.....
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;

Отечество нам Царское Село.
.....
И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:

Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе – фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Всё тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.
.....
Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся – но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?

Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Сокроем жизнь под сень уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый друг –
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

1825

Поэт

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света

Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

1827

Анчар

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит – один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит
И тигр нейдет – лишь вихорь черный

На древо смерти набежит
И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом:
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;

Принес – и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседам в чуждые пределы.

1828

* * *

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.

1829

***

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

1829

Осень

(Отрывок)

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
Державин.

I

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад – дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

II

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

IV

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.

Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить, да освежить себя –
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом

V

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

VII

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

1833

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

(Отрывки)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

И жить торопится и чувствовать спешит.
Кн. Вяземский.

I

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»

II

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня1.

III

Служив отлично благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur ее сменил.
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur l'Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

IV

Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде,
Как dandy лондонский одет –
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.
<...>

XXXVII

Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели,

Затем, что не всегда же мог
Beef-steaks и страсбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова;
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань, и саблю, и свинец.

XXXVIII

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.
Как Child-Harold, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.
<...>

XLV

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность

И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба

Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

XLVI

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.
<...>

LIV

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

LV

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины;
В глуши звучнее голос лирный,

Живее творческие сны.
Досугам посвятясь невинным,
Брожу над озером пустынным,
И far niente мой закон.
Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?

LVI

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.
<...>

ГЛАВА ВТОРАЯ

<...>

IV

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;

И раб судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чудак.

V

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги, –
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч; сумасбродит;
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все да да нет; не скажет да-с
Иль нет-с». Таков был общий глас.

VI

В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал
И столь же строгому разбору
В соседстве повод подавал:
По имени Владимир Ленской,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

VII

От хладного разврата света
Еще увянуть не успев,
Его душа была согрета
Приветом друга, лаской дев;
Он сердцем милый был невежда,
Его лелеяла надежда,
И мира новый блеск и шум
Еще пленяли юный ум.
Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего;
Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой,
Над ней он голову ломал
И чудеса подозревал.
<...>

XII

Богат, хорош собою, Ленский
Везде был принят как жених;
Таков обычай деревенский;
Все дочек прочили своих
За полурусского соседа;
Взойдет ли он, тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуке жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай;
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару:
И запищит она (бог мой!):
Приди в чертог ко мне златой!..

XIII

Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака несть,
С Онегиным желал сердечно
Знакомство покороче свесть.
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень

Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом
И скоро стали неразлучны.
Так люди (первый каюсь я)
От делать нечего друзья.

XIV

Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами – себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
Сноснее многих был Евгений;
Хоть он людей, конечно, знал
И вообще их презирал, –
Но (правил нет без исключений)
Иных он очень отличал
И вчуже чувство уважал.
<...>

XXIII

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила;
Глаза, как небо, голубые,
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан,
Всё в Ольге... но любой роман
Возьмите и найдете верно
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.

Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.

XXIV

Ее сестра звалась Татьяна...
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещенье не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство, – больше ничего.

XXV

Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.
<...>

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

<...>
Письмо
Татьяны к Онегину

Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне все вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.
Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.
Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...

Ты в сновиденьях мне являлся
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно... нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души?
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искуситель:
Мои сомненья разреши.
Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души!
И суждено совсем иное...
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя: единым взором
Надежды сердца оживи
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!
Кончаю! Страшно перечесть...
<...>

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

<...>

XI

Но, получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.
Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

XII

Минуты две они молчали,
Но к ней Онегин подошел
И молвил: «Вы ко мне писали,
Не отпирайтесь. Я прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья;
Мне ваша искренность мила;
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства;
Но вас хвалить я не хочу;
Я за нее вам отплачу
Признаньем также без искусства;
Примите исповедь мою:
Себя на суд вам отдаю.

XIII

Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел;

Когда б семейственной картиной
Пленился я хоть миг единый, –
То, верно б, кроме вас одной
Невесты не искал иной.
Скажу без блесток мадригальных:
Нашед мой прежний идеал,
Я, верно б, вас одну избрал
В подруги дней моих печальных,
Всего прекрасного в залог,
И был бы счастлив... сколько мог!

XIV

Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнете плакать: ваши слезы
Не тронут сердца моего,
А будут лишь бесить его.
Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей
И, может быть, на много дней.

XV

Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже,
И днем и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу, однако ж, проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив!
Таков я. И того ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда с такою простотой,

С таким умом ко мне писали?
Ужели жребий вам такой
Назначен строгою судьбой?

XVI

Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...
Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней.
Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.
Так видно небом суждено.
Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».
<...>

ГЛАВА ПЯТАЯ

<...>

XI

И снится чудный сон Татьяне.
Ей снится, будто бы она
Идет по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена;
В сугробах снежных перед нею
Шумит, клубит волной своею
Кипучий, темный и седой
Поток, не скованный зимой;
Две жердочки, склеены льдиной,
Дрожащий, гибельный мосток,
Положены через поток;
И пред шумящею пучиной,
Недоумения полна,
Остановилася она.

XII

Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей;
Не видит никого, кто руку
С той стороны подал бы ей;
Но вдруг сугроб зашевелился.
И кто ж из-под него явился?
Большой, взъерошенный медведь;
Татьяна ах! а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливыми шагами
Перебралась через ручей;
Пошла – и что ж? медведь за ней!

XIII

Она, взглянуть назад не смея,
Поспешный ускоряет шаг;
Но от косматого лакея
Не может убежать никак;
Кряхтя, валит медведь несносный;
Пред ними лес; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.

XIV

Татьяна в лес; медведь за нею;
Снег рыхлый по колено ей;
То длинный сук ее за шею
Зацепит вдруг, то из ушей
Златые серьги вырвет силой;
То в хрупком снеге с ножки милой

Увязнет мокрый башмачок;
То выронит она платок;
Поднять ей некогда; боится,
Медведя слышит за собой,
И даже трепетной рукой
Одежды край поднять стыдится;
Она бежит, он все вослед,
И сил уже бежать ей нет.

XV

Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно-покорна,
Не шевельнется, не дохнет;
Он мчит ее лесной дорогой;
Вдруг меж дерев шалаш убогой;
Кругом все глушь; отвсюду он
Пустынным снегом занесен,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик и шум;
Медведь промолвил: «Здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!»
И в сени прямо он идет
И на порог ее кладет.

XVI

Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах;
Не видя тут ни капли толку,
Глядит она тихонько в щелку,
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,

Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.

XVII

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет;
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конской топ!
Но что подумала Татьяна,
Когда узнала меж гостей
Того, кто мил и страшен ей,
Героя нашего романа!
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкою глядит.

XVIII

Он знак подаст – и все хлопочут;
Он пьет – все пьют и все кричат;
Он засмеется – все хохочут;
Нахмурит брови – все молчат;
Он там хозяин, это ясно:
И Тане уж не так ужасно,
И, любопытная, теперь
Немного растворила дверь...
Вдруг ветер дунул, загашая
Огонь светильников ночных;
Смутилась шайка домовых;
Онегин, взорами сверкая,
Из-за стола, гремя, встает;
Все встали: он к дверям идет.

XIX

И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:

Не может; дверь толкнул Евгений:
И взорам адских привидений
Явилась дева; ярый смех
Раздался дико; очи всех,
Копыты, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные,
Всё указует на нее,
И все кричат: мое! мое!

XX

Мое! – сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг;
Осталася во тьме морозной
Младая дева с ним сам-друг;
Онегин тихо увлекает
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью
И клонит голову свою
К ней на плечо; вдруг Ольга входит,
За нею Ленский; свет блеснул;
Онегин руку замахнул,
И дико он очами бродит,
И незваных гостей бранит;
Татьяна чуть жива лежит.
<...>

XXVI

С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков,
Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком

(Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.
<...>

XLI

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.
К минуте мщенья приближаясь,
Онегин, втайне усмехаясь,
Подходит к Ольге. Быстро с ней
Вертится около гостей,
Потом на стул ее сажает,
Заводит речь о том о сем;
Спустя минуты две потом
Вновь с нею вальс он продолжает;
Все в изумленье. Ленский сам
Не верит собственным глазам.
<...>

ГЛАВА ШЕСТАЯ

<...>

XXVI

Опершись на плотину, Ленский
Давно нетерпеливо ждал;
Меж тем, механик деревенский,
Зарецкий жернов осуждал.
Идет Онегин с извиненьем.
«Но где же, – молвил с изумленьем
Зарецкий, – где ваш секундант?»
В дуэлях классик и педант,
Любил методу он из чувства,
И человека растянуть
Он позволял не как-нибудь,
Но в строгих правилах искусства,
По всем преданьям старины
(Что похвалить мы в нем должны).

XXVII

«Мой секундант? – сказал Евгений, –
Вот он: мой друг, monsieur Guillot.
Я не предвижу возражений
На представление мое:
Хоть человек он неизвестный,
Но уж конечно малый честный».
Зарецкий губу закусил.
Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?» – Начнем, пожалуй, –
Сказал Владимир. И пошли
За мельницу. Пока вдали
Зарецкий наш и честный малый
Вступили в важный договор,
Враги стоят, потупя взор.

XXVIII

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно...
Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтиться ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда.

XXIX

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,

Надежно ввинченный кремень
Взведен еще. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.

XXX

«Теперь сходитесь».
Хладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов еще ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить – но как раз
Онегин выстрелил... Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,

XXXI

На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его ... напрасно:
Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный

Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..

XXXII

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь, –
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окны мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, бог весть. Пропал и след.

XXXIII

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!
Еще приятнее в молчанье
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстоянье;
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам.

XXXIV

Что ж, если вашим пистолетом
Сражен приятель молодой,
Нескромным взглядом, иль ответом,
Или безделицей иной

Вас оскорбивший за бутылкой,
Иль даже сам в досаде пылкой
Вас гордо вызвавший на бой,
Скажите: вашею душой
Какое чувство овладеет,
Когда недвижим, на земле
Пред вами с смертью на челе,
Он постепенно костенеет,
Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв?

XXXV

В тоске сердечных угрызений,
Рукою стиснув пистолет,
Глядит на Ленского Евгений.
«Ну, что ж? убит», – решил сосед.
Убит!.. Сим страшным восклицаньем
Сражен, Онегин с содроганьем
Отходит и людей зовет.
Зарецкий бережно кладет
На сани труп оледенелый;
Домой везет он страшный клад.
Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели как стрела.

XXXVI

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,

И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

XXXVII

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.

XXXVIII. XXXIX

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.
<...>

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Москва, Россиц дочь любима,
Где равную тебе сыскать?
Дмитриев.
Как не любить родной Москвы?
Баратынский.
Гоненье на Москву! что значит видеть свет!
Где ж лучше?
Где нас нет.
Грибоедов.

I

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.
<...>

XX

Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит.
Но поздно. Ветер встал холодный.
Темно в долине. Роща спит
Над отуманенной рекою;
Луна сокрылась за горою,
И пилигримке молодой
Пора, давно пора домой.
И Таня, скрыв свое волненье,
Не без того, чтоб не вздохнуть,

Пускается в обратный путь.
Но прежде просит позволенья
Пустынный замок навещать,
Чтоб книжки здесь одной читать.

XXI

Татьяна с ключницей простилась
За воротами. Через день
Уж утром рано вновь явилась
Она в оставленную сень.
И в молчаливом кабинете,
Забыв на время все на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.

XXII

Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтенье разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:
Певца Гяура и Жуана
Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

XXIII

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

XXIV

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее – слава богу –
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
<...>

XLIV

И вот: по родственным обедам
Развозят Таню каждый день
Представить бабушкам и дедам
Ее рассеянную лень.
Родне, прибывшей издалеча,
Повсюду ласковая встреча,

И восклицанья, и хлеб-соль.
«Как Таня выросла! Давно ль
Я, кажется, тебя крестила?
А я так на руки брала!
А я так за уши драла!
А я так пряником кормила!»
И хором бабушки твердят:
«Как наши годы-то летят!»

XLV

Но в них не видно перемены;
Всё в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна,
Все то же лжет Любовь Петровна,
Иван Петрович так же глуп,
Семен Петрович так же скуп,
У Пелагеи Николавны
Все тот же друг мосьё Финмуш,
И тот же шпиц, и тот же муж;
А он, все клуба член исправный,
Все так же смирен, так же глух
И так же ест и пьет за двух.

XLVI

Их дочки Таню обнимают.
Младые грации Москвы
Сначала молча озирают
Татьяну с ног до головы;
Ее находят что-то странной,
Провинциальной и жеманной,
И что-то бледной и худой,
А впрочем очень недурной;
Потом, покорствуя природе,
Дружатся с ней, к себе ведут,
Целуют, нежно руки жмут,
Взбивают кудри ей по моде
И поверяют нараспев

Сердечны тайны, тайны дев,

XLVII

Чужие и свои победы,
Надежды, шалости, мечты.
Текут невинные беседы
С прикрасой легкой клеветы.
Потом, в отплату лепетанья,
Ее сердечного признанья
Умильно требуют оне.
Но Таня, точно как во сне,
Их речи слышит без участья,
Не понимает ничего,
И тайну сердца своего,
Заветный клад и слез и счастья,
Хранит безмолвно между тем
И им не делится ни с кем.

XLVIII

Татьяна вслушаться желает
В беседы, в общий разговор;
Но всех в гостиной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор;
Все в них так бледно, равнодушно;
Они клевещут даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Расспросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;
Не улыбнется томный ум,
Не дрогнет сердце, хоть для шутки.
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой.
<...>

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

<...>

Письмо Онегина к Татьяне

Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.

Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!
Чего хочу? с какою целью
Открою душу вам свою?
Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!
Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.
Еще одно нас разлучило...
Несчастной жертвой Ленский пал...
Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.
Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!
И я лишен того: для вас
Тащусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни.
И так уж тягостны они.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной –
И слышу гневный ваш укор.
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать – и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Все, все, что выразить бы мог,
А между тем притворным хладом
Вооружать и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас веселым взглядом!..
Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе.
<...>

XXXIV

Да, может быть, боязни тайной,
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы, слабости случайной...
Всего, что мой Онегин знал...
Надежды нет! Он уезжает,
Свое безумство проклинает –
И, в нем глубоко погружен,
От света вновь отрекся он.
И в молчаливом кабинете
Ему припомнилась пора,
Когда жестокая хандра
За ним гналася в шумном свете,
Поймала, за ворот взяла
И в темный угол заперла.

XXXV

Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригалы
Себе встречал я иногда:
E sempre bene, господа.

XXXVI

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.

XXXVII

И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.

То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит.
То видит он врагов забвенных,
Клеветников, и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных,
То сельский дом – и у окна
Сидит она... и все она!..

XXXVIII

Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил
Или не сделался поэтом.
Признаться: то-то б одолжил!
А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.
Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один,
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: Benedetta
Иль Idol mio и ронял
В огонь то туфлю, то журнал.

XXXIX

Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалася зима;
И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошел с ума.
Весна живит его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он, как сурок,
Двойные окны, камелек
Он ясным утром оставляет,
Несется вдоль Невы в санях.
На синих, иссеченных льдах

Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег.
Куда по нем свой быстрый бег

XL

Стремит Онегин? Вы заране
Уж угадали; точно так:
Примчался к ней, к своей Татьяне
Мой неисправленный чудак.
Идет, на мертвеца похожий.
Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; дальше: никого.
Дверь отворил он. Что ж его
С такою силой поражает?
Княгиня перед ним, одна,
Сидит, не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.

XLI

О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал!
Кто прежней Тани, бедной Тани
Теперь в княгине б не узнал!
В тоске безумных сожалений
К ее ногам упал Евгений;
Она вздрогнула и молчит;
И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева...
Его больной, угасший взор,
Молящий вид, немой укор,
Ей внятно все. Простая дева,
С мечтами, сердцем прежних дней,
Теперь опять воскресла в ней.

XLII

Она его не подымает
И, не сводя с него очей,
От жадных уст не отымает

Бесчувственной руки своей...
О чем теперь ее мечтанье?
Проходит долгое молчанье,
И тихо наконец она:
«Довольно; встаньте. Я должна
Вам объясниться откровенно.
Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя.

XLIII

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И нынче – боже! – стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь... Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

XLIV

Тогда – не правда ли? – в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?

Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен,
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?

XLV

Я плачу... если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...
А нынче! – что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

XLVI

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

XLVII

А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,

Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».

XLVIII

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Но шпор незапный звон раздался,
И муж Татьянин показался,
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда. За ним
Довольно мы путем одним
Бродили по свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!
<...>

L

Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд. Я с вами знал
Все, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне

Явилися впервые мне –
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.

LI

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О много, много рок отъял!
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

Н.А. Добролюбов. Александр Сергеевич Пушкин

Имя Пушкина известно каждому читающему русскому. О нем было писано у нас очень много, и еще недавно, при новом издании его сочинений, представлен русской публике целый том материалов для его биографии, собранных г. Анненковым. В них можно почерпнуть довольно много любопытных данных для характеристики Пушкина, и мы постараемся воспользоваться важнейшими из них для нашего очерка, имеющего в виду именно характеристику поэта, так как собственно биография его всем известна, и притом, как у большей части писателей, не богата событиями, имеющими внешний интерес.

.....

Но тем не менее впечатления детства оставили в нем следы на всю жизнь. Недоверчивость к силе собственной мысли, отвращение от упорной работы над теоретическими вопросами, уклончивость и нерешительное потворство в практических сношениях с людьми произошли весьма естественно из первых отношений Пушкина к

своему семейству. Впоследствии, сознавши свои духовные силы, высоко поставленный во мнении общества, он научился уважать себя более, научился даже презирать толпу; но недостатки легкого французского воспитания помешали и здесь. Пушкин остановился на внешности, не нашел в себе того, что составляет истинную силу человеческой личности, и, сумевши сделаться до некоторой степени независимым от частных влияний, не мог освободиться от тяготения некоторых привычек жизни. Говоря о домашних влияниях на Пушкина, нельзя умолчать о няне его, Арине Родионовне. Она была для своего питомца представительницею русской народности: она ему передавала волшебные сказания русской старины, знакомила его с русской речью, внушала ему народные чувства и воззрения.

.....

Между тем с семи лет Пушкин быстро развивался. ...Блестящее общество, собиравшееся в доме Пушкиных, тоже не осталось, конечно, без влияния на развитие способностей молодого Пушкина. Скоро он начал и сам составлять французские стишки, в подражание тому, что читал и слышал; он устроил с сестрой своей нечто вроде театра и импровизировал для него комедийки... Но по-русски во все это время Пушкин почти ничего не писал.

Двенадцати лет Пушкин поступил в Царскосельский лицей, только что учрежденный в то время (1811). Здесь скоро развились главные черты характера Пушкина. Его живость и ветреность вызвали его острый ум на насмешки над товарищами, за что сначала его не любили и прозвали Французом; но, с другой стороны, добродушие и искренность его не могли не найти отзыва в кружке товарищей, и действительно, лицейские привязанности всегда были дороги сердцу Пушкина. Скоро проявилась в нем и любовь к литературе: в лицее издавалось при нем несколько рукописных журналов, в которых помещались его стихи. Особенно славились в кругу товарищей его эпиграммы. В науках же точных и требующих умственного усилия Пушкин всегда отставал. Зато литературой Пушкин занимался усердно вместе с своими друзьями, особенно с Дельвигом. Дельвиг убедил было его заниматься немецкой литературой, но Пушкин скоро бросил ее, вероятно потому, что это занятие требовало сильного напряжения. Любимой его литературой оставалась по-прежнему французская и отчасти итальянская, с которой он познакомился еще дома. В лицее он, кажется, занимался и латынью.

Между тем Пушкин не переставал во все время лицейской жизни писать мелкие лирические стихотворения в подражание французским поэтам, Державину, Батюшкову, Жуковскому, тогдашним корифеям нашей поэзии. По большей части это легкие, остроумные шутки, послания к друзьям и пиески в том неопределенно эротическом роде, какой мог быть доступен мальчику, знавшему наслаждения и страдания любви по прочитанным романам да по праздным мечтам воображения. Первое напечатанное его стихотворение было: «К другу-стихотворцу» («Вестник Европы», 1814, июль, № 13), и затем в продолжение 1814–1817 годов стихи его постепенно помещались в «Вестнике Европы», «Российском музеуме», «Сыне отечества» и «Северном наблюдателе». Замечательно, что в то время Пушкин не увлекся одопением, которое тогда еще господствовало...

Стихотворение «Лицинию», написанное в 1815 году, отличается даже благородством и силою мысли более, чем некоторые из зрелых созданий Пушкина, в которых он, переставая быть просто художником, решался затрагивать высокие общественные вопросы. Впрочем, судя по тому, что в один год с «Лицинием» написаны Пушкиным «Воспоминания в Царском Селе», «Наполеон на Эльбе» и др., можно думать, что и тогда поэт не был слишком предан мыслям, выраженным им в стихах своих. Вероятно, это было у него просто мгновенная вспышка, не мешавшая его мирно-эпикурейским наклонностям, которые решительно преобладают в общей массе его лицейских стихотворений.

9 июня 1817 года Пушкин был выпущен из лицея, а 13 июля определен в Коллегию иностранных дел. На лето, впрочем, он отправился в свое псковское имение, Михайловское, которое потом играло такую важную роль в его поэтической жизни. Три года затем он прожил в Петербурге, предаваясь всем увлечениям и излишествам молодости. Он был в это время принят в кругу петербургских литераторов как уже известный писатель. Еще в лицее напутствованный благословением Державина, ободренный потом благосклонностью Карамзина, юноша-поэт скоро обратил на себя внимание Жуковского и других заслуженных писателей, введен был в Арзамасское общество литераторов, познакомился с Катениным, которого он всегда чрезвычайно уважал, как умного критика. В 1820 году явилась его поэма «Руслан и Людмила», по прочтении которой Жуковский подарил Пушкину портрет свой с надписью: «Ученику

от побежденного учителя», хотя, собственно, произведение это и не заслуживало еще такой восторженной похвалы...

Пять лет провел Пушкин на юге России, подарившем его многими прекрасными вдохновениями. Большую часть этого времени прожил он в Кишиневе и Одессе, что, впрочем, не мешало ему странствовать по Крыму и Бессарабии, присматриваясь к тамошним цыганам и грекам.

Это время осталось памятным для его развития. Он много писал здесь и скоро приобрел громкую славу на Руси. В 1822 году явился его «Кавказский пленник», в 1824 – «Бахчисарайский фонтан». «Пленник» стоит уже выше «Руслана», хотя и о нем еще сам Пушкин говорит впоследствии: «Все это слабо, молодо, незрело; но многое угадано и выражено верно». На этой пиесе, равно как и на «Гирее», заметны еще следы влияния Байрона. Тогда же начаты «Онегин» и «Цыганы». Лирические произведения во все это время без перерыва печатались в журналах, и в 1826 году появилась в печати первая часть собрания их.

В конце 1824 года приехал он в свое Михайловское и здесь в уединении Псковской губернии прожил до 1826 года. Здесь посетили его друзья, и между прочими Языков. Вовсе это время он очень много работал. Здесь написаны шесть глав «Онегина», «Граф Нулин», начат «Борис Годунов». Лирические стихотворения, относящиеся к этому году, поражают оттенком тихой грусти, которая с этих пор делается неразлучной спутницей его музы. Особенно поражает этим трогательным чувством стихотворение «19-е октября»...

3 сентября 1826 года Пушкин переехал в Москву. Всеми здесь он принят был с энтузиазмом. Его долговременное отсутствие еще увеличило его славу как поэта и придало особенный интерес его личности. В упоении славы, дружбы и светских веселостей провел он всю зиму, почти не трогая пера. С 1827 года он принял деятельное участие в новом журнале, предпринятом г. Погодиным, – «Московском вестнике». В этом же году издал он своих «Цыган»; в 1828 году явились три главы «Онегина»; в 1829 году – «Полтава», поразившая всех стальною крепостью и силою стиха, и две книжки лирических стихотворений. Слава его достигла высшей степени. Каждое новое его произведение мгновенно разлеталось по всем концам России, читалось, переписывалось, заучивалось. Книгопродавцы наперерыв покупали его произведения и платили ему по 10 рублей за стих.

Таким образом, Пушкин с справедливою гордостью мог сказать о себе, что он один из первых у нас развил книжную торговлю.

В 1829 году Пушкин еще раз съездил на Кавказ и возбудил всеобщие ожидания новых творений, посвященных интересной стране. Действительно, плодом этой поездки было – «Путешествие в Арзрум» и стихотворения: «Дон», «Делибаш», «Монастырь на Казбеке», «Кавказ», «Обвал».

В 1830 году кончен «Онегин» и издан «Борис Годунов», это величайшее драматическое произведение русской литературы, хотя и погрешающее в неловкой идее, в которой Пушкин суеверно следовал Карамзину. В этом же году Пушкин принимал большое участие в основании «Литературной газеты» Дельвигом. Вообще 1830 год весьма замечателен в жизни Пушкина как поэта и как человека. 21 апреля этого года он сделался счастливым женихом Н.Н. Гончаровой, которую узнал и полюбил еще в 1828 году... Село Болдино. Здесь застала его холера, и он принужден был пробыть там с сентября до декабря. Это время было для него временем самой плодотворной деятельности. В три осенние месяца написаны: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», «Каменный гость», «Летопись села Горюхина», «Повести Белкина» и около тридцати мелких стихотворений. «Онегин» окончен здесь же.

Наконец в феврале 1831 года совершилась свадьба Пушкина в Москве. Скоро после того переехал он в Петербург и здесь принялся за собрание материалов для истории Петра Великого. Между тем в то же время привлек его внимание один из любопытнейших эпизодов русской истории – бунт Пугачева, и в следующие два года он написал его историю и повесть из этого же времени – «Капитанскую дочку». Вообще Пушкин склоняется теперь все более к эпосу и более начинает писать прозой. Он сам говорил, что лирические пиесы можно писать только до 35 лет, когда еще чувства свежи и молоды. К 1832 году относятся также «Дубровский» и «Русалка».

В 1833 году Пушкин совершил поездку в Казань и Оренбург для собрания на месте сведений о Пугачеве. Летом этого года перевел он «Песни западных славян», а осенью кончил «Медного всадника». К тому же году относятся, вероятно, статьи, известные под общим названием «Мыслей на дороге». В следующие два года Пушкин напечатал в «Библиотеке для чтения» «Пиковую даму», «Кирджали» и «Гусара».

Последний год жизни поэта занят был изданием журнала, о котором давно он думал и хлопотал, но которого все не успевал начать. Приступив наконец к изданию «Современника», Пушкин с увлечением принялся за него, желая сделать из него издание с благородным, серьезным тоном и характером, которое могло бы противодействовать легкому, насмешливому взгляду на литературу, развивавшемуся тогда в «Библиотеке для чтения». В журнале Пушкина приняли участие Гоголь, Жуковский, князь Вяземский. Сам издатель чрезвычайно много работал для журнала, помещая в нем особенно много прозаических статей.

27 января 1837 года он ранен на поединке Георгом Геккерном (Дантесом) и 29-го скончался. Тысячи народа собрались в день его погребения, чтобы в последний раз взглянуть на своего любимого поэта. Тело Пушкина предположено было отправить в Святогорский Успенский монастырь, находящийся в четырех верстах от Михайловского. Для избежания шумного многолюдства при проводах тело отправили в самую полночь, и об этом знали только немногие, самые близкие друзья его. Л.И. Тургенев проводил его до последнего жилища.

.....

Значение Пушкина огромно не только в истории русской литературы, но и в истории русского просвещения. Он первый приучил русскую публику читать, и в этом состоит величайшая его заслуга. В его стихах впервые сказалась нам живая русская речь, впервые открылся нам действительный русский мир. Все были очарованы, все увлечены мощными звуками этой неслыханной до тех пор поэзии. Прежде того поэты русские в наемном восторге воспевали по заказу иллюминации, праздники и другие события, о которых сами не имели никакого понятия и до которых целому народу не было никакого дела. Потом, освободившись от этого шутовского занятия, эти почтенные люди обратились к гуманным идеям, но, по обыкновению, поняли их совершенно отвлеченно от жизни и начали строить здание золотого века на грубой почве. ... Пушкин в первые свои годы заплатил дань каждому из этих направлений, но скоро он умел освободиться от них и создать на Руси свою самобытную поэзию. Воспитанный в семействе и в жизни, учившийся в то время, когда после событий Отечественной войны русские стали приходить к самосознанию, имевший случай войти в соприкосновение со всеми

классами русского общества, – Пушкин умел постигнуть истинные потребности и истинный характер народного быта. Он присмотрелся к русской природе и жизни и нашел, что в них есть много истинно хорошего и поэтического. Очарованный сам этим открытием, он принялся за изображение действительности, и толпа с восторгом приняла эти дивные создания, в которых ей слышалось так много своего, знакомого, что давно она видела но в чем никогда не подозревала столько поэтической прелести. И Пушкин откликнулся на все, в чем проявлялась русская жизнь; он обозрел все ее стороны, проследил ее во всех степенях, во всех частях, ничему не отдаваясь исключительно. Мы не считаем этой разнохарактерности, этого отсутствия резко обозначенного направления особенным достоинством поэта, как хотели некоторые; но мы убеждены, что это было необходимым явлением, принадлежащим самому времени. Так было у нас с наукой, когда первый русский ученый, открывший нам, что есть науки, должен был сам сделаться и химиком, и физиком, и историком, и политико-экономом, и оратором, и вдобавок еще – пиитом. Так было при начале нашей поэзии, когда в одном лице мог совмещаться одописец, баснописец, сатирик, элегист, трагик, комики пр. Так было и теперь при открытии действительности: это был еще новый, неизведанный мир; трудно было решиться избрать в нем что-нибудь одно. Нужно было попробовать много разных дорог, прежде чем остановиться на какой-нибудь из них. Все привлекало к себе, все казалось столь прекрасным, что невольно вырывало сладкие звуки восторга и очарования из молодой груди поэта, И толпа внимала ему с благоговейной любовью: для нее этот стих, эти образы были светлым воспоминанием того, о чем до сих пор она не смела и думать (иначе), как о пошлой прозе, как о житейских дрязгах, от которых надобно стараться держать себя подальше. И в этом-то заключается великое значение поэзии Пушкина: она обратила мысль народа на те предметы, которые именно должны занимать его, и отвлекла от всего туманного, призрачного, болезненно-мечтательного, в чем прежде поэты находили идеал красоты и всякого совершенства. Поэтому не должно казаться странным, что очарование нашим бедным миром так сильно у Пушкина, что он так мало смущается его несовершенствами. В то время нужно было еще показать то, что есть хорошего на земле, чтобы заставить людей спуститься на землю из их воздушных замков. Время строгого разбора еще не

наступало, и Пушкин не мог вызвать его ранее срока. Да это было бы и бесполезно: немногие избранные тогда поняли бы его, а масса осталась бы при своих мечтаниях. Теперь же стих Пушкина приготовил форму, в которой уже могли потом явиться высшие создания, а его влияние на публику сделало ее способнее к принятию и пониманию этих созданий. Она поняла уже цену жизни в сладкозвучных строфах Пушкина, и теперь самое горькое негодование на житейскую пошлость только подвинет людей к исправлению, а не унесет их от земной действительности в надзвездные пространства. Так теперь смотрим мы на историческое значение поэзии Пушкина. Но в его время нельзя еще было ясно понять этого, и он сам не сознавал вполне своего назначения. Это, конечно, и не могло быть иначе: как поэт, Пушкин прежде всех сам должен был увлечься тем, чем увлекал других; как поэт известного времени и народа, он должен был прежде всего принадлежать своему времени, своему народу. Он не был из числа тех титанических натур, которые, сознав свое разумное превосходство, становятся над толпою в уединенном величии, не наклоняясь до ее понятий, не возбуждая ее сочувствий, довольные только собственной силою. Нет, Пушкин шел в уровень с своим веком. Несмотря на свои уверения о презрении к толпе, он угождал ей; иначе нельзя было бы объяснить того громадного успеха, каким он пользовался в публике. Она никогда не награждает особенной любовью того, что выше ее понятий. Оценка гениев, опередивших свой век, совершается в потомстве.

Впрочем, и Пушкин не всегда следовал своему правилу:

К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай – деспот меж людей.

Его богато одаренная, пламенная и благородная натура не всегда подчинялась требованию обстоятельств. Даже можно сказать больше: всматриваясь ближе в субъективный характер поэзии Пушкина, мы находим в нем постоянное искание чего-то, не удовлетворимое настоящим. Его лирика полна грусти, и если эта грусть не глубока, если она тотчас же рассеивается принужденной улыбкой, то причина этого всего более, конечно, заключается в легкости теоретического образования поэта, при котором он не мог даже задать себе серьезного вопроса о том, что за идея лежит в основании его грустных порывов. Но для нас грусть поэта понятнее теперь, чем для него

самого. Мы видели, в жизни его было время, когда ему были новы все впечатления бытия,

Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь.

Живописная природа Кавказа и Тавриды скоро заменила для него все внутренние вопросы. Отстранив от себя всякую внешнюю цель, всякое постороннее стремление, он заключился в тесном круге исключительного служения искусству, в сфере чистой художественности. Он прекрасно выполнил свою задачу. Напрасно старался он оправдывать себя тем, что служение муз не терпит суеты. Напрасно он бросал в толпу презрительный вопль:

Подите прочь! Какое дело
Поэту мирному до вас?

Напрасно – потому что не толпа, а внутреннее состояние тревожило его благородную душу, и эти тревоги тяжело отзываются в его произведениях. Они появляются на краткое мгновение, но тем более имеют для нас значения, что каждый раз поэт ничем не разрешает своих сомнений и страданий, а отделывается от них шуткой или усилием забыть их. Таким образом, грустное чувство беспрестанно возобновляется у него с новою силою и дает нам видеть, что он не был доволен своей ролью беспечного художника. «Я разумею ничтожность жизни, – говорит он, – и мало к ней привязан я...» Он называет свет пустым и боится, чтобы душа его не охладела в мертвящем упоенье света. Он жалеет о своей молодости:

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана...
Что наши лучшие мечтанья,
Что наши свежие желанья
Истлели быстрой чередой.

Он трепещет и проклинает, воспоминая о своей прошедшей жизни; он страдает при мысли о том, что пережил свои мечты. Он изнемогает под этим страданием, говоря:

Цели нет передо мною,
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Его последние элегии полны жгучей, безотрадной горести. Он чувствует, что жизнь не дает ему успокоения, и говорит:

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущее волнуемое море.

И каким отчаянием отзываются самые звуки надежды, которыми он хочет утешить себя:

Но не хочу, о други, умирать.
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, – мне будут наслажденья
Средь горестей, забот и треволненья;
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь...

Какое жалкое утешение! Только тот, в ком убита всякая вера в действительное счастье, может мечтать о том, как он будет наслаждаться вымыслами. И это намеренное желание обольщать себя составляет главный недостаток Пушкина. Он не находил выхода из своих сомнений и восклицал:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман,
и – успокоивался... но не надолго.

В последнее время своей жизни он нашел более прочное успокоение – в религии. Здесь, конечно, должно было последовать полное примирение; здесь был конец тревожной борьбе.

Мы считаем несправедливым мнение тех, которые предполагают, что Пушкин мог еще впоследствии явиться нам в новом, еще не виданном свете, с плодами нового самобытного развития. Нет, он уже пришел к своей пристани, измученный битвою жизни. Он мог подарить нам много новых, высокохудожественных произведений; но в характере его поэзии нельзя уже было предвидеть нового, высшего развития.

Но, несмотря на свои понятия об искусстве как цели для себя, Пушкин умел, однако, понимать и свои обязанности в отношении к

обществу. В своем «Памятнике» он ставит себе в заслугу не художественность, а то,

Что чувства добрые он лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов он был полезен
И милость к падшим призывал.

Заметим также, что Пушкину принадлежит мысль «Ревизора» и «Мертвых душ» и что он вызвал Гоголя на обработку этих сюжетов. Это показывает, что в его душе всегда таилось сознание того, что нужно для нашего общества.

В образах, созданных самим Пушкиным, действительно можно видеть некоторые затаенные мысли, очень гармонирующие с его настроением вечного, не удовлетворяемого беспокойства. Его Онегин не просто светский фат; это человек с большими силами души, человек, понимающий пустоту той жизни, к которой призван он судьбою, но не имеющий довольно силы характера, чтобы из нее выбраться. Его Алеко – тоже своего рода Онегин, бежавший от света к цыганам с тем же похвальным намерением, с каким крыловский волк бежал в Аркадию. И поэт с заметной любовью описывает цыганский табор, простую жизнь и нравы цыган, как бы стараясь обмануть собственное чувство. Но Алеко и здесь встречает горе и измену. Конечно, это его вина более, нежели тех, к которым он пришел и которых счастье разрушил; но поэт как будто рад этому случаю успокоить себя мыслью, что на земле нигде нет счастия. И вот он пишет свой грустный эпилог:

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны,
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны... и пр.

Для своего успокоения он не хочет понять даже образ, им самим созданный.

Мы не хотели писать разбора всех произведений Пушкина, и потому читатель не будет, конечно, обвинять нас за то, что мы ни слова не сказали о многих из замечательных творений поэта. Говоря о них, нельзя ограничиться несколькими словами, а пределы нашей статьи очень невелики. Впрочем, если бы мы и пустились в подробный рассказ, то, конечно, ничего нового не могли бы ска-

зать после замечательных статей о Пушкине, писанных Белинским, в «Отечественных записках» 1843–1846 годов. Мы ограничились только общими замечаниями о характере поэзии Пушкина, особенно лирической, которая представляет более возможности следить за направлением и духовным развитием самого поэта, и, перечитав его, мы можем сказать теперь с полным уважением к славному имени: Пушкин оказал благотворное влияние, обративши взор народа на дорогу, по которой должны были пройти другие. Он не высказал полного смысла явлений русской природы и жизни, но зато со стороны формы он сделал из них все, что можно было сделать, не касаясь внутреннего содержания их. И оттого-то после Пушкина уже не могло удовлетворять простое изображение предмета; от поэта потребовали, чтобы он дал смысл описываемым явлениям, чтобы он умел схватить в своих творениях не одни видимые отличия предмета, но и самый его внутренний характер. Вследствие этих требований явился новый период литературы, которого полнейшее отражение находим в Гоголе, но которого начало скрывается уже в поэзии Пушкина.

В.Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина. Статья седьмая

«Цыганы» были первым усилием, первою попыткою Пушкина создать что-нибудь важное и зрелое как по идее, так и по исполнению. Мы показали, до какой степени удалось ему это: «Цыганы» оставили далеко за собою все написанное им прежде, обнаружив в поэте великие силы; но в то же время в этой поэме виден только могучий порыв к истинно художественному творчеству, но еще не полное достижение желанной цели стремления. Через два года после «Цыган» (то есть в 1829 году) вышла новая поэма Пушкина – «Полтава», в которой резко выразилось усилие поэта оторваться от прежней дороги и твердою ногою стать на новый путь творчества. Но где видно усилие, там еще нет достижения: достигнуть желаемого – значит спокойно, свободно, следовательно, без всяких усилий, овладеть им. Поэтому в «Полтаве» видны какая-то нерешительность, какое-то колебание, вследствие которых из этой поэмы вышло что-то огромное, великое, но в то же время и нестройное, странное, неполное.

«Полтава» богата новым элементом – народностью в выражении; почти всякое место, отдельно взятое в ней, превосходит все, написанное прежде Пушкиным, по силе, полноте и роскоши поэтического выражения, и в то же время в этой поэме нет единства, она не представляет собою целого.Как недостатки, так и достоинства «Полтавы» были равно непоняты тогдашними критиками и тогдашнею публикою. Между тем ни одно произведение Пушкина после «Руслана и Людмилы» не возбуждало таких споров и толков, как «Полтава». Ее бранили с ожесточением, без всякого уважения к лицу великого поэта; и с тех пор некоторые критики, обрадовавшись своей собственной смелости и своему открытию, что и Пушкина можно бранить, как какого-нибудь обыкновенного стихотворца, не упускали случая пользоваться своею похвальною смелостию и своим счастливым открытием.

Главный недостаток «Полтавы» вышел из желания поэта написать эпическую поэму. Хотя Пушкин принадлежал к той новой литературной школе, которая отреклась от преданий псевдоклассицизма; хотя, он поэтому и смеялся над «чахоточным отцом немного тощей Энеиды», в первой главе «Онегина» шутя обещал написать «поэму песен в двадцать пять», а седьмую главу его кончил этою острою эпиграммою на заветное «пою» старинных эпических поэм:

Но здесь с победою поздравим
Татьяну милую мою,
И в сторону свой путь направим.
Чтоб не забыть, о ком пою...
Да, кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младова
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив.
Не дай блуждать мне вкось и вкривь.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть...

однако все это еще не доказывает, чтоб легко было отрешиться начисто от преобладающих преданий той эпохи, в которую мы родились и развились.

Несмотря на то, что Пушкин сам был великим реформатором в русской литературе, литературные предания тем не менее отяготели над ним, что можно видеть из его безусловного уважения ко всем представителям прежней русской литературы. Итак, в «Полтаве» ему хотелось сделать опыт эпической поэмы в новом духе. Что такое эпическая поэма? Идеализированное представление такого исторического события, в котором принимал участие весь народ, которое слито с религиозным, нравственным и политическим существованием народа и которое имело сильное влияние на судьбы народа

.....

Но в то же время от возможности эпической поэмы в новой форме он не мог совершенно отречься. И потому, естественно, его идеал эпической поэмы заключался в неоклассицизме, или классицизме, подновленном так называемым романтизмом. Художественный такт Пушкина не мог допустить его выбрать содержание для эпической поэмы из русской истории до Петра Великого, и потому он остановился на величайшей эпохе русской истории – на царствовании великого преобразователя России – и воспользовался величайшим его событием – полтавскою битвою, в торжестве которой заключалось торжество всех трудов, всех подвигов, словом, всей реформы Петра Великого. ....эта поэма носит название «Полтавы»; следственно, ее героем, ее мыслию должна бы быть полтавская битва, ибо название поэтического произведения всегда важно, потому что оно всегда указывает или на главное из его действующих лиц, в котором воплощается мысль сочинения, или прямо на эту мысль. Вот первая ошибка Пушкина, и ошибка великая! Но, может быть, нам возразят, что Пушкин совсем не думал писать эпической поэмы и что герой его поэмы – Мазепа, а не полтавская битва. Подобное возражение тем естественнее, что Пушкин, как говорили и даже писали в то время, сперва хотел назвать свою поэму «Мазепою», но почему-то после, когда приступил к ее печатанию, переименовал ее в «Полтаву». Положим, что это так, но и с этой точки зрения «Полтава» будет произведением ошибочным в ее общности или целом. Какую мысль хотел выразить поэт через эту историю любви, смешанной с политическими замыслами и через них пришедшей в соприкосновение с полтавскою битвою?

..... Итак, из «Полтавы» Пушкина эпическая поэма не могла выйти по причине невозможности эпической поэмы в наше время,

а романтическая поэма, вроде байроновской, тоже не могла выйти по причине желания поэта слить ее с невозможною эпическою поэмою. И потому «Полтава» явилась поэмою без героя.

Мы уже доказали, что смешно было бы считать Петра Великого героем поэмы, в которой главная и большая часть действия посвящена любовной истории Мазепы.

Но и сам Мазепа также не может считаться героем «Полтавы.

Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

Герой какого бы ни было поэтического произведения, если оно только не в комическом духе, должен возбуждать к себе сильное участие со стороны читателя. Если б этот герой был даже злодей, и тогда он должен действовать на читателя силою своей воли, грандиозностью своего мрачного духа. Но в Мазепе мы видим одну низость интригана, состаревшегося в кознях. Чувствуя это, Пушкин хотел дать прочное основание своей поэме и действиям Мазепы в чувстве мщения, которым поклялся Мазепа Петру за личную обиду со стороны последнего.

Так, обо мне воспоминанье
Хранить он будет до конца,
Петру я послан в наказанье;
Я терн в листах его венца.

Нет нужды говорить о художественном достоинстве этого рассказа: в нем виден великий мастер. Все в нем дышит нравами тех времен, все верно истории.

Картина полтавской битвы начертана кистию широкою я смелою; она исполнена жизни и движения: живописец мог бы писать с нее, как с натуры. Но явление Петра в этой картине, изображенное огненными красками, поражает читателя, говоря собственными словами Пушкина, быстрым холодом вдохновения, подымающим волосы на голове, – производит на него такое впечатление, как будто бы он видит перед глазами совершение какого-нибудь таинства, как будто бы некий бог, в лучах нестерпимой для взоров смертного славы, проходит перед ним, окруженный громами и молниями...

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит; глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могучим седоком.
Уж близок полдень. Жар пылает,
Как пахарь, битва отдыхает.
Кой-где гарцуют казаки.
Равняясь, строятся полки.
Молчит музыка боевая.
На холмах пушки, присмирев,
Прервали свой голодный рев.
И се – равнину оглашая,
Далече грянуло «ура»:
Полки увидели Петра.
И он промчался пред полками,
Могущ и радостен, как бой,
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова –
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.

Полтавская битва была не простое сражение, замечательное по огромности военных сил, по упорству сражающихся и количеству пролитой крови; нет, это была битва за существование целого народа, за будущность целого государства, это была поверка действительности замыслов столь великих, что, вероятно, они самому Петру, в горькие минуты неудач и разочарования, казались несбыточными, как и почти всем его подданным. И потому на лице последнего солдата должна выражаться бессознательная мысль, что совершается что-то великое и что он сам есть одно из орудий совершения.

Но этим еще не оканчивается великая картина; это только главная часть ее; в отдалении поэт показывает другую часть, меньшую, но без которой картина его не имела бы полноты:

И перед синими рядами
Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.
Вожди героя шли за ним.
Он в думу тихо погрузился,
Смущенный взор изобразил
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье...
Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.

В подробностях битвы особенно замечателен эпизод о волнении дряхлого и уже бессильного Палия, завидевшего врага своего – Мазепу.

Но «Полтава» принадлежит к числу превосходнейших творений Пушкина не по одному лицу Марии. Лишенная единства мысли и плана, а потому, недостаточная и слабая в целом, поэма эта есть великое произведение по ее частностям. Она заключает в себе несколько поэм и по тому самому не составляет одной поэмы.

Богатство ее содержания не могло высказаться в одном сочинении, и она распалась от тяжести этого богатства. Третья песнь ее, сама по себе, есть нечто особенное, отдельная поэма в эпическом роде. Но из нее нельзя было сделать эпической поэмы: если бы поэт

и дал ей обширнейший объем, она и тогда осталась бы рядом превосходнейших картин, но не поэмою. Чувствуя это, поэт хотел связать ее с историею любви, имеющею драматический интерес, но эта связь не могла не выйти чисто внешнею. И вся эта разрозненность выразилась в эпилоге, в котором поэт говорит сперва о гордых и сильных людях того века, потом о Петре Великом, далее – о Карле XII, о Мазепе, о Кочубее.

Искрою, и оканчивает все это Мариею... Несмотря на то, «Полтава» была великим шагом вперед со стороны Пушкина.

Сколько простоты и энергии в его стихе! Какая живая соответственность между содержанием и колоритом языка, которым оно передано! Есть что-то оригинальное, самобытное, чисто русское в тоне рассказа, в духе и обороте выражений!

Теперь нам следовало бы говорить о «Евгении Онегине»; но статья наша и так вышла велика, а «Евгений Онегин», кроме своего огромного объема, имеет в русской литературе и в русской жизни столь важное значение, что о нем надо или говорить много, или совсем не говорить. И потому мы отлагаем! его разбор до следующей статьи...

Статья восьмая. «Евгений Онегин» (В.Г. Белинский)

Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как «Евгений Онегин». И эта робость оправдывается многими причинами. «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение – значит оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности. Не говоря уже об эстетическом достоинстве «Онегина», эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение. С этой точки зрения даже и то, что теперь критика могла бы с основательностью назвать в «Онегине» слабым или устарелым, – даже и то является исполненным глубокого значения, великого интереса. И нас приводит в затруднение не одно только сознание слабости наших сил для верной оценки такого произведения, но и необходимость в одно и то же

время во многих местах «Онегина», с одной стороны, видеть недостатки, с другой – достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признает в произведениях искусства только безусловные недостатки или безусловные достоинства и которая не понимает, что условное и относительное составляют форму безусловного . Вот почему некоторые критики добродушно были убеждены, что мы не уважаем Державина, находя в нем великий талант и в то же самое время не находя между произведениями его ни одного, которое было бы вполне художественно и могло бы вполне удовлетворить требованиям эстетического вкуса нашего времени. Но в отношении к «Онегину» наши суждения могут показаться многим еще более противоречащими, потому что «Онегин» со стороны формы есть произведение в высшей степени художественное, а со стороны содержания самые его недостатки составляют его величайшие достоинства. Вся наша статья об «Онегине» будет развитием этой мысли, какою бы ни показалась она с первого взгляда многим из наших читателей. Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С этой точки зрения «Евгений Онегин» есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица. Историческое достоинство этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная! До Пушкина русская поэзия была не более, как понятливою и переимчивою ученицею европейской музы, – и потому все произведения русской поэзии до Пушкина как-то походили больше на этюды и копии, нежели на свободные произведения самобытного вдохновения. Сам Крылов – этот талант, столько же сильный и яркий, сколько и национально-русский, долго не имел смелости отказаться от незавидной чести быть то переводчиком, то подражателем Лафонтена. В поэзии Державина ярко проблескивают и русская речь и русский ум, но не больше, как проблескивают, потопляемые водою риторически понятых иноземных форм и понятий. Жуковский написал две «русские» баллады – «Людмилу» и «Светлану»; но первая из них есть переделка немецкой (и притом довольно дюжинной) баллады, а другая, отличаясь

действительно поэтическими картинами русских святочных обычав и зимней русской природы, в то же время вся проникнута немецкою сантиментальностью и немецким фантазмом. Муза Батюшкова, вечно скитаясь под чужими небесами, не сорвала ни одного цветка на русской почве. Всех этих фактов было достаточно для заключения, что в русской жизни нет и не может быть никакой поэзии...Но с Пушкиным русская поэзия из робкой ученицы явилась даровитым и опытным мастером. Разумеется, это сделалось не вдруг, потому что вдруг ничего не делается. В поэмах: «Руслан и Людмила» и «Братья-разбойники» Пушкин был не больше, как учеником, подобно своим предшественникам, – но не в поэзии только, как они, а еще и в попытках на поэтическое изображение русской действительности. Этим ученичеством и объясняется, почему в «Руслане и Людмиле» так мало русского и так много итальянского, а «Разбойники» так похожи на шумливую мелодраму. Есть у Пушкина русская баллада «Жених», написанная им в 1825 году, в котором появилась и первая глава «Онегина». Эта баллада, и со стороны формы и со стороны содержания, насквозь проникнута русским духом, и о ней в тысячу раз больше, чем о «Руслане и Людмиле», можно сказать:

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.

.....

Назовите народным или национальным произведением «Руслана и Людмилу», – и с вами все согласятся, что это действительно и народное и национальное произведение. Еще более будут согласны с вами, если вы назовете народным произведением всякую пьесу, в которой действуют мужики и бабы, бородатые купцы и мещане или в котором действующие лица пересыпают свой незатейливый разговор русскими пословицами и поговорками и, вдобавок, пропускают между ими риторические, на семинарский манер, фразы о народности и т. п. Люди более умные и образованные охотно (и притом весьма основательно) видят народную русскую поэзию в баснях Крылова, и даже готовы видеть ее (что уже не так основательно) не только в сказках Пушкина («О царе Салтане», «О мертвой царевне и о семи богатырях»), но и (что уже вовсе неосновательно) в сказках Жуковского («О царе Берендее до колен борода» и «О спящей царевне»). Но немногие согласятся с вами, и для многих покажется странным, если вы скажете, что первая истинно национально-русская поэма в стихах была и есть – «Евгений Онегин» Пушкина и что

в ней народности больше, нежели в каком угодно другом народном русском сочинении. А между тем это такая же истина, как и то, что дважды два – четыре. Если ее не все признают национальною – это потому, что у нас издавна укоренилось престранное мнение, будто бы русский во фраке или русская в корсете – уже не русские и что русский дух дает себя чувствовать только там, где есть зипун, лапти, сивуха и кислая капуста. Далее: бедна та народность, которая трепещет за свою самостоятельность при всяком соприкосновении с другою народностью, которая служит не к унижению, а к чести русских. Это свойство удачно применяться ко всякому народу, ко всякой стране отнюдь не есть исключительное свойство только образованных сословий в России, но свойство всего русского племени, всей северной Руси.... Чтоб слишком не распространяться об этом предмете, ссылаемся, для краткости, на замечание Лермонтова об удивительной способности русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить. «Не знаю (говорит автор «Героя нашего времени»), достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения»....

«Истинная национальность (говорит Гоголь) состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа; поэт может быть даже и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами».

Поэтому не только такие произведения, как «Горе от ума» и «Мертвые души», но и такие, как «Герой нашего времени», суть столько же национальные, сколько и превосходные поэтические создания. И первым таким национально-художественным произведением был «Евгений Онегин» Пушкина. В этой решимости молодого поэта представить нравственную физиономию наиболее оевропеившегося в России сословия нельзя не видеть доказательства, что он был и глубоко сознавал себя национальным поэтом. Он понял, что время эпических поэм давным-давно прошло и что для изображения современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла в самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма....

Пушкин писал о России для России, – и мы видим признак его самобытного и гениального таланта в том, что, верный своей натуре, совершенно противоположной натуре Байрона и своему художническому инстинкту, он далек был от того, чтобы соблазниться создать что-нибудь в байроновском роде, пиша русский роман.... И зато его «Онегин» – в высшей степени оригинальное и национально-русское произведение. Вместе с современным ему гениальным творением Грибоедова – «Горе от ума», стихотворный роман Пушкина положил прочное основание новой русской поэзии, новой русской литературе.

.....

Несмотря на все недостатки, довольно важные, комедии Грибоедова, – она, как произведение сильного таланта, глубокого и самостоятельного ума, была первою русскою комедиею, в которой нет ничего подражательного, нет ложных мотивов и неестественных красок, но в которой и целое, и подробности, и сюжет, и характеры, и страсти, и действия, и мнения, и язык – все насквозь проникнуто глубокою истиною русской действительности. Что же касается до стихов, которыми написано «Горе от ума», – в этом отношении Грибоедов надолго убил всякую возможность русской комедии в стихах. Нужен гениальный талант, чтоб продолжать с успехом начатое Грибоедовым дело: меч Ахилла под силу только Аяксам и Одиссеям.

То же можно сказать и в отношении к «Онегину», хотя, впрочем, ему и обязаны своим появлением некоторые, далеко не равные ему, но все-таки замечательные попытки, тогда как «Горе от ума» до сих пор высится в нашей литературе геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть. Пример неслыханный: пьеса, которую вся грамотная Россия выучила наизусть еще в рукописных списках более чем за десять лет до появления ее в печати! Стихи Грибоедова обратились в пословицы и поговорки; комедия его сделалась неисчерпаемым источником применений на события ежедневной жизни, неистощимым рудником эпиграфов! И хотя никак нельзя доказать прямого влияния со стороны языка и даже стиха басен Крылова на язык и стих комедии Грибоедова, однако нельзя и совершенно отвергать его: так в органически-историческом развитии литературы все сцепляется и связывается одно с другим..... Но не этим только ограничивается подвиг Грибоедова: вместе с «Онегиным» Пушкина его «Горе от ума» было первым образцом

поэтического изображения русской действительности в обширном значении слова. В этом отношении оба эти произведения положили собою основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь. Без «Онегина» был бы невозможен «Герой нашего времени», так же как без «Онегина» и «Горя от ума» Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины. Ложная манера изображать русскую действительность, существовавшая до «Онегина» и «Горя от ума», еще и теперь не исчезла из русской литературы.

.....

На русскую повесть Гоголь имел сильное влияние, но комедии его остались одинокими, как и «Горе от ума». Значит: изображать верно свое родное, то, что у нас перед глазами, что нас окружает, чуть ли не труднее, чем изображать чужое. Причина этой трудности заключается в том, что у нас форму всегда принимают за сущность, а модный костюм – за европеизм; другими словами: в том, что народность смешивают с простонародностью и думают, что кто не принадлежит к простонародию, то есть кто пьет шампанское, а не пенник, и ходит во фраке, а не в смуром кафтане – того должно изображать то как француза, то как испанца, то как англичанина.

.....

У всякого народа две философии: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая – ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти философии находятся более или менее в близком соотношении друг к другу; и кто хочет изображать общество, тому надо познакомиться с обеими, но последнюю особенно необходимо изучить. И вот глубокое знание этой-то обиходной философии и сделало «Онегина» и «Горе от ума» произведениями оригинальными и чисто русскими. Содержание «Онегина» так хорошо известно всем и каждому, что нет никакой надобности излагать его подробно. Но, чтоб добраться до лежащей в его основании идеи, мы расскажем его в этих немногих словах. Воспитанная в деревенской глуши молодая, мечтательная девушка влюбляется в молодого Петербургского – говоря нынешним языком – льва, который, наскучив светскою жизнию, приехал скучать в свою деревню. Она решается написать к нему письмо, дышащее наивною страстию; он отвечает ей на словах, что не

может ее любить и что не считает себя созданным для «блаженств семейной жизни». Потом, из пустой причины, Онегин вызван на дуэль женихом сестры нашей влюбленной героини и убивает его. Смерть Ленского надолго разлучает Татьяну с Онегиным. Разочарованная в своих юных мечтах, бедная девушка склоняется на слезы и мольбы старой своей матери и выходит замуж за генерала, потому что ей было все равно, за кого бы ни выйти, если уже нельзя было не выходить ни за кого. Онегин встречает Татьяну в Петербурге и едва узнает ее: так переменилась она, так мало осталось в ней сходства между простенькою деревенской девочкою и великолепною петербургскою дамою. В Онегине вспыхивает страсть к Татьяне; он пишет к ней письмо, и на этот раз уже она отвечает ему на словах, что хотя и любит его, тем не менее принадлежать ему не может – по гордости добродетели. Вот и все содержание «Онегина». Многие находили и теперь еще находят, что тут нет никакого содержания, потому что роман ничем не кончается…

К числу великих заслуг Пушкина принадлежит и то, что он вывел из моды и чудовищ порока и героев добродетели, рисуя вместо их просто людей. Мы начали статью с того, что «Онегин» есть поэтически верная действительности картина русского общества в известную эпоху. Картина эта явилась вовремя, то есть именно тогда, когда явилось то, с чего можно было срисовать ее, – общество.

……

Мы уже коснулись содержания «Онегина»; обратимся к разбору характеров действующих лиц этого романа. Несмотря на то, что роман носит на себе имя своего героя, – в романе не один, а два героя: Онегин и Татьяна. В обоих их должно видеть представителей обоих полов русского общества в ту эпоху. Обратимся к первому. Поэт очень хорошо сделал, выбрав себе героя из высшего круга общества. Онегин – отнюдь не вельможа (уже и потому, что временем вельможества был только век Екатерины II); Онегин – светский человек. Мы знаем, наши литераторы не любят света и светских людей, хотя и помешаны на страсти изображать их. Что касается лично до нас, мы совсем не светские люди и в свете не бываем; но не питаем к нему никаких мещанских предубеждений. Когда высший свет изображается такими писателями, как Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, князь Одоевский, граф Соллогуб, – мы любим литературное изображение большого света так же, как и изображение всякого другого

света и не света, с талантом и знанием выполненное. Только в одном случае не можем терпеть большого света: именно когда изображают его сочинители, которым должны быть гораздо знакомее нравы кондитерских и чиновничьих гостиных, чем аристократических салонов. Позвольте сделать еще оговорку: мы отнюдь не смешиваем светскости с аристократизмом, хотя и чаще всего они встречаются вместе. Будьте вы человеком какого вам угодно происхождения, держитесь каких вам угодно убеждений, – светскость вас не испортит, а только улучшит. Говорят: в свете жизнь тратится на мелочи, самые святые чувства приносятся в жертву расчету и приличиям. Правда; но разве в среднем кругу общества жизнь тратится только на одно великое, а чувство и разум не приносятся в жертву расчету и приличию? О, нет, тысячу раз нет! Вся разница среднего света от высшего состоит в том, что в первом больше мелочности, претензий, чванства, ломания, мелкого честолюбия, принужденности и лицемерства. Говорят: в светской жизни много дурных сторон. Правда; а разве в несветской жизни – одни только хорошие стороны? Говорят: свет убивает вдохновение, и Шекспир и Шиллер не были светскими людьми. Правда; но они не были и ни купцами, ни мещанами– они были просто людьми, так же точно, как и Байрон – аристократ и светский человек – своим вдохновением более всего обязан был тому, что он был человек. Вот почему мы не хотим подражать некоторым нашим литераторам в их предубеждениях против страшного для них невидимки – большого света, и вот почему мы очень рады, что Пушкин героем своего романа взял светского человека. И что же тут дурного? Высший круг общества был в то время уже в апогее своего развития; притом светскость не помешала же Онегину сойтись с Ленским – этим наиболее странным и смешным в глазах света существом. Правда, Онегину было дико в обществе Лариных; но образованность еще более, нежели светскость, была причиною этого. Не спорим, общество Лариных очень мило, особенно в стихах Пушкина; но нам, хоть мы и совсем не светские люди, было бы в нем не совсем ловко, – тем более что мы решительно неспособны поддержать благоразумного разговора о псарне, о вине, о сенокосе, о родне. Высший круг общества в то время до того был отделен от всех других кругов. Вследствие этого Онегин с первых же строк романа был принят за безнравственного человека. Это мнение о нем и теперь еще не совсем исчезло. Мы помним, как горячо многие

читатели изъявляли свое негодование на то, что Онегин радуется болезни своего дяди и ужасается необходимости корчить из себя опечаленного родственника, –

Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя?

Многие и теперь этим крайне недовольны. Из этого видно, каким важным во всех отношениях произведением был «Онегин» для русской публики и как хорошо сделал Пушкин, взяв светского человека в герои своего романа. К особенностям людей светского общества принадлежит отсутствие лицемерства, в одно и то же время грубого и глупого, добродушного и добросовестного. Если какой-нибудь бедный чиновник вдруг увидит себя наследником богатого дяди-старика, готового умереть, с какими слезами, с какою униженною предупредительностью будет он ухаживать за дядюшкою, хотя этот дядюшка, может быть, во всю жизнь свою не хотел ни знать, ни видеть племянника и между ними ничего не было общего. Однако ж не думайте, чтоб со стороны племянника это было расчетливым лицемерством (расчетливое лицемерство есть порок всех кругов общества, и светских и несветских): нет, вследствие благодетельного сотрясения всей нервной системы, произведенного видом близкого наследства, наш племянник не шутя пришел в умиление и почувствовал пламенную любовь к дядюшке, хотя и не воля дяди, а закон дал ему право на наследство. Стало быть, это лицемерство добродушное, искреннее и добросовестное. Но вздумай его дядюшка вдруг ни с того ни с сего выздороветь, – куда бы девалась у нашего племянника родственная любовь, и как бы ложная горесть вдруг сменилась истинною горестью, и актер превратился бы в человека! Обратимся к Онегину. Его дядя был ему чужд во всех отношениях. И что может быть общего между Онегиным, который уже –

. . . . . рано зевал
Средь модных и старинных зал,

и между почтенным помещиком, который, в глуши своей деревни,

Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил?

Скажут: он его благодетель. Какой же благодетель, если Онегин был законным наследником его имения? Тут благодетель – не дядя,

а закон, право наследства. Каково же положение человека, который обязан играть роль огорченного, страждущего и нежного родственника при смертном одре совершенно чуждого и постороннего ему человека? Скажут: кто обязывал его играть такую низкую роль? Как кто? Чувство деликатности, человечности. Если, почему бы то ни было, вам нельзя не принимать к себе человека, которого знакомство для вас и тяжело и скучно, разве вы не обязаны быть с ним вежливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его к черту? Что в словах Онегина проглядывает какая-то насмешливая легкость, – в этом виден только ум и естественность, потому что отсутствие натянутой и тяжелой торжественности в выражении обыкновенных житейских отношений есть признак ума. У светских людей это даже не всегда ум, а чаще всего – манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей средних кружков, напротив, манера – отличаться избытком разных глубоких чувств при всяком сколько-нибудь, по их мнению, важном случае. Все знают, что вот эта барыня жила с своим мужем, как кошка с собакою, и что она радехонька его смерти, и сама она очень хорошо понимает, что все это знают и что никого ей не обмануть; но от этого она еще громче охает и ахает, стонет и рыдает, и тем безотвязнее мучит всех и каждого описанием добродетелей покойного, счастия, каким он дарил ее, и злополучия, в какое поверг ее своею кончиною. Мало того; эта барыня готова это же самое сто раз повторять перед господином благонамеренной наружности, которого все знают за ее любовника. И что же? – Как этот господин благонамеренной наружности, так и все родственники, друзья и знакомые горькой неутешной вдовы слушают все это с печальным и огорченным видом, – и если иные под рукою смеются, зато другие от души сокрушаются. И – повторяем – это и не глупость и не расчетливое лицемерство; это просто – принцип мещанской, простонародной морали. Никому из этих людей не приходит в голову спросить себя и других: Да из чего же вы беснуетеся столько?

.....

В доказательство, каким важным явлением не в одном эстетическом отношении был для нашей публики «Онегин» Пушкина и какими новыми, смелыми мыслями казались тогда в нем теперь самые старые и даже робкие полумысли, – приведем из него этот куплет;

Гм! Гм! читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значат именно родные?
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать.
И, по обычаю народа,
О рожестве их навещать,
Или по почте поздравлять,
Чтоб в остальное время года
О нас не думали они...
Итак, дай бог им долги дни!

Мы помним, что этот невинный куплет со стороны большей части публики навлек упрек в безнравственности уже не на Онегина, а на самого поэта. Какая этому причина, если не то добродушное и добросовестное лицемерство, о котором мы сейчас говорили? Братья тягаются с братьями об имении и часто питают друг к другу такую остервенелую ненависть, которая невозможна между чужими, а возможна только между родными. Право родства нередко бывает не чем иным, как правом – бедному подличать перед богатым из подачки, богатому – презирать докучного бедняка и отделываться от него ничем; равно богатым – завидовать друг другу в успехах жизни; вообще же – право вмешиваться в чужие дела, давать ненужные и бесполезные советы. ...Какие еще права родства? Мало ли их! Вот, например, этого господина, так похожего на Ноздрева, будь он вам чужой, вы не пустили бы даже в свою конюшню, опасаясь за нравственность ваших лошадей; но он вам родственник – и вы принимаете его у себя в гостиной и в кабинете, и он везде позорит вас именем своего родственника. Родство дает прекрасное средство к занятию и развлечению: случилась с вами беда, – и вот для ваших родственников чудесный случай съезжаться к вам, ахать, охать, качать головою, судить, рядить, давать советы и наставления, делать упреки, а потом везде развозить эту новость, порицая и браня вас за глаза, – ведь известно: человек в беде всегда виноват, особенно в глазах своих родственников. Все это ни для кого не ново; но то беда,

что все это чувствуют, но немногие это сознают: привычка к добродушному и добросовестному лицемерству побеждает рассудок..... Нет, Пушкин поступил нравственно, первый сказав истину, потому что нужна благородная смелость, чтоб первому решиться сказать истину. И сколько таких истин сказано в «Онегине»! Многие из них теперь и не новы и даже не очень глубоки; но, если бы Пушкин не сказал их двадцать лет назад, они теперь были бы и новы и глубоки. И потом: велика заслуга Пушкина, что он первый высказал эти устаревшие и уже неглубокие истины. Он бы мог насказать истин более безусловных и более глубоких, но в таком случае его произведение было бы лишено истинности: рисуя русскую жизнь, оно не было бы ее выражением. Гений никогда не упреждает своего времени, но всегда только угадывает его не для всех видимое содержание и смысл. Большая часть публики совершенно отрицала в Онегине душу и сердце, видела в нем человека холодного, сухого и эгоиста по натуре. Нельзя ошибочнее и кривее понять человека! Этого мало: многие добродушно верили и верят, что сам поэт хотел изобразить Онегина холодным эгоистом. Это уже значит – имея глаза, ничего не видеть. Светская жизнь не убила в Онегине чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным развлечениям. Вспомните строфы, в которых поэт описывает свое знакомство с Онегиным:

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражаемая странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;

Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке с желчью пополам,
И к злости мрачных эпиграмм.

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою,
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

Из этих стихов мы ясно видим, по крайней мере, то, что Онегин не был ни холоден, ни сух, ни черств, что в душе его жила поэзия и что вообще он был не из числа обыкновенных, дюжинных людей. Невольная преданность мечтам, чувствительность и беспечность при созерцании красот природы и при воспоминании о романах и любви прежних лет – все это говорит больше о чувстве и поэзии, нежели о холодности и сухости. Дело только в том, что Онегин не любил расплываться в мечтах, больше чувствовал, нежели говорил, и не всякому открывался. Озлобленный ум есть тоже признак высшей натуры, потому что человек с озлобленным умом бывает недоволен не только людьми, но и самим собою.

....Читатели помнят описание (в VII главе) кабинета Онегина: весь Онегин в этом описании. Особенно поразительно исключение из опалы двух или трех романов,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Скажут; это портрет Онегина. Пожалуй, и так; но это еще более говорит в пользу нравственного превосходства Онегина, потому что он узнал себя в портрете, который как две капли воды похож на столь многих, но в котором узнают себя столь немногие, а большая часть «украдкою кивает на Петра». Онегин не любовался самолюбиво этим портретом, но глухо страдал от его поразительного сходства с детьми нынешнего века. Не натура, не страсти, не заблуждения личные сделали Онегина похожим на этот портрет, а век. Связь с Ленским – этим юным мечтателем, который так понравился нашей публике, всего громче говорит против мнимого бездушия Онегина.

Онегин презирал людей,

Но правил нет без исключений:
Иных он очень отличал,
И вчуже чувство уважал.

Он слушал Ленского с улыбкой:
Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкой,
И вечно вдохновенный взор, –
Онегину все было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придет;

Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству,
Простим горячке юных лет
И юный жар и юный бред.

Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь, в свою чреду,
Все подвергалось их суду.

Дело говорит само за себя; гордая холодность и сухость, надменное бездушие Онегина, как человека, произошли от неспособности многих читателей понять так верно созданный поэтом характер. Но мы не остановимся на этом и исчерпаем весь вопрос.

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? – Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще;
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
.....
Блажен, кто смолоду был молод.
Блажен кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел,
Кто странным снам не предавался;
Кто черни светской не чуждался;
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов;

Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился;
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд.
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнении, ни страстей.

Эти стихи – ключ к тайне характера Онегина. Онегин – не Мельмот, не Чайльд-Гарольд, не демон, не пародия, не модная причуда, не гений, не великий человек, а просто – «добрый малой, как вы да я, как целый свет». Поэт справедливо называет «обветшалою модою» везде находить или везде искать всё гениев да необыкновенных людей. Повторяем: Онегин – добрый малой, но при этом недюжинный человек. Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат его; он даже не знает, чего ему надо, чего ему хочется; но он знает и очень хорошо знает, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так довольна, так счастлива самолюбивая посредственность. И за то-то эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его «безнравственным», но и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, как воспитан Онегин, и согласитесь, что натура его была слишком хороша, если ее не убило совсем такое воспитание. Блестящий юноша, он был увлечен светом, подобно многим; но скоро наскучил им и оставил его, как это делают слишком немногие. В душе его тлелась искра надежды – воскреснуть и освежиться в тиши уединения, на лоне природы;

но он скоро увидел, что перемена мест не изменяет сущности некоторых неотразимых и не от нашей воли зависящих обстоятельств.

Два дни ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы.
Журчанье тихого ручья;
На третий – рощи, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

Мы доказали, что Онегин не холодный, не сухой, не бездушный человек, но мы до сих пор избегали слова эгоист, – и так как избыток чувства, потребность изящного не исключают эгоизма, то мы скажем теперь, что Онегин – **страдающий эгоист**. бывают Его можно назвать **эгоистом поневоле**; в его эгоизме должно видеть то, что древние называли «fatum». Благая, благотворная, полезная деятельность! Зачем не предался ей Онегин? Зачем не искал он в ней своего удовлетворения? Зачем? зачем? – Затем, милостивые государи, что пустым людям легче спрашивать, нежели дельным отвечать...

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
Мужик судьбу благословил .
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,

И в голос все решили так,
Что он опаснейший чудак.

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги, –
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч, сумасбродит,
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все да да нет, не скажет да-с
Иль нет-с». Таков был общий глас.

...что бы стал делать Онегин в сообществе с такими прекрасными соседями, в кругу таких милых ближних? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика, но со стороны Онегина тут еще немного было сделано. Он был не из таких людей: важное и великое для многих, для него было не бог знает чем. Случай свел Онегина с Ленским: через Ленского Онегин познакомился с семейством Лариных. Возвращаясь от них домой после первого визита, Онегин зевает, из его разговора с Ленским мы узнаём, что он Татьяну принял за невесту своего приятеля и, узнав о своей ошибке, удивляется его выбору, говоря, что если б он сам был поэтом, то выбрал бы Татьяну. Этому равнодушному охлажденному человеку стоило одного или двух невнимательных взглядов, чтоб понять разницу между обеими сестрами, – тогда как пламенному, восторженному Ленскому и в голову не входило, что его возлюбленная была совсем не идеальное и поэтическое создание, а просто хорошенькая и простенькая девочка, которая совсем не стоила того, чтоб за нее рисковать убить приятеля или самому быть убитым. Между тем как Онегин зевал – по привычке, говоря его собственным выражением, и нисколько не заботясь о семействе Лариных, – в этом семействе его приезд завязал страшную внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено,

как Онегин, получив письмо Татьяны, мог не влюбиться в нее, – и еще более как тот же самый Онегин, который так холодно отвергал чистую, наивную любовь прекрасной девушки, потом страстно влюбился в великолепную светскую даму? В самом деле, есть чему удивляться. Если б выбор в любви решался только волею и разумом, тогда любовь не была бы чувством и страстью….. Онегин был так умен, тонок и опытен, так хорошо понимал людей и их сердце, что не мог не понять из письма Татьяны, что эта бедная девушка одарена страстным сердцем, алчущим роковой пищи, что ее душа младенчески чиста, что ее страсть детски простодушна и что она нисколько не похожа на тех кокеток, которые так надоели ему с их чувствами, то легкими, то поддельными. Он был живо тронут письмом Татьяны:

Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил.
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет, и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.

В письме своем к Татьяне (в VIII главе) он говорит, что, заметя в ней искру нежности, он не хотел ей поверить (то есть заставил себя не поверить), не дал хода милой привычке и не хотел расстаться с своей постылой свободою. Но, если он оценил одну сторону любви Татьяны, в то же самое время он так же ясно видел и другую ее сторону. Во-первых, обольститься такою младенчески прекрасною любовью и увлечься ею до желания отвечать на нее значило бы для Онегина решиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзия страсти, то поэзия брака не только не интересовала его, но была для него противна.

Если не брак, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но он так хорошо постиг Татьяну, что даже и не подумал о последнем, не унижая себя в собственных своих глазах. Но в обоих случаях эта любовь немного представляла ему обольстительного:

Как! он, перегоревший в страстях, изведавший жизнь и людей, еще кипевший какими-то самому ему неясными стремлениями, – он, которого могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную иронию, – он увлекся бы младенческой любовью девочки-мечтательницы, которая смотрела на жизнь так, как он уже не мог смотреть... И что же сулила бы ему в будущем эта любовь? Что бы нашел он потом в Татьяне.

Разлученный с Татьяною смертию Ленского, Онегин лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его с людьми.

Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга,
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).

Между прочим был он и на Кавказе и смотрел на бледный рой теней, толпившийся около целебных струй Машука.

Какая жизнь! Вот оно, то страдание, о котором так много пишут и в стихах и в прозе, на которое столь многие жалуются, как будто и в самом деле знают его; вот оно, страдание истинное, без котурна, без ходуль, без драпировки, без фраз, страдание, которое часто не отнимает ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тем ужаснее!.. ...Молодость, здоровье, богатство, соединенные с умом, сердцем: чего бы, кажется, больше для жизни и счастия? Так думает тупая чернь и называет подобное страдание модною причудою. И чем естественнее, проще страдание Онегина, чем дальше оно от всякой эффектности, тем оно менее могло быть понято и оценено большинством публики. В двадцать шесть лет так много пережить, не вкусив жизни, так изнемочь, устать, ничего не сделав, дойти до такого безусловного отрицания, не перейдя ни через какие убеждения: это смерть! Но Онегину не суждено было умереть, не отведав из чаши жизни; страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить

дремавшие в тоске силы его духа. Встретив Татьяну на бале, в Петербурге, Онегин едва мог узнать ее; так переменилась она!

Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок
Du comme il faut...

Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar .

Муж Татьяны, так прекрасно и так полно, с головы до ног охарактеризованный поэтом этими двумя стихами:

.....И всех выше
И нос и плечи поднимал
Вошедший с нею генерал, –

муж Татьяны представляет ей Онегина, как своего родственника и друга. Многие читатели, в первый раз читая эту главу, ожидали громозвучного оха и обморока со стороны Татьяны, которая, пришед в себя, по их мнению, должна повиснуть на шее у Онегина. Но какое разочарование для них!

Княгиня смотрит на него...
И что ей душу ни смутило,
Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась
Иль стала вдруг бледна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губ она.
Хоть он глядел, нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести.
С ней речь хотел он завести
И – и не мог. Она спросила,
Давно ль он здесь, откуда он
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд; скользнула вон...
И недвижим остался он.

Ужель та самая Татьяна,
Которой он наедине,
В начале нашего романа,
В глухой, далекой стороне,
В благом пылу нравоученья,
Читал когда-то наставленья;
Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит,
Где всё наруже, всё на воле,
Та девочка... иль это сон?..
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?
.....
Что с ним? в каком он странном сне?
Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?
Досада? суетность? иль вновь
Забота юности – любовь?
.....
Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль свою вошла!

Как утеснительного сана
Приемы скоро приняла!
Кто б смел искать девчонки нежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал?
И он ей сердце волновал!
Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит,
К луне подъемлет томны очи,
Мечтая с ним когда-нибудь
Свершить смиренный жизни путь.

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют –
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвый след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

Но мы решительно не согласны с этим мнением поэта, которое так торжественно было провозглашено им и которое нашло такой отзыв в толпе, благо пришлось ей по плечу:

О люди! все похожи вы
На прародительницу Еву;
Что вам дано, то не влечет;
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай.

Мы лучше думаем о достоинстве человеческой натуры и убеждены, что человек родится не на зло, а на добро, не на преступление, а на разумно-законное наслаждение благами бытия, что его стремления справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не в человеке, но в обществе; так как общества, понимаемые в смысле формы человеческого развития, еще далеко не достигли своего идеала, то не удивительно, что в них только и видишь много преступлений.

.....

Письмо Онегина к Татьяне горит страстью; в нем уже нет иронии, нет светской умеренности, светской маски. Онегин знает, что он, может быть, подает повод к злобному веселью; но страсть задушила в нем страх быть смешным, подать на себя оружие врагу. И было с чего сойти с ума! По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась с жизнью ни на чем, от души поклонилась идолу суеты – и в таком случае, конечно, роль Онегина была бы очень смешна и жалка. Но в свете наружность никого и ни в чем не убеждает: там все слишком хорошо владеют искусством быть веселыми с достоинством в то время, как сердце разрывается от судорог. Онегин мог не без основания предполагать и то, что Татьяна внутренне осталась самой собою, и свет научил ее только искусству владеть собою и серьезнее смотреть на жизнь. Благодатная натура не гибнет от света, вопреки мнению мещанских философов; для гибели души и сердца и малый свет представляет точно столько же средств, сколько и большой. Вся разница в формах, а не в сущности. И теперь, в каком же свете должна была казаться Онегину Татьяна, – уже не мечтательная девушка, поверявшая луне и звездам свои задушевные мысли и разгадывавшая сны по книге Мартына Задёки, но женщина, которая знает цену всему, что дано ей, которая много потребует, но много и даст. Ореол светскости не мог не возвысить ее в глазах Онегина: в свете, как и везде, люди бывают двух родов – одни привязываются к формам и в их исполнении видят назначение жизни, это – чернь; другие от света заимствуют знание людей и жизни, такт действительности и способность вполне владеть всем, что дано им природою. Татьяна принадлежала к числу последних, и значение светской дамы только возвышало ее значение как женщины. Притом же в глазах Онегина любовь без борьбы не имела никакой прелести, а Татьяна не обещала ему легкой победы. И он бросился в эту борьбу без надежды на победу,

без расчета, со всем безумством искренней страсти, которая так и дышит в каждом слове его письма:

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатления. После нескольких посланий, встретившись с нею, Онегин не заметил ни смятенья, ни страдания, ни пятен слез на лице – на нем отражался лишь след гнева... Онегин на целую зиму заперся дома и принялся читать:

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.

Мы не будем распространяться теперь о сцене свидания и объяснения Онегина с Татьяною, потому что главная роль в этой сцене принадлежит Татьяне, о которой нам еще предстоит много говорить. Роман оканчивается отповедью Татьяны, и читатель навсегда расстается с Онегиным в самую злую минуту его жизни... Что же это такое? Где же роман? Какая его мысль? И что за роман без конца?

.....

Что сталось с Онегиным потом? Воскресила ли его страсть для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все силы души его, и безотрадная тоска его обратилась в мертвую, холодную апатию? – Не знаем, да и на что нам знать это, когда мы знаем, что силы этой богатой натуры остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца? Довольно и этого знать, чтоб не захотеть больше ничего знать... Онегин – характер действительный, в том смысле, что в нем нет ничего мечтательного, фантастического, что он мог быть счастлив или несчастлив только в действительности и через действительность. В Ленском Пушкин изобразил характер, совершенно противоположный характеру Онегина, характер совершенно отвлеченный, совершенно чуждый действительности. Тогда это было совершенно новое явление, и люди такого рода тогда действительно начали появляться в русском обществе.

С душою прямо геттингенской,
.....
Поклонник Канта и поэт,
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.
.....
Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
.....
Он пел те дальние страны,
Где долго в лоне тишины
Лились его живые слезы;
Он пел поблёклый жизни цвет
Без малого в восьмнадцать лет.

Ленский был романтик и по натуре и по духу времени. Нет нужды говорить, что это было существо, доступное всему прекрасному,

высокому, душа чистая и благородная. Но в то же время «он сердцем милый был невежда», вечно толкуя о жизни, никогда не знал ее. Действительность на него не имела влияния: его радости и печали были созданием его фантазии. Он полюбил Ольгу – и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замуж, она сделалась бы вторым исправленным изданием своей маменьки, что ей все равно было выйти – и за поэта, товарища ее детских игр, и за довольного собою и своею лошадью улана? Ленский украсил ее достоинствами и совершенствами, приписал ей чувства и мысли, которых в ней не было и о которых она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое, Ольга была очаровательна, как все «барышни», пока они еще не сделались «барынями», а Ленский видел в ней фею, сильфиду, романтическую мечту, нимало не подозревая будущей барыни. Он написал «надгробный мадригал» старику Ларину, в котором верный себе, без всякой иронии, умел найти поэтическую сторону. В простом желании Онегина подшутить над ним он увидел и измену, и обольщение, и кровавую обиду. Результатом всего этого была его смерть, заранее воспетая им в туманно-романтических стихах. Мы нисколько не оправдываем Онегина, который, как говорит поэт;

Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и умом, –

но тирания и деспотизм светских и житейских предрассудков таковы, что требуют для борьбы с собою героев. Подробности дуэли Онегина с Ленским – верх совершенства в художественном отношении. Поэт любил этот идеал, осуществленный им в Ленском, и в прекрасных строфах оплакал его падение:

Друзья мои, вам жаль поэта;
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.

А может быть, и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета;
В нем пыл души бы охладел,
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился;
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хилел.
И, наконец, в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

Мы убеждены, что с Ленским сбылось бы непременно последнее. В нем было много хорошего, но лучше всего то, что он был молод и вовремя для своей репутации умер. Это не была одна из тех натур, для которых жить – значит развиваться и идти вперед. Это – повторяем – был романтик, и больше ничего. Останься он жив, Пушкину нечего было бы с ним делать, кроме как распространить на целую главу то, что он так полно высказал в одной строфе….Ленские не перевелись и теперь; они только переродились. В

них уже не осталось ничего, что так обаятельно прекрасно было в Ленском; в них нет девственной чистоты его сердца, в них только претензии на великость и страсть марать бумагу. Все они поэты, и стихотворный балласт в журналах доставляется одними ими. Словом, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди. Татьяна... но мы поговорим о ней в следующей статье.

Статья девятая.
«Евгений Онегин»
(Окончание)

...пора нам, наконец, признаться, что еще и до сих пор мы плохие рыцари, что наше внимание к женщине, наша готовность жить и умереть для нее, до сих пор как-то театральны и отзываются модною светскою фразою, и притом еще не собственно нашего изобретения, а заимствованною. Набравшись готовых чужих фраз, кричим мы и в стихах и в прозе: «женщина – царица общества; ее очаровательным присутствием украшается общество» и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключением высшего светского): везде мужчины – сами по себе, женщины – сами по себе.

Но среди этого мира нравственно увечных явлений изредка удаются истинно колоссальные исключения, которые всегда дорого платятся за свою исключительность и делаются жертвами собственного своего превосходства. Натуры гениальные, не подозревающие своей гениальности, они безжалостно убиваются бессознательным обществом как очистительная жертва за его собственные грехи... Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы с почтенным семейством Лариных. Отец не то, чтоб уж очень глуп, да и не совсем умен; не то, чтоб человек, да и не зверь, а что-то вроде полипа, принадлежащего в одно и то же время двум царствам природы – растительному и животному.

Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.

Этот мир, вкушаемый под камнем, был продолжением того же самого мира, которым добрый барин наслаждался при жизни под татарским халатом. Бывают на свете такие люди, в жизни и счастии которых смерть не производит ровно никакой перемены. Отец Татьяны принадлежал к числу таких счастливцев. Но маменька ее стояла на высшей ступени жизни сравнительно с своим супругом. До замужества она обожала Ричардсона, не потому, чтоб прочла его, а потому, что от своей московской кузины наслышалась о Грандисоне. Помолвленная за Ларина, она втайне вздыхала о другом. Но ее повезли к венцу, не спросившись ее совета. В деревне мужа она сперва терзалась и рвалась, а потом привыкла к своему положению и даже стала им довольна, особенно с тех пор, как постигла тайну самовластно управлять мужем.

Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы.
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь, –
Всё это мужа не спросясь.

Словом, Ларины жили чудесно, как живут на этом свете целые миллионы людей. Однообразие семейной их жизни нарушалось гостями:

Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмеяться кой о чем.

. . . . . .

И вот круг людей, среди которых родилась и выросла Татьяна! Правда, тут были два существа, резко отделявшиеся от этого круга, – сестра Татьяны Ольга и жених последней, Ленский. Но и не этим существам, было понять Татьяну. Она любила их просто, сама не зная за что, частию по привычке, частию потому, что они еще не были пошлы; но она не открывала им внутреннего мира души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что они – люди другого мира, что они не поймут ее. И действительно, поэтический Ленский далеко не подозревал, что такое Татьяна: такая

женщина была не по его восторженной натуре и могла ему казаться скорее странною и холодною, нежели поэтическою. Ольга еще менее Ленского могла понять Татьяну, Ольга – существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чем не рассуждало, ни о чем не спрашивало, которому все было ясно и понятно по привычке и которое все зависело от привычки. Она очень плакала о смерти Ленского, но скоро утешилась, вышла за улана и из грациозной и милой девочки сделалась дюжинною барынею, повторив собою свою маменьку, с небольшими изменениями, которых требовало время. Но совсем не так легко определить характер Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. В Татьяне нет этих болезненных противоречий, которыми страдают слишком сложные натуры; Татьяна создана как будто вся из одного цельного куска, без всяких приделок и примесей. Вся жизнь ее проникнута тою целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет высочайшее достоинство художественного произведения. Страстно влюбленная, простая деревенская девушка, потом светская дама, Татьяна во всех положениях своей жизни всегда одна и та же: портрет ее в детстве, так мастерски написанный поэтом, впоследствии является только развившимся, но не изменившимся.

Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела,
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.

Задумчивость была ее подругою с колыбельных дней, украшая однообразие ее жизни; пальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенком она не любила кукол, и ей чужды, были детские шалости; ей был скучен и шум, и звонкий смех детских игр; ей больше нравились страшные рассказы в зимний вечер. И потому она скоро пристрастилась к романам, и романы поглотили всю жизнь ее.

Итак, летние ночи посвящались мечтательности, зимние – чтению романов, – и это среди мира, имевшего благоразумную привычку громко храпеть в это время! Какое противоречие между Татьяною и окружающим ее миром! Татьяна – это редкий, прекрасный цветок, случайно выросший в расселине дикой скалы,

Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.

Эти два стиха, сказанные Пушкиным об Ольге, гораздо больше идут к Татьяне. Какие мотыльки, какие пчелы могли знать этот цветок или пленяться им? Разве безобразные слепни, оводы и жуки, вроде господ Пыхтина, Буянова, Петушкова и тому подобных? Да, такая женщина, как Татьяна, может пленять только людей, стоящих на двух крайних ступенях нравственного мира, или таких, которые были бы в уровень с ее натурою и которых так мало на свете, или людей совершенно пошлых, которых так много на свете. Этим последним Татьяна могла нравиться лицом, деревенскою свежестью и здоровьем, даже дикостью своего характера, в которой они могли видеть кротость, послушливость и безответственность в отношении к будущему мужу – качества, драгоценные для их грубой животности, не говоря уже о расчетах на приданое, на родство и т. п. Стоящие же в середине между этими двумя разрядами людей всего менее могли оценить Татьяну……..

И нет людей, которые бы менее их способны были оценить истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать человека, глубоко чувствующего, неподдельно страстного. Такие люди не поняли бы Татьяны: они решили бы все в голос, что если она не дура пошлая, то очень странное существо и что, во всяком случае, она холодна, как лед, лишена чувства и неспособна к страсти. И как же иначе? Татьяна молчалива, дика, ничем не увлекается, ничему не радуется, ни от чего не приходит в восторг, ко всему равнодушна, ни к кому не ласкается, ни с кем не дружится, никого не любит, не чувствует потребности перелить в другого свою душу, тайны своего сердца, а главное – не говорит ни о чувствах вообще, ни о своих собственных в особенности... Если вы сосредоточены в себе и на вашем лице нельзя прочесть внутреннего пожирающего вас огня, – мелкие люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчас объявят вас существом холодным, эгоистом, отнимут у вас сердце поставят при вас

один ум, особенно, если вы имеете наклонность иронизировать над собственным чувством, хотя бы то было из целомудренного желания замаскировать его, не любя им ни играть, ни щеголять...

Повторяем: Татьяна – существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла быть или величайшим блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастии взаимности любовь такой женщины – ровное, светлое пламя; в противном случае – упорное пламя, которому сила воли, может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, вся отдалась бы своим материнским обязанностям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство. И все это без фраз, без рассуждений, с этим спокойствием, с этим внешним бесстрастием, с этою наружною холодностью, которые составляют достоинство и величие глубоких и сильных натур. Такова Татьяна. Но это только главные и, так сказать, общие черты ее личности: взглянем на форму, в которую вылилась эта личность, посмотрим на те особенности, которые составляют ее характер.

Создает человека природа, но развивает и образует его общество. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защитят человека от влияния общества, нигде не скрыться, никуда не уйти ему от него. Самое усилие развиться самостоятельно, вне влияния общества, сообщает человеку какую-то странность, придает ему что-то уродливое, в чем опять видна печать общества же. Вот почему у нас люди с дарованиями и хорошими природными расположениями часто бывают самыми несносными людьми, и вот почему у нас только гениальность спасает человека от пошлости.

.....

Татьяна не избегла горестной участи подпасть под разряд идеальных дев, о которых мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляет собою колоссальное исключение в мире подобных явлений, – и теперь не отпираемся от своих слов. Татьяна возбуждает не смех, а живое сочувствие, но это не потому, чтоб она вовсе не походила на «идеальных дев», а потому, что ее глубокая, страстная

натура заслонила в ней собою все, что есть смешного и пошлого в идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественно-простою в самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее действительность. С одной стороны –

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.

С другой стороны, Татьяна любила бродить по полям

С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

Это дивное соединение грубых, вульгарных предрассудков со страстию к французским книжкам и с уважением к глубокому творению Мартына Задеки возможно только в русской женщине. Весь внутренний мир Татьяны заключался в жажде любви; ничто другое не говорило ее душе; ум ее спал, и только разве тяжкое горе жизни могло потом разбудить его, да и то для того, чтоб сдержать страсть и подчинить ее расчету благоразумной морали... Девические дни ее ничем не были заняты; в них не было своей череды труда и досуга, не было тех регулярных занятий и развлечений, свойственных образованной жизни, которые держат в равновесии нравственные силы человека. Дикое растение, вполне предоставленное самому себе, Татьяна создала себе свою собственную жизнь, в пустоте которой тем мятежнее горел пожиравший ее внутренний огонь, что ее ум ничем не был занят.

Душа ждала... кого-нибудь,
И дождалась. Открылись очи;
Она сказала: это он!
Увы! теперь и дни, и ночи,
И жаркий, одинокий сон,
Всё полно им: всё деве милой

Без умолку волшебной силой
Твердит о нем .....
. . . . . .
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит:
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвеньи шепчет наизусть
Письмо для милого героя...

Здесь не книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по-книжному. Зачем было воображать Онегина Вольмаром, Малек-Аделем, де-Линаром и Бергером (Малек-Адель и Вертер: не все да это равно, что Еруслан Лазаревич и корсар Байрона)? Затем, что для Татьяны не существовал настоящий Онегин, которого она не могла ни понимать, ни знать; следовательно, ей необходимо было придать ему какое-нибудь значение, напрокат взятое из книги, а не из жизни, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать, ни знать. Зачем было ей воображать себя Кларисой, Юлией, Дельфиной? Затем, что она и саму себя так же мало понимала и знала, как и Онегина. Повторяем: создание страстное, глубоко чувствующее и в то же время не развитое, наглухо запертое в темной пустоте своего интеллектуального существования, Татьяна, как личность, является нам подобною не изящной греческой статуе, в которой все внутреннее так прозрачно и выпукло отразилось во внешней красоте, но подобною египетской статуе, неподвижной, тяжелой и связанной. Без книги она была бы совершенно немым существом, и ее пылающий и сохнущий язык не обрел бы ни одного

живого, страстного слова, которым бы могла она облегчить себя от давящей полноты чувствами хотя непосредственным источником ее страсти к Онегину была ее страстная натура, ее переполнившаяся жажда сочувствия, все же началась она несколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленского и еще менее могла полюбить кого-нибудь из известных ей мужчин: она так хорошо их знала, и они так мало представляли пищи ее экзальтированному, аскетическому воображению... И вдруг является Онегин. Он весь окружен тайною: его аристократизм, его светскость, неоспоримое превосходство над всем этим спокойным и пошлым миром, среди которого он явился таким! метеором, его равнодушие ко всему, странность жизни, -- все это произвело таинственные слухи, которые не могли не действовать на фантазию Татьяны, не могли не расположить, не подготовить ее к решительному эффекту первого свидания с Онегиным. И она увидела его, и он предстал пред нею молодой, красивый, ловкий, блестящий, равнодушный, скучающий, загадочный, непостижимый, весь неразрешимая тайна для ее неразвитого ума, весь обольщение для ее дикой фантазии. Есть существа, у которых фантазия имеет гораздо более влияния на сердце, нежели как думают об этом. Татьяна была из таких существ. Есть женщины, которым стоит только показаться восторженным, страстным, – и они ваши; но есть женщины, которых внимание мужчина может возбудить к себе только равнодушием, холодностью и скептицизмом, как признаками огромных требований на жизнь или как результатом мятежно и полно пережитой жизни: бедная Татьяна была из числа таких женщин...

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить;
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты.
Дыханье замерло в устах,
И в слухе шум, и блеск в очах...
Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальний свод небес,
И соловей во мгле древес
Напевы звучные заводит,

Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит.

Разговор Татьяны с нянею – чудо, художественного совершенства! Это целая драма, проникнутая глубокою истиною. В ней удивительно верно изображена русская барышня в разгаре томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно в первый период еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце? сестре? но она не так бы поняла его. Няня вовсе не поймет; но потому-то и открывает ей Татьяна свою тайну, или, лучше сказать, потому-то и не скрывает она от няни своей тайны,

....«Расскажи мне, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?»
– И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь.
– «Да как же ты венчалась, няня?»
– Так, видно, бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха;
Мне с плачем косу расплели,
И с пеньем в церковь повели,
И вот ввели в семью чужую...

Вот как пишет истинно народный, истинно национальный поэт! В словах няни, простых и народных, без тривиальности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взгляд на отношения полов, на любовь, на брак... И это сделано великим поэтом одною чертою, вскользь, мимоходом брошенною!.. Как хороши эти добродушные и простодушные стихи:

– И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь;

А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь!

Как жаль, что именно такая народность не дается многим нашим поэтам, которые так хлопочут о народности – и добиваются одной площадной тривьяльности...

Татьяна вдруг решается писать к Онегину: порыв наивный и благородный; но его источник не в сознании, а в бессознательности: бедная девушка не знала, что делала. После, когда она стала знатною барынею, для нее совершенно» исчезла возможность таких наивно великодушных движений сердца... Письмо Татьяны свело с ума всех русских читателей, когда появилась третья глава «Онегина». Мы вместе со всеми думали в нем видеть высочайший образец откровения женского сердца. Сам поэт, кажется, без всякой иронии, без всякой задней мысли, и писал, и читал это письмо. Но с тех пор много воды утекло... Письмо Татьяны прекрасно и теперь, хотя уже и отзывается немножко какою-то детскостию, чем-то «романическим». Иначе и быть не могло; язык страстей был так нов и не доступен нравственно немотствующей Татьяне: она не умела бы ни понять, ни выразить собственных своих ощущений, если бы не прибегла к помощи впечатлений, оставленных на ее памяти плохими и хорошими романами, без толку и без разбора читанными ею... Начало письма превосходно: оно проникнуто простым искренним чувством; в нем Татьяна является сама собою:

Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать. –
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела,
Хоть редко, хоть в неделю раз,
В деревне нашей видеть вас.
Чтоб только слышать ваши речи,

Вам слово молвить, и потом
Всё думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне, всё вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.
Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

Прекрасны также стихи в конце письма:

....Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю.
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает;
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.

Все в письме Татьяны истинно, но не все просто; мы выписали только то, что и истинно, и просто вместе. Сочетание простоты с истиною составляет высшую красоту и чувства, и делай и выражения...

Замечательно, с каким усилием старается поэт оправдать Татьяну за ее решимость написать и послать это письмо: видно, что поэт слишком хорошо знал общество, для которого писал...

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,

Их добродетели природной,
И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда!
Внушать любовь для них беда,
Пугать людей для них отрада.
Быть может, на брегах Невы
Подобных дам видали вы.

Среди поклонников послушных
Других причудниц я видал,
Самолюбиво-равнодушных
Для вздохов страстных и похвал.
И что ж нашел я с изумленьем?
Они, суровым поведеньем
Пугая робкую любовь,
Ее привлечь умели вновь,
По крайней мере сожаленьем,
По крайней мере звук речей
Казался иногда нежней,
И с легковерным ослепленьем
Опять любовник молодой
Бежит за милой суетой.

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства.
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным.
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным,
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

Кокетка судит хладнокровно;
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как милое дитя.
Не говорит она: отложим –
Любви мы цену тем умножим.
Вернее в сети заведем;
Сперва тщеславие кольнем
Надеждой, там недоуменьем
Измучим сердце, а потом
Ревнивым оживим огнем;
А то, скучая наслажденьем,
Невольник хитрый из оков
Всечасно вырваться готов.

Вот еще отрывок из «Онегина», который выключен автором из этой поэмы и особенно напечатан в IX томе собрания его сочинений (стр. 460):

О, вы, которые любили
Без позволения родных,
И сердце нежное хранили
Для впечатлений молодых,
Для радости, для неги сладкой
Девицы! если вам украдкой
Случалось тайную печать
С письма любезного срывать,
Иль робко в дерзостные руки
Заветный локон отдавать,
Иль даже молча дозволять
В минуту горькую разлуки
Дрожащий поцелуй любви,
В слезах, с волнением в крови, –
Не осуждайте безусловно
Татьяны ветреной (?!) моей;
Не повторяйте хладнокровно
Решенья чопорных судей.
А вы, о девы без упрека!

Которых даже речь порока
Страшит сегодня, как змия,
Советую вам то же я:
Кто знает? пламенной тоскою
Сгорите, может быть и вы –
И завтра легкий суд молвы
Припишет модному герою
Победы новой торжество:
Любви вас ищет божество.

Только едва ли найдет, прибавим мы от себя прозою. Нельзя не жалеть о поэте, который видит себя принужденным таким образом оправдывать свою героиню перед обществом – и в чем же? в том, что составляет сущность женщины, ее лучшее право на существование – что у ней есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетом!.. Но еще более нельзя не жалеть об обществе, перед которым поэт видел себя принужденным оправдывать героиню своего романа в том, что она женщина, а не деревяжка, выточенная по подобию женщины. И всего грустнее в этом то, что перед женщинами в особенности старается он оправдать свою Татьяну... И зато с какою горечью говорит он о наших женщинах везде, где касается общественной мертвенности, холода, чопорности и сухости! Как выдается вот эта строфа в первой главе «Онегина»:

Причудницы большого света!
Всех прежде вас оставил он.
И правда то, что в наши лета
Довольно скучен высший тон.
Хоть, может быть, иная дама
Толкует Сея и Бентама;
Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный вздор.
К тому ж они так непорочны,
Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин,
Что вид их уж рождает сплин.

Эта строфа невольно приводит нам на память следующие стихи, не вошедшие в поэму и напечатанные особо (т. IX, стр. 190):

Мороз и солнце – чудный день!
Но нашим дамам, видно, лень
Сойти с крыльца и над Невою
Блеснуть холодной красотою;
Сидят – напрасно их манит
Песком усыпанный гранит.
Умна восточная система,
И прав обычай стариков:
Они родились для гарема
Иль для неволи.....

Но и на Востоке есть поэзия в жизни, страсть закрадывается и в гаремы... Зато у нас царствует строгая нравственность, по крайней мере внешняя, а за нею иногда бывает такая не поэтическая поэзия жизни, которою, если воспользуется поэт, то, конечно, уж не для поэмы...

Если бы мы вздумали следить за всеми красотами поэмы Пушкина, указывать на все черты высокого художественного мастерства, в таком случае ни нашим выпискам, ни нашей статье не было бы конца. Но мы считаем это излишним, потому что эта поэма давно оценена публикою, и все лучшее в ней у всякого на памяти. Мы предположили себе другую цель: раскрыть по возможности отношение поэмы к обществу, которое она изображает. На этот раз предмет нашей статьи – характер Татьяны, как представительницы русской женщины. И потому пропускаем всю четвертую главу, в которой главное для нас – объяснение Онегина с Татьяною в ответ на ее письмо. Как подействовало на нее это объяснение – понятно: все надежды бедной девушки рушились, и она еще глубже затворилась в себе для внешнего мира. Но разрушенная надежда не погасила в ней пожирающего ее пламени: он начал гореть тем упорнее и напряженнее, чем глуше и безвыходнее. Несчастие дает новую энергию страсти у натур с экзальтированным воображением. Им даже нравится исключительность их положения; они любят свое горе, лелеют свое страдание, дорожат им, может быть еще больше, нежели сколько дорожили бы они своим счастием, если б оно выпало на их долю... И притом в глухом лесу нашего общества, где бы и скоро ли бы встретила Татьяна другое суще-

ство, которое, подобно Онегину, могло бы поразить ее воображение и обратить огонь ее души на другой предмет? Вообще несчастная, неразделенная любовь, которая упорно переживает надежду, есть явление довольно болезненное, причина которого, по слишком редким и, вероятно, чисто физиологическим причинам, едва ли не скрывается в экзальтации фантазии, слишком развитой на счет других способностей души. Но как бы то ни было, а страдания, происходящие от фантазии, падают тяжело на сердце и терзают его иногда еще сильнее, нежели страдания, корень которых в самом сердце. Картина глухих, никем не разделенных страданий Татьяны изображена в пятой главе с удивительною истиною и простотою. Посещение Татьяною опустелого дома Онегина (в седьмой главе) и чувства, пробужденные в ней этим оставленным жилищем, на всех предметах которого лежал такой резкий отпечаток духа и характера оставившего его хозяина, принадлежит к лучшим местам поэмы и драгоценнейшим сокровищам русской поэзии. Татьяна не раз повторила это посещение, –

И в молчаливом кабинете,
Забыв на время все на свете,
Осталась наконец одна
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них;
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой:
И ей открылся мир иной.
. . . . . .
И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее, слава богу,
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной.
. . . . . .
Ужель загадку разрешила,
Ужели слово найдено?..

Итак, в Татьяне, наконец, совершился акт сознания; ум ее проснулся. Она поняла наконец, что есть для человека интересы, есть

страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви? Но поняла ли она, в чем именно состоят эти другие интересы и страдания, и, если поняла, послужило ли это ей к облегчению ее собственных страданий? Конечно, поняла, но только умом, головою, потому что есть идеи, которые надо пережить и душою, и телом, чтоб понять их вполне, и которых нельзя изучить в книге. И потому книжное знакомство с этим новым миром скорбей, если и было для Татьяны откровением, это откровение произвело на нее тяжелое, безотрадное и бесплодное впечатление; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотреть на страсти, как на гибель жизни, убедило ее в необходимости покориться действительности, как она есть, и если жить жизнию сердца, то про себя, в глубине своей души, в тиши уединения, во мраке ночи, посвященной тоске и рыданиям. Посещение дома Онегина и чтение его книг приготовили Татьяну к перерождению из деревенской девочки в светскую даму, которое так удивило и поразило Онегина. В предшествовавшей статье мы уже говорили о письме Онегина к Татьяне и о результате всех его страстных посланий к ней.

..... В одно собранье
Он едет; лишь вошел... ему
Она навстречу. Как сурова!
Его не видит, с ним ни слова;
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!
Как удержать негодованье
Уста упрямые хотят!
Вперил Онегин зоркий взгляд:
Где, где смятенье, состраданье?
Где пятна слез?.. Их нет, их нет!
На сем лице лишь гнева след...
Да, может быть, боязни тайной,
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы, слабости случайной...
Всего, что мой Онегин знал...

Теперь перейдем прямо к объяснению Татьяны с Онегиным. В этом объяснении все существо Татьяны выразилось вполне. В этом объяснении высказалось все, что составляет сущность русской женщины с глубокою натурою, развитою обществом!, – все: и

пламенная страсть, и задушевность простого, искреннего чувства, и чистота, и святость наивных движений благородной натуры, и резонерство, и оскорбленное самолюбие, и тщеславие добродетелью, под которой замаскирована рабская боязнь общественного мнения и хитрые силлогизмы ума, светскою моралью парализовавшего великодушные движения сердца... Речь Татьяны начинается упреком, в котором высказывается желание мести за оскорбленное самолюбие:

Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я!
Сегодня очередь моя.

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? Одну суровость.
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И нынче – боже! стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь...

В самом деле, Онегин был виноват перед Татьяной в том, что он не полюбил ее тогда, как она была моложе и лучше и любила его! Ведь для любви только и нужно, что молодость, – красота и взаимность! Вот понятия, заимствованные из плохих сентиментальных романов! Немая деревенская девочка с детскими мечтами – и светская женщина, испытанная жизнию и страданием, обретшая слово для выражения своих чувств и мыслей: какая разница! И все-таки, по мнению Татьяны, она более способна была внушить любовь тогда, нежели теперь, потому что она тогда была моложе и лучше!.. Как в этом взгляде на вещи видна русская женщина! А этот упрек, что тогда она нашла со стороны Онегина одну суровость? «Вам была не новость смиренной девочки любовь?» Да это уголовное преступление – не подорожить любовию нравственного эмбриона!.. Но за этим упреком тотчас следует и оправдание:

.....Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

Основная мысль упреков Татьяны состоит в убеждении, что Онегин потому только не полюбил ее тогда, что в этом не было для него очарования соблазна; а теперь приводит к ее ногам жажда скандалезной славы. Во всём этом так и пробивается страх за свою добродетель...

Тогда – не правда ли? – в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна;
Что муж в сраженьях изувечен;
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?

Я плачу... Если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...
А нынче! – что к моим ногам
Вас привело? Какая малость!

Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

В этих стихах так и слышится трепет за свое доброе имя в большом свете, а в следующих затем представляются неоспоримые доказательства глубочайшего презрения к большому свету... Какое противоречие! И что всего грустнее, то и другое истинно в Татьяне...

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

Повторяем: эти слова так же непритворны и искренни, как и предшествовавшие им. Татьяна не любит света и за счастие почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она в свете – его мнение всегда будет ее идолом, и страх его суда всегда будет ее добродетелью...

А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена; неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть

И гордость, и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана,
Я буду век ему верна.

Последние стихи удивительны – подлинно конец венчает дело! Этот ответ мог бы итти в пример классического «высокого» (sublime) наравне с ответом Медеи: moi! {«Я!» – Ред.} и старого Горация: qu'il mourut! {«Да умрет он!» – Ред.} Вот истинная гордость женской добродетели! Но я другому отдана, – именно отдана, а не отдалась! Вечная верность – кому и в чем? Верность таким отношениям, которые составляют профанацию чувства и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освящаемые любовию, в высшей степени безнравственны... Но у нас как-то все это клеится вместе: поэзия – и жизнь, любовь – и брак по расчету, жизнь сердцем – и строгое исполнение внешних обязанностей, внутренне ежечасно нарушаемых... Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена в жизни сердца; любить – значит для нее жить, а жертвовать – значит любить. Для этой роли создала природа Татьяну; но общество пересоздало ее... Татьяна невольно напомнила нам Веру в Герое нашего времени, женщину, слабую по чувству, всегда уступающую ему, и прекрасную, высокую в своей слабости. Правда, женщина поступает безнравственно, принадлежа вдруг двум мужчинам, одного любя, а другого обманывая: против этой истины не может быть никакого спора; но в Вере этот грех выкупается страданием от сознания своей несчастной роли. И как бы могла она поступить решительно в отношении к мужу, когда она видела, что тот, кому она всю себя пожертвовала, принадлежал ей не вполне и, любя ее, все-таки не захотел бы слить с нею свое существование? Слабая женщина, она чувствовала себя под влиянием роковой силы этого человека с демонической натурою и не могла ему сопротивляться. Татьяна выше ее по своей натуре и по характеру, не говоря уже об огромной разнице в художественном изображении этих двух женских лиц: Татьяна – портрет во весь рост; Вера – не больше, как силуэт. И, несмотря на то, Вера – больше женщина... но зато и больше исключение, тогда как Татьяна – тип русской женщины... Восторженные идеалисты, изучившие жизнь и женщину по повестям Марлинского, требуют от необыкновенной женщины презре-

ния к общественному мнению. Это ложь: женщина не может презирать общественного мнения, но может им жертвовать скромно, без фраз, без самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость проклятия, которое она берет на себя, повинуясь другому высшему закону – закону своей натуры, а ее натура – любовь и самоотвержение...

Итак, в лице Онегина, Ленского и Татьяны Пушкин изобразил русское общество в одном из фазисов его образования, его развития, и с какою истиною, с какою верностью, как полно и художественно изобразил он его! Мы не говорим о множестве вставочных портретов и силуэтов, вошедших в его поэму и довершающих собою картину русского общества высшего и среднего; не говорим о картинах сельских балов и столичных раутов: все это так известно нашей публике и так давно оценено ею по достоинству... Заметим одно: личность поэта, так полно и ярко отразившаяся в этой поэме, везде является такою прекрасною, такою гуманною, но в то же время по преимуществу артистическою. Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности: но принцип класса для него – вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любование... Вспомните описание семейства Лариных во второй главе, и особенно портрет самого Ларина... Это было причиною, что в «Онегине» многое устарело теперь. Но без этого, может быть, и не вышло бы из «Онегина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого определенного факта для отрицания мысли, в самом же этом! обществе так быстро развивающейся...

«Онегин» писан был в продолжение нескольких лет, – и потому сам поэт рос вместе с ним, и каждая новая глава поэмы была интереснее и зрелее. Но последние две главы резко отделяются от первых шести: они явно принадлежат уже к высшей, зрелой эпохе художественного развития поэта. О красоте отдельных мест нельзя наговориться довольно, притом же их так много! К лучшим принадлежат: ночная сцена между Татьяною и нянею, дуэль Онегина с Ленским и весь конец шестой главы. В последних двух главах мы и не знаем, что хвалить особенно, потому что в них все

превосходно; но первая половина седьмой главы (описание весны, воспоминание о Ленском), посещение Татьяною дома Онегина) как-то особенно выдается из всего глубокостию грустного чувства и дивно прекрасными стихами... Отступления, делаемые поэтом от рассказа, обращения его к самому себе исполнены необыкновенной грации, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта в них является такою любящею, такою гуманною. В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской природы, к миру русского общества! «Онегина» можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением. Удивительно ли, что эта поэма была принята с таким восторгом публикою и имела такое огромное влияние и на современную ей, и на последующую русскую литературу? А ее влияние на нравы общества? Она была актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперед для него!.. Этот шаг был богатырским размахом, и после него стояние на одном месте сделалось уже невозможным... Пусть идет время и приводит с собою новые потребности, новые идеи, пусть растет русское общество и обгоняет «Онегина»: как бы далеко оно ни ушло, но всегда будет оно любить эту поэму, всегда будет останавливать на ней исполненный любви и благодарности взор... Эти строфы, которые так и просятся в заключение нашей статьи, своим непосредственным впечатлением на душу читателя лучше нас выскажут то, что бы хотелось нам высказать:

Увы! на жизненных браздах,
Мгновенной жатвой, поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас.

Покамест упивайтесь его,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею
И к ней привязан мало я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить.
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.
И чье-нибудь он сердце тронет;
И сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может, – лестная надежда! –
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мое благодаренье,
Поклонник мирных аонид.
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

(1814–1841)



«Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!» – так отозвался В.Г. Белинский о набирающем силу художественном даре Лермонтова.

Наследнику пушкинских традиций, великому русскому поэту **Лермонтову** в день последней дуэли было двадцать шесть лет. Его мать, Мария Михайловна Лермонтова, происходила из известного дворянского рода Арсеньевых, а заботливая и властолюбивая бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева принадлежала к не менее известной фамилии Столыпиных. Мать умерла, когда мальчик еще не достиг трехлетнего возраста. Отец, Юрий Петрович, – небогатый офицер, потомок приехавшего в Россию шотландского воина, служил воспитателем в кадетском корпусе. Брак родителей поэта нельзя было назвать счастливым, и это по-своему отразилось на всей судьбе Лермонтова.

Он родился в Москве, детство прошло в пензенском селе Тарханы. Мальчик рос болезненным, нервным. Бабушка взяла на себя все заботы о воспитании внука, возила его в Москву, на Кавказ. Лермонтов жил в живописном подмосковном имении Столыпиных Середникове, с удовольствием гостил в Кропотове, тульском имении униженного и изгнанного отца

Осенью 1827 года бабушка с внуком переехали в Москву, и на следующий год Лермонтов был зачислен полупансионером в Московский университетский благородный пансион. Огромное влияние на начинающего поэта оказал С.Е. Раич, преподававший отечественную словесность. Здесь Лермонтов начал писать стихи для пансионского журнала «Улей», учился музыке, занимался рисованием и живописью, посещал московские театры.

В 1829 году им начата поэма «Демон», а в 1830 году Лермонтов сдал экзамены и был принят в Московский университет. Он много пишет и начинает печататься.

Одинокий отец его приезжал к сыну в Москву. «Ужасная судьба отца и сына / Жить розно и в разлуке умереть» – эти лермонтовские строки станут эпитафией рано умершему отцу, при жизни успевшему оценить степень творческой одаренности сына («это такой талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!..»).

Для студента Лермонтова 1831 год отмечен яркими событиями: пишет стихотворения и драмы, танцует на балах, всерьез увлекается Н.Ф. Ивановой, дочерью московского драматурга. Затем новое бурное увлечение: адресатом многих лермонтовских стихотворений становится В.А. Лопухина, сестра близкого друга поэта.

В 1832 году Лермонтовым были написаны «кавказская» романтическая поэма «Измаил-Бей» и знаменитое стихотворение «Парус», ставшее благодаря музыке А.Е. Варламова народной песней. В этом же году юноша покидает университет и уезжает с бабушкой в Петербург, выбирает военную карьеру – поступает в Школу гвардейских и кавалерийских юнкеров.

Его поэмы и стихотворения появляются в рукописном журнале, он работает над «Демоном» и романом о Пугачевском бунте «Вадим», пишет поэму «Хаджи Абрек». В манеже школы с поэтом произошел несчастный случай: норовистая лошадь разбила ему ногу, и с тех пор Лермонтов хромал, как его любимый поэт Байрон.

В 1834 году он выпущен корнетом лейб-гвардии Гусарского полка. Тогда же началось его увлечение Е.А. Сушковой, выросшее в затяжную историю борьбы самолюбий (перипетии этого любовного романа легли в основу «сушковского» цикла стихотворений, главным мотивом которого является неразделенная любовь героя).

В 1835 году начата романтическая драма «Маскарад», в основе которой – конфликт одинокой сильной личности и «большого света». А 1836 год насыщен литературными событиями: написано стихотворение «Умирающий гладиатор», запрещена цензурой к постановке драма «Маскарад», начат роман «Княгиня Литовская», тогда же, по всей видимости, написано известное стихотворение «Бородино», позднее опубликованное в пушкинском «Современнике». К этому времени относится и начало работы над поэмой «Тамбовская казначейша», продолжившей традиции «Евгения Онегина».

В 1837 году, на следующий день после смерти Пушкина, Лермонтовым было написано и распространилось по стране в десятках тысяч списков знаменитое стихотворение «Смерть Поэта». Автор его сразу стал известен, а вскоре был арестован и по высочайшему повелению переведен тем же чином (то есть понижен в чине) из привилегированной гвардии в армейский кавалерийский полк на Кавказ. На Кавказе поэт познакомился со ссыльными декабристами и лечившимся там В.Г. Белинским, подружился с разжалованным в солдаты поэтом А.И. Одоевским. Кавказские впечатления отразились в его поэзии и живописи. Во время визита императора в Тифлис Лермонтов был прощен (примечательно, что за него одновременно хлопотал поэт В.А. Жуковский) и возвращен в гвардию. В этот период Лермонтовым написаны восточная сказка «Ашик Кериб» и близкая к исторической песне-думе и древнерусской былине поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

В начале 1838 года Лермонтов прибыл в Москву, а затем и в Петербург, очутился в кругу Карамзиных, сблизился с Жуковским и другими друзьями покойного Пушкина, много писал и печатался, особенно в новом передовом журнале «Отечественные записки». Литературная известность Лермонтова росла: завершена последняя редакция «Демона», написаны кавказская поэма «Мцыри», стихотворения «Дума», «Поэт», «Молитва», «Русалка», «Три пальмы», повести «Бэла» и «Фаталист».

Поэт посещает вечера и балы петербургского высшего общества и имеет там успех. Но своим беспокойным и смелым характером и острым языком Лермонтов наживает много влиятельных недоброжелателей. В феврале 1840 года столкновение Лермонтова с сыном французского посла Эрнестом де Барантом закончилось опасной дуэлью на саблях, легкой раной, арестом и суровым приговором: двухлетнее заключение в крепости и исключение навсегда из гвардии.

За этим последовала новая ссылка в армейский пехотный полк, действовавший на опаснейшем участке Кавказа.

После очередных знаменательных прощаний в Петербурге и Москве (здесь он провел почти месяц и читал Гоголю и другим писателям поэму «Мцыри»), Лермонтов отбыл на новое место службы. Впереди были кровопролитные сражения и походы в Чечне, в

том числе описанными поэтом жесточайший бой на реке Валерик («Я к вам пишу случайно; право...», 1840). Тем временем в Петербурге вышло отдельное издание романа «Герой нашего времени», а также однотомник поэзии, имевшие большой успех и вызвавшие восторженные отклики и статьи Белинского.

В 1841 году отличившийся в сражениях поэт получил двухмесячный отпуск и прибыл в Петербург. Лермонтов был полон надежд и планов, мечтал об отставке и занятиях литературной деятельностью, издании собственного журнала. Этот краткий, необыкновенно плодотворный промежуток времени между ссылками поэт создает лучшие свои произведения, среди которых в опубликованных «Отечественных записках» знаменитое программное стихотворение «Родина».

И. Г. Белинский вспоминал о Лермонтове: «Пылкая молодость, жадная до впечатлений бытия, самый род жизни, – отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взгляд спокойнее стал вглядываться в глубь жизни». Однако надеждам и планам поэта не суждено было сбыться. Его снова выслали «по минованию срока отпуска», и снова друзья провожали поэта. На вечере у Карамзиных Лермонтов долго беседовал с Н.Н. Пушкиной: «Прощание их было самое задушевное...». В короткий срок поэт создает ряд лирических стихотворения «Сон», «Утес», «Листок», «Выхожу один я на дорогу...», «Пророк» и др.

В мае Лермонтов приехал на лечение в Пятигорск. Нелепая ссора на балу привела к дуэли, и 15 июля поэт был убит майором Н.С. Мартыновым.

«В нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Людвига-Филиппа. Второй раз не дают промаха. Грустно!» – писал П.А. Вяземский. «... Этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором, оставить после себя длинную струю света и благоухания и – исчезнуть во всей красе своей...» – так отозвался о личности ушедшего гения В.Г. Белинский.

На протяжении своей короткой творческой жизни Лермонтов оставался певцом мятежного одиночества, а его вершинные произведения – образцом могучей энергии творчества. «Так жизнь скучна, когда боренья нет» – эта лермонтовская строчка может служить своеобразной эмблемой всего творчества писателя.

Лермонтов рано осознал свою принадлежность к настоящей литературе: в его творчестве практически нет традиционного периода ученичества, «литературного младенчества». В стихотворении четырнадцатилетнего автора **«Поэт»** (1828) звучат удивительно зрелые для столь «детского» возраста размышления о статусе художника и таинстве вдохновения:

Таков поэт: чуть мысль блеснет,
Как он пером своим прольет
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет и в тишине
Поет, забывшись в райском сне,
Вас, вас! души его кумиры!

Лермонтовское лирическое «я» разительно отличается от пушкинского: вместо юношеского «разгула на пиру жизни» в лирике «поэта печали» звучит ранняя усталость, предвосхищение трудного и краткого пути:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

В этом лермонтовском шедевре 1832 года обозначена главная черта творческого облика поэта – его избранничество, осознание своей особой миссии в «мире печали и слез». Упоминание о Байроне также не случайно: в 30-е годы XIX века позиции романтизма заметно ослабели и имя английского поэта уже начинало уходить в историю. Лермонтов дал русскому романтизму «второе дыхание». Это сравнение души поэта с безбрежным океаном традиционно для романтической поэзии, но в контексте лермонтовского стихотворения оно обретает особое, трагическое звучание – это океан, на дне которого, подобно остовам погибших кораблей, лежат похороненные н безбрежных волнах стремительной жизни благородные мечты поэта. Этот характерный для романтической лирики разлад между мечтой и реальностью доведен у Лермонтова до особой остроты, свойственной поэту с «русской душой». «Пока еще не назовем мы его ни Байроном, ни Гёте, ни Пушкиным и не скажем, чтоб из него со временем вышел Байрон, Гёте или Пушкин: ибо мы убеждены,

что из него выйдет ни тот, ни другой, ни третий, а выйдет – *Лермонтов*», – писал Белинский в одной из своих критических статей.

Избранничество Лермонтова-художника чревато страданиями. Чаще всего речь идет о неразделенной любви, и здесь присутствует несомненное влияние Байрона.

Таково раннее стихотворение Лермонтова **«Нищий»** (1830), обращенное, как и другие произведения этого лирического цикла, к красивой и умной московской барышне Е.А. Сушковой. Оно написано после посещения лавры, где им встретился слепой нищий, пожаловавшийся на жестокую шутку каких-то «господ», бросивших ему камень вместо милостыни.

Вначале поэт с возмущением рассказывает эту историю жестокого и легкомысленного обмана несчастного страдальца «у врат обители святой» и вносит в нее мудрость евангельской проповеди о подаянии всякому просящему. Затем следует характерное для Лермонтова сравнение: поэт говорит о горечи тяжелых воспоминаний и тоске несбывшихся надежд, о жестокости и равнодушии героини, обманувшей его сильное, искреннее чувство и отвергшей его мольбы и слезы:

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

Стихотворение звучит как укор, страстная, негодующая обвинительная речь, упрек легкомысленной кокетливой красавице, не оценившей чувство поэта.

Не менее острое любовное переживание отображено в стихотворении «К ***» («Я не унижусь пред тобою...», 1832), адресованном Н.Ф. Ивановой. Оно написано совсем еще юным поэтом, но проникнуто чувством личного достоинства и желанием раз и навсегда разорвать путы, связывающие творящего художника с бесплодной «надеждой юных дней». Тяжелая, поработительная страсть лишает поэта вдохновенья, уводит его с избранной стези:

Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?

В стихотворении **«Из-под таинственной холодной полумаски...»** (1840) женский образ предстает в обрамлении романтической тайны и является воплощением идеальной мечты поэта:

И создал я тогда в моем воображенье
По легким признакам красавицу мою;
И с той поры бесплотное виденье
Ношу в душе, ласкаю и люблю.

Таким же светлым мечтательным чувством окрашены стихотворения поэта, адресованные В.А. Лопухиной («Она не гордой красотою 1832) и М.А. Щербатовой («Отчего», 1840). А знаменитая **«Молитва»** (1832), обращенная к Богородице и воспевающая «деву невинную» и «лучшего ангела душу прекрасную», поднимает лермонтовскую лирику до высоты пушкинской «Мадонны». Принимая страдания, поэт благодарит любовь за те мгновения, которые и делают поэта Поэтом.

С мятежным юным Лермонтовым в русскую поэзию после Пушкина неожиданно возвращается романтизм со всей его субъективностью, поэт снова осознает себя центром вселенной, восстает против неправильного миропорядка и угнетения личности. Лермонтовская лирика, в отличие от пушкинской, порывиста, неровна, тороплива, беспокойна, полна сильного борения страстей и желаний, яростного негодования, обид и обвинений:

Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей.

Самым известным произведением, сразу сделавшим молодого поэта знаменитым, является **«Смерть Поэта»** (1837). Это уже гражданская лирика, политическая сатира, смелое обличение тех, кто скрывает свои преступления под сенью царского трона и бездействующего Закона. Это и страстный упрек самой Власти, допустившей столь страшное преступление. Только Лермонтов имел право написать такое стихотворение, и именно он лучше всех выразил скорбь и негодование русского общества по поводу трагической гибели национального поэта. В итоге потрясенное и прозревшее общество узнало и признало автора как достойного наследника великого Пушкина.

Тематика стихотворения заявлена сразу и прямо указывает на его принадлежность к обличительной лирике. Его темы – «поэт и толпа», «поэт и власть», «поэт и Закон», «суд истории».

Погиб поэт! – невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

Образ «невольника чести» взят из пушкинского «Кавказского пленника», и это еще одна дань памяти ушедшему гению.

Стихотворение выстроено по всем правилам торжественной риторики, обвинительной речи: оно делится на три основные части. Гнев, негодование, скорбь, характерные для красноречия сознательные преувеличения и заострение тем и суждений создают особое, «лермонтовское» звучание темы. Вначале Лермонтов говорит о трагической гибели оклеветанного и юго поэта и прямо называет ее убийством. От мелочных обид, мучений и светской клеветы высокопоставленные гонители поэта перешли к заговору против непокорного, восставшего «против мнений света» Пушкина и путем тонкой циничной интриги вложили смертоносное оружие в руки самодовольного, неумного и ничтожного чужестранца: «Его убийца хладнокровно / Навел удар... спасенья нет...»

Интонации лермонтовской речи разительно меняются, когда он обращается к поэтическому образу живого Пушкина, сравнивая его «милым певцом» Ленским. Лермонтов скорбит, сожалеет о неосторожном вступлении ранимого поэта в высший свет, о его доверчивости к неискренним ласкам и обещаниям, об отравленных последних перипетиях жизни гения:

Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

Заключительная часть стихотворения была дописана Лермонтовым после взволнованных споров, суждений и появления новых фактов об убийстве Пушкина. Поэт возвращается к обвинениям и прямо называет виновников гибели великого певца гармонии: это вожди «новой» аристократии, ставшие ядром николаевской маши-

ны власти, «жадною толпой стоящие у трона», презревшие закон и справедливость. Обвинительная речь Лермонтова завершается грозным напоминанием о «мнении народном», о высшем, Божьем суде и суде истории, который выявит правду и заклеймит кровавое преступление в веках.

Отдав последние почести солнечному гению Пушкина, Лермонтов задумывается о роли поэта в современном ему, «послепушкинском» обществе. Каков он, современный поэт, и каковы его взаимоотношения с окружающим миром? Так рождается второе в творчестве Лермонтова стихотворение **«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»)**, написанное в 1838 году и опубликованное спустя два года после смерти Пушкина. В стихотворении чувствуется влияние пушкинской лирики («Пророк», «Поэт», «Поэту», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»). Метафорическое уподобление поэта и его творений боевому оружию – кинжалу близко поэзии декабристов:

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда, на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

Следуя пушкинской традиции, Лермонтов создает еще одно произведение, прямо соотносящееся с шедевром великого предшественника, – стихотворение **«Пророк»** (1841), в котором также обращается к «вечной» библейской тематике:

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Пушкинский пророк, наделенный сверхспособностями, в финале стихотворения внимает Божьему напутствию и готовится идти в мир. Герой Лермонтова повествует о своем хождении в народ как о трагической неудаче: «любви и правды чистые ученья» отвергаются толпой, а сам пророк вынужден бежать в пустыню (именно оттуда начал свой путь герой Пушкина). Только здесь, в спасительном одиночестве, герой-пустынник обретает гармонию и покой:

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная.
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Мотив одиночества пронизывает всю лирику поэта, являясь своеобразной «религией» Лермонтова-художника. «Святое одиночество», воспетое немецкими романтиками, для Лермонтова – единственно возможная форма существования мятежной, гордой души (вспомним героя знаменитого «Паруса», просящего бури во имя покоя и отъединенного от мира своей «нездешней» мечтой о высшей гармонии). Лермонтовский герой страдает от вынужденной изоляции в обществе, где царят ложь, обман и предательство.

Теме одиночества посвящено известное лермонтовское стихотворение «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1840). Мир светских отношений представлен в нем как непрекращающийся бал-маскарад, суетливое и призрачное театральное действо: «Мелькают образы бездушные людей, / Приличьем стянутые маски...» От этого мелькания людей-масок, лжи и фальши затверженных речей может спасти лишь некое внутреннее уединение, погружение в мир «старинной мечты» – воспоминаний о детских иллюзиях влюбленной в жизнь души поэта. Пробуждение от забытья, возвращение в суету людской толпы мучительно для героя, с новой силой ощущающего свое духовное сиротство «при шуме музыки и пляски». И именно в этот момент на смену вдохновенной мечтательности приходят другие, не менее сильные чувства:

О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

Это плата и за горечь изгнанья, и за вынужденное одиночество в родном краю (в стихотворении явно угадываются автобиографические мотивы). Это суровый и резкий вызов тем силам, что из века в век являются гонителями живой души поэта.

Желанное пристанище одинокого поэта – вечная природа (вспомним пушкинского героя, бегущего от толпы «на берега пустынных волн, в широко шумные дубравы»). В мире природном поэт ищет и находит созвучие своим грустным одиноким думам. Сила поэтиче-

ского воображения рождает яркие, запоминающиеся образы: перед нами возникает угрюмый утес, оплакивающий разлуку с «тучкой золотой» («Утес»), «бедный листочек дубовый», превратившийся в горестного скитальца, одинокая сосна, дремлющая на голой вершине («На севере диком стоит одиноко...»). В стихотворении «Тучи» (1840) герой следит за полетом «вечных странников» небес, следующих «с милого севера в сторону южную»:

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть *ли тайная?* злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

В этих вопросах скрывается драма поэта-изгнанника, гонимого миром, как и было предсказано в строках стихотворения «Нет, я не Байрон, я другой...». Лермонтовский герой тоскует по гармонии, мечтает о свободном и справедливом мире подобно герою поэмы «Мцыри» и так же, как он, готов заплатить за это дорогую цену.

Тема человека и природы, художника и мирозданья имеет у Лермонтова различные, подчас полярные оттенки звучания.

Душа поэта стремится ввысь, к лучшему миру, несбыточному идеалу, движима небывалой по силе творческой энергией и жаждой деятельности. Не случайно перу Лермонтова принадлежат искренние, прочувствованные молитвы, которые философ В.В. Розанов точно назвал «оригинальными и личными гимнами».

Вдумчивый читатель понимает, что автор этих светлых гимнов искренен в своей вере, прошедшей через великие сомнения и отчаяние одиночества, надеется на спасение.

Лермонтов создал три стихотворения с названием «Молитва», но таковыми, по сути, являются и многие другие его произведения, и прежде всего написанное в том же этапном 1837 году проникновенное стихотворение **«Когда волнуется желтеющая нива...»**.

Как и другие лирические шедевры поэта, оно продуманно и музыкально выстроено, разбито на три повторяющие друг друга части и завершается мощным финальным аккордом – последним четверостишием, содержащим добытую умом и сердцем высокую истину. Лермонтов в совершенстве владеет искусством лирической композиции. Это медленное восхождение мысли и развитие чувства на пути к просветлению.

«Когда волнуется желтеющая нива...» – одно из лучших стихотворений о природе, причем видно, что автор не только лирический поэт, но и художник и музыкант. Ему знакомы живописные и экзотические пейзажи Кавказа, но здесь он говорит о родном, с детства знакомом:

Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой...

Это русская природа средней полосы, где под неярким солнцем мирно желтеют хлеба, шумят свежие листья в лесу, журчит в овраге студеный ключ. Летний зной и прохлада соседствуют, сменяют друг друга. Эта картина живет в своих неповторимых красках, запахах и звуках, и ее делают реальной, подлинной и поэтичной точно найденные зримые детали – «свежий лес», «малиновая слива», «румяный вечер», «час златой» утра, «ландыш серебристый», вечно лепечущий родник (пейзаж в стихотворении как бы «собран» из наиболее ярких примет различных времен года). Такой удивительно емкой словесной живописи Лермонтов достигает только в **«Родине»** (1841), передающей глубоко интимное патриотическое чувство поэта. Отказываясь следовать общепринятым, в том числе государственным, постулатам народности и патриотизма, Лермонтов говорит о своей «странной», иррациональной любви к России, ее грандиозным пространствам и малым, но родным проявлениям «русского» («Смотреть до полночи готов / На пляску с топаньем и свистом / Под говор пьяных мужичков»).

В стихотворении ощущается то же духовное пространство Руси. Поэт видит по-новому с детства знакомое и родное, душа его светлеет, успокаивается, освобождается от сомнений, отрицания, неверия, мрачных мыслей, предчувствий и отчаяния. Мысль и чувство стремятся вверх, к лазурным небесам, вечной красоте и покою. Природа примиряет поэта с тяжелой, неудачливой судьбой, поражениями и разочарованиями, рождает веру, надежду:

И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...

Той же просветленностью отмечено стихотворение **«Молитва»** («В минуту жизни трудную...», 1839), но здесь ритм поэтической речи стремителен, душа поэта словно бы парит над землей. У стихотворения характерное «лермонтовское» начало: речь идет о трудном моменте жизни, разочаровании и обиде, тяжести сомнений. Но стихотворение это о другом. Оно – о благодатной, исцеляющей и просветляющей силе вдохновенного молитвенного слова, овладевающей усталым и отчаявшимся сердцем.

«Из того же самого духа поэта, из которого вышли такие безотрадные, леденящие сердце человеческое звуки, из того же самого духа вышла и эта молитвенная, елейная мелодия надежды, примирения и блаженства в жизни жизнию», – писал Белинский об этом замечательном стихотворении.

Поэту очень нужны были такие молитвы, *подобные минуты душевного* просветления, ибо он, как и лучшие люди его поколения, знал мрачные минуты отчаяния и разочарования во всем, зловещие предчувствия, ощущение полной безысходности бытия, порождавшие в нем «ледяное ироническое спокойствие» (Аполлон Григорьев).

Не забыто и поколение 1812 года, заслужившее вечную славу на Бородинском поле. Слова старого солдата из стихотворения **«Бородино»** (1817) выражают общее чувство, владевшее защитниками родины: «Уж мы пойдем ломить стеною, / Уж постоим мы головою / За родину свою!» До и после описания грандиозной картины битвы рассказчик дважды обращается к «нынешнему племени» с упреком: «Богатыри – не вы!» За этим простым, бесхитростным противопоставлением пролегает бездна, отделившая эпоху великих исторических свершений от периода безвременья, породившего феномен «потерянного» поколения.

Обобщенно-риторическое «мы» прозвучало и в другом, позднем, стихотворении поэта, герой которого является представителем поколения 1830-х годов. В стихотворении **«Дума»** (1838) нашли свое отражение размышленья поэта над судьбами современников. Обращаясь к жанру исторической думы Лермонтов отходит от традиционного содержания: поэт не отображает крупные, ключевые события прошлого пли современности, а осмысливает причины их отсутствия с наступлением «больного» века:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.

Это элегическое начало несет на себе печать личного опыта художника, глубоко проникшего в сущность социального скепсиса и пессимизма, носителями которого являлись многие достойные молодые люди, не нашедшие применения своим талантам и способностям. Сами ключевые понятия – «познанье», «сомненье», «бездействие» – намечают некую схему «убывания», утраты духовных сил личности по мере ее погружения в действительность, лишенную нравственных опор и высоких идеалов.

Сочувствие перерастает в обвинение – но в чем?
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.

Мыслящий человек «восстает против мнений света» или «уходит в себя», измеряя жизнь людей своим холодно-эгоистическим «я» (вспомним «онегинский» тип личности). Выбрав последнее, молодые люди эпохи безвременья обрели эфемерную защиту от несовершенства окружающей жизни, заключающуюся во внешней иронии и равнодушии, за которыми тщательно скрываются подлинные чувства и страсти. Итогом подобного насилия над живой жизнью в самом себе становится постепенное умирание души, обесценивание важнейших категорий человеческого бытия:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

Пройдя «толпой угрюмою» отмеренный ему век, это поколение «эгоистов поневоле» не способно оставить сколько-нибудь значимый след в истории. Будущее беспощадно заклеймит и бесславную, лишенную высоких порывов эпоху, и подчинившееся ей «потерянное» поколение: в финале «Думы» возникает фигура потомка, чей

«презрительный стих» подведет итог бесплодному существованию сыновей бескрылого» века:

Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты – его паденья час!

Разделяя участь своего поколения, Лермонтов одновременно является и автором того самого «презрительного стиха», с которым в будущем должен выступить потомок – «судья и гражданин». Именно способность вынести суровый приговор своей эпохе, сделать свою поэзию поборницей истины и справедливости и выделяет поэта из «угрюмой» и «скоро позабытой» толпы скучающих современников.

Выразив свою позицию в ярких поэтических образах, Лермонтов не менее определенно и талантливо явил ее в эпосе, создав роман **«Герой нашего времени».**

Роман «Герой нашего времени»

«Герой нашего времени» принадлежит к тем явлениям истинного искусства, которые, занимая и услаждая внимание публики как литературная новость, обращаются в прочный литературный капитал, который с течением времени все более и более увеличивается верными процентами» – так оценил В.Г. Белинский лермонтовский роман из современной жизни, появившийся в печати в мае 1840 года.

Замысел «Героя нашего времени» складывался постепенно. В 1836 году Лермонтовым были написаны драма «Два брата» (в ее герое Александре Радине угадываются черты будущего «героя времени») и девять глав романа «Княгиня Литовская», который не был закончен, а его герой, Григорий Александрович Печорин, «перешел» в роман о русском офицере на Кавказе. В Печорине из «Княгини Лиговской» сосредоточены те черты характера, которые затем будут развиты в «Герое...»: в определенной степени незаконченный «петербургский» роман можно считать своеобразным прологом к более крупному замыслу и одновременно предысторией «кавказского» Печорина.

Роман «Герой нашего времени» включил пять сюжетно завершенных повестей, из которых три – «Бэла», «Фаталист» и «Тамань» – были опубликованы отдельно в «Отечественных записках», а остальные две – «Максим Максимыч» и «Княжна Мери» – появились уже в отдельном издании романа в 1840 году. «Герой нашего времени» отнюдь не есть собрание нескольких повестей, изданных в двух книжках и связанных только общим названием <...> это роман, в котором один герой и одна основная идея, художнически развитая» – так объяснил Белинский замысел автора.

Роман строится вокруг главного героя и связанной с ним, всем близкой и понятной общественно-философской проблемой. С самого начала вниманием автора-повествователя, а вместе с ним и читателей овладевает Григорий Александрович Печорин, молодой, образованный, полный жизненных сил дворянин, человек большого света, гвардейский офицер, сосланный из Петербурга на Кавказ за дуэль. Яркие способности и силы его не находят достойного применения, тратятся на мимолетные увлечения и бессмысленные, подчас жестокие эксперименты над окружающими. Уже в начале романа звучит само признание героя: «Во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне всё мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня...»

Очевидно, что лермонтовский Печорин принадлежит к разочарованным молодым людям той эпохи, ставшими героями многих западноевропейских романов и поэм. Речь идет об эпохе позднего романтизма. Резкий протест, бесплодное бунтарство против политического безвременья и общего равнодушия говорят о близости Печорина к мятежным персонажам поэм Байрона, а сходство судеб автора и героя позволяет увидеть в Печорине автобиографические черты. «Автор постарался отделить себя от своего героя, однако для читателя с повышенной восприимчивостью щемящий лиризм и очарование этой книги в значительной мере заключаются в том, что трагическая судьба самого Лермонтова каким-то образом проецируется на судьбу Печорина», – точно подметил писатель В.В. Набоков.

Однако, если бы в Печорине был воспроизведен только лишь портрет самого Лермонтова, роман не вызвал бы столь ожесточенные споры, оставшись фактом биографии конкретного человека. Но сквозь внутренний облик Печорина мы видим эпоху, нравы и

судьбу поколения – и в этом проявляется **реализм** лермонтовского социально-философского романа.

Сама фамилия главного героя романа является в каком-то смысле «говорящей», ясно указывая на его родство с пушкинским Онегиным: они как бы сменяют один другого в русской действительности. Лермонтовский Печорин с удовольствием цитирует пушкинского «Евгения Онегина» и сам не чужд некоторого романтического демонизма, отчасти ставшего красивой позой скучающего молодого дворянина. Однако он не мифологический Демон, а русский человек, сын своего нелегкого времени. Но Печорин борется и живет, причем не в горных высях, а в реальной действительности. Это типический характер, развивающийся в типических обстоятельствах:

Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.

«Герой нашего времени» последовательно выявляет себя в различных жизненных обстоятельствах – Кавказ, ссылка, война с черкесами, офицерская среда, светское общество, любовные истории, опасные приключения, дуэли. Общему авторскому замыслу подчинена **композиция** романа. Ведущим жанром русской прозы тех лет являлась повесть, сначала романтическая, потом бытописательная, а благодаря Гоголю и его ученикам ставшая реалистической. «Герой нашего времени» составлен из пяти повестей, которые при первой публикации воспринимались как романтические, чему способствовала их «кавказская» приключенческая тематика. В романтизме главное – авторское «я», личность и чувства художника. В романе Лермонтова автор «прячется» за образами рассказчиков и в то же время помогает им в создании портрета реальной личности.

В каждой повести Печорин представлен по-новому, показан в развитии и другими глазами, меняются рассказчики (странствующий офицер, Максим Максимыч) и точки зрения на героя, а события последних трех повестей – «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист» – изложены самим Печориным, продуманно объединены в его дневник («журнал») с предисловием публикующего эти тексты офицера-повествователя. Действие романа в целом занимает не менее восьми лет, и у читателя есть время, чтобы узнать главного героя, увидеть его личность и характер в движении и развитии. «Внимательный читатель отметит, что весь фокус подобной композиции

состоит в том, чтобы раз за разом приближать к нам Печорина, пока, наконец, он сам не заговорит с нами, но к тому времени его уже не будет в живых», – верно заметил В. В. Набоков.

Хронологическая последовательность повестей такова: «Тамань» (сосланный за дуэль гвардеец Печорин останавливается в этом крымском городке по дороге на Кавказ), «Княжна Мери» (Печорин отдыхает после боев на водах в Пятигорске и за убийство Грушницкого на дуэли переводится в дальнюю крепость), «Бэла» (любовная драма, разыгравшаяся в период службы Печорина в крепости), «Фаталист» (приключение в казачьей станице, куда герой приезжает из крепости), «Максим Максимыч» (встреча Максима Максимыча и рассказчика с уезжающим в Персию Печориным).

Важной частью композиции романа является сообщение основного повествователя о смерти Печорина в предисловии к дневнику героя. Лермонтов, продуманно выстраивая свой роман из отдельных разрозненных фрагментов жизни героя, решительно разрывает эту хронологию.

Характер и личность главного персонажа романа в **«Бэле»** исходно очерчены в рассказе простодушного штабс-капитана: мы видим человека умного, сильного, но уставшего от жизни и людей и стремящеюся себя развлечь и развеять рискованными и весьма жестокими предприятиями. Скучающий в горной глуши Печорин начинает свою службу в крепости с кражи чужого коня и похищения любимой дочери местного «мирного» князя, что вызывает соответствующую реакцию горцев и честного Максима Максимыча. Эгоистичному Печорину нет дела до того, что вокруг крепости идет кровавая война и что он – русский офицер, находящийся в чужой враждебной стране среди воинственных мусульман, где подобные «развлечения» могут иметь весьма тяжелые последствия.

За неосторожным поступком молодого офицера следует обвал драматических событий: навсегда покидает семью угрюмый и безоглядный Азамат, от руки Казбича погибают Бэла и ее отец. А сама история взаимоотношений Печорина и Бэлы даже в изложении простодушного штаб-капитана исполнена подлинно трагического звучания. Уже в первом портретном описании юной черкешенки проступает незащищенность, детская доверчивость: «И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу». Бэла дважды становится жертвой,

будучи похищена собственным братом, а затем отвергнута любимым ею человеком. Но в поведении горца Азамата и «европейца» Печорина есть существенная разница: первый совершает проступок под влиянием страсти, полностью владеющей «преупрямым мальчишкой», тогда как Печорин спокойно просчитывает все ходы задуманной им «партии» и даже заключает пари с Максимом Максимычем, обещая, что через неделю Бэла будет принадлежать ему.

Все перипетии рассказанной им истории Максим Максимыч объясняет «странностями» Печорина («Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен»). Необъяснимые для рассказчика поступки и душевные проявления Печорина являют собой отклонения от той нравственной нормы, которую воплощает добрый Максим Максимыч. В.Г. Белинский охарактеризовал его как «тип старого кавказского служаки, закаленного в опасностях, трудах и битвах, которою мню так же загорело и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у нею чудесная душа, золотое сердце». Лучшие черты «русского кавказца» ермоловской поры в характере Максима Максимыча оттеняют нравственные «аномалии» Печоринской натуры с ее внутренним холодом и душевной страстью, юношеской импульсивностью и разочарованностью, подлинным интересом к людям и эгоистическим своеволием. Вместе с тем Печорин отнюдь не романтический гений зла: «У меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив». Исповедь Печорина, пересказанная Максимом Максимычем, обнажает внутренние мотивы душевной тоски и скуки, овладевших совсем еще молодым человеком: герой не способен обрести счастье в достижении жизненных целей, так как по достижении их тут же охладевает к результату своих усилий. Причины этой нравственной болезни отчасти связаны с «испорченностью света», развращающего молодые души праздностью и задающего порочные стереотипы жизненного поведения. Но подлинные, глубинные мотивы преждевременной «старости души» героя еще только предстоит постичь вдумчивому читателю романа. На данном же этапе повествования попытка психологического анализа «печоринского феномена» ограничивается диалогом Максима Максимыча с «записывающим» офицером:

– А всё, чай, французы ввели моду скучать?

– Нет, англичане.

– Ага, вот что!.. – отвечал он, – да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Добрый штабс-капитан, по-своему полюбивший «нездешнего» Печорина, не может не нести моральных потерь в беспокойной дружбе с этим странным, порой бесчувственным, не испытывающим угрызений совести человеком. Позже выяснится, что тот, устав от людей, тяготится самой этой дружбой и старым знакомством.

В главе **«Максим Максимыч»** чуждый какой-либо неискренности штабс-капитан глубоко обижен скучающим аристократом Печориным, оскорбительно сухо встретившим старого приятеля. При этом читателю явлен точный и подробный психологический портрет главного героя. Он дан офицером-повествователем – европейски образованным человеком, знакомым с новейшей литературой и философией, книгами по психологии: «он не размахивал руками – верный признак некоторой скрытности характера»; «положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость»; глаза Печорина «не смеялись, когда он смеялся <...> Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти»; «взгляд его <...> мог бы показаться дерзким, если бы не был столь равнодушно спокоен». Это попытка разгадки «внутреннего человека» через внешние «говорящие» детали. И вновь возникает контраст между обликом и поведением искренне обрадованного встречей сердечного Максима Максимыча и отстраненным, холодно протянувшим руку вместо объятия Печориным. Встреча старых приятелей не состоялась: это скорее мимолетный разговор с желанием одного из собеседников поскорее его закончить («Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... – прибавил он, взяв его за руку»).

И все же повествователь разглядел в этом эпизоде нечто большее, нежели проявление сословной дистанции между «петербуржцем» Печориным и простым штабс-капитаном.

Поспешный отъезд Печорина, его равнодушие к собственным дневникам, оставшимся в чужих руках, по-своему символичны (в «Княжне Мери» герой утверждает, что его записки когда-нибудь станут для него «драгоценным воспоминанием»). Эта лишенная ожидания новых, ярких впечатлений поездка в Персию напоминает о словах, сказанных Печориным Максиму Максимычу в «Бэле»:

«...Жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправляюсь – только не в Европу, избави Боже! – поеду в Америку, в Аравию, в Индию, – авось где нибудь умру на дороге!» Из предисловия к «Журналу Печорина» читатель узнает, что пожеланию героя, увы, суждено было сбыться...

Перед нами заключительный акт человеческой драмы, но тайна души Печорина все еще остается до конца не разгаданной. Лермонтов рисует портрет человека сложного и «текучего», наблюдательного и иронического, легко переходящего от уверенности к сомнению, полного жизненных сил и не имеющего возможности приложить их в окружающей ей действительности: «Я как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты».

В своем журнале Печорин анализирует внешние и внутренние события своей жизни, точно и вполне объективно каждую свою мысль и поступок. Автор предисловия к печоринскому дневнику убежден искренности «героя времени», замечая: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление». В этих словах явственно слышен и голос биографического автора. Лермонтов указывает на главную причину успеха, неувядаемой свежести и занимательности романа: читателей сразу увлек психологический портрет Печорина , та смелость, с которой он открывал свою изверившуюся, но все еще сильную, жаждущую любить душу и блестящий, гибкий, холодный разум. Самоирония Печорина, его трезвый самоанализ, ясное понимание самого себя и других людей – все это подчеркивало силу характера, его земную (в отличие от лермонтовского Демона), многострастную натуру, обреченную на одиночество и страдание, неустанную борьбу со своей несчастливой судьбой.

В дневнике герой повествует о самом начале своих странствий – о первом опасном и увлекательном приключении в приморском городишке. **«Тамань»** – одно из самых поэтичных творений русской классической прозы, высоко оцененное Толстым и Чеховым. Эта глава романа выделяется ярко выраженной романтической

стилистикой и особой сюжетной динамикой. Бурное море, таинственная лодка отчаянно храброго контрабандиста, загадочная юная красавица, слепой мальчик, ночное свидание с девушкой, чуть не стоившее русскому офицеру жизни, – все это, казалось бы, делает короткую историю пребывания Печорина в Тамани наиболее колоритным эпизодом в жизни героя.

Однако главный смысл ее не в этом, а в заключительных словах Печорина: «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!» Покинув наскучившее ему петербургское общество, Печорин жаждет новых впечатлений, и судьба предлагает ему некую тайну «нечистого места», обитатели которого вызывают естественные подозрения («...Я вышел, твердо решившись достать ключ к этой загадке»). Старуха, слепой, девушка-ундина и бесстрашный Янко на деле оказываются вовсе не романтической шайкой разбойников, а всего лишь вороватыми «тружениками моря», сообщество которых распадается по воле любопытного проезжего офицера. Вмешиваясь в судьбы незнакомых ему людей, Печорин разрушает естественные человеческие связи: старуха и несчастный мальчик брошены на произвол судьбы сбежавшими сотоварищами («...и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно»). Для Печорина становится очевидным, что эти люди живут привычной жизнью, зарабатывают на нее опасным незаконным промыслом и вынуждены по-своему защищаться от назойливого офицера-постояльца. Но промелькнувшее в душе Печорина сочувствие к этим людям сменяется холодным, горьким признанием: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих». Мы впервые наблюдаем этого странного человека изнутри, проникаем в его сознание.

«Княжна Мери» – композиционный центр произведения, эту большую повесть можно назвать романом в романе. Действие развивается стремительно и ритмично. Интересны выбор и расстановка сцен и фигур: скептику и интеллектуалу Печорину противостоит пустоватый и самовлюбленный романтик Грушницкий, очаровательной и наивной княжне Мери – много испытавшая Вера, циничному и неприятному драгунскому капитану, другу Грушницкого, – умный доктор Вернер, поверенный Печорина.

Пестрое общество отдыхающих на водах в курортных городках Пятигорске и Кисловодске, балы и прогулки в горы верхом, две любовные интриги, трагическая дуэль – все это составляет событийный ряд задуманной Печориным трагикомедии, в которой «опереточные» сцены соседствуют с острыми драматическими коллизиями. Герой и здесь в центре событий, его воля и страсть являются главной пружиной действия, его беспощадная к себе и другим ирония и опасные игры с людьми организуют внутреннее сюжетное пространство повести, сообщая ей одновременно занимательность и драматизм. Здесь есть и характерные для Лермонтова сатирические мотивы, связанные с изображением «водяного» общества, ярким представителем которого является фатоватый и вульгарный Грушницкий. Блестящие фразы, афоризмы и парадоксы Печорина вроде слов «А что такое счастие? Насыщенная гордость» украшают эту стремительную, полную тонких психологических деталей прозу.

Холодный анализ и расчет руководят всеми действиями Печорина, и этот подход к жизни и людям раскрывается как изнутри, через внутренний монолог героя, так и извне, глазами других персонажей, испытывающих на себе действие печоринской «системы». Оказавшись в привычной для себя среде, Печорин продумывает и воплощает в жизнь интригу, вполне созвучную онегинской «науке страсти нежной»:

Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить...

Печорин замечательный актер, обманывающий всех и отчасти самого себя. Здесь есть и страсть игрока, и трагический протест, жажда отомстить людям за свои невидимые миру обиды и страдания, за неудавшуюся жизнь. В своем последнем письме влюбленная Вера представляет Печорина роковым демоном, но он – реальный человек, играющий от скуки и внутреннего отчаяния в демонического соблазнителя, но до конца эту роль не выдерживающий («Надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной»), Печорин жалеет Веру, готов пасть *к* ногам скомпрометированной им княжны Мери, покаяться и даже просить ее руки. «Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля: пусть взрыхлит ее страдание и оросит благодат-

ный дождь, – и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви...» – писал В.Г. Белинский. В справедливости этого утверждения убеждает сцена бешеной скачки героя, пытающегося догнать экипаж уехавшей Веры: загнав измученного коня, Печорин упал на мокрую траву и как ребенок заплакал». Эта погоня за исчезнувшим счастьем символична: «герой времени» пытается догнать, вернуть время – безуспешно.

Но краткий момент «безумства под влиянием страсти» лишь подчеркивает преобладание в герое рассудочного начала, вытесняющею подлинные душевные движения, стремление жить умом, а не сердцем. Именно холодный анализ и расчет лежат в основе интриги, в которую вовлечены Мери, Вера и прежний приятель Печорина Грушницкий.

«Мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дорожке...». Откуда такая уверенность у Печорина в отношении Грушницкого еще до того, как задумана и претворена в жизнь печоринская игра с Мери? Перед нами герои-антагонисты и в то же время люди одной среды. По мере чтения печоринского дневника мы убеждаемся в том, что юнкер Грушницкий – сниженная копия печоринского индивидуализма («...Он из тех людей, которые <...> драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания»; «Его цель – сделаться героем романа»). Грушницкий являет собой героя-двойника, героя-пародию. В печоринской интриге он выполняет «служебную» роль и лишь за определенной гранью развития событий становится реально опасен.

Внешний двойник героя погибает, но остается двойник внутренний: «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его...» Этот внутренний судья явно доминирует над человеком действия, каждый раз вынося ему строгий приговор. По-своему его сформулирует доктор Вернер в своей записке Печорину: «Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно... если можете...» На первый взгляд кажущийся еще одним «двойником» Печорина «скептик и материалист» Вернер все же отличается от него охранительным нравственным инстинктом, не позволяющим ему перейти за грань человечности в своих мыслях и поступках.

Не менее драматично разворачивается сюжет главы, связанный с любовным треугольником Мери – Печорин – Вера. Тонко связав

две любовные истории в единый узел светской интриги, Печорин искренне радуется благоприятному стечению обстоятельств, обещающему внести новые интересные эпизоды в его «сценарий». И как коварный соблазнитель, и как человек, достойный глубокого чувства Веры, Печорин выступает одновременно как бы в двух «онегинских» ипостасях. Он объединяет в себе Онегина ранней поры, светского льва и обольстителя, и Онегина в финале пушкинского романа, когда герой открывает для себя важные истины. Вместе с тем подлинные чувства героя к Вере составляют скорее область прошлого, безвозвратно ушедшего, тогда как настоящее, связанное с юной княжной Мери, требует от Печорина все новых действий, направленных на завоевание, покорение еще одного женского сердца. Мери, читающая Байрона и Марлинского, – вполне подходящий «объект» для опытов испытанного донжуана. Но достижение цели, как всегда, не приносит Печорину удовлетворения: «Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь». Печоринская откровенность во время последнего объяснения с Мери поражает: это нравственное самоуничижение – свидетельство полной утраты границ добра и зла при сохранении адекватного представления о том и другом.

Вместе с тем следует заметить, что в данной сцене, как и в других эпизодах романа, герой неодномерен в своих проявлениях: вызывая в Мери ненависть по отношению к себе, Печорин отчасти облегчает для нее выход из трагической ситуации.

Покоряя женские сердца, Печорин подсознательно стремится компенсировать отсутствие в его жизни высоких целей: для героя очередная любовная победа – момент самоутверждения, проверка внутренних ресурсов личности. В итоге готовые пожертвовать для него всем Бэла, Вера и Мери оказываются отвергнутыми, так как временная роль их исполнена. Сам же Печорин остается наедине с невозможностью объяснения цели собственного явления в этот мир: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные...»

Последняя глава – «**Фаталист**» – является вместе с тем и самой загадочной частью романа. Раньше Печорин лишь испытывал судьбу, теперь же он мучительно пытается понять, что же та-

кое этот страшный фатум – судьба человеческая, называемая иначе предопределением. Почему в маленькой казачьей станице вдруг возникает этот главный вопрос мировой философии?

Мрачный поручик Вулич на глазах у героя ставит свой жестокий эксперимент: играет с судьбой в «русскую рулетку» на свою жизнь и на первый раз выигрывает. После этой роковой сцены Печорин задумывается не только о судьбе отдельной личности, но и о судьбе всего мира. Глядя на ночное небо, Печорин задумывается над вечной загадкой бытия: «Звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. А мы, их жалкие потомки...» Далее следуют вариации на темы стихотворений «И скучно и грустно» и «Дума», объясняющие главное: фатум довлеет не только над Печориным, но над всем поколением «скитающихся по земле без убеждений и гордости».

Жизнь на войне меняется быстро, и вторая встреча храброго Вулича со смертью и судьбой завершается трагически: он убит пьяным казаком. И возникает вопрос: случай это или предопределение? Старый казачий офицер говорит запершемуся в хате отчаявшемуся убийце: «Покорись... Своей судьбы не минуешь».

И вдруг Печорин сам решается, подобно Вуличу, сыграть в «русскую рулетку» со смертью и испытать свою судьбу. Он бросается в хату навстречу пуле казака и хватает его в пороховом дыму за руки. Все поздравляют Печорина с героическим захватом преступника, но он по-прежнему не верит в фатализм и предопределение: «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характераера напротив; что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится а смерти не минуешь!»

В «Фаталисте» происходит постоянное «перетекание» веры в сомнение и наоборот: даже простоватый Максим Максимыч включается в этот спор, то «материалистически» объясняя осечку пистолета во время опасного пари, то вынося Вуличу «фатальный» приговор: «Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..» В этих великих сомнениях и философских размышлениях завершаются повесть дневник Печорина и сама его жизнь (ибо из предисловия путешествующего его офицера мы уже знаем, что тоскующий

и одинокий герой умер, возвращаясь из Персии). Таков неоднозначный, поистине философский «открытый» финал этого реалистического психологического романа, вобравшего в себя лучшие традиции русской поэзии и прозы. Рассуждая об образе Печорина, Белинский замечал: «Это Онегин нашего времени, *герой нашего времени.* Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою».

Автор «Героя нашего времени», как и автор «Евгения Онегина», далек от простого осуждения своего героя, хотя видит как бы изнутри все его недостатки и беды. Читатели узнали о Печорине многое или почти все, и многое их в нем оттолкнуло, было непонятно, что-то приняли и многие простили страдающую душу, его читатели поняли и приняли и многое простили этому странному человеку за его трагический протест, отчаяние и муки в эпоху безвременья: «Мы почти всегда извиняем то, что понимаем».

В этом сказался требовательный, суровый гуманизм русского писателя, предварен и предсказан будущий русский классический роман, и прежде всего трагические, страстные книги Ф.М. Достоевского. Именно поэтому роман Лермонтова «Герой нашего времени» остается одной из самых читаемых книг классической русской литературы.

Вопросы:

1. Какие темы, мотивы и образы определяют художественное своеобразие лермонтовской лирики? Что является отличительной чертой лирического героя Лермонтова?

2. Как развивается в поэзии Лермонтова мотив одиночества? В чем заключается драматизм любовной лирики Лермонтова? Чем ее проблематика отличается от содержания пушкинских лирических шедевров? Выберите по одному из стихотворений поэтов и сопоставьте их с точки зрения своеобразия решения любовной темы.

3. Как в лирике поэта представлена тема «потерянного» поколения? В чем жанровое и содержательное своеобразие стихотворения «Дума»?

4. В чем необычность замысла и сюжетно-композиционной организации «Героя нашего времени»? Как в романе продолжена тема поколения 1830-х годов, получившая свое развитие в лирике поэта?

5. Как образ Печорина соотносится с другими персонажами романа – Максимом Максимычем, Вернером, Грушницким, Вуличем? Какие качества главного героя проявляются во взаимодействии с ними?

6. Какова роль женских образов в романе? Почему женщины, любящие Печорина, неизбежно становятся жертвами собственного чувства? Что мешает Печорину обрести счастье в любви и дружбе?

7. Докажите на материале романа, что лермонтовский «Герой нашего времени» относится к психологической прозе. Раскройте роль пейзажных зарисовок в характеристике персонажей и сцен романа.

Темы сочинений:

1. Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова.
2. «Печально я гляжу на наше поколенье...» (По лирике М.Ю. Лермонтова.)
3. Родина и природа в поэзии Лермонтова.
4. «История души человеческой» в романе «Герой нашего времени».
5. Печорин и его окружение в романе «Герой нашего времени».
6. Тема судьбы и образ «потерянного» поколения в «Герое нашего времени»

НИЩИЙ

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

1830

К ***

Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может, мыслею небесной
И силой духа убежден,
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то бессмертье он?

1832

***

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум не много совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я – или бог – или никто!

1832

СМЕРТЬ ПОЭТА

Отмщенье, государь, отмщенье!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видел злодеи в ней пример.

Погиб поэт!– невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... Он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?... издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;

Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит – и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок – они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он – с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
1837

***

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, –
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога...
Февраль 1837

ДУМА

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,

И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию – презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты – его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства -
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
1838

МОЛИТВА

Я, матерь божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в мире безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную –
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.
1837, 1-е января

Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шопоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки, –

Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, – памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится – и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.

И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.

Так царства дивного всесильный господин –
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
Цветет на влажной их пустыне.

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник нéзванную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их,
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

1840

И СКУЧНО И ГРУСТНО

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят – все лучшие годы!

Любить... но кого же?.. на время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно...

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг -
Такая пустая и глупая шутка...
1840

РОДИНА

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю – за что, не знаю сам –
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы

Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

1841

***

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

3

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы ...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.

ПРОРОК

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

1841

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее на находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого ис-

портился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить – это уж бог знает!

Часть первая

I

БЭЛА

Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, – а эта гора имеет около двух верст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За моею тележкою четверка быков тащила другую как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из

маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился: он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

– Мы с вами попутчики, кажется?

Он молча опять поклонился.

– Вы, верно, едете в Ставрополь?

– Так-с точно... с казенными вещами.

– Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою, пустую, шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.

– Вы, верно, недавно на Кавказе?

– С год, – отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

– А что ж?

– Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут посвоему, быки все ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!

– А вы давно здесь служите?

– Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче, – отвечал он, приосанившись. – Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, – прибавил он, – и при нем получил два чина за дела против горцев.

– А теперь вы?..

– Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

Я сказал ему.

Разговор этим кончился и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно быва-

ет на юге; но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся на долину; но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.

– Ведь этакий народ! – сказал он, – и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «Офицер, дай на водку!» Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие...

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что оно гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русского колокольчика.

– Завтра будет славная погода! – сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.

– Что ж это? – спросил я.

– Гуд-гора.

– Ну так что ж?

– Посмотрите, как курится.

И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки – облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.

Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана...

– Нам придется здесь ночевать, – сказал он с досадою, – в такую метель через горы не переедешь. Что? были ль обвалы на Крестовой? – спросил он извозчика.

– Не было, господин, – отвечал осетин-извозчик, – а висит много, много.

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник – единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться; у огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.

– Жалкие люди! – сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.

– Преглупый народ! – отвечал он. – Поверите ли? ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

– А вы долго были в Чечне?

– Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, – знаете?

– Слыхал.

– Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава богу, смирнее; а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди – либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..

– А, чай, много с вами бывало приключений? – сказал я, подстрекаемый любопытством.

– Как не бывать! бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку – желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походных стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет «здравствуйте» (потому что фельдфебель говорит «здравия желаю»). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, любопытный; каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

– Не хотите ли подбавить рому? – сказал я своему собеседнику, – у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

– Нет-с, благодарствуйте, не пью.

– Что так?

– Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз,знаете, мы подгуляли между собой, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фрунт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно: другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка – пропадший человек!

Услышав это, я почти потерял надежду.

– Да вот хоть черкесы, – продолжал он, – как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнова князя был в гостях.

– Как же это случилось?

– Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой – этому скоро пять лет. Раз, осенью пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мун-

дир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, - спросил я его, – переведены сюда из России?» – «Точно так, господин штабс-капитан», – отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну да мы с вами будем жить по-приятельски... Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, – к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

– А как его звали? – спросил я Максима Максимыча.

– Его звали... Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями, и, должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещиц!..

– А долго он с вами жил? – спросил я опять.

– Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

– Необыкновенные? – воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

– А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий день, бывало, то за тем, то за другим; и уж точно, избаловали мы его с Григорием Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, – говорил я ему, яман будет твоя башка!»

Раз приѐзжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», – сказал мне Григорий Александрович. «Погодите!» – отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.

У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.

– Как же у них празднуют свадьбу? – спросил я штабс-капитана.

– Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых и всех их родственников, едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде комплимента.

– А что ж такое она пропела, не помните ли?

– Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними;только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей, я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?» – «Прелесть! – отвечал он. – А как ее зовут?» – «Ее зовут Бэлою», – отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали нам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то, чтоб немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай, – хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться на Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, – и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги – струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена – как собака бегает за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, – подумал я, – уж он, верно, что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: «Якши тхе, чек якши!».

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют? – подумал я, – уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен

и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

– Славная у тебя лошадь! – говорил Азамат, – если бы я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

«А! Казбич!» – подумал я и вспомнил кольчугу.

– Да, – отвечал Казбич после некоторого молчания, – в целой Кабарде не найдешь такой. Раз, – это было за Тереком, – я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себе аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться, – и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой призадумался – и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах; я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня: он выскочил. Казаки все это видели, только ни один не спустился меня искать: они, верно, думали, что я убился до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, – смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагез; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их – и вижу: мой Карагез летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегает по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагеза; это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия.

– Если б у меня был табун в тысячу кобыл, – сказал Азамат, – то отдал бы тебе весь за твоего Карагеза.

– Йок, не хочу, – отвечал равнодушно Казбич.

– Послушай, Казбич, – говорил, ласкаясь к нему, Азамат, – ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь, - а шашка его настоящая гурда: приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга - такая, как твоя, нипочем.

Казбич молчал.

– В первый раз, как я увидел твоего коня, – продолжал Азамат, когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! – сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был помоложе.

В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.

– Послушай! – сказал твердым голосом Азамат, – видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! А вышивает золотом – чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха ... Хочешь, дождись меня завтра ночью там в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, – и она твоя. Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?

Долго, долго молчал Казбич; наконец вместо ответа он затянул старинную песню вполголоса:

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз.
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

– Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

– Меня? – крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» – подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья – и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой.

– Плохое дело в чужом пиру похмелье, – сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку, – не лучше ли нам поскорей убраться?

– Да погодите, чем кончится.

– Да уж, верно, кончится худо; у этих азиатов все так: натянулись бузы, и пошла резня! – Мы сели верхом и ускакали домой.

– А что Казбич? – спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

– Да что этому народу делается! – отвечал он, допивая стакан чая, – ведь ускользнул!

– И не ранен? – спросил я.

– А бог его знает! Живущи, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот, как решето, штыками, а все махает шашкой. – Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю:

– Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, – такой хитрый! – а сам задумал кое-что.

– А что такое? Расскажите, пожалуйста.

– Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать.

Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, – ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи:

– Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..

– Все, что он захочет, – отвечал Азамат.

– В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

– Клянусь... Клянись и ты!

– Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагез будет тебе калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал.

– Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Азамат вспыхнул.

– А мой отец? – сказал он.

– Разве он никогда не уезжает?

– Правда...

– Согласен?..

– Согласен, – прошептал Азамат, бледный как смерть. – Когда же?

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал:

– Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.

– Что нехорошо?

– Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся, – сказал я ему.

– Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик. Однако ж посленекоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

– Вовсе не надо!

– Да он узнает, что она здесь?

– А как он узнает?

Я опять стал в тупик.

– Послушайте, Максим Максимыч! – сказал Печорин, приподнявшись, – ведь вы добрый человек, – а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

– Да покажите мне ее, – сказал я.

– Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть; сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, – прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился... Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно согласиться.

– А что? – спросил я у Максима Максимыча, – в самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе, с тоски по родине?

– Помилуйте, отчего же с тоски по родине. Из крепости видны были те же горы, что из аула, – а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она молча гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала

исподлобья, искоса, и все грустила, напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены, шел я мимо и заглянул в окно; Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею.

– Послушай, моя пери, – говорил он, – ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею, – отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, то я тебя сейчас отпущу домой. – Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. – Или, – продолжал он, – я тебе совершенно ненавистен? – Она вздохнула. – Или твоя вера запрещает полюбить меня? – Она побледнела и молчала. – Поверь мне. Аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? – Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслию; в глазах ее выразились недоверчивость и желание бедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля. – Послушай, милая, добрая Бэла! – продолжал Печорин, – ты видишь, как я тебя люблю; я все готов отдать, чтоб тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?

Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она его целовала; она слабо защищалась и только повторяла: «Поджалуста, поджалуйста, не нада, не нада». Он стал настаивать; она задрожала, заплакала.

– Я твоя пленница, – говорила она, – твоя раба; конечно ты можешь меня принудить, – и опять слезы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед.

– Что, батюшка? – сказал я ему.

– Дьявол, а не женщина! – отвечал он, – только я вам даю мое честное слово, что она будет моя...

Я покачал головою.

– Хотите пари? – сказал он, – через неделю!

– Извольте!

Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками; привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.

– Как вы думаете, Максим Максимыч! – сказал он мне, показывая подарки, – устоит ли азиатская красавица против такой батареи?

– Вы черкешенок не знаете, – отвечал я, – это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны. – Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину; она стала ласковее, доверчивее – да и только; так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Бэла! – сказал он, – ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся: прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу, – ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду – куда? почему я знаю? Авось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки; тогда вспомни обо мне и прости меня». – Он отвернулся и протянул ей руку на прощание. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль – такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал – и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтобы заплакал, а так – глупость!..

Штабс-капитан замолчал.

– Да, признаюсь, – сказал он потом, теребя усы, – мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

– И продолжительно было их счастье? – спросил я.

– Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы!

– Как это скучно! – воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть

мои надежды!.. – Да неужели, – продолжал я, – отец не догадался, что она у вас в крепости?

– То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось...

Внимание мое пробудилось снова.

– Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь, по крайней мере, я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги версты три за аулом; старик возвращался из напрасных поисков за дочерью; уздени его отстали, – это было в сумерки, – он ехал задумчиво шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, схватил поводья – и был таков; некоторые уздени все это видели с пригорка; они бросились догонять, только не догнали.

– Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил, – сказал я, чтоб вызвать мнение моего собеседника.

– Конечно, по-ихнему, – сказал штабс-капитан, – он был совершенно прав.

Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения.

Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах, как клочки разодранного занавеса; мы вышли из сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.

Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный

ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространялось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром: чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда, и, верно, будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным, и долго-долго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот наконец мы взобрались на Гуд-гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурею; но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли... Да, и штабс-капитан: в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.

– Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам? – сказал я ему.

– Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца.

– Я слышал напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна.

– Разумеется, если хотите, оно и приятно; только все же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите, – прибавил он, указывая на восток, – что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый ту-

ман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую, – и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам, – воскликнул он, – что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» – закричал он ямщикам.

Подложили цепи по колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных, – а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем: ведь нам не впервые», – и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много заботиться...

Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую гору (или, как называет ее ученый Гамба, le mont St.-Christophe) достоин вашего любопытства. Итак, мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами, – не тут-то было: название

Чертовой долины происходит от слова «черта», а не «черт», ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего отечества.

– Вот и Крестовая! – сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом; наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек пять осетин; они предложили нам свои услуги и, уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частию была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням. В два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору – две версты два часа! Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока... Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил Император Петр I, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что, право, не знаешь, чему верить, тем более что мы не привыкли верить надписям.

Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница, – думал я, – плачешь о своих широких, раздольных степях! Там есть где развернуть холодные

крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки».

– Плохо! – говорил штабс-капитан; – посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег; того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу, а там пониже, чай, Байдара так разыгралась, что и не переедешь. Уж эта мне Азия! что люди, что речки – никак нельзя положиться!

Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов.

– Ваше благородие, – сказал наконец один, – ведь мы нынче до Коби не доедем; не прикажете ли, покамест можно, своротить налево? Вон там что-то на косогоре чернеется – верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду; они говорят, что проведут, если дадите на водку, – прибавил он, указывая на осетина.

– Знаю, братец, знаю без тебя! – сказал штабс-капитан, – уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку.

– Признайтесь, однако, – сказал я, – что без них нам было бы хуже.

– Все так, все так, – пробормотал он, – уж эти мне проводники! чутьем слышат, где можно попользоваться, будто без них и нельзя найти дороги.

Вот мы и свернули налево и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоящего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною; оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурею.

– Все к лучшему! – сказал я, присев у огня, – теперь вы мне доскажете вашу историю про Бэлу; я уверен, что этим не кончилось.

– А почему ж вы так уверены? – отвечал мне штабс-капитан, примигивая с хитрой улыбкою...

– Оттого, что это не в порядке вещей: что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.

– Ведь вы угадали...

– Очень рад.

– Хорошо вам радоваться, а мне так, право, грустно, как вспомню. Славная была девочка, эта Бэла! Я к ней наконец так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет се-

мейства: об отце и матери я лет двенадцать уж не имею известия, а запастись женой не догадался раньше, – так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни иль пляшет лезгинку... А уж как плясала! видал я наших губернских барышень, я раз был-с и в Москве в благородном собрании, лет двадцать тому назад, – только куда им! совсем не то!.. Григорий Александрович наряжал ее, как куколку, холил и лелеял; и она у нас так похорошела, что чудо; с лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках... Уж какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала... Бог ей прости!..

– А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

– Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла.

Месяца четыре все шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж, кажется, говорил, страстно любил охоту: бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами, – а тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад; потом раз, не сказав никому, отправился стрелять, – целое утро пропадал; раз и другой, все чаще и чаще... «Нехорошо, – подумал я, верно между ними черная кошка проскочила!»

Одно утро захожу к ним – как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.

– А где Печорин? – спросил я.

– На охоте.

– Сегодня ушел? – Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.

– Нет, еще вчера, – наконец сказала она, тяжело вздохнув.

– Уж не случилось ли с ним чего?

– Я вчера целый день думала, – отвечала она сквозь слезы, – придумывала разные несчастья: то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

– Права, милая, ты хуже ничего не могла придумать! – Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

– Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его – я княжеская дочь!..

Я стал ее уговаривать.

– Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь как пришитому к твоей юбке: он человек молодой, любит погоняться за дичью, – походит, да и придет; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь.

– Правда, правда! – отвечала она, – я буду весела. – И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно; она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался: думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!

Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал? Погода славная!» Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы видны были как на блюдечке. Мы пошли, походили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно: я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька.

Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный; с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; с другой – бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, все ближе и ближе и, наконец, остановился по ту сторону речки, саженях во сте от нас, и начал кружить лошадь свою как бешеный. Что за притча!..

– Посмотри-ка, Бэла, – сказал я, – у тебя глаза молодые, что это за джигит: кого это он приехал тешить?..

Она взглянула и вскрикнула:

– Это Казбич!..

– Ах он разбойник! смеяться, что ли, приехал над нами? – Всмат-

риваюсь, точно Казбич: его смуглая рожа, оборванный, грязный как всегда.

– Это лошадь отца моего, – сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали. «Ага! – подумал я, – и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь!»

– Подойди-ка сюда, – сказал я часовому, – осмотри ружье да ссади мне этого молодца, – получишь рубль серебром.

– Слушаю, ваше высокоблагородие; только он не стоит на месте... – Прикажи! – сказал я, смеясь...

– Эй, любезный! – закричал часовой, махая ему рукой, – подожди маленько, что ты крутишься, как волчок?

Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно, думал, что с ним заводят переговоры, - как не так!.. Мой гренадер приложился... бац!.. мимо, – только что порох на полке вспыхнул; Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на стременах, крикнул что-то по-своему, пригрозил нагайкой – и был таков.

– Как тебе не стыдно! – сказал я часовому.

– Ваше высокоблагородие! умирать отправился, – отвечал он, такой проклятый народ, сразу не убьешь.

Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие... Даже я уж на него рассердился.

– Помилуйте, – говорил я, – ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли; ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный: вы думаете, что он не догадывается, что вы частию помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Бэлу. Я знаю, что год тому назад она ему больно нравилась – он мне сам говорил, – и если б надеялся собрать порядочный калым, то, верно, бы посватался...

Тут Печорин задумался. «Да, – отвечал он, – надо быть осторожнее... Бэла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал».

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменился к этой бедной девочке; кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь:

«О чем ты вздохнула, Бэла? ты печальна?» – «Нет!» – «Тебе чего-нибудь хочется?» – «Нет!» – «Ты тоскуешь по родным?» – «У меня нет родных». Случалось, по целым дням, кроме «да» да «нет», от нее ничего больше не добьешься.

Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимыч, – отвечал он, – у меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение – только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, – но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться – науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями – напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимание на комаров, – и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, – только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь - только не в

Европу, избави боже! – поеду в Америку, в Аравию, в Индию, – авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека, и, бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, – продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, – вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужели тамошная молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок. Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

– А все, чай, французы ввели моду скучать?

– Нет, Англичане.

– А-га, вот что!.. – отвечал он, – да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего, как пьяница. Впрочем, замечание штабс-пакитана было извинительнее: чтоб воздерживаться от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастия происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:

– Казбич не являлся снова. Только не знаю почему, я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собой. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу, – нет зверя. «Эй, не воротиться ли? – говорил я, – к чему упрямиться? Уж, видно, такой задался несчастный день!» Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи, таков уж был человек: что задумает, подавай; видно, в детстве был маменькой избалован... Наконец

в полдень отыскали проклятого кабана: паф! паф!... не тут-то было: ушел в камыши... такой уж был несчастный день! Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости: только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение... Опрометью поскакали мы на выстрел – смотрим: на валу солдаты собрались в кучу и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла – и туда; я за ним.

К счастью, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были все ближе и ближе... И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!.. «Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагеза...

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! – кричу я ему. – берегите заряд; мы и так его догоним». Уж эта молодежь! Вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади: она сгоряча сделала еще прыжков десять, споткнулась и упала на колени; Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бедная Бэла! Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил, в свою очередь, наудачу; верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь и возле нее Бэла; а Казбич, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда – да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей; хоть бы в сердце ударил – ну, так уж и быть, одним разом все бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! Она была без памяти. Мы

изорвали чадру и перевязали рану как можно туже; напрасно Печорин целовал ее холодные губы – ничто не могло привести ее в себя.

Печорин сел верхом; я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак ее не довезем живую». – «Правда!» – сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел: осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...

– Выздоровела? – спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

– Нет, – отвечал он, – а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила.

– Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?

– А вот как: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался, – цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Она между тем успела закричать, часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

– Да зачем Казбич ее хотел увезти?

– Помилуйте, да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть: другое и ненужно, а все украдет... уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась.

– И Бэла умерла?

– Умерла; только долго мучилась, и мы уж с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. – «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)», – отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру!» – сказала она. Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; она покачала головой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об

отце, брате: ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку...

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою – не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру бред прошел; с час она лежала неподвижная, бледная, и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григория Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертию; я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить; наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменилась в этот день! бледные щеки впали, глаза сделались большие, губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежала раскаленное железо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григория Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла: ну, что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно...

Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как ни мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте, – говорил я ему, – ведь вы сами сказали, что она умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» – «Все-

таки лучше, Максим Максимыч, – отвечал он, – чтоб совесть была покойна». Хороша совесть!

После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна – но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили льду около кровати – ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жаж-да – признак приближения конца, и сказал это Печорину. «Воды, воды!..» – говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели.

Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в гошпиталях и на поле сражения, только это все не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что печалит: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а кажется, я ее любил как отец... ну да бог ее простит!.. И вправду молвить: что ж я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?

Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам – гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха... Я пошел заказывать гроб.

Признаться, я частию для развлечения занялся этим. У меня был кусок термаламы, я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же.

На другой день рано утром мы ее похоронили за крепостью, у речки, возле того места, где она в последний раз сидела; кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: все-таки она была не христианка...

– А что Печорин? – спросил я.

– Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в е...й

полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались, да помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят. Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже – вероятно, для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел речь о Бэле и о Печорине.

– А не слыхали ли вы, что сделалось с Казбичем? – спросил я.

– С Казбичем? А, право, не знаю... Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко; да вряд ли это тот самый!..

В Коби мы расстались с Максимом Максимычем; я поехал на почтовых, а он, по причине тяжелой поклажи, не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и, если хотите, я расскажу: это целая история... Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

II
МАКСИМ МАКСИМЫЧ

Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владикавказ. Избавлю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которые решительно никто читать не станет.

Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толка нельзя добиться.

Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дня, ибо «оказия» из Екатериноградa еще не пришла и, следовательно, от-

правляться обратно не может. Что за оказия!.. но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я, для развлечения вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»? Это – прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которыми ходят обозы через Кабарду из Владикавказа в Екатериноград.

Первый день я провел очень скучно; на другой рано утром въезжает на двор повозка... А! Максим Максимыч!.. Мы встретились как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!..

Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоядении. Бутылка кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись: я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. Об чем было нам говорить?.. Он уж рассказал мне об себе все, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается все шире и шире, мелькали из-за дерев, а дальше синелись зубчатою стеной горы, из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался: мне стало их жалко...

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он был явно балованный слуга ленивого барина – нечто вроде русского Фигаро.

– Скажи, любезный, – закричал я ему в окно, – что это – оказия пришла, что ли?

Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший подле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно.

– Слава Богу! – сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время.

– Экая чудная коляска! – прибавил он, – верно какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает наших горок! Нет, шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть английскую!

– А кто бы это такое был – пойдемте-ка узнать...

Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы.

– Послушай, братец, – спросил у него штабс-капитан, – чья эта чудесная коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!.. – Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал: – Я тебе говорю, любезный...

– Чья коляска?... моего господина...

– А кто твой господин?

– Печорин...

– Что ты? что ты? Печорин?.. Ах, Боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?.. – воскликнул Максим Максимыч, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

– Служил, кажется, – да я у них недавно.

– Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?.. Мы с твоим барином были приятели, – прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться...

– Позвольте, сударь, вы мне мешаете, – сказал тот, нахмурившись.

– Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе... Да где же он сам остался?..

Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н...

– Да не зайдет ли он вечером сюда? – сказал Максим Максимыч, – или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли

пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на водку...

Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что он исполнит его поручение.

– Ведь сейчас прибежит!.. – сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом, – пойду за ворота его дожидаться... Эх! жалко, что я не знаком с Н...

Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаться, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина; по рассказу штабс-капитана, я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник.

– Максим Максимыч, не хотите ли чаю? – закричал я ему в окно.

– Благодарствуйте; что-то не хочется.

– Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно.

– Ничего; благодарствуйте...

– Ну, как угодно! – Я стал пить чай один; минут через десять входит мой старик:

– А ведь вы правы: все лучше выпить чайку, – да я все ждал... Уж человек его давно к нему пошел, да, видно, что-нибудь задержало.

Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве: явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; он что-то пробормотал сквозь зубы; я повторил приглашение, – он ничего не отвечал.

Я лег на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы спокойно, если б, уж очень поздно, Максим Максимыч, взойдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался...

– Не клопы ли вас кусают? – спросил я.

– Да, клопы... – отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром я проснулся рано; но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот, сидящего на скамейке. «Мне надо сходить к коменданту, - сказал он, - так пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной...»

Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор; перед воротами расстилалась широкая площадь; за нею базар кипел народом, потому что было воскресенье; босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня; я их прогнал: мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана.

Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н..., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем.

Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать, подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, – верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую сла-

бость: он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные – признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! – Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его – непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление; но так как вы о нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастию, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему.

– Если вы захотите еще немного подождать, – сказал я, – то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем...

– Ах, точно! – быстро отвечал он, – мне вчера говорили: но где же он? – Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колени его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

– Как я рад, дорогой Максим Максимыч. Ну, как вы поживаете? – сказал Печорин.

– А... ты?.. а вы? – пробормотал со слезами на глазах старик... – сколько лет... сколько дней... да куда это?..

– Еду в Персию – и дальше...

– Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались...

– Мне пора, Максим Максимыч, – был ответ.

– Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?.. как?.. что поделывали?..

– Скучал! – отвечал Печорин, улыбаясь.

– А помните наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

– Да, помню! – сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два.

– Мы славно пообедаем, – говорил он, – у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?

– Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... – прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... он был печален и сердит, хотя старался скрыть это.

– Забыть! – проворчал он, – я-то не забыл ничего... Ну, да бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...

– Ну полно, полно! – сказал Печорин. обняв его дружески, – неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться, – бог знает!.. – Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.

– Постой, постой! – закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски, – совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..

– Что хотите! – отвечал Печорин. – Прощайте...

– Так вы в Персию?.. а когда вернетесь?.. – кричал вслед Максим Максимыч...

Коляска была уж далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..

Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, – а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.

– Да, – сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах, – конечно, мы были приятели, – ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!.. – Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. – Скажите, – продолжал он, обратясь ко мне, – ну что вы об этом думаете?.. ну, какой бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу, смешно!.. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться... А, право, жаль, что он дурно кончит... да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забывает!.. – Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами.

– Максим Максимыч, – сказал я, подошедши к нему, – а что это за бумаги вам оставил Печорин?

– А бог его знает! какие-то записки...

– Что вы из них сделаете?

– Что? а велю наделать патронов.

– Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю; потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко...

– Вот они все, – сказал он, – поздравляю вас с находкою...

– И я могу делать с ними все, что хочу?

– Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело?.. Что, я разве друг его какой?.. или родственник? Правда, мы жили долго под одной кровлей... А мало ли с кем я не жил?..

Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется оказия; я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку; он, казалось, не готовился к отъезду; у него был какой-то принужденный, холодный вид.

– А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

– Нет-с.

– А что так?

– Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать ему кой-какие казенные вещи...

– Да ведь вы же были у него?

– Был, конечно, – сказал он, заминаясь – да его дома не было... а я не дождался.

Я понял его: бедный старик, в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным, – и как же он был награжден!

– Очень жаль, – сказал я ему, – очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

– Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: еще пока здесь, под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

– Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

– Да я, знаете, так, к слову говорю: а впрочем, желаю вам всякого счастия и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого,

что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею! Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется...

Я уехал один.

ЖУРНАЛ ПЕЧОРИНА

Предисловие

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить имя над чужим произведением. Дай Бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге, следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно себя узнают, и, может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне

ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребывания Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? – Мой ответ – заглавие этой книги. «Да это злая ирония!» – скажут они. – Не знаю.

I
ТАМАНЬ

Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще в добавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «Кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем – занята.

Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!» – закричал я. «Есть еще одна фатера, – отвечал десятник, почесывая затылок, – только вашему благородию не понравится; там нечисто!» Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные

снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть, – подумал я, – завтра отправлюсь в Геленджик».

При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина – молчат; стучу – молчат... что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати.

«Где хозяин?» – «Нема». – «Как? совсем нету?» – «Совсим». – «А хозяйка?» – «Побигла в слободку». – «Кто же мне отопрет дверь?» – сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица. Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерею члена душа теряет какое-нибудь чувство.

Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с небольшим сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям...

«Ты хозяйский сын?» – спросил я его наконец. – «Ни». – «Кто же ты?» – «Сирота, убогой». – «А у хозяйки есть дети?» – «Ни, была дочь, да утикла за море с татарином». – «С каким татарином?» – «А бис его знает! Крымский татарин, лодочник из Керчи».

Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю его мебель. На стене ни одного образа – дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою – на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами.

Так прошло около часа. Месяц свет.ил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся Бог знает куда. Я не мог полагать, чтоб это существо сбежало по отвесу берега; однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел, и повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «В тот день немые возопиют и слепые прозрят», – подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его из вида.

Между тем луна начала одеваться тучами и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился, потом повернул низом направо; он шел так близко от воды, что казалось, сейчас волна его схватит и унесет, но видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.

– Что, слепой? – сказал женский голос, – буря сильна. Янко не будет.

– Янко не боится бури, отвечал тот.

– Туман густеет, – возразил опять женский голос с выражением печали.

– В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов, – был ответ.

– А если он утонет?

– Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты.

Последовало молчание; меня, однако поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

– Видишь, я прав, – сказал опять слепой, ударив в ладоши, – Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей; это не вода плещет, меня не обманешь, – это его длинные весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.

– Ты бредишь, слепой, – сказала она, – я ничего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять; и вот показалась между горами волн черная точка; она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние двадцати верст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я с невольном биением сердца глядел на бедную лодку; но она, как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги; но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима. Из нее вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из вида. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидел меня совсем одетого; я ему, однако ж, не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.

Но, увы; комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все – или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дня через три, четыре придет почтовое судно, сказал комендант, – и тогда – мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.

– Плохо, ваше благородие! – сказал он мне.

– Да, брат, Бог знает когда мы отсюда уедем! – Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом:

– Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника, он мне знаком - был прошлого года в отряде, как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: «Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом деле, что это за слепой! ходит везде один, и на базар, за хлебом, и за водой... уж видно, здесь к этому привыкли.

– Да что ж? по крайней мере показалась ли хозяйка?

– Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.

– Какая дочь? У нее нет дочери.

– А Бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.

Я взошел в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глухая, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок, – сказал я, взяв его за ухо, – говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заохал: «Куды я ходив?.. никуды не ходив... с узлом? яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «Вот выдумывают, да еще на убогого! за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки.

Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдаль; передо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающегося города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся... Так прошло около часа, может быть и более... Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский, свежий голосок, – но откуда?.. Прислушиваюсь – напев старинный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь – никого нет кругом; прислушиваюсь снова – звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

Я запомнил эту песню от слова до слова:

Как по вольной волюшке –
По зелену морю,
Ходят все кораблики
Белопарусники.
Промеж тех корабликов
Моя лодочка,
Лодка неснащенная,
Двухвесельная.
Буря ль разыграется –
Старые кораблики
Приподымут крылышки,
По морю размечутся.
Стану морю кланяться
Я низехонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
Мою лодочку:
Везет моя лодочка
Вещи драгоценные.
Правит ею в темну ночь
Буйная головушка».

Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там уж не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, пощелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундина: поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры; пенье и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою проницательностью останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. Она, то есть порода, а не Юная Франция, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос – все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума; я вообразил, что нашел Гетеву Миньону, это причудливое создание его немецкого воображения, – и точно, между ими было много сходства: те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни.

Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор.

– «Скажи-ка мне, красавица, – спросил я, – что ты делала сегодня на кровле?» – «А смотрела, откуда ветер дует». – «Зачем тебе?» – «Откуда ветер, оттуда и счастье». – «Что же? разве ты песнею зазывала счастье?» – «Где поется, там и счастливится». – «А как неравно напоешь себе горе?» – «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». – «Кто же тебя выучил эту песню?» – «Никто не выучил; вздумается – запою; кому услыхать, то услышит; а кому не должно слышать, тот не поймет». – «А как тебя зовут, моя певунья?» – «Кто крестил, тот знает». – «А кто крестил?» – «Почему я знаю?» – «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее – нимало! Она захохотала во все горло. «Много видели, да мало знаете, так держите под замочком». – «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» – и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и

скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние мои слова были вовсе не у места, я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.

Только что смеркалось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я заканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрыпнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, – то была она, моя ундина! Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои, и не знаю почему, но этот взор показался мне чудно-нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил на ней легкий трепет; грудь ее то высоко поднималась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала меня надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег», – и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экой бес-девка!» – закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.

Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. «Если я выстрелю из пистолета, – сказал я ему, – то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «Слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.

«Идите за мной!» – сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяже-

лые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку», – сказала моя спутница; я колебался, я не охотник до сентиментальных прогулок по морю; но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» – сказал я сердито. «Это значит, – отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, – это значит, что я тебя люблю...» И щека ее прижалась к моей, и почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хвать за пояс – пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову! Оглядываюсь – мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу ее оттолкнуть от себя – она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» – закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.

«Ты видел, – отвечала она, – ты донесешь!» – и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки, ее волосы касались воды: минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны.

Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал...

На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка, быстро приблизилась она; из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но стрижен

он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко, – сказала она, – все пропало!» Потом разговор их продолжался так тихо, что я ничего не мог расслышать. «А где же слепой?» – сказал наконец Янко, возвыся голос. «Я его послала», – был ответ. Через несколько минут явился и слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.

– Послушай, слепой! – сказал Янко, – ты береги то место... знаешь? Там богатые товары... скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит! – После некоторого молчания Янко продолжал: – Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться; а старухе скажи, что, дескать пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.

– А я? – сказал слепой жалобным голосом.

– На что мне тебя? – был ответ.

Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». – «Только?» – сказал слепой. – «Ну, вот тебе еще», – и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал парус между темных волн; слепой мальчик точно плакал, долго, долго... Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!

Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! Моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал – подарок приятеля – все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восьмнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?

Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что сталось с старухой и с бедным слепым – не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..

Конец первой части

Часть вторая
(Окончание журнала Печорина)

II
КНЯЖНА МЕРИ

11-го мая

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растуших в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, – а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом... Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине – чего бы, кажется, больше? – зачем тут страсти, желания, сожаления?.. Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное обшество.

.....

Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подымающихся в гору; то

были большею частию семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют – однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы: штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.

Наконец вот и колодец... На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, – бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними было два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислонясь к

углу домика, стал рассматривать окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:

– Печорин! давно ли здесь?

Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий – юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект – их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами – иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.

Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель – сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле; он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать.

Приезд его на Кавказ – также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что... тут, он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «Нет, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да и к чему? Что я для вас! Поймете ли вы меня?» – и так далее.

Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К. полк, останется вечною тайной между им и небесами.

Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами: тут-то он, я думаю, старается!

Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.

– Мы ведем жизнь довольно прозаическую, – сказал он, вздохнув, – пьющие утром воду – вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру – несносны, как все здоровые. Женские общества есть; только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель – как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.

В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего! На второй было закрытое платье gris de perles, легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки couleur puce стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.

– Вот княгиня Лиговская, – сказал Грушницкий, – и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на английский манер. Они здесь только три дня.

– Однако ты уж знаешь ее имя?

– Да, я случайно слышал, – отвечал он, покраснев, – признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?

– Бедная шинель! – сказал я, усмехаясь, – а кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?

– О! – это московский франт Раевич! Он игрок: это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость – точно у Робинзона Крузоэ! Да и борода кстати, и прическа a la moujik.

– Ты озлоблен против всего рода человеческого.

– И есть за что...

– О! право?

В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски:

– Mon cher, je hais les hommes pour ne pas les mepriser car autrement la vie serait une farce trop degoutante.

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил.

– Эта княжна Мери прехорошенькая, – сказал я ему. – У нее такие бархатные глаза – именно бархатные: я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах; нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят... Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего... А что, у нее зубы белы? Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

– Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади, – сказал Грушницкий с негодованием.

– Mon cher, – отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон, - je meprise les femmes pour ne pas les aimer car autrement la vie serait un melodrame trop ridicule.

Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам и висящим между них кустарникам. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя

мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтоб вздохнуть под ее тенью, это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.

Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. Бежняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание.

Княжна Мери видела все это лучше меня.

Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтоб поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный – даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара... Но вот ее шляпка мелькнула через улицу; она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска, за нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.

Только тогда бедный юнкер заметил мое присутствие.

– Ты видел? – сказал он, крепко пожимая мне руку, – это просто ангел!

– Отчего? – спросил я с видом чистейшего простодушия.

– Разве ты не видал?

– Нет, видел: она подняла твой стакан. Если бы был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу...

– И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..

– Нет.

Я лгал; но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу; это чувство – было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться; и вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно ненакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно.

Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну?..

13-го мая

Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.

Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку, – поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием; так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки! Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими больными; но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом... Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу: он мне раз говорил,

что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных, – больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит.

Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов; надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной: оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин.

Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаруженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае – труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги! Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.

– Что до меня касается, то я убежден только в одном... – сказал доктор.

– В чем это? – спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

– В том, – отвечал он, – что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру.

– Я богаче вас, сказал я, – у меня, кроме этого, есть еще убеждение – именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастие родиться.

Все нашли, что мы говорим вздор, а, право, из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером.

Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, – и мы оба замолчали.

– Заметьте, любезный доктор, – сказал я, – что без дураков было бы на свете очень скучно!.. Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово – для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость.

Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул...

Он отвечал подумавши:

– В вашей галиматье, однако ж, есть идея.

– Две! – отвечал я.

– Скажите мне одну, я вам скажу другую.

– Хорошо, начинайте! – сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь.

– Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж догадываюсь, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.

– Доктор! решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг друга.

–Теперь другая...

– Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь; во-первых, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?

– Вы очень уверены, что это княгиня... а не княжна?..

– Совершенно убежден.

– Почему?

– Потому что княжна спрашивала об Грушницком .

– У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль..

– Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении...

– Разумеется.

– Завязка есть! – закричал я в восхищении, – об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно.

– Я предчувствую, – сказал доктор, – что бедный Грушницкий будет вашей жертвой...

– Дальше, доктор...

– Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей заметил, что, верно, она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете... я сказал ваше имя... Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума... Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания... Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе... Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.

– Достойный друг! – сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувством и продолжал:

– Если хотите, я вас представлю...

– Помилуйте! – сказал я, всплеснув руками, – разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную...

– И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?..

– Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочем, огорчает, доктор, – продолжал я после минуты молчания, – я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?

– Во-первых, княгиня – женщина сорока пяти лет, – отвечал Вернер, – у нее прекрасный желудок, но кровь испорчена; на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего; я велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать; она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру: в Москве, видно, барышни пустились в ученость, и хорошо делают, право! Наши мужчины так не любезны вообще, что с ними кокетничать, должно быть, для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей: княжна смотрит на них с некоторым презрением: московская привычка! Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками.

– А вы были в Москве, доктор?

– Да, я имел там некоторую практику.

– Продолжайте.

– Да я, кажется, все сказал... Да! вот еще: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и прочее... она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли.

– Вы никого у них не видали сегодня?

– Напротив; был один адъютант, один натянутый гвардеец и

какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Не встретили ль вы ее у колодца? – она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка; ее лицо меня поразило своей выразительностью.

– Родинка! – пробормотал я сквозь зубы. – Неужели?

Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце:

– Она вам знакома!.. – Мое сердце точно билось сильнее обыкновенного.

– Теперь ваша очередь торжествовать! – сказал я, – только я на вас надеюсь: вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину... Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, отнеситесь обо мне дурно.

– Пожалуй! – сказал Вернер, пожав плечами.

Когда он ушел, то ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. и как мы встретимся?.. и потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною: всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я глупо создан: ничего не забываю, – ничего!

После обеда часов в шесть я пошел на бульвар: там была толпа; княгиня с княжной сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала наперерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых Д... офицеров и начал им что-то рассказывать; видно, было смешно, потому что они начали хохотать как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну; мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал: мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком; несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие...

– Что он вам рассказывал? – спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости, – верно, очень занимательную историю – свои подвиги в сражениях? – Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня. «А-га! – подумал я, – вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будет!»

Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз: бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно.

16-го мая.

В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, – и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя: теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют, – и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок!

Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал сорок рублей лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкескую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают. Грушницкий принял таинственный вид: ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказал какой-то комплимент княжне: она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою.

– Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? – сказал он мне вчера.

– Решительно.

– Помилуй! самый приятный дом на водах! Все здешнее лучшее общество...

– Мой друг, мне и нездешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?

– Нет еще; я говорил раза два с княжной, и более, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится... Другое дело, если б я носил эполеты...

– Помилуй! да эдак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением... да солдатская шинель в глазах чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.

– Какой вздор! – сказал он.

– Я уверен, – продолжал я, – что княжна в тебя уж влюблена!

Он покраснел до ушей и надулся.

О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!..

– У тебя все шутки! – сказал он, показывая, будто сердится, – во-первых, она меня еще так мало знает...

– Женщины любят только тех, которых не знают.

– Да я вовсе не имею претензии ей нравиться: я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если б я имел какие-нибудь надежды... Вот вы, например, другое дело! – вы победители петербургские: только посмотрите, так женщины тают... А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?

– Как? она тебе уж говорила обо мне?..

– Не радуйся, однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно; третье слово ее было: «Кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? он был с вами, тогда...» Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. «Вам не нужно сказывать дня, – отвечал я ей, – он вечно будет мне памятен...» Мой друг, Печорин! Я тебе не поздравляю; ты у нее на дурном замечании... А, право, жаль! Потому что Мери очень мила!..

Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые,

говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее моя Мери, моя Sophie, если она имела счастие им понравиться.

Я принял серьезный вид и отвечал ему:

– Да, она недурна... только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор – никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой и, чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить – а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобою накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.

Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней работы: оно мне показалось подозрительным... Я стал его рассматривать, и что же?.. мелкими буквами имя Мери было вырезано на внутренней стороне, и рядом – число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний, я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, и тут-то я буду наслаждаться...

. . . . . .

Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу – никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом него вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся

за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот; мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор... Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? и почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках? Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула.

– Вера! – вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела.

– Я знала, что вы здесь, – сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами; в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

– Мы давно не видались, – сказал я.

– Давно, и переменились оба во многом!

– Стало быть, уж ты меня не любишь?..

– Я замужем! – сказала она.

– Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем... Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

– Может быть, ты любишь своего второго мужа?.. Она не отвечала и отвернулась.

– Или он очень ревнив?

Молчание.

– Что ж? Он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься... – я взглянул на нее и испугался; ее лицо выражало глубокое отчаянье, на глазах сверкали слезы.

– Скажи мне, – наконец прошептала она, – тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий... – Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть, – подумал я, – ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда...»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуи; ее руки были холодны как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем – тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре: она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца, – и будет обманывать, как мужа... Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности! Муж Веры, Семен Васильевич Г...в, дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом; Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтоб отвлечь от нее внимание. Таким образом, мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело...

Весело!.. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастия, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь, – теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Однако мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины; напротив я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? – оттого ли что я никогда ничем очень не дорожу и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это – магнетическое влияния сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером: их ли это дело!..

Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить... Мы расстались врагами, – и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе...

Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается, я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют

fievre lente – болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.

Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались... Она вверилась мне снова с прежней беспечностью, – я ее не обману; она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. я знаю, мы скоро разлучимся опять и, может быть, на веки: оба пойдем разными путями до гроба; но воспоминание о ней останется неприкосновенным в душе моей; я ей это повторял всегда и она мне верит, хотя говорит противное.

Наконец мы расстались; я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подарок – на память?.. А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо; члены гибки и стройны; густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит...

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.

Я думаю, казаки, зевающие на своих вышках, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этой загадкой, ибо, верно, по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего; оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со

всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит en piquenique. Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии балками, я остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь черкесского с нижегородским; впереди ехал Грушницкий с княжною Мери.

Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня; вероятно, поэтому Грушницкий сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облечении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть все и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец они приблизились к спуску; Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора:

– И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? – говорила княжна.

– Что для меня Россия! – отвечал ее кавалер, – страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь – здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами...

– Напротив... – сказала княжна, покраснев.

Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал:

– Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы бог мне каждый год посылал один светлый женский взгляд, один, подобный тому...

В это время они поравнялись со мной; я ударил плетью по лоша-

ди и выехал из-за куста...

– Mon Dieu, un Circassien!.. – вскрикнула княжна в ужасе. Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь:

– Ne craignez rien, madame, – je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier.

Она смутилась, – но отчего? от своей ошибки или оттого, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтоб последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд. Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрыпом нагайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался... Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре... но с кем? «Что делает теперь Вера?» – думал я... Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать ее руку.

Вдруг слышу быстрые и неровные шаги... Верно, Грушницкий... Так и есть!

– Откуда?

– От княгини Лиговской, – сказал он очень важно. – Как Мери поет!..

– Знаешь ли что? – сказал я ему, – я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный...

– Может быть! Какое мне дело!.. – сказал он рассеянно.

– Нет, я только так это говорю...

– А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерение ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты, верно, о себе самого высокого мнения.

– Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

– Мне жаль, что не имею еще этого права...

– О-го! – подумал я, – у него, видно, есть уже надежды...»

– Впрочем, для тебя же хуже, – продолжал Грушницкий, – теперь тебе трудно познакомиться с ними, – а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю. . .

Я внутренно улыбнулся.

– Самый приятный дом для меня теперь мой, – сказал я, зевая, и встал, чтоб идти.

– Однако признайся, ты раскаиваешься? . .

– Какой вздор! если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини...

– Посмотрим.. .

– Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной...

– Да, если она захочет говорить с тобой...

– Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит...

Прощай!..

– А я пойду шататься, – я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдем лучше в ресторацию, там игра... мне нужны нынче сильные ощущения...

– Желаю тебе проиграться...

Я пошел домой.

21-го мая

Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде; их разговоры бесконечны: когда же он ей наскучит?.. Мать не обращает на это внимания, потому что он не жених. Вот логика матерей! Я подметил два, три нежных взгляда, – надо этому положить конец.

Вчера у колодца в первый раз явилась Вера... Она, с тех пор как мы встретились в гроте, не выходила из дома. Мы в одно время опустили стаканы, и, наклонясь, она мне сказала шепотом:

– Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими?.. Мы только там можем видеться...

Упрек! скучно! Но я его заслужил...

Кстати: завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку.

29-го мая

Зала ресторации превратилась в залу Благородного собрания. В девять часов все съехались. Княгиня с дочерью явилась из последних; многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин – там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце... Танцы начались польским; потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились.

Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи – счастливую эпоху мушек из черной тафты. Самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

– Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет... C`est impayable!.. И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить...

– За этим дело не станет! – отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату.

Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид: она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Ее свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей... Я сделал три тура. (Она вальсирует удивительно хорошо). Она запыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое: «Merci, monsieur».

После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид:

– Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе незнаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость... что вы меня нашли дерзким... неужели это правда?

– И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? – отвечала она с иронической гримаской, которая, впрочем, очень идет к ее подвижной физиономии.

– Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще большую дерзость просить у вас прощения... И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались...

– Вам это будет довольно трудно...

– Отчего же?

– Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться.

«Это значит, – подумал я, – что их двери для меня навеки закрыты».

– Знаете, княжна, – сказал я с некоторой досадой, – никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее... и тогда...

Хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом:

– Пермете... ну, да что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку...

– Что вам угодно? – произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы! ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было; один адьютант, кажется, все это видел, да спрятался за толпой, чтоб не быть замешану в историю.

– Что же? – сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками, – разве вам не угодно?.. Я таки опять имею честь вас ангажировать pour mazure... Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить...

Я видел, что она готова упасть в обморок от страху и негодования. Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться, – потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.

– Ну, нечего делать!.. в другой раз! – сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату.

Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом.

Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все, та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек.

– Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы, – прибавила она, – но признайтесь, вы этому одни виною: вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин... не правда ли?

Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

Наконец с хор загремела мазурка; мы с княжной уселись.

Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико ее расцвело; она шутила очень мило; ее разговор был остер, без притязания на остроту, жив и свободен; ее замечания иногда глубоки... Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.

– Вы странный человек! – сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.

– Я не хотел с вами знакомиться, – продолжал я, – потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.

– Вы напрасно боялись! Они все прескучные...

– Все! Неужели все?

Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: все!

– Даже мой друг Грушницкий?

– А он ваш друг? – сказала она, показывая некоторое сомнение.

– Да.

– Он, конечно, не входит в разряд скучных...

– Но в разряд несчастных, – сказал я смеясь.

– Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...

– Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!

– А разве он юнкер?.. – сказала она быстро и потом прибавила:

– А я думала...

– Что вы думали?..

– Ничего!.. Кто эта дама?

Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался.

Вот мазурка кончилась, и мы распростились – до свидания. Дамы разъехались... Я пошел ужинать и встретил Вернера.

– А-га! – сказал он, – так-то вы! А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти.

– Я сделал лучше, – отвечал я ему, – спас ее от обморока на бале!..

– Как это? Расскажите!..

– Нет, отгадайте, – о вы, отгадывающий все на свете!

30-го мая

Около семи часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидав меня издали, подошел ко мне: какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:

– Благодарю тебя, Печорин... Ты понимаешь меня?..

– Нет; но, во всяком случае, не стоит благодарности, – отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния.

– Как? а вчера? ты разве забыл?.. Мери мне все рассказала...

– А что? разве у вас уж нынче все общее? и благодарность?..

– Послушай, – сказал Грушницкий очень важно, – пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем... Видишь: я ее люблю до безумия... и я думаю, я надеюсь, она также меня любит... У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынче у них вечером... обещай мне замечать все; я знаю, ты опытен в этих

вещах, ты лучше меня знаешь женщин... Женщины! женщины! кто их поймет? Их улыбки противоречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает... То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков...

Вот хоть княжна: вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны...

– Это, может быть, следствие действия вод, – отвечал я.

– Ты во всем видишь худую сторону... матерьялист! прибавил он презрительно. – Впрочем, переменим материю, – и, довольный плохим каламбуром, он развеселился.

В девятом часу мы вместе пошли к княгине .

Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас вошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай; гостей было много; разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души; княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли; она находит, что томность к ней идет, – и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает.

После чая все пошли в залу.

– Довольна ль ты моим послушанием, Вера? – сказал я, проходя мимо ее.

Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам; но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяно; все просили ее спеть что-нибудь, – я молчал и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих... Вышло – вздор...

Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я удивительно понимаю этот разговор немой, но выразительный, краткий, но сильный!..

Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо... впрочем, я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил вполголоса: «Charmant! delicieux!»

– Послушай, – говорила мне Бера, – я не хочу, чтоб ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине; тебе это легко: ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видеться... – Только?.. Она покраснела и продолжала:

– Ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умела тебе противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере я хочу сберечь свою репутацию... не для себя: ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя: не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью: я, может быть, скоро умру, я чувствую, что слабею со дня на день... и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебе. Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки, а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.

Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее; я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно.

– Мне это тем более лестно, – сказала она, – что вы меня вовсе не слушали; но вы, может быть, не любите музыки?..

– Напротив... после обеда особенно.

– Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы... и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении...

– Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастроном: у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово: следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы: мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться, и притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична...

Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор: кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде...

Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбие, – вам не удастся! и если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден.

В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворной досадою наконец удалился. Княжна торжествовала, Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь... вам недолго торжествовать!.. Как быть? у меня есть предчувствие... Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет ли она меня любить или нет...

Остальную часть вечера я провел возле Веры и досыта наговорился о старине... За что она меня так любит, право, не знаю! Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Неужели зло так привлекательно?..

Мы вышли вместе с Грушницким; на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал:

– Ну, что?

«Ты глуп», – хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.

6-го июня

Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор; я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами: это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой; но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем; в первый раз была она этому рада или старалась показать; во второй – рассердилась на меня, в третий – на Грушницкого.

– У вас очень мало самолюбия! – сказала она мне вчера. – Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?

Я отвечал, что жертвую счастию приятеля своим удовольствием...

– И моим, – прибавила она.

Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с ней ни слова... Вечером она была задумчива, нынче поутру у колодца еще задумчивей; когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой, но только что завидела меня, она стала хохотать (очень некстати), показывая, будто меня не примечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней: она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза.

Решительно, Грушницкий ей надоел.

Еще два дня не буду с ней говорить.

11-го июня

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия... Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство – истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности – только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.

Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка, он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: «Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!»

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную

жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи – создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара. Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов; душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, – лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие.

Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета... Но что за нужда?.. Ведь этот журнал пишу я

для себя, и, следовательно, все, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.

. . . . . .

Пришел Грушницкий и бросился мне на шею: он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер вошел вслед за ним.

– Я вас не поздравляю, – сказал он Грушницкому.

– Отчего?

– Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило.

– Толкуйте, толкуйте, доктор! вы мне не помешаете радоваться. Он не знает, – прибавил Грушницкий мне на ухо, – сколько надежд придали мне эти эполеты... О, эполеты, эполеты! ваши звездочки, путеводительные звездочки... Нет! я теперь совершенно счастлив.

– Ты идешь с нами гулять к провалу? – спросил я его.

– Я? ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир.

– Прикажешь ей объявить о твоей радости?..

– Нет, пожалуйста, не говори... Я хочу ее удивить...

– Скажи мне, однако, как твои дела с нею?

Он смутился и задумался: ему хотелось похвастаться, солгать - и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.

– Как ты думаешь, любит ли она тебя?

– Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия!.. как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...

– Хорошо! И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..

– Эх, братец! на все есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

– Это правда... Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает...

– Она?.. – отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись, – мне жаль тебя, Печорин!..

Он ушел.

Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу.

По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал; взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжение целой прогулки.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась. Я начал шутя – и кончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.

– Вы опасный человек! – сказала она мне, – я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок... Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, – я думаю, это вам не будет очень трудно.

– Разве я похож на убийцу?..

– Вы хуже...

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:

– Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не было; но их предполагали – и они родились. Я был скромен – меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, – другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, - меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду – мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние – не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и

бросил, – тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна – пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Сострадание – чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, – а это великий признак!

Мы пришли к провалу; дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили; крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора; но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно.

– Любили ли вы? – спросил я ее наконец.

Она посмотрела на меня пристально, покачала головой – и опять впала в задумчивость: явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать; ее грудь волновалась... Как быть! кисейный рукав слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку; все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства; конечно, они приготовляют ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело.

– Не правда ли, я была очень любезна сегодня? – сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гулянья.

Мы расстались.

Она недовольна собой: она себя обвиняет в холодности... о, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть – вот что скучно!

12-го июня.

Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор!

– Я отгадываю, к чему все это клонится, – говорила мне Вера, – лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь.

– Но если я ее не люблю?

– То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?..

О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск; послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом; мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская, а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят... Приедешь? . .

Я обещал – и тот же день послал занять эту квартиру.

Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу.

– Наконец я буду с нею танцевать целый вечер... Вот наговорюсь! – прибавил он.

– Когда же бал?

– Да завтра! Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить...

– Пойдем на бульвар...

– Ни за что, в этой гадкой шинели...

– Как, ты ее разлюбил?..

Я ушел один и, встретив княжну Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

– Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как прошлый раз, – сказала она, очень мило улыбаясь...

Она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушницкого.

– Вы будете завтра приятно удивлены, – сказал я ей.

– Чем?

– Это секрет... на бале вы сами догадаетесь.

Я окончил вечер у княгини; гостей не было, кроме Веры и одного презабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории; княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряженным, даже нежным

вниманием, что мне стало совестно. Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее капризы, ее дерзкая мина, презрительная улыбка, рассеянный взгляд?..

Вера все это заметила: на ее болезненном лице изображалась глубокая грусть; она сидела в тени у окна, погружаясь в широкие кресла... Мне стало жаль ее...

Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, – разумеется, прикрыв все это вымышленными именами.

Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги; я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной.

Она встала, подсела к нам, оживилась... и мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в одиннадцать.

13-го июня.

За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет; эполеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылышек амура; сапоги его скрипели; в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правою взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол. Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями.

Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом; черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника; ему показалось мало: он вытащил его кверху до ушей; от этой трудной работы, ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен, лицо его налилось кровью.

– Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной? – сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.

– Где нам, дуракам, чай пить! – отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.

– Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый жид!.. как под мышками? режет!.. Нет ли у тебя духов?

– Помилуй, чего тебе еще? от тебя и так уж несет розовой помадой...

– Ничего. Дай-ка сюда...

Он налил себе полсклянки за галстук, в носовой платок, на рукава.

– Ты будешь танцевать? – спросил он.

– Не думаю.

– Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку, – я не знаю почти ни одной фигуры...

– А ты звал ее на мазурку?

– Нет еще...

– Смотри, чтоб тебя не предупредили...

– В самом деле? – сказал он, ударив себя по лбу. – Прощай... пойду дожидаться ее у подъезда. – Он схватил фуражку и побежал.

Через полчаса и я отправился. На улице было темно и пусто; вокруг собрания или трактира, как угодно, теснился народ; окна его светились; звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно; мне было грустно... Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле – разрушать чужие надежды? С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов – или в сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?.. Войдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром; она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам; на лице ее изображалось нетерпение, глаза ее искали кругом кого-то; я тихонько подошел сзади, чтоб подслушать их разговор.

– Вы меня мучите, княжна! – говорил Грушницкий, – вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал...

– Вы также переменились, – отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки.

– Я? я переменился?.. О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ.

– Перестаньте...

– Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и так часто, внимали благосклонно?..

– Потому что я не люблю повторений, – отвечала она, смеясь...

– О, я горько ошибся!.. Я думал, безумный, что по крайней мере эти эполеты дадут мне право надеяться... Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я обязан вашим вниманием...

– В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу...

В это время я подошел и поклонился княжне; она немножко покраснела и быстро проговорила:

– Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет к мсье Грушницкому?..

– Я с вами не согласен, – отвечал я, – в мундире он еще моложавее.

Грушницкий не вынес этого удара; как все мальчики, он имеет претензию быть стариком; он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь.

– А признайтесь, – сказал я княжне, – что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен... в серой шинели?..

Она потупила глаза и не отвечала.

Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или vis a vis; он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела.

– Я этого не ожидал от тебя, – сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.

– Чего?

– Ты с нею танцуешь мазурку? – спросил он торжественным голосом. – Она мне призналась...

– Ну, так что ж? А разве это секрет?

– Разумеется... Я должен был этого ожидать от девчонки... от кокетки... Уж я отомщу!

– Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

– Зачем же подавать надежды?

– Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь – понимаю, а кто ж надеется?

– Ты выиграл пари – только не совсем, – сказал он, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее выбирали; это явно был заговор против меня; тем лучше: ей хочется говорить со мной, ей мешают, – ей захочется вдвое более.

Я раза два пожал ее руку; во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.

– Я дурно буду спать эту ночь, – сказала она мне, когда мазурка кончилась.

– Этому виноват Грушницкий.

– О нет! – И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собой.

За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий. Когда я вошел, все замолчали: видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид... Очень рад; я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, – вот что я называю жизнью.

В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с драгунским капитаном.

14-го июня.

Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Лиговской. Она мне кивнула головой: во взгляде ее был упрек.

Кто ж виноват? зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь, – без пищи гаснет. Авось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы.

Я сидел у княгини битый час. Мери не вышла, – больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла в самом деле грозный вид. Я рад, что княжна больна: они сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид; он, кажется, в самом деле огорчен, особенно самолюбие его оскорблено; но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно!..

Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. Я не видал ее! Она больна! Уж не влюбился ли я в самом деле?.. Какой вздор!

15-го июня.

В одиннадцать часов утра – час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, – я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна; увидев меня, вскочила.

Я вошел в переднюю; людей никого не было, и я без доклада, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную.

Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресел: эта рука чуть-чуть дрожала; я тихо подошел к ней и сказал:

– Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокий взор и покачала головой; ее губы хотели проговорить что-то – и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилась в кресла и закрыла лицо руками.

– Что с вами? – сказал я, взяв ее руку.

– Вы меня не уважаете!.. О! Оставьте меня ! . .

Я сделал несколько шагов... Она выпрямилась в креслах, глаза ее засверкали...

Я остановился, взявшись за ручку двери и сказал:

– Простите меня, княжна! Я поступил как безумец... этого в другой раз не случится: я приму свои меры... Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей! Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте.

Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала.

Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель в совершенном изнеможении.

Ко мне зашел Вернер.

– Правда ли, – спросил он, – что вы женитесь на княжне Лиговской?

– А что?

– Весь город говорит; все мои больные заняты этой важной новостью, а уж эти больные такой народ: все знают!

«Это шутки Грушницкого!» – подумал я.

– Чтоб вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск...

– И княгиня также?..

– Нет, она остается еще на неделю здесь...

– Так вы не женитесь?..

– Доктор, доктор! посмотрите на меня: неужели я похож на жениха или на что-нибудь подобное?

– Я этого не говорю... но вы знаете, есть случаи... – прибавил он, хитро улыбаясь, – в которых благородный человек обязан жениться, и есть маменьки, которые по крайней мере не предупреждают этих случаев... Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее! Здесь, на водах, преопасный воздух: сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи и уезжавших отсюда прямо под венец... Даже, поверите ли, меня хотели женить! Именно. одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастие сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и все свое состояние – пятьдесят душ, кажется. Но я отвечал, что я к этому не способен...

Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег.

Из слов его я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи: это Грушницкому даром не пройдет!

18-го июня.

Вот уж три дня, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон; она давно уж одета и ждет условного знака;

мы встречаемся, будто нечаянно, в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле, здесь все дышит уединением; здесь все таинственно – и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и наконец кидаются в Подкумок. С этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину; по ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее взгляну, мне все кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико..Уж много карет проехало по этой дороге, – а той все нет. Слободка, которая за крепостью, населилась; в ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей; шум и звон стаканов раздается до поздней ночи.

Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь.

Но смешивать два эти ремесла

Есть тьма охотников – я не из их числа.

Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мной почти не кланяется.

Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну: решительно – несчастия развивают в нем воинственный дух.

22-го июня.

Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюблен? Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать.

Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери... плохо! Зато Вера ревнует меня к княжне: добился же я этого благополучия! Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу! Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума; женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтоб они убедили себя сами; порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предупреждения, очень оригинален; чтоб выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный:

Этот человек любит меня, но я замужем: следовательно, не должна его любить.

Способ женский:

Я не должна его любить, ибо я замужем; но он меня любит, – следовательно...

Тут несколько точек, ибо рассудок уже ничего не говорит, а говорят большею частью: язык, глаза и вслед за ними сердце, если оно имеется.

Что, если когда-нибудь эти записки попадут на глаза женщине? «Клевета!» – закричит она с негодованием.

С тех пор, как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом...

Не кстати было бы мне говорить о них с такою злостью, – мне, который, кроме их, на свете ничего не любил, – мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнию... Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них, есть только следствие

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости.

Кстати: Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным ле-

сом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Ерусалиме». «Только приступи, – говорил он, – на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что боже упаси: долг, гордость, приличие... Надо только не смотреть, а идти прямо, – мало-помалу чудовища исчезают, и открывается пред тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт. Зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет и обернешься назад!»

24-го июня

Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это – ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их – совершенный калейдоскоп: каждый день от напора волн оно изменяется; где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен; мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мери.

Мы были уж на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно!» – проговорила она слабым голосом... Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию. «Смотрите наверх! – шепнул я ей, – это ничего, только не бойтесь; я с вами».

Ей стало лучше; она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

– Что вы со мною делаете? Боже мой!..

Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади; никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я

поклялся не говорить ни слова – из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения.

– Или вы меня презираете, или очень любите! – сказала она наконец голосом, в котором были слезы. – Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить... Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... о нет! не правда ли, – прибавила она голосом нежной доверенности, – не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок... я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!.. – В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастию, начинало смеркаться. Я ничего не отвечал.

– Вы молчите? – продолжала она, – вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю?..

Я молчал...

– Хотите ли этого? – продолжала она, быстро обратясь ко мне... В решительности ее взора и голоса было что-то страшное...

– Зачем? – отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда она уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; На меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалось, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира... А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия! Слезши с лошадей, дамы вошли к княгине; я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна подымалась из-за темных вершин. Каждый шаг моей нековаными лошади глухо раздавался в молчании ущелий; у водопада я напоил коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались...

В одном из домов слободки, построенном на краю обрыва, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну; неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслышать их слова. Говорили обо мне.

Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания.

– Господа! – сказал он, – это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слетки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.

– И что за надменная улыбка! А я уверен между тем, что он трус, – да, трус!

– Я думаю тоже, – сказал Грушницкий. – Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин все обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел и связываться...

– Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну, – сказал кто-то.

– Вот еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах.

– Да я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий, – о, Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! – сказал опять драгунский капитан. – Господа! никто здесь его не защищает? Никто? Тем лучше! Хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит...

– Хотим; только как?

– А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит – ему первая роль! Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль... Погодите; вот в этом-то и штука... Вызовет на дуэль: хорошо! Все это – вызов, приготовления, условия – будет как можно торжественнее и ужаснее, – я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! Хорошо! Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит – на шести шагах их поставлю, черт возьми! Согласны ли, господа?

– Славно придумано! согласны! почему же нет? – раздалось со всех сторон.

– А ты, Грушницкий?

Я с трепетом ждал ответ Грушницкого; холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «Хорошо, я согласен».

Трудно описать восторг всей честной компании.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За что они все меня ненавидят? – думал я. – За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство?» И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. «Берегись, господин Грушницкий! – говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате. – Со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка!..»

Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец.

Поутру я встретил княжну у колодца.

– Вы больны? – сказала она, пристально посмотрев на меня.

– Я не спал ночь.

– И я также... я вас обвиняла... может быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вам простить все...

– Все ли?..

– Все... только говорите правду... только скорее... Видите ли, я много думала, старалась объяснить, оправдать ваше поведение; может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных... это ничего; когда они узнают... (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше собственное положение... но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю... О, отвечайте скорее, сжальтесь... Вы меня не презираете, не правда ли? Она схватила меня за руки. Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала; но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия.

– Я вам скажу всю истину, – отвечал я княжне, – не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков; я вас не люблю...

Ее губы слегка побледнели...

– Оставьте меня, – сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

25-го июня.

Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал не способен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне son coeur et sa fortune; но надо мною слово жениться имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, – прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей... Признаться ли?.. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она мне предсказала мне смерть от злой жены; это меня тогда глубоко поразило; в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе... Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

26-го июня.

Вчера приехал сюда фокусник Апфельбаум. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в восемь часов вечера, в зале Благородного собрания (иначе – в ресторации); билеты по два рубля с полтиной.

Все собираются идти смотреть удивительного фокусника; даже княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет.

Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня в десятом часу вечера приходи ко мне по большой лестнице; муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. – Я жду тебя; приходи непременно».

«А-га! – подумал я, – наконец-таки вышло по-моему».

В восемь часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого; представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и прочее.

Грушницкий мне не кланяется уж несколько времени, а нынче раза два посмотрел на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться.

В исходе десятого я встал и вышел.

На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые, холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор: лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию; у окон ее толпился народ. Я спустился с горы, и повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мной. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать; однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою; человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило; однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь отворилась; маленькая ручка схватила мою руку...

– Никто тебя не видал? – сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне.

– Никто!

– Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю? О, я долго колебалась, долго мучилась... но ты из меня делаешь все, что хочешь.

Ее сердце сильно билось, руки были холодны как лед. Начались упреки ревности, жалобы, – она требовала от меня, чтоб я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастия. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и прочее.

– Так ты не женишься на Мери? не любишь ее?.. А она думает... знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия, бедняжка!..

. . . . . .

Около двух часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мери сидела на своей постели, скрестив на коленях руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики, ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; пред нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко...

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо.

– Ага! – сказал грубый голос, – попался!.. будешь у меня к княжнам ходить ночью!..

– Держи его крепче! – закричал другой, выскочивший из-за угла.

Это были Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты. Все тропинки сада, покрывавшего отлогость против наших домов, были мне известны.

– Воры! караул!.. – кричали они; раздался ружейный выстрел; дымящийся пыж упал почти к моим ногам.

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.

– Печорин! вы спите? здесь вы?..– закричал капитан.

– Вставайте! – воры... черкесы...

– У меня насморк, – отвечал я, – боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они б еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах – и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал

более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников остались бы на месте.

27-го июня.

Нынче поутру у колодца только и было толков, что о ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче ночью! – говорил он, – ведь надобно ж, чтоб это случилось именно тогда, как я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которых был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и, следственно, я не мог подозревать умысла; но это только увеличивало его вину в моих глазах.

– Да неужели в самом деле это были черкесы? – сказал кто-то, – видел ли их кто-нибудь?

– Я вам расскажу всю историю, – отвечал Грушницкий, – только, пожалуйста, не выдавайте меня; вот как это было: вчерась один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подстеречь счастливца.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком: он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину; но ослепленный ревностью, он и не подозревал ее.

– Вот видите ли, – продолжал Грушницкий, – мы и отправились, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтобы попугать. До двух часов ждали в саду. Наконец – уж бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отвор-ялось, а должно быть, он вышел в стеклянную дверь, что за колонной, – наконец, говорю я, видим мы, сходит кто-то с балкона... Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь, московские барышни! После этого чему же можно верить? Мы хотели

его схватить, только он вырвался и, как заяц, бросился в кусты; тут я по нем выстрелил.

Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости.

– Вы не верите? – продолжал он, – даю вам честное, благородное слово, что все это сущая правда, и в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина.

– Скажи, скажи, кто ж он! – раздалось со всех сторон.

– Печорин, – отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза – я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

– Мне очень жаль, что я вошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

– Прошу вас, – продолжал я тем же тоном, – прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью. Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем; он вздрогнул и быстро отвечал мне, не поднимая глаз:

– Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю и готов повторить... Я не боюсь ваших угроз и готов на все...

– Последнее вы уж доказали, – отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.

– Что вам угодно? – спросил капитан.

– Вы приятель Грушницкого – и, вероятно, будете его секундантом?

Капитан поклонился очень важно.

– Вы отгадали, – отвечал он, – я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне: я был с ним вчера ночью, – прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан.

– А! так это вас ударил я так неловко по голове?

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.

– Я буду иметь честь прислать к вам нониче моего секунданта, – прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство.

На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.

Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.

– Благородный молодой человек! – сказал он, с слезами на глазах. – Я все слышал. Экой мерзавец! неблагодарный!.. Принимай их после этого в порядочный дом! Слава богу, у меня нет дочерей! Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры до времени, – продолжал он. – Я сам был молод и служил в военной службе: знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте.

Бедняжка! радуется, что у него нет дочерей...

Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему все – отношения мои к Вере и княжне и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело выходило их границ шутки: они, вероятно, не ожидали такой развязки. Доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка; он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире.

После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.

– Против вас точно есть заговор, – сказал он. – Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню. Я на минуту остановился в передней, чтоб снять галоши. У них был ужасный шум и спор... «Ни за что не соглашусь! – говорил Грушницкий, – он меня оскорбил публично; тогда было совсем другое...» – «Какое тебе дело? – отвечал капитан, – я все беру на себя. Я был секундантом на пяти дуэлях и уж знаю, как это устроить. Я все придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Пострашать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?..» В эту минуту я взошел. Они замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконец мы решили дело вот как: верстах в пяти отсюда есть глухое

ущелье; они туда поедут завтра в четыре часа утра, а мы выедем полчаса после них; стреляться будете на шести шагах – этого требовал Грушницкий. Убитого – на счет черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения: они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяются; только Грушницкий, кажется, поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете? Должны ли мы показать им, что догадались?

– Ни за что на свете, доктор! будьте спокойны, я им не поддамся.

– Что же вы хотите делать?

– Это моя тайна.

– Смотрите не попадитесь... ведь на шести шагах!

– Доктор, я вас жду завтра в четыре часа; лошади будут готовы... Прощайте.

Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине, – я велел сказать, что болен.

. . . . . .

Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся... мы поменяемся ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб... но мы бросим жребий!.. и тогда... тогда... что, если его счастье перетянет? если моя звезда наконец мне изменит?.. И не мудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.

Что ж? умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я – как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова... прощайте!..

Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но

утратил навеки пыл благородных стремлений – лучший свет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия: я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их радости и страданья – и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собой роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче; но только проснулся – мечта исчезает... остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие – мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь – из любопытства: ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!

Вот уже полтора месяца, как я в крепости N; Максим Максимыч ушел на охоту... я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно; ветер свищет и колеблет ставни... Скучно! Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями.

Перечитываю последнюю страницу: смешно! Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий, и теперь чувствую, что мне еще долго жить.

Как все прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время!

Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские пуритане»; я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом... Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..

Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало; тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее

следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою.

Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!..

Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка. Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой: у него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного.

– Отчего вы так печальны, доктор? – сказал я ему. – Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздороветь, могу и умереть; то и другое в порядке вещей; старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной, – и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени; вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений... Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?

Эта мысль поразила доктора, и он развеселился.

Мы сели верхом; Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились, – мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд, к великому отчаянию доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась.

Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление; в ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня; он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню – в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматриваться каждую росинку, трепещущую на ши-

роком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и, наконец, они, казалось, сходились непроницаемою стеной. Мы ехали молча.

– Написали ли вы свое завещание? – вдруг спросил Вернер.

– Нет.

– А если будете убиты?..

– Наследники отыщутся сами.

– Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости?..

Я покачал головой.

– Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..

– Хотите ли, доктор, – отвечал я ему, – чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе: иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, возведут на мой счет бог знает какие небылицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему, – бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей – и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй... второй? Посмотрите, доктор: видите ли вы, на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..

Мы пустились рысью.

У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади; мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем; фамилии его я никогда не слыхал.

– Мы давно уж вас ожидаем, – сказал драгунский капитан с иронической улыбкой.

Я вынул часы и показал ему.

Он извинился, говоря, что его часы уходят.

Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому.

– Мне кажется, – сказал он, – что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно.

– Я готов, – сказал я.

Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза; но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

– Объясните ваши условия, – сказал он, – и все, что я могу для вас сделать, то будьте уверены...

– Вот мои условия: вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения...

– Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи?..

– Что ж я вам мог предложить, кроме этого?..

– Мы будем стреляться...

Я пожал плечами.

– Пожалуй; только подумайте, что один из нас непременно будет убит.

– Я желаю, чтобы это были вы...

– А я так уверен в противном...

Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал.

Капитан взял его под руку и отвел в сторону; они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но все это начинало меня бесить.

Ко мне подошел доктор.

– Послушайте, – сказал он с явным беспокойством, – вы, верно, забыли про их заговор?.. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае... Вы странный человек! Скажите им, что вы знаете их намерение, и они не посмеют... Что за охота! подстрелят вас как птицу...

– Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите... Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться...

– Господа, это становится скучно! – сказал я им громко, – драться так драться; вы имели время вчера наговориться...

– Мы готовы, – отвечал капитан. – Становитесь, господа!.. Доктор, извольте отмерить шесть шагов...

– Становитесь! – повторил Иван Игнатьич пискливым голосом.

– Позвольте! – сказал я, - еще одно условие; так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтоб это осталось тайною и чтоб секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?..

– Совершенно согласны.

– Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? оттуда до низу будет сажен тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом, даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.

– Пожалуй! – сказал драгунский капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был выстрелить на воздух, или сделаться убийцей, или, наконец, оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром; я видел, как посиневшие губы его дрожали; но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак! – сказал он Грушницкому довольно громко, – ничего не понимаешь! Отправимтесь же, господа!»

Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы; цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.

– Я вам удивляюсь, – сказал доктор, пожав мне крепко руку. – Дайте пощупать пульс!.. О-го! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно... только глаза у вас блестят ярче обыкновенного.

Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. Что это? Грушницкий споткнулся, ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не поддержали.

– Берегитесь! – закричал я ему, – не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!

Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы: площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась, там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу, спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать... Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своею совестью?

– Бросьте жребий, доктор! – сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.

– Решетка! – закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.

– Орел! – сказал я.

Монета взвилась и упала звеня; все бросились к ней.

– Вы счастливы, – сказал я Грушницкому, – вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь – даю вам честное слово.

Он покраснел; ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство - выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.

– Пора! – шепнул мне доктор, дергая за рукав, – если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уж заряжает... если вы ничего не скажете, то я сам...

– Ни за что на свете, доктор! – отвечал я, удерживая его за руку, – вы все испортите; вы мне дали слово не мешать... Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит...

Он посмотрел на меня с удивлением.

– О, это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь...

Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то; другой мне.

Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад.

Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб...

Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.

Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.

– Не могу, – сказал он глухим голосом.

– Трус! – отвечал капитан.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края.

– Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся! – сказал капитан, – теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! – Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха. – Не бойся, – прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого, – все вздор на свете!.. Натура – дура, судьба – индейка, а жизнь – копейка!

После этой трагической фразы, сказанной с приличною важностью, он отошел на свое место; Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих

пор стараюсь объяснить себе, какого роду чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненный в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса.

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.

– Я вам советую перед смертью помолиться богу, – сказал я ему тогда.

– Не заботьтесь о моей душе больше чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.

– И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?

– Господин Печорин! – закричал драгунский капитан, – вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить... Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью – и нас увидят.

– Хорошо, доктор, подойдите ко мне.

Доктор подошел. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.

Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор:

– Доктор, эти господа, вероятно, второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, – и хорошенько!

– Не может быть! – кричал капитан, – не может быть! я зарядил оба пистолета; разве что из вашего пуля выкатилась... это не моя вина! – А вы не имеете права перезаряжать... никакого права... это совершенно против правил; я не позволю...

– Хорошо! – сказал я капитану, – если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях... Он замялся.

Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.

– Оставь их! – сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора... – Ведь ты сам знаешь, что они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки, – Грушницкий не хотел и смотреть.

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой.

– Дурак же ты, братец, – сказал он, – пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! околевай себе, как муха... – Он отвернулся и, отходя, пробормотал: – А все-таки это совершенно против правил.

– Грушницкий! – сказал я, – еще есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено; – вспомни – мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

– Стреляйте! – отвечал он, – я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...

Я выстрелил...

Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.

Все в один голос вскрикнули.

– Finita la comedia! – сказал я доктору.

Он не отвечал и с ужасом отвернулся.

Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого.

Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза... Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели.

Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был бы мне тягостен: я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился в месте, мне вовсе не знакомом; я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу; уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный, на измученной лошади.

Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую... от Веры.

Я распечатал первую, она была следующего содержания:

«Все устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиною его смерти

несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно... если можете... Прощайте...»

Я долго не решался открыть вторую записку... Что могла она мне писать?.. Тяжелое предчувствие волновало мою душу.

Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:

«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя – ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени: я проникла во все тайны души твоей... и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.

Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно, ничей взор не обещает столько блаженства, никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума... но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала... верно, я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету... Вот уж три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова... Прощай, прощай... Я погибла, – но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить, – не говорю уж любить, – нет, только помнить... Прощай; идут... я должна спрятать письмо...

Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете...»

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! – одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ей руку... Я молился, проклинал плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете – дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на

ровном месте... Оставалось пять верст до Ессентуков – казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но вдруг поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод – напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком – ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал.

И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие – исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? – ее видеть? – зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.

Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.

Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо.

Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук – и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огне в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно.

Взошел доктор: лоб у него был нахмурен; и он, против обыкновения, не протянул мне руки.

– Откуда вы, доктор?

– От княгини Лиговской; дочь ее больна – расслабление нервов... Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал... как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь.

Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку... и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень – и он вышел.

Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, – а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..

На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость Н., я зашел к княгине проститься.

Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? – я отвечал, что желаю ей быть счастливой и прочее.

– А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.

Я сел молча.

Явно было, что она не знала, с чего начать; лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу; наконец она начала так, прерывистым голосом:

– Послушайте, мсье Печорин! я думаю, что вы благородный человек.

Я поклонился.

– Я даже в этом уверена, – продолжала она, – хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, - следственно, рисковали жизнью... Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не при-

ластесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит – и, надеюсь, вам также!.. Это до меня не касается, я не смею осуждать вас, потому что дочь моя хотя невинно, но была этому причиною. Она мне все сказала... я думаю, все: вы изъяснились ей в любви... она вам призналась в своей (тут княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это не простая болезнь! Печаль тайная ее убивает; она не признается, но я уверена, что вы этому причиной... Послушайте: вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства, - разуверьтесь! Я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться: вы имеете состояние; вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастие мужа, – я богата, она у меня одна... Говорите, что вас удерживает?.. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь; вспомните, у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

– Княгиня, – сказал я, – мне невозможно отвечать вам; позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине...

– Никогда! – воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.

– Как хотите, – отвечал я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла.

Прошло минут пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.

Вот двери отворились, и вошла она, Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал ее, – а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленах, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

– Княжна, – сказал я, – вы знаете, что я над вами смеялся?.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец.

Я продолжал: – Следственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.

– Боже мой! – произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

– Итак, вы сами видите, – сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкой, – вы сами видите, что я не могу на вас жениться, если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.

– Я вас ненавижу... – сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст до Ессентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято – вероятно, проезжим казаком, – и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся...

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...

III
ФАТАЛИСТ

Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.

Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra.

– Все это, господа, ничего не доказывает, – сказал старый майор, – ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми подтверждаете свои мнения?

– Конечно, никто, сказали многие, – но мы слышали от верных людей...

– Все это вздор! – сказал кто-то, – где эти верные люди, видевшие список, на котором назначен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?

В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал, и медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.

Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, – все это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи.

Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, – которых прелесть трудно достигнуть, не видав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.

Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал все, и обыкновенно проиг-

рывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк, ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк!» – кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтеров. «Идет семерка», – отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью, карта была дана.

Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтера.

– Семерка дана! – закричал он, увидав его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.

Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.

– Господа! – сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного), – господа! к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута... Кому угодно?

– Не мне, не мне! – раздалось со всех сторон, – вот чудак! придет же в голову!..

– Предлагаю пари! – сказал я шутя.

– Какое?

– Утверждаю, что нет предопределения, – сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев - все, что было у меня в кармане.

– Держу, – отвечал Вулич глухим голосом. Майор, вы будете судьею; вот пятнадцать червонцев, остальные пять вы мне должны, и сделайте мне дружбу прибавить их к этим.

– Хорошо, – сказал майор, – только не понимаю, право, в чем дело и как вы решите спор?..

Вулич вышел молча в спальню майора; мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов; мы еще его не

понимали; но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.

– Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! – закричали ему.

– Господа! – сказал он медленно, освобождая свои руки, – кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев?

Все замолчали и отошли.

Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; все последовали за ним: он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись; но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.

– Вы нынче умрете! – сказал я ему.

Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:

– Может быть, да, может быть, нет... Потом, обратясь к майору, спросил: заряжен ли пистолет? Майор в замешательстве не помнил хорошенько.

– Да полно, Вулич! – закричал кто-то, – уж, верно, заряжен, коли в головах висел, что за охота шутить!..

– Глупая шутка! – подхватил другой.

– Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен! – закричал третий.

Составились новые пари.

Мне надоела эта длинная церемония.

– Послушайте, – сказал я, – или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдемте спать.

– Разумеется, – воскликнули многие, – пойдемте спать.

– Господа, я вас прошу не трогаться с места! – сказал Вулич, приставя дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.

– Господин Печорин, прибавил он, – возьмите карту и бросьте вверх.

Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось; все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!

– Слава Богу! – вскрикнули многие, – не заряжен...

– Посмотрим, однако ж, – сказал Вулич. Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном; выстрел раздался – дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку: она была пробита в самой середине и пуля глубоко засела в стене.

Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вулич пересыпал в свой кошелек мои червонцы.

Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил; иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вулич присыпал свежего; но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета.

– Вы счастливы в игре, – сказал я Вуличу...

– В первый раз от роду, – отвечал он, самодовольно улыбаясь, – это лучше банка и штосса.

– Зато немножко опаснее.

– А что? вы начали верить предопределению?

– Верю; только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.

– Однако же довольно! – сказал он, вставая, пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны... – Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным – и недаром!..

Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают

участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного счастия, потому знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбою...

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем, я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею но я остановил себя вовремя на этом опасном пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть

под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Наклоняюсь – месяц уж светил прямо на дорогу – и что же? предо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой... Едва я успел ее осмотреть, как услышал шум шагов: два казака бежали из переулка, один подошел ко мне и спросил, не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

– Экой разбойник! – сказал второй казак, – как напьется чихиря, так и пошел крошить все, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и наконец счастливо добрался до своей квартиры.

Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю.

Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя», – сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечку и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но – видно, было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, одевайся!» – кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» – сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны как смерть.

– Что?

– Вулич убит.

Я остолбенел.

– Да, убит – продолжали они, – пойдем скорее.

– Да куда же?

– Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по

темной улице: на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «Кого ты, братец, ищешь» – «Тебя!» – отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца... Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «Он прав!» Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы. Мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону; по временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас.

Суматоха была страшная.

Вот наконец мы пришли; смотрим: вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою: женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние. Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника.

Никто, однако, не отважился броситься первым. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.

В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

– Согрешил, брат Ефимыч, – сказал есаул, – так уж нечего делать, покорись!

– Не покорюсь! – отвечал казак.

– Побойся Бога. Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь!

– Не покорюсь! – закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

– Эй, тетка! – сказал есаул старухе, – поговори сыну, авось тебя послушает... Ведь это только бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.

– Василий Петрович, – сказал есаул, подойдя к майору, – он не сдастся – я его знаю. А если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.

– Погодите, – сказал я майору, я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить, и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.

– Ах ты окаянный! – кричал есаул. – что ты, над нами смеешься, что ли? али думаешь, что мы с тобой не совладаем? – Он стал стучать в дверь изо всей силы, я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, – и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки; казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уж связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли – точно, было с чем!

После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера – напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает.

Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

– Да-с! конечно-с! Это штука довольно мудреная!.. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны: приклад маленький, того и гляди, нос обожжет... Зато уж шашки у них – просто мое почтение!

Потом он примолвил, несколько подумав:

– Да, жаль беднягу... Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано...

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений.

Конец

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ

(1809–1852)



«Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что в те годы, когда я стал задумываться о моем будущем мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра» – так размышлял о своем высоком призвании Гоголь в «Авторской исповеди» (1847).

Этот загадочный человек и яркий художник родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского, образованного украинского помещика, сочинявшего комедии из народной жизни. Мать его, Мария Ивановна, была женщина властная и глубоко религиозная. Детство маленького Никоши протекало в имении Васильевка по соседству с таинственной Диканькой, пугающей своими дикими лесами (отсюда и произошло название). Мальчик рос серьезным и задумчивым, любил слушать казацкие песни и уже в пятилетнем возрасте пробовал писать стихи.

В 1818 году Николая отдали в Полтавское уездное училище, а в 1821 оду он поступил в привилегированную Нежинскую гимназию высших наук. Поводом к смене места учебы стало трагическое событие в семье Гоголя. «Смерть младшего брата Ивана до того поразила отрока Гоголя, что его были принуждены отвезти в нежинский лицей, чтоб отвлечь его от могилы брата», – вспоминал друг писателя Г.П. Данилевский.

В Нежине Гоголь начинает заниматься литературой и живописью, пишет стихи, сатиры и поэмы, участвует в издании рукописных журналов и школьных спектаклях, увлекается Шиллером,

создает романтическую поэтому идиллию «Ганц Кюхельгартен». В одном из «нежинских» писем к матери Гоголь сообщал: «Думаю, удивитесь вы успехам моим, которых доказательства лично вручу вам. Сочинений моих вы не узнаете: новый поворот настигнул их. Род их теперь совершенно особенный». Окончив в 1828 году гимназию с чином коллежского регистратора, Гоголь возвращается в родную Васильевку и в декабре вместе с А.П. Данилевским едет в Петербург поступать на службу.

В столице начинающий писатель решает целиком посвятить себя литературе и пытается познакомиться с Пушкиным (встреча писателей состоялось позже, в мае 1831 года). В 1829 году Гоголь опубликовал в журнале первое свое стихотворение «Италия», а затем и поэму «Ганц Кюхельгартен» отдельной книгой под псевдонимом В. Алов, начал собирать материалы для «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Прочитав отрицательные отзывы критиков о своей поэме. Гоголь сжег все ее непроданные экземпляры и неожиданно уехал в Германию, откуда писал почтительные письма матери, извиняясь за свой «побег».

По возвращении в столицу он пытался поступить в театр актером, но после неудачного предварительного просмотра отказался от актерского поприща в пользу государственной службы, поступив писцом в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел.

В 1830-е годы Гоголь продолжает свои литературные занятия, общается с Жуковским и Дельвигом, а потом и с Пушкиным, в «Отечественных записках» появилась его первая малороссийская повесть «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала». Он занимается живописью в Императорской Академии художеств, начинает давать частные уроки и преподавать историю. В 1831 году вышла первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а затем последовала и вторая. Книги имели огромный успех и были быстро распроданы. Пушкин откликнулся на это литературное событие в одном из своих писем: «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность».

В 1833 году Гоголем начаты повести, вошедшие в сборник «Миргород», и прежде всего «Тарас Бульба», принесший автору славу творца героического эпоса. В следующем году Гоголь при-

ступает к работе над комедиями и статьями, а также завершает «петербургские» повести («Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего») . В начале 1835 года вышли в свет сборники «Арабески» и «Миргород» тогда же написаны повесть «Нос» и комедия «Женитьба», начаты «Мертвые души». В конце года была закончена комедия «Ревизор», а 19 апреля 1836 года состоялась ее премьера в Александринском театре, на которой присутствовал Николай I, воспринявший пьесу благосклонно. Царь смеялся от души и сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!» И послал своих министров смотреть «крамольную» комедию.

Известность Гоголя растет: он начинает публиковаться в пушкинском «Современнике» (повесть «Коляска», сцена «Утро делового человека»). В июне 1836 года он отправляется за границу. «...Нынешнее мое удаление из отечества послано свыше, тем же великим провидением... ниспославшим все на воспитание мое. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни», – писал Гоголь В.А. Жуковскому. В Швейцарии и Париже была продолжена работа над «Мертвыми душами», начавшаяся в 1835 году. Писатель по представлению Жуковского получил денежное пособие от императора, что позволило ему жить и заниматься литературным трудом в Европе до осени 1839 года. После трагической кончины Пушкина современники связывают свои надежды с именем Гоголя, видя в нем достойного преемника ушедшего гения. «Вы у нас теперь один, – писал В.Г. Белинский Гоголю, – и мое нравственное существование, моя любовь к отечеству тесно связаны с вашей судьбой; не будь вас, – и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни нашего отечества...»

Вернувшись в Россию, Гоголь познакомился с В.Г. Белинским М.Ю. Лермонтовым, читал публично свои новые произведения. Весной 1840 года писатель едет в Италию; в Риме он завершает первый том Мертвых душ». «Труд мой велик. Мой подвиг спасителен. Я умер теперь для всего мелочного...» – так сам автор определил значение своего труда в одном из писем. Осенью 1841 года Гоголь привез рукопись и Россию и пытался ее издать, но встретил серьезные цензурные затруднения. Благодаря помощи влиятельных друзей, в 1842 году «Похождения Чичикова, или Мертвые души» вышли в свет, вызвали восторг Белинского и вскоре «потрясли всю Россию». Но цензурных «потерь» избежать все же не удалось: из поэмы

была изъята вставная «Повесть о капитане Копейкине». Добившись выхода книги, Гоголь вновь уехал за границу – в Германию, а затем в Италию. В этом же году в Александринском театре состоялась премьера его комедии «Женитьба», которая приумножила славу Гоголя-драматурга.

1843 год начался с выхода четырехтомных «Сочинений» Гоголя. В этот период писатель трудится над вторым томом «Мертвых душ», постоянно общается с живущим в Германии В.А. Жуковским. Работа над продолжением поэмы шла трудно. «Я умру с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения», – писал Гоголь в 1843 года из Рима. Ухудшающееся состояние здоровья и творческий кризис подтачивали силы художника. Во Франкфурте в 1845 году впавший в меланхолию писатель сжег первую редакцию второго тома «Мертвых душ» и написал завещание. «И душе, и телу моему следовало выстрадаться. Без этого не будут «Мертвые души» тем, чем им быть должно», пишет Гоголь в письме. В Риме Гоголь возобновил работу над своей главной книгой.

В Италии он прочитал и высоко оценил «Бедных людей» молодого Ф.М. Достоевского, а в 1846 году написал публицистическую книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», где высказал созвучную Достоевскому идею усовершенствования общества на духовных началах. В следующем году она вышла, вызвав бурю полемики и знаменитое письмо Белинского, упрекнувшего Гоголя в отходе от прежнего критического направления в творчестве.

Между тем Гоголь в «Выбранных местах...» задается важнейшим, роковым» для многих художников вопросом: может ли литература влиять на нравственное состояние общества? По мысли писателя, подлинным произведением писателя должно стать не обнажение социальных пороков, а утверждение идеи «самосозидания» личности в ее следовании нравственному долгу.

В 1848 году Гоголь совершает паломничество в Иерусалим и оттуда через Константинополь возвращается на родину. Пожив в Васильевке и Петербурге, писатель поселился в Москве в доме графа А.П. Толстого на Никитском бульваре, где вновь обдумывал и писал второй том «Мертвых душ». Духовным отец Матвей Константиновский советовал Гоголю «написать что-нибудь о людях добрых», т.е. отказаться от позиции обличителя людских пороков. В 1849 году Гоголь читал публично главы второго тома поэмы, слушал в автор-

ском исполнении комедию молодого А.Н. Островского «Банкрот» (начинающий драматург получил его одобрительный отзыв).

В 1850 году Гоголь пытается завершить второй том «Мертвых душ», однако из-за нездоровья работа над книгой приостанавливается. Летом того же года писатель, ища духовной поддержки, совершает паломничество в монастырь, а затем уезжает на Украину. В 1851 году Гоголь вернулся в Москву, посетил монастыри, был на постановке «Ревизора» в Малом театре.

В 1852 году Гоголь известил друзей, что второй том поэмы закончен.

Между тем душевный кризис возрастал, мрачное состояние души тяготило писателя, он слабел, все чаще думал о смерти. Гоголь в ночь с 11 на 12 февраля сжег свои бумаги, включая беловую редакцию второго тома «Мертвых душ» (сохранились лишь неполные пять глав чернового варианта текста). В этом трагическом жесте художника выразились его сомнения в плодотворности и полезности своего труда.

21 февраля измученный, истощенный бесплодными заботами медиков Гоголь скончался (последние его слова: «Как сладко умирать!»). Писатель был похоронен на кладбище в Москве; в 1931 году его прах перенесен на Новодевичье кладбище. Полвека спустя писатель и философ В.В. Розанов заметит: «При бесспорной искренности его творений, к которым мы так мало имеем окончательною «ключа», остается думать, что Гоголь принадлежал к тем редким мятущимся и странным натурам, которые и сами от себя не имеют «ключа». «Посланец божий» – вот ему и всем таким имя».

Жизнь Гоголя полна загадок и «белых пятен». Всю жизнь свою он провел в дороге, не имея собственного дома и семьи, и лучшие свои книги написал за границей, глядя на родную Русь из «прекрасного далека». В творчестве Гоголя нашли свое отражение различные грани русского национального характера, явленного и на фоне исторического прошлого, и в современной писателю действительности.

Ранние повести Гоголя, составившие цикл **«Вечера на хуторе близ Диканьки»** (1831–1832), созданы на основе украинских народных преданий, в которых соседствуют ужасное, фантастическое («Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» и «Страшная месть») и веселое, смешное («Сорочинская ярмарка», «Ночь перед Рождеством»). В рассказах пасечника

Рудого Панька предстало «племя, поющее и пляшущее» (Пушкин), прозвучали народные легенды и анекдоты, нашли свое яркое отображение картины малороссийской природы. В сборнике повестей **«Миргород»** (1835) с мрачной, колоритной «диканьковской» фантастикой «Вия» соседствует грустно-идиллическая история жизни старосветских помещиков, передающая поэзию трогательной взаимопривязанности «простых сердец». За легендарно-эпическим «Тарасом Бульбой», поведавшим о далеком «бранном времени», следует повесть о двух Иванах и их нелепой, мелочной, недостойной наследников героического Бульбы ссоре и смешной вражде, которая венчается знаменитой финальной фразой: «Скучно на этом свете, господа!»

Комедия **«Ревизор»** (1836), ставшая важной вехой в творческой биографии Гоголя, вновь продемонстрировала способность художника прозревать истину сквозь рутину мелочной повседневности. Расхожий анекдот о том, как в уездном городе приняли «вертопраха» за важного человека, обращается в грустное раздумье о несовершенстве жизни, о подлинном призвании человека. Страх чиновников, обретающий свое «наполнение» в ничтожном Хлестакове, выявляет духовную ущербность героев, разворачивает драму неспокойной совести. «Не с Хлестаковым, но с настоящим ревизором оглянем себя!» – призывает автор комедии.

В «петербургских» повестях, написанных в середине 1830-х годов и частично вошедших в сборник «Арабески», Гоголь развивает тему маленького человека», продолжая традиции прозы Пушкина и Карамзина. Герои гоголевских повестей – скромные представители «срединной» столичной массы. Это бедный художник Пискарев **(«Невский проспект»)**, незаметный канцелярский труженик Башмачкин **(«Шинель»)**, мелкий чиновник Поприщин **(«Записки сумасшедшего»)**. Их судьбы складываются трагично, что является следствием бездушия и пошлости окружающего мира: в недрах большого города не слышен голос одинокого человека и его чаяниям и мечтам не суждено сбыться. Даже достигшим определенного положения и успеха в обществе не дано почувствовать себя счастливыми. Зыбким и призрачным оказывается внешнее благополучие самодовольного майора Ковалева из повести **«Нос»**: с потерей «фасадной» части лица исчезает привычная устойчивость мира и обнажается его бесчеловечная изнанка («Все переворотилось в его

глазах»). Еще печальнее участь талантливого художника Чарткова (**«Портрет»**), утратившего свой дар в погоне за легким успехом и материальным благополучием. Сюжеты «петербургских» повестей явили собой типичный для Гоголя сплав реальности и фантастики, прозаического бытописания и романтической иронии.

Изображая судьбы и характеры современных ему людей, Гоголь задумывается о необходимости создания крупного эпического произведения, которое вобрало бы в себя весь жизненный и творческий опыт писателя. Этим итоговым, вершинным произведением Гоголя стала поэма **«Мертвые души»**, работу над которой писатель начал еще до написания «Ревизора». В свое время Белинский, отмечая дебют начинающего писателя, выразил уверенность в его будущей славе: «Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким». Первый том «Мертвых душ» явился очевидным подтверждением мнения авторитетного критика: русская культура первой половины XIX века обогатилась эпосом, довершившим общую картину жизни дореформенной Руси и наметившим перспективы развития русской социально-философской прозы.

Поэма «Мертвые души»

По дошедшим свидетельствам, идея главного гоголевского труда была подсказана автору Пушкиным (речь идет о сущности аферы с покупкой «мертвых душ» – умерших крестьян, числившихся в помещичьих бумагах живыми вплоть до очередной ревизии). Из этого авантюрного «сюжетного зерна» вырос грандиозный замысел сродни великой «Божественной комедии» Данте, повествующей о загробном царстве и трех вечных его пространствах Аде, Чистилище и Рае. Подобный «трехмирный» принцип изображения Гоголь намеревался соблюсти в своей трехтомной поэме: ему хотелось показать преисподнюю» российской жизни, провести героев через духовное очищение и, наконец, указать им путь к идеалу. Однако писателю удалось реализовать лишь первую часть замысла.

Что имел в виду Гоголь, отнеся свое прозаическое творение к жанру *поэмы*? Поначалу он называл эту книгу романом, но затем остановился на поэме – «меньшем роде эпопеи», в котором через малое, локальное, явлено большое, значительное. В итоге в оригинальном гоголевском произведении слились жанровые признаки и

плутовского романа (похождения авантюриста Чичикова), сатирической и лирико-исповедальной прозы («Все мои последние сочинения история моей собственной души», – писал Гоголь). Определив жанр произведения, автор решил для себя важнейшие задачи изображения жизни в рамках «малого» эпоса. Прежде всего это выбор героя, «ведущего» читателя по дорогам Руси: Гоголь предпочитает «невидное» лицо – «частного» человека, чьи похождения позволяют заглянуть в укромные уголки русской жизни, познакомиться с представителями различных слоев общества («И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь… »). Столь масштабный замысел требовал от автора выбора определенной формы повествования, позволяющей развернуть движущиеся картины русской действительности. Такой формой является путешествие, дающее читателю возможность знакомства с длинной вереницей персонажей, населяющих «срединную» Русь:«В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица! Разом и вдруг окунемся в жизнь со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками...»

Не менее важным является само соотношение автора и героя в общей канве повествования: автор заявляет о себе как о бесстрастном летописце предлагаемых событий и одновременно выступает как некое лирическое «я». Это очевидное противоречие делает гоголевскую поэму неповторимым образцом соединения эпоса и лирики, внешнего и внутреннего постижения великого пространства Руси: «Русь! Чего же хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня ожидания очи?..»

«Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным...» Появление в губернском городе NN господина Чичикова дает скромную завязку «малому» эпосу, герой которого ничем не напоминает персонажей классических поэм, воспевающих «высокие» характеры.

Любопытно само стечение «случайных» персонажей в начальном эпизоде первого тома поэмы: перед нами предстают «два русские мужика», обсуждавшие достоинства рессорной брички незнакомца, и некий щеголь «с покушениями на моду», являющийся своеобразным отражением иного, «верхнего» слоя русской жизни. Все событие описано с характерной для Гоголя иронией, задающей общий тон повествованию.

Мир гоголевской поэмы – *художественный,* т. е. особенный, замкнутый, живущий по своим законам сатиры и гротеска, вызывающий веселый смех и обнажающий «невидимые миру слезы», т. е. отмеченную еще Пушкиным неизбывную грусть о несовершенном человеке, показывающий «хотя бы с одного боку», т. е. с определенной, неприглядной стороны, всю Русь.

В центре гоголевской книги – скованный деспотизмом, формализмом, взяточничеством и «неправдой черной». Город, вокруг которого разбросаны помещичьи усадьбы и деревни с крепостными крестьянами. Ловкий мошенник Павел Иванович Чичиков своей «фантастической» идеей покупки мертвых душ соединяет этих разных людей и их маленькие обжитые миры в единый образ России в ее нынешнем, духовно «раздробленном» состоянии.

Город, в который наносит визит Чичиков, пестрит нелепыми вывесками, поражает «несовершенством» дорог и сомнительным комфортом гостиницы для проезжающих. («...Гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение...»). Но главная его достопримечательность» – губернский высший свет, в который спешит попасть оборотистый Чичиков: «Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами и там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета». Это суетное мельтешение завсегдатаев обедов и вечеринок лишено подлинных жизненных движений, уподоблено воздушному эскадрону назойливых насекомых. Пустота и пошлость городского бомонда представлены и на «портретном» уровне: губернатор, слывущий «добрым малым» и вышивающий по тюлю, полицеймейстер, опекающий мошенников, прокурор с постоянно подмигивающим глазом и почтмейстер – «остряк и философ». Город NN, как и многие российские города той эпохи, являет собой некое «царство» чиновников, исповедующих единую «религию» – не упустить того, что плывет в руки. В этом отношении особенно колоритны фигуры канцелярских служащих, таких, как Иван Антонович по прозвищу «кувшинное рыло», доведший до совершенства методику вымогательства «поощрений» за свои скромные услуги. Описание казенной палаты, в которую отправляются для оформления купчей Чичиков и Собаке-

вич, по-гоголевски неожиданно соотнесено с «Божественной комедией» Данте: «...Один из священнодействующих <...> приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Вергилий прислужился Данте, и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла и в них перед столом, за зерцалом и двумя толстыми книгами, сидел один, как солнце, председатель».

Вся эта «вертикаль» чиновничьего бытия живет однообразными, заведенными ритмами паразитического существования. И лишь ломающее эту привычную жизненную схему вторжение Чичикова с его необычной «негоцией» способно всколыхнуть этот призрачный мир «толстых и тонких» любителей обедов и развлечений.

Герои романтических поэм страдали от собственного несовершенства, от невозможности воплотить свои высокие идеалы в «низкой» реальности. Персонажи «Мертвых душ» далеки от какого-либо душевного страдания и мучительных сомнений, ничтожны и пошлы их «идеалы» – чины, деньги (и в том числе ловко выманиваемые взятки), удовлетворенное самолюбие, мелкие бытовые удовольствия, балы, карты, наряды, сплетни. Души городских обывателей омертвели, чужды живых интересов, порывов к высокому и прекрасному, любви и добру. И населенный ими гоголевский Город – отдельный живой сатирический образ. Собранный из множества типичных черт русских губернских центров, этот Город самодоволен, суетен, ничтожен, т. е. обладает всеми признаками мертвенной «закатной» цивилизации.

Писатель не жалеет сатирических красок, рисуя портреты своих персонажей. Над ними много смеялись, считали масками, называли уродами и живыми карикатурами. Но ведь сам автор поэмы видел в своих несовершенных героях прежде всего живых людей и жалел их. «И в паденье своем гибнущий грязный человек требует любви к себе...Животный ли инстинкт это? Или слабый крик души, заглушённой тяжелым гневом подлых страстей, еще пробивающийся сквозь деревенеющую кору мерзости, еще вопиющий: «Брат, спаси»!» – писал Гоголь в черновиках второго тома «Мертвых душ». С особой силой этот авторский взгляд на человека выразился в образах помещиков, составивших портретную галерею «безответных,

мертвых обитателей, страшных недвижимым холодом души своей и бесплодной пустыней сердца». Само расположение портретов в этой галерее отнюдь не является случайным. Иерархию следования образов можно рассматривать с разных точек зрения. Здесь заложен и хозяйственно-бытовой принцип чередования «расточителей» и «накопителей», и логика нарастающего «расчеловечивания» персонажей, и тенденция к возрастанию захватившей человека порочной страсти – «задора», которого нет у открывающего помещичий список Манилова. Вместе с тем каждый отдельно взятый портрет – это сатирический шедевр, свидетельствующий о необыкновенном мастерстве Гоголя-художника.

Первый помещик, к которому приезжает на своей тройке Чичиков, – это Манилов. Его отрицательные черты выявляются сразу, еще в городе, и всем известны. Но сам Гоголь видел в своем персонаже иное: «Манилов, по природе добрый, даже благородный, бесплодно прожил в деревне, ни на грош никому не доставил пользы, опошлел, сделался приторным своею добротою...» Манилов не только добр, но и по-своему благороден (не взял с Чичикова деньги за мертвых крестьян и оплатил совершение сделки), любит жену и детей. Но любовь и доброта эта в деревенской бездеятельности приобретают неискренность, слащавую приторность (этот помещик в речах и жизни пользуется худшими штампами ушедшей литературы сентиментализма). Бесхарактерно добродушного Манилова вечно обманывают и обворовывают – и хитрый приказчик, и ленивые крестьяне.

Уже при виде его помещичьего дома, выстроенного как замок на горе и открытого всем ветрам, хилого английского сада с беседкой и серых изб без следа зелени, неубранных комнат, кабинета, где на столе года два назад на четырнадцатой странице открыта книжка и сложен аккуратными горками выкуренный табак, становятся очевидны вопиющая непрактичность и бесплодная мечтательность хозяина. «Планы» Манилова по возведению каменного моста с лавками, как в далекой Флоренции, и прорытию подземного хода от дома неизвестно куда неисполнимы и нелепы (слово «маниловщина» стало в русском языке нарицательным, как и его витиеватое выражение «именины сердца»). В том же духе воспитываются и скудно образованные сыновья Манилова, а ведь старшего из них родители прочат в послы! Так бесцельно и нелепо протекает мечтательное

деревенское «препровождение времени», в которое превратилась человеческая жизнь.

Гоголь понимал, что жизнь и характер человеческий строятся на контрастах. Насколько непрактичен Манилов, настолько основательна, крепка бытовым умом и опытом поколений немолодая помещица Настасья Петровна Коробочка, к которой случайно попадает заблудившийся в ночную непогоду Чичиков. Этот образ бережливой «матушки-помещицы», хорошо знакомый автору-повествователю, охарактеризован метко и психологически убедительно: «...плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки...»

Коробочка оказывается гостеприимной и весьма заботливой: замечательна предложенная гостю кровать с пышными пуховыми перинами, куда усталый, намерзшийся в дороге Чичиков в блаженстве проваливается и мгновенно засыпает. Хозяйство Коробочки поражает невероятным числом домашней птицы, обработанными садами и огородами, ухоженными крестьянскими избами. Церковь местная хотя и небогата, но поддерживалась в порядке, службы в ней отправлялись исправно (об этом сказано в черновиках книги). Таково благоустроенное «царство» Коробочки. А вкуснейшие и свежайшие деревенские кушанья, выставленные ею на стол для гостя, составляют целую кулинарную поэму, возбуждающую аппетит героя и читателя.

С этой крепкой хозяйкой герой и начинает свой странный торг. Тут-то и выясняется, что практичная Коробочка непроходимо глупа, крайне ограниченна и недоверчива; ее мнительность и губит в конце концов аферу Чичикова. Взамен непонятного ей «товара» она предлагает мед, сало, пеньку и прочие полезные и качественные продукты своего хозяйства. Хозяйством и исчерпывается вся жизнь этой помещицы, одинокой, необразованной и фантастически упрямой («Эк ее, дубинноголовая какая!» – сказал про себя Чичиков...). Непонятно, для кого и для чего она все это делает, зачем так трудится и старается с утра до вечера в доме и на дворе. Здесь, как и в мечтательной бесхозяйственности Манилова, нет плодотворной жизненной цели.

Примечательно, что Гоголь считает сам тип и характер Коробочки весьма распространенным на Руси: «Иной и почтенный и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Ко-

робочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, всё отскакивает от него, как резинный мяч отскакивает от стены». Неудивительно, что после изнурительного разговора с упрямой и туповатой Коробочкой терпеливый и обходительный Чичиков впадает в ярость, («хватил в сердцах стулом об пол»), а автор сравнивает полуграмотную помещицу со светской женщиной, занятой лишь собой, балами и магазинами, салонной суетой и модными пустяками и забросившей семью и хозяйство. Получается, что провинциалка Коробочка не хуже этой легкомысленной столичной дамы и даже, может быть, лучше, ибо все содержит в порядке и даже приносит пользу, поставляя на рынок плоды своего хозяйства. Этот житейский парадокс удивляет Гоголя: «Веселое мигом обратится в печальное». Но самое печальное в его книге еще впереди.

Самый «заметный» персонаж в «Мертвых душах» – помещик Ноздрев, полный, «лет тридцати, разбитной малый», «черномазый», шумный, всегда веселый, свежий, с черными, как смоль, бакенбардами. Этот легкомысленный гуляка и хвастун пышет здоровьем,от него веет простодушной самовлюбленностью и бесшабашной удалью. Сама фамилия персонажа говорит о природном чутье к картежной игре, выпивке и скандалу, ярмаркам и балам. Ноздрев не просто заурядный враль, он вдохновенный «поэт» забавной и очевидной лжи, на ходу импровизирующий свои затейливые армейские выдумки и анекдоты. Он «исторический человек», так как все время попадает в истории, нередко заканчивающиеся потасовками («один бакенбард был... меньше и не так густ, как другой»). Автор называет его «человек дрянь», и он подтверждает эту репутацию бесцеремонно хамским обращением с Чичиковым, ежеминутной ложью и готовностью к предательству.

В отличие от «птичницы» Коробочки, Ноздрев держит в имении псарню, которая является главной его «достопримечательностью». Хвастливые рассказы о природном изобилии поместья и самодовольная демонстрация различных вещей подкрепляются плохим обедом с поддельными винами. Завершается встреча знаменитой сценой игры в шашки и лихим нападением подвыпившего разгневанного хозяина на перепуганного гостя. Потом, как мы помним, именно Ноздрев вместе с Коробочкой погубит «негоцию» Чичикова своей болтовней.

От легковесного лжеца, ярмарочного кутилы и опасного безобразника Ноздрева Чичиков попадает в основательный мир «кулака» Собакевича. Характер человека, тип личности помещика характеризуется автором через его крепкую усадьбу, дом, мебель (бюро, похожее на медведя), картины и гравюры, изображающие могучих героев, и т.п. В мире Собакевича все неуклюже и тяжеловесно, но крепко сколочено надежно – полная противоположность плюшкинской мрачной разрухе и ноздревскому зыбкому миру вранья и мелкого мошенничества. Дом и постройки сделаны из каких-то вековых бревен, даже колодец срублен из корабельного дуба. Все пребывает в тяжеловесном порядке, в том числе и крестьянские избы. Сам Собакевич – хитрый человек кулак, «себе на уме», опытный хозяин, внешне похожий на медведя (даже зовут его Михаилом Семеновичем). «Казалось, в этом теле совсем не было души», – замечает автор, еще раз напоминая нам о значимости названия своей поэмы. Недоброжелательство подозрительного Собакевича по-своему «уравновешивает» в поэме слащавые расхваливания Манилова.

И вдруг, говоря Чичикову о своем «товаре», неуклюжий медведь и грубый ругатель преображается, начинает расхваливать силу, талант и прочие добродетели умерших крестьян. В его нескладной речи неожиданно проступает своеобразная поэзия, вырывается несвойственный ему пафос (с его уст слетает даже легкое и красивое слово «мечта»). Да, он по-своему хитрит, желая выгоднее продать запрашиваемые Чичиковым души, но, как крепкий хозяин, он знает и ценит достоинства своих крестьян-тружеников. В этом отношении и в Собакевиче проглядывает что-то человеческое, к сожалению лишь оттеняющее главную, «кулацкую» сущность натуры помещика.

Примечательно, что надежный Собакевич, в отличие от компанейского Ноздрева, не выдаст Чичикова во время городского скандала и его публичного разоблачения, в нем нет «нежного расположения к подлости», которое замечено у жеманных городских дамсплетниц. Он по-своему любит свою худощавую, непохожую на него самого Феодулию Ивановну, называя ее ласково «душенькой». Перед нами не карикатура, а реальный человеческий характер.

Самое печальное, мрачное место в круге скитаний мошенника Чичикова – некогда богатое имение помещика Плюшкина, разоренное патологической скупостью хозяина. Разруха и запустение, распад и гибель дворянской семьи, нищета и ненависть крестьян к

помещику показывают, как глубоко пала и омертвела душа некогда бережливого и разумного семьянина, мудрого хозяина. «Еще не так страшно для молодого, ретивый пыл юности, гибкость не успевшей застыть и окрепнуть природы, бурлят и не дают мельчать чувствам, – как начинающему стареть, которого нечувствительно обхватывают совсем почти незаметно пошлые привычки света, условия, приличия без дела движущегося общества, которые до того, наконец, все опутают и облекут человека, что и не останется в нем его самого, а кучка только одних принадлежащих свету условий и привычек. А попробуешь добраться до души, ее уже и нет. Окременевший кусок и весь уже превратившийся человек в страшного Плюшкина, у которого если и выпорхнет иногда что похожее на чувство, то это похоже на последнее усилие утопающего человека», – писал Гоголь в черновиках поэмы.

В доме Плюшкина все указывает на «погребение» живущего в нем человека («С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столах»). Особенно выразительна одна деталь – «часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину». Время остановилось для этого человека, потерявшего нормальный облик и превратившегося в «прореху на человечестве». Но в его разрушенном и обнищавшем имении вольно растет живописный старый сад, где всесильная природа мудро исправила все бездумные безобразия и недосмотры владельцев. Так тонко, поэтично высказана надежда Гоголя на возрождение падшей души. Да и на высохшем лице очерствевшего скупца вдруг является какой-то светлый отблеск воспоминания о былом, о дружбе и юности. Он даже по-своему соблюдает закон русского гостеприимства. Друг Гоголя критик С.П. Шевырев указал, что в человеческом характере доброе и злое всегда соединены: «В Плюшкине, особенно прежнем, раскрыта глубже и полнее эта общая человеческая сторона, потому что поэт взглянул на этот характер гораздо важнее и строже. Здесь на время как будто покинул его комический гений иронии, и фантазия получила более простора».

«Удивительная книга, горький упрек современной России, но не безнадежный... Есть слова примирения, есть предчувствия и надежды будущего полного и торжественного, но это не меша-

ет настоящему отражаться во всей отвратительной действительности. Тут, переходя от Собакевичей к Плюшкиным, обдает ужас, с каждым шагом вязнете, тонете глубже. Лирическое место вдруг оживит, осветит и сейчас заменяется опять картиной, напоминающей еще яснее, в каком рву ада находимся... а слова веселого автора раздаются. «Мертвые души» – поэма глубоко выстраданная. Это заглавие само носит в себе что-то наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские – мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы... – вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу», – писал А.И. Герцен, прочитав первый том поэмы.

Вместе с тем было бы ошибочным воспринимать гоголевскую поэму только как сатиру на поместное дворянство и городских чиновников. Не лучшим образом выглядит и крепостная деревня с ее традиционной нищетой, тяжелым пьянством, всеобщей ленью, дремучей бестолковщиной, воплотившейся в старательных дяде Митяе и дяде Миняе, измучивших своей нелепой «помощью» и без того загнанных лошадей. Вспомним разговор двух «философов» из народа о колесе чичиковской брички, дворовую девчонку Пелагею, не знающую, где право и лево. Вспомним и косноязычного мужика, разъясняющего Чичикову, как проехать к Манилову, а также чичиковского слугу Петрушку, читающего книги ради самого процесса складывания слов... Все эти комические фигуры по-своему дополняют мир гоголевской Руси, указывают на явные следы разложения и омертвения в крестьянской среде. Но именно здесь, в толще народной жизни, особенно заметны сложные, неоднородные процессы, составляющие сущность исторического движения нации. Мужик задавлен, оглуплен косным бытом своих хозяев, но не утратил способности различать собственных праведников и «небокоптителей» и даже судить народным судом безнравственных «хозяев жизни»: «...Казенные крестьяне сельца Вшивая-спесь, соединившись с таковыми же крестьянами сельца Боровки, Задирайлово тож, снесли с лица земли будто бы земскую полицию в лице заседателя, какого-то Дробяжкина...» (вспомним сцену крестьянского самосуда в радищевском «Путешествии из Петербурга в Москву»).

В поэме есть и народный мститель, «русский Робин Гуд» капитан Копейкин, история которого вслед за пушкинской «Капитанской дочкой» поднимает проблему истоков и последствий «русского бунта». Народ не безответен и не бездуховен, в нем по-прежнему таится

та великая сила, которая способна вырваться наружу независимо от социальных условий или воли власть имущих (вспомним чичиковского кучера Селифана, мысли которого недоступны и неподвластны барину). Своеобразным гимном жизнеспособности и глубины народного духа звучит авторское отступление в конце 5 главы: «... Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы ипод самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово». Именно внутренний, духовный строй русской жизни является для автора поэмы главным объектом художественного изображения. Гоголь не противопоставляет дворянство и крестьянство, город и деревню, он создает емкий и многоликий образ единой России. Да, здесь ощущается гоголевская сатира во всей ее проникающей силе, но даже пылкий и увлекающийся критик В.Г. Белинский, пытавшийся (тщетно) сделать из истово религиозного автора книги революционного демократа, признал: «Нельзя ошибочнее смотреть на «Мертвые души» и грубее понимать их, как видя в них сатиру».

Гоголь – не Салтыков-Щедрин, и книга его – не только бичующая жизнь, страну и людей социальная сатира. Сам автор писал: «Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». Его темы и цели другие – человек, душа, нравственность, высокие идеалы, падение и возрождение личности, народа, страны. Но как же можно было назвать поэмой книгу, где герои – Плюшкин и Собакевич? Однако поэт Н.А. Некрасов с полным основанием говорил, что у Гоголя всюду, даже в мокрых галках на заборе, есть поэзия, лиризм: «Это-то и есть настоящая, великая сила Гоголя. Все неотразимое влияние его творений заключается в лиризме, имеющем такой простой, родственно слитый с самыми обыкновенными явлениями жизни – с прозой – характер, и притом такой русский характер!»

Особенного внимания заслуживает личность приобретателя Чичикова, являющегося своеобразным «проводником» гоголевского сюжета. Его социальная принадлежность вызывает сомнения: бывший чиновник и «херсонский помещик», Чичиков одновременно нечто новое, до конца не познанное ни персонажами поэмы, ни читателями. Истоки его «приобретательского» дара раскрываются лишь в XI главе, когда автор наконец решает подробнее представить прошлое своего героя и высказать до конца свое отношение к нему.

«...Пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово «добродетельный человек» <...> Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!» Этот авторский посыл ясно обозначает отношение повествователя к своему герою, ранее обрисованному с изрядной долей иронии (достаточно вспомнить его любование округлостью своего подбородка или вынужденное «купание» в грязи по дороге из Маниловки). С детства научившийся «копить копейку», Чичиков наделен всеми необходимыми качествами антигероя. К ним можно отнести внешнюю безликость, играющую на руку мошеннику, который стремится быть не запоминаемым и неприметным. К этому добавляется удивительное чичиковское хамелеонство, способность к перевоплощению в зависимости от обстоятельств (достаточно сравнить его поведение и манеры в диалогах с Маниловым и Коробочкой). Чичиков бездуховен, одержим лишь одной идеей – стать «миллионщиком», обрести покой и достаток. Это человек одной страсти, одного порыва, обращающего человека с сердцем и душой в «рыцаря копейки». Этот «умный, любезный и дельный» человек (так его охарактеризовали чиновники города NN!) является ярким выразителем морали наступающего «железного века» – буржуазной эпохи. Скупая мертвые души как выгодный, дающий рост «товар», Чичиков вовсе не задумывается о моральной стороне своей «негоции»: ведь речь идет о циничном манипулировании понятиями мертвого и живого, вечного и сиюминутного:

Но позвольте, – сказал наконец Чичиков <...> – зачем вы перечисляете все качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это все народ мертвый <...>

Да, конечно, мертвые, – сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые. Души умерших Чичиков вновь превращает в крепостной товар, и в этом «предприятии» отчетливо сквозит кощунственное пренебрежение к тайне смерти. Вот почему перепуганные чиновники готовы видеть в Чичикове разбойника и даже антихриста. В контексте идеи первого тома поэмы герой вполне вписывается в картину современного «ада».

Но так ли уж духовно безнадежен «миллионщик» Чичиков? Ведь автор намеревался «провести» его через «чистилище» II и III тома поэмы! Признаки живой души едва проглядывают в герое, но они все же есть. Это типично русская «охота к перемене мест», не-

которая сентиментальность (внимание к хорошенькой дочке губернатора), чувство национальной общности (душевный «разговор» с мужичками из списка Собакевича) и даже любовь героя к быстрой езде («И какой же русский не любит быстрой езды?»), сближающая его с автором. В этих ростках надежды на возможное возрождение заблудшей души заключен великий нравственный смысл гоголевской поэмы.

«Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, которые не доверял дотоле перу, чувствуя сам незрелость его, которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни, словом – чтобы, по прочтеньи моего сочиненья, предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся на его долю, преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, также преимущественно пред всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русской человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом», – писал Гоголь.

Финал первого тома является одновременно прелюдией ко второму тому поэмы, который должен был, по замыслу писателя, наметить путь восхождения к Храму, очищения личности от всего наносного, искажающего внутреннюю сущность человека. Гоголевские «Мертвые души» – не социальный роман «онегинского» типа, в книге Гоголя нет героя своего времени, нет Онегина и Печорина, типического характера эпохи, вообще нет центральной фигуры и первостепенно важной социальной проблемы, без которых классический русский роман невозможен. Это поэма, зовущая к нравственному возрождению, к положительному «идеальному человеку». Во втором, незавершенном томе «Мертвых душ» Гоголем сказаны великие, вещие слова: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: вперед? Кто, зная все силы и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы

ему благодарный русский человек. Но веки проходят за веками; полмиллиона сидней, увальней и байбаков дремлют непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово».

Гоголь страстно желал, чтобы персонажи первого тома его поэмы духовно возродились в финале трехтомной эпопеи, верил в это как человек и художник. Но он знал Россию и русского человека, знал, какой неимоверный самоотверженный труд вседневной духовной работы всех и каждого над собой необходим для подлинного возрождения. И когда писателя спросили, воскреснут ли «мертвые души» Павла Ивановича Чичикова и других персонажей книги в финале второго тома, Гоголь загадочно улыбнулся и ответил: «Если захотят».

Вопросы:

1. Каковы основные этапы творческого пути Н.В. Гоголя? Как в произведениях писателя соединились черты реализма и романтизма?
2. Какова творческая история поэмы Гоголя «Мертвые души»?
3. Каковы сюжетно-композиционные особенности «Мертвых душ»?
4. Охарактеризуйте образы помещиков, нарисованные Гоголем в поэме. Что объединяет их и в чем их главное отличие друг от друга? Каков смысл «говорящих» фамилий героев? Кто из них выделяется из общего ряда и по каким признакам?
5. Как изображена в поэме крестьянская Русь? Над чем смеется, по какому поводу негодует и чем восхищается автор, изображая народную жизнь?
6. В чем заключается неоднозначность, неодномерность образа Чичикова? Почему именно он стал «сквозным» героем гоголевского эпоса?
7. Охарактеризуйте роль лирического начала в поэме «Мертвые души»? Каковы формы авторского присутствия в поэме? Как связаны между собой образ автора-повествователя и образ Руси?
8. К каким известным вам приемам сатирического изображения прибегает Гоголь, рисуя картины жизни губернского города, образы помещиков и крестьян, «делового человека» Чичикова? Можно ли говорить о полном отсутствии в «Мертвых душах», характерных для гоголевской сатиры, элементов фантастики?

МЁРТВЫЕ ДУШИ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Глава первая

В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, – словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой.

Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно, с салфеткой в руке, – весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галерее показывать ниспосланный ему богом покой. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выгляды-

вающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленною комодом, где устроивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бородою.

Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской березы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда все это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устроиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, так же замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.

Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы – всякий проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими,

ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою известную пару чаю; тот же закопченный потолок; та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю стену, писанные масляными красками, – словом, все то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, какие читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым – наверное не могу сказать, кто делает, бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему все это подавалось и разогретое, и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор – о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин; на что половой, по обыкновению, отвечал: «О, большой, сударь, мошенник». Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не всё пустые вопросы; он с чрезвычайною точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор, – словом, не пропустил ни одного значительного чиновника; но еще с большею точностию, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно

о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии – повальных горячек, убийственных какие-либо лихорадок, оспы и тому подобного, и все так обстоятельно и с такою точностию, которая показывала более, чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-моему, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал: не нужно ли чего? После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой нумер, где, прилегши, заснул два часа. Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: «Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям». Когда половой все еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам: сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Домы были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец Василий Федоров»; где нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: «И вот заведение». Кое-

где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее вилкою. Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконическою надписью: «Питейный дом». Мостовая везде была плоховата. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что «город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых дерев, дающих прохладу в знойный день», и что при этом «было очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику». Расспросивши подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посредине города, дорогою оторвал прибитую к столбу афишу, с тем чтобы, пришедши домой, прочитать ее хорошенько, посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее, с узелком в руке, и, еще раз окинувши все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой нумер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г. Коцебу, в которой Ролла играл г. Попльвин, Кору – девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления, потом переворотил на другую сторону: узнать, нет ли и там чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что ни попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства.

Весь следующий день посвящен был визитам; приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде; впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками… жаль, что несколько трудно упомнить всех сильных мира сего; но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов: он явился даже засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, да уж больше в городе не нашлось чиновников. В разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору намекнул как-то вскользь, что в его губернию въезжаешь, как в рай, дороги везде бархатные, и что те правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских будочников; а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статские советники, сказал даже ошибкою два раза: «ваше превосходительство», что очень им понравилось. Следствием этого было то, что губернатор сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю вечеринку, прочие чиновники тоже, с своей стороны, кто на обед, кто на бостончик, кто на чашку чаю.

О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скромностию, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что он незначащий червь мира сего и не достоин того, чтобы много о нем заботились, что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищет избрать наконец место для жительства, и что, прибывши в этот город, почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановникам. Вот все, что узнали в городе об этом новом лице, которое очень скоро не преминуло показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло с лишком два часа времени, и здесь в приезжем оказалась такая внимательность к

туалету, какой даже не везде видывано. После небольшого послеобеденного сна он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их извнутри языком; потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу два волоска и непосредственно за тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших океан. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для бала; коляска с фонарями, перед подъездом два жандарма, форейторские крики вдали – словом, всё как нужно. Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски где вразбитную, где густыми кучами Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами. Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись

во что бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из них были такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских, имели так же весьма обдуманно и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват, волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер «черт меня побери», как говорят французы, – волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а все прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать божия. У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь – и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских все отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти все знакомые лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько

подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу», – человека, впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, – которые все приветствовали его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько набок, впрочем, не без приятности. Тут же познакомился он с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу, сказавши: «Прошу прощения». Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельному. Хотя почтмейстер был очень речист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнею губою верхнюю и сохранил такое положение во все время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!», если же король: «Пошел, тамбовский мужик!» А председатель приговаривал: «А я его по усам! А я ее по усам!» Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: «А! была не была, не с чего, так с бубен!» Или же просто восклицания: «черви! червоточина! пикенция!» или: «пикендрас! пичурущух! пичура!» и даже просто: «пичук!» – названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе. По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил, но както чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: «вы пошли», но: «вы изволили пойти», «я имел честь покрыть вашу двойку» и тому подобное. Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха. Внимание приезжего особенно заняли помещики Манилов и Собакевич, о которых было упомянуто выше. Он тотчас же осведомился о них, отозвавши тут же несколько в сторону председателя и почтмейстера. Несколько вопросов, им сделанных, показали в госте не только любознательность, но и основательность; ибо прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них душ крестьян и

в каком положении находятся их имения, а потом уже осведомился, как имя и отчество. В немного времени он совершенно успел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший их всякий раз, когда смеялся, был от него без памяти. Он очень долго жал ему руку и просил убедительно сделать ему честь своим приездом в деревню, к которой, по его словам, было только пятнадцать верст от городской заставы. На что Чичиков с весьма вежливым наклонением головы и искренним пожатием руки отвечал, что он не только с большою охотою готов это исполнить, но даже почтет за священнейший долг. Собакевич тоже сказал несколько лаконически: «И ко мне прошу», – шаркнувши ногою, обутою в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают выводиться богатыри.

На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи. Там, между прочим, он познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет тридцати, разбитным малым, который ему после трех-четырех слов начал говорить «ты». С полицеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на «ты» и обращался по-дружески; но, когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замасленном, и в том числе двух каких-то дам. Потом был на вечере у вице-губернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого; на закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда. Словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть. Приезжий во всем как-то умел найтиться и показал в себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, – он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре – и в бильярдной игре не давал он промаха; говорили ли о

добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках, и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор – что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты – что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер – что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера – что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать возле худощавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицеймейстера обедал, и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!» На что супруга отвечала: «Гм!»– и толкнула его ногою.

Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нем в городе, и оно держалось до тех пор, покамест одно странное свойство гостя и предприятие, или, как говорят в провинциях, пассаж, о котором читатель скоро узнает, не привело в совершенное недоумение почти всего города.

Глава вторая

Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам и таким образом проводя, как говорится, очень приятно время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина, дело более серьезное, близшее к сердцу… Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу, венчающему дело. Кучеру Селифану отдано

было приказание рано поутру заложить лошадей в известную бричку; Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним познакомиться с сими двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что называют второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где касаются и легко зацепляют их, – но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем и с этой стороны, несмотря на то что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец. Это займет, впрочем, немного времени и места, потому что не много нужно прибавить к тому, что уже читатель знает, то есть что Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел по обычаю людей своего звания, крупный нос и губы. Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, – он всё читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит. Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновения, составлявшие две другие его характерические черты: спать не раздеваясь, так, как есть, в том же сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем, так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет десять жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый и даже в некоторых случаях привередливый, потянувши к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался да встряхивал головою, приговаривая: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли. Сходил бы ты хоть в баню». На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться какие-нибудь делом; или подходил с плеткой к висевшему барскому

фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал, – может быть, он говорил про себя: «И ты, однако ж, хорош, не надоело тебе сорок раз повторять одно и то же», – бог ведает, трудно знать, что думает дворовый крепостной человек в то время, как барин ему дает наставление. Итак, вот что на первый раз можно сказать о Петрушке. Кучер Селифан был совершенно другой человек… Но автор весьма совестится занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чинам генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на все, что ни пресмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием. Но как ни прискорбно то и другое, а все, однако ж, нужно возвратиться к герою. Итак, отдавши нужные приказания еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрою губкой, что делалось только по воскресным дням, – а в тот день случись воскресенье, – выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку. С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай сиротиньке!» Кучер, заметивши, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыснул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец; и еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся наконец по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты мо-

лодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по шнурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих шитых узорами утиральников. Несколько мужиков, по обыкновению, зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные. Проехавши пятнадцатую версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня, но и шестнадцатая верста пролетела мимо, а деревни все не было видно, и если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал:

– Маниловка, может быть, а не Заманиловка?

– Ну да, Маниловка.

– Маниловка! а как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть, так прямо направо.

– Направо? – отозвался кучер.

– Направо, – сказал мужик. – Это будет тебе дорога в Маниловку; а Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом, каменный, в два этажа, господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка, а Заманиловки совсем нет никакой здесь и не было.

Поехали отыскивать Маниловку. Проехавши две версты, встретили поворот на проселочную дорогу, но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа все еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, то значит, что к ней есть верных тридцать. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, какие только вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные

жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного размышления»; пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения, и частию по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту ж минуту принялся считать и насчитал более двухсот; нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва; бабы, казались, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то что голова продолблена была до самого мозгу носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более и более.

– Павел Иванович! – вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. – Насилу вы таки нас вспомнили!

Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжение которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размера: там просто бросай краски со всей руки на по-

лотно, черные палящие глаза нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ – и портрет готов; но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей, – эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд.

Один бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что такое!» – и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена; пятый, с желанием более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтиться на гулянье с флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым; шестой уже одарен такою рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков, – словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большею частию размышлял и думал, но о чем он думал, тоже разве богу было известно. Хозяйством нельзя сказать

чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то сделать», – «Да, недурно, – отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. «Да, именно недурно», – повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, подать заработать», – «Ступай», – говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недостало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Ввечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его… впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то, что минуло более восьми лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собою разумеется,

что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготовляемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно неизвестно из каких причин, один, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были то, что говорится, счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит немилосердым образом и повесничает все остальное время? Но все это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастия семейственной жизни, фортепьяно, для составления приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время; все это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепьяно, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уже фортепьяно. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова… но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед.

– Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после, – говорил Чичиков.

– Нет, Павел Иванович, нет, вы гость, – говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь.

– Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите, – говорил Чичиков.

– Нет уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю.

– Почему ж образованному?.. Пожалуйста, проходите.

– Ну да уж извольте проходить вы.

– Да отчего ж?

– Ну да уж оттого! – сказал с приятною улыбкою Манилов.

Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга.

– Позвольте мне вам представить жену мою, – сказал Манилов. – Душенька! Павел Иванович!

Чичиков, точно, увидел даму, которую он совершенно было не приметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была недурна, одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета; тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела; Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила, несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом и что муж ее не проходило дня, чтобы не вспоминал о нем.

– Да, – примолвил Манилов, – уж она, бывало, все спрашивает меня: «Да что же твой приятель не едет?» – «Погоди, душенька, приедет». А вот вы наконец и удостоили нас своим посещением. Уж такое, право, доставили наслаждение… майский день… именины сердца…

Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного.

– Вы всё имеете, – прервал Манилов с такою же приятною улыбкою, – всё имеете, даже еще более.

– Как вам показался наш город? – примолвила Манилова. – Приятно ли провели там время?

– Очень хороший город, прекрасный город, – отвечал Чичиков, – и время провел очень приятно: общество самое обходительное.

– А как вы нашли нашего губернатора? – сказала Манилова.

– Не правда ли, что препочтеннейший и прелюбезнейший человек? – прибавил Манилов.

– Совершенная правда, – сказал Чичиков, – препочтеннейший человек. И как он вошел в свою должность, как понимает ее! Нужно желать побольше таких людей.

– Как он может этак, знаете, принять всякого, блюсти деликатность в своих поступках, – присовокупил Манилов с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем.

– Очень обходительный и приятный человек, – продолжал Чичиков, – и какой искусник! я даже никак не мог предполагать этого. Как хорошо вышивает разные домашние узоры! Он мне показывал своей работы кошелек: редкая дама может так искусно вышить.

– А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек? – сказал Манилов, опять несколько прищурив глаза.

– Очень, очень достойный человек, – отвечал Чичиков.

– Ну, позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?

– Чрезвычайно приятный, и какой умный, какой начитанный человек! Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов; очень, очень достойный человек.

– Ну, а какого вы мнения о жене полицеймейстера? – прибавила Манилова. – Не правда ли, прелюбезная женщина?

– О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю, – отвечал Чичиков

Засим не пропустили председателя палаты, почтмейстера и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми.

– Вы всегда в деревне проводите время? – сделал наконец, в свою очередь, вопрос Чичиков.

– Больше в деревне, – отвечал Манилов. – впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, будешь все время жить взаперти.

– Правда, правда, – сказал Чичиков.

– Конечно, – продолжал Манилов, – другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое… – Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметивши, что несколько зарапортовался, ковырнул только рукою в воздухе и продолжал: – Тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей.

Но решительно нет никого… Вот только иногда почитаешь «Сын отечества».

Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединенье, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу…

– Но знаете ли, – прибавил Манилов, – все если нет друга, с которым бы можно поделиться…

– О, это справедливо, это совершенно справедливо! – прервал Чичиков. – Что все сокровища тогда в мире! «Не имей денег, имей хороших людей для обращения», сказал один мудрец.

– И знаете, Павел Иванович! – сказал Манилов, явя в лице своем выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента. – Тогда чувствуешь какое-то, в некотором роде, духовное наслаждение… Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастие, можно сказать образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговоров…

– Помилуйте, что ж за приятный разговор?.. Ничтожный человек, и больше ничего, – отвечал Чичиков.

– О! Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным: я бы с радостию отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы!..

– Напротив, я бы почел с своей стороны за величайшее…

Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово.

– Прошу покорнейше, – сказал Манилов. – Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах, у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу.

Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и наконец Чичиков вошел боком в столовую.

В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за свою суповую чашку; гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки.

– Какие миленькие дети, – сказал Чичиков, посмотрев на них, – а который год?

– Старшему осьмой, а меньшему вчера только минуло шесть, – сказала Манилова.

– Фемистоклюс! – сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался освободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку.

Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому, неизвестно почему, Манилов дал окончание на «юс», но постарался тот же час привесть лицо в обыкновенное положение.

– Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции?

Здесь учитель обратил все внимание на Фемистоклюса и казалось, хотел ему вскочить в глаза, но наконец совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклюс сказал: «Париж».

– А у нас какой лучший город? – спросил опять Манилов.

Учитель опять настроил внимание.

– Петербург, – отвечал Фемистоклюс.

– А еще какой?

– Москва, – отвечал Фемистоклюс.

– Умница, душенька! – сказал на это Чичиков. – Скажите, однако ж... – продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым, – в такие лета и уже такие сведения! Я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности.

– О, вы еще не знаете его, – отвечал Манилов, – у него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшой, Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают; побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюс, – продолжал он, снова обратясь к нему, – хочешь быть посланником?

– Хочу, – отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб и болтая головой направо и налево.

В это время стоявший позади лакей утер посланнику нос, и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемый замечаниями хозяйки о городском театре и об актерах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и, как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был

человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал по столу, устремив глаза на сидевших насупротив его детей. Это было у места, потому что Фемистоклюс укусил за ухо Алкида, и Алкид, зажмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но, почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром. Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову с словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли». На что Чичиков отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда».

Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом препроводить его в гостиную, как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле.

– В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет, – сказал Манилов и повел в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес. – Вот мой уголок, – сказал Манилов.

– Приятная комнатка, – сказал Чичиков, окинувши ее глазами.

Комната была, точно, не без приятности: стены были выкрашены какой-то голубенькой краской вроде серенькой, четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенною закладкою, о которой мы уже имели случай упомянуть, несколько исписанных бумаг, но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и в табачнице, и, наконец, насыпан был просто кучею на столе. На своих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени.

– Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах, – сказал Манилов. – Здесь вам будет попокойнее.

– Позвольте, я сяду на стуле.

– Позвольте вам этого не позволить, – сказал Манилов с улыбкою. – Это кресло у меня уж ассигновано для гостя: ради или не ради, но должны сесть.

Чичиков сел.

– Позвольте мне вас попотчевать трубочкою.

– Нет, не курю, – отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления.

– Отчего? – сказал Манилов тоже ласково и с видом сожаления.

– Не сделал привычки, боюсь; говорят, трубка сушит.

– Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. В нашем полку был поручик, прекраснейший и образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже сорок с лишком лет, но, благодари бога, до сих пор так здоров, как нельзя лучше.

Чичиков заметил, что это, точно, случается и что натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума.

– Но позвольте прежде одну просьбу… – проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем неизвестно чего оглянулся назад. – Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?

– Да уж давно; а лучше сказать не припомню.

– Как с того времени много у вас умерло крестьян?

– А не могу знать; об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек! позови приказчика, он должен быть сегодня здесь.

Приказчик явился. Это был человек лет под сорок, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, по-видимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какою-то пухлою полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть тотчас, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские приказчики: был прежде просто грамотным мальчишкой в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком, поступал, разумеется, как все приказчики: водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял на тягла победнее, проснувшись в девятом часу утра, поджидал самовара и пил чай.

– Послушай, любезный! сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?

– Да как сколько? Многие умирали с тех пор, – сказал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою, наподобие щитка.

– Да, признаюсь, а сам так думал, – подхватил Манилов, – именно, очень многие умирали! – Тут он оборотился к Чичикову и прибавил еще: – Точно, очень многие.

– А как, например, числом? – спросил Чичиков.

– Да, сколько числом? – подхватил Манилов.

– Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало, их никто не считал.

– Да, именно, – сказал Манилов, обратясь к Чичикову, – я тоже предполагал, большая смертность; совсем неизвестно, сколько умерло.

– Ты, пожалуйста, их перечти, – сказал Чичиков, – и сделай подробный реестрик всех поименно.

– Да, всех поименно, – сказал Манилов.

Приказчик сказал: «Слушаю!» – и ушел.

– А для какие причин вам это нужно? – спросил по уходе приказчика Манилов.

Этот вопрос, казалось, затруднил гостя, в лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел, – напряжение что-то выразить, не совсем покорное словам. И в самом деле, Манилов наконец услышал такие странные и необыкновенные вещи, какие еще никогда не слыхали человеческие уши.

– Вы спрашиваете, для каких причин? причины вот какие: я хотел бы купить крестьян… – сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи.

– Но позвольте спросить вас, – сказал Манилов, – как желаете вы купить крестьян: с землею или просто на вывод, то есть без земли?

– Нет, я не то чтобы совершенно крестьян, – сказал Чичиков, – я желаю иметь мертвых…

– Как-с? извините… я несколько туг на ухо, мне послышалось престранное слово…

– Я полагаю приобресть мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые, – сказал Чичиков.

Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжение нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперя друг в друга глаза, как те портреты,

которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он; но ничего не было видно такого, напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного; потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально; но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегает в глазах сумасшедшего человека, все было прилично и в порядке. Как ни придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкой струею.

– Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, не живых в действительности, но живых относительно законной формы, передать, уступить или как вам заблагорассудится лучше?

Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него

– Мне кажется, вы затрудняетесь?.. – заметил Чичиков.

– Я?.. нет, я не то, – сказал Манилов, – но я не могу постичь... извините... я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении; не имею высокого искусства выражаться... Может быть, здесь... в этом, вами сейчас выраженном изъяснении... скрыто другое... Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?

– Нет, – подхватил Чичиков, – нет, я разумею предмет таков как есть, то есть те души, которые, точно, уже умерли.

Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, предложить вопрос, а какой вопрос – черт его знает. Кончил он наконец тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а чрез носовые ноздри.

– Итак, если нет препятствий, то с богом можно бы приступить к совершению купчей крепости, – сказал Чичиков.

– Как, на мертвые души купчую?

– А, нет! – сказал Чичиков. – Мы напишем, что они живы, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное, закон – я немею пред законом.

Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он все-таки никак не вник и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал наконец хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства; но чубук хрипел и больше ничего.

– Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?

– О! помилуйте, ничуть. Я не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть, критическое предосуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция, – так не будет ли эта негоция несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?

Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела.

Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие, или негоция, никак не будет несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины.

– Так вы полагаете?..

– Я полагаю, что это будет хорошо.

– А, если хорошо, это другое дело: я против этого ничего, – сказал Манилов и совершенно успокоился.

– Теперь остается условиться в цене.

– Как в цене? – сказал опять Манилов и остановился. – Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то с своей стороны я передаю их вам безынтересно и купчую беру на себя.

Великий упрек был бы историку предлагаемых событий, если бы он упустил сказать, что удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесенных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвел даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости. Он поворотился так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя, обтягивавшая подушку; сам Манилов посмотрел на

него в некотором недоумении. Побужденный признательностию, он наговорил тут же столько благодарностей, что тот смешался, весь покраснел, производил головою отрицательный жест и наконец уже выразился, что это сущее ничего, что он, точно, хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души, а умершие души в некотором роде совершенная дрянь.

– Очень не дрянь, – сказал Чичиков, пожав ему руку. Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он был настроен к сердечным излияниям; не без чувства и выражения произнес он наконец следующие слова: – Если б вы знали, какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без племени и роду! Да и действительно, чего не потерпел я? как барка какая-нибудь среди свирепых волн... Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте-горемыке!.. – Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу.

Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго жали друг другу руку и долго смотрели молча один другому в глаза, в которых видны были навернувшиеся слезы. Манилов никак не хотел выпустить руки нашего героя и продолжал жать ее так горячо, что тот уже не знал, как ее выручить. Наконец, выдернувши ее потихоньку, он сказал, что не худо бы купчую совершить поскорее и хорошо бы, если бы он сам понаведался в город. Потом взял шляпу и стал откланиваться.

– Как? вы уж хотите ехать? – сказал Манилов, вдруг очнувшись и почти испугавшись.

В это время вошла в кабинет Манилова.

– Лизанька, – сказал Манилов с несколько жалостливым видом, – Павел Иванович оставляет нас!

– Потому что мы надоели Павлу Ивановичу, – отвечала Манилова.

– Сударыня! здесь, – сказал Чичиков, – здесь, вот где, – тут он положил руку на сердце, – да, здесь пребудет приятность времени, проведенного с вами! и поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами если не в одном доме, то по крайней мере в самом ближайшем соседстве.

– А знаете, Павел Иванович, – сказал Манилов, которому очень понравилась такая мысль, – как было бы в самом деле хорошо, если

бы жить этак вместе, под одною кровлею, или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться!..

– О! это была бы райская жизнь! – сказал Чичиков, вздохнувши. – Прощайте, сударыня! – продолжал он, подходя к ручке Маниловой. – Прощайте, почтеннейший друг! Не позабудьте просьбы!

– О, будьте уверены! – отвечал Манилов. – Я с вами расстаюсь не долее как на два дни.

Все вышли в столовую.

– Прощайте, миленькие малютки! – сказал Чичиков, увидевши Алкида и Фемистоклюса, которые занимались каким-то деревянным гусаром, у которого уже не было ни руки, ни носа. – Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что, признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете, но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю; хочешь саблю?

– Хочу, – отвечал Фемистоклюс.

– А тебе барабан; не правда ли, тебе барабан? – продолжал он, наклонившись к Алкиду.

– Парапан, – отвечал шепотом и потупив голову Алкид.

– Хорошо, а тебе привезу барабан. Такой славный барабан, этак все будет: туррр… ру… тра-та-та, та-та-та… Прощай, душенька! прощай! – Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с какие обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности желаний их детей.

– Право, останьтесь, Павел Иванович! – сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо. – Посмотрите, какие тучи.

– Это маленькие тучки, – отвечал Чичиков.

– Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?

– Об этом хочу спросить вас.

– Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру.

Тут Манилов с такою же любезностью рассказал дело кучеру и сказал ему даже один раз «вы».

Кучер, услышав, что нужно пропустить два поворота и поворотить на третий, сказал: «Потрафим, ваше благородие», – и Чичиков уехал, сопровождаемый долго поклонами и маханьями платка приподымавшихся на цыпочках хозяев.

Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала не видна, он все еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и пре-

дался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее, наконец, бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове: как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе, и все время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина.

Глава третья

А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонностей, а потому не диво, что он скоро погрузился весь в него и телом и душою. Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень приятны, ибо ежеминутно оставляли после себя следы довольной усмешки. Занятый ими, он не обращал никакого внимания на то, как его кучер, довольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся Заседателем, потому что был приобретен от какого-то заседателя, трудилися от всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие. «Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю! – говорил Селифан, приподнявшись и хлыснув кнутом ленивца. – Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой – почтенный конь, он сполняет свой долг, я ему с охотою дам

лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель тож хороший конь... Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят! я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь куда ползет!» Здесь он опять хлыснул его кнутом, примолвив; «У, варвар! Бонапарт ты проклятый!» Потом прикрикнул на всех: «Эй вы, любезные!» – и стегнул по всем по трем уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому: «Ты думаешь, что скрошь свое поведение. Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение. Вот у помещика, что мы были, хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, коли хороший человек; с человеком хорошим мы всегда свои други, тонкие приятели; выпить ли чаю, или закусить – с охотою, коли хороший человек. Хорошему человеку всякой отдаст почтение. Вот барина нашего всякой уважает, потому что он, слышь ты, сполнял службу государскую, он сколеской советник...»

Так рассуждая, Селифан забрался наконец в самые отдаленные отвлеченности. Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему; но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя; все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. Сначала, приняв косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую, потом, изменив и образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо в верх его кузова; брызги наконец стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавесками с двумя круглыми окошечками, определенными на рассматривание дорожных видов, и приказать Селифану ехать скорее. Селифан, прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что, точно, не нужно мешкать, вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он

мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други почтенные!» – и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога.

Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его, давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи.

– Селифан! – сказал он наконец, высунувшись из брички.

– Что, барин? – отвечал Селифан.

– Погляди-ка, не видно ли деревни?

– Нет, барин, нигде не видно! – После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все вошло: все ободрительные и побудительные крики, которыми потчевают лошадей по всей России от одного конца до другого; прилагательные всех родов без дальнейшего разбора, как что первое попалось на язык. Таким образом дошло до того, что он начал называть их наконец секретарями.

Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по необороненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова.

– Что, мошенник, по какой дороге ты едешь? – сказал Чичиков.

– Да что ж, барин, делать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма! – Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял.

– Держи, держи, опрокинешь! – кричал он ему.

– Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул, – говорил Селифан. – Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю; уж я никак не опрокину. – Затем начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и наконец выворотил ее совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил, впрочем, они остановились бы и сами, потому что

лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель тож хороший конь... Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят! я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь куда ползет!» Здесь он опять хлыснул его кнутом, примолвив; «У, варвар! Бонапарт ты проклятый!» Потом прикрикнул на всех: «Эй вы, любезные!» – и стегнул по всем по трем уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому: «Ты думаешь, что скроешь свое поведение. Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение. Вот у помещика, что мы были, хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, коли хороший человек; с человеком хорошим мы всегда свои други, тонкие приятели; выпить ли чаю, или закусить – с охотою, коли хороший человек. Хорошему человеку всякой отдаст почтение. Вот барина нашего всякой уважает, потому что он, слышь ты, сполнял службу государскую, он сколеской советник...»

Так рассуждая, Селифан забрался наконец в самые отдаленные отвлеченности. Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему; но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя; все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую, потом, изменив и образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо в верх его кузова; брызги наконец стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавесками с двумя круглыми окошечками, определенными на рассматривание дорожных видов, и приказать Селифану ехать скорее. Селифан, прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что, точно, не нужно мешкать, вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он

мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други почтенные!» – и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога.

Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его, давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи.

– Селифан! – сказал он наконец, высунувшись из брички.

– Что, барин? – отвечал Селифан.

– Погляди-ка, не видно ли деревни?

– Нет, барин, нигде не видно! – После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все вошло: все ободрительные и побудительные крики, которыми потчевают лошадей по всей России от одного конца до другого; прилагательные всех родов без дальнейшего разбора, как что первое попалось на язык. Таким образом дошло до того, что он начал называть их наконец секретарями.

Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по взбороненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова.

– Что, мошенник, по какой дороге ты едешь? – сказал Чичиков.

– Да что ж, барин, делать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма! – Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял.

– Держи, держи, опрокинешь! – кричал он ему.

– Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул, – говорил Селифан. – Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю; уж я никак не опрокину. – Затем начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и наконец выворотил ее совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил, впрочем, они остановились бы и сами, потому что

были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед бричкою, подперся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, силясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты, и перекинулась!»

– Ты пьян как сапожник! – сказал Чичиков.

– Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян! Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого; и закусили вместе. Закуска не обидное дело; с хорошим человеком можно закусить.

– А что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? а? забыл? – сказал Чичиков.

– Нет, ваше благородие, как можно, чтобы я позабыл. Я уже дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что…

– Вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком!

– Как милости вашей будет угодно, – отвечал на все согласный Селифан, – коли высечь, то и высечь; я ничуть не прочь от того. Почему ж не посечь, коли за дело, на то воля господская. Оно нужно посечь, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки; почему ж не посечь?

На такое рассуждение барин совершенно не нашелся, что отвечать. Но в это время, казалось, как будто сама судьба решилась над ним сжалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз; от этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя ни зги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился тогда только, когда бричка ударилася оглоблями в забор и когда решительно уже некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окошке и досягнул туманною струею до забора, указавши нашим дорожным ворота.

Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали хриплый бабий голос:

– Кто стучит? чего расходились?

– Приезжие, матушка, пусти переночевать, – произнес Чичиков.

– Вишь ты, какой востроногий, – сказала старуха, – приехал в какое время! Здесь тебе не постоялый двор: помещица живет.

– Что ж делать, матушка: вишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи.

– Да, время темное, нехорошее время, – прибавил Селифан.

– Молчи, дурак, – сказал Чичиков.

– Да кто вы такой? – сказала старуха.

– Дворянин, матушка.

Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать.

– Погодите, я скажу барыне, – произнесла она и минуты через две уже возвратилась с фонарем в руке.

Ворота отперлись. Огонек мелькнул и в другом окне. Бричка, въехавши на двор, остановилась перед небольшим домиком, который за темнотою трудно было рассмотреть. Только одна половина его была озарена светом, исходившим из окон; видна была еще лужа перед домом, на которую прямо ударял тот же свет. Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку. Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно молодого щенка, и все это, наконец, повершал бас, может быть, старик, наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе: тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и все, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревушка была порядочная; но промокший и озябший герой наш ни о чем не думал, как только о посте-

ли. Не успела бричка совершенно остановиться, как он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал. На крыльцо вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его в комнату. Чичиков кинул вскользь два взгляда: комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев; за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок; стенные часы с нарисованными цветами на циферблате… невмочь было ничего более заметить. Он чувствовал, что глаза его липнули, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодом. В один мешочек отбирают всё целковики, в другой полтинники, в третий четвертачки, хотя с виду и кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме белья, да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого салопа, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печения праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется само собою. Но не сгорит платье и не изотрется само собою: бережлива старушка, и салопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племяннице внучатной сестры вместе со всяким другим хламом.

Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом.

– Ничего, ничего, – сказала хозяйка. – В какое это время вас бог принес! Сумятица и вьюга такая… С дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да пора-то ночная, приготовить нельзя.

Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево.

Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что, кроме постели, он

ничего не требует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда путь к помещику Собакевичу, на что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени и что такого помещика вовсе нет.

– По крайней мере знаете Манилова? – сказал Чичиков

– А кто таков Манилов?

– Помещик, матушка.

– Нет, не слыхивала, нет такого помещика.

– Какие же есть?

– Бобров, Свиньин, Канапатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков.

– Богатые люди или нет?

– Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого тридцать, а таких, чтоб по сотне, таких нет.

Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь.

– Далеко ли по крайней мере до города?

– А верст шестьдесят будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать! не хотите ли, батюшка, выпить чаю?

– Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кроме постели.

– Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фетинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время послал бог: гром такой – у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у борова, вся спина и бок в грязи! где так изволил засалиться?

– Еще славу богу, что только засалился, нужно благодарить, что не отломал совсем боков.

– Святители, какие страсти! Да не нужно ли чем потереть спину?

– Спасибо, спасибо. Не беспокойтесь, а прикажите только вашей девке повысушить и вычистить мое платье.

– Слышишь, Фетинья! – сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходившей на крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину и, взбивши ее с обоих боков руками, напустила целый потоп перьев по всей комнате. – Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как делывали покойнику барину, а после перетри и выколоти хорошенько.

– Слушаю, сударыня! – говорила Фетинья, постилая сверх перины простыню и кладя подушки.

– Ну, вот тебе постель готова, – сказала хозяйка. – Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал.

Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фетинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю, и Фетинья, пожелав также с своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фетинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту. Проснулся на другой лень он уже довольно поздним утром. Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза, и мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему: одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз, ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к носовой ноздре, он потянул впросонках в самый нос, что заставило его крепко чихнуть, – обстоятельство, бывшее причиною его пробуждения. Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не всё были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче. Часы опять испустили шипение и пробили десять; в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Он стал припоминать себе: кто бы это был, и наконец вспомнил, что это была хозяйка. Он надел рубаху; платье, уже высушенное и вычищенное, лежало возле него. Одевшись, подошел он к зеркалу и чихнул опять так громко, что подошедший в это время к окну индейский петух – окно же было очень близко от земли – заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно «желаю здравствовать», на что Чичиков сказал ему дурака. Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник; по крайней мере, нахо-

дившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик, или курятник, перегораживал дощатый забор, за которым тянулись пространные огороды с капустой, луком, картофелем, светлой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах, с растопыренными руками; на одном из них надет был чепец самой хозяйки. За огородами следовали крестьянские избы, которые хотя были выстроены врассыпную и не заключены в правильные улицы, но, по замечанию, сделанному Чичиковым, показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы как следует: изветшавший тес на крышах везде был заменен новым; ворота нигде не покосились, а в обращенных к нему крестьянских крытых сараях заметил он где стоявшую запасную почти новую телегу, а где и две. «Да у ней деревушка не маленька», – сказал он и положил тут же разговориться и познакомиться с хозяйкой покороче. Он заглянул в щелочку двери, из которой она было высунула голову, и, увидев ее, сидящую за чайным столиком, вошел к ней с веселым и ласковым видом.

– Здравствуйте, батюшка. Каково почивали? – сказала хозяйка, приподнимаясь с места. Она была одета лучше, нежели вчера, – в темном платье и уже не в спальном чепце, но на шее все так же было что-то завязано.

– Хорошо, хорошо, – говорил Чичиков, садясь в кресла. – Вы как, матушка?

– Плохо, отец мой.

– Как так?

– Бессонница. Все поясница болит, и нога, что повыше косточки, так вот и ломит.

– Пройдет, пройдет, матушка. На это нечего глядеть.

– Дай бог, чтобы прошло. Я-то смазывала свиным салом и ски-

пидаром тоже смачивала. А с чем прихлебаете чайку? Во фляжке фруктовая.

– Недурно, матушка, хлебнем и фруктовой.

Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большею свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, кто у нас на Руси если не угнались еще кой в чем другою за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот, – словом, хоть восходи до миллиона, всё найдут оттенки. Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу смотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных, – да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку! «Да это не Иван Петрович, – говоришь, глядя на него. – Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький и худенький; тот говорит громко, басит и никогда не смеется, а этот черт знает что: пищит птицей и все смеется». Подходишь ближе, глядишь – точно Иван Петрович! «Эхе-хе», – думаешь себе… Но, однако ж, обратимся к действующим лицам. Чичиков, как уж мы видели, решился вовсе не церемониться и потому, взявши в руки чашку с чаем и вливши туда фруктовой, повел такие речи:

– У вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней душ?

– Душ-то в ней, отец мой, без малого восемьдесят, – сказала хозяйка, – да беда, времена плохи, вот и прошлый год был такой неурожай, что боже храни.

– Однако ж мужички на вид дюжие, избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся… приехал в ночное время…:

– Коробочка, коллежская секретарша.

– Покорнейше благодарю. А имя и отчество?

– Настасья Петровна.

– Настасья Петровна? хорошее имя Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.

– А ваше имя как? – спросила помещица. – Ведь вы, я чай, заседатель?

– Нет, матушка, – отвечал Чичиков, усмехнувшись, – чай, не заседатель, а так ездим по своим делишкам.

– А, так вы покупщик! Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево, а вот ты бы, отец мой, у меня, верно, его купил.

– А вот меду и не купил бы.

– Что ж другое? Разве пеньку? Да вить и пеньки у меня теперь маловато: полпуда всего.

– Нет, матушка, другого рода товарец: скажите, у вас умирали крестьяне?

– Ох, батюшка, осьмнадцать человека – сказала старуха, вздохнувши. – И умер такой всё славный народ, всё работники. После того, правда, народилось, да что в них: все такая мелюзга; а заседатель подъехал – подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, а плати, как за живого. На прошлой неделе сгорел у меня кузнец, такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал.

– Разве у вас был пожар, матушка?

– Бог приберег от такой беды, пожар бы еще хуже; сам сгорел, отец мой. Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил, только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел и почернел, как уголь, а такой был преискусный кузнец! и теперь мне выехать не на чем: некому лошадей подковать.

– На все воля божья, матушка! – сказал Чичиков, вздохнувши, – против мудрости божией ничего нельзя сказать… Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?

– Кого, батюшка?

– Да вот этих-то всех, что умерли.

– Да как же уступить их?

– Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги.

– Да как же? Я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?

Чичиков увидел, что старуха хватила далеко и что необходимо ей нужно растолковать, в чем дело. В немногих словах объяснил он ей, что перевод или покупка будет значиться только на бумаге и души будут прописаны как бы живые.

– Да на что ж они тебе? – сказала старуха, выпучив на него глаза.

– Это уж мое дело.

– Да ведь они ж мертвые.

– Да кто же говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые: вы за них платите, а теперь я вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверх того дам вам пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?

– Право, не знаю, – произнесла хозяйка с расстановкой. – Ведь я мертвых никогда еще не продавала

– Еще бы! Это бы скорей походило на диво, если бы вы их кому нибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?

– Нет, этого-то я не думаю. Что ж в них за прок, проку никакого нет. Меня только то и затрудняет, что они уже мертвые.

«Ну, баба, кажется, крепколобая!» – подумал про себя Чичиков.

– Послушайте, матушка. Да вы рассудите только хорошенько: – ведь вы разоряетесь, платите за него подать, как за живого…

– Ох, отец мой, и не говори об этом! – подхватила помещица. – Еще третью неделю взнесла больше полутораста. Да заседателя подмаслила.

– Ну, видите, матушка. А теперь примите в соображение только то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за них; я, а не вы; я принимаю на себя все повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги, понимаете ли вы это?

Старуха задумалась. Она видела, что дело, точно, как будто выгодно, да только уж слишком новое и небывалое; а потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупщик; приехал же бог знает откуда, да еще и в ночное время.

– Так что ж, матушка, по рукам, что ли? – говорил Чичиков.

– Право, отец мой, никогда еще не случалось продавать мне покойников. Живых-то я уступила, вот и третьего года протопопу двух девок, по сту рублей каждую, и очень благодарил, такие вышли славные работницы: сами салфетки ткут.

– Ну, да не о живых дело; бог с ними. Я спрашиваю мертвых.

– Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь, а они того… они больше как-нибудь стоят.

– Послушайте, матушка… эх, какие вы! что ж они могут стоить? Рассмотрите: ведь это прах. Понимаете ли? это просто прах. Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например даже простую тряпку, и тряпке есть цена: ее хоть по крайней мере купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?

– Уж это, точно, правда. Уж совсем ни на что не нужно; да ведь меня одно только и останавливает, что ведь они уже мертвые.

«Эк ее, дубинноголовая какая! – сказал про себя Чичиков, уже начиная выходить из терпения. – Пойди ты сладь с нею! в пот бросила, проклятая старуха!» Тут он, вынувши из кармана платок, начал отирать пот, в самом деле выступивший на лбу. Впрочем, Чичиков напрасно сердился: иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилить; сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, все отскакивает от него, как резинный мяч отскакивает от стены. Отерши пот, Чичиков решился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какою-нибудь иною стороною.

– Вы, матушка, – сказал он, – или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить… Я вам даю деньги: пятнадцать рублей ассигнациями. Понимаете ли? Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну, признайтесь, почем продали мед?

– По двенадцати рублей пуд.

– Хватили немножко греха на душу, матушка. По двенадцати не продали.

– Ей-богу, продала.

– Ну видите ль? Так зато это мед. Вы собирали его, может быть,

около года, с заботами, со старанием, хлопотами; ездили, морили пчел, кормили их в погребе целую зиму; а мертвые души дело не от мира сего. Тут вы с своей стороны никакого не прилагали старания, на то была воля божия, чтоб они оставили мир сей, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а все синими ассигнациями. – После таких сильных убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха наконец подастся.

– Право, – отвечала помещица, – мое такое неопытное вдовье дело! лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да примерюсь к ценам.

– Страм, страм, матушка! просто страм! Ну что вы это говорите, подумайте сами! Кто же станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать ?

– А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся… – возразила старуха, да и не кончила речи, открыта рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.

– Мертвые в хозяйстве! Эк куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?

– С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь! – проговорила старуха, крестясь.

– Куда ж еще вы их хотели пристроить? Да, впрочем, ведь кости и могилы – все вам остается, перевод только на бумаге. Ну, так что же? Как же? Отвечайте по крайней мере.

Старуха вновь задумалась.

– О чем же вы думаете, Настасья Петровна?

– Право, я все не приберу, как мне быть; лучше я вам пеньку продам.

– Да что ж пенька? Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете! Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна?

– Ей-богу, товар такой странный, совсем небывалый!

Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей черта.

Черта помещица испугалась необыкновенно.

– Ох, не припоминай его, бог с ним! – вскрикнула она, вся побледнев. – Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в

наказание-то бог и наслал его. Такой гадкий привиделся; а рога-то длиннее бычачьих.

– Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного христианского человеколюбия хотел: вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду… да пропади и околей со всей вашей деревней!..

– Ах, какие ты забранки пригинаешь! – сказала старуха, глядя на него со страхом.

– Да не найдешь слов с вами! Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняжка, что лежит на сене и сам не ест сена, и другим не лает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду… – Здесь он прилгнул, хоть и вскользь и без всякого дальнейшего размышления, но неожиданно удачно. Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну, по крайней мере, она произнесла уже почти просительным голосом:

– Да чего ж ты рассердился так горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совсем тебе и не прекословила.

– Есть из чего сердиться! Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться!

– Ну, да изволь, я готова отдать за пятнадцать ассигнацией! Только смотри, отец мой, а насчет подрядов-то: если случится муки брать ржаной, или гречневой, или круп, или скотины битой, так уж, пожалуйста, не обидь меня.

– Нет, матушка, не обижу, – говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение крепости и всего, что следует.

– Как же, протопопа, отца Кирила, сын служит в палате, – сказала Коробочка.

Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо и, чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить.

«Хорошо бы было, – подумала между тем про себя Коробочка, – если бы он забрал у меня в казну муку и скотину. Нужно его задобрить: теста со вчерашнего вечера еще осталось, так пойти сказать Фетинье, чтоб спекла блинов; хорошо бы также загнуть пирог пресный с яйцом, у меня его славно загибают, да и времени берет немного». Хозяйка вышла с тем, чтобы привести в исполнение

мысль насчет загнутия пирога и, вероятно, пополнить ее другими произведениями домашней пекарни и стряпни; а Чичиков вышел в гостиную, где провел ночь, с тем, чтобы вынуть нужные бумаги из своей шкатулки. В гостиной давно уже было все прибрано, роскошные перины вынесены вон, перед диваном стоял покрытый стол. Поставив на него шкатулку, он несколько отдохнул, ибо чувствовал, что был весь в поту, как в реке: все, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, все было мокро. «Эк уморила как проклятая старуха» – сказал он, немного отдохнувши, и отпер шкатулку. Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить! Вот оно, внутреннее расположение: в самой средине мыльница, за мыльницею шесть-семь узеньких перегородок для бритв; потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленною между ними лодочкой для перьев, сургучей и всего, что подлиннее; потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист, потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что наверно нельзя сказать, сколько было там денег. Чичиков тут же занялся и, очинив перо, начал писать. В это время вошла хозяйка.

– Хорош у тебя ящик, отец мой, – сказала она, подсевши к нему. – Чай, в Москве купил его?

– В Москве, – отвечал Чичиков, продолжая писать.

– Я уж знала это: там все хорошая работа. Третьего года сестра моя привезла оттуда теплые сапожки для детей: такой прочный товар, до сих пор носится. Ахти, сколько у тебя тут гербовой бумаги! – продолжала она заглянувши к нему в шкатулку. И в самом деле, гербовой бумаги было там немало. – Хоть бы мне листок подарил! а у меня такой недостаток; случится в суд просьбу подать, а и не на чем.

Чичиков объяснил ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершения крепостей, а не для просьб. Впрочем, чтобы успокоить ее, он дал ей какой-то лист в рубль ценою. Написавши письмо, дал он ей подписаться и попросил маленький списочек

мужиков. Оказалось, что помещица не вела никаких записок, ни списков, а знала почти всех наизусть; он заставил ее тут же продиктовать их. Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякий раз, слыша их, прежде останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев Неуважай-Корыто, так что он не мог не сказать: «Экой длинный!» Другой имел прицепленный к имени «Коровий кирпич», иной оказался просто: Колесо Иван. Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле.

– Прошу покорно закусить, – сказала хозяйка.

Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со снятоčками, и невесть чего не было.

– Пресный пирог с яйцом! – сказала хозяйка.

Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом, и, съевши тут же с небольшим половину, похвалил его. И в самом деле, пирог сам по себе был вкусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкуснее.

– А блинков? – сказала хозяйка.

В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинов.

– У вас, матушка, блинцы очень вкусны, – сказал Чичиков, принимаясь за принесенные горячие.

– Да у меня-то их хорошо пекут, – сказала хозяйка, – да вот беда: урожай плох, мука уж такая неважная… Да что же, батюшка, вы так спешите? – проговорила она, увидя, что Чичиков взял в руки картуз, – ведь и бричка еще не заложена.

– Заложат, матушка, заложат. У меня скоро закладывают.

– Так уж, пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов.

– Не забуду, не забуду, – говорил Чичиков, выходя в сени.

– А свиного сала не покупаете? – сказала хозяйка, следуя за ним.

– Почему не покупать? Покупаю, только после.

– У меня о святках и свиное сало будет.

– Купим, купим, всего купим, и свиного сала купим.

– Может быть, понадобится птичьих перьев. У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья.

– Хорошо, хорошо, – говорил Чичиков.

– Вот видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова, – сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо.

– Будет, будет готова. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги.

– Как же бы это сделать? – сказала хозяйка. – Рассказать-то мудрено, поворотов много; разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила. Ведь у тебя, чай, место есть на козлах, где бы присесть ей.

– Как не быть.

– Пожалуй, я тебе дам девчонку; она у меня знает дорогу, только ты смотри! не завези ее, у меня уже одну завезли купцы.

Чичиков уверил ее, что не завезет, и Коробочка, успокоившись, уже стала рассматривать все, что было во дворе ее; вперила глаза на ключницу, выносившую из кладовой деревянную побратиму с медом, на мужика, показавшегося в воротах, и мало-помалу вся переселилась в хозяйственную жизнь. Но зачем так долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь, или нехозяйственная – мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли, мысли, занимающие по законам моды на целую неделю город, мысли не о том, что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных и расстроенных благодаря незнанью хозяйственного дела, а о том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм. Но мимо, мимо! зачем говорить об этом? Но зачем же среди недумающих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя: еще смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал

другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо…

– А вот бричка, вот бричка! – вскричал Чичиков, увидя наконец подъезжавшую свою бричку. – Что ты, болван, так долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя не весь еще выветрило.

Селифан на это ничего не отвечал.

– Прощайте, матушка! А что же, где ваша девчонка?

– Эй, Пелагея! – сказала помещица стоявшей около крыльца девчонке лет одиннадцати, в платье из домашней крашенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены свежею грязью. – Покажи-ка барину дорогу.

Селифан помог взлезть девчонке на козлы, которая, ставши одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкала ее грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него. Вслед за нею и сам Чичиков занес ногу на ступеньку и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что был тяжеленек, наконец поместился, сказавши:

– А! теперь хорошо! прощайте, матушка!

Кони тронулись.

Селифан был во всю дорогу суров и с тем вместе очень внимателен к своему делу, что случалося с ним всегда после того, когда либо в чем провинился, либо был пьян. Лошади были удивительно как вычищены. Хомут на одной из них, надевавшийся дотоле почти всегда в разодранном виде, так что из-под кожи выглядывала пакля, был искусно зашит. Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом, и не обращал никакой поучительной речи к лошадям, хотя чубарому коню, конечно, хотелось бы выслушать что-нибудь наставительное, ибо в это время вожжи всегда как-то лениво держались в руках словоохотного возницы и кнут только для формы гулял поверх спин. Но из угрюмых уст слышны были на сей раз одни однообразно неприятные восклицания: «Ну же, ну, ворона! зевай! зевай!» – и больше ничего. Даже сам гнедой и Заседатель были недовольны, не услышавши ни разу ни «любезные», ни «почтенные». Чубарый чувствовал пренеприятные удары по своим полным и широким частям. «Вишь ты, как разнесло его! – думал он сам про себя, несколько припрядывая ушами. – Небось знает, где бить! Не хлыснет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее: по ушам зацепит или под брюхо захлыснет».

– Направо, что ли? – с таким сухим вопросом обратился Сели-

фан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от дождя дорогу между яркозелеными, освещенными полями.

– Нет, нет, я уж покажу, – отвечала девчонка.

– Куда ж? – сказал Селифан, когда подъехали поближе.

– Вот куды, – отвечала девчонка, показывая рукою.

– Эх ты! – сказал Селифан. – Да это и есть направо: не знает, где право, где лево!

Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж; к тому же почва была глиниста и цепка необыкновенно. То и другое было причиною, что они не могли выбраться из проселков раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпают из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине. Скоро девчонка показала рукою на черневшее вдали строение, сказавши:

– Вон столбовая дорога!

– А строение? – спросил Селифан.

– Трактир, – сказала девчонка.

– Ну, теперь мы сами доедем, – сказал Селифан, – ступай себе домой.

Он остановился и помог ей сойти, проговорив сквозь зубы: «Эх ты, черноногая!»

Чичиков дал ей медный грош, и она побрела восвояси, уже довольная тем, что посидела на козлах.

Глава четвертая

Подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам. С одной стороны, чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю; глотающие устерс, морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на

Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти. Но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем или кулебякой с сомовьим плёсом, так что вчуже пронимает аппетит, – вот эти господа, точно, пользуются завидным даянием неба! Не один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки; но то беда, что ни за какие деньги, ниже' имения, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобресть такого желудка, какой бывает у господина средней руки.

Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрели темные его стены; на ставнях были нарисованы кувшины с цветами.

Взобравшись узенькою деревянною лестницею наверх, в широкие сени, он встретил отворявшуюся со скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую: «Сюда пожалуйте!» В комнате попались всё старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выстроено по дорогам, а именно заиндевелый самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички пред образами, висевшие на голубых и красных ленточках, окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку; наконец натыканные пучками душистые травы и гвоздики у образов, высохшие до такой степени, что желавший понюхать их только чихал и больше ничего.

– Поросенок есть? – с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе.

– Есть.

– С хреном и со сметаною?

– С хреном и со сметаною.

– Давай его сюда!

Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшею костяною колодочкою, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол.

Герой наш, по обыкновению, сейчас вступил с нею в разговор и расспросил, сама ли она держит трактир, или есть хозяин, а сколько дает доходу трактир, и с ними ли живут сыновья, и что старший сын холостой или женатый человек, и какую взял жену, с большим ли приданым, или нет, и доволен ли был тесть, и не сердился ли, что мало подарков получил на свадьбе, – словом, не пропустил ничего. Само собою разумеется, что полюбопытствовал узнать, какие в окружности находятся у них помещики, и узнал, что всякие есть помещики: Плотин, Почитаев, Мыльной, Чепраков-полковник, Собакевич. «А! Собакевича знаешь?» – спросил он и тут же услышал, что старуха знает не только Собакевича, но и Манилова, и что Манилов будет поделикатней Собакевича: велит тотчас сварить курицу, спросит и телятинки; коли есть баранья печенка, то и бараньей печенки спросит, и всего только что попробует, а Собакевич одного чего-нибудь спросит, да уж зато всё съест, даже и подбавки потребует за ту же цену.

Когда он таким образом разговаривал, кушая поросенка, которого оставался уже последний кусок, послышался стук колес подъехавшего экипажа. Взглянувши в окно, увидел он остановившуюся перед трактиром легонькую бричку, запряженную тройкою добрых лошадей. Из брички вылезали двое какие-то мужчин. Один белокурый, высокого роста; другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке. Издали тащилась еще колясчонка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней с изорванными хомутами и веревочной упряжью. Белокурый тотчас же отправился по лестнице наверх, между тем как черномазый еще оставался и щупал что-то в бричке, разговаривая тут же со слугою и махая в то же время ехавшей за ними коляске. Голос его показался Чичикову как будто несколько знакомым. Пока он его рассматривал, белокурый успел уже нащупать дверь и отворить ее. Это был мужчина высокого роста,

лицом худощавый, или что называют издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то по крайней мере табачный. Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. В продолжение немногих минут они вероятно бы разговорились и хорошо познакомились между собою, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие, что пыль по дороге была совершенно прибита вчерашним дождем и теперь ехать и прохладно и приятно, как вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив рукой свои черные густые волосы. Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его.

– Ба, ба, ба! – вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова. – Какими судьбами?

Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить «ты», хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода.

– Куда ездил? – говорил Ноздрев и, не дождавшись ответа, продолжал: – А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал! Вот посмотри нарочно в окно! – Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что тот чуть не ударился ею об рамку. – Видишь, какая дрянь! Насилу дотащили, проклятые, я уже перелез вот в его бричку. – Говоря это, Ноздрев показал пальцем на своего товарища. – А вы еще не знакомы? Зять мой Мижуев! Мы с ним все утро говорили о тебе. «Ну, смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова» Ну, брат, если б ты знал, как я продулся! Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков – всё спустил. Ведь на мне нет ни цепочки, ни часов… – Чичиков взглянул и увидел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой. – А ведь будь только двадцать рублей в кармане, – продолжал Ноздрев, – именно не больше как двадцать, я отыграл бы все, то есть кроме того, что отыграл бы, вот как честный человек, тридцать тысяч сейчас положил бы в бумажник.

– Ты, однако, и тогда так говорил, – отвечал белокурый, – а когда я тебе дал пятьдесят рублей, тут же просадил их.

– И не просадил бы! ей-богу, не просадил бы! Не сделай я сам глупость, право, не просадил бы. Не загни я после пароле на проклятой семерке утку, я бы мог сорвать весь банк.

– Однако ж не сорвал, – сказал белокурый.

– Не сорвал потому, что загнул утку не вовремя. А ты думаешь, майор твой хорошо играет?

– Хорошо или не хорошо, однако ж он тебя обыграл.

– Эка важность! – сказал Ноздрев, – этак и я его обыграю. Нет, вот попробуй он играть дублетом, так вот тогда я посмотрю, я посмотрю тогда, какой он игрок! Зато, брат Чичиков, как покатили мы в первые дни! Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня все, что ни привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец, как покутили! Теперь даже, как вспомнишь… черт возьми! то есть как жаль, что ты не был. Вообрази, что в трех верстах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, сорок человек одних офицеров было в городе; как начали мы, братец, пить… Штабс-ротмистр Поцелуев… такой славный! усы, братец, такие! Бордо называет просто бурдашкой. «Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки!» Поручик Кувшинников… Ах, братец, какой премилый человек! вот уж, можно сказать, во всей форме кутила. Мы все были с ним вместе. Какого вина отпустил нам Пономарев! Нужно тебе знать, что он мошенник и в его лавке ничего нельзя брать: в вино мешает всякую дрянь: сандал, жженую пробку и даже бузиной, подлец, затирает; но зато уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку – ну просто, брат, находишься в эмпиреях. Шампанское у нас было такое – что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура, это значит двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием: бонбон. Запах? – розетка и все что хочешь. Уж так покутили!.. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским, нет ни одной бутылки во всем городе, все офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского!

– Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь, – заметил белокурый.

– Как честный человек говорю, что выпил, – отвечал Ноздрев.

– Ты можешь себе говорить все что хочешь, а я тебе говорю, что и десяти не выпьешь.

– Ну хочешь об заклад, что выпью!

– К чему же об заклад?

– Ну, поставь ружье, которое купил в городе.

– Не хочу.

– Ну да поставь, попробуй.

– И пробовать не хочу

– Да, был бы ты без ружья, как без шапки. Эх, брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было Я знаю, что ты бы не расстался с поручиком Кувшинниковым. Уж как бы вы с ним хорошо сошлись! Это не то что прокурор и все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Этот, братец, и в гальбик, и в банчишку, и во все что хочешь. Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой! Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя! Мижуев, смотри, вот судьба свела: ну что он мне или я ему? Он приехал бог знает откуда, я тоже здесь живу… А сколько было, брат, карет, и все это en gros[6]. В фортунку крутнул: выиграл две банки помады, фарфоровую чашку и гитару; потом опять поставил один раз и прокрутил, канальство, еще сверх шесть целковых. А какой, если б ты знал, волокита Кувшинников! Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодетая, рюши на ней, и трюши, и черт знает чего не было… я думаю себе только: «черт возьми!» А Кувшинников, то есть это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты… Поверишь ли, простых баб не пропустил. Это он называет: попользоваться насчет клубнички. Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привез с собою один; хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь?

– А я к человечку к одному, – сказал Чичиков.

– Ну, что человечек, брось его! поедем во мне!

– Нет, нельзя, есть дело.

– Ну вот уж и дело! уж и выдумал! Ах ты, Оподелок Иванович!

– Право, дело, да еще и нужное.

---

[6] В большом количестве (франц.)

– Пари держу, врешь! Ну скажи только, к кому едешь?

– Ну, к Собакевичу.

Здесь Ноздрей захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки, а сосед за двумя дверями, в третьей комнате, вскидывается со сна, вытаращив очи и произнося: «Эк его разобрало!»

– Что ж тут смешного? – сказал Чичиков, отчасти недовольный таким смехом.

Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговаривая:

– Ой, пощади, право, тресну со смеху!

– Ничего нет смешного: я дал ему слово, – сказал Чичиков.

– Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему, это просто жидомор! Ведь я знаю твой характер, ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братец: ну к черту Собакевича, поедем во мне! каким балыком попотчую! Пономарев, бестия, так раскланивался, говорит: «Для вас только, всю ярмарку, говорит, обыщите, не найдете такого». Плут, однако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил: «Вы, говорю, с нашим откупщиком первые мошенники!» Смеется, бестия, поглаживая бороду. Мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке. Ах, брат, вот позабыл тебе сказать: знаю, что ты теперь не отстанешь, но за десять тысяч не отдам, наперед говорю. Эй, Порфирий! – закричал он, подошедши к окну, на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички. – Эй, Порфирий, – кричал Ноздрев, – принеси-ка щенка! Каков щенок! – продолжал он, обращаясь к Чичикову. – Краденый, ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменял у Хвостырева… – Чичиков, впрочем, отроду не видел ни каурой кобылы, ни Хвостырева.

– Барин! ничего не хотите закусить? – сказала в это время, подходя к нему, старуха.

– Ничего. Эх, брат, как покутили! Впрочем, давай рюмку водки; какая у тебя есть?

– Анисовая, – отвечала старуха.

– Ну, давай анисовой, – сказал Ноздрей.

– Давай уж и мне рюмку! – сказал белокурый.

– В театре одна актриса так, каналья, пела, как канарейка! Кувшинников, который сидел возле меня, «Вот, говорит, брат, попользоваться бы насчет клубнички!» Одних балаганов, я думаю, было пятьдесят. Фенарди четыре часа вертелся мельницею. – Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему за то низко поклонилась. – А, давай его сюда! – закричал он увидевши Порфирия, вошедшего с щенком. Порфирий был одет, так же как и барин, в каком-то архалуке, стеганном на вате, но несколько позамасленней.

– Давай его, клади сюда на пол!

Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю.

– Вот щенок! – сказал Ноздрев, взявши его за приподнявши рукою. Щенок испустил довольно жалобный вой.

– Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил, – сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая брюхо щенка, – и не подумал вычесать его?

– Нет, я его вычесывал.

– А отчего же блохи?

– Не могу знать. Статься может, как-нибудь из брички поналезли.

– Врешь, врешь, и не воображал чесать; я думаю, дурак, еще своих напустил. Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши, на-ка пощупай рукою.

– Да зачем, я и так вижу: доброй породы! – отвечал Чичиков.

– Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши!

Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши:

– Да, хорошая будет собака.

– А нос, чувствуешь, какой холодный? возьми-на рукою.

Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши:

– Хорошее чутье.

– Настоящий мордаш, – продолжал Ноздрев, – а, признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его!

Порфирий, взявши щенка под брюхо, унес его в бричку.

– Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне, пять верст всего, духом домчимся, а там, пожалуй, можешь и к Собакевичу.

«А что ж, – подумал про себя Чичиков, – заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других, такой же человек, да еще и пройг-

рался. Горазд он, как видно, на все, стало быть у него даром можно кое-что выпросить».

– Изволь, едем, – сказал он, – но чур не задержать, мне время дорого.

– Ну, душа, вот это так! Вот это хорошо, постой же, я тебя поцелую за это. – Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались. – И славно: втроем и покатим!

– Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти, – говорил белокурый, – мне нужно домой.

– Пустяки, пустяки, брат, не пущу.

– Право, жена будет сердиться; теперь же ты можешь, пересесть вот в ихнюю бричку.

– Ни, ни, ни! И не думай.

Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противуположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке; а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку, – словом, начнут гладью, а кончат гадью.

– Вздор! – сказал Ноздрев в ответ на каков-то ставление белокурого, надел ему на голову картуз, и – белокурый отправился вслед за ними.

– За водочку, барин, не заплатили… – сказала старуха

– А, хорошо, хорошо, матушка. Послушай, зятек! заплати, пожалуйста. У меня нет ни копейки в кармане.

– Сколько тебе? – сказал зятек.

– Да что, батюшка, двугривенник всего, – сказала старуха.

– Врешь, врешь. Дай ей полтину, предовольно с нее.

– Маловато, барин, – сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностию и еще побежала впопыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка.

Приезжие уселись. Бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли сво-

бодно между собою разговаривать в продолжение дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая колясчонка Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком.

Так как разговор, который путешественники вели между собою, был не очень интересен для читателя, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть, доведется сыграть не вовсе последнюю роль в нашей поэме.

Лицо Ноздрева, верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слывут еще в детстве и в школе за хороших товарищей и при всем том бывают весьма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе «ты». Дружбу заведут, кажется, навек: но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. Ноздрев в тридцать пять лет был таков же совершенно, каким был в осьмнадцать и двадцать: охотник погулять. Женитьба его ничуть не переменила, тем более что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши двух ребятишек, которые решительно ему были не нужны. За детьми, однако ж, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами; он уж в одно мгновенье ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку к картишкам. В картишки, как мы уже видели из первой главы, играл он не совсем безгрешно и чисто, зная много разных передержек и других тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою: или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густым и очень хорошим бакенбардам, так что возвращался домой он иногда с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежних. И что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, он чрез несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его тузили, и встречался как ни в чем не бывало, и он, как говорится, ничего, и они ничего.

Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другим никак не будет: или нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или провrется самым жестоким образом, так что наконец самому сделается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнесши: «Ну, брат, ты, кажется, уже начал пули лить». Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах, с благородною наружностию, со звездой на груди, будет вам жать руку, разговорится с вами о предметах глубоких, вызывающих на размышления, а потом, смотришь, тут же, пред вашими глазами, и нагадит вам. И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек во звездой на груди, разговаривающий о предметах, вызывающих на размышление, так что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего более. Такую же странную страсть имел и Ноздрев. Чем кто ближе с ним сходился, тому он скорее всех насаливал: распускал небылицу, глупее которой трудно выдумать, расстроивал свадьбу, торговую сделку и вовсе не почитал себя вашим неприятелем; напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь по-дружески и даже говорил: «Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь». Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все что ни есть на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь – все было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть: это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупичатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, са-

погов, фаянсовую посуду – насколько хватало денег. Впрочем, редко случалось, чтобы это было довезено домой; почти в тот же день спускалось оно все другому, счастливейшему игроку, иногда даже прибавлялась собственная трубка с кисетом и мундштуком, а в другой раз и вся четверня со всем: с коляской и кучером, так что сам хозяин отправлялся в коротеньком сюртучке или архалуке искать какого-нибудь приятеля, чтобы попользоваться его экипажем. Вот какой был Ноздрев! Может быть, назовут его характером избитым, станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы! несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком.

Между тем три экипажа подкатили уже к крыльцу дома Ноздрева. В доме не было никакого приготовления к их принятию. Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, затягивая какую-то бесконечную песню; пол весь был обрызган белилами. Ноздрев приказал тот же час мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеления. Гости слышали, как он заказывал повару обед; сообразив это, Чичиков, начинавший уже несколько чувствовать аппетит, увидел, что раньше пяти часов они не сядут за стол. Ноздрев, возвратившись, повел гостей осматривать все, что ни было у него на деревне, и в два часа с небольшим показал решительно все, так что ничего уж больше не осталось показывать. Прежде всего пошли они обсматривать конюшню, где видели двух кобыл, одну серую в яблоках, другую каурую, потом гнедого жеребца, на вид и неказистого, но за которого Ноздрев божился, что заплатил десять тысяч.

– Десять тысяч ты за него не дал, – заметил зять. – Он и одной не стоит.

– Ей-богу, дал десять тысяч, – сказал Ноздрев.

– Ты себе можешь божиться, сколько хочешь, – отвечал зять.

– Ну, хочешь, побьемся об заклад! – сказал Ноздрев.

Об заклад зять не захотел биться.

Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже хорошие лошади. В этой же конюшне видели козла, которого, по старому поверью, почитали необходимым держать при лошадях, который, как казалось, был с ними в ладу, гулял под их брюхами, как

у себя дома. Потом Ноздрев повел их глядеть волчонка, бывшего на привязи. «Вот волчонок! – сказал он. – Я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он был совершенным зверем!» Пошли смотреть пруд, в котором, по словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку, в чем, однако ж, родственник не преминул усомниться. «Я тебе, Чичиков, – сказал Ноздрев, – покажу отличнейшую пару собак: крепость черных мясом просто наводит изумление, щиток – игла!» – и повел их к выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному большим загороженным со всех сторон двором. Вошедши на двор, увидели там всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей: муругих, черных с подпалинами, полвопегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих… Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства; все они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собачеев прави'лами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук десять из них положили свои лапы Ноздреву на плеча. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тут же выплюнул. Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов, – хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука; осмотрели и суку – сука, точно, была слепая. Потом пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы, в которую утверждается верхний камень, быстро вращающийся на веретене, – «порхающий», по чудному выражению русского мужика.

– А вот тут скоро будет и кузница! – сказал Ноздрев. Немного прошедши, они увидели, точно, кузницу, осмотрели и кузницу.

– Вот на этом поле, – сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле, – русаков такая гибель, что земли не видно; я сам своими руками поймал одного за задние ноги.

– Ну, русака ты не поймаешь рукою! – заметил зять.

– А вот же поймал, нарочно поймал! – отвечал Ноздрев – Теперь я поведу тебя посмотреть, – продолжал он, обращаясь к Чичикову, – границу, где оканчивается моя земля.

Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. Чичиков начинал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавливали под собою воду, до такой степени место было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потом, увидя, что это ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где бо'льшая, а где меньшая грязь. Прошедши порядочное расстояние, увидели, точно, границу, состоявшую из деревянного столбика и узенького рва.

– Вот граница! – сказал Ноздрев. – Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, которым вон синеет, и все, что за лесом, все мое.

– Да когда же этот лес сделался твоим? – спросил зять. – Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой.

– Да, я купил его недавно, – отвечал Ноздрев.

– Когда же ты успел его так скоро купить?

– Как же, я еще третьего дня купил, и дорого, черт возьми, дал.

– Да ведь ты был в то время на ярмарке.

– Эх ты, Софрон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке и купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил.

– Да, ну разве приказчик! – сказал зять, но и тут усумнился и покачал головою.

Гости воротились тою же гадкою дорогою к дому. Ноздрев повел их в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги; висели только сабли и два ружья – одно в триста, а другое в восемьсот рублей. Зять, осмотревши, покачал только головою. Потом были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано: «Мастер Савелий Сибиряков». Вслед за тем показалась гостям шарманка. Ноздрев тут же провертел пред ними кое-что. Шарманка играла не без приятности, но в средине ее, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею: «Мальбруг в поход поехал», а «Мальбруг в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потому свистела она одна. Потом показались трубки – деревянные, глиняные, пенковые, обкуренные и необкуренные,

обтянутые замшею и необтянутые, чубук с янтарным мундштуком, недавно выигранный, кисет, вышитый какою-то графинею, где-то на почтовой станции влюбившеюся в него по уши, у которой ручки, по словам его, были самой субдительной сюперфлю, – слово, вероятно означавшее у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыком, они сели за стол близ пяти часов. Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец – он сыпал перец, капуста ли попалась – совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох – словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выдет. Зато Ноздрев налег на вина: еще не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и по другому госотерна, потому что в губернских и уездных городах не бывает простого сотерна. Потому Ноздрев велел принести бутылку мадеры, лучше которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера, точно, даже горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки, в надежде, что всё вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принесть какую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бургоньон и шампаньон вместе. Он наливал очень усердно в оба стакана, и направо и налево, и зятю и Чичикову; Чичиков заметил, однако же, как-то вскользь, что самому себе он не много прибавлял. Это заставило его быть осторожным, и как только Ноздрев как-нибудь заговаривался или наливал зятю, он опрокидывал в ту же минуту свой стакан в тарелку. В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе. Потом пили какой-то бальзам, носивший такое имя, которое даже трудно было припомнить, да и сам хозяин в другой раз назвал его уже другим именем. Обед давно уже кончился, и вина были перепробованы, но гости всё еще сидели за столом. Чичиков никак не хотел заговорить с Ноздревым при зяте насчет главного предмета. Все-таки зять был человек посторонний, а предмет требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуле,

ежеминутно клевался носом. Заметив и сам, что находился не в надежном состоянии, он стал наконец отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы, по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут.

– И ни-ни! не пущу! – сказал Ноздрев.

– Нет, не обижай меня, друг мой, право, поеду, – говорил зять, – ты меня очень обидишь.

– Пустяки, пустяки! мы соорудим сию минуту банчишку.

– Нет, сооружай, брат, сам, а я не могу, жена будет в большой претензии, право, я должен ей рассказать о ярмарке. Нужно, брат, право, нужно доставить ей удовольствие. Нет, ты не держи меня!

– Ну ее, жену, к..! важное в самом деле дело станете делать вместе!

– Нет, брат! она такая почтенная и верная! Услуги оказывает такие... поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня; как честный человек, поеду. Я тебя в этом уверяю по истинной совести.

– Пусть его едет, что в нем проку! – сказал тихо Чичиков Ноздреву.

– А и вправду! – сказал Ноздрев. – Смерть не люблю таких растепелей! – и прибавил вслух: – Ну, черт с тобою, поезжай бабиться с женою, фетюк![7]

– Нет, брат, ты не ругай меня фетюком, – отвечал зять, – я ей жизнью обязан. Такая, право, добрая, милая, такие ласки оказывает... до слез разбирает; спросит, что видел на ярмарке – нужно все рассказать, такая, право, милая.

– Ну поезжай, ври ей чепуху! Вот картуз твой.

– Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться; этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь, она такая милая.

– Ну, так и убирайся к ней скорее!

– Да, брат, поеду, извини, что не могу остаться. Душой рад бы был, но не могу.

Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам уже давно сидел в бричке, давно выехал за ворота и перед ним давно были одни пустые поля. Должно думать, что жена не много слышала подробностей о ярмарке.

---

[7] Фетюк – слово, обидное для мужчины, происхоит от Фиты – буквы, почитаемой некоторыми неприличною буквою. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

– Такая дрянь! – говорил Ноздрев, стоя перед окном и глядя на уезжавший экипаж. – Вон как потащился! конек пристяжной недурен, я давно хотел подцепить его. Да ведь с ним нельзя никак сойтиться. Фетюк, просто фетюк!

Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт.

– А что брат, – говорил Ноздрев, прижавши бока колоды пальцами и несколько погнувши ее, так что треснула и отскочила бумажка. – Ну, для препровождения времени, держу триста рублей банку!

Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь, и сказал, как бы вдруг припомнив:

– А! чтоб не позабыть: у меня к тебе просьба.

– Какая?

– Дай прежде слово, что исполнишь.

– Да какая просьба?

– Ну, да уж дай слово!

– Изволь

– Честное слово?

– Честное слово.

– Вот какая просьба: у тебя есть, чай, много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуть из ревизии?

– Ну есть, а что?

– Переведи их на меня, на мое имя.

– А на что тебе?

– Ну да мне нужно.

– Да на что?

– Ну да уж нужно… уж это мое дело, – словом, нужно.

– Ну уж, верно, что-нибудь затеял. Признайся, что?

– Да что ж затеял? из этакого пустяка и затеять ничего нельзя.

– Да зачем же они тебе?

– Ох, какой любопытный! ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать!

– Да к чему ж ты не хочешь сказать?

– Да что же тебе за прибыль знать? ну, просто так, пришла фантазия.

– Так вот же: до тех пор, пока не скажешь, не сделаю!

– Ну вот видишь, вот уж и нечестно с твоей стороны: слово дал, да и на попятный двор.

– Ну, как ты себе хочешь, а не сделаю, пока не скажешь, на что.

«Что бы такое сказать ему?» – подумал Чичиков в после минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе, что он поместьев больших не имеет, так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки.

– Врешь, врешь! – сказал Ноздрев, не давши окончить. – Врешь, брат!

Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко и предлог довольно слаб.

– Ну, так я ж тебе скажу прямее, – сказал он, поправившись, – только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумал жениться; но нужно тебе знать, что отец и мать невесты преамбициозные люди. Такая, право, комиссия: не рад, что связался, хотят непременно, чтоб у жениха было никак не меньше трехсот душ, а так как у меня целых почти полутораста крестьян недостает…

– Ну врешь! врешь! – закричал опять Ноздрев.

– Ну вот уж здесь, – сказал Чичиков, – ни вот на столько не солгал, – и показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть.

– Голову ставлю, что врешь!

– Однако ж это обидно! что же я такое в самом деле! почему я непременно лгу?

– Ну да ведь я знаю тебя: ведь ты большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе! Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве.

Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся.

– Ей-богу, повесил бы, – повторил Ноздрев, – я тебе говорю это откровенно, не с тем чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю.

– Всему есть границы, – сказал Чичиков с чувством достоинства. – Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы, – и потом присовокупил: – Не хочешь подарить, так продай.

– Продать! Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них?

– Эх, да ты ведь тоже хорош! смотри ты! что они у тебя бриллиантовые, что ли?

– Ну, так и есть. Я уж тебя знал.

– Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское побуждение. Ты бы должен просто отдать мне их.

– Ну, послушай, чтоб доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу.

– Помилуй, на что ж мне жеребец? – сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением.

– Как на что? да ведь я за него заплатил десять тысяч, а тебе отдаю за четыре.

– Да на что мне жеребец? завода я не держу.

– Да послушай, ты не понимаешь: ведь я с тебя возьму теперь всего только три тысячи, а остальную тысячу ты можешь заплатить мне после.

– Да не нужен мне жеребец, бог с ним!

– Ну, купи каурую кобылу.

– И кобылы не нужно.

– За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму я с тебя только две тысячи.

– Да не нужны мне лошади.

– Ты их продашь, тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше.

– Так лучше ж ты их сам продай, когда уверен, что выиграешь втрое.

– Я знаю, что выиграю, да мне хочется, чтобы и ты получил выгоду.

Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от каурой кобылы.

– Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже подирает! брудастая, с усами, шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребр уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет.

– Да зачем мне собаки? я не охотник.

– Да мне хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если уж не хочешь собак, так купи у меня шарманку, чудная шарманка; самому, как честный человек, обошлась в полторы тысячи. Тебе отдаю за девятьсот рублей.

– Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы, тащася с ней по дорогам, выпрашивать деньги.

– Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган; посмотри нарочно: вся из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще! – Здесь Ноздрев, схвативши за руку Чичикова, стал тащить его в другую комнату, и как тот ни упирался ногами в пол и ни уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбруг. – Когда ты не хочешь на деньги, так вот что, слушай: я тебе дам шарманку и все, сколько ни есть у меня, мертвые души, а ты мне дай свою бричку и триста рублей придачи.

– Ну вот еще, а я-то в чем поеду?

– Я тебе дам другую бричку. Вот пойдем в сарай, я тебе покажу ее! Ты ее только перекрасишь, и будет чудо бричка.

«Эк его неугомонный бес как обуял!» – подумал про себя Чичиков и решился во что бы то ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на непостижимую уму бочковатость ребр и комкость лап.

– Да ведь бричка, шарманка и мертвые души, все вместе!

– Не хочу, – сказал еще раз Чичиков.

– Отчего ж ты не хочешь?

– Оттого, что просто не хочу, да и полно.

– Экой ты, право, такой! с тобой, как я вижу, нельзя, как водится между хорошими друзьями и товарищами, такой, право!.. Сейчас видно, что двуличный человек!

– Да что же я, дурак, что ли? ты посуди сам: зачем же приобретать вещь, решительно для меня ненужную?

– Ну уж, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая, право, ракалия! Ну, послушай, хочешь метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту, шарманку тоже.

– Ну, решаться в банк, значит подвергаться неизвестности, – говорил Чичиков и между тем взглянул искоса на бывшие в руках у него карты. Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и самый крап глядел весьма подозрительно.

– Отчего ж неизвестности? – сказал Ноздрев. – Никакой неизвестности! будь только на твоей стороне счастие, ты можешь выиграть чертову пропасть. Вон она! экое счастье! – говорил он, начиная метать для возбуждения задору. – Экое счастье! экое счастье! вон: так и колотит! вот та проклятая девятка, на которой я все просадил!

Чувствовал, что продаст, да уже, зажмурив глаза, думаю себе: «Черт тебя побери, продавай, проклятая!»

Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку. Но Чичиков отказался решительно как играть, так и пить.

– Отчего ж ты не хочешь играть? – сказал Ноздрев.

– Ну оттого, что не расположен. Да, признаться сказать, я вовсе не охотник играть.

– Отчего ж не охотник?

Чичиков пожал плечами и прибавил:

– Потому что не охотник.

– Дрянь же ты!

– Что ж делать? так бог создал.

– Фетюк просто! Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким… никакого прямодушия, ни искренности! совершенный Собакевич, такой подлец!

– Да за что же ты бранишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если уж ты такой человек, что дрожишь из-за этого вздору.

– Черта лысого получишь! хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же! Хоть три царства давай, не отдам. Такой шильник, печник гадкий! С этих пор с тобой никакого дела не хочу иметь. Порфирий, ступай скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его, пусть их едят одно сено.

Последнего заключения Чичиков никак не ожидал.

– Лучше б ты мне просто на глаза не показывался! – сказал Ноздрев.

Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гость и хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с какие-то кипрским, которое было то, что называют кислятина во всех отношениях. После ужина Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель:

– Вот тебе постель! Не хочу и доброй ночи желать тебе!

Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренно досадовал на себя, бранил себя за то, что к нему заехал и потерял даром время. Но еще более бранил себя за то, что заговорил с ним о деле, поступил неосторожно, как ребе-

нок, как дурак: ибо дело совсем не такого роду, чтобы быть вверену Ноздреву… Ноздрев человек-дрянь, Ноздрев может наврать, прибавить, распустить черт знает что, выйдут еще какие-нибудь сплетни – нехорошо, нехорошо. «Просто дурак я». – говорил он сам себе. Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие пребойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: «А, чтоб вас черт побрал вместе с Ноздревым!» Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате, с трубкою в зубах.

Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось.

– Так себе, – отвечал Чичиков весьма сухо.

– А я, брат, – говорил Ноздрев, – такая мерзость лезла всю ночь, что гнусно рассказывать, и во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Представь: снилось, что меня высекли, ей-ей! и, вообрази, кто? Вот ни за что не угадаешь: штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым.

«Да, – подумал про себя Чичиков, – хорошо бы, если б тебя отодрали наяву».

– Ей-богу! да пребольно! Проснулся: черт возьми, в самом деле что-то почесывается, – верно, ведьмы блохи. Ну, ты ступай теперь одевайся, я к тебе сейчас приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика.

Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкою рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина; кажется, половая щетка не притрогивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна даже была на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирюльным вывескам, или выстриженных под гребенку.

– Ну, так как же думаешь? – сказал Ноздрев, немного помолчавши. – Не хочешь играть на души?

– Я уже сказал тебе, брат, что не играю; купить – изволь, куплю.

– Продать я не хочу, это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевы с черт знает чего. В бантик – другое дело. Прокинем хоть талию!

– Я уж сказал, что нет.

– А меняться не хочешь?

– Не хочу.

– Ну, послушай, сыграем в шашки, выиграешь – твои все. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии. Эй, Порфирий, принеси-ка сюда шашечницу.

– Напрасен труд, я не буду играть.

– Да ведь это не в банк; тут никакого не может быть счастия или фальши: все ведь от искусства; я даже тебя предваряю, что я совсем не умею играть, разве что-нибудь мне дашь вперед.

«Сем-ка я, – подумал про себя Чичиков, – сыграю с ним в шашки! В шашки игрывал я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться».

– Изволь, так и быть, в шашки сыграю.

– Души идут в ста рублях!

– Зачем же? довольно, если пойдут в пятидесяти.

– Нет, что ж за куш пятьдесят? Лучше ж в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам.

– Ну, изволь! – сказал Чичиков.

– Сколько же ты мне дашь вперед? – сказал Ноздрев.

– Это с какой стати? Конечно, ничего.

– По крайней мере пусть будут мои два хода.

– Не хочу, я сам плохо играю.

– Знаем мы вас, как вы плохо играете! – сказал Ноздрев, выступая шашкой.

– Давненько не брал я в руки шашек! – говорил Чичиков, подвигая тоже шашку.

– Знаем мы вас, как вы плохо играете! – сказал Ноздрев, выступая шашкой.

– Давненько не брал я в руки шашек! – говорил Чичиков, подвигая шашку.

– Знаем мы вас, как вы плохо играете! – сказал Ноздрев, подвигая шашку, да в то же самое время подвинул обшлагом рукава и другую шашку.

– Давненько не брал я в руки!.. Э, э! это, брат, что? отсади-ка ее назад! – говорил Чичиков.

– Кого?

– Да шашку-то, – сказал Чичиков и в то же время увидел перед самым носом своим другую, которая, как казалось, пробиралась в дамки; откуда она взялась это один только бог знал. – Нет, – сказал Чичиков, вставши из-за стола, – с тобой нет никакой возможности играть! Этак не ходят, по три шашки вдруг!

– Отчего ж по три? Это по ошибке. Одна подвинулась нечаянно, я ее отодвину, изволь.

– А другая-то откуда взялась?

– Какая другая?

– А вот эта, что пробирается в дамки?

– Вот тебе на, будто не помнишь!

– Нет, брат, я все ходы считал и все помню; ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где!

– Как, где место? – сказал Ноздрев, покрасневши. – Да, ты, брат, как я вижу, сочинитель!

– Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно.

– За кого ж ты меня почитаешь? – говорил Ноздрев. – Стану я разве плутоватать?

– Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор никогда не буду.

– Нет, ты не можешь отказаться, – говорил Ноздрев, горячась, – игра начата!

– Я имею право отказаться, потому что ты не так играешь, как прилично честному человеку.

– Нет, врешь, ты этого не можешь сказать!

– Нет, брат, сам ты врешь!

– Я не плутовал, а ты отказаться не можешь, ты должен кончить партию!

– Этого ты меня не заставишь сделать, – сказал Чичиков хладнокровно и, подошедши к доске, смешал шашки.

Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил шага два назад.

– Я тебя заставлю играть! Это ничего, что ты смешал шашки, я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были.

– Нет, брат, дело кончено, я с тобою не стану играть.

– Так ты не хочешь играть?

– Ты сам видишь, что с тобою нет возможности играть.

– Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть? – говорил Ноздрев, подступая еще ближе.

– Не хочу! – сказал Чичиков и поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жарко.

Эта предосторожность была весьма у места, потому что Ноздрев размахнулся рукой… и очень бы могло статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестием; но, счастливо отведши удар, он схватил Ноздрева за обе задорные его руки и держал его крепко.

– Порфирий, Павлушка! – кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться.

Услыша эти слова, Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены и вместе с тем чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это самое время вошел Порфирий и с ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно.

– Так ты не хочешь оканчивать партии? – говорил Ноздрев. – Отвечай мне напрямик!

– Партии нет возможности оканчивать, – говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая, а Селифан ожидал, казалось, мановения, чтобы подкатить под крыльцо, но из комнаты не было никакой возможности выбраться: в дверях стояли два дюжих крепостных дурака.

– Так ты не хочешь доканчивать партии? – повторил Ноздрев с лицом, горевшим, как в огне.

– Если бы ты играл, как прилично честному человеку. Но теперь не могу.

– А! так ты не можешь, подлец! когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь! Бейте его! – кричал он исступленно, обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук. Чичиков стал бледен как полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука.

– Бейте его! – кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым

чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость. – Бейте его! – кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, все пошло кругом в голове его; перед ним носится Суворов, он лезет на великое дело. «Ребята, вперед!» – кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа, что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за-облака крепостных стен, что взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его, уже, зажмурив глаза, ни жив, ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина, и бог знает чего бы ни случилось с ним; но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задребезжавшие звуки колокольчика, раздался ясно стук колес подлетевшей к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки. Все невольно глянули в окно: кто-то, с усами, в полувоенном сюртуке, вылезал из телеги. Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный.

– Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев? – сказал незнакомец, посмотревши в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чубуком в руке, и на Чичикова, который едва начинал оправляться от своего невыгодного положения.

– Позвольте прежде узнать, с кем имею честь говорить? – сказал Ноздрев, подходя к нему ближе.

– Капитан-исправник.

– А что вам угодно?

– Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу.

– Что за вздор, по какому делу? – сказал Ноздрев.

– Вы были замешаны в историю, по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде.

– Вы врете! я и в глаза не видал помещика Максимова!

– Милостивый государь! позвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне!

Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку да по-за спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.

Глава пятая

Герой наш трухнул, однако ж, порядком. Хотя бричка мчалась во всю пропащую и деревня Ноздрева давно унеслась из вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками, но он все еще поглядывал назад со страхом, как бы ожидая, что вот-вот налетит погоня. Дыхание его переводилось с трудом, и когда он попробовал приложить руку к сердцу, то почувствовал, что оно билось, как перепелка в клетке. «Эк какую баню задал! смотри ты какой!» Тут много было посулено Ноздреву всяких нелегких и сильных желаний; попались даже и нехорошие слова. Что ж делать? Русский человек, да еще и в сердцах. К тому ж дело было совсем нешуточное. «Что ни говори, – сказал он сам в себе, – а не подоспей капитан-исправник, мне бы, может быть, не далось бы более и на свет божий взглянуть! Пропал бы, как волдырь на воде, без всякого следа, не оставивши потомков, не доставив будущим детям ни состояния, ни честного имени!» Герой наш очень заботился о своих потомках.

«Экой скверный барин! – думал про себя Селифан. – Я еще не видал такого барина. То есть плюнуть бы ему за это! Ты лучше человеку не дай есть, а коня ты должен кормить, потому что конь любит овес. Это его продовольство: что, примером, нам кошт, то для него овес, он его продовольство».

Кони тоже, казалось, думали невыгодно об Ноздреве: не только гнедой и Заседатель, но и сам чубарый был не в духе. Хотя ему на

часть и доставался всегда овес потуже и Селифан не иначе всыпал ему в корыто, как сказавши прежде: «Эх ты, подлец!» – но, однако ж, это все-таки был овес, а не простое сено, он жевал его с удовольствием и часто засовывал длинную морду свою в корытца к товарищам поотведать, какое у них было продовольствие, особливо когда Селифана не было в конюшне, но теперь одно сено… нехорошо; все были недовольны.

Но скоро все недовольные были прерваны среди излияний своих внезапным и совсем неожиданным образом. Все, не исключая и самого кучера, опомнились и очнулись только тогда, когда на них наскакала коляска с шестериком коней и почти над головами их раздалися крик сидевших в коляске дам, брань и угрозы чужого кучера: «Ах ты мошенник эдакой; ведь я тебе кричал в голос: сворачивай, ворона, направо! Пьян ты, что ли?» Селифан почувствовал свою оплошность, но так как русский человек не любит сознаться перед другим, что он виноват, то тут же вымолвил он, приосанясь: «А ты что так расскакался? глаза-то свои в кабаке заложил, что ли?» Вслед за сим он принялся отсаживать назад бричку, чтобы высвободиться таким образом из чужой упряжи, но не тут-то было, все перепуталось. Чубарый с любопытством обнюхивал новых своих приятелей, которые очутились по обеим сторонам его. Между тем сидевшие в коляске дамы глядели на все это с выражением страха в лицах. Одна была старуха, другая молоденькая, шестнадцатилетняя, с золотистыми волосами весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головке. Хорошенький овал лица ее круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел какою-то прозрачною белизною, когда свежее, только что снесенное, оно держится против света в смуглых руках испытующей его ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца; ее тоненькие ушки также сквозили, рдея проникавшим их теплым светом. При этом испуг в открытых, остановившихся устах, на глазах слезы – все это в ней было так мило, что герой наш глядел на нее несколько минут, не обращая никакого внимания на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» – кричал чужой кучер. Селифан потянул поводья назад, чужой кучер сделал то же, лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись, переступивши постромки. При этом обстоятельстве чубарому коню так понравилось новое знакомство, что он никак не хотел выходить из колеи,

в которую попал непредвиденными судьбами, и, положивши свою морду на шею своего нового приятеля, казалось, что-то нашептывал ему в самое ухо, вероятно, чепуху страшную, потому что приезжий беспрестанно встряхивал ушами.

На такую сумятицу успели, однако ж, собраться мужики из деревни, которая была, к счастию, неподалеку. Так как подобное зрелище для мужика сущая благодать, все равно что для немца газеты или клуб, то скоро около экипажа накопилась их бездна, и в деревне остались только старые бабы да малые ребята. Постромки отвязали; несколько тычков чубарому коню в морду заставали его попятиться; словом, их разрознили и развели. Но досада ли, которую почувствовали приезжие кони за то, что разлучили их с приятелями, или просто дурь, только, сколько ни хлестал их кучер, они не двигались и стояли как вкопанные. Участие мужиков возросло до невероятной степени. Каждый наперерыв совался с советом: «Ступай, Андрюшка, проведи-ка ты пристяжного, что с правой стороны, а дядя Митяй пусть сядет верхом на коренного! Садись, дядя Митяй!» Сухощавый и длинный дядя Митяй с рыжей бородой взобрался на коренного коня и сделался похожим на деревенскую колокольню, или, лучше, на крючок, которым достают воду в колодцах. Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было, ничего не пособил дядя Митяй. «Стой, стой! – кричали мужики. – Садись-ка ты, дядя Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядет дядя Миняй!» Дядя Миняй, широкоплечий мужик с черною, как уголь, бородою и брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка, с охотою сел на коренного, который чуть не пригнулся под ним до земли. «Теперь дело пойдет! – кричали мужики. – Накаливай, накаливай его! пришпандорь кнутом вон того, того, солового, что он горячится, как корамора!»[8] Но, увидевши, что дело не шло и не помогло никакое накаливанье, дядя Митяй и дядя Миняй сели оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконец, кучер, потерявши терпение, прогнал и дядю Митяя и дядю Миняя, и хорошо сделал, потому что от лошадей пошел такой пар, как будто бы они отхватали не переводя духа станцию. Он

[8] Корамора – большой, длинный, вялый комар; иногда залетает в комнату и торчит где-нибудь одиночкой на стене. К нему спокойно можно подойти и ухватить его за ногу, в ответ на что он только топырится или горячится, как говорит народ. *(Прим. Н.В. Гоголя.)*

дал им минуту отдохнуть, после чего они пошли сами собою. Во все продолжение этой проделки Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с нею заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на виденье, и опять осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных и неопрятно-плесневеющих низменных рядов ее, или среди однообразно-хладных и скучно-опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явленье, не похожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. Везде поперек каким бы ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг совершенно неожиданным образом показалась в нашей повести и так же скрылась. Попадись на ту пору вместо Чичикова какой-нибудь двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли он, или просто только что начавший жизненное поприще, – и боже! чего бы не проснулось, не зашевелилось, не заговорило в нем! Долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши бессмысленно очи в даль, позабыв и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры, и распеканья за промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и все, что ни есть в мире.

Но герой наш уже был средних лет и осмотрительно-охлажденного характера. Он тоже задумался и думал, но положительнее, не так безотчетны и даже отчасти очень основательны были его мысли. «Славная бабешка! – сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку. – Но ведь что, главное, в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь пансиона или института, что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть самого неприятного. Она теперь как

дитя, все в ней просто, она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. Из нее все можно сделать, она может быть чудо, а может выйти и дрянь, и выдет дрянь! Вот пусть-на только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. В один год так ее наполнят всяким бабьем, что сам родной отец не узнает. Откуда возьмется и надутость, и чопорность, станет ворочаться по вытверженным наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем, и как, и сколько нужно говорить, как на кого смотреть, всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем нужно, запутается наконец сама, и кончится тем, что станет наконец врать всю жизнь, и выдет просто черт знает что!» Здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил: «А любопытно бы знать, чьих она? что, как ее отец? богатый ли помещик почтенного нрава, или просто благомыслящий человек с капиталом, приобретенным на службе? Ведь если, положим, этой девушке да придать тысячонок двести приданого, из нее бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек. Это бы могло составить, так сказать, счастье порядочного человека». Двести тысячонок так привлекательно стали рисоваться в голове его, что он внутренно начал досадовать на самого себя, зачем в продолжение хлопотни около экипажей не разведал от форейтора или кучера, кто такие были проезжающие. Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету.

Деревня показалась ему довольно велика; два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее, были у ней справа и слева; посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темными или, лучше, дикими стенами, – дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин – удобства и, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На ко-

нюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тож срублены были на диво: не было кирчёных стен, резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в венце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, изо которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались. На крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввел Чичикова в сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто: «Прошу» – и повел его во внутренние жилья.

Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со своего плеча: хватила топором раз – вышел нос, хватила в другой – вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: «Живет!» Такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и в силу такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! совершенный медведь! Нужно же такое странное сближение: его даже звали Михайлом Семеновичем. Зная привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал

своими и давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот грех и тот же час спросил: «Не побеспокоил ли я вас?» Но Чичиков поблагодарил, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства.

Вошел в гостиную, Собакевич показал на кресла, сказавши опять: «Прошу!» Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах все были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Миаули, Канами. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бобелины, у самого окна, висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича. Гость и хозяин не успели помолчать двух минут, как дверь в гостиной отворилась и вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашенными домашнею краскою. Вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма.

– Это моя Феодулия Ивановна! – сказал Собакевич.

Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были вымыты огуречным рассолом.

– Душенька, рекомендую тебе, – продолжал Собакевич, – Павел Иванович Чичиков! У губернатора и почтмейстера имел честь познакомиться.

Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: «Прошу!» – и сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двинула более ни глазом, ни бровью.

Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел Канари с толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда в клетке.

Почти в течение целых пяти минут все хранили молчание; раздавался только стук, производимый носом дрозда о дерево деревянной клетки, на дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было, – все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома; в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья – все было самого тяжелого и беспокойного свойства, – словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» или: «И я тоже очень похож на Собакевича!»

– Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича, – сказал наконец Чичиков, видя, что никто не располагается начинать разговора, – в прошедший четверг. Очень приятно провели там время.

– Да, я не был тогда у председателя, – отвечал Собакевич.

– А прекрасный человек!

– Кто такой? – сказал Собакевич, глядя на угол печи.

– Председатель.

– Ну, может быть, это вам так показалось: он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил.

Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал:

– Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор какой превосходный человек!

– Губернатор превосходный человек?

– Да, не правда ли?

– Первый разбойник в мире!

– Как, губернатор разбойник? – сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники. – Признаюсь, этого я бы никак не подумал, – продолжал он. – Но позвольте, однако же, заметить: поступки его совершенно не такие, напротив, скорее даже мягкости в нем много. – Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его.

– И лицо разбойничье! – сказал Собакевич. – Дайте ему только нож да выпустите его на большую дорогу – зарежет, за копейку зарежет! Он да еще вице-губернатор – это Гога и Магога!

«Нет, он с ними не в ладах, – подумал про себя Чичиков. – А вот заговорю я с ним о полицеймейстере: он, кажется, друг его».

– Впрочем, что до меня, – сказал он, – мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакой характер прямой, открытый; в лице видно что-то простосердечное.

– Мошенник! – сказал Собакевич очень хладнокровно, – продаст, обманет, еще и пообедает с вами! Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.

После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться.

– Что ж, душенька, пойдем обедать, – сказала Собакевичу его супруга.

– Прошу! – сказал Собакевич.

Засим, подошевши к столу, где была закуска, гость и хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую; впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой стол был накрыт на четыре прибора. На четвертое место явилась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме: что-то без чепца, около тридцати лет, в пестром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель и думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст; а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто: ого-го!

– Щи, моя душа, сегодня очень хороши! – сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. – Эдакой няни, – продолжал он, обратившись к Чичикову, – вы не будете есть в городе, там вам черт знает что подадут!

– У губернатора, однако ж, недурен стол, – сказал Чичиков.

– Да знаете ли, из чего это все готовится? вы есть не станете, когда узнаете.

– Не знаю, как приготовляется, об этом я не могу судить, но свиные котлеты и разварная рыба были превосходны.

– Это вам так показалось. Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца.

– Фу! какую ты неприятность говоришь, – сказала супруга Собакевича.

– А что ж, душенька, так у них делается, я не виноват, так у них у всех делается. Все что ни есть ненужного, что Акулька у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, они его в суп! да в суп! туда его!

– Ты за столом всегда эдакое расскажешь! – возразила опять супруга Собакевича.

– Что ж, душа моя, – сказал Собакевич, – если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа. Возьмите барана, – продолжал он, обращаясь к Чичикову, – это бараний бок с кашей! Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, какая суток по четыре на рынке валяется! Это все выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это! Выдумали диету, лечить голодом! Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят! Нет, это все не то, это всё выдумки, это всё… – Здесь Собакевич даже сердито покачал головою. – Толкуют: просвещенье, просвещенье, а это просвещенье – фук! Сказал бы и другое слово, да вот только что за столом неприлично. У меня не так. У меня когда свинина – всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует. – Собакевич подтвердил это делом: он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки.

«Да, – подумал Чичиков, – у этого губа не дура».

– У меня не так, – говорил Собакевич, вытирая салфеткою руки, – у меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина: восемьсот душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха!

– Кто такой этот Плюшкин? – спросил Чичиков.

– Мошенник, – отвечал Собакевич. – Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех людей переморил голодом.

– Вправду! – подхватил с участием Чичиков. – И вы говорите, что у него, точно, люди умирают в большом количестве?

– Как мухи мрут.

– Неужели как мухи! А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?

– В пяти верстах.

– В пяти верстах! – воскликнул Чичиков и даже почувствовал небольшое сердечное биение. – Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?

– Я вам даже не советую дороги знать к этой собаке! – сказал Собакевич. – Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему.

– Нет, я спросил не для каких-либо, а потому только, что интересуюсь познанием всякого рода мест, – отвечал на это Чичиков.

За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом в теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печенками и невесть чем, что все ложилось комом в желудке. Этим обед и кончился; но когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюдечке варенье – ни груша, ни слива, ни иная ягода, до которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин. Хозяйка вышла, с тем чтобы накласть его и на другие блюдечки. Воспользовавшись ее отсутствием, Чичиков обратился к Собакевичу, который, лежа в креслах, только покряхтывал после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиков обратился к нему с такими словами:

– Я хотел было поговорить с вами об одном дельце.

– Вот еще варенье, – сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком, – редька, варенная в меду!

– А вот мы его после! – сказал Собакевич. – Ты ступай теперь в свою комнату, мы с Павлом Ивановичем скинем фраки, маленько приотдохнем!

Хозяйка уже изъявила было готовность послать за пуховиками и

подушками, но хозяин сказал: «Ничего, мы отдохнем в креслах», – и хозяйка ушла.

Собакевич слегка пригнул голову, приготовляясь слышать, в чем было дельце.

Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большою похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются… Собакевич все слушал, наклонивши голову. И что по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного, ревизские души, окончивши жизненное поприще, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми, чтоб таким образом не обременить присутственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложность и без того уже весьма сложного государственного механизма… Собакевич все слушал, наклонивши голову, – и что, однако же, при всей справедливости этой меры она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их взносить подати так, как бы за живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность. Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только несуществующими.

Собакевич слушал все по-прежнему, нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности

– Итак?.. – сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волнения ответа.

– Вам нужно мертвых душ? – спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.

– Да, – отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши: – несуществующих.

– Найдутся, почему не быть… – сказал Собакевич.

– А если найдутся, то вам, без сомнения… будет приятно от них избавиться?

– Извольте, я готов продать, – сказал Собакевич, уже несколько

приподнявши голову и смекнувши, что покупщик, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.

«Черт возьми, – подумал Чичиков про себя, – этот уж продает прежде, чем я заикнулся!» – и проговорил вслух:

– А, например, как же цена? хотя, впрочем, это такой предмет… что о цене даже странно…

– Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по сту рублей за штуку! – сказал Собакевич.

– По сту! – вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевши ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался, или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.

– Что ж, разве это для вас дорого? – произнес Собакевич и потом прибавил: – А какая бы, однако ж, ваша цена?

– Моя цена! Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю с своей стороны, положа на руку на сердце: по восьми гривен за душу, это самая красная ценз!

– Эк куда хватили – по восьми гривенок!

– Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя.

– Ведь я продаю не лапти.

– Однако ж согласитесь сами: ведь это тоже и не люди.

– Так вы думаете, сыщете такого дурака, который бы вам продал по двугривенному ревизскую душу?

– Но позвольте: зачем вы их называете ревизскими, ведь души-то самые давно уже умерли, остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по полтора рубли, извольте, дам, а больше не могу.

– Стыдно вам и говорить такую сумму! вы торгуйтесь, говорите настоящую цену!

– Не могу, Михаил Семенович, поверьте моей совести, не могу: чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать, – говорил Чичиков, однако ж по полтинке еще прибавил.

– Да чего вы скупитесь? – сказал Собакевич. – Право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души; а у меня что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей и не делал, как только

рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час, – прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!

Чичиков открыл рот, с тем чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова:

– А Пробка Степан, плотник? я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!

Чичиков опять хотел заметить, что и Пробки нет на свете; но Собакевича, как видно, пронесло: полились такие потоки речей, что только нужно было слушать:

– Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного. А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин.

– Но позвольте, – сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было, – зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это все народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.

– Да, конечно, мертвые, – сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил: – Впрочем, и то сказать что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди.

– Да все же они существуют, а это ведь мечта.

– Ну нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете: машинища такая, что в эту комнату не войдет; нет, это не мечта! А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади; хотел бы а знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту!

Последние слова он уже сказал, обратившись к висевшим на стене портретам Багратиона и Колокотрони, как обыкновенно случается с разговаривающими, когда один из них вдруг, неизвестно почему, обратится не к тому лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, от которого знает, что не услышит ни ответа, ни мнения,

ни подтверждения, но на которого, однако ж, так устремит взгляд, как будто призывает его в посредники; и несколько смешавшийся в первую минуту незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о котором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надлежащее приличие, и потом уже уйти прочь.

– Нет, больше двух рублей я не могу дать, – сказал Чичиков.

– Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю и не хочу сделать вам никакого одолжения, извольте – по семидесяти пяти рублей за душу, только ассигнациями, право только для знакомства!

«Что он в самом деле, – подумал про себя Чичиков, – за дурака, что ли, принимает меня?» – и прибавил потом вслух:

– Мне странно, право: кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия, иначе я не могу себе объяснить… Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет просто фу-фу. Что ж он стоит? кому нужен?

– Да вот вы же покупаете, стало быть нужен.

Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отвечать. Он стал было говорить про какие-то обстоятельства фамильные и семейственные, но Собакевич отвечал просто:

– Мне не нужно знать, какие у вас отношения; я в дела фамильные не мешаюсь, это ваше дело. Вам понадобились души, я и продаю вам, и будете раскаиваться, что не купили.

– Два рублика, – сказал Чичиков.

– Эк, право, затвердила сорока Якова одно про всякого, как говорит пословица; как наладили на два, так не хотите с них и съехать. Вы давайте настоящую цену!

«Ну, уж черт его побери, – подумал про себя Чичиков, – по полтине ему прибавлю, собаке, на орехи!»

– Извольте, по полтине прибавлю.

– Ну, извольте, и я вам скажу тоже мое последнее слово: пятьдесят рублей! Право, убыток себе, дешевле нигде не купите такого хорошего народа!

«Экой кулак!» – сказал про себя Чичиков и потом продолжал вслух с некоторою досадою:

– Да что в самом деле… как будто точно сурьезное дело; да я в другом месте нипочем возьму. Еще мне всякий с охотой сбудет их,

чтобы только поскорей избавиться. Дурак разве станет держать их при себе и платить за них подати!

– Но знаете ли, что такого рода покупки, я это говорю между нами, по дружбе, не всегда позволительны, и расскажи я или кто иной – такому человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства.

«Вишь, куды метит, подлец!» – подумал Чичиков и тут же произнес с самым хладнокровным видом:

– Как вы себе хотите, я покупаю не для какой-либо надобности, как вы думаете, а так, по наклонности собственных мыслей. Два с полтиною не хотите – прощайте!

«Его не собьешь, неподатлив!» – подумал Собакевич.

– Ну, бог с вами, давайте по тридцати и берите их себе!

– Нет, я вижу, вы не хотите продать, прощайте!

– Позвольте, позвольте! – сказал Собакевич, не выпуская его руки и наступив ему на ногу, ибо герой наш позабыл поберечься, в наказанье за что должен был зашипеть и подскочить на одной ноге.

– Прошу прощенья! я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйте, садитесь сюда! Прошу! – Здесь он усадил его в кресла с некоторою даже ловкостию, как такой медведь, который уже побывал в руках, умеет и перевертываться, и делать разные штуки на вопросы: «А покажи, Миша, как бабы парятся» или: «А как, Миша, малые ребята горох крадут?»

– Право, я напрасно время трачу, мне нужно спешить.

– Посидите одну минуточку, я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово. – Тут Собакевич подсел поближе и сказал ему тихо на ухо, как будто секрет: – Хотите угол?

– То есть двадцать пять рублей? Ни, ни, ни, даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю.

Собакевич замолчал. Чичиков тоже замолчал. Минуты две длилось молчание. Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку.

– Какая ж ваша будет последняя цена? – сказал наконец Собакевич.

– Два с полтиною.

– Право у вас душа человеческая все равно что пареная репа. Уж хоть по три рубли дайте!

– Не могу.

– Ну, нечего с вами делать, извольте! Убыток, да нрав такой собачий: не могу не доставить удовольствия ближнему. Ведь, я чай, нужно и купчую совершить, чтоб все было в порядке.

– Разумеется.

– Ну вот то-то же, нужно будет ехать в город.

Так совершилось дело. Оба решили, что завтра же быть в городе и управиться с купчей крепостью. Чичиков попросил списочка крестьян. Собакевич согласился охотно и тут же, подошед к бюро, собственноручно принялся выписывать всех не только поименно, но даже с означением похвальных качеств.

А Чичиков от нечего делать занялся, находясь позади рассматриваньем всего просторного его оклада. Как взглянул он на его спину, широкую, как у вятских приземистых лошадей, и на ноги его, походившие на чугунные тумбы, которые ставят на тротуарах, не мог не воскликнуть внутренно: «Эк наградил-то тебя бог! вот уж точно, как говорят, неладно скроен, да крепко сшит!.. Родился ли ты уж так медведем, или омедведила тебя захолустная жизнь, хлебные посевы, возня с мужиками, и ты чрез них сделался то, что называют человек-кулак? Но нет: я думаю, ты все был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя по моде, пустили бы в ход и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье. Вся разница в том, что теперь ты упишешь полбараньего бока с кашей, закусивши ватрушкою в тарелку, а тогда бы ты ел какие-нибудь котлетки с трюфелями. Да вот теперь у тебя под властью мужики: ты с ними в ладу и, конечно, их не обидишь, потому что они твои, тебе же будет хуже; а тогда бы у тебя были чиновники, которых бы ты сильно пощелкивал, смекнувши, что они не твои же крепостные, или грабил бы ты казну! Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь! А разогни кулаку один или два пальца, выдет еще хуже. Попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки, даст он знать потом, занявши место повиднее всем тем, которые в самом деле узнали какую-нибудь науку. Да еще, пожалуй, скажет потом: „Дай-ка себя покажу!“ Да такое выдумает мудрое постановление, что многим придется солоно… Эх, если бы все кулаки!..»

– Готова записка, – сказал Собакевич, оборотившись.

– Готова? Пожалуйте ее сюда! – Он пробежал ее глазами и подивился аккуратности и точности: не только было обстоятельно прописано ремесло, звание, лета и семейное состояние, но даже на

полях находились особенные отметки насчет поведения, трезвости, – словом, любо было глядеть.

– Теперь пожалуйте же задаточек, – сказал Собакевич.

– К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги.

– Все, знаете, так уж водится, – возразил Собакевич.

– Не знаю, как вам дать, я не взял с собою денег. Да, вот десять рублей есть.

– Что же десять! Дайте по крайней мере хоть пятьдесят!

Чичиков стал было отговариваться, что нет; но Собакевич так сказал утвердительно, что у него есть деньги, что он вынул еще бумажку, сказавши:

– Пожалуй, вот вам еще пятнадцать, итого двадцать. Пожалуйте только расписку.

– Да на что ж вам расписка?

– Все, знаете, лучше расписку. Не ровен час, все может случиться.

– Хорошо, дайте же сюда деньги!

– На что ж деньги? У меня вот они в руке! как только напишете расписку, в ту же минуту

– Да позвольте, как же мне писать расписку? прежде нужно видеть деньги.

Чичиков выпустил из рук бумажки Собакевичу, который, приблизившись к столу и накрывши их пальцами левой руки, другою написал на лоскутке бумаги, что задаток двадцать пять рублей государственными ассигнациями за проданные души получил сполна. Написавши записку, он пересмотрел еще раз ассигнации.

– Бумажка-то старенькая! – произнес он, рассматривая одну из них на свете, – немножко разорвана, ну да между приятелями нечего на это глядеть.

«Кулак, кулак! – подумал про себя Чичиков, – да еще и бестия в придачу!»

– А женского пола не хотите?

– Нет, благодарю.

– Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за штуку.

– Нет, в женском поле не нуждаюсь.

– Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусы нет закона: кто любит попа, а кто попадью, говорит пословица.

– Еще я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами, – говорил Чичиков, прощаясь.

– Да уж само собою разумеется. Третьего сюда нечего мешать; что по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной их дружбе. Прощайте! Благодарю, что посетили; прошу и впредь не забывать: коли выберется свободный часик, приезжайте пообедать, время провести. Может быть, опять случится услужить чем-нибудь друг другу.

«Да, как бы не так! – думал про себя Чичиков, садясь. в бричку. – По два с полтиною содрал за мертвую душу, чертов кулак!»

Он был недоволен поведением Собакевича. Все-таки, как бы то ни было, человек знакомый, и у губернатора, и у полицеймейстера видались, а поступил как бы совершенно чужой, за дрянь взял деньги! Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльце и, как казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поедет.

– Подлец, до сих пор еще стоит! – проговорил он сквозь зубы и велел Селифану, поворотивши к крестьянским избам, отъехать таким образом, чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны господского двора. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали, как мухи, но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это. Когда бричка была уже на конце деревни, он подозвал к себе первого мужика, который, попавши где-то на дороге претолстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к себе в избу.

– Эй, борода! а как проехать отсюда к Плюшкину, так чтоб не мимо господского дома?

Мужик, казалось, затруднился сим вопросом.

– Что ж, не знаешь?

– Нет, барин, не знаю.

– Эх, ты! А и седым волосом еще подернуло! скрягу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит людей?

– А! заплатанной, заплатанной! – вскрикнул мужик.

Было им прибавлено и существительное к слову «заплатанной», очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще усмехался, сидя в

бричке. Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное метко, все равно что писанное, не вырубливается топором. А уж куды бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы, – одной чертой обрисован ты с ног до головы!

Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами, рассыпано на святой, благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров нога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженье его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познаньем жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.

Глава шестая

Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, – любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатленье какой-нибудь заметной особенности, – все останавливало меня и поражало. Каменный ли казенный дом, известной архитектуры с половиною фальшивых окон, один-

одинешенек торчавший среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажных мещанских обывательских домиков, круглый ли правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленною, как снег, новою церковью, рынок ли, франт ли уездный, попавшийся среди города, – ничто не ускользало от свежего тонкого вниманья, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, мелькавшие из дверей овощной лавки вместе с банками высохших московских конфект, глядел и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного бог знает из какой губернии на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник пройди мимо – я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату, или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьей, и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая девка в монистах или мальчик в толстой куртке принесет уже после супа сальную свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую узкую деревянную колокольню или широкую темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали сквозь древесную зелень красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады и он покажется весь с своею, тогда, увы! вовсе не пошлою, наружностью; и по нем старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшею сестрицей, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам, или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу.

Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомый деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!

Покамест Чичиков думал и внутренно посмеивался над прозвищем, отпущенным мужиками Плюшкину, он не заметил, как въехал в средину обширного села со множеством изб и улиц. Скоро, однако же, дал заметить ему это препорядочный толчок, произведенный бревенчатою мостовою, пред которою городская каменная была ничто. Эти бревна, как фортепьянные клавиши, подымались то вверх, то вниз, и необеregшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или синее пятно на лоб, или же случалось своими собственными зубами откусить пребольно хвостик собственного же языка. Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди по сторонам в виде ребр. Кажется, сами хозяева снесли с них дранье и тес, рассуждая, и, конечно, справедливо, что в дождь избы не кроют, а в ведро и сама не каплет, бабиться же в ней незачем, когда есть простор и в кабаке, и на большой дороге, – словом, где хочешь. Окна в избенках были без стекол, иные были заткнуты тряпкой или зипуном; балкончики под крышами с перилами, неизвестно для каких причин делаемые в иных русских избах, покосились и почернели даже не живописно. Из-за изб тянулись во многих местах рядами огромные клади хлеба, застоявшиеся, как видно, долго; цветом походили они на старый, плохо выжженный кирпич, на верхушке их росла всякая дрянь, и даже прицепился сбоку кустарник. Хлеб, как видно, был господский. Из-за хлебных кладей и ветхих крыш возносились и мелькали на чистом воздухе, то справа, то слева, по мере того как бричка делала повороты, две сельские церкви, одна возле другой: опустевшая деревянная и каменная, с желтенькими стенами, испятнанная, истрескавшаяся. Частями стал выказываться господский дом и наконец глянул весь в том месте, где цепь изб прервалась и наместо их остался пустырем огород или капустник, обнесенный низкою, местами изломанною городьбою. Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два; на темной крыше, не везде надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишенные когда-то покрывавшей их краски. Стены дома ощеливали местами нагую штукатурную решетку и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями

или даже забиты досками. Эти два окна, с своей стороны, были тоже подслеповаты; на одном из них темнел наклеенный треугольник из синей сахарной бумаги.

Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна; косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; оно было окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушена нее перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, под один из которых забравшись бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и ни-

щенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности.

Сделав один или два поворота, герой наш очутился наконец перед самым домом, который показался теперь еще печальнее. Зеленая плесень уже покрыла ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений: людских, амбаров, погребов, видимо ветшавших, – наполняла двор; возле них направо и налево видны были ворота в другие дворы. Все говорило, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере, и все глядело ныне пасмурно. Ничего не заметно было оживляющего картину: ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома! Только одни главные ворота были растворены, и то потому, что въехал мужик с нагруженною телегою, покрытою рогожею, показавшийся как бы нарочно для оживления сего вымершего места; в другое время и они были заперты наглухо, ибо в железной петле висел замок-исполин. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сиплым для женщины. «Ой, баба! – подумал он про себя и тут же прибавил: – Ой, нет!» – «Конечно, баба!» – наконец сказал он, рассмотрев попристальнее. Фигура с своей стороны глядела на него тоже пристально. Казалось, гость был для нее в диковинку, потому что она обсмотрела не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная с хвоста и до морды. По висевшим у ней за поясом ключам и по тому, что она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это, верно, ключница.

– Послушай, матушка, – сказал он, выходя из брички, – что барин?..

– Нет дома, – прервала ключница, не дожидаясь окончания вопроса, и потом, спустя минуту, прибавила: – А что вам нужно?

– Есть дело!

– Идите в комнаты! – сказала ключница, отворотившись и показав ему спину, запачканную мукою, с большой прорехою пониже.

Он вступил в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть

озаренную светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный с боков к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюре, выложенном перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множества всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов.

По стенам навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин: длинный пожелтевший гравюр какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями, без стекла, вставленный в раму красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по углам. В ряд с ними занимала полстены огромная почерневшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку. С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столах. Что именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высовывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо, если бы не возвещал его пребыванье старый, поношенный колпак, лежавший на столе. Пока он рассматривал все странное убранство, отворилась боковая дверь и взошла та же са-

мая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее ключник, чем ключница: ключница по крайней мере не бреет бороды, а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, какою чистят на конюшне лошадей. Чичиков, давши вопросительное выражение лицу своему, ожидал с нетерпеньем, что хочет сказать ему ключник. Ключник тоже с своей стороны ожидал, что хочет ему сказать Чичиков. Наконец последний, удивленный таким странным недоумением, решился спросить:

– Что ж барин? у себя, что ли?

– Здесь хозяин, – сказал ключник.

– Где же? – повторил Чичиков.

– Что, батюшка, слепы-то, что ли? – спросил ключник. – Эхва! А вить хозяин-то я!

Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Ему случалось видеть немало всякого рода людей, даже таких, какие нам с читателем, может быть, никогда не придется увидать; но такого он еще не видывал. Лицо его не представляло ничего особенного; оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков, один подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать; маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо к чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша. Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик. У этого помещика была тысяча с лишком душ, и

попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся, – ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы и где горами белеет всякое дерево – шитое, точеное, леченое и плетеное: бочки, пересеки, ушаты, лагуны', жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья' из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него, – но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь сим, он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, – все тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Вон уже рыболов пошел на охоту!» – говорили мужики, когда видели его, идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было мести улицу: случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу; если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро. Впрочем, когда приметивший мужик уличал его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь; но если только она попадала в кучу, тогда все кончено: он божился, что вещь его, куплена им тогда-то, у того-то или досталась от деда. В комнате своей он подымал с пола все, что ни видел: сургучик, лоскуток бумажки, перышко, и все это клал на бюро или на окошко.

А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! был женат и семьянин, и сосед заезжал к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размеренным ходом: двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, столярные станки, прядильни; везде во все входил зоркий взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук,

бегал хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хозяйственной паутины. Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум; опытностию и познанием света была проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать; приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебосольством; навстречу выходили две миловидные дочки, обе белокурые и свежие, как розы; выбегал сын, разбитной мальчишка, и целовался со всеми, мало обращая внимания на то, рад ли, или не рад был этому гость. В доме были открыты все окна, антресоли были заняты квартирою учителя-француза, который славно брился и был большой стрелок: приносил всегда к обеду тетерек или уток, а иногда и одни воробьиные яйца, из которых заказывал себе яичницу, потому что больше в целом доме никто ее не ел. На антресолях жила также его компатриотка, наставница двух девиц. Сам хозяин являлся к столу в сюртуке, хотя несколько поношенном, но опрятном, локти были в порядке: нигде никакой заплаты. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. На старшую дочь Александру Степановну он не мог во всем положиться, да и был прав, потому что Александра Степановна скоро убежала с штабс-ротмистром, бог весть какого кавалерийского полка, и повенчалась с ним где-то наскоро в деревенской церкви, зная, что отец не любит офицеров по странному предубеждению, будто бы все военные картежники и мотишки. Отец послал ей на дорогу проклятие, а преследовать не заботился. В доме стало еще пустее. Во владельце стала заметнее обнаруживаться скупость, сверкнувшая в жестких волосах его седина, верная подруга ее, помогла ей еще более развиться; учитель-француз был отпущен, потому что сыну пришла пора на службу; мадам была прогнана, потому что оказалась не безгрешною в похищении Александры Степановны; сын, будучи отправлен в губернский город, с тем чтобы узнать в палате, по мнению отца, службу существенную, определился вместо того в полк и написал к отцу уже по своем определении, прося денег на обмундировку; весьма естественно, что он получил на это то, что называется в простонародии шиш. Наконец последняя дочь, остававшаяся с ним в доме, умерла, и старик очутился один сторожем, хранителем и владетелем своих богатств. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем

становится ненасытнее; человеческие чувства, которые и без того не были в нем глубоки, мелели ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. Случись же под такую минуту, как будто нарочно в подтверждение его мнения о военных, что сын его проигрался в карты; он послал ему от души свое отцовское проклятие и никогда уже не интересовался знать, существует ли он на свете, или нет. С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из которых одно, как уже видел читатель, было заклеено бумагою; с каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате; неуступчивее становился он к покупщикам, которые приезжали забирать у него хозяйственные произведения; покупщики торговались, торговались и наконец бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек; сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее рубить, к сукнам, холстам и домашним материям страшно было притронуться: они обращались в пыль. Он уже позабывал сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкафу графинчик с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил, да где лежало перышко или сургучик. А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему: столько же оброку должен был принесть мужик, таким же приносом орехов обложена была всякая баба, столько же поставов холста должна была наткать ткачиха, – все это сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха, и сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве. Александра Степановна как-то приезжала раза два с маленьким сынком, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить; видно, походная жизнь с штабс-ротмистром не была так привлекательна, какою казалась до свадьбы. Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе, но денег ничего не дал. В другой раз Александра Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у батюшки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. Плюшкин приласкал обоих внуков и, посадивши их к себе одного на правое колено, а другого на левое, покачал их совершенно

таким образом, как будто они ехали на лошадях, кулич и халат взял, но дочери решительно ничего не дал; с тем и уехала Александра Степановна.

Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым! Должно сказать, что подобное явление редко попадается на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться, и тем поразительнее бывает оно, что тут же в соседстве подвернется помещик, кутящий во всю ширину русской удали и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь. Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких, темных владельцев: дворцами глядят его белые каменные домы с бесчисленным множеством труб, бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими помещениями для приезжих гостей. Чего нет у него? Театры, балы; всю ночь сияет убранный огнями и плошками, оглашенный громом музыки сад. Полгубернии разодето и весело гуляет под деревьями, и никому не является дикое и грозящее в сем насильственном освещении, когда театрально выскакивает из древесной гущи озаренная поддельным светом ветвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнее, и суровее, и в двадцать раз грознее является чрез то ночное небо и, далеко трепеща листьями в вышине, уходя глубже в непробудный мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишурный блеск, осветивший снизу их корни.

Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков все еще не мог начать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснять причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и «редкие свойства души» можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок»; и потому, преобразивши таким образом речь, он сказал, что, наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение. Конечно, можно было бы привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум.

На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было, что именно, неизвестно, но, вероятно, смысл был таков: «А побрал бы тебя черт с твоим почтением!» Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах преступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее: «Прошу покорнейше садиться!»

– Я давненько не вижу гостей, – сказал он, – да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущения… да и лошадей их корми сеном! Я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то совсем развалилась: начнешь топить, еще пожару наделаешь.

«Вон оно как! – подумал про себя Чичиков. – Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку да ломоть бараньего бока».

– И такой скверный анекдот, что сена хоть бы клок в целом хозяйстве! – продолжал Плюшкин. – Да и в самом деле, как приберетесь его? землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабак… того и гляди, пойдешь на старости лет по миру!

– Мне, однако же, сказывали, – скромно заметил Чичиков, – что у вас более тысячи душ.

– А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал! Он, пересмешник видно, хотел пошутить над вами. Вот, бают, тысячи душ, а поди-тка сосчитай, а и ничего не начтешь! Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков.

– Скажите! и много выморила? – воскликнул Чичиков с участием.

– Да, снесли многих.

– А позвольте узнать: сколько числом?

– Душ восемьдесят.

– Нет?

– Не стану лгать, батюшка.

– Позвольте еще спросить: ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?

– Это бы еще слава богу, – сказал Плюшкин, – да лих-то, что с того времени до ста двадцати наберется.

– Вправду? Целых сто двадцать? – воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления.

– Стар я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десяток живу! – сказал Плюшкин. Он, казалось, обиделся таким почти радостным воскли-

цанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнует.

– Да ведь соболезнование в карман не положишь, – сказал Плюшкин. – Вот возле меня живет капитан; черт знает его, откуда взялся, говорит – родственник: «Дядюшка, дядюшка!» – и в руку целует, а как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный: пеннику, чай, насмерть придерживается. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, или театральная актриса выманила, так вот он теперь и соболезнует!

Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его и, не откладывая дела далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями. Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он, вытаращив глаза, долго смотрел на него и наконец спросил:

– Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?

– Нет, – отвечал Чичиков довольно лукаво, – служил по статской.

– По статской? – повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал. – Да ведь как же? Ведь это вам самим-то в убыток?

– Для удовольствия вашего готов и на убыток.

– Ах, батюшка! ах, благодетель мой! – вскрикнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак, на образец густого копия, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не весьма приличное для рассматриванья. – Вот утешили старика! Ах, господи ты мой! ах, святители вы мои!.. – Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и прошла, будто ее вовсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком и, свернувши его в комок, стал им возить себя по верхней губе.

– Как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год беретесь платить за них подать? и деньги будете выдавать мне или в казну?

– Да мы вот как сделаем: мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые и как бы вы их мне продали.

– Да, купчую крепость… – сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами. – Ведь вот купчую крепость – всё издержки. Приказные такие бессовестные! Прежде, бывало, полтиной меди отделаешься да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь, такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимание; сказал бы какое-нибудь поучение: ведь что ни говори, а против слова-то божия не устоишь.

«Ну, ты, я думаю, устоишь!» – подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что, из уважения к нему, он готов принять даже издержки по купчей на свой счет.

Услыша, что даже издержки по купчей он принимает на себя, Плюшкин заключил, что гость должен быть совершенно глуп и только прикидывается, будто служил по статской, а, верно, был в офицерах и волочился за актерками. При всем том он, однако ж, не мог скрыть своей радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него, или нет. Подошел к окну, постучал он пальцами в стекло и закричал: «Эй, Прошка!» Чрез минуту было слышно. что кто-то вбежал впопыхах в сени, долго возился там и стучал сапогами, наконец дверь отворилась и вошел Прошка, мальчик лет тринадцати, в таких больших сапогах, что, ступая, едва не вынул из них ноги. Почему у Прошки были такие большие сапоги, это можно узнать сейчас же: у Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. Всякий призываемый в барские покои обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапоги и таким уже образом являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Если бы кто взглянул из окошка в осеннее время и особенно когда по утрам начинаются маленькие изморози, то бы увидел, что вся дворня делала такие скачки, какие вряд ли удастся выделать на театрах самому бойкому танцовщику.

– Вот посмотрите, батюшка, какая рожа! – сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем на лицо Прошки. – Глуп ведь как дерево, а попробуй что-нибудь положить, мигом украдет! Ну, чего ты пришел, дурак, скажи, чего? – Тут он произвел небольшое молчание, на которое Прошка отвечал тоже молчанием. – Поставь самовар, слышишь, да вот возьми ключ да отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую: там на полке есть сухарь из кулича, который привезла

Александра Степановна, чтобы подали его к чаю!.. Постой, куда же ты? Дурачина! эхва, дурачила! Бес у тебя в ногах, что ли, чешется?.. ты выслушай прежде: сухарь-то сверху, чай, поиспортился, так пусть соскоблит его ножом да крох не бросает, а снесет в курятник. Да смотри ты, ты не входи, брат, в кладовую, не то я тебя, знаешь! березовым-то веником; чтобы для вкуса-то! Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтобы еще был получше! Вот попробуй-ка пойти в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть. Им ни в чем нельзя доверять, – продолжал он, обратившись к Чичикову, после того как Прошка убрался вместе с своими сапогами. Вслед за тем он начал и на Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными, и он подумал про себя: «Ведь черт его знает, может быть, он просто хвастун, как все эти мотишки; наврет, наврет, чтобы поговорить да напиться чаю, а потом и уедет!» А потому из предосторожности и вместе желая несколько поиспытать его, сказал он, что недурно бы совершить купчую поскорее, потому что-де в человеке не уверен: сегодня жив, а завтра и бог весть.

Чичиков изъявил готовность совершить ее хоть сию же минуту и потребовал только списка всем крестьянам.

Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать, и точно, взявши ключи, приблизился к шкафу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и наконец произнес:

– Ведь вот не сыщешь, а у меня был славный ликерчик, если только не выпили! народ такие воры! А вот разве не это ли он? – Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке. – Еще покойница делала, – продолжал Плюшкин, – мошенница ключница совсем было его забросила и даже не закупорила, каналья! Козявки и всякая дрянь было напичкались туда, но я весь сор-то повынул, и теперь вот чистенькая; я вам налью рюмочку.

Но Чичиков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавши, что он уже и пил и ел.

– Пили уже и ели! – сказал Плюшкин. – Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь: он не ест, а сыт; а как эдакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми… Ведь вот капитан приедет: «Дядюшка, говорит, дайте чего-нибудь поесть!» А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть, верно, не-

чего, так вот он и шатается! Да, ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев? Как же, я, как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть.

Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя такою пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бумажку, всю исписанную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие: и Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий Доезжай-не-доедешь; всех было сто двадцать с лишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав ее в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город.

– В город? Да как же?.. а дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник: в день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить.

– Так не имеете ли кого-нибудь знакомого?

– Да кого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или разззнакомились. Ах, батюшка! как не иметь, имею! – вскричал он. – Ведь знаком сам председатель, езжал даже в старые годы ко мне, как не знать! однокорытниками были, вместе по заборам лазили! как не знакомый? уж такой знакомый! так уж не к нему ли написать?

– И, конечно, к нему.

– Как же, уж такой знакомый! в школе были приятели.

И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки, – появление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустыннее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственней и еще пошлее.

– Лежала на столе четвертка чистой бумаги, – сказал он, – да не знаю, куда запропастилась: люди у меня такие негодные! – Тут стал он заглядывать и под стол и на стол, шарил везде и наконец закричал; – Мавра! а Мавра!

На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошел такой разговор:

– Куда ты дела, разбойница, бумагу?

– Ей-богу, барин, не видывала, опричь небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку.

– А вот я по глазам вижу, что подтибрила.

– Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне проку с ней никакого; я грамоте не знаю.

– Врешь, ты снесла пономаренку: он маракует, так ты ему и снесла.

– Да пономаренок, если захочет, так достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка!

– Вот погоди-ка: на страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками! вот посмотришь, как припекут!

– Да за что же припекут, коли я не брала и в руки четвертки? Уж скорее другой какой бабьей слабостью, а воровством меня еще никто не попрекал.

– А вот черти-то тебя и припекут! скажут: «А вот тебе, мошенница, за то, что барина-то обманывала!», да горячими-то тебя и припекут!

– А я скажу: «Не за что! ей-богу, не за что, не брала я…» Да вон она лежит на столе. Всегда понапраслиной попрекаете!

Плюшкин увидел, точно, четвертку и на минуту остановился, пожевал губами и произнес:

– Ну, что ж ты расходилась так? Экая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она уж в ответ десяток! Поди-ка принеси огоньку запечатать письмо. Да стой, ты схватишь сальную свечу, сало дело топкое: сгорит – да и нет, только убыток, а ты принеси-ка мне лучинку!

Мавра ушла, а Плюшкин, севши в кресла и взявши в руку перо, долго еще ворочал на все стороны четвертку, придумывая: нельзя ли отделить от нее еще осьмушку, но наконец убедился, что никак нельзя; всунул перо в чернильницу с какою-то заплесневшею жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая рассказывалась по всей бумаге, лепя скупо строка на строку и не без сожаления подумывая о том, что все еще останется много чистого пробела.

И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: «Здесь погребен человек!», но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости.

– А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, – сказал Плюшкин, складывая письмо, – которому бы понадобились беглые души?

– А у вас есть и беглые? – быстро спросил Чичиков, очнувшись.

– В том-то и дело, что есть. Зять делал выправки: говорит, будто и след простыл, но ведь он человек военный: мастер притопывать шпорой, а если бы хлопотать по судам…

– А сколько их будет числом?

– Да десятков до семи тоже наберется.

– Нет?

– А ей-богу так! Ведь у меня что год, то бегают. Народ-то больно прожорлив, от праздности завел привычку трескать, а у меня есть и самому нечего… А уж я бы за них что ни дай взял бы. Так посоветуйте вашему приятелю-то: отыщись ведь только десяток, так вот уж у него славная деньга. Ведь ревизская душа стоит в пятистах рублях.

«Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим», – сказал про себя Чичиков и потом объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более, ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана да уходить подалее; но что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать… но что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить.

– А сколько бы вы дали? – спросил Плюшкин и сам ожидовел: руки его задрожали, как ртуть.

– Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу.

– А как вы покупаете, на чистые?

– Да, сейчас деньги.

– Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уже дали бы по сорока копеек.

– Почтеннейший! – сказал Чичиков, – не только по сорока копеек, по пятисот рублей заплатил бы! с удовольствием заплатил бы, потому что вижу – почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия.

– А ей-богу, так! ей-богу, правда! – сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ее. – Всё от добродушия.

– Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему ж не дать бы мне по пятисот рублей за душу, но… состоянья нет; по пяти копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась, таким образом, в тридцать копеек.

– Ну, батюшка, воля ваша, хоть по две копейки пристегните:

– По две копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили семьдесят?

– Нет. Всего наберется семьдесят восемь.

– Семьдесят восемь, семьдесят восемь, по тридцати копеек за душу, это будет… – здесь герой наш одну секунду, не более, подумал и сказал вдруг: – это будет двадцать четыре рубля девяносто шесть копеек! – он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с такою же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедши к бюро, он переглядел их еще раз и уложил, тоже чрезвычайно осторожно, в один из ящиков, где, верно, им суждено быть погребенными до тех пор, покамест отец Карп и отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого, к неописанной радости зятя и дочери, а может быть, и капитана, приписавшегося ему в родню. Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресла и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить.

– А что, вы уж собираетесь ехать? – сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок.

Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать.

– Да, мне пора! – произнес он, взявшись за шляпу.

– А чайку?

– Нет, уж чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время.

– Как же, а я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю: напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прошка! не нужно самовара! Сухарь отнеси Мавре, слышишь: пусть его положит на то же место, или нет, подай его сюда, я ужо снесу его сам. Прощайте, батюшка, да благословит вас бог, а письмо-то председателю вы отдайте. Да! пусть прочтет, он мой старый знакомый. Как же! были с ним однокорытниками!

Засим это странное явление, этот съежившийся старичишка проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть, потом обошел кладовые, с тем чтобы осмотреть, на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок, наместо чугунной доски; после того заглянул в кухню, где под видом того чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся препорядочно щей с кашею и, выбранивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы ему возблагодарить гостя за такое в самом деле беспримерное великодушие. «Я ему подарю, – подумал он про себя, – карманные часы: они ведь хорошие, серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь томпаковые или бронзовые; немножко поиспорчены, да ведь он себе переправит; он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте! Или нет, – прибавил он после некоторого размышления, – лучше я оставлю их ему после моей смерти, в духовной, чтобы вспоминал обо мне».

Но герой наш и без часов был в самом веселом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок. В самом деле, что ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего двести с лишком человек! Конечно, еще подъезжая к деревне Плюшкина, он уже предчувствовал, что будет кое-какая пожива, но такой прибыточной никак не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал, наигрывал губами, приставивши во рту кулак, как будто играл на трубе, и наконец затянул какую-то песню, до такой степени необыкновенную, что сам Селифан слушал, слушал и потом, покачав слегка годовой, сказал: «Вишь ты, как барин поет!» Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемешалась совершенно, и казалось, самые предметы перемешалися тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет; усы у стоявшего на часах солдата казались

на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка взъехала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-где только начинались освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили сцены и разговоры, неразлучные с этим временем во всех городах, где много солдат, извозчиков, работников и особенного рода существ, в виде дам в красных шалях и башмаках без чулок, которые, как летучие мыши, шныряют по перекресткам. Чичиков не замечал их и даже не заметил многих тоненьких чиновников с тросточками, которые, вероятно сделавши прогулку за городом, возвращались домой. Изредка доходили до слуха его какие-то, казалось, женские восклицания: «Врешь, пьяница!я никогда не позволяла ему такого грубиянства!» – или: «Ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я тебе докажу!..» Словом, те слова которые вдруг отдадут, как варом, какого-нибудь замечтавшегося двадцатилетнего юношу, когда, возвращаясь из театра, несет он в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и кудрями. Чего нет и что не грезится в голове его? он в небесах и к Шиллеру заехал в гости – и вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова, и видит он, что вновь очутился на земле, и даже на Сенной площади, и даже близ кабака, и вновь пошла по-будничному щеголять перед ним жизнь.

Наконец бричка, сделавши порядочный скачок, опустилась, как будто в яму, в ворота гостиницы, и Чичиков был встречен Петрушкою, который одною рукою придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другою стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал, со свечою в руке и салфеткою на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно, по крайней мере они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенно суровая его наружность на этот раз как будто несколько прояснилась.

– Долго изволили погулять, – сказал половой, освещая лестницу.

– Да, – сказал Чичиков, когда взошел на лестницу. – Ну, а ты что?

– Слава богу, – отвечал половой, кланяясь. – Вчера приехал поручик какой-то военный, занял шестнадцатый номер.

– Поручик?

– Неизвестно какой, из Рязани, гнедые лошади.

– Хорошо, хорошо, веди себя и вперед хорошо! – сказал Чичиков и вошел в свою комнату. Проходя переднюю, он покрутил носом и сказал Петрушке: – Ты бы по крайней мере хоть окна отпер!

– Да я их отпирал, – сказал Петрушка, да и соврал. Впрочем, барин и сам знал, что он соврал, но уж не хотел ничего возражать. После сделанной поездки он чувствовал сильную усталость. Потребовавши самый легкий ужин, состоявший только в поросенке, он тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко, заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей.

Глава седьмая

Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит наконец знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут пред ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку!

Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям, и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их, как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все, рукоплеща, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах…

Нет равного ему в силе – он бог! Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, – всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлеченьем; ему не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признаёт современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых; ибо не: признаёт современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья; ибо не признаёт современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движеньем и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признаёт сего современный суд и все обратит в упрек и поношенье непризнанному писателю; без разделенья, без ответа, без участья, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество.

И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святый ужас и в блистанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей…

В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица! Разом и вдруг окунемся в жизнь со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками и посмотрим, что делает Чичиков.

Чичиков проснулся, потянул руки и ноги и почувствовал, что выспался хорошо. Полежав минуты две на спине, он щелкнул рукою и вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без малого четыреста душ. Тут же вскочил он с постели, не посмотрел даже на свое лицо, которое любил искренно и в котором, как кажется, привлекательнее всего находил подбородок, ибо весьма часто хвалился им пред кем-нибудь из приятелей, особливо если это происходило во время бритья. «Вот, посмотри, – говорил он обыкновенно, поглаживая его рукою, – какой у меня подбородок: совсем круглый!» Но теперь он не взглянул ни на подбородок, ни на лицо, а прямо, так, как был, надел сафьянные сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок благодаря халатным побужденьям русской натуры, и, по-шотландски, в одной короткой рубашке, позабыв свою степенность и приличные средние лета, произвел по комнате два прыжка, пришлепнув себя весьма ловко пяткой ноги. Потом в ту же минуту приступил к делу: перед шкатулкой потер руки с таким же удовольствием, как потирает их выехавший на следствие неподкупный земский суд, подходящий к закуске, и тот же час вынул из нее бумаги. Ему хотелось поскорее кончить все, не откладывая в долгий ящик. Сам решился он сочинить крепости, написать и переписать, чтоб не платить ничего подьячим. Форменный порядок был ему совершенно известен: бойко выставил он большими буквами: «Тысяча восемьсот такого-то года», потом вслед за тем мелкими: «помещик такой-то», и все, что следует. В два часа готово было все. Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и чрез то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие Коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостию в слоге: часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств и потом две точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенною полнотою и обстоятельностью, ни одно из качеств мужика не было пропущено; об одном было сказано: «хороший столяр», к другому приписано: «дело смыслит и хмельного не берет». Означено было также обсто-

ятельно, кто отец, и кто мать, и какого оба были поведения; у одного только какого-то Федотова было написано: «отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор». Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?» И глаза его невольно остановились на одной фамилии: это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто, принадлежавший когда-то помещице Коробочке. Он опять не утерпел, чтоб не сказать: «Эх, какой длинный, во всю строку разъехался! Мастер ли ты был, или просто мужик, и какою смертью тебя прибрало? в кабаке ли, или середи дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка Степан, плотник, трезвости примерной А! вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякий раз домой целковиков по сту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог, – где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись, оттуда, с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: „Эх, Ваня, угораздило тебя!“ – а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Максим Телятников, сапожник. Хе, сапожник! „Пьян, как сапожник“, говорит пословица. Знаю, знаю тебя, голубчик; если хочешь, всю историю твою расскажу: учился ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил ремнем по спине за неаккуратность и не выпускал на улицу повесничать, и был ты чудо, а не сапожник, и не нахвалился тобою немец, говоря с женой или с камрадом. А как кончилось твое ученье: „А вот теперь я заведусь своим домком, – сказал ты, – да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею“ И вот, давши барину порядочный оброк, завел ты лавчонку, набрав заказов кучу, и пошел работать. Достал где-то втридешева гнилушки кожи и выиграл, точно, вдвое на всяком сапоге, да через недели две перелопались твои сапоги, и выбранили тебя подлейшим образом. И вот лавчонка твоя запустела, и ты пошел попивать да валяться по ули-

цам, приговаривая: „Нет, плохо на свете! Нет житья русскому человеку, всё немцы мешают“. Это что за мужик: Елизавета Воробей. Фу ты пропасть: баба! она как сюда затесалась? Подлец, Собакевич, и здесь надул!» Чичиков был прав: это была, точно, баба. Как она забралась туда, неизвестно, но так искусно была прописана, что издали можно было принять ее за мужика, и даже имя оканчивалось на букву ъ, то есть не Елизавета, а Елизаветъ. Однако же он это не принял в уваженье, и тут же ее вычеркнул. «Григорий Доезжай-недоедешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги, и пошел тащиться с купцами на ярмарку. На дороге ли ты отдал душу богу, или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или приглядились лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может, и сам, лежа на полатях, думал, думал, да ни с того ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай как звали. Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью! А вы что, мои голубчики? – продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые души Плюшкина, – вы хоть и в живых еще, а что в вас толку! то же, что и мертвые, и где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги? Плохо ли вам было у Плюшкина, или просто, по своей охоте, гуляете по лесам да дерете проезжих? По тюрьмам ли сидите, или пристали к другим господам и пашете землю? Еремей Карякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита – эти, и по прозвищу видно, что хорошие бегуны. Попов, дворовый человек, должен быть грамотей: ножа, я чай, не взял в руки, а проворовался благородным образом. Но вот уж тебя беспашпортного поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. „Чей ты?“ – говорит капитан-исправник, ввернувши тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое словцо. „Такого-то и такого-то помещика“, – отвечаешь ты бойко. „Зачем ты здесь?“ – говорит капитан исправник. „Отпущен на оброк“, – отвечаешь ты без запинки. „Где твой паспорт?“ – „У хозяина, мещанина Пименова“. – „Позвать Пименова! Ты Пименов?“ – „Я Пименов“. – „Давал он тебе пашпорт свой?“ – „Нет, не давал он мне никакого пашпорта“. – „Что ж ты врешь?“ – говорит капитан-исправник с прибавкою кое-какого крепкого словца. „Так точно, – отвечаешь ты бойко, – я не давал ему, потому что пришел домой поздно, а отдал на подержание Антипу

Прохорову, звонарю". – „Позвать звонаря! Давал он тебе пашпорт?" – „Нет, не получал я от него пашпорта". – „Что ж ты опять врешь! – говорит капитан-исправник, скрепивши речь кое-каким крепким словцом. – Где ж твой пашпорт?" – „Он у меня был, – говоришь ты проворно, – да, статься может, видно как-нибудь дорогой пообронил его". – „А солдатскую шинель, – говорит капитан-исправник, загвоздивши тебе опять в придачу кое-какое крепкое словцо, – зачем стащил? и у священника тоже сундук с медными деньгами?" – „Никак нет, – говоришь ты, не сдвинувшись, – в воровском деле никогда еще не оказывался". – „А почему же шинель нашли у тебя" – „Не могу знать: верно, кто-нибудь другой принес ее". – „Ах ты бестия, бестия! – говорит капитан-исправник, покачивая головою и взявшись под бока. – А набейте ему на ноги колодки да сведите в тюрьму". – „Извольте, я с удовольствием", – отвечаешь ты. И вот, вынувши из кармана табакерку, ты потчеваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и расспрашиваешь их, давно ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе живешь в тюрьме, покамест в суде производится твое дело. И пишет суд: препроводить тебя из Царевококшайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: „Нет, вот весьегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки, так есть место, да и общества больше!" Абакум Фыров! ты, брат, что? где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу и взлюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам?..» Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем он задумался? Задумался ли он над участью Абакума Фырова, или задумался так, сам собою, как задумывается всякий русский, каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни? И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем при кликах, бранях и понуканьях, нацепляя крючком по девяти пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает

весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню.

«Эхе, хе! двенадцать часов! – сказал наконец Чичиков, взглянув на часы. – Что ж я так закопался? Да еще пусть бы дело делал, а то ни с того ни с другого сначала загородил околесину, а потом задумался. Экой я дурак в самом деле!» Сказавши это, он переменил свой шотландский костюм на европейский, стянул покрепче пряжкой свой полный живот, вспрыснул себя одеколоном, взял в руки теплый картуз и бумаги под мышку и отправился в гражданскую палату совершать купчую. Он спешил не потому, что боялся опоздать, – опоздать он не боялся, ибо председатель был человек знакомый и мог продлить и укоротить по его желанью присутствие, подобно древнему Зевесу Гомера, длившему дни и насылавшему быстрые ночи, когда нужно было прекратить брань любезных ему героев или дать им средство додраться, но он сам в себе чувствовал желание скорее как можно привести дела к концу; до тех пор ему казалось все неспокойно и неловко; все-таки приходила мысль: что души не совсем настоящие и что в подобных случаях такую обузу всегда нужно поскорее с плеч. Не успел он выйти на улицу, размышляя об всем этом и в то же время таща на плечах медведя, крытого коричневым сукном, как на самом повороте в переулок столкнулся тоже с господином в медведях, крытых коричневым сукном, и в теплом картузе с ушами. Господин вскрикнул, это был Манилов. Они заключили тут же друг друга в объятия и минут пять оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон так были сильны, что у обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова от радости остались только нос да губы на лице, глаза совершенно исчезли. С четверть часа держал он обеими руками руку Чичикова и нагрел ее страшно. В оборотах самых тонких и приятных он рассказал, как летел обнять Павла Ивановича; речь была заключена таким комплиментом, какой разве только приличен одной девице, с которой идут танцевать. Чичиков открыл рот, еще не зная сам, как благодарить, как вдруг Манилов вынул из-под шубы бумагу, свернутую в трубочку и связанную розовою ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами.

– Это что?

– Мужички.

– А! – Он тут же развернул ее, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте почерка. – Славно написано, – сказал он, – не нужно и переписывать. Еще и каемка вокруг! кто это так искусно сделал каемку?

– Ну, уж не спрашивайте, – сказал Манилов.

– Вы?

– Жена.

– Ах боже мой! мне, право, совестно, что нанес столько затруднений.

– Для Павла Ивановича не существует затруднений.

Чичиков поклонился с признательностью. Узнавши, что он шел в палату за совершением купчей, Манилов изъявил готовность ему сопутствовать. Приятели взялись под руку и пошли вместе. При всяком небольшом возвышении, или горке, или ступеньке, Манилов поддерживал Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с приятной улыбкою, что он не допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки. Чичиков совестился, не зная, как благодарить, ибо чувствовал, что несколько был тяжеленек. Во взаимных услугах они дошли наконец до площади, где находились присутственные места: большой трехэтажный каменный дом, весь белый, как мел, вероятно для изображения чистоты душ помещавшихся в нем должностей; прочие здания на площади не отвечали огромностию каменному дому. Это были: караульная будка, у которой стоял солдат с ружьем, две-три извозчичьи биржи и, наконец, длинные заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углем и мелом; более не находилось ничего на сей уединенной, или, как у нас выражаются, красивой площади. Из окон второго и третьего этажа высовывались неподкупные головы жрецов Фемиды и в ту ж минуту прятались опять: вероятно, в то время входил в комнату начальник. Приятели не взошли, а взбежали по лестнице, потому что Чичиков, стараясь избегнуть поддерживанья под руки со стороны Манилова, ускорял шаг, а Манилов тоже с своей стороны летел вперед, стараясь не позволить Чичикову устать, и потому оба запыхались весьма сильно, когда вступили в темный коридор. Ни в коридорах, ни в комнатах взор их не был поражен чистотою. Тогда еще не заботились о ней, и то, что было грязно, так

и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности. Фемида просто, какова есть, в неглиже и халате принимала гостей. Следовало бы описать канцелярские комнаты, которыми проходили наши герои, но автор питает сильную робость ко всем присутственным местам. Если и случалось ему проходить их даже в блистательном и облагорожонном виде, с лакированными полами и столами, он старался пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому совершенно не знает, как там все благоденствует и процветает. Герои наши видели много бумаги, и черновой и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сертуки губернского покроя и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, своротив голову набок и положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттяганье земли или описке имения, захваченного каким-нибудь мирным помещиком, покойно доживающим век свой под судом, нажившим себе и детей и внуков под его покровом, да слышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом: «Одолжите, Федосей Федосеевич, дельце за №368!» – «Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку с казенной чернильницы!» Иногда голос более величавый, без сомнения одного из начальников, раздавался повелительно: «На, перепиши! а не то снимут сапоги и просидишь ты у меня шесть суток не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями.

Чичиков и Манилов подошли к первому столу, где сидели два чиновника еще юных лет, и спросили:

– Позвольте узнать, где здесь дела по крепостям?

– А что вам нужно? – сказали оба чиновника, оборотившись.

– А мне нужно подать просьбу.

– А вы что купили такое?

– Я бы хотел прежде знать, где крепостной стол, здесь или в другом месте?

– Да скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам тогда и скажем где, а так нельзя знать.

Чичиков тотчас увидел, что чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым чиновникам, и хотели придать более весу и значения себе и своим занятиям.

– Послушайте, любезные, – сказал он, – я очень хорошо знаю, что все дела по крепостям, в какую бы ни было цену, находятся в одном месте, а потому прошу вас показать нам стол, а если вы не знаете, что у вас делается, так мы спросим у других.

Чиновники на это ничего не отвечали, один из них только ткнул пальцем в угол комнаты, где сидел за столом какой-то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичиков и Манилов прошли промеж столами прямо к нему. Старик занимался очень внимательно.

– Позвольте узнать, – сказал Чичиков с поклоном, – здесь дела по крепостям?

Старик поднял глаза и произнес с расстановкою:

– Здесь нет дел по крепостям

– А где же?

– Это в крепостной экспедиции.

– А где же крепостная экспедиция?

– Это у Ивана Антоновича

– А где же Иван Антонович?

Старик тыкнул пальцем в другой угол комнаты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану Антоновичу. Иван Антонович уже запустил один глаз назад и оглянул их искоса, но в ту же минуту погрузился еще внимательнее в писание.

– Позвольте узнать, – сказал Чичиков с поклоном, – здесь крепостной стол?

Иван Антонович как будто бы и не слыхал и углубился совершенно в бумаги, не отвечая ничего. Видно было вдруг, что это был уже человек благоразумных лет, не то что молодой болтун и вертопляс. Иван Антонович, казалось, имел уже далеко за сорок лет; волос на нем был черный, густой; вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос, – словом, это было то лицо, которое называют в общежитье кувшинным рылом.

– Позвольте узнать, здесь крепостная экспедиция? – сказал Чичиков.

– Здесь, – сказал Иван Антонович, поворотил свое кувшинное рыло и приложился опять писать.

– А у меня дело вот какое: куплены мною у разных владельцев здешнего уезда крестьяне на вывод: купчая есть, остается совершить.

– А продавцы налицо?

– Некоторые здесь, а от других доверенность.

– А просьбу принесли?

– Принес и просьбу. Я бы хотел… мне нужно поторопиться… так нельзя ли, например, кончить дело сегодня!

– Да, сегодня! сегодня нельзя, – сказал Иван Антонович. – Нужно навести еще справки, нет ли еще запрещений.

– Впрочем, что до того, чтоб ускорить дело, так Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг…

– Да ведь Иван Григорьевич не один; бывают и другие, – сказал сурово Иван Антонович.

Чичиков понял заковыку, которую завернул Иван Антонович, и сказал:

– Другие тоже не будут в обиде, я сам служил, дело знаю…

– Идите к Ивану Григорьевичу, – сказал Иван Антонович голосом несколько поласковее, – пусть он даст приказ, кому следует, а за нами дело не постоит.

Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил ее перед Иваном Антоновичем, которую тот совершенно не заметил и накрыл тотчас ее книгою. Чичиков хотел было указать ему ее, но Иван Антонович движением головы дал знать, что не нужно показывать.

– Вот он вас проведет в присутствие! – сказал Иван Антонович, кивнув головою, и один из священнодействующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Виргилий прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла и в них перед столом, за зерцалом и двумя толстыми книгами, сидел один, как солнце, председатель. В этом месте новый Вергилий почувствовал такое благоговение, что никак не осмелился занести туда ногу и поворотил назад, показав свою спину, вытертую, как рогожка, с прилипнувшим где-то куриным пером. Вошедши в залу присутствия, они увидели, что председатель был не один, подле него сидел Собакевич, совершенно заслоненный зерцалом. Приход гостей произвел восклицание, правительственные кресла были отодвинуты с шумом. Собакевич тоже привстал со стула и стал виден со всех сторон с длинными своими рукавами. Председатель принял Чичикова в объятия, и комната присутствия огласилась поцелуями;

спросили друг друга о здоровье; оказалось, что у обоих побаливает поясница, что тут же было отнесено к сидячей жизни. Председатель, казалось, уже был уведомлен Собакевичем о покупке, потому что принялся поздравлять, что сначала несколько смешало нашего героя, особливо когда он увидел, что и Собакевич и Манилов, оба продавцы, с которыми дело было улажено келейно, теперь стояли вместе лицом друг к другу. Однако же он поблагодарил председателя и, обратившись тут же к Собакевичу, спросил:

– А ваше как здоровье?

– Слава богу, не пожалуюсь, – сказал Собакевич.

И точно, не на что было жаловаться: скорее железо могло простудиться и кашлять, чем этот на диво сформованный помещик.

– Да вы всегда славились здоровьем, – сказал председатель, – и покойный ваш батюшка был также крепкий человек.

– Да, на медведя один хаживал, – отвечал Собакевич.

– Мне кажется, однако ж, – сказал председатель. – вы бы тоже повалили медведя, если бы захотели выйти против него.

– Нет, не повалю, – отвечал Собакевич, – покойник был меня покрепче, – и, вздохнувши, продолжал: – Нет, теперь не те люди: вот хоть и моя жизнь, что за жизнь? так как-то себе…

– Чем же ваша жизнь не красна? – сказал председатель.

– Нехорошо, нехорошо, – сказал Собакевич, покачав головою. – Вы посудите, Иван Григорьевич: пятый десяток живу, ни разу не был болен; хоть бы горло заболело, веред или чирей выскочил… Нет, не к добру! когда-нибудь придется поплатиться за это. – Тут Собакевич погрузился в меланхолию.

«Эк его, – подумали в одно время и Чичиков и председатель, – на что вздумал пенять!»

– К вам у меня есть письмецо, – сказал Чичиков, вынув из кармана письмо Плюшкина.

– От кого? – сказал председатель и, распечатавши, воскликнул: – А! от Плюшкина. Он еще до сих пор прозябает на свете. Вот судьба, ведь какой был умнейший, богатейший человек! а теперь…

– Собака, – сказал Собакевич, – мошенник, всех людей переморил голодом.

– Извольте, извольте, – сказал председатель, прочитав письмо, – я готов быть поверенным. Когда вы хотите совершить купчую, теперь или после?

– Теперь, – сказал Чичиков, – я буду просить даже вас, если можно, сегодня, потому что мне завтра хотелось бы выехать из города; я принес и крепости и просьбу.

– Все это хорошо, только, уж как хотите, мы вас не выпустим так рано. Крепости будут совершены сегодня, а вы все-таки с нами поживите. Вот я сейчас отдам приказ, – сказал он и отворил дверь в канцелярскую комнату, всю наполненную чиновниками, которые уподобились трудолюбивым пчелам, рассыпавшимся по сотам, если только соты можно уподобить канцелярским делам: – Иван Антонович здесь?

– Здесь, – отозвался голос извнутри.

– Позовите его сюда!

Уже известный читателям Иван Антонович кувшинное рыло показался в зале присутствия и почтительно поклонился.

– Вот возьмите, Иван Антонович, все эти крепости их…

– Да не позабудьте, Иван Григорьевич, – подхватил Собакевич, – нужно будет свидетелей, хотя по два с каждой стороны. Пошлите теперь же к прокурору, он человек праздный и, верно, сидит дома, за него все делает стряпчий Золотуха, первейший хапуга в мире. Инспектор врачебной управы, он также человек праздный и, верно, дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты, да еще тут много есть, кто поближе, – Трухачевский, Бегушкин, они все даром бременят землю!

– Именно, именно! – сказал председатель и тот же час отрядил за ними всеми канцелярского.

– Еще я попрошу вас, – сказал Чичиков, – пошлите за поверенным одной помещицы, с которой я тоже совершил сделку, сыном протопопа отца Кирилла; он служит у вас же.

– Как же, пошлем и за ним! – сказал председатель. – Все будет сделано, а чиновным вы никому не давайте ничего, об этом я вас прошу. Приятели мои не должны платить. – Сказавши это, он тут же дал какое-то приказанье Ивану Антоновичу, как видно ему не понравившееся. Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя, особливо когда он увидел, что всех покупок было почти на сто тысяч рублей. Несколько минут он смотрел в глаза Чичикову с выраженьем большого удовольствия и наконец сказал:

– Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! так вот вы приобрели.

– Приобрел, – отвечал Чичиков.

– Благое дело, право, благое дело!

– Да я вижу сам, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то ни было, цель человека все еще не определена, если он не стал наконец твердой стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности. – Тут он весьма кстати выбранил за либерализм, и поделом, всех молодых людей. Но замечательно, что в словах его была все какая-то нетвердость, как будто бы тут же сказал он сам себе: «Эх, брат, врешь ты, да еще и сильно!» Он даже не взглянул на Собакевича и Манилова из боязни встретить что-нибудь на их лицах. Но напрасно боялся он: лицо Собакевича не шевельнулось, а Манилов, обвороженный фразою, от удовольствия только потряхивал одобрительно головою, погрузясь в такое положение, в каком находится любитель музыки, когда певица перещеголяла самую скрыпку и пискнула такую тонкую ноту, какая невмочь и птичьему горлу.

– Да, что ж вы не скажете Ивану Григорьевичу, – отозвался Собакевич, – что такое именно вы приобрели; а вы, Иван Григорьевич, что вы не спросите, какое приобретение они сделали? Ведь какой народ! просто золото. Ведь я им продал и каретника Михеева.

– Нет, будто и Михеева продали? – сказал председатель. – Я знаю каретника Михеева: славный мастер; он мне дрожки переделал. Только позвольте, как же… Ведь вы мне сказывали, что он умер…

– Кто, Михеев умер? – сказал Собакевич, ничуть не смешавшись. – Это его брат умер, а он преживехонький и стал здоровее прежнего. На днях такую бричку наладил, что и в Москве не сделать. Ему, понастоящему, только на одного государя и работать.

– Да, Михеев славный мастер, – сказал председатель, – и я дивлюсь даже, как вы могли с ним расстаться.

– Да будто один Михеев! А Пробка Степан, плотник, Милушкин, кирпичник, Телятников Максим, сапожник, – ведь все пошли, всех продал! – А когда председатель спросил, зачем же они пошли, будучи людьми необходимыми для дому и мастеровыми, Собакевич отвечал, махнувши рукой: – А! так просто, нашла дурь: дай, говорю, продам, да и продал сдуру! – Засим он повесил голову так, как будто сам раскаивался в этом деле, и прибавил: – Вот и седой человек, а до сих пор не набрался ума.

– Но позвольте, Павел Иванович, – сказал председатель, – как же вы покупаете крестьян без земли? разве на вывод?

– На вывод.

– Ну, на вывод другое дело. А в какие места?

– В места… в Херсонскую губернию.

– О, там отличные земли! – сказал председатель и отозвался с большою похвалою насчет рослости тамошних трав. – А земли в достаточном количестве?

– В достаточном; столько, сколько нужно для купленных крестьян.

– Река или пруд?

– Река. Впрочем, и пруд есть. – Сказав это, Чичиков взглянул нарокомна Собакевича, и хотя Собакевич был по-прежнему неподвижен, но ему казалось, будто бы было написано на лице его: «Ой, врешь ты! вряд ли есть река, и пруд, да и вся земля!»

Пока продолжались разговоры, начали мало-помалу появляться свидетели: знакомый читателю прокурор-моргун, инспектор врачебной управы, Трухачевский, Бегушкин и прочие, по словам Собакевича, даром бременящие землю. Многие из них были совсем незнакомы Чичикову: недостававшие и лишние набраны были тут же, из палатских чиновников. Привели также не только сына протопопа отца Кирила, но даже и самого протопопа. Каждый из свидетелей поместил себя со всеми своими достоинствами и чинами, кто оборотным шрифтом, кто косяками, кто просто чуть не вверх ногами, помещая такие буквы, каких даже и не видано было в русском алфавите. Известный Иван Антонович управился весьма проворно: крепости были записаны, помечены, занесены в книгу и куда следует, с принятием полупроцентовых и за припечатку в «Ведомостях», и Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже председатель дал приказание из пошлинных денег взять с него только половину, а другая, неизвестно каким образом, отнесена была на счет какого-то другого просителя.

– Итак, – сказал председатель, когда все было кончено, – остается теперь только вспрыснуть покупочку.

– Я готов, – сказал Чичиков. – От вас зависит только назначить время. Был бы грех с моей стороны, если бы для эдакого приятного общества да не раскупорить другую-третью бутылочку шипучего.

– Нет, вы не так приняли дело: шипучего мы сами поставим, – сказал председатель, – это наша обязанность, наш долг. Вы у нас гость: нам должно угощать. Знаете ли что, господа! Покамест что,

а мы вот как сделаем: отправимтесь-ка все, так как есть, к полицеймейстеру; он у нас чудотворец: ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда или погреба, так мы, знаете ли, так закусим! да при этой оказии и в вистишку.

От такого предложения никто не мог отказаться... Свидетели уже при одном наименованье рыбного ряда почувствовали аппетит; взялись все тот же час за картузы и шапки, и присутствие кончилось. Когда проходили они канцелярию, Иван Антонович кувшинное рыло, учтиво поклонившись, сказал потихоньку Чичикову:

– Крестьян накупили на сто тысяч, а за труды дали только одну беленькую.

– Да ведь какие крестьяне, – отвечал ему на это тоже шепотом Чичиков, – препустой и преничтожный народ, и половины не стоят.

Иван Антонович понял, что посетитель был характера твердого и больше не даст.

– А почем купили душу у Плюшкина? – шепнул ему на другое ухо Собакевич.

– А Воробья зачем приписали? – сказал ему в ответ на это Чичиков.

– Какого Воробья? – сказал Собакевич.

– Да бабу, Елизавету Воробья, еще и букву ъ поставили на конце.

– Нет, никакого Воробья я не приписывал, – сказал Собакевич и отошел к другим гостям.

Гости добрались наконец гурьбой к дому полицеймейстера. Полицеймейстер, точно, был чудотворец: как только услышал он, в чем дело, в ту ж минуту кликнул квартального, бойкого малого в лакированных ботфортах, и, кажется, всего два слова шепнул ему на ухо да прибавил только: «Понимаешь!» – а уж там, в другой комнате, в продолжение того времени, как гости резались в вист, появилась на столе белуга, осетры, семга, икра паюсная, икра свежепросольная, селедки, севрюжки, сыры, копченые языки и балыки, – это все было со стороны рыбного ряда. Потом появились прибавления с хозяйской стороны, изделия кухни: пирог с головизною, куда вошли хрящ и щеки девятипудового осетра, другой пирог – с груздями, пряженцы, маслянцы, взваренцы. Полицеймейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую. Вообще он сидел, как говорится, на своем

месте и должность свою постигнул в совершенстве. Трудно было даже и решить, он ли был создан для места, или место для него. Дело было так поведено умно, что он получал вдвое больше доходов противу всех своих предшественников, а между тем заслужил любовь всего города. Купцы первые его очень любили, именно за то, что не горд; и точно, он крестил у них детей, кумился с ними и хоть драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко: и по плечу потреплет, и засмеется, и чаем напоит, пообещается и сам прийти поиграть в шашки, расспросит обо всем: как делишки, что и как. Если узнает, что детеныш как-нибудь прихворнул, и лекарство присоветует, – словом, молодец! Поедет на дрожках, даст порядок, а между тем и словцо промолвит тому-другому: «Что, Михеич нужно бы нам с тобою доиграть когда-нибудь в горку». – «Да, Алексей Иванович, – отвечал тот, снимая шапку, – нужно бы». – «Ну, брат, Илья Парамоныч, приходи ко мне поглядеть рысака: в обгон с твоим пойдет, да и своего заложи в беговые; попробуем». Купец, который на рысаке был помешан, улыбался на это с особенною, как говорится, охотою и, поглаживая бороду, говорил: «Попробуем, Алексей Иванович!» Даже все сидельцы обыкновенно в это время, снявши шапки, с удовольствием посматривали друг на друга и как будто бы хотели сказать: «Алексей Иванович хороший человек!» Словом, он успел приобресть совершенную народность, и мнение купцов было такое, что Алексей Иванович «хоть оно и возьмет, но зато уж никак тебя не выдаст».

Заметив, что закуска была готова, полицеймейстер предложил гостям окончить вист после завтрака, и все пошли в ту комнату, откуда несшийся запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевич давно заглядывал в дверь, наметив издали осетра, лежавшего в стороне на большом блюде. Гости, выпивши по рюмке водки темного оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режут на Руси печати, приступили со всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склонности, налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр. Собакевич, оставив без всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру, и, покамест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал его всего, так что когда полицеймейстер вспомнил было о нем и, сказавши: «А каково вам, господа покажется вот это произведенье

природы?» – подошел было к нему с вилкою вместе с другими, то увидел, что от произведенья природы оставался всего один хвост; а Собакевич пришипился так, как будто и не он, и, подошедши к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкою в какую-то сушеную маленькую рыбку. Отделавши осетра, Собакевич сел в кресла и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами. Полицеймейстер, кажется, не любил жалеть вина; тостам не было числа. Первый тост был выпит, как читатели, может быть, и сами догадаются, за здоровье нового херсонского помещика, потом за благоденствие крестьян его и счастливое их переселение, потом за здоровье будущей жены его, красавицы, что сорвало приятную улыбку с уст нашего героя. Приступили к нему со всех сторон и стали упрашивать убедительно остаться хоть на две недели в городе:

– Нет, Павел Иванович! как вы себе хотите, это выходит избу только выхолаживать: на порог, да и назад! нет, вы проведите время с нами! Вот мы вас женим: не правда ли, Иван Григорьевич, женим его?

– Женим, женим! – подхватил председатель. – Уж как ни упирайтесь руками и ногами, мы вас женим! Нет, батюшка, попали сюда, так не жалуйтесь. Мы шутить не любим.

– Что ж? зачем упираться руками и ногами, – сказал, усмехнувшись, Чичиков, – женитьба еще не такая вещь, чтобы того, была бы невеста.

– Будет и невеста, как не быть, все будет, все, что хотите!..

– А коли будет…

– Браво, остается! – закричали все. – Виват, ура, Павел Иванович! ура! – И все подошли к нему чокаться с бокалами в руках.

Чичиков перечокался со всеми. «Нет, нет, еще!» – говорили те, которые были позадорнее, и вновь перечокались; потом полезли в третий раз чокаться, перечокались и в третий раз. В непродолжительное время всем сделалось весело необыкновенно. Председатель, который был премилый человек, когда развеселялся, обнимал несколько раз Чичикова, произнеся в излиянии сердечном: «Душа ты моя! маменька моя!» – и даже, щелкнув пальцами, пошел приплясывать вокруг него, припевая известную песню: «Ах ты такой и этакой камаринский мужик». После шампанского раскупорили венгерское, которое придало еще более духу и развеселило общество. Об висте решительно позабыли; спорили, кричали, говорили

обо всем: об политике, об военном даже деле, излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей. Решили тут же множество самых затруднительных вопросов. Чичиков никогда не чувствовал себя в таком веселом расположении, воображал себя уже настоящим херсонским помещиком, говорил об разных улучшениях: о трехпольном хозяйстве, о счастии и блаженстве двух душ, и стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте, на которое тот хлопал только глазами, сидя в креслах, ибо после осетра чувствовал большой позыв ко сну. Чичиков смекнул и сам, что начал уже слишком развязываться, попросил экипажа и воспользовался прокурорскими дрожками. Прокурорский кучер, как оказалось в дороге, был малый опытный, потому что правил одной только рукой, а другую засунув назад, придерживал ею барина. Таким образом, уже на прокурорских дрожках доехал он к себе в гостиницу, где долго еще у него вертелся на языке всякий вздор: белокурая невеста с румянцем и ямочкой на правой щеке, херсонские деревни, капиталы. Селифану даже были даны кое-какие хозяйственные приказания: собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную перекличку. Селифан молча слушал очень долго и потом вышел из комнаты, сказавши Петрушке: «Ступай раздевать барина!» Петрушка принялся снимать с него сапоги и чуть не стащил вместе с ними на пол и самого барина. Но наконец сапоги были сняты, барин разделся как следует и, поворочавшись несколько времени на постели, которая скрипела немилосердно, заснул решительно херсонским помещиком. А Петрушка между тем вынес на коридор панталоны и фрак брусничного цвета с искрой, который, растопыривши на деревянную вешалку, начал бить хлыстом и щеткой, напустивши пыли на весь коридор. Готовясь уже снять их, он взглянул с галереи вниз и увидел Селифана, возвращавшегося из конюшни. Они встретились взглядами и чутьем поняли друг друга: барин-де завалился спать, можно и заглянуть кое-куда. Тот же час, отнесши в комнату фрак и панталоны, Петрушка сошел вниз, и оба пошли вместе, не говоря друг другу ничего о цели путешествия и балагуря дорогою совершенно о постороннем. Прогулку сделали они недалекую: именно, перешли только на другую сторону улицы, к дому, бывшему насупротив гостиницы, и вошли в низенькую стеклянную закоптившуюся дверь, приводившую почти в подвал, где уже сидело за деревянными столами много всяких: и

бривших и не бривших бороды, и в нагольных тулупах и просто в рубахе, а кое-кто и во фризовой шинели. Что делали там Петрушка с Селифаном, бог их ведает, но вышли они оттуда через час, взявшись за руки, сохраняя совершенное молчание, оказывая друг другу большое внимание и предостерегая взаимно от всяких углов. Рука в руку, не выпуская друг друга, они целые четверть часа взбирались на лестницу, наконец одолели ее и взошли. Петрушка остановился с минуту перед низенькою своею кроватью, придумывая, как бы лечь приличнее, и лег совершенно поперек, так что ноги его упирались в пол. Селифан лег и сам на той же кровати, поместив голову у Петрушки на брюхе и позабыв о том, что ему следовало спать вовсе не здесь, а, может быть, в людской, если не в конюшне близ лошадей. Оба заснули в ту же минуту, поднявши храп неслыханной густоты, на который барин из другой комнаты отвечал тонким носовым свистом. Скоро вслед за ними все угомонились, и гостиница объялась непробудным сном; только в одном окошечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели, с тем чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук.

Глава восьмая

Покупки Чичикова сделались предметом разговоров. В городе пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Из прений многие отзывались совершенным познанием предмета. «Конечно, – говорили иные, – это так, против этого и спору нет: земли в южных губерниях, точно, хороши и плодородны; но каково будет крестьянам Чичикова без воды? реки ведь нет никакой». – «Это бы еще ничего, что нет воды, это бы ничего, Степан Дмитриевич, но переселение-то ненадежная вещь. Дело известное, что мужик: на новой земле, да заняться еще хлебопашеством, да ничего у него нет, ни избы, ни двора, – убежит, как дважды два, навострит так лыжи, что и следа не отыщешь». – «Нет, Алексей Иванович, позвольте, позвольте, я не согласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русский человек способен ко всему

и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и пошел рубить себе новую избу». – «Но, Иван Григорьевич, ты упустил из виду важное дело: ты не спросил еще, каков мужик у Чичикова. Позабыл то, что ведь хорошего человека не продаст помещик; я готов голову положить, если мужик Чичикова не вор и не пьяница в последней степени, праздношатайка и буйного поведения». – «Так, так, на это я согласен, это правда, никто не продаст хороших людей, и мужики Чичикова пьяницы, но нужно принять во внимание, что вот тут-то и есть мораль, тут-то и заключена мораль: они теперь негодяи, а, переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться отличными подданными. Уж было немало таких примеров: просто в мире, да и по истории тоже». – «Никогда, никогда, – говорил управляющий казенными фабриками, – поверьте, никогда это не может быть. Ибо у крестьян Чичикова будут теперь два сильные врага. Первый враг есть близость губерний малороссийских, где, как известно, свободная продажа вина. Я вас уверяю: в две недели они изопьются и будут стельки. Другой враг есть уже самая привычка к бродяжнической жизни, которая необходимо приобретется крестьянами во время переселения. Нужно разве, чтобы они вечно были перед глазами Чичикова и чтоб он держал их в ежовых рукавицах, гонял бы их за всякий вздор, да и не то чтобы полагаясь на другого, а чтобы сам таки лично, где следует, дал бы и зуботычину и подзатыльника». – «Зачем же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники, он может найти и управителя». – «Да, найдете управителя: все мошенники!» – «Мошенники потому, что господа не занимаются делом». – «Это правда, – подхватили многие. – Знай господин сам хотя сколько-нибудь толку в хозяйстве да умей различать людей – у него будет всегда хороший управитель». Но управляющий сказал, что меньше как за пять тысяч нельзя найти хорошего управителя. Но председатель сказал, что можно и за три тысячи сыскать. Но управляющий сказал: «Где же вы его сыщите? разве у себя в носу?» Но председатель сказал: «Нет, не в носу, а в здешнем же уезде, именно: Петр Петрович Самойлов: вот управитель, какой нужен для мужиков Чичикова!» Многие сильно входили в положение Чичикова, и трудность переселения такого огромного количества крестьян их чрезвычайно устрашала; стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между таким беспокойным

народом, каковы крестьяне Чичикова. На это полицеймейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращение его существует власть капитана-исправника, что капитан-исправник хоть сам и не езди, а пошли только на место себя один картуз свой, то один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства. Многие предложили свои мнения насчет того, как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян Чичикова. Мнения были всякого рода: были такие, которые уже чересчур отзывались военною жестокостью и строгостию, едва ли не излишнею; были, однако же, и такие, которые дышали кротостию. Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом, по его выражению, ввести даже благодетельное просвещение, и при этом случае отозвался с большою похвалою об Ланкастеровой школе взаимного обученья.

Таким образом рассуждали и говорили в городе, и многие, побуждаемые участием, сообщили даже Чичикову лично некоторые из сих советов, предлагали даже конвой для безопасного препровожденья крестьян до места жительства. За советы Чичиков благодарил, говоря, что при случае не преминет ими воспользоваться, а от конвоя отказался решительно, говоря, что он совершенно не нужен, что купленные им крестьяне отменно смирного характера, чувствуют сами добровольное расположение к переселению и что бунта ни в каком случае между ними быть не может.

Все эти толки и рассуждения произвели, однако ж, самые благоприятные следствия, какие только мог ожидать Чичиков. Именно, пронесли слухи, что он не более, не менее как миллионщик. Жители города и без того, как уже мы видели в первой главе, душевно полюбили Чичикова, а теперь, после таких слухов, полюбили еще душевнее. Впрочем, если сказать правду, они все были народ добрый, живя между собою в ладу, обращались совершенно по-приятельски, и беседы их носили печать какого-то особенного простодушия и короткости: «Любезный друг Илья Ильич», «Послушай, брат, Антипатор Захарьевич!», «Ты заврался, мамочка, Иван Григорьевич». К почтмейстеру, которого звали Иван Андреевич, всегда прибавляли: «Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?» – словом, все было очень семейственно. Многие были не без образования: председатель палаты знал наизусть «Людмилу» Жуковского, которая еще была тогда непростывшею новостию, и мастерски читал многие места, особенно: «Бор заснул, до-

лина спит», и слово «чу!» так, что в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего сходства он даже в это время зажмуривал глаза. Почтмейстер вдался более в философию и читал весьма прилежно, даже по ночам, Юнговы «Ночи» и «Ключ к таинствам натуры» Эккартсгаузена, из которых делал весьма длинные выписки, но какого рода они были, это никому не было известно; впрочем, он был остряк, цветист в словах и любил, как сам выражался, уснастить речь. А уснащивал он речь множеством разных частиц, как-то: «судырь ты мой, эдакой какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно так сказать, некоторым образом», и прочими, которые сыпал он мешками; уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что все придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам. Прочие тоже были более или менее люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал. Кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь; кто был просто байбак, лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было подымать: не встанет ни в каком случае. Насчет благовидности уже известно, все они были люди надежные, чахоточного между ними никого не было. Все были такого рода, которым жены в нежных разговорах, происходящих в уединении, давали названия: кубышки, толстунчика, пузантика, чернушки, кики, жужу и проч. Но вообще они были народ добрый, полны гостеприимства, и человек, вкусивший с ними хлеба ли или просидевший вечер за вистом, уже становился чем-то близким, тем более Чичиков с своими обворожительными качествами и приемами, знавший в самом деле великую тайну нравиться. Они так полюбили его, что он не видел средств, как вырваться из города; только и слышал он: «Ну, недельку, еще одну недельку поживите с нами, Павел Иванович!» – словом, он был носим, как говорится, на руках. Но несравненно замечательнее было впечатление (совершенный предмет изумления!), которое произвел Чичиков на дам. Чтоб это сколько-нибудь изъяснить, следовало бы сказать многое о самих дамах, об их обществе, описать, как говорится, живыми красками их душевные качества; но для автора это очень трудно. С одной стороны, останавливает его неограниченное почтение к супругам сановников, а с другой стороны… с другой стороны – просто трудно. Дамы города N. были… нет, никаким образом не могу: чувствуется

точно робость. В дамах города N. больше всего замечательно было то... Даже странно, совсем не подымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем. Так и быть: о характерах их, видно, нужно предоставить сказать тому, у которого поживее краски и побольше их на палитре, а нам придется разве слова два о наружности да о том, что поповерхностней. Дамы города N. были то, что называют презентабельны, и в этом отношении их можно было смело поставить в пример всем другим. Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, множество приличий самых тонких, а особенно наблюсти моду в самых последних мелочах, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Одевались они с большим вкусом, разъезжали по городу в колясках, как предписывала последняя мода, сзади покачивался лакей, и ливрея в золотых позументах. Визитная карточка, будь она писана хоть на трефовой двойке или бубновом тузе, но вещь была очень священная. Из-за нее две дамы, большие приятельницы и даже родственницы, перессорились совершенно, именно за то, что одна из них как-то манкировала контрвизитом. И уж как ни старались потом мужья и родственники примирить их, но нет, оказалось, что все можно сделать на свете, одного только нельзя: примирить двух дам, поссорившихся за манкировку визита. Так обе дамы и остались во взаимном нерасположении, по выражению городского света. Насчет занятия первых мест происходило тоже множество весьма сильных сцен, внушавших мужьям иногда совершенно рыцарские, великодушные понятия о заступничестве. Дуэли, конечно, между ними не происходило, потому что все были гражданские чиновники, но зато один другому старался напакостить, где было можно, что, как известно, подчас бывает тяжелее всякой дуэли. В нравах дамы города N. были строги, исполнены благородного негодования противу всего порочного и всяких соблазнов, казнили без всякой пощады всякие слабости. Если же между ими и происходило какое-нибудь то, что называют другое-третье, то оно происходило втайне, так что не было подаваемо никакого вида, что происходило; сохранялось все достоинство, и самый муж так был приготовлен, что если и видел другое-третье или слышал о нем, то отвечал коротко и благоразумно пословицею: «Кому какое дело, что кума с кумом сидела». Еще нужно сказать, что дамы города N. отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «я высморкалась», «я

вспотела», «я плюнула», а говорили: «я облегчила себе нос», «я обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать: «этот стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, а говорили вместо того: «этот стакан нехорошо ведет себя» или что-нибудь вроде этого. Чтоб еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора, и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку, зато уж там, по-французски, другое дело: там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых. Итак, вот что можно сказать о дамах города N., говоря поповерхностней. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иных вещей; но весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца. Итак, ограничась поверхностью, будем продолжать. До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения; но с тех пор как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки; виною всему слово «миллионщик», – не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей хороших, – словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость, совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают, что ничего не получат от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть напросятся насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик. Нельзя сказать, чтобы это нежное расположение к подлости было почувствовано дамами; однако же в многих гостиных стали говорить, что, конечно, Чичиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине, что будь он немного толще или полнее, уж это было бы нехорошо. При этом было сказано как-то даже несколько обидно насчет тоненького мужчины: что он больше ничего, как что-то вроде зубочистки, а не человек. В дамских нарядах оказались многие разные прибавления. В гостином дворе сделалась толкотня, чуть не давка; образовалось даже гулянье, до такой степени наехало экипажей. Купцы изумились, увидя, как несколько кусков материй, привезенных ими с ярмарки и не сходивших с рук по причине цены, показавшейся высокою,

пошли вдруг в ход и были раскуплены нарасхват. Во время обедни у одной из дам заметили внизу платья такое руло, которое растопырило его на полцеркви, так что частный пристав, находившийся тут же, дал приказание подвинуться народу подалее, то есть поближе к паперти, чтоб как-нибудь не измялся туалет ее высокоблагородия. Сам даже Чичиков не мог отчасти не заметить такого необыкновенного внимания. Один раз, возвратясь к себе домой, он нашел на столе у себя письмо; откуда и кто принес его, ничего нельзя было узнать; трактирный слуга отозвался, что принесли-де и не велели сказывать от кого. Письмо начиналось очень решительно, именно так: «Нет, я должна к тебе писать!» Потом говорено было о том, что есть тайное сочувствие между душами; эта истина скреплена была несколькими точками, занявшими почти полстроки; потом следовало несколько мыслей, весьма замечательных по своей справедливости, так что считаем почти необходимым их выписать: «Что жизнь наша? – Долина, где поселились горести. Что свет? – Толпа людей, которая не чувствует». Затем писавшая упоминала, что омочает слезами строки нежной матери, которая, протекло двадцать пять лет, как уже не существует на свете; приглашали Чичикова в пустыню, оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом; окончание письма отзывалось даже решительным отчаяньем и заключалось такими стихами:

Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах.
Воркуя томно, скажут,
Что она умерла во слезах.

В последней строке не было размера, но это, впрочем, ничего: письмо было написано в духе тогдашнего времени. Никакой подписи тоже не было: ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и числа. В postscriptum было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать писавшую и что на бале у губернатора, имеющем быть завтра, будет присутствовать сам оригинал.

Это очень его заинтересовало. В анониме было так много заманчивого и подстрекающего любопытство, что он перечел и в другой и в третий раз письмо и наконец сказал: «Любопытно бы, однако ж, знать, кто бы такая была писавшая!» Словом, дело, как видно, сделалось сурьезно; более часу он все думал об этом, наконец, расста-

вив руки и наклоня голову, сказал: «А письмо очень, очень кудряво написано!» Потом, само собой разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку, в соседстве с какою-то афишею и пригласительным свадебным билетом, семь лет сохранявшимся в том же положении и на том же месте. Немного спустя принесли к нему, точно, приглашенье на бал к губернатору, – дело весьма обыкновенное в губернских городах: где губернатор, там и бал, иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства.

Все постороннее было в ту ж минуту оставлено и отстранено прочь, и все было устремлено на приготовление к балу; ибо, точно, было много побудительных и задирающих причин. Зато, может быть, от самого создания света не было употреблено столько времени на туалет. Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то почтительное, но с некоторою улыбкою, то просто почтительное без улыбки; отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал кое-что даже языком; словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один, чувствуя притом, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не заглядывает в щелку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты мордашка эдакой!» – и стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во все время одевания: надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенною ловкостью и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие: задрожал комод, и упала со стола щетка.

Появление его на бале произвело необыкновенное действие. Все, что ни было, обратилось к нему навстречу, кто с картами в руках, кто на самом интересном пункте разговора произнесши: «а нижний земский суд отвечает на это…», но что такое отвечает земский суд, уж это он бросил в сторону и спешил с приветствием к нашему герою. «Павел Иванович! Ах боже мой, Павел Иванович! Любезный Павел Иванович! Почтеннейший Павел Иванович! Душа моя Павел Иванович! Вот вы где, Павел Иванович! Вот он, наш Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте-ка

его сюда, вот я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича!» Чичиков разом почувствовал себя в нескольких объятиях. Не успел совершенно выкарабкаться из объятий председателя, как очутился уже в объятиях полицеймейстера; полицеймейстер сдал его инспектору врачебной управы; инспектор врачебной управы – откупщику, откупщик – архитектору… Губернатор, который в то время стоял возле дам и держал в одной руке конфектный билет, а в другой болонку, увидя его, бросил на пол и билет и болонку, – только завизжала собачонка; словом, распространил он радость и веселье необыкновенное. Не было лица, на котором бы не выразилось удовольствие или по крайней мере отражение всеобщего удовольствия. Так бывает на лицах чиновников во время осмотра приехавшим начальником вверенных управлению их мест: после того как уже первый страх прошел, они увидели, что многое ему нравится, и он сам изволил наконец пошутить, то есть произнести с приятною усмешкой несколько слов. Смеются вдвое в ответ на это обступившие его приближенные чиновники; смеются от души те, которые, впрочем, несколько плохо услыхали произнесенные им слова, и, наконец, стоящий далеко у дверей у самого выхода какой-нибудь полицейский, отроду не смеявшийся во всю жизнь свою и только что показавший перед тем народу кулак, и тот по неизменным законам отражения выражает на лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка более похожа на то, как бы кто-нибудь собирался чихнуть после крепкого табаку. Герой наш отвечал всем и каждому и чувствовал какую-то ловкость необыкновенную: раскланивался направо и налево, по обыкновению своему несколько набок, но совершенно свободно, так что очаровал всех. Дамы тут же обступили его блистающею гирляндою и нанесли с собою целые облака всякого рода благоуханий: одна дышала розами, от другой несло весной и фиалками, третья вся насквозь была продушена резедой; Чичиков подымал только нос кверху да нюхал. В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса). Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах, и казалось, говорил: «Эй, улечу, жаль только, что не подыму с собой красавицу!» Талии были об-

тянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы (нужно заметить, что вообще все дамы города N. были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить). Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностию; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем «поцелуя», эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем «скромностей». Эти «скромности» скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидною полнотою; у иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее, – словом, кажется, как будто на всем было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж! Только местами вдруг высовывался какой-нибудь не виданный землею чепец или даже какое-то чуть не павлиное перо в противность всем модам, по собственному вкусу. Но уж без этого нельзя, таково свойство губернского города: где-нибудь уж он непременно оборвется. Чичиков, стоя перед ними, думал: «Которая, однако же, сочинительница письма?» – и высунул было вперед нос; но по самому носу дернул его целый ряд локтей, обшлагов, рукавов, концов лент, душистых шемизеток и платьев. Галопад летел во всю пропалую: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский – все поднялось и понеслось.

– Вона! пошла писать губерния! – проговорил Чичиков, попятившись назад, и как только дамы расселись по местам, он вновь начал выглядывать: нельзя ли по выражению в лице и в глазах узнать, которая была сочинительница; но никак нельзя было узнать ни по выражению в лице, ни по выражению в глазах, которая была со-

чинительница. Везде было заметно такое чуть-чуть обнаруженное, такое неуловимо-тонкое, у! какое тонкое!.. «Нет, – сказал сам в себе Чичиков, – женщины, это такой предмет...» – Здесь он и рукой махнул: – просто и говорить нечего! Поди-ка попробуй рассказать или передать все то, что бегает на их лицах, все те излучинки, намеки, – а вот просто ничего не передашь. Одни глаза их такое бесконечное государство, в которое заехал человек – и поминай как звали! Уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь. Ну попробуй, например, рассказать один блеск их: влажный, бархатный, сахарный. Бог их знает какого нет еще! и жесткий, и мягкий, и даже совсем томный, или, как иные говорят, в неге, или без неги, но пуще, нежели в неге – так вот зацепит за сердце, да и поведет по всей душе, как будто смычком. Нет, просто не приберешь слова: галантёрная половина человеческого рода, да и ничего больше!»

Виноват! Кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице. Что ж делать? Таково на Руси положение писателя! Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, не писатель виноват, виноваты читатели, и прежде всего читатели высшего общества: от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь, и наделят даже с сохранением всех возможных произношений: по-французски в нос картавя, по-английски произнесут как следует птице, и даже физиономию сделают птичью, и даже посмеются над тем, кто не сумеет сделать птичьей физиономии; а вот только русским ничем не наделят, разве из патриотизма выстроят себе на даче избу в русском вкусе. Вот каковы читатели высшего сословия, а за ними и все причитающие себя к высшему сословию! А между тем какая взыскательность! Хотят непременно, чтобы все было написано языком самым строгим, очищенным и благородным, – словом, хотят, чтобы русский язык сам собою опустился вдруг с облаков, обработанный как следует, и сел бы им прямо на язык, а им бы больше ничего, как только разинуть рты да выставить его. Конечно, мудрена женская половина человеческого рода; но почтенные читатели, надо признаться, бывают еще мудренее.

А Чичиков приходил между тем в совершенное недоумение решить, которая из дам была сочинительница письма. Попробовавши устремить внимательнее взор, он увидел, что с дамской стороны

тоже выражалось что-то такое, ниспосылающее вместе и надежду, и сладкие муки в сердце бедного смертного, что он наконец сказал: «Нет, никак нельзя угадать!» Это, однако же, никак не уменьшило веселого расположения духа, в котором он находился. Он непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными словами, подходил к той и другой дробным мелким шагом, или, как говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички щеголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам. Посеменивши с довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой в виде коротенького хвостика или наподобие запятой. Дамы были очень довольны и не только отыскали в нем кучу приятностей и любезностей, но даже стали находить величественное выражение в лице, что-то даже марсовское и военное, что, как известно, очень нравится женщинам. Даже из-за него уже начинали несколько ссориться: заметивши, что он становился обыкновенно около дверей, некоторые наперерыв спешили занять стул поближе к дверям, и когда одной посчастливилось сделать это прежде, то едва не произошла пренеприятная история, и многим, желавшим себе сделать то же, показалась уже чересчур отвратительною подобная наглость.

Чичиков так занялся разговорами с дамами, или, лучше, дамы так заняли и закружили его своими разговорами, подсыпая кучу самых замысловатых и тонких аллегорий, которые все нужно было разгадывать, отчего даже выступил у него на лбу пот, – что он позабыл исполнить долг приличия и подойти прежде всего к хозяйке. Вспомнил он об этом уже тогда, когда услышал голос самой губернаторши, стоявшей перед ним уже несколько минут. Губернаторша произнесла несколько ласковым и лукавым голосом с приятным потряхиванием головы: «А, Павел Иванович, так вот как вы!..» В точности не могу передать слов губернаторши, но было сказано что-то исполненное большой любезности, в том духе, в котором изъясняются дамы и кавалеры в повестях наших светских писателей, охотников описывать гостиные и похвалиться знанием высшего тона, в духе того, что «неужели овладели так вашим сердцем, что в нем нет более ни места, ни самого тесного уголка для безжалостно позабытых вами». Герой наш поворотился в ту ж минуту к губернаторше и уже готов был отпустить ей ответ, вероятно ничем не хуже тех,

какие отпускают в модных повестях Звонские, Линские, Лидипы, Гремины и всякие ловкие военные люди, как, невзначай поднявши глаза, остановился вдруг, будто оглушенный ударом.

Перед ним стояла не одна губернаторша: она держала под руку молоденькую шестнадцатилетнюю девушку, свеженькую блондинку с тоненькими и стройными чертами лица, с остреньким подбородком, с очаровательно круглившимся овалом лица, какое художник взял бы в образец для мадонны и какое только редким случаем попадается на Руси, где любит все оказаться в широком размере, всё что ни есть: и горы и леса и степи, и лица и губы и ноги; ту самую блондинку, которую он встретил на дороге, ехавши от Ноздрева, когда, по глупости кучеров или лошадей, их экипажи так странно столкнулись, перепутавшись упряжью, и дядя Митяй с дядею Миняем взялись распутывать дело. Чичиков так смешался, что не мог произнести ни одного толкового слова, и пробормотал черт знает что такое, чего бы уж никак не сказал ни Гремин, ни Зяонский, ни Лидин.

– Вы не знаете еще моей дочери? – сказала губернаторша, – институтка, только что выпущена

Он отвечал, что уже имел счастие нечаянным образом познакомиться; попробовал еще кое-что прибавить, но кое-что совсем не вышло. Губернаторша, сказав два-три слова, наконец отошла с дочерью в другой конец залы к другим гостям, а Чичиков все еще стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу, с тем чтобы прогуляться, с глазами, расположенными глядеть на все, и вдруг неподвижно остановился вспомнив, что он позабыл что-то, и уж тогда глупее ничего не может быть такого человека: вмиг беззаботное выражение слетает с лица его; он силится припомнить, что позабыл он, – не платок ли? но платок в кармане; не деньги ли? но деньги тоже в кармане, все, кажется, при нем, а между тем какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что он позабыл что-то. И вот уже глядит он растерянно и смущенно на движущуюся толпу перед ним, на летающие экипажи, на кивера и ружья проходящего полка, на вывеску – и ничего хорошо не видит. Так и Чичиков вдруг сделался чуждым всему, что ни происходило вокруг него. В это время из дамских благовонных уст к нему устремилось множество намеков и вопросов, проникнутых насквозь тонкостию и любезностию. «Позволено ли нам, бедным жителям земли, быть так

дерзкими, чтобы спросить вас, о чем мечтаете?» – «Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль ваша?» – «Можно ли знать имя той, которая погрузила вас в эту сладкую долину задумчивости?» Но он отвечал на все решительным невниманием, и приятные фразы канули, как в воду. Он даже до того был неучтив, что скоро ушел от них в другую сторону, желая повысмотреть, куда ушла губернаторша с своей дочкой. Но дамы, кажется, не хотели оставить его так скоро; каждая внутренно решилась употребить всевозможные орудия, столь опасные для сердец наших, и пустить в ход все, что было лучшего. Нужно заметить, что у некоторых дам, – я говорю у некоторых, это не то, что у всех, – есть маленькая слабость: если они заметят у себя что-нибудь особенно хорошее лоб ли, рот ли, руки ли, то уже думают, что лучшая часть лица их так первая и бросится всем в глаза и все вдруг заговорят в один голос: «Посмотрите, посмотрите, какой у ней прекрасный греческий нос!» или: «Какой правильный, очаровательный лоб!» У которой же хороши плечи, та уверена заранее, что все молодые люди будут совершенно восхищены и то и дело станут повторять в то время, когда она будет проходить мимо: «Ах, какие чудесные у этой плечи», – а на лицо, волосы, нос, лоб даже не взглянут, если же и взглянут, то как на что-то постороннее. Таким образом думают иные дамы. Каждая дама дала себе внутренний обет быть как можно очаровательней в танцах и показать во всем блеске превосходство того, что у нее было самого превосходного. Почтмейстерша, вальсируя, с такой томностию опустила набок голову, что слышалось в самом деле что-то неземное. Одна очень любезная дама, – которая приехала вовсе не с тем чтобы танцевать, по причине приключившегося, как сама выразилась, небольшого инкомодите в виде горошинки на правой ноге, вследствие чего должна была даже надеть плисовые сапоги, – не вытерпела, однако же, и сделала несколько кругов в плисовых сапогах, для того именно, чтобы почтмейстерша не забрала в самом деле слишком много себе в голову.

Вовсе это никак не произвело предполагаемого действия на Чичикова. Он даже не смотрел на круги, производимые дамами, но беспрестанно подымался на цыпочки выглядывать поверх голов, куда бы могла забраться занимательная блондинка; приседал и вниз тоже, высматривая промеж плечей и спин, наконец доискался и увидел ее, сидящую вместе с матерью, над которою величаво колеба-

лась какая-то восточная чалма с пером. Казалось, как будто он хотел взять их приступом; весеннее ли расположение подействовало на него, или толкал его кто сзади, только он протеснялся решительно вперед, несмотря ни на что; откупщик получил от него такой толчок, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на одной ноге, не то бы, конечно, повалил за собою целый ряд; почтмейстер тоже отступился и посмотрел на него с изумлением, смешанным с довольно тонкой иронией, но он на них не поглядел; он видел только вдали блондинку, надевавшую длинную перчатку и, без сомнения, сгоравшую желанием пуститься летать по паркету. А уж там в стороне четыре пары откалывали мазурку; каблуки ломали пол, и армейский штабс-капитан работал и душою и телом, и руками и ногами, отвертывая такие па, какие и во сне никому не случалось отвертывать. Чичиков прошмыгнул мимо мазурки почти по самым каблукам и прямо к тому месту, где сидела губернаторша с дочкой. Однако ж он подступил к ним очень робко, не семенил так бойко и франтовски ногами, даже несколько замялся, и во всех движениях оказалась какая-то неловкость.

Нельзя сказать наверно, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви, – даже сомнительно, чтобы господа такого рода, то есть не так чтобы толстые, однако ж и не то чтобы тонкие, способны были к любви; но при всем том здесь было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить: ему показалось, как сам он потом сознавался, что весь бал, со всем своим говором и шумом, стал на несколько минут как будто где-то вдали; скрыпки и трубы нарезывали где-то за горами, и всё подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и оконченно только одни тонкие черты увлекательной блондинки: ее овально круглившееся личико, ее тоненький, тоненький стан, какой бывает у институтки в первые месяцы после выпуска, ее белое, почти простое платьице, легко и ловко обхватившее во всех местах молоденькие стройные члены, которые означались в какие-то чистых линиях. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости; она только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы.

Видно, так уж бывает на свете; видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов; но слово «поэт» будет уже

слишком. По крайней мере он почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром. Увидевши возле них пустой стул, он тотчас его занял. Разговор сначала не клеился, но после дело пошло, и он начал даже получать форс, но... здесь, к величайшему прискорбию, надобно заметить, что люди степенные и занимающие важные должности как-то немного тяжеловаты в разговорах с дамами; на это мастера господа поручики и никак не далее капитанских чинов. Как они делают, бог их ведает: кажется, и не очень мудреные вещи говорят, а девица то и дело качается на стуле от смеха; статский же советник бог знает что расскажет: или поведет речь о том, что Россия очень пространное государство, или отпустит комплимент, который, конечно выдуман не без остроумия, но от него ужасно пахнет книгою; если же скажет что-нибудь смешное, то сам несравненно больше смеется, чем та, которая его слушает. Здесь это замечено для того, чтобы читатели видели, почему блондинка стала зевать во время рассказов нашего героя. Герой, однако же, совсем этого не замечал, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах: именно в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Фрола Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченица его Катерина Михайловна и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами – Софией Александровной и Маклатурой Александровной.

Всем дамам совершенно не понравилось такое обхождение Чичикова. Одна из них нарочно прошла мимо его, чтобы дать ему это заметить, и даже задела блондинку довольно небрежно толстым руло своего платья, а шарфом, который порхал вокруг плеч ее, распорядилась так, что он махнул концом своим ее по самому лицу; в то же самое время позади его из одних дамских уст изнеслось вместе с запахом фиалок довольно колкое и язвительное замечание. Но, или он не услышал в самом деле, или прикинулся, что не услышал, только это было нехорошо, ибо мнением дам нужно дорожить: в этом он и раскаялся, но уже после, стало быть поздно.

Негодование, во всех отношениях справедливое, изобразилось во многих лицах. Как ни велик был в обществе вес Чичикова, хотя он и миллионщик и в лице его выражалось величие и даже что-то марсовское и военное, но есть вещи, которых дамы не простят никому, будь он кто бы ни было, и тогда прямо пиши пропало! Есть случаи, где женщина, как ни слаба и бессильна характером в сравнении с мужчиною, но становится вдруг тверже не только мужчины, но и всего что ни есть на свете. Пренебрежение, оказанное Чичиковым почти неумышленное, восстановило между дамами даже согласие, бывшее было на краю погибели по случаю завладения стулом. В произнесенных им невзначай каких-то сухих и обыкновенных словах нашли колкие намеки. В довершение бед какой-то из молодых людей сочинил тут же сатирические стихи на танцевавшее общество, без чего, как известно, никогда почти не обходится на губернских балах. Эти стихи были приписаны тут же Чичикову. Негодованье росло, и дамы стали говорить о нем в разных углах самым неблагоприятным образом; а бедная институтка была уничтожена совершенно, и приговор ее уже был подписан.

А между тем герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность: в то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историйки, и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев. Из буфета ли он вырвался, или из небольшой зеленой гостиной, где производилась игра посильнее, чем в обыкновенный вист, своей ли волею, или вытолкали его, только он явился веселый, радостный, ухвативши под руку прокурора, которого, вероятно, уже таскал несколько времени, потому что бедный прокурор поворачивал на все стороны густые брови, как бы придумывая средство выбраться из этого дружеского подручного путешествия. В самом деле, оно было невыносимо. Ноздрев, захлебнув куражу в двух чашках чаю, конечно не без рома, врал немилосердно. Завидев еще издали его, Чичиков решился даже на пожертвование, то есть оставить свое завидное место и сколько можно поспешнее удалиться: ничего хорошего не предвещала ему эта встреча. Но, на беду в это время подвернулся губернатор, изъявивший необыкновенную радость, что нашел Павла Ивановича, и остановил его, прося быть судиею в споре его с двумя дамами насчет того, продолжительна ли женская любовь, или нет; а между тем Ноздрев уже увидал его и шел прямо навстречу.

– А, херсонский помещик, херсонский помещик! – кричал он, подходя и заливаясь смехом, от которого дрожали его свежие, румяные, как весенняя роза, щеки. – Что? много наторговал мертвых? Ведь вы не знаете, ваше превосходительство, – горланил он тут же, обратившись к губернатору, – он торгует мертвыми душами! Ей-богу! Послушай, Чичиков! ведь ты, – я тебе говорю по дружбе, вот мы все здесь твои друзья, вот и его превосходительство здесь, – я бы тебя повесил, ей-богу повесил!

Чичиков просто не знал, где сидел.

– Поверите ли, ваше превосходительство, – продолжал Ноздрев, – как сказал он мне: «Продай мертвых душ», – я так и лопнул со смеха. Приезжаю сюда, мне говорят, что накупил на три миллиона крестьян на вывод: какие на вывод! да он торговал у меня мертвых. Послушай, Чичиков, да ты скотина, ей-богу скотина, вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор?

Но прокурор, и Чичиков, и сам губернатор пришли в такое замешательство, что не нашлись совершенно, что отвечать, а между тем Ноздрев, нимало не обращая внимания, нес полутрезвую речь:

– Уж ты, брат, ты, ты… я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвые души. Послушай, Чичиков, ведь тебе, право, стыдно, у тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я. Вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор? Вы не верите, ваше превосходительство, как мы друг к другу привязаны, то есть, просто если бы вы сказали, вот, я тут стою, а вы бы сказали: «Ноздрев! скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков?» – скажу: «Чичиков», ей-богу… Позволь, душа, я тебе влеплю один безе. Уж вы позвольте, ваше превосходительство, поцеловать мне его. Да, Чичиков, уж ты не противься, одну безешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою!

Ноздрев был так оттолкнут со своими безе, что чуть не полетел на землю: от него все отступились и не слушали больше; но все же слова его о покупке мертвых душ были произнесены во всю глотку и сопровождены таким громким смехом, что привлекли внимание даже тех, которые находились в самых дальних углах комнаты. Эта новость так показалась странною, что все остановились с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением. Чичиков заметил, что многие дамы перемигнулись между собою с какою-то злобною, едкою усмешкою и в выражении некоторых лиц показалось что-то

такое двусмысленное, которое еще более увеличило это смущение. Что Ноздрев лгун отъявленный, это было известно всем, и вовсе не было в диковинку слышать от него решительную бессмыслицу; но смертный, право, трудно даже понять, как устроен этот смертный: как бы ни была пошла новость, но лишь бы она была новость, он непременно сообщит ее другому смертному, хотя бы именно для того только, чтобы сказать: «Посмотрите, какую ложь распустили!» – а другой смертный с удовольствием преклонит ухо, хотя после скажет сам: «Да это совершенно пошлая ложь, не стоящая никакого внимания!» – и вслед за тем сей же час отправится искать третьего смертного, чтобы, рассказавши ему, после вместе с ним воскликнуть с благородным негодованием: «Какая пошлая ложь!» И это непременно обойдет весь город, и все смертные, сколько их ни есть, наговорятся непременно досыта и потом признают, что это не стоит внимания и не достойно, чтобы о нем говорить.

Это вздорное, по-видимому, происшествие заметно расстроило нашего героя. Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека. Он стал чувствовать себя неловко, неладно: точь-точь как будто прекрасно вычищенным сапогом вступил вдруг в грязную, вонючую лужу; словом, нехорошо, совсем нехорошо! Он пробовал об этом не думать, старался рассеяться, развлечься, присел в вист, но все пошло как кривое колесо: два раза сходил он в чужую масть и, позабыв, что по третьей не бьют, размахнулся со всей руки и хватил сдуру свою же. Председатель никак не мог понять, как Павел Иванович, так хорошо и, можно сказать, тонко разумевший игру, мог сделать подобные ошибки и подвел даже под обух его пикового короля, на которого он, по собственному выражению, надеялся, как на бога. Конечно, почтмейстер и председатель и даже сам полицеймейстер, как водится, подшучивали над нашим героем, что уж не влюблен ли он и что мы знаем, дескать, что у Павла Ивановича сердечишко прихрамывает, знаем, кем и подстрелено; но все это никак не утешало, как он ни пробовал усмехаться и отшучиваться. За ужином тоже он никак не был в состоянии развернуться, несмотря на то что общество за столом было приятное и что Ноздрева давно уже вывели; ибо сами даже дамы наконец заметили, что поведение его чересчур становилось скандалезно. Посреди котильона он сел на пол и стал хватать за полы танцующих, что было уже ни на что не похоже, по выражению

дам. Ужин был очень весел, все лица, мелькавшие перед тройными подсвечниками, цветами, конфектами и бутылками, были озарены самым непринужденным довольством. Офицеры, дамы, фраки – все сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульев и бежали отнимать у слуг блюда, чтобы с необыкновенною ловкостию предложить их дамам. Один полковник подал даме тарелку с соусом на конце обнаженной шпаги. Мужчины почтенных лет, между которыми сидел Чичиков, спорили громко, заедая дельное слово рыбой или говядиной, обмакнутой нещадным образом в горчицу, и спорили о тех предметах, в которых он даже всегда принимал участие; но он был похож на какого-то человека, уставшего или разбитого дальней дорогой, которому ничто не лезет на ум и который не в силах войти ни во что. Даже не дождался он окончания ужина и уехал к себе несравненно ранее, чем имел обыкновение уезжать.

Там, в этой комнатке, так знакомой читателю, с дверью, заставленной комодом, и выглядывавшими иногда из углов тараканами, положение мыслей и духа его было так же неспокойно, как неспокойны те кресла, в которых он сидел. Неприятно, смутно было у него на сердце, какая-то тягостная пустота оставалась там. «Чтоб вас черт побрал всех, кто выдумал эти балы! – говорил он в сердцах. – Ну, чему сдуру обрадовались? В губернии неурожаи, дороговизна, так вот они за балы! Эк штука: разрядились в бабьи тряпки! Невидаль, что иная навертела на себя тысячу рублей! А ведь на счет же крестьянских оброков или, что еще хуже, на счет совести нашего брата. Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой: для того чтобы жене достать на шаль или на разные роброны, провал их возьми, как их называют. А из чего? чтобы не сказала какая-нибудь подстёга Сидоровна, что на почтмейстерше лучше было платье, да из-за нее бух тысячу рублей. Кричат: „Бал, бал, веселость!“ – просто дрянь бал, не в русском духе, не в русской натуре; черт знает что такое: взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь в черном, общипанный, обтянутый, как чертик, и давай месить ногами. Иной даже, стоя в паре, переговаривает с другим об важном деле, а ногами в то же время, как козленок, вензеля направо и налево… Всё из обезьянства, всё из обезьянства! Что француз в сорок лет такой же ребенок, каким был и в пятнадцать, так вот давай же и мы! Нет, право… после всякого бала точно как будто какой грех сделал; и вспо-

минать даже о нем не хочется. В голове просто ничего, как после разговора с светским человеком: всего он наговорит, всего слегка коснется, все скажет, что понадергал из книжек, пестро, красно, а в голове хоть бы что-нибудь из того вынес, и видишь потом, как даже, разговор с простым купцом, знающим одно свое дело, но знающим его твердо и опытно, лучше всех этих побрякушек. Ну что из него выжмешь, из этого бала? Ну если бы, положим, какой-нибудь писатель вздумал описывать всю эту сцену так, как она есть? Ну и в книге, и там была бы она также бестолкова, как в натуре. Что она такое: нравственная ли, безнравственная ли? просто черт знает что такое! Плюнешь, да и книгу потом закроешь». Так отзывался неблагоприятно Чичиков о балах вообще; но, кажется, сюда вмешалась другая причина негодованья. Главная досада была не на бал, а на то, что случилось ему оборваться, что он вдруг показался пред всеми бог знает в каком виде, что сыграл какую-то странную, двусмысленную роль. Конечно, взглянувши оком благоразумного человека, он видел, что все это вздор, что глупое слово ничего не значит, особливо теперь, когда главное дело уже обделано как следует. Но странен человек: его огорчало сильно нерасположенье тех самых, которых он не уважал и насчет которых отзывался резко, понося их суетность и наряды. Это тем более было ему досадно, что, разобравши дело ясно, он видел, как причиной этого был отчасти сам. На себя, однако же, он не рассердился, и в том, конечно, был прав. Все мы имеем маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше приискать какого-нибудь ближнего, на ком бы выместить свою досаду, например на слуге, на чиновнике, нам подведомственном, который в пору подвернулся, на жене или, наконец, на стуле, который швырнется черт знает куда, к самым дверям, так что отлетит от него ручка и спинка: пусть, мол, его знает, что такое гнев. Так и Чичиков скоро нашел ближнего, который потащил на плечах своих все, что только могла внушить ему досада. Ближний этот был Ноздрев, и нечего сказать, он был так отделан со всех боков и сторон, как разве только какой-нибудь плут староста или ямщик бывает отделан каким-нибудь езжалым, опытным капитаном, а иногда и генералом, который сверх многих выражений, сделавшихся классическими, прибавляет еще много неизвестных, которых изобретение принадлежит ему собственно. Вся родословная Ноздрева была разобрана, и многие из членов его фамилии в восходящей линии сильно потерпели.

Но в продолжение того, как он сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздрева и всю родню его, и перед ним теплилась сальная свечка, которой светильня давно уже накрылась нагоревшею черною шапкою, ежеминутно грозя погаснуть, и глядела ему в окна слепая, темная ночь, готовая посинеть от приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи, и в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где-нибудь фризовая шинель, горемыка неизвестно какого класса и чина, знающая одну только (увы!) слишком протертую русским забубенным народом дорогу, – в это время на другом конце города происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего героя. Именно, в отдаленных улицах и закоулках города дребезжал весьма странный экипаж, наводивший недоумение насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски, затворялись очень плохо по причине плохого состояния ручек и замков, кое-как связанных веревками. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рассольник выглядывали даже наверх. Запятки были заняты лицом лакейского происхожденья, в куртке из домашней пеструшки, с небритой бородою, подернутою легкой проседью, – лицо, известное под именем «малого». Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города булочника, который, подняв свою алебарду, закричал спросонья что стало мочи: «Кто идет?» – но, увидев, что никто не шел, а слышалось только издали дребезжанье, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошед к фонарю, казнил его тут же у себя на ногте. После чего, отставивши алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства. Лошади то и дело падали на передние коленки, потому что не были подкованы, и притом, как видно, покойная городская мостовая была им мало знакома. Колымага, сделавши несколько поворотов из улицы в улицу, наконец поворотила в темный переулок мимо небольшой приходской церкви Николы на Недотычках и остановилась пред воротами дома протопопши. Из брички вылезла девка, с платком на голове, в телогрейке, и хватила

обоими кулаками в ворота так сильно, хоть бы и мужчине (малый в куртке из пеструшки был уже потом стащен за ноги, ибо спал мертвецки). Собаки залаяли, и ворота, разинувшись наконец, проглотили, хотя с большим трудом, это неуклюжее дорожное произведение. Экипаж въехал в тесный двор, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами; из экипажа вылезла барыня: эта барыня была помещица, коллежская секретарша Коробочка. Старушка вскоре после отъезда нашего героя в такое пришла беспокойство насчет могущего произойти со стороны его обмана, что, не поспавши три ночи сряду, решилась ехать в город, несмотря на то что лошади не были подкованы, и там узнать наверно, почем ходят мертвые души и уж не промахнулась ли она, боже сохрани, продав их, может быть, втридешева. Какое произвело следствие это прибытие, читатель может узнать из одного разговора, который произошел между одними двумя дамами. Разговор сей… но пусть лучше сей разговор будет в следующей главе.

Глава девятая

Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе N. для визитов, из дверей оранжевого деревянного дома с мезонином и голубыми колоннами выпорхнула дама в клетчатом щегольском клоке, сопровождаемая лакеем в шинели с несколькими воротниками и золотым галуном на круглой лощеной шляпе. Дама вспорхнула в тот же час с необыкновенною поспешностью по откинутым ступенькам в стоявшую у подъезда коляску. Лакей тут же захлопнул даму дверцами, закидал ступеньками и ухватясь за ремни сзади коляски, закричал кучеру: «Пошел!» Дама везла только что услышанную новость и чувствовала побуждение непреодолимое скорее сообщить ее. Всякую минуту выглядывала она из окна и видела, к несказанной досаде, что все еще остается полдороги. Всякий дом казался ей длиннее обыкновенного; белая каменная богадельня с узенькими окнами тянулась нестерпимо долго, так что она наконец не вытерпела не сказать: «Проклятое строение, и конца нет!» Кучер уже два раза получил приказание: «Поскорее, поскорее, Андрюшка! ты сегодня несносно долго едешь!» Наконец цель была достигнута. Коляска остановилась перед деревянным же одноэтажным домом темно-серого цвета, с белыми барельефчиками над окнами, с высо-

кою деревянною решеткою перед самыми окнами и узеньким палисадником, за решеткою которого находившиеся тоненькие деревца побелели от никогда не сходившей с них городской пыли. В окнах мелькали горшки с цветами, попугай, качавшийся в клетке, уцепясь носом за кольцо, и две собачонки, спавшие перед солнцем. В этом доме жила искренняя приятельница приехавшей дамы. Автор чрезвычайно затрудняется, как назвать ему обеих дам таким образом, чтобы опять не рассердились на него, как серживались встарь. Назвать выдуманною фамилией опасно. Какое ни придумай имя, уж непременно найдется в каком-нибудь углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь, носящий его, и непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет говорить, что автор нарочно приезжал секретно, с тем чтобы выведать все, что он такое сам, и в каком тулупчике ходит, и к какой Аграфене Ивановне наведывается, и что любит покушать. Назови же по чинам – боже сохрани, и того опасней. Теперь у нас все чины и сословия так раздражены, что все, что ни есть в печатной книге, уже кажется им личностью: таково уж, видно, расположенье в воздухе. Достаточно сказать только, что есть в одном городе глупый человек, это уже и личность; вдруг выскочит господин почтенной наружности и закричит: «Ведь я тоже человек, стало быть, я тоже глуп», – словом, вмиг смекнет, в чем дело. А потому, для избежания всего этого, будем называть даму к которой приехала гостья, так, как она называлась почти единогласно в городе N.: именно, дамою приятною во всех отношениях. Это название она приобрела законным образом, ибо, точно, ничего не пожалела, чтобы сделаться любезною в последней степени, хотя, конечна, сквозь любезность прокрадывалась ух какая яркая прыть женского характера! и хотя подчас в каждом приятном слове ее торчала ух какая булавка! а уж не приведи бог, что кипело в сердце против той, которая бы пролезла как-нибудь и чем-нибудь в первые. Но все это было облечено самою тонкою светскостью, какая только бывает в губернском городе. Всякие движения производила она со вкусом, даже любила стихи, даже иногда мечтательно умела держать голову, – и все согласились, что она, точно, дама приятная во всех отношениях. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и потому будем называть ее: просто приятная дама. Приезд гостьи разбудил собачонок, сиявших на солнце: мохнатую Адель, беспрестанно путавшуюся в собствен-

ной шерсти, и кобелька Попури на тоненьких ножках. Тот и другая с лаем понесли кольцами хвосты свои в переднюю, где гостья освобождалась от своего клока и очутилась в платье модного узора и цвета и в длинных хвостах на шее; жасмины понеслись по всей комнате. Едва только во всех отношениях приятная дама узнала о приезде просто приятной дамы, как уже вбежала в переднюю. Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки еще не успели объяснить им, что отец у одной беднее и ниже чином, нежели у другой. Поцелуй совершился звонко, потому что собачонки залаяли снова, за что были хлопнуты платком, и обе дамы отправились в гостиную, разумеется голубую, с диваном, овальным столом и даже ширмочками, обвитыми плющом; вслед за ними побежали, ворча, мохнатая Адель и высокий Попури на тоненьких ножках. «Сюда, сюда, вот в этот уголочек! – говорила хозяйка, усаживая гостью в угол дивана. – Вот так! вот так! вот вам и подушка!» Сказавши это, она запихнула ей за спину подушку, на которой был вышит шерстью рыцарь таким образом, как их всегда вышивают по канве: нос вышел лестницею, а губы четвероугольником. «Как же я рада, что вы… Я слышу, кто-то подъехал, да думаю себе, кто бы мог так рано. Параша говорит: „вице-губернаторша“, а я говорю: „ну вот, опять приехала дура надоедать“, и уж хотела сказать, что меня нет дома…»

Гостья уже хотела было приступить к делу и сообщить новость. Но восклицание, которое издала в это время дама приятная во всех отношениях, вдруг дало другое направление разговору.

– Какой веселенький ситец! – воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы.

– Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материйку: это такое очарованье, которого просто нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие-узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки… Словом, бесподобно! Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете.

– Милая, это пестро.

– Ах, нет, не пестро.

– Ах, пестро!

Нужно заметить, что во всех отношениях приятная дама была отчасти материалистка, склонна к отрицанию и сомнению и отвергала весьма многое в жизни.

Здесь просто приятная дама объяснила, что это отнюдь не пестро, и вскрикнула:

– Да, поздравляю вас: оборок более не носят.

– Как не носят?

– На место их фестончики.

– Ах, это нехорошо, фестончики!

– Фестончики, всё фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики.

– Нехорошо, Софья Ивановна, если всё фестончики.

– Мило, Анна Григорьевна, до невероятности; шьется в два рубчика: широкие проймы и сверху… Но вот, вот когда вы изумитесь, вот уж когда скажете, что… Ну, изумляйтесь: вообразите, лифчики пошли еще длиннее, впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ; юбка вся собирается вокруг, как, бывало, в старину фижмы, даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бель-фам.

– Ну уж это просто: признаюсь! – сказала дама приятная во всех отношениях, сделавши движенье головою с чувством достоинства.

– Именно, это уж, точно, признаюсь, – отвечала просто приятная дама.

– Уж как вы хотите, я ни за что не стану подражать этому.

– Я сама тоже… Право, как вообразишь, до чего иногда доходит мода… ни на что не похоже! Я выпросила у сестры выкройку нарочно для смеху; Меланья моя принялась шить.

– Так у вас разве есть выкройка? – вскрикнула во всех отношениях приятная дама не без заметного сердечного движенья.

– Как же, сестра привезла.

– Душа моя, дайте ее мне ради всего святого.

– Ах, я уж дала слово Прасковье Федоровне. Разве после нее.

– Кто ж станет носить после Прасковьи Федоровны? Это уже слишком странно будет с вашей стороны, если вы чужих предпочтете своим.

– Да ведь она тоже мне двоюродная тетка.

– Она вам тетка еще бог знает какая: с мужниной стороны… Нет, Софья Ивановна, я и слышать не хочу, это выходит: вы мне хотите нанесть такое оскорбленье… Видно, я вам наскучила уже, видно, вы хотите прекратить со мною всякое знакомство.

Бедная Софья Ивановна не знала совершенно, что ей делать. Она чувствовала сама, между каких сильных огней себя поставила. Вот тебе и похвасталась! Она бы готова была исколоть за это иголками глупый язык.

– Ну что ж наш прелестник? – сказала между тем дама приятная во всех отношениях.

– Ах, боже мой! что ж я так сижу перед вами! вот хорошо! Ведь вы знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам? – Тут дыхание гостьи сперлось, слова, как ястребы, готовы были пуститься в погоню одно за другим, и только нужно было до такой степени быть бесчеловечной, какова была искренняя приятельница, чтобы решиться остановить ее.

– Как вы ни выхваляйте и ни превозносите его, – говорила она с живостью, более нежели обыкновенною, – а я скажу прямо, и ему в глаза скажу, что он негодный человек, негодный, негодный, негодный.

– Да послушайте только, что я вам открою…

– Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош, совсем не хорош, и нос у него… самый неприятный нос.

– Позвольте же, позвольте же только рассказать вам… душенька, Анна Григорьевна, позвольте рассказать! Ведь это история, понимаете ли: история, сконапель истоар, – говорила гостья с выражением почти отчаяния и совершенно умоляющим голосом. Не мешает заметить, что в разговор обеих дам вмешивалось очень много иностранных слов и целиком иногда длинные французские фразы. Но как ни исполнен автор благоговения к тем спасительным пользам, которые приносит французский язык России, как ни исполнен благоговения к похвальному обычаю нашего высшего общества, изъясняющегося на нем во все часы дня, конечно, из глубокого чувства любви к отчизне, но при всем том никак не решается внести фразу какого бы ни было чуждого языка в сию русскую свою поэму. Итак, станем продолжать по-русски.

– Какая же история?

– Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, если бы вы могли только

представить то положение, в котором я находилась, вообразите: приходит ко мне сегодня протопопша – протопопша, отца Кирилы жена – и что бы вы думали: наш-то смиренник, приезжий-то наш, каков, а?

– Как, неужели он и протопопше строил куры?

– Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, это бы еще ничего; слушайте только, что рассказала протопопша: приехала, говорит, к ней помещица Коробочка, перепуганная и бледная как смерть, и рассказывает, и как рассказывает, послушайте только, совершенный роман: вдруг в глухую полночь, когда все уже спало в доме, раздается в ворота стук, опаснейший, какой только можно себе представить; кричат: «Отворите, отворите, не то будут выломаны ворота!» Каково вам это покажется? Каков же после этого прелестник?

– Да что Коробочка, разве молода и хороша собою?

– Ничуть, старуха.

– Ах, прелести! Так он за старуху принялся. Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашли в кого влюбиться.

– Да ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе только то, что является вооруженный с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдина, и требует: «Продайте, говорит, все души, которые умерли». Коробочка отвечает очень резонно, говорит: «Я не могу продать, потому что они мертвые». – «Нет, говорит, они не мертвые, это мое, говорит, дело знать, мертвые ли они, или нет, они не мертвые, не мертвые, кричит, не мертвые». Словом, скандальозу наделал ужасного: вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричит, никто никого не понимает, ну просто оррёр, оррёр, оррёр!.. Но вы себе представить не можете, Анна Григорьевна, как я перетревожилась, когда услышала все это. «Голубушка барыня, – говорит мне Машка. – посмотрите в зеркало: вы бледны». – «Не до зеркала, говорю, мне, я должна ехать рассказать Анне Григорьевне». В ту ж минуту приказываю заложить коляску: кучер Андрюшка спрашивает меня, куда ехать, а я ничего не могу и говорить, гляжу просто ему в глаза, как дура; я думаю, что он подумал, что я сумасшедшая. Ах, Анна Григорьевна, если б вы только могли себе представить, как я перетревожилась!

– Это, однако ж, странно, – сказала во всех отношениях приятная дама, – что бы такое могли значить эти мертвые души? Я, при-

знаюсь, тут ровно ничего не понимаю. Вот уже во второй раз я все слышу про эти мертвые души; а муж мой еще говорит, что Ноздрев врет; что-нибудь, верно же, есть.

– Но представьте же, Анна Григорьевна, каково мое было положение, когда я услышала это. «И теперь, – говорит Коробочка, – я, право, не знаю, говорит, что мне делать. Заставил, говорит, подписать меня какую-то фальшивую бумагу, бросил пятнадцать рублей ассигнациями; я, говорит, неопытная беспомощная вдова, я ничего не знаю...» Так вот происшествия! Но только если бы вы могли сколько-нибудь себе представить, как я вся перетревожилась.

– Но только, воля ваша, здесь не мертвые души, здесь скрывается что-то другое.

– Я, признаюсь, тоже, – произнесла не без удивления приятная дама и почувствовала тут же сильное желание узнать, просто бы такое могло здесь скрываться. Она даже произнесла с расстановкой: – А что ж, вы полагаете, здесь скрывается?

– Ну, как вы думаете?

– Как я думаю?.. Я, признаюсь, совершенно потеряна.

– Но, однако ж, я бы все хотела знать, какие ваши насчет этого мысли?

Но приятная дама ничего не нашлась сказать. Она умела только тревожиться, но чтобы составить какое-нибудь сметливое предположение, для этого никак ее не ставало, и оттого, более нежели вся-кая другая, она имела потребность в нежной дружбе и советах.

– Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души, – сказала дама приятная во всех отношениях, и гостья при таких словах вся обратилась в слух: ушки ее вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновенья.

Так русский барин, собачей и иора-охотник, подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный доезжачими заяц, превращается весь с своим конем и поднятым арапником в один превший миг, в порох, к которому вот-вот поднесут огонь. Весь застыв-он очами в мутный воздух и уж настигнет зверя, уж допечет его неотбойный, как ни воздымайся против него вся мятущая снеговая степь, пускающая серебряные звезды ему в уста, в усы, в очи, в бро-ви и в бобровую его шапку.

– Мертвые души… – произнесла во всех отношениях приятная дама.

– Что, что? – подхватила гостья, вся в волненье.

– Мертвые души!..

– Ах, говорите, ради бога!

– Это просто выдумано только для прикрытья, а дело вот в чем: он хочет увезти губернаторскую дочку.

Это заключение, точно, было никак неожиданно и во всех отношениях необыкновенно. Приятная дама, услышав это, так и окаменела на месте, побледнела, побледнела, как смерть и, точно, перетревожилась не на шутку.

– Ах, боже мой! – вскрикнула она, всплеснув руками, – уж этого я бы никак не могла предполагать.

– А я, признаюсь, как только вы открыли рот, я уже смекнула, в чем дело, – отвечала дама приятная во всех отношениях.

– Но каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание! ведь вот невинность!

– Какая невинность! Я слыхала, как она говорила такие речи, что, признаюсь, у меня не станет духа произнести их.

– Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего достигла наконец безнравственность.

– А мужчины от нее без ума. А по мне, так я, признаюсь, ничего не нахожу в ней… Манерна нестерпимо.

– Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, она статуя, и хоть бы какое-нибудь выраженье в лице.

– Ах, как манерна! ах, как манерна! Боже, как манерна! Кто выучил ее, я не знаю, но я еще не видывала женщины, в которой бы было столько жеманства.

– Душенька! она статуя и бледна как смерть.

– Ах, не говорите, Софья Ивановна: румянится безбожно.

– Ах, что это вы, Анна Григорьевна: она мел, мел, чистейший мел.

– Милая, я сидела возле нее: румянец в палец толщиной и отваливается, как штукатурка, кусками. Мать выучила, сама кокетка, а дочка еще превзойдет матушку.

– Ну позвольте, ну положите сами клятву, какую хотите, я готова сей же час лишиться детей, мужа, всего именья, если у ней есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тень какого-нибудь румянца!

– Ах, что вы это говорите, Софья Ивановна! – сказала дама приятная во всех отношениях и всплеснула руками.

– Ах, какие же вы, право, Анна Григорьевна! я с изумленьем на вас гляжу! – сказала приятная дама и всплеснула тоже руками.

Да не покажется читателю странным, что обе дамы были не согласны между собою в том, что видели почти в одно и то же время. Есть, точно, на свете много таких вещей, которые имеют уже такое свойство: если на них взглянет одна дама, они выйдут совершенно белые, а взглянет другая, выйдут красные, красные, как брусника.

– Ну, вот вам еще доказательство, что она бледна, – продолжала приятная дама, – я помню, как теперь, что я сижу возле Манилова и говорю ему: «Посмотрите, какая она бледная!» Право, нужно быть до такой степени бестолковыми, как наши мужчины, чтобы восхищаться ею. А наш-то прелестник… Ах, как он мне показался противным! Вы не можете себе представить, Анна Григорьевна, до какой степени он мне показался противным.

– Да, однако же, нашлись некоторые дамы, которые были неравнодушны к нему.

– Я, Анна Григорьевна? Вот уж никогда вы не можете сказать этого, никогда, никогда!

– Да я не говорю об вас, как будто, кроме вас, никого нет.

– Никогда, никогда, Анна Григорьевна! Позвольте мне вам заметить, что я очень хорошо себя знаю; а разве со стороны каких-нибудь иных дам, которые играют роль недоступных.

– Уж извините, Софья Ивановна! Уж позвольте вам сказать, что за мной подобных скандальозностей никогда еще не водилось. За кем другим разве, а уж за мной нет, уж позвольте мне вам это заметить.

– Отчего же вы обиделись? ведь там были и другие дамы, были даже такие, которые первые захватили стул у дверей, чтобы сидеть к нему поближе.

Ну, уж после таких слов, произнесенных приятною дамою, должна была неминуемо последовать буря, но, к величайшему изумлению, обе дамы вдруг приутихли, и совершенно ничего не последовало. Во всех отношениях приятная дама вспомнила, что выкройка для модного платья еще не находится в ее руках, а просто приятная дама смекнула, что она еще не успела выведать никаких подробностей насчет открытия, сделанного ее искреннею приятель-

ницею, и потому мир последовал очень скоро. Впрочем, обе дамы нельзя сказать чтобы имели в своей натуре потребность наносить неприятность, и вообще в характерах их ничего не было злого, а так, нечувствительно, в разговоре рождалось само собою маленькое желание кольнуть друг друга; просто одна другой из небольшого наслаждения при случае всунет иное живое словцо: вот, мол, тебе! на, возьми, съешь! Разного рода бывают потребности в сердцах как мужеского, так и женского пола.

– Я не могу, однако же, понять только того, – сказала просто приятная дама, – как Чичиков, будучи человек заезжий, мог решиться на такой отважный пассаж. Не может быть, чтобы тут не было участников.

– А вы думаете, нет их?

– А кто же бы, полагаете, мог помогать ему?

– Ну да хоть и Ноздрев.

– Неужели Ноздрев?

– А что ж? ведь его на это станет. Вы знаете, он родного отца хотел продать или, еще лучше, проиграть в карты.

– Ах, боже мой, какие интересные новости я узнаю от вас! Я бы никак не могла предполагать, чтобы и Ноздрев был замешан в эту историю!

– А я всегда предполагала.

– Как подумаешь, право, чего не происходит на свете! Ну можно ли было предполагать, когда, помните, Чичиков только что приехал к нам в город, что он произведет такой странный марш в свете? Ах, Анна Григорьевна, если бы вы знали, как я перетревожилась! Если бы не ваша благосклонность и дружба… вот уже, точно, на краю погибели… куда ж? Машка моя видит, что я бледна как смерть. «Душечка барыня, – говорит мне, – вы бледны как смерть». – «Машка, говорю, мне не до того теперь». Так вот какой случай! Так и Ноздрев здесь, прошу покорно!

Приятной даме очень хотелось выведать дальнейшие подробности насчет похищения, то есть в котором часу и прочее, но многого захотела. Во всех отношениях приятная дама прямо отозвалась незнанием. Она не умела лгать: предположить что-нибудь – это другое дело, но и то в таком случае, когда предположение основывалось на внутреннем убеждении; если ж было почувствовано внутреннее убеждение, тогда умела она постоять за себя, и попробовал бы ка-

кой-нибудь дока-адвокат, славящийся даром побеждать чужие мнения, попробовал бы он состязаться здесь, – увидел бы он, что значит внутреннее убеждение.

Что обе дамы наконец решительно убедились в том, что прежде предположили только как одно предположение, в этом ничего нет необыкновенного. Наша братья, народ умный, – как мы называем себя, поступает почти так же, и доказательством служат наши ученые рассуждения. Сперва ученый подъезжает в них необыкновенным подлецом, начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным запросом: не оттуда ли? не из того ли угла получила имя такая-то страна? или: не принадлежит ли этот документ к другому, позднейшему времени? или: не нужно ли под этим народом разуметь вот какой народ? Цитует немедленно тех и других древних писателей и чуть только видит какой-нибудь намек или просто показалось ему намеком, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними писателями запросто, задает им запросы и сам даже отвечает за них, позабывая вовсе о том, что начал робким предположением; ему уже кажется, что он это видит, что это ясно, – и рассуждение заключено словами: «так это вот как было, так вот какой народ нужно разуметь, так вот с какой точки нужно смотреть на предмет!» Потом во всеуслышанье с кафедры, – и новооткрытая истина пошла гулять по свету, набирая себе последователей и поклонников.

В то время, когда обе дамы так удачно и остроумно решили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную прокурор с вечно неподвижною своей физиономией, густыми бровями и моргавшим глазом. Дамы наперерыв принялись сообщать ему все события, рассказали о покупке мертвых душ, о намерении увезти губернаторскую дочку и сбили его совершенно с толку, так что сколько ни продолжал он стоять на одном и том же месте, хлопать левым глазом и бить себя платком по бороде, сметая оттуда табак, но ничего решительно не мог понять. Так на том и оставили его обе дамы и отправились каждая в свою сторону бунтовать город. Это предприятие удалось произвести им с небольшим в полчаса. Город был решительно взбунтован; все пришло в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять. Дамы умели напустить такого тумана в глаза всем, что все, а особенно чиновники, несколько времени оставались ошеломленными. Положение их в первую минуту было похоже на положение школьника, которому сонному товарищи, вставшие

поранее, засунули в нос гусара, то есть бумажку, наполненную табаком. Потянувши впросонках весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит, как дурак, выпучив глаза, во все стороны, и не может понять, где он, что с ним было, и потом уже различает озаренные косвенным лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам, и глядящее в окно наступившее утро, с проснувшимся лесом, звучащим тысячами птичьих голосов, и с осветившеюся речкою, там и там пропадающею блещущими загогулинами между тонких тростников, всю усыпанную нагими ребятишками, зазывающими на купанье, и потом уже наконец чувствует, что в носу у него сидит гусар. Таково совершенно было в первую минуту положение обитателей и чиновников города. Всякий, как баран, остановился, выпучив глаза. Мертвые души, губернаторская дочка и Чичиков сбились и смешались в головах их необыкновенно странно; и потом уже, после первого одурения, они как будто бы стали различать их порознь и отделять одно от другого, стали требовать отчета и сердиться, видя, что дело никак не хочет объясниться. Что ж за притча, в самом деле, что за притча эти мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах; как же покупать мертвые души? где ж дурак такой возьмется? и на какие слепые деньги станет он покупать их? и на какой конец, к какому делу можно приткнуть эти мертвые души? и зачем вмешалась сюда губернаторская дочка? Если же он хотел увезти ее, так зачем для этого покупать мертвые души? Если же покупать мертвые души, так зачем увозить губернаторскую дочку? подарить, что ли, он хотел ей эти мертвые души? что ж за вздор, в самом деле, разнесли по городу? Что ж за направленье такое, что не успеешь поворотиться, а тут уж и выпустят историю, и хоть бы какой-нибудь смысл был... Однако ж разнесли, стало быть, была же какая-нибудь причина? Какая же причина в мертвых душах? даже и причины нет. Это, выходит, просто: Андроны едут, чепуха, белиберда, сапоги всмятку! это просто черт побери!.. Словом, пошли толки, толки, и весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку, про Чичикова и мертвые души, про губернаторскую дочку и Чичикова, и все, что ни есть, поднялось. Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие сапоги, то на портного, то

на пьяницу кучера. Все те, которые прекратили давно уже всякие знакомства и знались только, как выражаются, с помещиками Завалишиным да Полежаевым (знаменитые термины, произведенные от глаголов «полежать» и «завалиться», которые в большом ходу у нас на Руси, все равно как фраза: заехать к Сопикову и Храповицкому, означающая всякие мертвецкие сны на боку, на спине и во во всех иных положениях, с захрапами, носовыми свистами и прочими принадлежностями); все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку пятисотрублевой ухи с двухаршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками; словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный, с простреленною рукою. такого высокого роста, какого даже и не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки – и заварилась каша. В другое время и при других обстоятельствах подобные слухи, может быть, не обратили бы на себя никакого внимания; но город N. уже давно не получал никаких совершенно вестей. Даже не происходило в продолжение трех месяцев ничего такого, что называют в столицах комеражами, что, как известно, для города то же, что своевременный подвоз съестных припасов. В городской толковне оказалось вдруг два совершенно противоположных мнения и образовалися вдруг две противоположные партии: мужская и женская. Мужская партия, самая бестолковая, обратила внимание на мертвые души. Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочки. В этой партии, надо заметить к чести дам, было несравненно более порядка и осмотрительности. Таково уже, видно, самое назначение их быть хорошими хозяйками и распорядительницами. Все у них скоро приняло живой определенный вид, облеклось в ясные и очевидные формы, объяснилось, очистилось, одним словом, вышла оконченная картинка. Оказалось, что Чичиков давно уже был влюблен, и виделись они в саду при лунном свете, что губернатор даже бы отдал за него дочку, потому что Чичиков богат, как жид, если бы причиною не была жена его, которую он бросил (откуда они узнали, что Чичиков женат, – это никому не было ведомо), и что жена, которая страдает от безнадежной любви, написала письмо к губернатору самое трогательное, и что Чичиков, видя, что

отец и мать никогда не согласятся, решился на похищение. В других домах рассказывалось это несколько иначе: что у Чичикова нет вовсе никакой жены, но что он, как человек тонкий и действующий наверняка, предпринял, с тем чтобы получить руку дочери, начать дело с матери и имел с нею сердечную тайную связь, и что потом сделал декларацию насчет руки дочери; но мать, испугавшись, чтобы не совершилось преступление, противное религии, и чувствуя в душе угрызение совести, отказала наотрез, и что вот потому Чичиков решился на похищение. Ко всему этому присоединялись многие объяснения и поправки по мере того, как слухи проникали наконец в самые глухие переулки. На Руси же общества низшие очень любят поговорить о сплетнях, бывающих в обществах высших, а потому начали обо всем этом говорить в таких домишках, где даже в глаза не видывали и не знали Чичикова, пошли прибавления и еще большие пояснения. Сюжет становился ежеминутно занимательнее, принимал с каждым днем более окончательные формы и наконец, так как есть, во всей своей окончательности, доставлен был в собственные уши губернаторши. Губернаторша, как мать семейства, как первая в городе дама, наконец как дама, не подозревавшая ничего подобного, была совершенно оскорблена подобными историями и пришла в негодование, во всех отношениях справедливое. Бедная блондинка выдержала самый неприятный tete-a-tete, какой только когда-либо случалось иметь шестнадцатилетней девушке. Полились целые потоки расспросов, допросов, выговоров, угроз, упреков, увещаний, так что девушка бросилась в слезы, рыдала и не могла понять ни одного слова; швейцару дан был строжайший приказ не принимать ни в какое время и ни под каким видом Чичикова.

Сделавши свое дело относительно губернаторши, дамы насели было на мужскую партию, пытаясь склонить их на свою сторону и утверждая, что мертвые души выдумка и употреблена только для того, чтобы отвлечь всякое подозрение и успешнее произвесть похищение. Многие даже из мужчин были совращены и пристали к их партии, несмотря на то что подвергнулись сильным нареканиям от своих же товарищей, обругавших их бабами и юбками – именами, как известном, очень обидными для мужского пола.

Но как ни вооружались и ни противились мужчины, а в их партии совсем не было такого порядка, как в женской. Все у них было как-то черство, неотесанно, неладно, негоже, нестройно, нехорошо,

в голове кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность в мыслях, – одним словом, так и вызначилась во всем пустая природа мужчины, природа грубая, тяжелая, не способная ни к домостроительству, ни к сердечным убеждениям, маловерная, ленивая, исполненная беспрерывных сомнений и вечной боязни. Они говорили, что все это вздор, что похищенье губернаторской дочки более дело гусарское, нежели гражданское, что Чичиков не сделает этого, что бабы врут, что баба что мешок: что положат, то несет, что главный предмет, на который нужно обратить внимание, есть мертвые души, которые, впрочем, черт его знает, что значат, но в них заключено, однако ж, весьма скверное, нехорошее. Почему казалось мужчинам, что в них заключалось скверное и нехорошее, сию минуту узнаем: в губернию назначен был новый генерал-губернатор – событие, как известно, приводящее чиновников в тревожное состояние: пойдут переборки, распеканья, взбутетениванья и всякие должностные похлебки, которыми угощает начальник своих подчиненных. «Ну что, – думали чиновники, – если он узнает только просто, что в городе их вот-де какие глупые слухи, да за это одно может вскипятить не на жизнь, а на самую смерть». Инспектор врачебной управы вдруг побледнел; ему представилось бог знает что: не разумеются ли под словом «мертвые души» больные, умершие в значительном количестве в лазаретах и в других местах от повальной горячки, против которой не было взято надлежащих мер, и что Чичиков не есть ли подосланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора для произведения тайного следствия. Он сообщил об этом председателю. Председатель отвечал, что это вздор, и потом вдруг побледнел сам, задав себе вопрос: а что, если души, купленные Чичиковым, в самом деле мертвые? а он допустил совершить на них крепость да еще сам сыграл роль поверенного Плюшкина, и дойдет это до сведения генерал-губернатора, что тогда? Он об этом больше ничего, как только сказал тому и другому, и вдруг побледнели и тот и другой; страх прилипчивее чумы и сообщается вмиг. Все вдруг отыскали в себе такие грехи, какие даже не было. Слово «мертвые души» так раздалось неопределенно, что стали подозревать даже, нет ли здесь какого намека на скоропостижно погребенные тела, вследствие двух не так давно случившихся событий. Первое событие было с какими-то сольвычегодскими купцами, приехавшими в город на ярмарку и задавшими после торгов пирушку приятелям своим усть-

сысольским купцам, пирушку на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, пуншами, бальзамами и проч. Пирушка, как водится, кончилась дракой. Сольвычегодские уходили насмерть устьсысольских, хотя и от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки и в подсочельник, свидетельствовавшую о непомерной величине кулаков, которыми были снабжены покойники. У одного из восторжествовавших даже был вплоть сколот нос, по выражению бойцов, то есть весь размозжен нос, так что не оставалось его на лице и на полпальца. В деле своем купцы повинились, изъясняясь, что немного пошалили; носились слухи, будто при повинной голове они приложили по четыре государственные каждый; впрочем, дело слишком темное; из учиненных выправок и следствий оказалось, что устьсысольские ребята умерли от угара, а потому так их и похоронили, как угоревших. Другое происшествие, недавно случившееся, было следующее: казенные крестьяне сельца Вшивая-спесь, соединившись с таковыми же крестьянами сельца Боровки, Задирайловотож, снесли с лица земли будто бы земскую полицию в лице заседателя, какого-то Дробяжкина, что будто земская полиция, то есть заседатель Дробяжкин, повадился уж чересчур часто ездить в их деревню, что в иных случаях стоит повальной горячки, а причина-де та, что земская полиция, имея кое-какие слабости со стороны сердечной, приглядывался на баб и деревенских девок. Наверное, впрочем, неизвестно, хотя в показаниях крестьяне выразились прямо, что земская полиция был-де блудлив, как кошка, и что уже раз они его оберегали и один раз даже выгнали нагишом из какой-то избы, куда он было забрался. Конечно, земская полиция достоин был наказания за сердечные слабости, но мужиков как Вшивой-спеси, так и Задирайлова-тож нельзя было также оправдать за самоуправство, если они только действительно участвовали в убиении. Но дело было темно, земскую полицию нашли на дороге, мундир или сертук на земской полиции был хуже тряпки, а уж физиогномии и распознать нельзя было. Дело ходило по судам и поступило наконец в палату, где было сначала наедине рассужено в таком смысле: так как неизвестно, кто из крестьян именно участвовал, а всех их много, Дробяжкин же человек мертвый, стало быть, ему немного в том проку, если бы даже он и выиграл дело, а мужики были еще живы, стало быть, для них весьма важно решение в их пользу; то вследствие того решено было так: что заседатель Дробяжкин был сам при-

чиною, оказывая несправедливые притеснения мужикам Вшивой-спеси и Задирайлова-тож, а умер-де он, возвращаясь в санях, от апоплексического удара. Дело, казалось бы, обделано было кругло, но чиновники, неизвестно почему, стали думать, что, верно, об этих мертвых душах идет теперь дело. Случись же так, что, как нарочно, в то время, когда господа чиновники и без того находились в затруднительном положении, пришли к губернатору разом две бумаги. В одной из них содержалось, что по дошедшим показаниям и донесениям находится в их губернии делатель фальшивых ассигнаций, скрывающийся под разными именами, и чтобы немедленно было учинено строжайшее розыскание. Другая бумага содержала в себе отношение губернатора соседственной губернии о убежавшем от законного преследования разбойнике, и что буде окажется в их губернии какой подозрительный человек, не предъявящий никаких свидетельств и паспортов, то задержать его немедленно. Эти две бумаги так и ошеломили всех. Прежние заключения и догадки совсем были сбиты с толку. Конечно, никак нельзя было предполагать, чтобы тут относилось что-нибудь к Чичикову; однако ж все, как поразмыслили каждый с своей стороны, как припомнили, что они еще не знают, кто таков на самом деле есть Чичиков, что он сам весьма неясно отзывался насчет собственного лица, говорил, правда, что потерпел по службе за правду, да ведь все это как-то неясно, и когда вспомнили при этом, что он даже выразился, будто имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь его, то задумались еще более: стало быть, жизнь его была в опасности, стало быть, его преследовали, стало быть, он ведь сделал же что-нибудь такое... да кто же он в самом деле такой? Конечно, нельзя думать, чтобы он мог делать фальшивые бумажки, а тем более быть разбойником: наружность благонамеренна; но при всем том, кто же бы, однако ж, он был такой на самом деле? И вот господа чиновники задали себе теперь вопрос, который должны были задать себе в начале, то есть в первой главе нашей поэмы. Решено было еще сделать несколько расспросов тем, у которых были куплены души, чтобы по крайней мере узнать, что за покупки, и что именно нужно разуметь под этими мертвыми душами, и не объяснил ли он кому, хоть, может быть, невзначай, хоть вскользь как-нибудь настоящих своих намерений, и не сказал ли он кому-нибудь о том, кто он такой. Прежде всего отнеслись к Коробочке, но тут почерпнули не много: купил-де за пятнадцать рублей,

и птичьи перья тоже покупает, и много всего обещался накупить, в казну сало тоже ставит, и потому, наверно, плут, ибо уж был один такой, который покупал птичьи перья и в казну сало поставлял, да обманул всех и протопопшу надул более чем на сто рублей. Все, что ни говорила она далее, было повторение почти одного и того же и чиновники увидели только, что Коробочка была просто глупая старуха. Манилов отвечал, что за Павла Ивановича всегда готов он ручаться, как за самого себя, что он бы пожертвовал всем своим имением, чтобы иметь сотую долю качеств Павла Ивановича, и отозвался о нем вообще в самых лестных выражениях, присовокупив несколько мыслей насчет дружбы уже с зажмуренными глазами. Эти мысли, конечно, удовлетворительно объяснили нежное движение его сердца, но не объяснили чиновникам настоящего дела. Собакевич отвечал, что Чичиков, по его мнению, человек хороший, а что крестьян он ему продал на выбор и народ во всех отношениях живой; но что он не ручается за то, что случится вперед, что если они попримрут во время трудностей переселения в дороге, то не его вина, а в том властен бог, а горячек и разных смертоносных болезней есть на свете немало, и бывают примеры, что вымирают-де целые деревни. Господа чиновники прибегнули еще к одному средству, не весьма благородному, но которое, однако же, иногда употребляется, то есть стороною, посредством разных лакейских знакомств, расспросить людей Чичикова, не знают ли они каких подробностей насчет прежней жизни и обстоятельства барина, но услышали тоже не много. От Петрушки услышали только запах жилого покоя, а от Селифана, что сполнял службу государскую да служил прежде по таможне, и ничего более. У этого класса людей есть весьма странный обычай. Если его спросить прямо о чем-нибудь, он никогда не вспомнит, не приберет всего в голову и даже просто ответит, что не знает, а если спросить о чем другом, тут-то он и приплетет его, и расскажет с такими подробностями, которых и знать не захочешь. Все поиски, произведенные чиновниками, открыли им только то, что они наверное никак не знают, что такое Чичиков, а что, однако же, Чичиков что-нибудь да должен быть непременно. Они положили наконец потолковать окончательно об этом предмете и решить по крайней мере, что и как им делать, и какие меры предпринять, и что такое он именно: такой ли человек, которого нужно задержать и схватить, как неблагонамеренного, или

же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех, как неблагонамеренных. Для всего этого предположено было собраться нарочно у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города.

Глава десятая

Собравшись у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города, чиновники имели случай заметить друг другу, что они даже похудели от этих забот и тревог. В самом деле, назначение нового генерал-губернатора, и эти полученные бумаги такого сурьезного содержания, и эти бог знает какие слухи – все это оставило заметные следы в их лицах, и фраки на многих сделались заметно просторней. Все подалось: и председатель похудел, и инспектор врачебной управы похудел, и прокурор похудел, и какой-то Семен Иванович, никогда не называвшийся по фамилии, носивший на указательном пальце перстень, который давал рассматривать дамам, даже и тот похудел. Конечно, нашлись, как и везде бывает, кое-кто неробкого десятка, которые не теряли присутствия духа, но их было весьма немного. Почтмейстер один только. Он один не изменялся в постоянно ровном характере и всегда в подобных случаях имел обыкновение говорить: «Знаем мы вас, генерал-губернаторов! Вас, может быть, три-четыре переменится, а я вот уже тридцать лет, судырь мой, сижу на одном месте». На это обыкновенно замечали другие чиновники: «Хорошо тебе, шпрехен за дейч Иван Андрейч, у тебя дело почтовое: принять да отправить экспедицию; разве только надуешь, заперши присутствие часом раньше, да возьмешь с опоздавшего купца за прием письма в неуказанное время или перешлешь иную посылку, которую не следует пересылать, – тут, конечно, всякий будет святой. А вот пусть к тебе повадится черт подвертываться всякий день под руку, так что вот и не хочешь брать, а он сам сует. Тебе, разумеется, сполагоря, у тебя один сынишка, а тут, брат, Прасковью Федоровну наделил бог такою благодатию, что год, то несет: либо Праскушку, либо Петрушку: тут, брат, другое запоешь». Так говорили чиновники, а можно ли в самом деле устоять против черта, об этом судить не авторское дело. В собравшемся на сей раз совете очень заметно было отсутствие той необходимой вещи, которую в простонародье называют толком. Вообще мы как-то не создались для представительных за-

седаний. Во всех наших собраниях, начиная от крестьянской мирской сходки до всяких возможных ученых и прочих комитетов, если в них нет одной главы, управляющей всем, присутствует препорядочная путаница. Трудно даже и сказать, почему это; видно, уже народ такой, только и удаются те совещания, которые составляются для того, чтобы помутить или пообедать, как-то: клубы и всякие воксалы на немецкую ногу. А готовность всякую минуту есть, пожалуй, на все. Мы вдруг, как ветер повеет, заведем общества благотворительные, поощрительные и невесть какие. Цель будет прекрасна, а при всем том ничего не выйдет. Может быть, это происходит оттого, что мы вдруг удовлетворяемся в самом начале и уже почитаем, что все сделано. Например, затеявши какое-нибудь благотворительное общество для бедных и пожертвовавши значительные суммы, мы тотчас в ознаменование такого похвального поступка задаем обед всем первым сановникам города, разумеется, на половину всех пожертвованных сумм; на остальные нанимается тут же для комитета великолепная квартира, с отоплением и сторожами, а затем и остается всей суммы для бедных пять рублей с полтиною, да и тут в распределении этой суммы еще не все члены согласны между собою, и всякий сует какую-нибудь свою куму. Впрочем, собравшееся ныне совещание было совершенно другого рода: оно образовалось вследствие необходимости. Не о каких-либо бедных или посторонних шло дело, дело касалось всякого чиновника лично, дело касалось беды, всем равно грозившей; стало быть, поневоле тут должно быть единодушнее, теснее. Но при всем том вышло черт знает что такое. Не говоря уже о разногласиях, свойственных всем советам, во мнении собравшихся обнаружилась какая-то даже непостижимая нерешительность: один говорил, что Чичиков делатель государственных ассигнаций, и потом сам прибавлял: «а может быть, и не делатель»; другой утверждал, что он чиновник генерал-губернаторской канцелярии, и тут же присовокуплял: «а впрочем, черт его знает, на лбу ведь не прочтешь». Против догадки, не переодетый ли разбойник, вооружились все; нашли, что сверх наружности, которая сама по себе была уже благонамеренна, в разговорах его ничего не было такого, которое бы показывало человека с буйными поступками. Вдруг почтмейстер, остававшийся несколько минут погруженным в какое-то размышление, вследствие ли внезапного вдохновения, осенившего его, или чего иного, вскрикнул неожиданно:

– Знаете ли, господа, кто это?

Голос, которым он произнес это, заключал в себе что-то потрясающее, так что заставил вскрикнуть всех в одно время:

– А кто?

– Это, господа, судырь мой, не кто другой, как капитан Копейкин!

А когда все тут же в один голос спросили: «Кто таков этот капитан Копейкин?» – почтмейстер сказал:

– Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин?

Все отвечали, что никак не знают, кто таков капитан Копейкин.

– Капитан Копейкин, – сказал почтмейстер, открывший свою табакерку только вполовину, из боязни, чтобы кто-нибудь из соседей не запустил туда своих пальцев, в чистоту которых он плохо верил и даже имел обыкновение приговаривать: «Знаем, батюшка: вы пальцами своими, может быть, невесть в какие места наведываетесь, а табак вещь, требующая чистоты». – Капитан Копейкин, – сказал почтмейстер, уже понюхавши табаку, – да ведь это, впрочем, если рассказать, выйдет презанимательная для какого-нибудь писателя в некотором роде целая поэма.

Все присутствующие изъявили желание узнать эту историю, или, как выразился почтмейстер, презанимательную для писателя в некотором роде целую поэму, и он начал так:

ПОВЕСТЬ О КАПИТАНЕ КОПЕЙКИНЕ

«После кампании двенадцатого года, судырь ты мой, – так начал почтмейстер, несмотря на то что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро, – после кампании двенадцатого года вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Под Красным ли, или под Лейпцигом, только, можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сделано было насчет раненых никаких знаете, эдаких распоряжений; этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведен, можете представить себе, в некотором роде гораздо после. Капитан Копейкин видит: нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, левая. Наведался было домой к отцу; отец говорит: „Мне нечем тебя кормить, я, – можете представить себе, – сам едва достаю хлеб“. Вот мой капитан Копейкин решился отправиться, судырь мой, в Петербург, чтобы просить государя, не будет ли какой монаршей

милости: „что вот-де, так и так, в некотором роде, так сказать, жизнью жертвовал, проливал кровь…“ Ну, как-то там, знаете, с обозами или фурами казенными, – словом, судырь мой, дотащился он кое-как до Петербурга. Ну, можете представить себе: эдакой какой-нибудь, то есть, капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире! Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехерезада. Вдруг какой-нибудь эдакой, можете представить себе, Невский проспект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми! или там эдакая какая-нибудь Литейная; там шпиц эдакой какой-нибудь в воздухе; мосты там висят эдаким чертом, можете представить себе, без всякого, то есть, прикосновения, – словом, Семирамида, судырь, да и полно! Понатолкался было нанять квартиры, только все это кусается страшно: гардины, шторы, чертовство такое, понимаете, ковры – Персия целиком; ногой, так сказать, попираешь капиталы. Ну просто, то есть, идешь по улице, а уж нос твой так и слышит, что пахнет тысячами; а у моего капитана Копейкина весь ассигнационный банк, понимаете, состоит из каких-нибудь десяти синюх. Ну, как-то там приютился в ревельском трактире за рубль в сутки; обед – щи, кусок битой говядины. Видит: заживаться нечего. Расспросил, куда обратиться. Говорят, есть, в некотором роде, высшая комиссия, правленье, понимаете, эдакое, и начальником генерал-аншеф такой-то. А государя, нужно вам знать, в то время не было еще в столице; войска, можете себе представить, еще не возвращались из Парижа, все было за границей. Копейкин мой, вставший поранее, поскреб себе левой рукой бороду, потому что платить цирюльнику – это составит, в некотором роде, счет, натащил на себя мундиришку и на деревяшке своей, можете вообразить, отправился к самому начальнику, к вельможе. Расспросил квартиру. „Вон“, – говорят, указав ему дом на Дворцовой набережной. Избенка, понимаете, мужичья: стеклушки в окнах, можете себе представить, полуторасаженные зеркала, так что вазы и все, что там ни есть в комнатах, кажутся как бы внаруже, – мог бы, в некотором роде, достать с улицы рукой; драгоценные марморы на стенах, металлические галантереи, какая-нибудь ручка у дверей, так что нужно, знаете, забежать наперед в мелочную лавочку, да купить на грош мыла, да прежде часа два тереть им руки, да потом уже решиться ухватиться за нее, – словом: лаки на всем такие – в некотором роде ума помрачение. Один швейцар уже смотрит генералиссимусом: вы-

золоченная булава, графская физиогномия, как откормленный жирный мопс какой-нибудь; батистовые воротнички, канальство!.. Копейкин мой встащился кое-как с своей деревяшкой в приемную, прижался там в уголку себе, чтобы не толкнуть локтем, можете себе представить, какую-нибудь Америку или Индию – раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу эдакую. Ну, разумеется, что он настоялся там вдоволь, потому что, можете представить себе, пришел еще в такое время, когда генерал, в некотором роде, едва поднялся с постели и камердинер, может быть, поднес ему какую-нибудь серебряную лоханку для разных, понимаете, умываний эдаких. Ждет мой Копейкин часа четыре, как вот входит наконец адъютант или там другой дежурный чиновник. „Генерал, говорит, сейчас выйдет в приемную“. А в приемной уж народу – как бобов на тарелке. Все это не то, что наш брат холоп, всё четвертого или пятого класса, полковники, а кое-где и толстый макарон блестит на эполете – генералитет, словом, такой. Вдруг в комнате, понимаете, пронеслась чуть заметная суета, как эфир какой-нибудь тонкий. Раздалось там и там: „шу, шу“, – наконец тишина настала страшная. Вельможа входит. Ну… можете представить себе: государственный человек! В лице, так сказать… ну, сообразно с званием, понимаете… с высоким чином… такое и выраженье, понимаете. Все, что ни было в передней, разумеется, в ту же минуту в струнку, ожидает, дрожит, ждет решенья, в некотором роде, судьбы. Министр, или вельможа, подходит к одному, к другому: „Зачем вы? зачем вы? что вам угодно? какое ваше дело?“ Наконец, сударь мой, к Копейкину. Копейкин, собравшись с духом: „Так и так, ваше превосходительство: проливал кровь, лишился, в некотором роде, руки и ноги, работать не могу, осмеливаюсь просить монаршей милости“. Министр видит: человек на деревяшке и правый рукав пустой пристегнут к мундиру: „Хорошо, говорит, понаведайтесь на днях“. Копейкин мой выходит чуть не в восторге: одно то, что удостоился аудиенции, так сказать, с первостатейным вельможею; а другое то, что вот теперь наконец решится, в некотором роде, расчет пенсиона. В духе, понимаете, таком, подпрыгивает по тротуару. Зашел в Палкинский трактир выпить рюмку водки, пообедал, сударь мой, в Лондоне, приказал подать себе котлетку с каперсами, пулярку спросил с разными финтерлеями; спросил бутылку вина, вечеру отправился в театр – одним словом, понимаете, кутнул. На тротуаре, видит, идет какая-то стройная англичанка, как лебедь, мо-

жете себе представить эдакой. Мой Копейкин – кровь-то, знаете, разыгралась в нем – побежал было за ней на своей деревяшке, трюх-трюх следом – „да нет, подумал, пусть после, когда получу пенсион, теперь уж я что-то расходился слишком“. Вот, сударь мой, какие-нибудь через три-четыре дня является Копейкин мой снова к министру, дождался выходу. „Так и так, говорит, пришел, говорит, услышать приказ вашего высокопревосходительства по одержимым болезням и за ранами…“, – и тому подобное, понимаете, в должностном слоге. Вельможа, можете вообразить, тотчас его узнал: „А, говорит, хорошо, говорит, на этот раз ничего не могу сказать вам более, как только то, что вам нужно будет ожидать приезда государя; тогда, без сомнения, будут сделаны распоряжения насчет раненых, а без монаршей, так сказать, воли я ничего не могу сделать“. Поклон, понимаете, и – прощайте. Копейкин, можете вообразить себе, вышел в положении самом неопределенном. Он-то уже думал, что вот ему завтра так и выдадут деньги: „На тебе, голубчик, пей да веселись“; а вместо того ему приказано ждать, да и время не назначено. Вот он совой такой вышел с крыльца, как пудель, понимаете, которого повар облил водой: и хвост у него между ног, и уши повесил. „Ну, нет, – думает себе, – пойду в другой раз, объясню, что последний кусок доедаю, – не поможете, должен умереть, в некотором роде, с голода“. Словом, приходит он, судырь мой, опять на Дворцовую набережную; говорят: „Нельзя, не принимает, приходите завтра“. На другой день – то же; а швейцар на него просто и смотреть не хочет. А между тем у него из синюх-то, понимаете, уж остается только одна в кармане. То, бывало, едал щи, говядины кусок, а теперь в лавочке возьмет какую-нибудь селедку или огурец соленый да хлеба на два гроша, – словом, голодает бедняга, а между тем аппетит просто волчий. Проходит мимо эдакого какого-нибудь ресторана – повар там, можете себе представить, иностранец, француз эдакой с открытой физиогномией, белье на нем голландское, фартук, белизною равный снегам, работает там фензерв какой-нибудь, котлетки с трюфелями, – словом, рассупе-деликатес такой, что просто себя, то есть, съел бы от аппетита. Пройдет ли мимо Милютинских лавок, там из окна выглядывает, в некотором роде, семга эдакая, вишенки – по пяти рублей штучка, арбуз-громадище, дилижанс эдакой, высунулся из окна, и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил сто рублей, – словом, на всяком шагу соблазн такой, слюнки текут, а он слышит между тем всё „завтра“. Так

можете вообразить себе, каково его положение: тут, с одной стороны, так сказать, семга и арбуз, а с другой-то – ему подносят все одно и то же блюдо „завтра“. Наконец сделалось бедняге, в некотором роде, невтерпеж, решился во что бы то ни стало пролезть штурмом, понимаете. Дождался у подъезда, не пройдет ли еще какой проситель, и там с каким-то генералом, понимаете, проскользнул с своей деревяшкой в приемную. Вельможа, по обыкновению, выходит: „Зачем вы? Зачем вы? А! – говорит, увидевши Копейкина, – ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения.“ – „Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не имею, так сказать, куска хлеба…“ – „Что же делать? Я для вас ничего не могу сделать; старайтесь покамест помочь себе сами, ищите сами средств“. – „Но, ваше высокопревосходительство сами можете, в некотором роде, судить, какие средства могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги“. – „Но, – говорит сановник, – согласитесь: я не могу вас содержать, в некотором роде, на свой счет; у меня много раненых, все они имеют равное право… Вооружитесь терпением. Приедет государь, я могу вам дать честное слово, что его монаршая милость вас не оставит“. – „Но, ваше высокопревосходительство, я не могу ждать“, – говорит Копейкин, и говорит, в некотором отношении, грубо. Вельможе, понимаете, сделалось уже досадно. В самом деле: тут со всех сторон генералы ожидают решений, приказаний; дела, так сказать, важные, государственные, требующие самоскорейшего исполнения, – минута упущения может быть важна, – а тут еще привязался сбоку неотвязчивый черт. „Извините, говорит, мне некогда… меня ждут дела важнее ваших“. Напоминает способом, в некотором роде, тонким, что пора наконец и выйти. А мой Копейкин, – голод-то, знаете, пришпорил его: „Как хотите, ваше высокопревосходительство, говорит, не сойду с места до тех пор, пока не дадите резолюцию“ Ну… можете представить: отвечать таким образом вельможе, которому стоит только слово – так вот уж и полетел вверх тарашки, так что и черт тебя не отыщет… Тут если нашему брату скажет чиновник, одним чином поменьше, подобное, так уж и грубость. Ну, а там размер-то, размер каков: генерал-аншеф и какой-нибудь капитан Копейкин! Девяносто рублей и пуль! Генерал, понимаете, больше ничего, как только взглянул, а взгляд – огнестрельное оружие: души уж нет – уж она ушла в пятки. А мой Копейкин, можете вообразить, ни с места, стоит как вкопанный. „Что же вы?“ – говорит генерал и принял его, как говорится, в

лопатки. Впрочем, сказать правду, обошелся он еще довольно милостиво: иной бы пугнул так, что дня три вертелась бы после того улица вверх ногами, а он сказал только: „Хорошо, говорит, если вам здесь дорого жить и вы не можете в столице покойно ожидать решенья вашей участи, так я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря! препроводить его на место жительства!“ А фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит: трехаршинный мужичина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиков, – словом, дантист эдакой… Вот его, раба божия, схватили, сударь мой, да в тележку, с фельдъегерем. „Ну, – Копейкин думает, – по крайней мере не нужно платить прогонов, спасибо и за то“. Вот он, сударь мой, едет на фельдъегере, да, едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе: „Когда генерал говорит, чтобы я поискал сам средств помочь себе, – хорошо, говорит, я, говорит, найду средства!“ Ну, уж как только его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты. Но, позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно; но не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, и атаман-то этой шайки был, судырь мой не кто другой…»

– Только позволь, Иван Андреевич, – сказал вдруг, прервавши его, полицеймейстер, – ведь капитан Копейкин ты сам сказал, без руки и ноги, а у Чичикова…

Здесь почтмейстер вскрикнул и хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавши себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно справедлива поговорка: «Русский человек задним умом крепок». Однако ж минуту спустя он тут же стал хитрить и попробовал было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека бог знает в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было.

Но все очень усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почтмейстер хватил уже слишком далеко. Впро-

чем, они, с своей стороны, тоже не ударили лицом в грязь и, наведенные остроумной догадкой почтмейстера, забрели едва ли не далее. Из числа многих в своем роде сметливых предположений было наконец одно – странно даже и сказать: что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку, и под собакой разумеется Наполеон: «Смотри, мол, говорит, если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку!» – и вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков.

Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались и, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицеймейстер, который служил в кампанию двенадцатого года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова и что складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать чтобы слишком толст, однако ж и не так чтобы тонок. Может быть, некоторые читатели назовут все это невероятным; автор тоже в угоду им готов бы назвать все это невероятным; но, как на беду, все именно произошло так, как рассказывается, и тем еще изумительнее, что город был не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались по крайней мере на целые восемь лет заклятыми политиками. «Московские ведомости» и «Сын отечества» зачитывались немилосердо и доходили к последнему чтецу в кусочках, не годных ни на какое употребление. Вместо вопросов: «Почем, батюшка, продали меру овса? как воспользовались вчерашней порошей?» – говорили: «А что пишут в газетах, не выпустили ли опять Наполеона из острова?» Купцы этого сильно опасались, ибо совершенно верили предсказанию одного пророка, уже три года сидевшего в остроге; пророк пришел неизвестно откуда в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшемся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи, за шестью стенами и семью

морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром. Пророк за предсказание попал, как следует, в острог, но тем не менее дело свое сделал и смутил совершенно купцов. Долго еще, во время даже самых прибыточных сделок, купцы, отправляясь в трактир запивать их чаем, поговаривали об антихристе. Многие из чиновников и благородного дворянства тоже невольно подумывали об этом и, зараженные мистицизмом, который, как известно, был тогда в большой моде, видели в каждой букве, из которых было составлено слово «Наполеон», какое-то особенное значение; многие даже открыли в нем апокалипсические цифры. Итак, ничего нет удивительного, что чиновники невольно задумались на этом пункте; скоро, однако же, спохватились, заметив, что воображение их уже чересчур рысисто и что все это не то. Думали, думали, толковали, толковали и наконец решили, что не худо бы еще расспросить хорошенько Ноздрева. Так как он первый вынес историю о мертвых душах и был, как говорится, в каких-то тесных отношениях с Чичиковым, стало быть, без сомнения, знает кое-что из обстоятельств его жизни, то попробовать еще, что скажет Ноздрев.

Странные люди эти господа чиновники, а за ними и все прочие звания: ведь очень хорошо знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове, ни в самой безделице, а между тем именно прибегнули к нему. Поди ты сладь с человеком! не верит в бога, а верит, что если почешется переносье, то непременно умрет; пропустит мимо создание поэта, ясное как день, все проникнутое согласием и высокою мудростью простоты, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетет, изломает, выворотит природу, и ему оно понравится, и он станет кричать: «Вот оно, вот настоящее знание тайн сердца!» Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабе, которая лечит зашептываньями и заплевками, или, еще лучше, выдумает сам какой-нибудь декохт из невесть какой дряни, которая, бог знает почему, вообразится ему именно средством против его болезни. Конечно, можно отчасти извинить господ чиновников действительно затруднительным их положением. Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку, и у него нет в это время рассудка подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха, а в нем весу чуть не четыре пуда, если даже не целых пять; но не приходит ему в то время соображение в голову, и он хватается за щепку. Так и

господа наши ухватились наконец и за Ноздрева. Полицеймейстер в ту же минуту написал к нему записочку пожаловать на вечер, и квартальный, в ботфортах, с привлекательным румянцем на щеках, побежал в ту же минуту, придерживая шпагу, вприскочку на квартиру Ноздрева. Ноздрев был занят важным делом; целые четыре дня уже не выходил он из комнаты, не впускал никого и получал обед в окошко, – словом, даже исхудал и позеленел. Дело требовало большой внимательности: оно состояло в подбирании из нескольких десятков дюжин карт одной талии, но самой меткой, на которую можно было бы понадеяться, как на вернейшего друга. Работы оставалось еще по крайней мере на две недели; во все продолжение этого времени Порфирий должен был чистить меделянскому щенку пуп особенной щеточкой и мыть его три раза на день в мыле. Ноздрев был очень рассержен за то, что потревожили его уединение; прежде всего он отправил квартального к черту, но, когда прочитал в записке городничего, что может случиться пожива, потому что на вечер ожидают какого-то новичка, смягчился в ту ж минуту, запер комнату наскоро ключом, оделся как попало и отправился к ним. Показания, свидетельства и предположения Ноздрева представили такую резкую противоположность таковым же господ чиновников, что и последние их догадки были сбиты с толку. Это был решительно человек, для которого не существовало сомнений вовсе; и сколько у них заметно было шаткости и робости в предположениях, столько у него твердости и уверенности. Он отвечал на все пункты даже не заикнувшись, объявил, что Чичиков накупил мертвых душ на несколько тысяч и что он сам продал ему, потому что не видит причины, почему не продать; на вопрос, не шпион ли он и на старается ли что-нибудь разведать, Ноздрев отвечал, что шпион, что еще в школе, где он с ним вместе учился, его называли фискалом, и что за это товарищи, а в том числе и он, несколько его поизмяли, так что нужно было потом приставить к одним вискам двести сорок пиявок, – то есть он хотел было сказать сорок, но двести сказалось как-то само собою. На вопрос, не делатель ли он фальшивых бумажек, он отвечал, что делатель, и при этом случае рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши, что в его доме находилось на два миллиона фальшивых ассигнаций, опечатали дом его и приставили караул, на каждую дверь по два солдата, и как Чичиков переменил их все в одну ночь, так что на другой день,

когда сняли печати, увидали, что все были ассигнации настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков имел намерение увезти губернаторскую дочку и правда ли, что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, Ноздрев отвечал, что помогал и что если бы не он, то не вышло бы ничего, – тут он и спохватился было, видя, что солгал вовсе напрасно и мог таким образом накликать на себя беду, но языка никак уже не мог придержать. Впрочем, и трудно было, потому что представились сами собою такие интересные подробности, от которых никак нельзя было отказаться: даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, в которой положено было венчаться, именно деревня Трухмачевка, поп – отец Сидор, за венчание – семьдесят пять рублей, и то не согласился бы, если бы он не припугнул его, обещаясь донести на него, что перевенчал лабазника Михайла на куме, что он уступил даже свою коляску и заготовил на всех станциях переменных лошадей. Подробности дошли до того, что уже начинал называть по именам ямщиков. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесину, которая не только не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что не имела подобия, так что чиновники, вздохнувши, все отошли прочь; один только полицеймейстер долго еще слушал, думая, не будет ли по крайней мере чего-нибудь далее, но наконец и рукой махнул, сказавши: «Черт знает что такое!» И все согласились в том, что как с быком ни биться, а все молока от него не добиться. И остались чиновники еще в худшем положении, чем были прежде, и решилось дело тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков. И оказалось ясно, какого рода созданье человек: мудр, умен и толков он бывает во всем, что касается других, а не себя; какими осмотрительными, твердыми советами снабдит он в трудных случаях жизни! «Экая расторопная голова! – кричит толпа. – Какой неколебимый характер!» А нанесись на эту расторопную голову какая-нибудь беда и доведись ему самому быть поставлену в трудные случаи жизни, куды делся характер, весь растерялся неколебимый муж, и вышел из него жалкий трусишка, ничтожный, слабый ребенок, или просто фетюк, как называет Ноздрев.

Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедши домой, стал ду-

мать, думать и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого умер. Параличом ли его, или чем другим прихватило, только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: «Ах, боже мой!» – послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал. А между тем появленье смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал, зачем он умер или зачем жил, об этом один бог ведает.

Но это, однако ж, несообразно! это несогласно ни с чем! это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя; создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело! Так скажут многие читатели и уморят автора в несообразностях или назовут бедных чиновников дураками, потому что щедр человек на слово «дурак» и готов прислужиться им двадцать раз на день своему ближнему. Довольно из десяти сторон иметь одну глупую, чтобы быть признану дураком мимо девяти хороших. Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на все, что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет. И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги! Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями, но мимо его в глухой темноте текли люди. И сколько раз уже наведенные нисходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья,

умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: где выход, где дорога? Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблужденьям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отвсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки.

Чичиков ничего обо всем этом не знал совершенно. Как нарочно, в то время он получил легкую простуду – флюс и небольшое воспаление в горле, в раздаче которых чрезвычайно щедр климат многих наших губернских городов. Чтобы не прекратилась, боже сохрани, как-нибудь жизнь без потомков, он решился лучше посидеть денька три в комнате. В продолжение сих дней он полоскал беспрестанно горло молоком с фигой, которую потом съедал, и носил привязанную к щеке подушечку из ромашки и камфары. Желая чем-нибудь занять время, он сделал несколько новых и подробных списков всем накупленным крестьянам, прочитал даже какой-то том герцогини Лавальер, отыскавшийся в чемодане, пересмотрел в ларце разные находившиеся там предметы и записочки, кое-что перечел и в другой раз, и все это прискучило ему сильно. Никак не мог он понять, что бы значило, что ни один из городских чиновников не приехал к нему хоть бы раз наведаться о здоровье, тогда как еще недавно то и дело стояли перед гостиницей дрожки – то почтмейстерские, то прокурорские, то председательские. Он пожимал только плечами, ходя по комнате. Наконец почувствовал он себя лучше и обрадовался бог знает как, когда увидел возможность выйти на свежий воздух. Не откладывая, принялся он немедленно за туалет, отпер свою шкатулку, налил в стакан горячей воды, вынул щетку и мыло и расположился бриться, чему, впрочем, давно была пора и время, потому что, пощупав бороду рукою и взглянув в зеркало, он уже произнес: «Эк какие пошли писать леса!» И в самом деле, леса не леса, а по всей щеке и подбородку высыпал довольно густой посев. Выбрившись, принялся он за одеванье живо и скоро, так что чуть не выпрыгнул из панталон. Наконец он был одет, вспрыснут одеколоном и, закутанный потеплее, выбрался на улицу, завязавши из предосто-

рожности щеку. Выход его, как всякого выздоровевшего человека, был точно праздничный. Все, что ни попадалось ему, приняло вид смеющийся: и домы, и проходившие мужики, довольно, впрочем, сурьезные, из которых иной уже успел съездить своего брата в ухо. Первый визит он намерен был сделать губернатору. Дорогою много приходило ему всяких мыслей на ум; вертелась в голове блондинка, воображенье начало даже слегка шалить, и он уже сам стал немного шутить и подсмеиваться над собою. В таком духе очутился он перед губернаторским подъездом. Уже стал он было в сенях поспешно сбрасывать с себя шинель, как швейцар поразил его совершенно неожиданными словами:

– Не приказано принимать!

– Как, что ты, ты, видно, не узнал меня? Ты всмотрись хорошенько в лицо! – говорил ему Чичиков.

– Как не узнать, ведь я вас не впервой вижу, – сказал швейцар. – Да вас-то именно одних и не велено пускать, других всех можно.

– Вот тебе на! отчего? почему?

– Такой приказ, так уж, видно, следует, – сказал швейцар и прибавил к тому слово: «да». После чего стал перед ним совершенно непринужденно, не сохраняя того ласкового вида, с каким прежде торопился снимать с него шинель. Казалось, он думал, глядя на него: «Эге! уж коли тебя бары гоняют с крыльца, так ты, видно, так себе, шушера какой-нибудь!»

«Непонятно!» – подумал про себя Чичиков и отправился тут же к председателю палаты, но председатель палаты так смутился, увидя его, что не мог связать двух слов, и наговорил такую дрянь, что даже им обоим сделалось совестно. Уходя от него, как ни старался Чичиков изъяснить дорогою и добраться, что такое разумел председатель и насчет чего могли относиться слова его, но ничего не мог понять. Потом зашел в другим: к полицеймейстеру, к вице-губернатору, к почтмейстеру, но все или не приняли его, или приняли так странно, такой принужденный и непонятный вели разговор, так растерялись, и такая вышла бестолковщина изо всего, что он усомнился в здоровье их мозга. Попробовал было еще зайти кое к кому, чтобы узнать по крайней мере причину, и не добрался никакой причины. Как полусонный, бродил он без цели по городу, не будучи в состоянии решить, он ли сошел с ума, чиновники ли потеряли голову, во сне ли все это делается, или наяву заварилась дурь почище сна. Поздно

уже, почти в сумерки, возвратился он к себе в гостиницу, из которой было вышел в таком хорошем расположении духа, и от скуки велел подать себе чаю. В задумчивости и в каком-то бессмысленном рассуждении о странности положения своего стал он разливать чай, как вдруг отворилась дверь его комнаты и предстал Ноздрев никак неожиданным образом.

– Вот говорит пословица: «Для друга семь верст не околица!» – говорил он, снимая картуз. – Прохожу мимо, вижу свет в окне, дай, думаю, зайду, верно, не спит. А! вот хорошо, что у тебя на столе чай, выпью в удовольствием чашечку: сегодня за обедом объелся всякой дряни, чувствую, что уж начинается в желудке возня. Прикажи-ка мне набить трубку! Где твоя трубка?

– Да ведь я не курю трубки, – сказал сухо Чичиков.

– Пустое, будто я не знаю, что ты куряка. Эй! как, бишь, зовут твоего человека? Эй, Вахрамей, послушай!

– Да не Вахрамей, а Петрушка.

– Как же? да у тебя ведь прежде был Вахрамей.

– Никакого не было у меня Вахрамея.

– Да, точно, это у Деребина Вахрамей. Вообрази, Деребину какое счастье: тетка его поссорилась с сыном за то, что женился на крепостной, и теперь записала ему все именье. Я думаю себе, вот если бы эдакую тетку иметь для дальнейших! Да что ты, брат, так отдалился от всех, нигде не бываешь? Конечно, я знаю, что ты занят иногда учеными предметами, любишь читать (уж почему Ноздрев заключил, что герой наш занимается учеными предметами и любит почитать, этого, признаемся, мы никак не можем сказать, а Чичиков и того менее). Ах, брат Чичиков, если бы ты только увидал… вот уж, точно, была бы пища твоему сатирическому уму (почему у Чичикова был сатирический ум, это тоже неизвестно). Вообрази, брат, у купца Лихачева играли в горку, вот уж где смех был! Перепендев, который был со мною: «Вот, говорит, если бы теперь Чичиков, уж вот бы ему точно!..» (между тем Чичиков отроду не знал никакого Перепендева). А ведь признайся, брат, ведь ты, право, преподло поступил тогда со мною, помнишь, как играли в шашки, ведь я выиграл… Да, брат, ты просто поддедюлил меня. Но ведь я, черт меня знает, никак не могу сердиться. Намедни с председателем… Ах, да! я ведь тебе должен сказать, что в городе все против тебя; они думают, что ты делаешь фальшивые бумажки, пристали ко мне, да я за

тебя горой, наговорил им, что с тобой учился и отца знал; ну и, уж нечего говорить, слил им пулю порядочную.

– Я делаю фальшивые бумажки? – вскрикнул Чичиков, приподнявшись со стула.

– Зачем ты, однако ж, так напугал их? – продолжал Ноздрев. – Они, черт знает, с ума сошли со страху: нарядили тебя в разбойники и в шпионы… А прокурор с испугу умер, завтра будет погребение. Ты не будешь? Они, сказать правду, боятся нового генерал-губернатора, чтобы из-за тебя чего-нибудь не вышло; а я насчет генерал-губернатора такого мнения, что если он подымет нос и заважничает, то с дворянством решительно ничего не сделает. Дворянство требует радушия, не правда ли? Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного бала, да ведь этим что ж? Ведь этим ничего не выиграешь. А ведь ты, однако ж, Чичиков, рискованное дело затеял.

– Какое рискованное дело? – спросил беспокойно Чичиков.

– Да увезти губернаторскую дочку. Я, признаюсь, ждал этого, ей-богу, ждал! В первый раз, как только увидел вас вместе на бале, ну уж, думаю себе, Чичиков, верно, недаром… Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор, я ничего в ней не нахожу хорошего. А есть одна, родственница Бикусова, сестры его дочь, так вот уж девушка! можно сказать: чудо коленкор!

– Да что ты, что ты путаешь? Как увезти губернаторскую дочку, что ты? – говорил Чичиков, выпуча глаза.

– Ну, полно, брат, экой скрытный человек! Я, признаюсь, к тебе с тем пришел: изволь, я готов тебе помогать. Так и быть: подержу венец тебе, коляска и переменные лошади будут мои, только с уговором: ты должен мне дать три тысячи взаймы. Нужны, брат, хоть зарежь!

В продолжение всей болтовни Ноздрева Чичиков протирал несколько раз себе глаза, желая увериться, не во сне ли он все это слышит. Делатель фальшивых ассигнаций, увоз губернаторской дочки, смерть прокурора, которой причиною будто бы он, приезд генерал-губернатора – все это навело на него порядочный испуг. «Ну, уж коли пошло на то, – подумал он сам в себе, – так мешкать более нечего, нужно отсюда убираться поскорей».

Он постарался сбыть поскорее Ноздрева, призвал к себе тот же час Селифана и велел ему быть готовым на заре, с тем чтобы завтра

же в шесть часов утра выехать из города непременно, чтобы все было пересмотрено, бричка подмазана и прочее, и прочее. Селифан произнес: «Слушаю, Павел Иванович!» – и остановился, однако ж, несколько времени у дверей, не двигаясь с места. Барин тут же велел Петрушке выдвинуть из-под кровати чемодан, покрывшийся уже порядочно пылью, и принялся укладывать вместе с ним, без большого разбора, чулки, рубашки, белье мытое и немытое, сапожные колодки, календарь… Все это укладывалось как попало; он хотел непременно быть готовым с вечера, чтобы назавтра не могло случиться никакой задержки. Селифан, постоявши минуты две у дверей, наконец очень медленно вышел из комнаты. Медленно, как только можно вообразить себе медленно, спускался он с лестницы, отпечатывая своими мокрыми сапогами следы по сходившим вниз избитым ступеням, и долго почесывал у себя рукою в затылке. Что означало это почесыванье? и что вообще оно значит? Досада ли на то, что вот не удалась задуманная назавтра сходка с своим братом в неприглядном тулупе, опоясанном кушаком, где-нибудь во царевом кабаке, или уже завязалась в новом месте какая зазнобушка сердечная и приходится оставлять вечернее стоянье у ворот и политичное держанье за белы ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки, детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью и плетет тихие речи разночинный отработавшийся народ? Или просто жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне под тулупом, близ печи, да щей с городским мягким пирогом, с тем чтобы вновь тащиться под дождь, и слякоть, и всякую дорожную невзгоду? Бог весть, не угадаешь. Многое разное значит у русского народа почесыванье в затылке.

Глава одиннадцатая

Ничто, однако же, не случилось так, как предполагал Чичиков. Во-первых, проснулся он позже, нежели думал, – это была первая неприятность. Вставши, он послал тот же час узнать, заложена ли бричка и все ли готово; но донесли, что бричка еще была не заложена и ничего не было готово. Это была вторая неприятность. Он рассердился, приготовился даже задать что-то вроде потасовки приятелю нашему Селифану и ожидал только с нетерпением, какую тот с своей стороны приведет причину в оправдание. Скоро Селифан

показался в дверях, и барин имел удовольствие услышать те же самые речи, какие обыкновенно слышатся от прислуги в таком случае, когда нужно скоро ехать.

– Да ведь, Павел Иванович, нужно будет лошадей ковать.

– Ах ты чушка! чурбан! а прежде зачем об этом не сказал? Не было разве времени?

– Да время-то было… Да вот и колесо тоже, Павел Иванович, шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорога ухабиста, шибень такой везде пошел… Да если позволите доложить: перед у брички совсем расшатался, так что она, может быть, и двух станций не сделает.

– Подлец ты! – вскрикнул Чичиков, всплеснув руками, и подошел к нему так близко, что Селифан из боязни, чтобы не получить от барина подарка, попятился несколько назад и посторонился. – Убить ты меня собрался? а? зарезать меня хочешь? На большой дороге меня собрался зарезать, разбойник, чушка ты проклятый, страшилище морское! а? а? Три недели сидели на месте, а? Хоть бы заикнулся, беспутный, – а вот теперь к последнему часу и пригнал! когда уж почти начеку: сесть бы да и ехать, а? а ты вот тут-то и напакостил, а? а? Ведь ты знал это прежде? ведь ты знал это, а? а? Отвечай. Знал? А?

– Знал, – отвечал Селифан, потупивши голову.

– Ну так зачем же тогда не сказал, а?

На этот вопрос Селифан ничего не отвечал, но, потупивши голову, казалось, говорил сам себе: «Вишь ты, как оно мудрено случилось; и знал ведь, да не сказал!»

– А вот теперь ступай приведи кузнеца, да чтоб в два часа все было сделано. Слышишь? непременно в два часа, а если не будет, так я тебя, я тебя… в рог согну и узлом завяжу! – Герой наш был сильно рассержен.

Селифан оборотился было к дверям, с тем чтоб идти выполнить приказание, но остановился и сказал:

– Да еще, сударь, чубарого коня, право, хоть бы продать, потому что он, Павел Иванович, совсем подлец; он такой конь, просто не приведи бог, только помеха.

– Да! вот побегу на рынок продавать!

– Ей-богу, Павел Иванович, он только что на вид казистый, а на деле самый лукавый конь; такого коня нигде…

– Дурак! когда захочу продать, так продам. Еще пустился в рассужденья! Вот посмотрю я: если ты мне не приведешь сейчас кузнецов да в два часа не будет все готово, так я тебе такую дам потасовку… сам на себе лица не увидишь! Пошел! ступай!

Селифан вышел.

Чичиков сделался совершенно не в духе и швырнул на пол саблю, которая ездила с ним в дороге для внушения надлежащего страха кому следует. Около четверти часа с лишком провозился он с кузнецами, покамест сладил, потому что кузнецы, как водится, были отъявленные подлецы и, смекнув, что работа нужна к спеху, заломили ровно вшестеро. Как он ни горячился, называл их мошенниками, разбойниками, грабителями проезжающих, намекнул даже на страшный суд, но кузнецов ничем не пронял: они совершенно выдержали характер – не только не отступились от цены, но даже провозились за работой вместо двух часов целых пять с половиною. В продолжение этого времени он имел удовольствие испытать приятные минуты, известные всякому путешественнику, когда в чемодане все уложено и в комнате валяются только веревочки, бумажки да разный сор, когда человек не принадлежит ни к дороге, ни к сиденью на месте, видит из окна проходящих плетущихся людей, толкующих об своих гривнах и с каким-то глупым любопытством поднимающих глаза, чтобы, взглянув на него, опять продолжать свою дорогу, что еще более растравляет нерасположение духа бедного неедущего путешественника. Все, что ни есть, все, что ни видит он: и лавчонка против его окон, и голова старухи, живущей в супротивном доме, подходящей к окну с коротенькими занавесками, – все ему гадко, однако же он не отходит от окна. Стоит, то позабываясь, то обращая вновь какое-то притупленное внимание на все, что перед ним движется и не движется, и душит с досады какую-нибудь муху, которая в это время жужжит и бьется об стекло под его пальцем. Но всему бывает конец, и желанная минута настала: все было готово, перед у брички как следует был налажен, колесо было обтянуто новою шиною, кони приведены с водопоя, и разбойники кузнецы отправились, пересчитав полученные целковые и пожелав благополучия. Наконец и бричка была заложена, и два горячие калача, только что купленные, положены туда, и Селифан уже засунул кое-что для себя в карман, бывший у кучерских козел, и сам герой наконец, при взмахивании картузом полового, стоявшего

в том же демикотоновом сюртуке, при трактирных и чужих лакеях и кучерах, собравшихся позевать, как выезжает чужой барин, и при всяких других обстоятельствах, сопровождающих выезд, сел в экипаж, – и бричка, в которой ездят холостяки, которая так долго застоялась в городе и так, может быть, надоела читателю, наконец выехала из ворот гостиницы. «Слава те, господи» – подумал Чичиков и перекрестился. Селифан хлыснул кнутом; к нему подсел сперва повисевший несколько времени на подножке Петрушка, и герой наш, усевшись получше на грузинском коврике, заложил за спину себе кожаную подушку, притиснул два горячие калача, и экипаж пошел опять подплясывать и покачиваться благодаря мостовой, которая, как известно, имела подкидывающую силу. С каким-то неопределенным чувством глядел он на домы, стены, забор и улицы, которые также с своей стороны, как будто подскакивая, медленно уходили назад и которые, бог знает, судила ли ему участь увидеть еще когда-либо в продолжение своей жизни. При повороте в одну из улиц бричка должна была остановиться, потому что во всю длину ее проходила бесконечная погребальная процессия. Чичиков, высунувшись, велел Петрушке спросить, кого хоронят, и узнал, что хоронят прокурора. Исполненный неприятных ощущений, он тот же час спрятался в угол, закрыл себя кожею и задернул занавески. В это время, когда экипаж был таким образом остановлен, Селифан и Петрушка, набожно снявши шляпу, рассматривали, кто, как, в чем и на чем ехал, считая числом, сколько было всех и пеших и ехавших, а барин, приказавши им не признаваться и не кланяться никому из знакомых лакеев, тоже принялся рассматривать робко сквозь стеклышка, находившиеся в кожаных занавесках: за гробом шли, снявши шляпы, все чиновники. Он начал было побаиваться, чтобы не узнали его экипажа, но им было не до того. Они даже не занялись разными житейскими разговорами, какие обыкновенно ведут между собою провожающие покойника. Все мысли их были сосредоточены в это время в самих себе: они думали, каков-то будет новый генерал-губернатор, как возьмется за дело и как примет их. За чиновниками, шедшими пешком, следовали кареты, из которых выглядывали дамы в траурных чепцах. По движениям губ и рук их видно было, что они были заняты живым разговором; может быть, они тоже говорили о приезде нового генерал-губернатора и делали предположения насчет балов, какие он даст, и хлопотали о вечных

своих фестончиках и нашивочках. Наконец за каретами следовало несколько пустых дрожек, вытянувшихся гуськом, наконец и ничего уже не осталось, и герой наш мог ехать. Открывши кожаные занавески, он вздохнул, произнесши от души: «Вот, прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так на поверку у тебя всего только и было, что густые брови». Тут он приказал Селифану ехать поскорее и между тем подумал про себя: «Это, однако ж, хорошо, что встретились похороны; говорят, значит счастие, если встретишь покойника».

Бричка между тем поворотила в более пустынные улицы; скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвещавшие конец города. Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца… Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плю-

щами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..

– Держи, держи, дурак! – кричал Чичиков Селифану

– Вот я тебя палашом! – кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин. – Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! – И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка.

Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! и как чудна она сама, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный воздух… покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмемся к углу! В последний раз пробежавшая дрожь прохватила члены, и уже сменила ее приятная теплота. Кони мчатся… как соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон слышатся и «Не белы снеги», и сап лошадей, и шум колес, и уже храпишь, прижавши к углу своего соседа. Проснулся: пять станций убежало назад; луна, неведомый город, церкви с старинными деревянными куполами и чернеющими остроконечьями, темные бревенчатые и белые каменные дома. Сияние месяца там и там: будто белые полотняные платки развешались по стенам, по мостовой, по улицам; косяками пересекают их черные, как уголь,

тени; подобно сверкающему металлу блистают вкось озаренные деревянные крыши, и нигде ни души – все спит. Один-одинешенек, разве где-нибудь в окошке брезжит огонек: мещанин ли городской тачает свою пару сапогов, пекарь ли возится в печурке – что до них? А ночь! небесные силы! какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, далекое, высокое, там, в недоступной глубине своей, так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!.. Но дышит свежо в самые очи холодное ночное дыхание и убаюкивает тебя, и вот уже дремлешь и забываешься, и храпишь, и ворочается сердито, почувствовав на себе тяжесть, бедный, притиснутый в углу сосед. Проснулся – и уже опять перед тобою поля и степи, нигде ничего – везде пустырь, все открыто. Верста с цифрой летит тебе в очи; занимается утро; на побелевшем холодном небосклоне золотая бледная полоса; свежее и жестче становится ветер: покрепче в теплую шинель!.. какой славный холод! какой чудный, вновь обнимающий тебя сон! Толчок – и опять проснулся. На вершине неба солнце. «Полегче! легче!» – слышится голос, телега спускается с кручи: внизу плотина широкая и широкий ясный пруд, сияющий, как медное дно, перед солнцем; деревня, избы рассыпались на косогоре; как звезда, блестит в стороне крест сельской церкви; болтовня мужиков и невыносимый аппетит в желудке… Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!.. Но и друг наш Чичиков чувствовал в это время не вовсе прозаические грезы. А посмотрим, что он чувствовал. Сначала он не чувствовал ничего и поглядывал только назад, желая увериться, точно ли выехал из города; но когда увидел, что город уже давно скрылся, ни кузниц, ни мельниц, ни всего того, что находится вокруг городов, не было видно и даже белые верхушки каменных церквей давно ушли в землю, он занялся только одной дорогою, посматривал только направо и налево, и город N. как будто не бывал в его памяти, как будто проезжал он его давно, в детстве. Наконец и дорога перестала занимать его, и он стал слегка закрывать глаза и склонять голову к подушке. Автор признается, этому даже рад, находя, таким образом, случай поговорить о своем герое; ибо доселе, как читатель видел, ему беспрестанно мешали то Ноздрев, то балы, то дамы, то городские сплет-

ни, то, наконец, тысячи тех мелочей, которые кажутся только тогда мелочами, когда внесены в книгу, а покамест обращаются в свете, почитаются за весьма важные дела. Но теперь отложим совершенно все в сторону и прямо займемся делом.

Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям. Дамам он не понравится, это можно сказать утвердительно, ибо дамы требуют, чтоб герой был решительное совершенство, и если какое-нибудь душевное или телесное пятнышко, тогда беда! Как глубоко ни загляни автор ему в душу, хоть отрази чище зеркала его образ, ему не дадут никакой цены. Самая полнота и средние лета Чичикова много повредят ему: полноты ни в каком случае не простят герою, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: «Фи, такой гадкий!» Увы! все это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека, но... может быть, в сей же самой повести почуются иные, еще доселе не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди других племен, как мертва книга пред живым словом! Подымутся русские движения... и увидят, как глубоко заронилось в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов... Но к чему и зачем говорить о том, что впереди? Неприлично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и свежительной трезвостью уединения, забываться подобно юноше. Всему свой черед, и место, и время! А добродетельный человек все-таки не взят в герои. И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово «добродетельный человек»; потому что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом и всем чем ни попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, а остались только ребра да кожа вместо тела; потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека. Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!

Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные – бог ведает; лицом он на них не походил: по крайней мере родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пигалицами, взявши в руки ребенка, вскрикнула: «Совсем вышел не такой, как я думала! Ему бы следовало пойти в бабку с матерней стороны, что было бы и лучше, а он родился просто, как говорит пословица: ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца». Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприютно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве! Маленькая горенка с маленькими окнами, не отворявшимися ни в зиму, ни в лето, отец, больной человек, в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопанцах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший в стоявшую в углу песочницу, вечное сиденье на лавке, с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах, вечная пропись перед глазами: «не лги, послушествуй старшим и носи добродетель в сердце»; вечный шарк и шлепанье по комнате хлопанцев, знакомый, но всегда суровый голос: «опять задурил!», отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскучa однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь кавыку или хвост; и вечно знакомое, всегда неприятное чувство, когда вслед за сими словами краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев: вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память. Но в жизни все меняется быстро и живо: и в один день, с первым весенним солнцем и разлившимися потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем соро'ки; ею правил кучер, маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме. На соро'ке тащились они полтора дни с лишком; на дороге ночевали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареною бараниною, и только на третий день утром добрались до города. Перед мальчиком блеснули нежданным великолепием городские улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот. Потом соро'ка бултыхнула вместе с тележкою в яму, которою начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз и запруженный грязью; долго работала она там

всеми силами и месила ногами, подстрекаемая и горбуном и самим барином, и наконец втащила их в небольшой дворик, стоявший на косогоре с двумя расцветшими яблонями пред стареньким домиком и садиком позади его, низеньким, маленьким, состоявшим только из рябины, бузины и скрывавшейся во глубине ее деревянной будочки, крытой драньем, с узеньким матовым окошечком. Тут жила родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбовалась его полнотою. Тут должен был он остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавши, на другой же день выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на своей соро'ке, и с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу.

Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось; отличился он больше прилежанием и опрятностию; но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощенье, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив – в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную: слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал

очень выгодно. Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, – признак подступающего голода, – он высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаясь с аппетитом. Два месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился наконец до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно. Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков; ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Достаточно было тому, который попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевелиться или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя выгоню заносчивость и непокорность! – говорил он. – Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях! ты у меня поголодаешь!» И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голодал по суткам. «Способности и дарования? это все вздор, – говаривал он, – я смотрю только на поведенье. Я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведет себя похвально; а в ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому нуль, хотя он Солона заткни за пояс!» Так говорил учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что он сказал: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей», – и всегда рассказывавший с наслаждением в лице и в глазах, как в том училище, где он преподавал прежде, такая была тишина, что слышно было, как муха летит; что ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в классе и что до самого звонка нельзя было узнать, был ли кто там, или нет. Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во все время класса, как ни щипали его сзади; как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю прежде всех треух (учи-

тель ходил в треухе); подавши треух, он выходил первый из класса и старался ему попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело совершенный успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами за примерное прилежание и благонадежное поведение. Вышед из училища, он очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, с подбородком, потребовавшим бритвы. В это время умер отец его. В наследстве оказались четыре заношенные безвозвратно фуфайки, два старых сертука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как видно, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного. Чичиков продал тут же ветхий дворишко с ничтожной землицей за тысячу рублей, а семью людей перевел в город, располагаясь основаться в нем и заняться службой. В это же время был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель с горя принялся пить; наконец и пить уже было ему не на что; больной, без куска хлеба и помощи, пропадал он где-то в нетопленной, забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки, в которых ему мерещилась беспрестанно непокорность и заносчивое поведение, узнавши об жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое нужное; один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал какой-то пятак серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: «Эх ты, жила!» Закрыл лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших учеников своих; слезы градом полились из погасавших очей, как у бессильного дитяти. «При смерти на одре привел бог заплакать», – произнес он слабым голосом и тяжело вздохнул, услышав о Чичикове, прибавя тут же: «Эх, Павлуша! вот как переменяется человек! ведь какой был благонравный, ничего буйного, шелк! Надул, сильно надул…»

Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так сурова и черства и чувства его были да того притуплены, чтобы он не знал ни жалости, ни сострадания; он чувствовал и то и другое, он бы даже хотел помочь, но только, чтобы не заключалось это в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, которых положено было не трогать; словом, отцовское наставление: береги и копи копейку – пошло впрок. Но в нем не было привязанности

собственно к деньгам для денег; им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им: ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками; экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды – вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы наконец потом, со временем, вкусить непременно все это, вот для чего береглась копейка, скупо отказываемая до времени и себе и другому. Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках в богатой упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «А ведь был конторщик, волосы носил в кружок!» И все, что ни отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим. Вышед из училища, он не хотел даже отдохнуть: так сильно было у него желанье скорее приняться за дело и службу. Однако же, несмотря на похвальные аттестаты, с большим трудом определился он в казенную палату. И в дальних захолустьях нужна протекция! Местечко досталось ему ничтожное, жалованья тридцать или сорок рублей в год. Но решился он жарко заняться службою, все победить и преодолеть. И точно, самоотвержение, терпенье и ограничение нужд показал он неслыханное. С раннего утра до позднего вечера, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он, погрязнув весь в канцелярские бумаги, не ходил домой, спал в канцелярских комнатах на столах, обедал подчас с сторожами и при всем том умел сохранить опрятность, порядочно одеться, сообщить лицу приятное выражение и даже что-то благородное в движениях. Надобно сказать, что палатские чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразием. У иных были лица, точно дурно выпеченный хлеб: щеку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу вынесло пузырем, которая в прибавку к тому еще и треснула; словом, совсем некрасиво. Говорили они все как-то сурово, таким голосом, как бы собирались кого прибить; приносили частые жертвы Вакху, показав таким образом, чти в славянской природе есть еще много остатков язычества; приходили даже подчас в присутствие, как говорится, нализавшись, отчего в присутствии было нехорошо и воздух был вовсе не ароматический. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличен Чичиков, представляя во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотребленьем ника-

ких крепких напитков. Но при всем том трудна была его дорога; он попал под начальство уже престарелому повытчику, который был образ какой-то каменной бесчувственности и непотрясаемости: вечно тот же, неприступный, никогда в жизни не явивший на лице своем усмешки, не приветствовавший ни разу никого даже запросом о здоровье. Никто не видал, чтобы он хоть раз был не тем, чем всегда, хоть на улице, хоть у себя дома; хоть бы раз показал он в чем-нибудь участье, хоть бы напился пьян и в пьянстве рассмеялся бы; хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту, но даже тени не было в нем ничего такого. Ничего не было в нем ровно: ни злодейского, ни доброго, и что-то страшное являлось в сем отсутствии всего. Черство-мраморное лицо его, без всякой резкой неправильности, не намекало ни на какое сходство; в суровой соразмерности между собою были черты его. Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, черт приходил по ночам молотить горох. Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку и привлечь его расположение, но Чичиков попробовал. Сначала он принялся угождать во всяких незаметных мелочах: рассмотрел внимательно чинку перьев, какими писал он, и, приготовивши несколько по образцу их, клал ему всякий раз их под руку; сдувал и сметал со стола его песок и табак; завел новую тряпку для его чернильницы; отыскал где-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала в мире, и всякий раз клал ее возле него за минуту до окончания присутствия; чистил ему спину, если тот запачкал ее мелом у стены, – но все это осталось решительно без всякого замечания, так, как будто ничего этого не было и делано. Наконец он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь, узнал, что у него была зрелая дочь, с лицом, тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотьба гороху. С этой-то стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз насупротив ее, чисто одетый, накрахмаливши сильно манишку, – и дело возымело успех: пошатнулся суровый повытчик и зазвал его на чай! И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал и муку и сахар, с дочерью обращался, как с невестой, повытчика звал папенькой, целовал его в руку; все положили

в палате, что в конце февраля перед великим постом будет свадьба. Суровый повытчик стал даже хлопотать за него у начальства, и чрез несколько времени Чичиков сам сел повытчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связей его с старым повытчиком, потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повытчика перестал звать папенькой и не целовал больше его руки, а о свадьбе так дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал его на чай, так что старый повытчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул, надул, чертов сын!»

Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор пошло легче и успешнее. Он стал человеком заметным. Все оказалось в нем, что нужно для этого мира: и приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют хлебное местечко, и воспользовался им отличным образом. Нужно знать, что в то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток; преследований он не испугался и обратил их тот же час в свою пользу, показав таким образом прямо русскую изобретательность, являющуюся только во время прижимок. Дело устроено было вот как: как только приходил проситель и засовывал руку в карман, с тем чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражаются у нас на Руси: «Нет, нет, – говорил он с улыбкой, удерживая его руки, – вы думаете, что я… нет, нет. Это наш долг, наша обязанность без всяких возмездий мы должны сделать! С этой стороны уж будьте покойны: завтра же все будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру, вам и заботиться не нужно самим, все будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель возвращался домой чуть не в восторге, думая: «Вот наконец человек, каких нужно побольше, это просто драгоценный алмаз!» Но ждет проситель день, другой, не приносят дела на дом, на третий тоже. Он в канцелярию, дело и не начиналось; он к драгоценному алмазу. «Ах, извините! – говорил Чичиков очень учтиво, схвативши его за обе руки, – у нас было столько дел; но завтра же все будет сделано завтра непременно, право, мне даже совестно!» И

все это сопровождалось движениями обворожительными. Если при этом распахивалась как-нибудь пола халата, то рука в ту же минуту старалась дело поправить и придержать полу. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не несут дела на дом. Проситель берется за ум: да полно, нет ли чего? Выведывает; говорят, нужно дать писарям. «Почему ж не дать? я готов четвертак, другой». – «Нет, не четвертак, а по беленькой». – «По беленькой писарям!» – вскрикивает проситель. «Да чего вы так горячитесь? – отвечают ему, – оно так и выйдет, писарям и достанется по четвертаку, а остальное пойдет к начальству». Бьет себя по лбу недогадливый проситель и бранит на чем свет стоит новый порядок вещей, преследование взяток и вежливые, облагороженные обращения чиновников. Прежде было знаешь по крайней мере, что делать: принес правителю дел красную, да и дело в шляпе, а теперь по беленькой, да еще неделю провозишься, пока догадаешься; черт бы побрал бескорыстие и чиновное благородство! Проситель, конечно, прав, но зато теперь нет взяточников: все правители дел честнейшие и благороднейшие люди, секретари только да писаря мошенники. Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнее: образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только и теперь только стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержанья и неумолимого своего самоотверженья. Тут только долговременный пост наконец был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собою. Оказались кое-какие излишества: он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с этих пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою; уже приобрел он отличную пару и сам держал одну вожжу, заставляя пристяжную

виться кольцом; уже завел он обычай вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном; уже покупал он весьма недешево какое-то мыло для сообщения гладкости коже, уже…

Но вдруг на место прежнего тюфяка был прислан новый начальник, человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнул он всех до одного, потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности; дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов, все распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику, почему именно, бог ведает, – иногда даже просто не бывает на это причин, – и он возненавидел его насмерть. И грозен был сильно для всех неумолимый начальник. Но так как все же он был человек военный, стало быть, не знал всех тонкостей гражданских проделок, то чрез несколько времени, посредством правдивой наружности и уменья подделаться во всему, втерлись к нему в милость другие чиновники, и генерал скоро очутился в руках еще больших мошенников, которых он вовсе не почитал такими; даже был доволен, что выбрал наконец людей как следует, и хвастался не в шутку тонким уменьем различать способности. Чиновники вдруг постигнули дух его и характер. Все, что ни было под начальством его, сделалось страшными гонителями неправды; везде, во всех делах они преследовали ее, как рыбак острогой преследует какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали ее с таким успехом, что в скором времени у каждого очутилось по нескольку тысяч капиталу. В это время обратились на путь истины многие из прежних чиновников и были вновь приняты на службу. Но Чичиков уж никаким образом не мог втереться, как ни старался и как стоял за него подстрекнутый письмами князя Хованского первый генеральский секретарь, постигнувший совершенно управленье генеральским носом, но тут он ничего решительно не мог сделать. Генерал был такого рода человек, которого хотя и водили за нос (впрочем, без его ведома), но зато уже, если в голову ему западала какая-нибудь мысль, то она там была все равно что железный гвоздь: ничем нельзя было ее оттуда вытеребить. Все, что мог сделать умный секретарь, было уничтоженье запачканного послужного списка, и на то уже он

подвинул начальника не иначе, как состраданием, изобразив ему в живых красках трогательную судьбу несчастного семейства Чичикова, которого, к счастию, у него не было.

«Ну, что ж! – сказал Чичиков, – зацепил – поволок, сорвалось – не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать». И вот решился он сызнова начать карьер, вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как ни привольно и ни хорошо было развернулся прежде. Нужно было переехать в другой город, там еще приводить себя в известность. Все как-то не клеилось. Две, три должности должен он был переменить в самое короткое время. Должности как-то были грязны, низменны. Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек какой когда-либо существовал в свете. Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева и все бы было благородно. Никогда не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию. Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он всякие два дни переменял на себе белье, а летом во время жаров даже и всякий день: всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидавать сапоги, клал себе в нос гвоздичку, и во многих случаях нервы у него были щекотливые, как у девушки; и потому тяжело ему было очутиться вновь в тех рядах, где все отзывалось пенником и неприличьем в поступках. Как ни крепился он духом, однако же похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал было он полнеть и приходить в те круглые и приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства, и уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном: о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями; но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятая! какой же я стал гадкий!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил все герой наш, переносил сильно, терпеливо переносил, и – перешел наконец в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и бати-

сты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться: и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам; как оно называлось, бог ведает, но, по его предположениям, непременно находилось на границе. Итак, он давно бы хотел в таможню, но удерживали текущие разные выгоды по строительной комиссии, и он рассуждал справедливо, что таможня, как бы то ни было, все еще не более как журавль в небе, а комиссия уже была синица в руках. Теперь же решился он во что бы то ни стало добраться до таможни, и добрался. За службу свою принялся он с ревностью необыкновенною. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. В три-четыре недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все: даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи; взявшив руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье: нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку, и все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать?» Или: «Не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами». Или: «Позвольте, вот я ножичком немного распорю подкладку вашей шинели» – и, говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснилось, что это был черт, а не человек: он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и невесть в какие местах, куда бы никакому автору не пришло в мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновникам. Так что бедный путешественник, переехавший через грани-

цу, все еще в продолжение нескольких минут не мог опомниться и, отирая пот, выступивший мелкою сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну, ну!» Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его, с тем чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-какие вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти наконец до сведения начальства. Он получил чин и повышение и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов обдуманно-правильным образом; на мидлионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведение о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Еще не время».

Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в двадцать лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как простой пешкой, стало быть, немного получил бы; но теперь… теперь совсем другое дело: он мог предложить какие угодно условия. Чтобы дело шло беспрепятственней, он склонил и другого чиновника, своего товарища, который не устоял против соблазна, несмотря на то что волосом был сед. Условия были заключены, и общество приступило к действиям. Действия начались блистательно: читатель, без сомнения, слышал так часто повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на миллион брабантских кружев. Это происшествие случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможне. Не участвуй он сам в этом предпри-

ятии, никаким жидам в мире не удалось бы привести в исполнение подобного дела. После трех или четырех бараньих походов через границу у обоих чиновников очутилось по четыреста тысяч капиталу. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за пятьсот, потому что был побойчее. Бог знает до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Черт сбил с толку обоих чиновников; чиновники, говоря попросту, перебесились и поссорились ни за что. Как-то в жарком разговоре, а может быть, несколько и выпивши, Чичиков назвал другого чиновника поповичем, а тот, хотя действительно был попович, неизвестно почему обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно и необыкновенно резко, именно вот как: «Нет, врешь, я статский советник, а не попович, а вот ты так попович!» И потом еще прибавил ему в пику для большей досады: «Да вот, мол, что!» Хотя он отбрил таким образом его кругом, обратив на него им же приданное название, и хотя выражение «вот, мол, что!» могло быть сильно, но, недовольный сим, он послал еще на него тайный донос. Впрочем, говорят, что и без того была у них ссора за какую-то бабенку, свежую и крепкую, как ядреная репа, по выражению таможенных чиновников; что были даже подкуплены люди, чтобы под вечерок в темном переулке поизбить нашего героя; но что оба чиновника были в дураках и бабенкой воспользовался какой-то штабс-капкан Шамшарев. Как было дело в самом деле, бог их ведает; пусть лучше читатель-охотник досочинит сам. Главное в том, что тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Статский советник хоть и сам пропал, но-таки упек своего товарища. Чиновников взяли под суд, конфисковали, описали все, что у них ни было, и все это разрешилось вдруг как гром над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что наделали. Статский советник, по русскому обычаю, с горя запил, но коллежский устоял. Он умел затаить часть деньжонок, как ни чутко было обоняние наехавшего на следствие начальства. Употребив все тонкие изворотливости ума, уже слишком опытного, слишком знающего хорошо людей: где подействовал приятностью оборотов, где трогательной речью, где покурил лестью, ни в коем случае не портящею дела, где всунул деньжонку, — словом, обработал дело по крайней мере так, что отставлен был не с таким бесчестьем, как товарищ, и увернулся из-под уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещиц, ничего не оста-

лось ему; на все это нашлись другие охотники. Удержалось у него тысячонок десяток, запрятанных про черный день, да дюжины две голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да два крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка, да таможенные чиновники, движимые сердечною добротою, оставили ему пять или шесть кусков мыла для сбережения свежести щек – вот и все. Итак, вот в каком положении вновь очутился герой наш! Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову! Это называл он: потерпеть по службе за правду. Теперь можно бы заключить, что после таких бурь, испытаний, превратностей судьбы и жизненного горя он удалится с оставшимися кровными десятью тысчонками в какое-нибудь мирное захолустье уездного городишка и там заклекнет вовеки в ситцевом халате у окна низенького домика, разбирая по воскресным дням драку мужиков, возникшую пред окнами, или для освежения пройдясь в курятник пощупать лично курицу, назначенную в суп, и проведет таким образом нешумный, но в своем роде тоже небесполезный век. Но так не случилось. Надобно отдать справедливость непреодолимой силе его характера. После всего того, что бы достаточно было если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Словом, он показал терпенье, пред которым ничто деревянное терпенье немца, заключенное уже в медленном, ленивом обращении крови его. Кровь Чичикова, напротив, играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтоб набросить узду на все то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе. Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедливости: «Почему ж я? зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? – все приобретают. Несчастным я не сделал никого: я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякий брал бы; не воспользуйся я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем? И что я теперь? Куда я гожусь? какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю, и что скажут потом мои дети? Вот, скажут, отец, скотина, не оставил нам никакого состояния!»

Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, неизвестно почему, приходит сам собою: а что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе: мыло ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу – словом, не пропускает ничего. Так жаловался и плакал герой наш, а между тем деятельность никак не умирала в голове его; там все хотело что-то строиться и ждало только плана. Вновь съежился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничил себя во всем, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь. И в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием, еще не приобретшим у нас гражданства, толкаемым со всех сторон, плоха уважаемым мелкою приказною тварью и даже самими доверителями, осужденным на пресмыканье в передних, грубости и прочее, но нужда заставила решиться на все. Из поручений досталось ему, между прочим, одно: похлопотать о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян. Имение было расстроено в последней степени. Расстроено оно было скотскими падежами, плутами приказчиками, неурожаями, повальными болезнями, истребившими лучших работников, и, наконец, бестолковьем самого помещика, убиравшего себе в Москве дом в последнем вкусе и убившего на эту уборку все состояние свое до последней копейки, так что уж не на что было есть. По этой-то причине понадобилось наконец заложить последнее оставшееся имение. Заклад в казну был тогда еще дело новое, на которое решались не без страха. Чичиков в качестве поверенного, прежде расположивши всех (без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка, все же хоть по бутылке мадеры придется влить во всякую глотку), – итак, расположивши всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство: половина крестьян вымерла, так чтобы не было каких-нибудь потом привязок…

– Да ведь они по ревизской сказке числятся? – сказал секретарь.

– Числятся, – отвечал Чичиков.

– Ну, так чего же вы оробели? – сказал секретарь, – один умер, другой родится, а все в дело годится.

Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх я Аким-простота, – сказал он сам в себе, – ищу рукавиц, а обе за поясом! Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж двести тысяч капиталу! А теперь же время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрывались в карты, закутили и промотались как следует; все полезло в Петербург служить; имения брошены, управляются как ни попало, подати уплачиваются с каждым годом труднее, так мне с робостью уступит их каждый уже потому только, чтобы не платить за них подушных денег; может, в другой раз так случится, что с иного и я еще зашибу за это копейку. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести из этого истории. Ну да ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное то хорошо, что предмет-то покажется всем невероятным, никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод, на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю! в Херсонскую их! пусть их там живут! А переселение можно сделать законным образом, как следует по судам. Если захотят освидетельствовать крестьян: пожалуй, я и тут не прочь, почему же нет? я представлю и свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова слободка или по имени, данному при крещении: сельцо Павловское». И вот таким образом составился в голове нашего героя сей странный сюжет, за который, не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. Ибо, что ни говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма.

Перекрестясь по русскому обычаю, приступил он к исполнению. Под видом избрания места для жительства и под другими предлогами предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства, и преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев, неурожаев, смертностей и прочего и прочего, – словом, где бы можно удобнее и дешевле накупить потребного народа. Он не обращался наобум ко всякому помещику,

но избирал людей более по своему вкусу или таких, с которыми бы можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться, расположить к себе, чтобы, если можно, более дружбою, а не покупкою приобрести мужиков. Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, доныне являвшиеся, не пришлись по его вкусу; это вина Чичикова, здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если, точно, падет обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно всего широкого теченья и объема дела. Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен; сначала все серо и однообразно: тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопченные дымом, а потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел; как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двигнутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече ее горизонт и вся она примет величавое лирическое течение, то увидит потом. Еще много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которой ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поименно от Заседателя до подлеца чубарого. Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть! Но потребуют, может быть, заключительного определения одною чертою: кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, это видно. Кто же он? стало быть, подлец? Почему ж подлец, зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два, три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение – вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых. Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее, и тот же читатель, который

на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб-соль и проводить приятно время, станет глядеть на него косо, если он очутится героем драмы или поэмы. Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперя в него испытующий взгляд, изведывает его до первоначальных причин. Быстро все превращается в человеке; не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. И не раз не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась в рожденном на лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и святые обязности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его. Блажен избравший себе из всех прекраснейшую страсть; растет и десятерится с каждым часом и минутой безмерное его блаженство, и входит он глубже и глубже в бесконечный рай своей души. Но есть страсти, которых избранье не от человека. Уже родились они с ним в минуту рожденья его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаньями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им: все равно, в мрачном ли образе, или пронестись светлым явленьем, возрадующим мир, – одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме.

Но не то тяжело, что будут недовольны героем, тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни автор поглубже ему в душу, не шевельни на дне ее того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, и все были бы радешеньки и приняли бы его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы как живой пред глазами; зато по окончании чтения душа не встревожена

ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы, к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе не утешительно. Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы! «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно? – говорит помещик приказчику. – Я, брат, это знаю без тебя, да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого, я тогда счастлив». И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвенье. Спит ум, может быть обретший бы внезапный родник великих средств; а там имение бух с аукциона, и пошел помещик забываться по миру с душою, от крайности готовою на низости, которых бы сам ужаснулся прежде.

Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устроивая судьбу свою на счет других; но как только случится что-нибудь, по мненью их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг клики: «Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше – хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе. Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?» Да такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ. А разве вот что: жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался; существованье его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим. как он называл, философическим вопросом: «Вот, например, зверь, – говорил он, ходя по комнате, – зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица, почему не вылупливается из яйца? Как, право, того: совсем не поймешь натуры, как побольше в нее углубишься!» Так мыслил обитатель

Кифа Мокиевич. Но не в этом еще главное дело. Другой обитатель был Мокий Кифович, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь, и в то время, когда отец занимался рожденьем зверя, двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка: все или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу. В доме и в соседстве все, от дворовой девки до дворовой собаки, бежало прочь, его завидя; даже собственную кровать в спальне изломал он в куски. Таков был Мокий Кифович, а впрочем, был он доброй души. Но не в этом еще главное дело. А главное дело вот в чем: «Помилуй, батюшка барин, Кифа Мокиевич, – говорила отцу и своя и чужая дворня, – что у тебя за Мокий Кифович? Никому нет от него покоя, такой припертень!» – «Да, шаловлив, шаловлив, – говорил обыкновенно на это отец, – да ведь как быть: драться с ним поздно, да и меня же все обвинят в жестокости; а человек он честолюбивый, укори его при другом-третьем, он уймется, да ведь гласность-то – вот беда! город узнает, назовет его совсем собакой. Что, право, думают, мне разве не больно? разве я не отец? Что занимаюсь философией да иной раз нет времени, так уж я и не отец? Ан вот нет же, отец! отец, черт их побери, отец! У меня Мокий Кифович вот тут сидит, в сердце! – Тут Кифа Мокиевич бил себя весьма сильно в грудь кулаком и приходил в совершенный азарт. – Уж если он и останется собакой, так пусть же не от меня об этом узнают, пусть не я выдал его». И, показав такое отеческое чувство, он оставлял Мокия Кифовича продолжать богатырские свои подвиги, а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос: «Ну а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать». Так проводили жизнь два обитателя мирного уголка, которые нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы, выглянули для того, чтобы отвечать скромно на обвинение со стороны некоторых горячих патриотов, до времени покойно занимающихся какой-нибудь философией или приращениями на счет сумм нежно любимого ими отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное. Но нет, не патриотизм и не первое чувство суть причины обвинений, другое скрывается под ними. К чему таить

слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым, может быть, даже похвалите автора, скажете: «Однако ж кое-что он ловко подметил, должен быть веселого нрава человек!» И после таких слов с удвоившеюся гордостию обратитесь к себе, самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите: «А ведь должно согласиться, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые!» А кто из вас, полный христианского смиренья, не гласно, а в тишине, один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» Да, как бы не так! А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин ни слишком большой, ни слишком малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!» И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию и летам, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиков! Чичиков! Чичиков!»

Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во все время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю сполагоря, рассердится ли на него Чичиков, или нет, но что до автора, то он ни в коком случае не должен ссориться с своим героем: еще не мало пути и дороги придется им пройти вдвоем рука в руку; две большие части впереди – это не безделица.

– Эхе-хе! что ж ты? – сказал Чичиков Селифану, – ты?

– Что? – сказал Селифан медленным голосом.

– Как что? Гусь ты! как ты едешь? Ну же, потрогивай!

И в самом деле, Селифан давно уже ехал зажмуря глаза, изредка только потряхивая впросонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей; а с Петрушки уже давно невесть в каком месте слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан при-

ободрился и, отшлепавши несколько раз по спине чубарого, после чего тот пустился рысцой, да помахнувши сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Эх! эх! эх!» – плавно подскакивая на козлах, по мере того как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» – его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, – только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да молотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню – кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход – и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих

неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, посторанивaются и дают ей дорогу другие народы и государства.

Конец

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Интрига (*фр.* intrigue – запутывать) – сложное переплетение намерений и действий персонажей, преследующих свои цели и прибегающих к различного рода уловкам и хитросплетениям. Интрига разворачивается на основе сюжетных *перипетий*, отражающих столкновение различных интересов и характеров персонажей.

Классицизм (*лат.* classicus – образцовый, первоклассный) – эстетическое направление в европейской литературе и искусстве XVII–начала XIX века, основой которого являлась ориентация на высокие образцы античного искусства как эталон художественного творчества.

Ода (*греч.* ode – песня) – жанр лирической поэзии, стихотворение торжественного, приподнятого характера, тематику которого составляло прославление Бога, отечества и его героев, мудрости правителей и т.п. В русской поэзии при написании оды использовалась одическая строфа – 10-стишие 4-стопного ямба с чередованием мужской и женской рифм.

Панегирик (*греч.* panegyrikos – всенародная речь) – хвалебная речь, похвала царям, богам, городам и т.п., разрабатываемая античной риторикой и достигшая расцвета в XVII–XVIII веках в качестве самостоятельного литературного жанра.

Романтизм (*фр.* romantisme, *англ.* romantic) в литературе возник на рубеже XVIII–XIX веков как следствие разочарования в просветительских идеалах и результатах формирования буржуазных отношений в Европе. В романтической эстетике главное внимание было сосредоточено на личности с ее идеальными устремлениями и неприятием бездуховности окружающей действительности. Не веря в социальную гармонию, романтики стремились раскрыть гармонию внутреннего мира человека. Романтический герой являл собой исключительную натуру и действовал в необычайных, исключительных обстоятельствах. Яркие представители романтизма – Дж.Г. Байрон и С.Т. Колридж в Англии, Г. Гейне и Э.Т.А. Гофман в Германии, В. Гюго и А. Мюссе во Франции. Расцвету романтизма содействовала литература сентиментализма, предвосхитившая ряд завоеваний писателей романтической школы.

Сатира (лат. satira от satura – смесь) – стихотворный лироэпический жанр, зародившийся в древнеримской литературе (Гораций, Ювенал и др.)

и получивший «второе дыхание» в Новое время (Н. Буало, А.Д. Кантемир и др.). В более широком значении сатира – вид художественной литературы, характеризующийся критическим, обличительным настроем писателя по отношению к изображаемым им жизненным явлениям.

Сентиментализм (*фр.* sentiment – чувство) как о литературном течении. В отличие от просветительского рационализма, сентиментализм апеллировал не к разуму, а к чувству человека, утверждая неповторимую индивидуальность внутреннего мира личности. Характерная для сентименталистской литературы «чувствительность» проявляется как во внешних описаниях, так и в передаче внутреннего состояния человека.

Элегия *(греч.* elegeia – жалобная песня) – лирический жанр, стихотворение эмоционального содержания, отмеченное грустью либо смешанным чувством радости и печали, а также философскими размышлениями. В античной поэзии получил распространение элегический дистих (двустишие). В русской поэзии первая элегия принадлежит перу В.К. Тредиаковского.

Изобразительно-выразительные средства

Т р о п – использование слов и выражений л переносном значении в целях создания художественного образа.

К т р о п а м о т н о с я т с я:

Эпитет – образное определение предмета, явления. Эпитет отличается от простого сравнения художественной выразительностью, он передает чувство автора к изображаемому предмету, создает живое, яркое представление о нем; *Вечером синим, вечером лунным Был я когда-то красивым и юным. Неудержимо, неповторимо Все пролетело... далече... мимо* (С. Есенин). Эпитеты, выраженные обычно прилагательными в переносном значении, могут иметь общеязыковой характер, включаться, например, в словарь эпитетов (*железная воля, золотой характер, горячая кровь*). Общеязыковым противопоставлены индивидуально-авторские эпитеты, встречающиеся и художественных текстах. В основе появления подобных эпитетов лежат неожиданные ассоциации: *мотыльковая красота* (А. Чехов), *заднекрылечное знакомство* (М. Салтыков-Щедрин), *цветастая радость* (В. Шукшин).

Оксюморон – один из самых выразительных эпитетов: *«Горячий снег»* (Ю. Бондарев), *«Живой труп»* (Л. Толстой), *грустная радость* (С. Есенин). **Оксюморон** – художественный прием соединения

слов, обозначающих обычно несовместимые понятия: *Но **красоты** их **безобразной** Я скоро таинство постиг* (М. Лермонтов).

Сравнение – уподобление изображаемого явления другому по какому-либо общему для них признаку с целью выявить в объекте сравнения новые важные свойства: *Небо как колокол, месяц – язык...* (С. Есенин); *На глаза осторожной кошки похожи твои глаза* (А. Ахматова).

Метафора – слово или выражение, употребленное в переносном значении. В основе переноса наименования лежит сходство предметов или явлений по какому-либо признаку: *Теплый бархат ночи богато расшит, украшен голубым серебром огней...* (М. Горький); *Барка жизни встала На большой мели* (А. Блок); *пожаром зари Сожжено и раздвинуто бледное небо* (А. Блок). В основе метафоры лежит сравнение, но оно не оформлено с помощью сравнительных союзов, поэтому метафору называют иногда скрытым сравнением. Иногда весь текст или значительный текстовый фрагмент представляет собой развернутую метафору. Так, в стихотворении А.С. Пушкина «Телега жизни» развертывается метафора *«путь человека от рождения до смерти – это поездка в телеге по рытвинам и ухабам жизненных передряг»*.

Олицетворение – разновидность метафоры, присвоение предметам неживой природы или отвлеченным понятиям свойств живых существ: *К ней **прилегла** в опочивальне ее сиделка – тишина* (А. Блок); *И цветущие кисти **черемух** Мыли листьями рамы фрамуг* (Б. Пастернак); *Над скудной глиной желтого обрыва В степи **грустят стога*** (А. Блок).

Метонимия – перенос наименования, в основе которого лежит смежность предметов, понятий, различная связь между ними. Такая связь может возникнуть 1) между содержимым и содержащим: *Я три тарелки съел* (И. Крылов); 2) между автором и его произведением: *Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал* (А. Пушкин); *Траурный Шопен громыхал у заката* (М. Светлов); 3) между действием или его результатом и орудием этого действия: *Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам* (А. Пушкин); 4) между предметом и материалом, из которого предмет сделан: *Янтарь в устах его дымился* (А. Пушкин); *Фарфор и бронза на столе* (А. Пушкин); 5) между местом действия и людьми, находящимися в этом месте: *Театр уж полон. Ложи блещут; партер и кресла – все кипит* (А. Пушкин); *Ликует буйный Рим* (М. Лермонтов); 6) часть вместо

целого, например, деталь внешности или одежды вместо наименования человека: *Все флаги в гости будут к нам* (А. Пушкин).

Синекдоха – разновидность метонимии, троп, состоящий в употреблении части вместо целого или целого вместо части. Обычно в синекдохе употребляется 1) единственное число вместо множественного: *И слышно было до рассвета, как ликовал француз* (М. Лермонтов); 2) множественное число вместо единственного: *Мы все глядим в Наполеоны* (А. Пушкин); 3) родовое название вместо видового: *Ну что ж, садись, светило* (т.е. солнце) (В. Маяковский); 4) видовое название вместо родового: *Пуще всего береги копейку* (т.е. деньги) (Н. Гоголь).

Гипербола – художественный прием, основанный на преувеличении тех или иных свойств изображаемого предмета или явления: *В сто сорок солнц закат пылал (В. Маяковский); Раздирает рот зевота шире Мексиканского залива (В. Маяковский).* В русском языке представлены не только индивидуально-авторские, но и общеязыковые гиперболы: *ожидать целую вечность, любить до безумия, испугаться до смерти, всю жизнь мечтать, задушить в объятиях.*

Литота – художественный прием, основанный на чрезмерном преуменьшении свойств изображаемого предмета или явления: *Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка* (А. Грибоедов). В языке встречаются также общеязыковые литоты: *капля в море, кот наплакал, глоток воды, рукой подать, ни гроша, ни капли.*

Каламбур – игра слов, использование многозначности, омонимии или звукового сходства слов с целью достижения комического эффекта: *Чуть пробуждается народ, Сейчас дают ему уставы, Кричат: «Закройте-ка уста вы!» И вмиг кладут печать на рот* (К. Фофанов).

Ирония – художественный прием, когда слово или высказывание обретают в тексте значение, противоположное буквальному или подвергающее его сомнению: *Отколе, умная, бредешь ты, голова* (при обращении к ослу) (И. Крылов).

Сарказм – суждение, содержащее едкую, язвительную насмешку над изображаемым, высшая степень иронии: *Ты уснешь, окружен попечением. Дорогой и любимой семьи (Ждущей смерти твоей с нетерпением)* (Н. Некрасов).

Перифраза (перифраз) – описательный оборот речи, применяемый для замены слова или группы слов с тем, чтобы избежать повторения, придать повествованию большую выразительность. Обычно такой обо-

рот содержит описание существенных признаков лица, предмета или явления: *царь зверей* (вместо *лев*), *Страна восходящего солнца* (вместо *Япония*), *певец Гяура и Жуана* (вместо *Байрон*), *наши меньшие братья (животные)*.

Для создания определенного художественного эффекта широко применяются **фигуры** – особые стилистико-синтаксические конструкции, придающие выразительность речи,

К фигурам относятся:

Инверсия – расположение членов предложения в особом порядке, нарушающем обычный, прямой порядок, с целью усилить выразительность речи: *Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана?* (А. Пушкин.)

Анафора – повторение слов или фраз в начале смежных высказываний: *Жди меня, и я вернусь. Только очень жди... Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера* (К. Симонов).

Эпифора – повторение слов или фраз в конце смежных высказываний: *Я не знаю, где граница Между Севером и Югом, Я не знаю, где граница Меж товарищем и другом* (М. Светлов).

Параллелизм – параллельное расположение структурных элементов в двух-трех смежных высказываниях. Фигура, основанная на одинаковом синтаксическом построении предложений: *Ах, кабы на цветы не морозы, И зимой бы цветы расцветали; Ох, кабы, на меня не кручина, Ни о чем-то бы я не тужила* (народн. песня). Художественный эффект параллелизма часто усиливается **лексическим повтором:** *Гляжу на будущность с боязнью, Гляжу на прошлое с тоской* (М. Лермонтов).

Антитеза – резкое противопоставление понятий, мыслей, образов: *Белый ест ананас спелый, черный – гнилью моченый. Белую работу делает белый, черную работу – черный* (В. Маяковский). Обычно антитеза основывается на употреблении антонимов: *Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и могучая, Ты и бессильная, Матушка-Русь!* (Н. Некрасов.)

Риторический вопрос – вопрос, не требующий ответа, утверждение или отрицание, выраженное в форме вопросительного предложения: *Доколе, счастье, ты венцами Злодеев будешь украшать?* (М. Ломоносов).

Риторическое восклицание – восклицательное предложение, выполняющее в тексте роль эмоционального усиления: *То было в утро наших лет – О счастие! О слезы! О лес! О жизнь! О солнца свет! О свежий дух березы!* (А. Толстой.)

Парцелляция – художественный прием, состоящий в расчленении предложения на отдельные фрагменты, которые представляют собой неполные предложения. Такое расчленение графически отображается с помощью точек. Парцелляция имитирует разговорную речь. Например: *Прошлый раз на пути из Луги на какой-то станции, несмотря на форменное переполнение, в вагон еще какой-то тип влазит. Не старый еще. С усиками. Довольно франтовато одетый. В русских сапогах* (М. Зощенко).

К выразительным средствам фонетики относятся:

Ассонанс – повторение в художественном тексте одинаковых или похожих гласных, которые служат для создания звукового образа: *Быстро лечу я по рельсам чугунным. Думаю думу свою* (Н. Некрасов).

Аллитерация – повторение в художественном тексте согласных, создающих звуковой образ: *Довольный праздничным обедом, сосед сопит перед соседом* (А. Пушкин); *Морозом выпитые лужи хрустят и хрупки, как хрусталь* (И. Северянин).

Звукоподражание – передача слуховых впечатлений словами, напоминающими звучание природных явлений или звуки, издаваемые животными: *Полночной порою в болотной глуши Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши* (К. Бальмонт).

При анализе художественного текста пригодится знание и этих терминов:

Афоризм – краткое, меткое и обычно образное изречение, близкое к пословице. *Мысль изреченная есть ложь* (Ф. Тютчев).

Аллегория – иносказательное изображение отвлеченных понятий при помощи художественных образов. (Когда говорится об одном, а подразумевается другое.) *Насмешки все над львами, над орлами. Кто что ни говори, хоть и животные – а все-таки цари* (А. Грибоедов).

Притча – бытовая история, рассказ об обычных событиях из жизни людей, имеющий иносказательный нравоучительный характер.

Строфа – группа из опредленного числа стихов (стихотворных строк), повторяющаяся в произведении. Главный определитель строфы – число

входящих в нее строк: двустишие, трехстишие, четырехстишие, пятистишие и т.д., до 14 строк в сонете, онегинской строфе.

Эпиграф – цитата, пословица, помещаемая автором после заглавия произведения перед текстом, которая помогает правильно понять основную мысль текста.

СОДЕРЖАНИЕ

ФОЛЬКЛОР 4
Обряды и обрядовый фольклор 5
Сказки 20
Былина 27
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 37
«Слово о полку Игореве» 45
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 64
Классицизм 65
М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия...» 70
Д.И. Фонвизин. « Недоросль» 83
От классицизма к новым формам художественного отображения 110
Сентиментализм 111
А.Н. Радищев. «Спасская Полесть» 113
Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» 131
Романтизм 134
ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 150
А.С. Грибоедов 152
А.С. Грибоедов. «Горе от ума» 168
А.С. Пушкин 248
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 301
М.Ю. Лермонтов 407
М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» 445
Н.В. Гоголь 574
Н.В. Гоголь. «Мёртвые души» 594
Теория литературы 815

ДЛЯ ЗАМЕТКИ

И.А. Циндидис, Е.В. Маслова

ЛИТЕРАТУРА
(Устное народное творчество. Древнерусская литература. Русская литература XVIII–первой половины XIX в.)

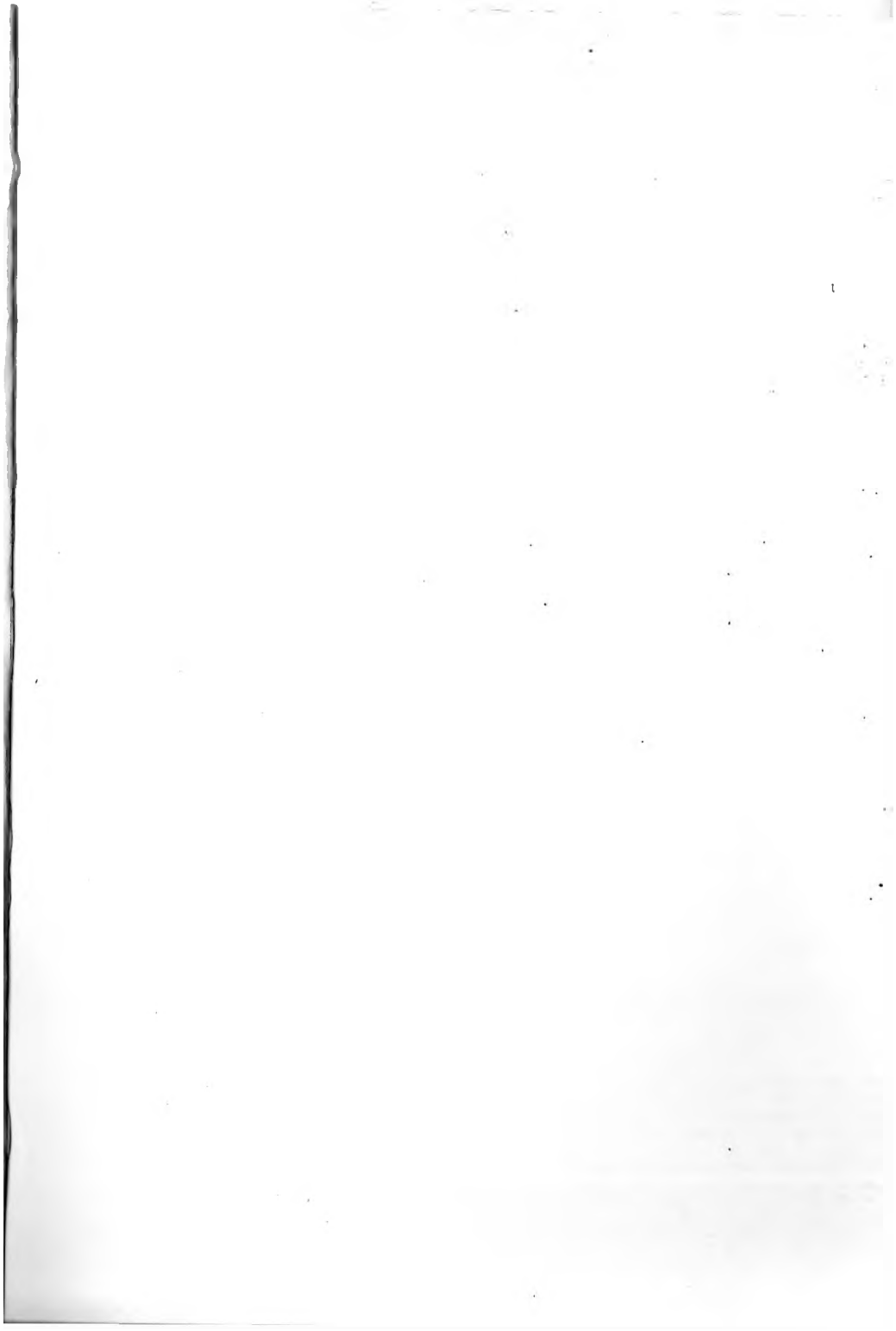
Учебник-хрестоматия для академических лицеев и колледжей

Редактор: *Юлия Сырцова*
Художник: *Шухрат Одилов*
Технический редактор: *Дилмурод Жалилов*

Лицензия издательства: AI № 259, 31.12.2014
Подписано к печати 5.02.2016. Формат 60x84 $^{1}/_{16}$
Гарнитура литературная. Бумага офсетная. Уч.-изд. л. 51,5
Усл.- печ. л. 47,89 Тираж 500. Заказ № 14.
Цена договорная

Издательство Национальной библиотеки Узбекистана
имени Алишера Навои. г. Ташкент, ул. Навои, 1.

Отпечатано в типографии ООО «Shidasp».
Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул. Алмазарская.



И.А. ЦИНДИДИС, Е.В. МАСЛОВА

ЛИТЕРАТУРА





